Осажденный Севастополь

Михаил Филиппов

SHOUT
SHARE
IT

- Филиппов Михаил

Филиппов Михаил
Осажденный Севастополь

Филиппов Михаил Михайлович

Осажденный Севастополь

{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста

Аннотация издательства: Роман М. Филиппова "Осажденный Севастополь" посвящен одной из интереснейших и трагических страниц истории России Крымской войне 1853 - 1856 годов. Он написан буквально вслед историческим событиям, в нем много подлинных рассказов участников, реальных фактов. Адмиралы Нахимов и Корнилов, великий военный строитель Тотлебен, царь Николай I, князья Горчаков и Меншиков - эти исторические персонажи показаны в живых художественных картинах, в окружении множества ярких характеров рядовых защитников Севастополя.

Содержание

О Николае I
Пролог
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Примечания

Николай I (1825-1855)

После смерти бездетного Александра I в России наступило трехнедельное бесцарствие. И только 12 декабря 1825 года на престол вступил 29-летний Николай после получения им письменного подтверждения от старшего брата Константина о добровольном отречении его от русского престола. В день обнародования манифеста о восшествии Николая I на престол на Сенатской площади Петербурга произошло восстание декабристов, отказавшихся присягнуть новому императору, оно было жестоко подавлено. Для укрепления власти было создано специальное III Отделение императорской Канцелярии и корпус жандармов во главе с Бенкендорфом. Николай I совершил ряд преобразований, в числе которых был указ о пенсиях за государственную службу, указ о запрещении продажи крепостных отдельно от семей, проведена финансовая реформа, учреждены академии Военная и Морская, открыт университет в Киеве,

построена Николаевская железная дорога.

Во внешней политике Николай I добивался благоприятного режима для России в Черном море. После войны с Турцией был заключен Адрианопольский мир, по которому Россия получила восточный берег Черного моря, а Греция независимость. Вследствие нового разрыва с Турцией, на помощь которой явились Англия, Франция и Сардиния, России пришлось выдержать с сильнейшим врагом упорную борьбу. Она сосредоточилась в Севастополе, геройски защищаемом русскими войсками. Во время осады Севастополя император Николай I скончался.

Пролог

На исходе 1852 года во дворце великой княгини Елены Павловны был блестящий раут{1}, на котором присутствовала императорская чета. Весь цвет петербургского общества и весь дипломатический корпус были здесь налицо.

Ослепительный свет люстр и карселевых ламп, прекрасное убранство дворца, богатое собрание картин, тропические растения, украшавшие лестницу и залы дворца, - все это не производило особенного впечатления на избранное общество, собравшееся у великой княгини. Вечер был, однако, очень оживлен, главным образом благодаря тому, что все с нетерпением ожидали государя. Наконец он приехал вместе с государыней.

Портрет императора Николая известен. В описываемое нами время государь был так же величествен, как и в годы юности. Правда, волосы значительно поредели, угла рта иногда подергивались, однако держался государь прямо, подняв голову, движения его были энергичны, но плавны, поступь в полном смысле слова - царская.

Декольтированные дамы, в бархатных платьях с длинными шлейфами, осыпанные жемчугом и брильянтами, кавалеры в орденах, звездах, крестах и эполетах - все почтительно останавливались при приближении статной фигуры Николая, шедшего под руку с государыней. Императрица была женщина высокого роста, с болезненным видом. Она несколько напоминала свою мать - знаменитую прусскую королеву Луизу.

Великая княгиня Елена Павловна, увидя государя и государыню, поспешила к ним навстречу своей обычной порывистой, стремительной походкой. Государыня поговорила несколько минут с хозяйкой, затем ее окружили преимущественно посланники разных немецких государств. Между ними был прусский посланник генерал Рохов, личность ограниченная, но добродушная; видом своим он напоминал старого прусского фельдфебеля и в прежнее время пользовался

неограниченным доверием императора Николая. Случалось так, что государь рассказывал Рохову вещи, которых не знал его собственный государственный канцлер граф Нессельроде{2}, и Рохов просил императора дозволить ему сообщить эти сведения русскому министру.

Был здесь и австрийский посол граф Менсдорф-Пульи{3}, вечно страдавший подагрою, честный солдат, никогда ничего не знавший о намерениях своего правительства. Однажды Менсдорф откровенно признался государю, что предпочел бы командовать бригадою в каком-нибудь венгерском городке, чем играть роль посла в Петербурге, так как в политике он ровно ничего не смыслит. Это признание очень понравилось императору. Менсдорф был недурен собою, и было время, когда многие великосветские дамы влюблялись по очереди то в него, то в итальянского певца Марио.

В последнее время как прусский посланник, так и австрийский посол впали в немилость. Дело в том, что прусский король и австрийский император условились с императором Николаем признать государственный переворот, в силу которого Наполеон III{4} стал императором Франции, но в то же время титуловать Наполеона не братом, а "добрым другом". Велико было негодование Николая, когда оказалось, что его соседи не соблюли условия и что из всех монархов Европы он один называл Наполеона так, как принято именовать президента Соединенных Штатов. Император не любил шутить и на рождественском параде 1852 года, за несколько дней до описываемого нами раута, дал волю своему гневу. В присутствии русских генералов он осыпал обоих послов упреками, говорил с ними, как с провинившимися школьниками, и прямо высказал, что в вопросе о титуле французского императора оба союзника изменили ему.

Само собою разумеется, что после этой нотации оба посла не могли рассчитывать на особое внимание государя. И действительно, он не удостоил их даже взглядом.

В группе дипломатов нетрудно было заметить маленького человека в золотых очках, из-за которых светились умные, хитрые глаза. Это был русский государственный канцлер граф Нессельроде.

Граф имел обыкновение, свойственное многим дипломатам, говорить на вечерах и балах обо всем, о чем угодно: о балете, об итальянской опере, о женщинах, к которым он был падок, несмотря на свой весьма преклонный возраст, - но только не о политике. На этот раз граф, однако, изменил своему правилу. Нессельроде вел на английском языке разговор с британским послом сэром Гамильтоном Сеймуром. Сначала они обменялись

несколькими общими фразами, но затем граф отозвал сэра Сеймура в сторону, сказав, что желает поговорить с ним о деле первостепенной важности.

- Государь просил меня передать вам, что он желает непременно переговорить с вами, мой дорогой сэр Гамильтон, - сказал Нессельроде. - Я думаю, он сам подойдет к вам. Вы не знаете государя. Благородство души его вне всякого сомнения; но государь слишком горячо принимает к сердцу все, что касается интересов восточных христиан. У вас в Англии заблуждаются, утверждая, что Россия руководствуется при этом какими-то фантастическими мечтами о гегемонии над всеми православными странами. Ничуть не бывало. Мы также вовсе не безусловные противники Франции. Вы знаете, дорогой сэр Гамильтон, что лично я был всегда даже против той политики, которую Россия вела по отношению к Франции после польского мятежа. Я всегда сочувствовал королю Луи-Филиппу, уважая в нем монархический принцип, и могу вас уверить...

- Я не вполне понимаю вас, - перебил Сеймур. - Сколько мне известно, ваш государь был доволен падением Луи-Филиппа. Теперь во Франции царствует Наполеон III, и правительству королевы было бы весьма приятно, если бы вы могли повлиять на вашего государя в том смысле, чтобы устранить всякие недоразумения между вами и нынешним французским правительством.

- Вы пессимист, дорогой сэр, никаких крупных недоразумений нет и не предвидится...

- О! - протянул англичанин. - Однако вопрос о ключе от ворот Вифлеемского храма до сих пор служит яблоком раздора между вами и Францией.

При этих словах Сеймура губы графа Нессельроде искривились в неприятную улыбку. Знаменитый спор из-за ключа всегда приводил графа в отчаяние. Граф Нессельроде был, правда, одним из деятелей эпохи Священного союза{5}. Он любил повторять, что подпись его красовалась рядом с подписями Гарденберга, Меттерниха и Веллингтона{1}. Но, с другой стороны, граф был по религии англиканского вероисповедания, по убеждениям - вольнодумец и человек в полном смысле слова светский. Священный союз был, с его точки зрения, лишь удачной дипломатической комбинацией. Граф решительно не понимал, каким образом в XIX веке, в эпоху телеграфа и паровой машины, мог быть возбужден между двумя державами спор из-за каких-то пилигримов, как он называл православных богомольцев. Ссориться с Францией в угоду нескольким греческим попам и монахам! "Да мы возвращаемся к эпохе крестовых походов", -

говаривал граф, приписывая всю эту историю интригам "старой русской партии". Но когда граф Нессельроде впервые узнал, что Наполеон III в свою очередь поддерживает претензии католических монахов, добивавшихся получить ключ от больших врат Вифлеемского храма, он был изумлен до такой степени, что первоначально не понял, в чем дело. Граф долго ломал голову, размышляя: что бы это значило? Наконец, не спросясь государя, отправил в Париж депешу, в которой писал нашему послу: "Постарайтесь узнать, идет ли речь о ключе в смысле инструмента, которым принято отворять двери, или же здесь подразумевается какой-нибудь особый ключ, например какая-нибудь эмблема!"

Но изумлению графа не было пределов, когда его уведомили, что речь идет о настоящем ключе, то есть о таком, которым принято отворять двери...

- Вы, конечно, понимаете, дорогой сэр, - продолжал граф, - что этот смешной спор между латинскими и греческими монахами уладится чисто дипломатическим путем...

- Правительство ее величества королевы только и желает этого, - сухо ответил Сеймур.

В это время к ним подошел французский посол Кастельбажак, человек уже старый, из военных, иногда бестактный и невоздержанный на язык. В первый же день своего прибытия в Петербург он на параде предложил такие неуместные вопросы, что навсегда уронил себя в мнении императора. По вступлении на престол Наполеона Кастельбажак постоянно повторял слова своего повелителя: "Империя - это мир".

Француз подошел к графу Нессельроде, а британский посол, пользуясь этим, отошел в сторону.

- Как поживаете, граф? - спросил француз, пожимая руку канцлера. Перестаньте думать о политике... Скучная материя, уверяю вас. Лучше обратите внимание на эту очаровательную блондинку. Какой роскошный бюст!

Кастельбажак был так же стар, как Нессельроде, и такой же любитель женских прелестей.

- Вы неисправимы, мой дорогой, - сказал с улыбкой Нессельроде. - Вас, кажется, более всего в мире интересуют женщины.

- Прибавьте: красивые и молодые... Уродливых и старых, вроде ваших приезжих из Москвы княгинь, я не люблю... О чем вы беседуете с Сеймуром? Он, кажется, по-прежнему сердится на вас. Право, не стоит обращать на него внимания. Недавно я сказал вашему государю: "Ваше величество, серьезный тон сэра Сеймура - это простая причуда упрямого англичанина". Государь

милостиво улыбнулся и сказал мне: "Это самое мне постоянно твердит Нессельроде".

- Разумеется, - поспешно подхватил граф. - Я весьма счастлив, что мои доводы не остались без влияния на государя... Скажу вам по секрету, что у нас никто не верит в возможность англо-французского союза.

- Конечно, этот союз - чистый вздор, - заметил Кастельбажак.

Между тем император Николай Павлович приблизился к группе немецких дипломатов. Черные фраки и мундиры со звездами нервно зашевелились. Все наперебой старались обратить на себя внимание государя и ловили каждый его взгляд. Но император, минуя разных саксен-кобург-готских коммерции-советников, подошел прямо к стоявшему одиноко сэру Гамильтону Сеймуру, дружески пожал ему руку и увлек за собою в одну из соседних зал дворца.

Сэр Сеймур резко выделялся среди товарищей-дипломатов непринужденностью обращения, которую он сумел соединить с должной долей почтительности.

В то время как в главных залах дворца гремела музыка, слышалось бряцанье шпор, шуршание шелка и бархата, в отдельной зале, где лишь изредка появлялись фигуры гостей, исчезая при внушительном взгляде императора, велась беседа между британским послом и государем.

Император говорил с жаром, делая энергические жесты, отрывистыми фразами, как бы размеренными по тактам. Британец почти все время слушал и как бы мысленно стенографировал слова Николая, видя в них важный материал для донесения в Лондон.

- Вы знаете, - говорил император, - мое отношение к Англии. То, что я вам говорил раньше, повторяю теперь. Я искренне желаю, чтобы оба государства были связаны узами теснейшей дружбы. Я уверен в том, что это возможно. Прошу вас, передайте мои слова лорду Джону Росселю{7}. Если мы будем заодно, для меня несущественно, что думают другие. Теперь я прощусь с вами.

Император снова пожал руку Сеймура, давая ему понять, что разговор окончен. Но Сеймур, почти все время молчавший, вдруг сказал:

- Государь, с вашего позволения, я осмелюсь несколько продолжить нашу беседу.

- А что такое? - спросил государь. - Говорите, я слушаю со вниманием.

- С тем условием, государь, что вы позволите мне высказать совершенно свободно мои мысли, внушенные мне вашими

последними словами.

- Разумеется. Говорите со мной вполне откровенно.

- Я был бы рад, - сказал Сеймур, - если бы ваше величество присовокупили несколько успокоительных слов насчет Турции.

Император сдвинул брови. На мгновение показалось, что слова Сеймура неприятно поразили его. После некоторого колебания он сказал твердо, по дружески:

- Вы сами знаете, что дела Турции находятся в самом дурном состоянии. Турция близка к полному распаду. Ее гибель была бы, однако, несчастьем для всей Европы. Необходимо, чтобы Англия и Россия пришли к вполне сердечному соглашению по этому вопросу и не предпринимали ничего втайне друг от друга.

- Я уверен, что британское правительство вполне разделяет этот ваш взгляд, государь, - сказал Сеймур.

- Видите ли, в чем дело, - сказал Николай. - На нашем попечении находится больной человек. Я говорю вам откровенно, что для нас было бы несчастьем, если бы этот больной человек умер, ускользнув из наших рук.

- Если я правильно понял слова вашего величества, - сказал Сеймур, - вы считаете расчленение Турции делом весьма возможным.

- Совсем напротив, - поспешно возразил император. - Я знаю, что мне приписывают какие-то завоевательные стремления. Я не разделял и не разделяю идей моей бабки императрицы Екатерины. Мое государство так обширно, что приращение территории само по себе заключает опасность. Целость Турции нимало не угрожает моим интересам. Есть другая сторона вопроса. В Турции есть несколько миллионов христиан. Есть чувства и обязанности, которых никогда нельзя терять из виду: Россия получила свет христианской веры с Востока и это налагает на нее известный долг. Я уже сказал вам: Турция больной человек. Лучше нам предупредить ее падение, нежели ждать катастрофы. Вот пункт, по которому я желал бы иметь содействие вашего правительства.

- Но, ваше величество, мне настолько известны намерения моего правительства, что я могу наперед поручиться в одном: Англия, во всяком случае, не станет предупреждать событий и ввиду одной возможности падения Турции не решится располагать судьбою своего старинного друга и союзника.

- Это хорошее правило, - возразил император. - Но все же важно, чтобы мы поняли друг друга: иначе события захватят нас врасплох. Теперь снова скажу вам с полной откровенностью: если Англия думает утвердиться в Константинополе, я этого не допущу. Я со своей стороны обещаю не трогать Константинополя.

Я говорю, конечно, о захвате. Не могу ручаться, чтобы обстоятельства не вынудили меня временно занять его...

Сэр Сеймур с минуту помолчал, ясно сознавая громадную важность последних слов государя. Наконец он сказал:

- Быть может, ваше величество точнее нас осведомлены о положении Турции. Из переписки с лордом Росселем я не вывел заключения о скорой гибели Оттоманской империи.

- Я повторяю вам, - сказал государь с оттенком нетерпения, - что больной человек умирает. Здесь является множество вопросов, которые надо решить заранее. Придунайские княжества и теперь состоят под моим покровительством. Пусть так останется. Сербия сможет устроиться таким же образом, также и Болгария. Что касается Египта, я понимаю все значение этой территории для Англии...

- Что касается Египта, - перебил Сеймур, - смею ответить, ваше величество, что Англия всегда заботилась лишь об обеспечении торгового пути в Индию...

- Хорошо, - сказал государь. - Пусть ваше правительство подумает обо всем этом. Я доверяю английскому правительству. Я не требую от ваших министров никаких письменных обязательств. Я желал бы свободного обмена мыслей и в случае надобности слова джентльмена. Этого между нами достаточно.

Сказав последние слова, государь встал, на этот раз решительно раскланялся с Сеймуром и возвратился в залу, где его ожидали с нетерпением и даже с некоторым беспокойством.

Государь пробыл еще около часа и уехал в Зимний дворец в отличном расположении духа. Было около двух часов пополуночи, когда Николай Павлович вошел в свою спальню. Старик камердинер сладко спал в прихожей, в кожаном кресле. Николай Павлович не стал будить его, вошел один, прилепил восковую свечу к выдвижной дощечке, сделанной в киоте, и, став на колени, долго молился. Раздевшись без посторонней помощи и потушив свечу, он лег на складную походную постель и укрылся вместо одеяла офицерской шинелью.

Шестнадцатого февраля 1853 года прибыл в Константинополь на пароходо-фрегате{8} "Громоносец" российский чрезвычайный посол генерал-адъютант, адмирал и сверх всего светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков{9}, потомок известного петровского фаворита.

Меншиков был одним из наиболее доверенных лиц государя. Его считали скупым, но, подобно Орлову, он пользовался репутацией безукоризненной честности, что при тогдашнем взяточничестве и казнокрадстве, проникавшем в самые высшие сферы, было качеством весьма важным. Государь долго

колебался, кого послать в Константинополь: Орлова{10} или Меншикова? Избрав последнего, Николай Павлович перед отъездом князя из Петербурга дал ему несколько общих наставлений. Между прочим, Николай Павлович заметил Меншикову, что его серьезно огорчают слухи о вольнодумстве князя.

- Это клевету изобрели мои враги, - сказал Меншиков. - Меня не любят за то, что я всем говорю правду.

- Помни, Александр Сергеевич, что ты едешь защищать православную веру, - сказал ему государь на прощание.

Пароход "Громоносец", на котором ехал Меншиков, приближался к Буюкдере{11}, предместью, где находился летний дворец русского посольства. "Громоносец" постепенно убавлял ход. Навстречу ему вышел пароход "Грозный", на котором ехал чиновник Озеров, временно управлявший делами русского посольства.

Меншиков стоял на палубе вместе с вице-адмиралом Корниловым{12}, окруженный блестящею свитою, преимущественно из гвардейских офицеров. Князь говорил своим неприятным, несколько дребезжащим голосом с молодыми адъютантами, из которых многие видели Константинополь в первый раз, и читал им целую лекцию о достопримечательностях города. Князь отличался энциклопедическим образованием.

Меншиков был высокий старик, весьма преклонных лет, но еще вполне бодрый, с седыми усами и густыми седыми бровями, из-под которых светились умные синие глаза. Саркастическая улыбка редко сходила с лица его, и князь постоянно язвил кого-нибудь и отпускал различные остроты. Ермолов{13} сказал о нем однажды, что Меншикову не надо бритвы, так как ему достаточно высунуть язык, чтобы побриться.

Оба русских парохода прибыли в Топ-Хане - часть города, получившую свое название от пушечно-литейного завода. Берег перед зимним дворцом русского посольства был усеян многочисленной толпою. Впереди всех виднелись верхами чиновники русского посольства. В пестрой толпе, состоявшей из греков, армян, турок, болгар, замечалось также несколько всадников с дамами в амазонках: в них нетрудно было узнать англичан.

Меншиков сошел на берег и со всею свитою направился во дворец. Его неприятно поразило то, что навстречу ему не явился ни один из высших турецких сановников.

- Турки, кажется, не знают простейших правил вежливости, - сказал князь, обращаясь к управляющему посольством Озерову. - Ни один из их министров не удостоил встречей посла государя

императора. Мне не нужна их любезность, но в моем лице они наносят оскорбление русскому имени.

Прибывший с Озеровым первый драгоман{14} посольства, грек Аргиропуло, возразил на это:

- Ваша светлость, у турок не в обычае встречать, как в России, с хлебом и солью. Здешнее гостеприимство другого рода. Турок больше всего боится обеспокоить гостя. Завтра утром, без всякого сомнения, сам султан пришлет к вашей светлости своего церемониймейстера с поздравлениями.

- Может быть... Но я вообще боюсь, что мне придется ссориться с этими господами, - сказал Меншиков. - Я изучил натуру жителей Востока. Чем более им давать поблажки, тем хуже. Впрочем, я здесь все переделаю по-своему. Вы слишком избаловали их.

Чиновники слушали с почтительно вытянутыми лицами.

Драгоман не ошибся. На следующий день султан прислал к Меншикову своего церемониймейстера Киамиль-бея.

Меншиков, часто страдавший бессонницей, плохо провел ночь, встал рано и не в духе. Когда ему доложили о прибытии Киамиль-бея, князь сказал:

- Пускай подождет немного: баловать их не следует.

- Кроме того, ваша светлость, - сказал явившийся с докладом адъютант, к вам пожаловал греческий патриарх. Не прикажете ли сначала принять его?

Меншиков, по-видимому, размышлял и не давал ответа.

- Осмелюсь высказать мое мнение, ваша светлость, - сказал бывший тут же Озеров. - Мне кажется, что предпочтение, оказанное патриарху, могло бы иметь самое выгодное влияние на умы здешних христиан.

- Нет, ваше превосходительство, - сказал Меншиков, - я совсем не приму этого монаха... И без него довольно дела. Я и наших русских монахов не люблю, а эти, афонские, - это большей частью интриганы и попрошайки.

Адъютант удалился.

Несколько дней спустя Меншиков посетил великого визиря, совершенно пренебрегая турецким министром иностранных дел Фуадом-эфенди. Тогда случилось нечто небывалое в Оттоманской империи. Фуад-эфенди, оскорбленный оказанным ему невниманием, подал в отставку. Вслед за тем Меншиков стал требовать от великого визиря, чтобы султан принимал его в серале без предварительного доклада. Великий визирь заявил, что это противно правилам этикета. Когда турецкий сановник удалился, Меншиков, обратясь к своим подчиненным, сказал:

- Ну, господа, я вижу, что мне придется вскоре выезжать

упрямую лошадь, называемую султаном.

В начале марта Меншиков имел аудиенцию у султана в Чараганском дворце. Русский посол был введен в приемную султанскую залу. Султан сидел на углу дивана: он был в темно-фиолетовом кафтане казацкого покроя. При приближении Меншикова султан встал и по-европейски подал князю руку.

После обычных расспросов о здоровье русского императора султан сказал Меншикову через драгомана:

- Я знаю, что вы, русские, - гордецы и не любите, когда вам делают подарки. Но все же я счел бы себя счастливым, если бы вы приняли от меня ничтожный дар, свидетельствующий лишь о той радости, которую я испытываю, видя вас.

При этих словах церемониймейстер поднес Меншикову драгоценные подарки. Меншиков сухо поблагодарил и обратился к султану с просьбой принимать его впредь без особого доклада.

Султан был несколько смущен поведением Меншикова, но обещал исполнить его желание.

Вслед за тем Меншиков прямо приступил к заявлению требований России.

- Государь император, - сказал Меншиков, - крайне недоволен поведением слуг вашего величества, которые не исполняют повелений, собственного своего правительства.

Меншиков пояснил, что, несмотря на повторенные обещания Порты, вопрос о святых местах остался в прежнем положении. Султан отвечал с обычной азиатской уклончивостью. Он поблагодарил Меншикова за то, что чистосердечие русского посла сняло с его собственных глаз завесу; но при этом тонко намекнул на то обстоятельство, что по дошедшим до него слухам пятый корпус под командою Данненберга{15} приблизился к границам Молдавии, а это, сказал султан, несовместимо с чувством высокого уважения, которое он питает к особе государя императора.

Меншиков резко отвечал, что султану донесли ложно о движении русских войск и что Данненберг командует четвертым корпусом, а не пятым.

Это весьма раздосадовало султана, который хвалился тем, что знает войска иностранных держав не хуже своих собственных.

В конце разговора Меншиков прямо заявил, что Россия не остановится ни перед какими мерами, которые ей укажет необходимость.

По уходе Меншикова Блистательной Портой овладела паника. Немедленно был созван совет министров, было решено ждать прибытия английского посла лорда Стратфорда{16}, а до тех пор по возможности тянуть переговоры.

С прибытием лорда Стратфорда дела приняли совсем иной оборот. Меншиков вскоре почувствовал могущество и ловкость своего соперника. Меншиков сердился, угрожал, затем, видя бесплодность своих переговоров с Портой, стал советоваться с лордом Стратфордом и постепенно делал уступки. Наконец к началу апреля знаменитый вопрос о святых местах, по-видимому, пришел к благополучному решению.

Князь Меншиков сидел в своем кабинете и самодовольно читал ноту, только что полученную от британского посла, в которой лорд Стратфорд заявлял, что убедил своего французского товарища согласиться на все уступки, лежащие в пределах возможного; лорд Стратфорд, обратно, просил Меншикова уступить по некоторым пунктам из уважения к национальному самолюбию французов.

С французским посольством Меншиков был в враждебных отношениях, особенно после того, когда подтвердилось известие о приближении французского флота к Саламину. Лорд Стратфорд все время играл роль миротворца, и князь Меншиков стал наконец ему верить.

- В самом деле, - говаривал он, - пора кончить эту комедию... Тем более что мы теперь стали господами положения.

Вдруг из Петербурга были получены важные депеши: одна - от Нессельроде, другая - от государя. Прочитав депешу императора, Меншиков изменился в лице. До сих пор он был твердо уверен, что действует вполне в духе государя, и вдруг ему ставится на вид, что он тратит время на пустые переговоры, тогда как Франция посылает флот, а коварная Англия управляет Портой при посредстве ненавистного государю бывшего сэра Каннинга, которого Николай Павлович когда-то не хотел принять послом в Петербурге и которому так и не давал полученного им титула лорда Стратфорда.

- Решительно не могу понять, чего от меня хотят в Петербурге! жаловался Меншиков одному из своих адъютантов. - Кажется, я действую с достаточной 'твердостью. Там, в Петербурге, судят обо всем по болтовне иностранных газет да, быть может, по письмам недовольных мною чиновников, у которых есть при дворе тетушки и кузины. Нет, это просто из рук вон! Работать, трудиться - и видеть такую оценку своей деятельности.

- История оправдает вас, ваша светлость, - сказал льстивый адъютант.

- Я об этом не забочусь, братец. Может случиться, что историю напишут такие люди, которые предпочтут нам с тобою Клейнмихеля{17}, а то еще, пожалуй (князь, несмотря на весь

свой аристократизм, произнес при этом выражение, неудобное в печати)... вроде покойного Дибича{18}. Но я не хлопочу об этом. Пусть пишут и осуждают.

Под влиянием депеш из Петербурга Меншиков удвоил энергию. Он давно уже добивался новой аудиенции у султана, но султан, подчиняясь тайным внушениям лорда Стратфорда, все откладывал со дня на день, ссылаясь на траур, соблюдаемый по случаю смерти матери его - султанши-валидэ.

Меншиков наконец потерял терпение.

- Надо показать этому упрямому коню хлыст! - говорил он своим приближенным.

На следующий день Меншиков в буквальном смысле показал хлыст если не султану, то, по крайней мере, константинопольской уличной толпе и турецким солдатам. Султан, желая несколько смягчить впечатление, произведенное отсрочкой аудиенции, велел назначить специально для Меншикова смотр войскам. Отчасти им руководила при этом мысль показать русскому послу исправное состояние турецкой армии. Меншиков, вместо того чтобы явиться в парадной форме, приехал в пальто и с хлыстиком в руке, что произвело невероятный скандал.

Решид-паша, недавно назначенный министром иностранных дел, сидел, поджав ноги, на своей малиновой софе и курил чубук, опирая его конец о бронзовую подставку, как вдруг к нему вошел дворецкий, ведя за собою старика армянина. Старик низко поклонился министру.

В продолжение нескольких минут паша из важности продолжал курить, затем выпустил чубук изо рта и сказал:

- Послушай, старик, можешь ли ты сделать серебряную посуду?

- Отчего же нет, сиятельный паша. Я часто выделывал серебряные блюда для знатных франков, проживающих в Пере.

- Но можешь ли ты мне сделать четыре дюжины тарелок и дюжину блюд к завтрашнему дню?

- Это невозможно, сиятельный паша...

- Но если тебе заплатят вдвое дороже стоимости?

- Все же невозможно... Раньше будущей недели я не могу выполнить подобный заказ.

- Хорошо, даю тебе три дня на работу. Но, клянусь бородою пророка, если к тому времени заказ не будет исполнен, ты получишь вместо награды сто палок по пятам.

- Будет готово, сиятельный паша!

- Хорошо. Сколько же ты хочешь?

Начался торг. Армянин заломил невозможную цену, но под

конец понизил ее вдвое. Когда старик удалился, дворецкий обратился к паше:

- Осмелюсь ли спросить своего господина, зачем нам серебряная посуда? Пророк воспретил нам есть на серебре и золоте, и боюсь, чтобы это не возбудило новых толков. И без того в народе уже ропщут, говоря, что мы отступили от веры предков...

- Не бойся, старик, эта посуда предназначается не для меня. Я должен дать обед послам Франции и Англии.

Дворецкий покачал головой.

- А где же мы достанем денег для уплаты армянину?

- Неужели мы еще не получили дани с моих болгарских поместий? - сказал запальчиво паша. - Сейчас распорядись о том, чтобы старшин били по пятам до тех пор, пока я не получу всей суммы. Негодные собаки! Посмотри, какие дукаты надевают их жены и дочери по праздникам! А для паши нет денег! Да, пожалуй, продай на рынке тех трех рабынь, о которых я тебе говорил вчера. Они уже так стары, что годятся разве для какого-нибудь купца или ремесленника: им не место в моем гареме.

В объявленный день в загородном доме Решид-паши собралось множество гостей. Кроме турок прибыли многие из чиновников английского посольства и вновь назначенный французский посол де Ла-Кур{19} со своею свитой.

Лорд Стратфорд к обеду не явился. Он прислал уведомление, что приедет только вечером.

Де Ла-Кур, честолюбивый и высокомерный француз, был вполне уверен, что пиршество дается специально в честь его приезда. На самом деле Решид-паша был весьма огорчен отсутствием лорда Стратфорда, но, конечно, не подал и виду и уверял де Ла-Кура, что этот день счастливейший в его жизни. Де. Ла-Кур говорил без умолку, весьма довольный привычкою турок молча курить чубуки и слушать гостя.

К четырем часам был подан обед в полуевропейском, полутурецком вкусе. Для европейцев посуда была серебряная, для турок - фаянсовая. Перед приборами европейцев не было бутылок с винами во избежание злых толков. Вместо того ловкие слуги подавали стаканы с винами и с шербетом такого же цвета, причем вина подавались европейцам, а шербет - туркам, хотя вообще не принято подавать шербет за обедом. Вилки и ножи лежали у каждого прибора из внимания к европейскому обычаю, запрещающему есть руками. Забавно было видеть, как иной старый турок пыхтел, тыкая вилкой, пока наконец его не прошибал пот, и затем украдкой начинал есть руками. Всего было подано до двадцати блюд, в том числе неизменный пилав. Само собою разумеется, что ни одна женщина не осквернила своим

присутствием этой трапезы.

После обеда сели курить. Мальчишки-чубуки искусно подавали зажженные трубки. Затем паша увеселял своих гостей пляскою красивых мальчиков. Французы неистово аплодировали и кричали "браво". Англичане стучали ногами и чубуками. Турки, если можно так выразиться, превратились в зрение, следя за сладострастными движениями танцоров.

Поздно вечером, когда гости стали разъезжаться, прибыл наконец лорд Стратфорд.

- Да будет благословен Аллах, приводящий ко мне такого гостя, - сказал по-французски Решид-паша, отводя британского посла в сторону. - Я уже говорил с де Ла-Куром. Он обнадеживает меня, уверяя, что Франция не ограничится словами. Но мне что-то плохо верится... Я надеюсь только на милость Аллаха и на вас.

Затем Решид-паша попросил лорда Стратфорда удалиться с ним в соседнюю комнату и показал британскому послу последнюю ноту Меншикова. В этой ноте Меншиков приглашал Порту отложить в сторону всякие колебания и недоверие, "оскорбительное для достоинства и благородных чувств государя императора", и заявил, что, если Решид-паша не даст ответа на требования России до следующего вторника, он сочтет это оскорблением своему правительству.

- Неужели вы, паша, еще не привыкли к русским угрозам?! - сказал лорд Стратфорд. - Вы старый дипломат и должны быть знакомы с обычными приемами русской дипломатии. Она угрожает, пока видит слабость, и уступает, встречая сколько-нибудь деятельный отпор. Советую вам оставаться по-прежнему учтивым, но непреклонным и желаю, чтобы в глазах всей Европы Турция оказалась страной, обладающей терпением и кротостью ангела, но вместе с тем и дьявольским упрямством.

Последние слова лорд произнес, ковыряя во рту зубочисткой, которую достал из бокового кармана, потом сел на софу, положив одну ногу на другую, и закурил вместо чубука сигару.

- Я также состою в переписке с этим русским медведем, - сказал лорд. Он написал мне недавно, что терпение России истощилось и что он не может хладнокровно подчиниться второстепенной роли, к которой низведено русское посольство благодаря моему прибытию сюда. Я написал ему в ответ очень любезное письмо, указав, что он уклоняется от тех начал справедливости и умеренности, которые всегда отличали царствование императора Николая.

- Вашими устами говорит сама мудрость! - воскликнул паша. - У нас все высоко чтут русского императора. Мы уверены, что князь превзошел данные ему полномочия. Но все же дайте нам

совет!

- Я дам вам совет, - сказал англичанин, продолжая ковырять в зубах, но с условием: вы не должны от меня скрывать ничего. Я знаю, что Меншиков давно предлагал вам союз с Россией, если вы откажетесь от дружбы с Англией. Вы видите, что скрывать от меня что-либо бесполезно и даже вредно для самой Порты.

Паша поклялся, что более о союзе с Россией не было речи и что, наоборот, Меншиков с каждым днем принимает все более угрожающий тон и даже намекает на возможность перехода русской армии через Дунай.

- Если дело зашло так далеко, - сказал лорд, - я могу посоветовать вам лишь одно. Начните с Меншиковым переговоры относительно его новых требований, а тем временем пусть ваш государь сделает от себя все, что необходимо для действительного обеспечения интересов всех его христианских подданных. У вас дурная администрация, об этом я говорил не раз.

- Вы знаете, милорд, - воскликнул Решид-паша, - мои убеждения по этому вопросу! Я всегда напоминаю своему повелителю стих Корана, в котором сказано: "Всякий, исполняющий заповеди Бога, будь он даже не мусульманин, достоин названия праведника".

- Теперь требуется с вашей стороны полное хладнокровие, - сказал лорд Стратфорд.

В это время подул сильный ветер сквозь открытые окна и чуть не загасил свечей, освещавших комнату. Под самыми окнами шумели волны Босфора, так близко, что с порывом ветра влетели в комнату брызги морской пены.

- Слышите плеск волн? - сказал лорд, высовываясь в окно и любуясь чудным видом. - Этот шум должен вам напоминать, мой дорогой паша, о существовании английского флага, а до тех пор, пока этот флаг поднят высоко, он не допустит господства России не только в водах Босфора, но и на Черном море. Помните это и будьте тверды, несмотря ни на какие угрозы!

На следующее утро Решид-паша получил от Меншикова гневное письмо с требованием немедленно .ответить на его последнюю ноту. Решид-паша просил отсрочки еще на несколько дней по случаю своего недавнего вступления на пост министра и недостаточного знакомства с делом. Меншиков прислал второе письмо, в котором объявил, что более ждать не намерен.

Срок, назначенный самим Решид-пашою, близился к концу, но еще до истечения его Меншиков получил из Петербурга новые депеши.

Сказать правду, в Петербурге имели довольно смутное

представление о действиях Меншикова. Сам князь не мог не сознавать, что, например, его требование для России права сменять константинопольских патриархов выходит за пределы данных ему инструкций. С другой стороны, в Петербурге желали, чтобы Меншиков прекратил всякие переговоры с британским посольством. Меншиков отлично видел, что это невозможно, так как турецкие министры лишь повторяли то, что им подсказывал лорд Стратфорд.

Прочитав депеши из Петербурга, князь глубоко вздохнул. Он уже собирался сочинить очередную ноту, как вдруг вошел чиновник с новым пакетом. Князь распечатал, прочел. Лицо его исказилось от гнева. Действительно, было от чего рассердиться: Решид-паша в утонченно льстивых выражениях уведомил князя, что турецкий Диван большинством, сорок два голоса против трех, отверг проект, предложенный Меншиковым для подписи султана.

Итак, несмотря на то что Меншиков вопреки воле государя согласился на предварительный просмотр проекта лордом Стратфордом, несмотря на сделанные им уступки и на уничтожение пункта относительно константинопольских патриархов, несмотря на уничтожение самого выражения: "религиозное протекторство", - все было проиграно. Порта отвергла" всякое соглашение, имеющее характер договора с Россией, хотя и не отказывалась подтвердить некоторые привилегии, издревле принадлежавшие православным подданным Порты. Это было уже слишком. Дипломатическое поприще Меншикова, начавшееся с таким шумом и блеском, грозило окончиться плачевным фиаско.

Оставалось одно: угрожать султану самыми энергичными мерами со стороны России. Меншиков немедленно написал в Петербург и в то же время объявил Порте, что прекращает все дипломатические сношения. Правда, эта угроза была выполнена лишь наполовину, так как и после нее Меншиков отправил Порте несколько грозных нот. Приближалось, однако, время, когда от слов переходят к действиям.

Часть первая

I

Был один из тех теплых октябрьских дней, которые для севастопольских жителей не составляют диковинки. В воздухе доходило до семнадцати градусов тепла, и купальный сезон все еще продолжался.

В небольшом, но красивом саду, внутри чугунной ограды, которою обведено трехэтажное здание морской офицерской библиотеки, гуляла публика, по преимуществу моряки и дамы. Холм, увенчанный зданием библиотеки, - одно из выдающиеся

мест Севастополя, напоминающее Афинский акрополь.

В числе гулявших были два офицера: один - переведенный сюда с Балтийского флота мичман Лихачев, другой - граф Татищев, бывший кавалергард, изумивший всех своих петербургских и московских родственников и знакомых внезапным и, по-видимому, беспричинным переводом в артиллерию. Он служил в четырнадцатой артиллерийской бригаде, часть которой в то время стояла близ Севастополя. Лихачев был краснощекий, белобрысый юноша с едва пробивавшимися усиками, вечно веселый, конфузливый, из типа маменькиных сынков. И действительно, он был единственным сыном смоленской помещицы, имевшей кроме него лишь несколько дочерей. Татищев был всего годом старше юного мичмана, но выглядел гораздо старее его. Сын коренного русского аристократа и балетной танцовщицы, он унаследовал от отца барские привычки и манеры, но типом лица, смуглотою кожи, черными глазами и темными, слегка вьющимися волосами напоминал мать, уроженку Южной Франции. Матери он, впрочем, не помнил, так как потерял ее, еще бывши грудным младенцем. Отсутствие материнских ласк, жизнь в детской под присмотром многочисленных нянек, бонн, гувернанток и гувернеров, а впоследствии жизнь с отцом, постоянно странствовавшим по европейским столицам и модным курортам и тратившим бешеные деньги на итальянских певиц и на французских кокоток, - все это выработало в молодом графе характер резкий, полный противоречий, и некоторую черствость, прикрытую манерами, приобретенными от чопорных англичанок, вертлявых француженок и от всей той блестящей среды, в которой он вращался с раннего детства. В фигуре и в лице молодого графа было что-то слишком зрелое, сказывалось раннее пресыщение жизнью и насмешливое отношение ко всему окружающему. И теперь, несмотря на любезность его тона, было ясно, что он выслушивает болтовню юного мичмана полуснисходительно, полунасмешливо. В батарее Татищев резко выделялся между товарищами. Батарейный командир, старый фронтовик, не любивший петербургских слетков и в особенности не терпевший гвардейцев, говаривал, что даже в манере отдания чести высшим начальникам у графа обнаруживается вольнодумство. Армейские офицеры, новые товарищи Татищева, говорили, что граф корчит из себя лермонтовского Печорина, но это было не совсем справедливо: Татищев мало увлекался Лермонтовым, предпочитая ему английских поэтов. Любимым его автором был лорд Байрон.

С мичманом Лихачевым граф познакомился случайно, за

несколько лет до начала нашего рассказа, когда вздумал посетить смоленское имение своего отца, бывшее по соседству с имением Лихачевых. Охотясь с борзыми за зайцами, граф сильно напугал гулявших в поле барышень. Подоспевший Лихачев, в то время еще гардемарин{20}, хотел уже рыцарски защитить сестер и проучить незнакомого охотника, но граф назвал себя, рассыпался в любезностях и извинениях, а на следующий день приехал к старухе Лихачевой с целью еще раз извиниться за свою неосторожность. С этого и завязалось знакомство графа с молодым моряком, оставшееся, впрочем, довольно поверхностным.

Теперь, встретившись с графом в Севастополе, Лихачев был от души обрадован, так как почти не имел знакомых в городе, если не считать товарищей.

- Уж хоть бы вы меня познакомили с кем-нибудь, - наивно упрашивал он графа, который был принят в лучшем севастопольском обществе.

- С кем бы вас познакомить? У адмирала Станюковича{21} вам будет скучно. Ах, вот идея! Вы, конечно, поклонник женской красоты? Я могу познакомить вас с семьей, где есть целый цветник хороших женских головок.

- Если хорошее семейство, буду очень рад, - с напускной серьезностью сказал мичман.

- Семейство прекрасное... Правда, некоторые из здешних чиновников и сановных лиц у них не бывают; но надо отдать справедливость большинству севастопольцев, они не отворачиваются от людей, случайно попавших в беду. Здесь нет той подлости, как в столицах, где вчерашние знакомые не замечают вас, если вы попали в немилость не только у сильных мира сего, но у какого-нибудь камер-лакея. Здесь люди более искренни, и нет еще этой ужасной погони за карьерой, этого честолюбия, соединенного с холопством, этих европейских манер, прикрывающих азиатские вкусы.

Лихачев равнодушно слушал эту тираду и, когда граф кончил, спросил:

- А что, они блондинки или брюнетки?

- Да вы сначала полюбопытствуйте узнать, о каком семействе идет речь. Я хочу познакомить вас с семьею бывшего коменданта Н-ской крепости генерала Миндена. Старик живет теперь в Севастополе. У него три дочери, одна лучше другой. Я случайно познакомился с мужем одной из них, моряком Панковым, а через него попал и к Минденам.

- Так дочери уже замужние? - с некоторым разочарованием спросил Лихачев.

- Успокойтесь, останется и на вашу долю. Есть и девицы. Одна блондинка, настоящая гетевская Маргарита, у другой - темно-русые волосы, вишнево-красные губки и чудные голубые глаза. Вторая к тому же хорошая музыкантша. Одно странно: та, которую я назвал Маргаритой, гораздо менее сентиментальна, чем вторая.

- Когда вы судите о красоте, я вам верю, граф... Вы столько лет прожили в европейских столицах, что, вероятно, присмотрелись... Я, положим, был в плавании, но это не то: иной раз по нескольку месяцев не видишь женщин, а потом как выйдешь на берег, так даже косоглазая китаянка, или саженного роста сандвичанка с кожей цвета невычищенного сапожного голенища покажется красавицей... Совсем вкус теряешь.

- Полагаю, что дочери генерала Миндена несколько исправят ваш вкус, сказал граф, слегка зевнув.

- Но я, признаться, не понял, - спросил вдруг Лихачев, - почему у этих, по вашим словам, милых людей многие не бывают?

- О чем же вы мечтали во время моего рассказа? Объясняю вам подробнее. Да просто "потому, что старик Минден состоит под судом за какие-то злоупотребления, допущенные им в крепости. В чем именно его обвиняют, я не знаю: помнится, что-то мне рассказывали о каких-то сельдях. Возмутительно то, что эти чиновники, переставшие кланяться старому генералу, сами, по всей вероятности, ежедневно воруют и берут взятки, чего старик не делал. Но, повторяю, не все здесь так относятся. В особенности молодежь бывает у них преисправно.

- Расскажите мне еще что-нибудь о барышнях.

- Что же вам еще сказать? Одна похожа на отца, совсем обрусевшего немца, другая - на мать, Луизу Карловну, немку не совсем обрусевшую и порою коверкающую русский язык.

- Вот тебе раз! Вы начали за здравие, а кончили за упокой! Пожалуй, и барышни говорят только по-немецки, а я на этом языке всего-то и знаю: мейн либер Августьхен.

- Не бойтесь, я только пошутил, Луиза Карловна прекрасная женщина. Барышни воспитывались в одесском институте и говорят по-русски и по-французски весьма изрядно. Да и отец их только потому похож на немца, что из всех газет, кроме "Русского инвалида", читает "Bombardier", немецкую газетку, издаваемую, кажется, в Риге, специально для живущих в России немецких колонистов... Да вы поскорее знакомьтесь: если верить английским газетам, наш флот не сегодня-завтра отплывет из Севастополя.

- Да и у нас поговаривают, - сказал Лихачев, тщетно стараясь

закрутить свои едва заметные усы. - Но ведь война еще не объявлена, да, пожалуй, так и не объявят. Что-то давно толкуют о войне, а между тем слухи не оправдываются. А жаль! Мы бы показали себя не только туркам, но и англичанам.

- О турках не стану спорить, они плохие моряки, - заметил граф. - Но с англичанами я не желал бы вам встретиться.

- Вы известный англоман, граф. Вот уж на что наш Владимир Алексеевич, как он строг и к нам, и к самому себе, а я недавно слышал его резкие замечания об английском флоте.

- Не знаю... Я бываю у Корниловых чуть ли не каждый день и не раз слышал от адмирала слова: "Неуважение к врагу доказывает неуважение к самому себе". Эти слова не мешало бы помнить большинству наших молодых офицеров.

- Да ведь как бы вам сказать, - смущенно ответил Лихачев. - Конечно, англичане отличные моряки, но поверьте, что и мы не посрамим земли Русской... Ах, посмотрите, какая хорошенькая! - вдруг сказал он, совершенно забыв о предмете разговора, так поразила его дама, шедшая под руку с артиллерийским офицером.

- Это Хлапонина, под руку с мужем. Новобрачные, медовый месяц справляют. Я с ними несколько знаком, - сказал Татищев, приложивший руку к козырьку при приближении офицера. Дама поклонилась и улыбнулась ему. - Он, говорят, скоро получит батарею, - добавил граф, когда счастливая парочка удалилась. - Способный офицер!

- Какой вы счастливец, у вас столько знакомых, и все хорошенькие дамы и девицы. Так познакомьте меня хоть с этими Минденами, а то, право, здесь пропадешь со скуки...

II

Генерал Минден недавно поселился в Севастополе. В обществе было немало толков по поводу его приезда, так как все знали, что бывший комендант Н-ской крепости уже несколько лет состоит под судом по знаменитому делу о ловле сельдей. За исключением двух-трех его личных врагов, все относились к Миндену как к человеку, невинно пострадавшему. Семья генерала вскоре приобрела в Севастополе обширный круг знакомства, особенно среди молодежи, ухаживавшей за хорошенькими дочерями генерала, недавно вышедшими из института.

Весною 1853 года генерал привез жену и старшую замужнюю дочь в Севастополь, а сам уехал в Одессу, частью с целью хлопотать по своему делу, частью же с тем, чтобы провожать из Одессы в Севастополь двух младших дочерей, шестнадцатилетних близнецов Лизу и Сашу, которые оканчивали курс в институте.

Нельзя сказать, чтобы уголовное следствие и ожидание

приговора суда остались без влияния на здоровье генерала Миндена. Никому не приятно состоять под судом, для человека же солидных лет и в солидных чинах это иногда бывает хуже ссылки. Старик Минден утешал себя тем, что в его жизни был уже случай, когда вся его служба висела на волоске. Об этом случае не мешает сказать несколько слов для характеристики нравов того времени и по связи этого события с дальнейшей судьбою Минденов.

В тридцатых годах нынешнего столетия на юге России происходила борьба между двумя богатыми вельможами: князем Воронцовым, бывшим в то время военным генерал-губернатором Новороссийского края, и графом Муравьевым, тогдашним командиром 5-го корпуса{22}. Как истые джентльмены, оба противника никогда не чернили друг друга, но каждый из них писал в Петербург донесения о злоупотреблениях, совершаемых подчиненными другого. Следствием этих донесений было то, что император Николай Павлович узнал о существовании в южных губерниях страшного казнокрадства, особенно в портовых городах, где сотнями пудов исчезала медь, употребляемая для обшивки кораблей, не говоря уже о досках и тому подобных пустяках. Князь Воронцов обвинял в воровстве пехоту, которая занимала караулы в Одессе, Николаеве и Севастополе; граф Муравьев доносил о распущенности одесских команд и арестантов, вверенных князю Воронцову. Спор между противниками долго не приводил ни к какому результату.

Оба были сильны положением при дворе, связями и богатством. Но вдруг борьба между новороссийскими Монтекки и Капулетти (как называли в шутку Муравьевых и Воронцовых) разрешилась самым неожиданным образом.

В 1837 году император Николай проездом на Кавказ был в Крыму. В Севастополе был назначен высочайший смотр пятому корпусу. Государь предпринял поездку в Крым и на Кавказ, главным образом, с целью лично удостовериться в верности слухов о злоупотреблениях. Он был в самом мрачном настроении духа. Вначале смотр был удачен, но как только начались сложные построения, со стороны офицеров произошло несколько ошибок. При захождении повзводно один из офицеров, вместо того чтобы идти на заходящий фланг, направился к середине взвода. Государь сдвинул брови и выслал виновного за фронт. Вслед за тем один поручик сделал ошибку при захождении колонны правым плечом. Государь подозвал командовавшего батальоном и отрывисто спросил, указывая на поручика:

- Откуда вы взяли этого молодца?

- Он недавно переведен к нам из Тобольского полка, ваше

императорское величество.

- Отправить его в Тобольский же полк на гауптвахту! - сказал государь и, обратившись к графу Муравьеву, прибавил с неудовольствием: - Я не люблю, когда офицеров переводят без толку. Чтобы впредь этого не было!

Наконец дошла очередь и до генерала Миндена, бывшего в то время бригадным командиром.

Государь заметил, что солдаты одной роты при церемониальном марше шли не в такт музыке. Дело в том, что генерал Минден, сам большой любитель и знаток музыки, ввел в звуки марша какой-то новый мотив, а солдаты не успели приладиться к незнакомым звукам. Вместо сюрприза, который готовил государю Минден, вышел полный скандал.

Посмотрев несколько минут, император Николай сказал громовым голосом: "Стой! Скверно!"

Генерал Минден совсем некстати вздумал обратиться к государю с оправданием.

- Я вас, сударь, прошу молчать, - сказал государь. - Терпеть не могу, когда умничают!

Этот смотр решил участь спора между двумя вельможами и вместе с тем участь Миндена. Были уволены от службы сам командир корпуса граф Муравьев и трое генералов.

Впрочем, как часто бывает в подобных случаях, наиболее пострадали наименее виновные, и в числе их Минден. Граф Муравьев не был слишком огорчен отставкой. Он снял свои ордена, надел щегольское штатское платье и стал разгуливать по Москве с тросточкой. Падшие начальники дивизий разъехались в свои богатые имения, а бригадный командир Минден, обремененный семьей и живший единственно с жалованья, должен был в буквальном смысле слова искать средств к пропитанию.

Наконец генеральша Луиза Карловна, энергичная и смелая немка, решилась на последнее средство. Она собрала все свои пожитки и отправилась с двумя дочерьми-близнецами в Одессу. Зная, что Воронцов был косвенным образом виновником несчастья ее мужа, Луиза Карловна решилась обратиться прямо к нему.

Представившись князю Воронцову, Луиза Карловна откровенно объяснила ему положение мужа и просила помощи. Воронцов был глубоко тронут, принял близко к сердцу ее дело и взялся сам хлопотать в Петербурге.

Вскоре Минден был назначен комендантом Н-ской крепости, а дочери его были приняты в одесский институт.

Таким образом, первый печальный случай в истории

служебной карьеры генерала Миндена закончился к еще большему благополучию семьи. Но как ни утешал себя генерал этим воспоминанием, он сам плохо верил в возможность вторичного счастливого исхода. История с сельдями угрожала ему, по меньшей мере, окончательным увольнением от службы с потерею права на пенсию.

Генерал постарел, совсем поседел и осунулся. По целым дням он медленно шагал по комнатам, волоча ноги, и все его мысли вращались около одного предмета:

"Под суд! И как подумаешь, из-за чего! По доносу жалкого писаришки, которого я же обогрел и приютил! Из-за нескольких бочонков сельдей!"

Минден был глубоко убежден в своей полной правоте. А дело было вот в чем. До сведения государя не раз доходило, что начальствующие лица пользуются солдатами, как своими крепостными, употребляя их на разные работы по своей личной надобности. Генерал Минден был не совсем безгрешен по этой части. У него солдаты постоянно работали в садике и на огороде. Он любил цветы, а Луиза Карловна была хорошая хозяйка. Иногда генерал снаряжал солдат для ловли знаменитых местных сельдей, до которых был большой охотник.

Практичная Луиза Карловна не удовольствовалась этим, она солила сельдей целыми бочонками и несколько таких бочонков потихоньку продала евреям. Минден мало вмешивался в дела жены. Он по целым дням сидел в своем кабинете, писал, читал и только по вечерам составлял вист с приятелями.

Комендант был за картами серьезен, а после карт и закуски бывал разговорчив, очень любезен, часто рассказывал о походе в Париж, о Наполеоне и об императоре Александре.

По доносу своего письмоводителя генерал Минден был отдан под суд "за употребление казенных людей и солдат на свои собственные надобности". Следствие тянулось бесконечно.

С приездом двух молодых девушек небольшая, но уютная квартира Минденов оживилась, и даже угрюмый генерал стал как будто веселее. Их стали посещать флотские и армейские офицеры, инженеры, врачи.

Обе сестры, особенно младшая Саша, были очень хороши собою. Как и все близнецы, они были похожи друг на друга, но сходство уменьшалось резким различием в цвете волос: Саша была светлая блондинка, Лиза имела волосы темно-русые. Еще значительнее было различие характеров. У Саши- характер был ровный и мягкий, Лиза была так чувствительна, что проливала слезы, читая что-нибудь печальное, вроде, например, лермонтовского "Валерика".

У Минденов было бы очень весело, если бы над всеми домочадцами не тяготело вечное ожидание грозы, которая ежедневно могла разразиться над головою бывшего коменданта.

Наконец приговор по делу о сельди состоялся. Минден был отрешен от должности и лишился пенсии.

Он ожидал худшего, но и это сравнительно мягкое наказание окончательно сразило его. Генерал еще более постарел и выглядел совершенно дряхлым стариком. Он стал страдать одышкой и болезненной сонливостью: иногда сядет, бывало, в свои вольтеровские кресла и тотчас, задремлет.

Занятия и чтение он бросил, перестал даже писать мемуары, в которых думал вполне оправдать себя перед потомством. Единственным чтением Миндена стала немецкая газетка "Bombardier", по которой он следил за политикой. Генерал весьма осуждал высокомерный образ действий князя Меншикова в Константинополе. Старик пускался в остроумные догадки и соображения и предсказывал близость войны. Потерпев неудачи в собственной жизни, Минден видел все в мрачном цвете и предсказывал, что война не поведет к добру.

III

Однажды вечером у Минденов собралось довольно многочисленное общество. В числе гостей был и мичман Лихачев, успевший познакомиться с семейством генерала.

Когда Лихачев вошел в освещенную несколькими свечами комнату, откуда неслись звуки фортепьяно, он прежде всего окинул взглядом всех присутствовавших. Жизнь на море приучила его к тонкой наблюдательности. Он тотчас заметил, как были одеты обе сестры: Лиза - в светлом барежевом{23} платье с голубым бантом, Саша - в розовом кисейном без банта. Саша ему понравилась более. Она была так же наивна, болтлива и весела, как он сам. Через полчаса юноша был уже влюблен в хорошенькую блондинку. Час спустя они неслись вместе в вихре вальса, потом танцевали кадриль и болтали об институтской жизни Саши и о путешествиях Лихачева. Еще немного погодя Лихачев мучился ревностью, так как видел и слышал, как некий доктор Балинский, из штатских, господин с благообразной, но, как показалось Лихачеву, хитрой, ястребиной физиономией, рисовался перед Сашей, говоря ей разные комплименты, толкуя с ней о музыке, в которой Лихачев ровно ничего не понимал. К концу вечера Лихачев снова был счастлив, так как танцевал с нею мазурку. Любовь часто вспыхивает внезапно, и это почти всегда бывает в том случае, когда "ему" двадцать лет, а "ей" шестнадцать. Особенно же часты были подобные романы в те времена, когда молодые люди были гораздо более расположены влюбляться

внезапно, чем современное молодое поколение, слишком рано начинающее жить рассудком, думать о средствах к жизни, о необходимости обеспечить себя и тому подобное. Справедливость требует прибавить следующее. Лихачев отлично знал, что у его маменьки есть триста крепостных душ, и эта уверенность позволяла ему относиться к жизни довольно беззаботно и не думать о необходимости "строиться".

Как бы то ни было, но, распростившись со стариками и с Лизой, Лихачев после всех подал руку Саше и почувствовал нежное пожатие, от которого у .него захватило дух.

На следующий день молодой мичман явился к Минденам уже без всякого приглашения. Он встретил Сашу одну в маленькой гостиной; ее глаза были красны и как будто заплаканы.

- Вы нездоровы? - с участием спросил он.

- Нет, я здорова, но папа чувствует себя очень дурно. Его, кажется, утомляют наши вечера... Тс... он идет сюда.

Генерал, вчера еще бывший довольно оживленным и добрым, вошел, сильно шаркая туфлями.

Он был в халате, подпоясанном поясом с кистями. Он не обратил особого внимания на гостя, который поспешил вскочить.

- Сидите, сидите, молодой человек, - прошамкал он. - Почтение к старости - вещь хорошая, но лучше сидите. Вы знаете, что я такое теперь? Отставной комендант...

Он закашлялся сухим старческим кашлем и продолжал говорить, как бы размышляя вслух:

- Меня осудили за две бочки сельдей... А я будто ничего не знаю, что здесь делается. Вот вам пример бескорыстия. Светлейший князь Меншиков, наш бывший полномочный посол... Пример бескорыстия... Я все хорошо знаю. Он соблюдает экономию, и я также соблюдал экономию. А меня осудили за бочонок сельдей, проданный без моего ведома.

- Папа стал заговариваться, - прошептала Саша Лихачеву. - Он как будто бредит.

- Сооружают, сооружают, а никаких укреплений нет, - вдруг сказал Минден. - Придет неприятель, возьмет Севастополь с одной ротою солдат. Я также был комендантом, знаю, что значит крепость... Читал много на своем веку. Вобана{24} изучал... Как, бишь, зовут того немецкого автора, который в начале нашего века критиковал Вобана?

- Не знаю, ваше превосходительство, - сказал Лихачев, стараясь показать, что весьма интересуется словами генерала.

- Не знаете... Как вам не стыдно, молодой человек, ведь это было так недавно. Двенадцатый год я помню, как вчерашний день. В четырнадцатом году, при покойном императоре...

Минден, по-видимому, хотел начать один из своих бесконечных рассказов о взятии Парижа, но голос его оборвался, и он снова сильно закашлялся.

- Папа, вам вредно много говорить, выпейте воды и ложитесь в постель, сказала Саша.

- Вредно... Ты думаешь, мне уже умирать пора?.. Не гожусь никуда. Отставной комендант. Хе-хе-хе! Пора в вечную отставку.

- Папа, к чему вы это говорите, - сказала Саша умоляющим голосом, в котором слышались слезы. - Я для вас же говорю.

- Тебе хочется поговорить с молодым человеком, - сказал Минден, вдруг смягчившись. - Понимаю. Я тебе не мешаю. Посторонний здесь не нужен.

Он перекрестил дочь, поцеловал ее в лоб и удалился, снова шаркая туфлями. От этого шарканья у Лихачева мороз подирал по коже. Появление старика напоминало ему читанное в учебнике древней истории обыкновение египтян приносить в залу, где пируют гости, мумию...

Генерал действительно походил на живую мумию.

Молодые люди остались одни и несколько минут молчали в смущении. Лихачев первый заговорил.

- Знаете ли, что мы на днях отправляемся в плавание? - сказал он, желая в одно и то же время возбудить в Саше горесть предстоящей разлуки и уважение к своим будущим подвигам. Но Саша думала об отце и приняла это известие довольно равнодушно.

- Вы надолго уезжаете? - спросила она.

- Не знаю, сколько времени продлится плавание... месяц или два... Мы будем крейсировать в Черном море, выслеживая турецкие суда. Как бы я желал объявления войны!

- Надо будет посоветоваться насчет папа с доктором Балинским, - сказала Саша, отвечая на свои собственные мысли.

"Опять этот доктор Балинский!" - подумал Лихачев, и ревность снова закипела в нем...

- К чему же с Балинским? Здесь есть много докторов. Балинский вовсе не пользуется известностью.

- Он очень хороший и опытный доктор, и папа ему доверяет.

Лихачев закусил губы...

"Она влюблена в этого доктора", - мысленно решил мичман.

- Да, я желал бы войны, - снова сказал Лихачев. - Приятно погибнуть за отечество, - произнес он вычитанную фразу.

- А вы не боитесь? - спросила Саша. Лихачев взглянул на нее с чувством собственного достоинства.

- За кого вы меня принимаете? - спросил он. - Неужели я похож на труса?

- Я этого не говорю. Но ведь турки - варвары, и война с ними не то что с образованными нациями. Да и вообще война - какой ужас! Я часто молюсь Богу, чтобы никогда более не было войн.

- Жизнь на море приучает ко всяким опасностям, - говорил Лихачев, глядя прямо в глаза Саше. Она сконфузилась и стала смотреть в сторону. - Скажите, а вам будет жаль, если меня убьют?

- Конечно, будет жаль, - наивно сказала Саша. - Вы такой ловкий кавалер и так хорошо танцуете вальс, - прибавила она со смехом.

- Какая вы недобрая! Я говорю о смерти, а вы - о танцах.

- Но ведь война еще не объявлена, и, даст Бог, ничего не будет... А если в самом деле вам придется сражаться, я, право, право, буду очень бояться за вас.

- Благодарю вас, - с чувством произнес мичман. - Воспоминание о вас поддержит меня в минуту опасности... До свиданья... Вот что еще, исполните мою просьбу: дайте мне что-нибудь на память!

- Что же я вам дам? - сказала Саша, растерявшись. - Вот разве возьмите этот платок...

"Только как бы мамаша не заметила", - подумала Саша.

Но Лихачев не опасался мамаши. Батистовый платок был уже в его руках, и он не расстался бы с ним ни за какие блага в мире. Ему казалось, что в этом платке, пропитанном запахом ландыша, ощущается дыхание любимого существа. Он еще раз пожал руку Саши и хотел прижать ее к своим губам, но у него не хватило смелости. Лихачев быстро вышел и вскоре шагал по Морской улице.

IV

Едва заметная зыбь колыхала эскадру, когда она оставляла Севастопольский рейд, направляясь к Варне. Молодые офицеры догадывались, что целью плавания будет не простая прогулка по водам Черного моря. Они бодро готовились к опасностям. Многие, подобно Лихачеву, сгорали от нетерпения померяться силами с неприятелем и, конечно, думали не о турках. Им хотелось побороться с гордым британским львом. Как настоящие питомцы покойного Лазарева{25}, они не только не страшились мысли о войне с Англией, но радовались, что будут иметь случай оправдать мнение, сложившееся в обществе о черноморских моряках. Эскадра отплывала при самых благоприятных предзнаменованиях.

Лихачев перед самым отъездом получил письмо от матери и от сестер с уведомлением, что ему с этой же почтой высланы разные домашние приготовления вроде засахаренных фруктов,

вышитых полотенец и прочее.

- Такая досада, опоздала посылка, - говорил он своему приятелю лейтенанту Артамонову. - Жаль, что маменька не прислала вещей с человеком. Наша почта вечно опаздывает... Я бы, кстати, взял с собою человека вместо денщика...

- Ну, это вы напрасно, - возразил Артамонов. - У нас этого не любят, и капитан едва ли позволил бы вам. Адмирал Корнилов не раз порицал обыкновение брать с собою крепостных людей. По его словам, присутствие подобных камердинеров вредит дисциплине.

- Не понимаю - почему? - изумился Лихачев. Он недавно перевелся в Черноморский флот и еще не знал порядков.

- А потому, что ваш крепостной человек будет повиноваться вам больше, чем мне или даже старшему офицеру.

- Знаете ли, Артамонов, я начинаю соглашаться с теми, кто ставит Павла Степановича Нахимова{26} выше нашего Владимира Алексеевича. Корнилов, несомненно, обладает огромным умом и образованием, но, право, он педант. Сегодня мне рассказывали, что он разбранил одного лейтенанта за чтение книги.

- - Ну, батенька, дело-то было не совсем так, - возразил Артамонов, всегда готовый стать на дыбы за своего вице-адмирала. - Я сам был свидетелем и расскажу вам. Корнилов заметил, что один из офицеров усердно поглощает томы "Библиотеки для чтения". Дня три назад Владимир Алексеевич, заметив у офицера книгу, спрашивает его: "Что это у вас, не инструкция ли Лазарева?" Офицер смешался. Корнилов взял книгу, повертел в руках и, нахмурясь, возвратил со словами: "Библиотеку для чтения" мы почитываем, а инструкции Лазарева знать не хотим. Вот что я вам скажу, господин лейтенант, когда я был так молод, как вы, я также читал все без разбора. Покойный Михаил Петрович однажды хорошо намылил мне за это голову, и с тех пор я стал серьезно изучать морское дело".

- И все же это педантизм, - сказал Лихачев. - Ведь так, пожалуй, все перезабудешь, чему учился, кроме морского дела. А я очень люблю чтение. В детстве, помню, я все читал Робинзона Крузо и мечтал, что меня выбросит бурею на остров...

- Смотрите, как бы ваши мечты не сбылись теперь: ветер стал свежеть, да и барометр падает.

Действительно, ветер все свежел. Вечером тридцатого октября дул довольно умеренный северный ветер с дождем. Но около полуночи все небо покрылось тучами и завернул зловещий норд-ост. Было так темно, что с адмиральского корабля стали пускать ракеты. От проливного дождя они только шипели, почти

не освещая непроглядной тьмы. Ветер все усиливался, безжалостно трепля измокшие паруса и снасти. Матросы кутались в свои просмоленные шинелишки, стоя как вкопанные, несмотря на качку, по своим местам близ снастей и изредка перебрасываясь двумя-тремя словами. Вахтенные офицеры, промокшие до костей, изо всех сил напрягали зрение, стараясь разглядеть сигналы, даваемые с адмиральского корабля.

Корабль "Три святителя", на котором находился Лихачев, был одним из ветеранов Черноморского флота. Это был огромный стодвадцатипушечный линейный корабль, котором у давно уже пора отправляться в док на починку, а то и совсем на покой. С самого начала бури вице-адмирал Корнилов, как видно, стал беспокоиться об участи "старика": с адмиральского корабля "Великий князь Константин" постоянно спрашивали сигналами командира "Трех святителей": все ли благополучно?

В полночь на эскадру налетел яростный шквал. Корабль "Три святителя" заскрипел, как старая сосна. Молодые матросы едва удерживались на ногах. Один матросик, потрусливее других, уцепившись за мачту, стал сам над собою причитывать. Проходивший мимо боцман, шатаясь от качки как пьяный, не выдержал и дал робкому матросу здоровенную затрещину, прибавив в виде поучения:

- Чего воешь, окаянный? Душу всю надорвал! Я те еще не так звездану!

К трем часам началась сильная гроза. Рев ветра и раскаты грома сливались с шумом и плеском волн, обдававших пеною всю палубу. Молния на мгновение освещала мачты кораблей, темное, почти черное, волнующееся море и седые гребни огромных волн. Громадные трехдечные{27} суда раскачивало, как детские колыбельки, и они прыгали по волнам, то поднимаясь, то погружаясь в морскую пучину. Молодые матросы крестились и ожидали своего последнего часа, старики хмурились. Командных слов почти нельзя было расслышать, но матросы отлично знали свое дело, убирали паруса, возились с орудиями и чего не слышали, то угадывали.

К рассвету ветер стал стихать, позже совсем прояснилось. Матросы повеселели, когда выглянувшее солнышко пригрело их. Послышались разговоры, прибаутки, смех.

На баке корабля "Три святителя" собралась толпа матросов покурить. Бак, то есть передняя часть судна, заменял у матросов клуб и курительную комнату. Матросы курили подле кадки с водою из своих коротеньких трубочек, весьма метко именуемых носогрейками, и, мало стесняясь присутствием младших офицеров, вели различные беседы. Вот и вчерашний трус -

молодой матрос Семенов, парень лет двадцати, горбоносый, с маленькими серыми глазками. Он тщедушен, хил, и многие офицеры удивлялись, как он попал в морскую службу. Рядом с ним, расставив свои короткие, толстые ноги, стоит Прокофьич, старый матрос, крепкий, коренастый, с неуклюжею, но цепкою походкой.

Лицо его так обветрено бурями, что цветом своим напоминает лица краснокожих, а руки всегда черны от смолы.

Прокофьич - тип матроса старых времен. У него в Севастополе, в Корабельной слободе, старуха жена и трое детей, но он, кажется, не знает другой родины, кроме своего старого корабля.

Прокофьичу все сходит с рук: им дорожат за необычайную отвагу и сметливость, обнаруживаемую им на море. Не водись за ним некоторых грешков, он давно был бы боцманом. Есть у Прокофьича одна характерная особенность: он терпеть не может пароходов. Проведя почти всю жизнь на парусных судах разных наименований, он никак не может смириться с применением паровой силы.

- Только зря жгут дрова и уголь, - скептически замечает он.

Когда ему возражают, что пароходы идут скорее кораблей, он приходит в ярость и для поддержания чести парусных судов начинает безбожно врать, уверяя, что теперь разучились управлять кораблем, а что в прежнее время хаживали по пятнадцать и двадцать узлов в час, а при свежем ветре и по тридцати.

- Ну а как же, если, примерно, штиль, дяденька? - скажет кто-нибудь из молодых матросов.

- Что штиль! На штиль наплевать! Надо же когда-нибудь и отдохнуть кораблю.

О корабле Прокофьич говорит как об одушевленном существе и часто называет его самыми нежными именами, а иногда даже пускает по его адресу крепкие слова.

Теперь Прокофьич ведет разговор с Семеновым и бранит его за вчерашнее.

- Непутевый ты парень, как я вижу. Я думал, он о чем путном хныкал, а тут, на-кось, нашел время думать о девке! Нет, ты это дело брось! Какой матрос из тебя выйдет? Тебе только кочегаром быть на пароходе. Первого свеженького ветерка испугался!

- Теперь как будто не страшно, дяденька, - оправдывался Семенов. - А в сражении как, дяденька? Еще пострашнее будет?

- В сражении?.. Сражение - это, брат, такое дело! Верь моему слову: я старый матрос, худого тебе не скажу. В сражении, брат, ни на кого не надейся, как только на Бога. Видишь турка -

стреляй, товарищу помогай, командиров слушайся, старших матросов почитай, потому, значит, старшие более твоего понимают.

Произнеся это глубокомысленное наставление, Прокофьич потушил свою трубку, бережно спрятал ее в карман и с азартом сплюнул.

- Нет, ты вот что мне скажи, - начал он вдруг. - Ты на своего барина обижаешься, что он тебе жениться не дал и в матросы сдал. Ты, брат, за это век за барина Бога должен молить. Ты скажи, под чьей командой ты состоишь? Кто твой командир? Ну, чего глаза выпялил?

- Господин капитан Кутров{28}, - сказал Семенов.

- То-то. А над ним кто старший?

- Не знаю, дяденька.

- Дурак, деревенщина! Видно, что сейчас от сохи. Над капитаном начальник наш флагман контр-адмирал Новосильский{29}, а старше его вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов.

- Владимира Алексеевича я знаю, дяденька.

- То-то, знаю! Да такого другого командира ты, молокосос, отродясь не видал и не увидишь, вот разве еще Павел Степанович Нахимов. Велика беда, в матросы сдали! А по-твоему как, в солдаты, что ли? Ты думаешь, там меньше бьют? Нет, брат! У нас линьками 'только воров дуют, а господа и вовсе не дерутся. Ты в армии не отдай-ка честь не то что генералу, а прапорщику! А у нас видел? Идет сам Владимир Алексеевич или Павел Степанович, а мы только шапки снимаем, а чтобы честь отдать - ни отнюдь! Да и то, иной раз снимешь шапку, а Владимир Алексеевич только рукой махнет: занимайся, значит, своим делом, а на пустяки время не трать.

- Ври больше, - вмешался в разговор подошедший боцман. - Только смущаешь молодых, матросов. И так у нас народ совсем избаловался.

- А тебе бы только скулы всем сворачивать. Только и'знаешь, что зря дерешься. Ты погоди, Михеич, как бы тебе самому бока не намяли...

- Ну, молчи, старый черт, - сказал боцман, отходя в сторону, и, подойдя к корабельному фельдшеру, стал отводить душу: - Просто житья от этого Прокофьича нет! Вор, пьяница, а господа его уважают. Бравый, говорят, матрос. Я бы этому бравому всыпал двести линьков, дай мне только волю.

Мичман Лихачев, стоя на палубе, смотрел вдаль, на беспредельное море, покрытое слабою зыбью. Он вспомнил о родном доме в смоленском поместье, о березовой роще, куда он с сестрами ходил по ягоды и по грибы. Вдруг на глаза ему попался матрос Семенов, который уже совсем повеселел и с наслаждением жевал черствый сухарь. Лихачев слышал часть разговора молодого матроса с Прокофьичем и заинтересовался этим чахлым, тщедушным человечком. Ему стало жаль матроса не за то, что Семенова вчера приколотили - проучить за трусость следовало, - а потому, что Лихачев вполне понимал тоску матроса по родной деревне и сочувствовал его жалобам на разлуку со своей невестой. Саша, белокурая, в розовом платье, усиливавшем румянец ее нежно-розовых щечек, припоминалась ему в эти минуты. Он впал в сентиментальное настроение. "Что, если я погибну в первом же сражении? - подумалось ему. - А еще хуже утонуть... смерть совсем бесславная... Что, если не убьют, а

только ранят и вернешься домой безногим или безруким калекой?" И ему живо представился весь ужас матери, искаженные от страха лица сестренок, соболезнования родственников и знакомых. Лихачев даже зажмурил глаза, как будто с целью отогнать тяжелый призрак.

"Однако меня, кажется, расстроил вчерашний шторм; быть может, я немного простудился... Что-то знобит, - подумал Лихачев. - Надо попросить у доктора несколько гранов хинина".

Война с Турцией была наконец объявлена. В Севастополе с нетерпением ожидали известий о действиях нашего флота.

Было ясное ноябрьское утро. По Севастопольскому рейду сновали лодки. Дамы и девицы катались с кавалерами в гичках и яликах, любуясь видом города, поднимающегося амфитеатром над синими водами залива - синими, конечно, только издали, тогда как вблизи вода Севастопольского рейда в ясную погоду имеет яркий, настоящий изумрудно-зеленый цвет.

В небольшом полубаркасе, переправлявшемся через Южную бухту, легко было различить несколько барышень, и в числе их сестер-близнецов: Лизу и Сашу. Рулем правил знакомый шкипер с купеческого судна, грек атлетического телосложения. Парусом управлял отставной матрос. Были и кавалеры, между прочим, молодой граф Татищев и доктор Балинский. Татищев был в ударе, рассказывал о гонках яхт в Лондоне и о венецианских гондольерах. Доктор Балинский все время ухаживал за Сашей, иногда, впрочем, уделяя внимание и другой сестре. Кто-то из команды предложил, вместо того чтобы править к городу, прокатиться по рейду. Предложение было принято, и вскоре полубаркас при попутном ветре обогнул Николаевскую батарею, миновал Александровскую и выбрался в открытое море.

- А что, господа, если мы встретимся с турецким военным судном? - шутя спросил Татищев.

- Тогда, конечно, ваша обязанность быть нашими рыцарями, - сказала Лиза, вздрагивая при одной мысли о турках. - Надеюсь, вы не отдадите нас в плен туркам.

- Вы можете смело на нас положиться, - сказал граф. - Как артиллерист, я предлагаю в следующий раз взять с собою маленькую двухфунтовую пушку.

- Ах, я тогда боялась бы еще более, - сказала Лиза.

- Господа, нет ли у кого-либо подзорной трубы или хоть бинокля? спросил доктор Балинский. - Кажется, я вижу на горизонте пароход.

- Русска пароход, труба не надо, и так вижу, - сказал грек-шкипер и потом прибавил, подумав: - А на буксире турецка пароход.

- Ну, быть не может?! - радостно воскликнули некоторые из мужчин.

Стали смотреть в бинокли и в трубу, оказавшуюся у одного из моряков. Вскоре разглядели, что это в действительности был русский пароход, и пошли споры, какой именно.

Шкипер снова разрешил сомнения.

- Пароход "Владимир", - сказал он. - Корнилов на палубе.

Пароходо-фрегат "Владимир" быстро приближался к входу на рейд. Три мачты и две трубы его были видны уже вполне отчетливо. За ним следовал на буксире, очевидно, сдавшийся турецкий пароход с перебитой трубой: он был колесный и всего двухмачтовый.

В городе и на рейде вскоре стали собираться толпы любопытных. Из Артиллерийской, а затем и из Корабельной слободок в какие-нибудь четверть часа нагрянули сотни матросских мальчишек, повалила и чистая публика. Дамы махали платками, мужчины кричали "ура". Моряки; оставшиеся в Севастополе, заранее поздравляли товарищей с первою победою, одушевление было необычайное.

- Смотри, смотри! Русский пароход сцепился с турецким! - кричали мальчуганы; их воображение разыгралось, и многие из них уверяли, что собственными глазами видели битву, которая на самом деле произошла почти подле малоазиатского берега.

С высоко поднятым национальным флагом плавно вошел на рейд "Владимир", влача за собою турецкое судно, которое, как узнали после, было турецко-египетским пароходом "Первваз-Бахри", название, которое русские матросы не замедлили переиначить по-своему: "Перевез за вихры".

Как только пароходы стали ясно видны невооруженному глазу, девицы Минден стали просить кавалеров поспешить назад в Южную бухту. Пароход быстро настигал их, но вдруг остановился: было видно, что нашим матросам приходится возиться со своим призом. На палубе призового корабля появились фигуры русских матросиков и даже были слышны голоса.

- Скорее, скорее домой, а то не увидим, как будут причаливать, говорили барышни.

Саша забыла тот ужас, который ей прежде внушала одна мысль о войне. Война казалась ей теперь праздником, вроде встречи какого-нибудь высокопоставленного лица. Тут только она вспомнила о Лихачеве и о том, что, быть может, и он находится в числе победителей. Лихачев говорил ей, что плывет на корабле "Три святителя", но Саша успела забыть это название. Она спросила Татищева: не помнит ли он?

- А вы интересуетесь подвигами этого молодого человека? - спросил граф с легкой иронией в голосе.

- Да, он мне кажется очень храбрым моряком, - наивно призналась Саша.

- Мальчик, и, как кажется, с малым развитием, - отозвался доктор Балинский, сделав неприятную гримасу. Доктор давно не шутя ухаживал за Сашей, и ему было досадно, что она интересуется первым встречным мальчишкой, как он мысленно назвал Лихачева.

Баркас приближался к Адмиралтейству и стал ловко лавировать в Южной бухте. Весь город уже был виден, как в панораме. На верху горы виднелось здание библиотеки, откуда многие жители с трубами и биноклями в руках следили за движением парохода "Владимир".

Южная бухта так глубока, что даже трехдечные корабли могут подходить к самому берегу, а поэтому нашим путникам недолго надо было думать о том, где пристать, но они выбрали место, откуда будет лучше видно.

Наконец прибыл и "Владимир" и причалил со своим пленником подле Адмиралтейства. Громкое "ура" послышалось с набережной. На палубе неприятельского корабля, частью стоя, частью сидя с поджатыми ногами, скучились пленные турки под присмотром нескольких матросов.

С "Владимира" были спущены шлюпки. Барышни махали платками, думая увидеть прежде всего отличившихся мичманов и лейтенантов, из которых некоторые были им знакомы.

- Вот и сам Владимир Алексеевич! - говорили в публике.

На палубе действительно стоял в одном мундире с эполетами среднего роста моряк, с тонкой и стройной талией, с правильным, почти классическим профилем и строгим выражением лица. Это был вице-адмирал Корнилов. Близ него стояли несколько адъютантов, но между ними не замечали одного из его любимцев - лейтенанта Железнова{30}.

"Убит или ранен?" - мелькнула мысль у всех, знавших этого молодого моряка, подававшего большие надежды.

Потом узнали, что Железнов был убит наповал неприятельской картечью.

На палубе показались матросы с носилками. Осторожно спустились они на шлюпку. В толпе успели рассмотреть на носилках раненого матроса.

Стали расспрашивать. Вскоре разнеслась весть, что у нас двое убиты, трое ранены. Раненых повезли в морской госпиталь, и собравшаяся здесь толпа видела, что у одного из них оторвана рука, у другого нога. Понесли и раненых турок: их было

восемнадцать человек. Некоторые были ранены легко, но многие страшно изуродованы.

Это зрелище значительно отравило радость многих мужчин и расстроило нервы барышням. Саша чувствовала лихорадочную дрожь и куталась в свою шаль, хотя в воздухе было совсем тепло. Лизе было почти дурно.

- Вот и первые жертвы войны, - задумчиво проговорил граф. - Как подумаешь, прав был старик Державин, сказав, что наша жизнь есть

...тяжелый некий шар,

На тонком волоске висящий!

Теперь вам, господа врачи, предстоит обильное поприще деятельности, прибавил он, обратись к Балинскому.

- Да, во время войны бывают случаи весьма интересные и с практической, и с теоретической точки зрения, - сказал доктор.

- Ну, с практической - не думаю... Чем же вы тут воспользуетесь для мирного времени, которое не знает ни ядер, ни пуль?

- Ошибаетесь... С медицинской точки зрения ядро есть просто твердое тело, обладающее известной тяжестью и скоростью...

- Я не понимаю, как можно хладнокровно разговаривать обо всем этом, сказала Лиза. - Я знаю, что несколько ночей не буду спать... Если бы я знала, я бы никогда не смотрела в бинокль... Ах, какое лицо было у этого бедного раненого горниста...

- Ему-то ничего, у него, по крайней мере, руки и ноги целы, - сказал граф.

- Ах, не напоминайте мне об этом... Ах, какой ужас! Скорее едем домой, Саша!

Они сошли на берег и возвращались по Морской улице, где, несмотря на осеннюю пору, еще всюду зеленели садики, и листва их поблекла не столько от времени года, сколько от постоянных ветров, несущих с собою тонкую, едкую пыль.

VI

Мрачная, невеселая погода. Клочки бледно-серых облаков лениво ползут по небу, а вслед за ними надвигаются и массивные свинцово-серые тучи. Ветер свежеет, и море, в такую погоду вполне оправдывающее свое название "Черное", покрывается белыми барашками. Идет мелкий, пронизывающий насквозь, холодный дождь. Слава Богу, что утих шторм, разбросавший наш флот во все концы. Эскадра Новосильского держится близ Севастополя, Нахимов отплыл к Синопу. По приказанию Меншикова Новосильский со своими старыми кораблями, а Корнилов с пароходной эскадрой спешат на соединение с Нахимовым.

В Севастополе думают, что в Синопе стоят два-три турецких фрегата, и из Петербурга уже получен приказ истребить их, с добавлением, чтобы ни в коем случае не разрушать турецких городов. Мы ведем войну как европейская нация, и притом в турецких городах на малоазиатском берегу чуть не половина жителей - христиане. Знакомый нам стодвадцатипушечный корабль "Три святителя" с двумя подобными же кораблями спешит к мысу Пахиос, близ Синопа, где по предположению должна находиться эскадра Нахимова.

Молодые офицеры корабля "Три святителя" пребывают в состоянии лихорадочного нетерпения. С минуты на минуту ожидают встретить какой-нибудь турецкий корабль; между офицерами только и слышны разговоры об абордаже и о правилах относительно призов. Некоторые рассчитывают разбогатеть от взятия хотя бы одного турецкого судна, другие мечтают об отличиях, наградах и повышении в чине, третьи просто полны юношеского воинственного задора. К числу последних принадлежит мичман Лихачев: Он уже воображает себя будущим героем: подле него убивают командира, только что палившего из страшного пудового единорога{31}, он сам наводит орудие и метким выстрелом поражает турецкий адмиральский корабль; или другая вариация: их корабль сцепился с турецким. Лихачев проявляет чудеса храбрости и берет в плен неприятельского капитана, бросается на вражеское судно, спускается в трюм и находит там связанных христианок-невольниц, замечательных красавиц, которых везли продать в гарем султана. Воображение Лихачева разыгрывается, но вдруг оклик старшего офицера, делающего ему строгое замечание, возвращает юного героя к действительной жизни.

- Я просил вас, господин мичман, наблюдать за тем, чтобы одна вахта мыла свое белье в понедельник и четверг, а другая во вторник и пятницу, как было приказано, а у вас вечно выходит путаница, эдак нельзя. Надо внимательнее относиться к тому, что вам поручено. Вы считаете, на войне можно ходить d грязном тряпье?

"Провались это белье сквозь землю!" - подумал Лихачев, но не оправдывался, так как сознавал свою вину. С досады он, однако, разнес ни в чем не повинного и всегда безответного матроса Семенова, попавшегося ему на глаза.

- Я говорил тебе, каналья, чтобы ты мне напомнил о мытье белья, уж не думаешь ли ты, что я его буду мыть!

- Никак нет, ваше благородие! - отвечал Семенов, корча уморительную, виновную рожу и съежившись еще более.

- Смотри ты у меня! Сегодня же с двух часов ночи чтобы у

меня уже грели воду, достали ведра, каменья и песок и разложили все на досках. Не сделаешь, все зубы вышибу!

- Слушаю, ваше благородие...

Лихачев отвел душу, и ему стало легче.

Вот уже пятые сутки идет непрерывный мелкий дождь, застилающий свет, подобно туману. Даже привычные к непогоде старые матросы начинают ворчать и употреблять слова "дождь" и "погода" не иначе как с приложением чисто русских эпитетов.

Утром 18 ноября стало несколько проясняться. Лихачев, находясь на вахте, первый крикнул: "Берег!" В самом деле, берег едва обозначился. Вскоре можно было различить очертания Синодского перешейка, обстроенного турецкими зданиями, по большей части деревянными, исключая два-три каменных дома и несколько мечетей. Перешеек настолько узок и не возвышен, что ясно видны были верхушки мачт кораблей, стоявших по ту сторону, на рейде.

- Наш флаг! Там наши! - сразу раздалось несколько голосов.

Это был в действительности флаг адмиральского корабля "Императрица Мария", стало быть, там находилась эскадра Нахимова. С тремя средней величины кораблями Нахимов уже несколько дней блокировал Синопскую гавань, где спряталась турецкая эскадра, состоявшая из двенадцати{32} военных судов, в том числе нескольких фрегатов. Чем руководствовались турки, не решаясь выйти в море и напасть на малочисленную русскую эскадру, трудно понять. Наоборот, Нахимов ожидал лишь прибытия двух кораблей, отправленных после шторма в Севастополь для починки, чтобы немедленно напасть на турецкий флот, прикрытый шестью береговыми батареями.

- Помоги Бог Павлу Степановичу, - сказал командир "Трех святителей", стоявший с несколькими офицерами на палубе и смотревший в подзорную трубу. Вахтенный офицер донес, что начальник их эскадры сделал сигнал "держаться соединенно". Весть эта быстро облетела весь, состоявший из тысячи человек, экипаж корабля. Все поняли, что и они примут участие в бою. Одни крестились, другие приосанивались, третьи сновали взад и вперед, приводя все в порядок. Флаги полетели кверху, и корабли стали огибать полуостров.

На другое же утро Нахимов призвал на свой корабль второго флагмана контр-адмирала Новосильского и командиров всех судов для сообщения им плана атаки.

Настало утро 18 ноября 1853 года.

С рассвета шел дождь и дул юго-восточный ветер. Сердитые шквалы налетали на русскую эскадру, состоявшую по большей части из старых кораблей и не имевшую возможности укрыться от

непогоды.

Нахимов, плотный пожилой мужчина, с подстриженными усами, ростом немного выше среднего, с добрыми глазами, с легкой проседью в русых волосах, сидел в капитанской каюте и пил вместе с капитаном чай, доливая его крепчайшим ромом.

- Ну-с, я вам скажу-с, будет трепка! - сказал Нахимов, допивая последний глоток. - Надо пойти посмотреть-с... А вы, мичман Соловьев, извольте переодеться, - сказал он, увидев мичмана не в парадной форме. Этак одеваться перед боем - один разврат-с!

Нахимов на каждом слове употреблял приставку "с" или, как тогда говорили, "слово ер". Вообще первое впечатление, которое Нахимов производил на незнавших его, было хотя благоприятное, так как он имел очень добродушный вид, но вовсе не напоминавшее ничего героического. Он казался просто пожилым холостяком со многими чудачествами, характеризующими этот тип. С первого раза можно было, однако, заметить, что Нахимов пользуется любовью матросов. Завидя вице-адмирала, они весело кланялись, а в разговоре называли его просто Павлом Степановичем. Флаг-офицеры до того любили Нахимова, что их в шутку величали его "флаг-детьми".

Ровно в полдень русские корабли, вполне готовые к бою, устремились на рейд под национальными флагами. Дождь не переставал, но привычный глаз моряков вскоре различил клубы дыма, поднявшиеся над неприятельскими пароходами.

На корабле "Три святителя" старый матрос Прокофьич, увидя это зрелище, сплюнул в сторону и проговорил:

- Ишь ведь! Тоже пары разводят! В такой-то ветер. Господи прости! Самовары ставят, верно, чайку, попить захотелось!

"Самоварами" старые матросы называли пароходы.

Нахимов в вицмундире, без пальто, в контр-адмиральских эполетах (хотя и был уже вице-адмиралом) стоял на палубе корабля "Императрица Мария" и смотрел в подзорную трубу.

- Они исправляют свои шпринги, вот что я вам скажу-с, - обратился он к командиру корабля, капитану 2 ранга Барановскому{33}.

Несмотря на всю честь командования адмиральским кораблем, Барановский был не совсем доволен своей ролью. Дело в том, что у Нахимова была страсть к личному командованию судном, и в его присутствии капитану почти ничего не оставалось делать. Барановский в кругу товарищей часто жаловался на свою участь и приводил при этом сравнение между Нахимовым и Корниловым. Действительно, Корнилов обладал редким умением руководить эскадрой так, что его подчиненные, исполняя его требования, все же не лишались собственного почина. У

Нахимова этого качества не было. Он любил делать все сам.

Семь турецких фрегатов и три корвета были уже ясно видны невооруженному глазу. Они были расположены лунообразно, их прикрывали шесть береговых батарей, находившихся на Синопском полуострове. Русская эскадра неслась двумя колоннами, каждая из трех кораблей. Во главе всех и ближе всего к неприятельскому берегу шел корабль Нахимова "Императрица Мария". Корабль уже миновал четыре турецкие батареи. Они молчали. Турки были совсем не намерены сражаться.

Вдруг с турецкого адмиральского сорокачетырехпушечного фрегата "Ауни-Аллах" грянул первый выстрел, и через минуту раздался залп со всех неприятельских судов и батарей. Корабль "Императрица Мария" был буквально засыпан ядрами, грот-мачта была вся избита и обнажена. Раздалась команда отдать якорь. Канат соскользнул в море, и корабль Нахимова остановился против турецкого фрегата. Еще не отдав якоря, "Императрица Мария" стала действовать батальным огнем по турецким судам. Ядра не попадали в цель, но перелетали через перешеек, вспенивая воду. Остановившись, корабль Нахимова сосредоточил все выстрелы на турецком адмиральском фрегате. Вскоре и другие русские суда открыли пальбу.

Корабль "Три святителя", шедший не за Нахимовым, а в левой колонне, также принял участие в бое. Он стрелял по двум турецким фрегатам и в то же время сам попал под меткие выстрелы турецкой батареи.

Турецкие корабли, скучившись в заливе, не могли свободно двигаться и палили довольно посредственно. Оглушительные залпы пересиливали шум волн, дым смешивался с туманом и скрывал неприятельские корабли. О положении их можно было судить только по огонькам, блиставшим из пушечных жерл во время выстрелов.

Лихачев, подобно многим юным сотоварищам, в первый раз бывшим в бою, совсем иначе представлял себе картину битвы. Он мечтал о личных подвигах, думал, что их корабль сцепится с турецким и что дело дойдет до рукопашного боя, в котором он выкажет чудеса храбрости. Ничего подобного не было. Был только невыносимый гул, от которого долго потом чувствовался звон в ушах. Дым не давал ничего видеть и затруднял дыхание, изредка слышались командные слова, сновали матросы. Ощущения были сходны с теми, какие Лихачев испытывал когда-то во время плавания, в первый раз узнав на опыте, что такое шторм. В голове у него был сумбур, чувствовалось, что где-то скрывается страшная, почти стихийная опасность, что могут сейчас убить или ранить, но все это сознавалось смутно, неопределенно.

Вдруг что-то тяжелое шлепнулось подле Лихачева, зашипело и сверкнуло огоньком. Он понял, что это, должно быть, граната, и вспомнил совет смело хватать чем попало, хоть руками, и выбрасывать за борт. Но Лихачев успел только услышать чей-то крик: "Скорее заливай! Горит!" Потом сквозь дым и туман он увидел подле себя матросика Семенова, который накануне, во время шторма, успел составитm себе репутацию труса и которого Лихачев недавно разнес совершенно без вины. Семенов, подобно Лихачеву, почти не сознавал, что вокруг него происходит, но, увидя снаряд, приближавшийся к самой ноге молодого мичмана, чему благоприятствовало покачивание корабля, матросик понял, что эта зловещая шипящая штука может убить офицера. Не рассуждая долго, Семенов почти инстинктивно бросился к снаряду и, схватив его обеими руками, как самовар, бросился к борту, но, не добежав, уронил себе ггод ноги. Снаряд лопнул с громким треском, вспыхнул огонь, доска задымилась, и матросик повалился. Несколько старых матросов, видевших все это, бросились с ведрами и залили огонь. Но было уже поздно. Осколками снаряда у Семенова перебило обе ноги ниже колена. Лихачев бросился к Семенову, которого уже положили на носилки.

- Умрет сердешный, - сказал один старый матрос.

- Что с тобою? - спрашивал Лихачев.

- Холодно... холодно, ваше благородие, - проговорил матросик и вскоре впал в забытье.

Лихачев не мог оставаться подле раненого, так как должен был спешить к своему посту. Не прошло и получаса от начала сражения, как уже ясен был исход его.

Турецкий адмиральский корабль не выдержал жестокого огня, направленного на него артиллеристами Нахимова. Он отклепал цепь, но не спускал срлага и бросился к берегу под прикрытие одной из батарей. Корабль Нахимова обратил тогда весь свой огонь против другого фрегата. Это был "Фазли-Аллах", бывший "Рафаил", взятый у нас турками в 1829 году

- Валяй в своего, зачем передался туркам, - острили матросы, поощряя комендоров, наводивших орудия.

На турецком фрегате вспыхнуло яркое пламя. По-видимому, наш выстрел попал в крюйт-камеру{34} и зажег порох. Фрегат загорелся как громадный костер, бросился к берегу и сел на мель против города. Почти в то же время меткая бомба с корабля "Великий князь Константин" взорвала другой турецкий фрегат. Горящие обломки осыпали ближайшую турецкую батарею, которая прежде усердно палила, но теперь вдруг умолкла. Несколько позже корабль "Париж" взорвал на воздух один из

турецких корветов.

Кораблю "Три святителя" менее посчастливилось. Сначала он удачно боролся с двумя турецкими фрегатами, но, попав под выстрелы турецкой батареи, должен был отступить. Лихачев вместе с другими мичманами и матросами бросился по приказанию капитана в баркас с целью завести верн{35}. Заметив это, турки стали палить в них с батареи ядрами. Ядра пролетали мимо, падая в воду и поднимая фонтаны воды, обдававшей брызгами гребцов и офицеров. Лихачев хладнокровно отдавал приказания матросам. Вдруг ядро шлепнулось прямо в плывший рядом с ними другой полубаркас. Полетели щепы и осколки, и Лихачев увидел, что товарищ его, Варницкий{36}, командовавший гребцами, охнул и схватился за левую руку: его ранило щепой.

- Ничего, пустяки, дайте платок, перевяжу, и все пройдет, - говорил Варницкий, видимо храбрясь, хотя и побледнел. Кровь потекла у него из рукава, который был разорван ниже локтя.

- Скорее на баркас, мы тонем! - крикнул он. Офицер и матросы перескочили на подплывший к ним баркас, где был Лихачев.

- Позвольте, я заведу верп, вы позаботьтесь о вашей руке, - просил Лихачев товарища.

Но тот даже обиделся и сказал, что это не по-товарищески и что Лихачев, верно, рад случаю приписать себе всю славу этого дела. Лихачев должен был уступить. Когда работа была окончена, корабль "Три святителя", поворотив корму, открыл огонь против стоявшего поблизости турецкого корвета.

Между тем турецкий флот представлял картину полного хаоса и опустошения. Три фрегата, корвет и пароход были охвачены пламенем. Взрыв двух корветов зажег турецкий город, обнесенный древнею зубчатою стеною. Никто не тушил огня. Турецкие пароходы бездействовали и вместо тушения пожара сновали взад и вперед. Деревянные турецкие постройки Синопа были быстро охвачены пламенем: ветер и турецкий фатализм одинаково способствовали распространению пожара.

В самом разгаре сражения с русской эскадры было замечено, что из-за мыса показался какой-то пароходо-фрегат под русским флагом; вскоре появились и другие пароходы. Это была слишком поздно подоспевшая пароходная эскадра Корнилова.

- Ура! - хором закричали тысячи голосов с обеих эскадр. Но сражение было уже закончено. Неприятельские суда, брошенные на берег, были в самом жалком положении. Они более не сопротивлялись, но и не спускали флагов. Нахимов велел, однако, прекратить огонь. Суровые турки одни, покорные судьбе,

спокойно ждали смерти, другие жались в кучки, как стадо баранов, объятое паническим страхом. Турецкие суда одно за другим взрывались на воздух, зажигая город. Только на одном из турецких фрегатов был спущен флаг, да и то по приказанию проезжавшего мимо парламентера, посланного Нахимовым в город для объявления властям, что эскадра не желает вредить жителям. Но и это было бесполезно, так как город представлял уже груду обгорелых развалин и жители стали уходить в горы.

Весь вечер был употреблен на спасение турецкого экипажа, кожуховые лодки{37} сновали, забирая пленных, в числе которых был и неприятельский адмирал. К некоторым судам уже нельзя было подступиться, они сгорели дотла. С других турки бросались в воду, и наши матросы самым добродушным образом оказывали им помощь. Старик Прокофьич промок до последней нитки, так как несколько раз нырял в холодную воду, чтобы вытаскивать утопающих турок. Совершив подобный подвиг, Прокофьич всякий раз угощал спасенных отборными ругательствами.

- Ну уж матрос! Пес тебя ешь! - говорил он одному вытащенному им молодому турчонку, бессмысленно хлопавшему глазами и бормотавшему что-то непонятное. - Просить "аман" умеешь, а плавать не научился! Хорош матрос! Тебе бы дома сидеть, поджавши ноги. Ступай, брат, не разговаривать! Тебя там, на корабле, обсушат, а есть вечером дадут, я сам, брат, с утра корки хлеба не съел. Водки небось не пьешь? Закон не велит! Ах ты, свиное ухо!

- Водку у них пьют, только вино не дозволено, - возразил другой матрос.

- Ну что ты понимаешь, - презрительно ответил Прокофьич, не любивший возражений. - Я, брат, побольше твоего прослужил в царской службе... Ступай вперед, не бойсь, турецкое отродье! - прикрикнул он на турчонка, у которого бегали глаза, как у пойманного зверька.

Понемногу матросы стали возвращаться к мирным занятиям, но раненые и убитые были самым живым напоминанием недавнего боя. Улучив удобную минуту, Лихачев спустился вниз, чтобы взглянуть на раненого Семенова. Тому уже начали делать ампутацию. У Лихачева екнуло сердце, когда он услышал визг пилы хирурга, перепиливавшего кость. Еще минута - и часть ноги была отброшена в таз, как какой-нибудь негодный мусор.

- Ногу, ногу! Дайте мне мою ногу! - вдруг завопил матросик. - Батюшки родные, голубчики! Где моя нога? Дайте хоть посмотреть! Хоть подержать дайте! Батюшки! Погубили!

Его оперировали без хлороформа. Покончив с одной ногой, корабельный хирург приступил к другой. Лихачев не выдержал

этого зрелища. Холодный пот прошиб его. Он бросился поскорее наверх, на свежий воздух.

"Это хуже всякого сражения! - подумал он. - Что, если бы со мной случилось подобное?"

И долго еще в ушах Лихачева звучал умоляющий голос молодого матроса, присланного из деревни как бы затем, чтобы вернуться туда безногим калекой. Особенно тяготила Лихачева мысль, что он обязан этому матросу спасением жизни. А что он может сделать для него?! Дать денег? Пожалуй, еще не возьмет... "Нет, все же надо дать ему", - подумал Лихачев.

Всю ночь горели турецкие суда, дополняя картину пожара, опустошавшего город. Берег и море приняли при этом освещении фантастические очертания. Ветер стал меняться. Закипела работа: можно было опасаться, что ветром нанесет горящие турецкие суда на нашу эскадру.

Пароходы отводили от берега корабли. На кораблях, несмотря на утомление после жаркого боя, усердно работали. Надо было исправить капитальные повреждения. Особенно пострадал корабль самого Нахимова: все мачты были сбиты, и пароходу "Крым" пришлось вести его на буксире. Подобная же участь постигла и "Три святителя", к великому огорчению Прокофьича. Старик не мог переварить мысли, что ненавистный ему "самовар" повезет его дорогой, родной корабль, как какую-нибудь баржу с дровами.

- Только народ балуют! - ворчал он себе под нос. - Починиться бы как следует, а потом и с Богом в путь, а тут тащат тебя на буксире. Стыдно будет глаза показать в Севастополь...

Велико было зато торжество Прокофьича, когда после напряженной работы в течение полутора суток корабли были настолько приведены в порядок, что могли возвратиться в Севастополь гордыми победителями, расправив паруса, и вышли на рейд без посторонней помощи.

В Синопском сражении мы потеряли тридцать восемь человек убитыми; двести тридцать пять раненых было привезено в Севастопольский морской госпиталь. Но севастопольцам еще не пришло время думать о ранах, о крови, о смерти. Настроение жителей было восторженное. Говорили, что синопская победа стоит наваринской.

Чудак Нахимов, которого считали до сих пор усердным и хорошим моряком и человеком не без странностей, о котором одни говорили, что он когда-то собирался поступить в монахи, другие уверяли, что он самой .красивой женщине предпочтет бутылку хорошей марсалы, - этот самый Павел Степанович Нахимов преобразился в глазах севастопольского общества, а

затем и всей России в героя. Нахимов настойчиво отклонял от себя эту честь и, указывая на матросов, говорил:

- Вот кого надо прославлять, а не меня-с. Я только исполняю свой долг-с.

- Да ведь все не так славно исполняют свой долг, как вы, Павел Степанович, - говорили ему одни искренне, другие - с тайной завистью в душе, думая про себя: "И я бы сделал то же самое, будь я адмиралом... Главное же во всем - счастье". Как бы то ни было, Нахимову пришлось выслушать множество похвал.

- Помилуйте-с, к чему говорить лишнее! Я не девица и комплиментов не люблю-с, - скромно возражал Нахимов.

Впрочем, нашелся один флотский "чиновник, который, прочитав где-то, что героический подвиг Нахимова останется вечно памятным в "летописях нашего флота", с азартом воскликнул:

- Как! Наш добрейший Павел Степанович - герой? Да ведь я сколько раз распивал с ним вдвоем бутылку марсалы! Хороший человек, нечего и толковать, но разве он похож на екатерининских орлов? Вот были герои так герои!

Лихачев вышел из Синопского сражения цел и невредим, но с нравственной стороны он испытал значительную ломку. Он как будто возмужал и переродился за эти дни.

Молодой матросик Семенов умер в госпитале. Перед смертью он все просил пить и жаловался на боль в пятке, хотя пяток у него, вследствие ампутации обеих ног, давно уже не было. Умер Семенов, ни на минуту не подозревая, что и он также имел право называться героем.

VII

В семье Минденов в последнее время жизнь потекла скучной, однообразной чередой. Многие знакомые моряки были в плавании, да и вообще у Минденов стали реже собираться, так как старику становилось с каждым днем все хуже и хуже. Никакой особенной болезни у него не было, но чувствовался полный упадок сил. Отсутствие аппетита сделало старика необычайно брюзгливым и капризным, и ко всему этому добавлялись забывчивость и болезненная сонливость: иногда он начинал храпеть во время обеда или посреди разговора. Луиза Карловна просто выбилась с ним из сил и унимала старика только покрикиваниями. Ладить с ним умели лишь его старый денщик, оставшийся неизменно верным "своему генералу", как он называл Миндена, да еще любимица старика Саша, которую, правду сказать, он мучил беспощадно своим брюзжанием и капризами. То заставит ее читать себе вслух свою немецкую газетку и сердится, что у нее плохое произношение, хотя себя самого

генерал никогда не признавал немцем. То начнет ворчать, чтобы Саша ему укутала ноги: старик постоянно зябнул и бранил севастопольские, как он выражался, дырявые квартиры.

Возвращение в Севастополь синопских победителей несколько оживило семейную обстановку Минденов. Снова стали приходить знакомые, иногда устраивались маленькие вечеринки. Лихачев, конечно, поспешил навестить Сашу. Увидев его, она обрадовалась, покраснела и, подав ему ручку с слишком тонкими исхудалыми пальчиками, просила его "поскорее, поскорее" рассказать о всех своих подвигах и приключениях. Лихачев смешался и совсем некстати начал рассказ со смерти Семенова; впрочем, он несколько изменил обстоятельства дела, сказав, что сам бесстрашно ждал взрыва гранаты, уверенный в том, что ему не суждено умереть так рано.

- Жаль, что этот бедняк погиб напрасно, - закончил Лихачев свой рассказ. - Будь это более опытный матрос, он никогда не погиб бы от такого пустяка... У нас матросы выбрасывают снаряды как мячики... Но не странно ли, в самом деле, Александра Васильевна (Минден свое немецкое имя Вильгельм переделал на Василия), не странно ли, у меня точно было предчувствие, что этот матросик погибнет... Мне так жаль было его, когда он рассказывал в самом начале плавания о своем родном селе...

- А вы верите в предчувствие? - задумчиво спросила Саша.

- Я немного фаталист, - с важностью ответил Лихачев. - Положительно верю, что никто из нас не уйдет от своей судьбы. Вот представьте такой случай: у нас в эскадре на корабль "Ростислав" попала граната и разорвалась у самых ног мичмана Колокольцева, который следил за подачей картузов. Что ж вы думаете? Занавеси над люком загорелись, одного матроса ранило осколком, а ему ничего, и еще получил отличие за распорядительность, обнаруженную им при тушении пожара. Ну что это, как не судьба?

Саша слушала довольно рассеянно, как видно думая о другом, и вдруг спросила:

- Ну, а как вы думаете, какая судьба ждет меня?

- Вам, к счастью, не предстоит быть в сражениях, - сказал Лихачев и с некоторым самодовольством потрогал свои будущие усы. - Вы совсем другое дело! Ваша судьба как на ладони: мирная семейная жизнь!..

- Я никогда не оставлю папа, - сказала Саша, сильно покраснев. - Я хочу посвятить все свои заботы бедному папа. Когда я была еще" в институте, мне часто хотелось заботиться о ком-нибудь... Моя любимая притча была о самарянине. Ах как папа стал плох в последние дни, вы не можете себе представить!

Вы бы не узнали его! Я не понимаю, как Лиза может по-прежнему увлекаться музыкой. Я боюсь играть, чтобы не расстроить папу, хотя он часто сердится, говоря, что не хочет никому быть в тягость...

Лихачев старался сочувствовать старику, но при всем своем желании не мог. Этот больной старик, еще хуже прежнего шаркавший ногами по полу, брызгавший слюной и вечно ворчавший на всех и на все, был ему просто противен. Одним своим появлением он нарушал весь поэтический ореол, окружавший, в мыслях Лихачева, эту белокурую девушку.

"Если ему самому жизнь так противна, к чему он портит ее другим?" думал Лихачев и при всей своей любви к Саше втайне желал, чтобы старик поскорее умер. Особенно досадно было ему видеть, с какой нежностью и любовью относится Саша к этой дряхлой развалине, как она кутает его шарфом, надевает старику войлочные туфли, запахивает ему халат и при всем этом терпеливо и безропотно переносит самые обидные и глупые упреки, отвечая на них: "Милый папочка, извини, что я такая неловкая!"

"Милый папочка! - мысленно передразнивает Сашу Лихачев. - Я бы этого папочку посадил куда-нибудь в богадельню, пусть там ворчит на таких же, как он сам, старых хрычей!"

Лихачев, подобно многим здоровым, сильным, полным жизни и мало размышлявшим о жизни юношам, чувствовал органическое отвращение к слабости и болезни. Его даже неприятно поразила перемена в Саше, которая под влиянием забот об отце и бессонных ночей сильно похудела и, надо сказать правду, подурнела.

Но Сашу Лихачев любил, и ему было смертельно жаль ее, старика же стал ненавидеть вдвойне, как всякого противного больного старика и, сверх того, как мучителя и тирана его Саши. Лихачеву и на ум не приходило заподозрить самого себя в жестокости.

VIII

С января 1854 года для Лихачева началась в полном смысле слова походная жизнь. После уничтожения турецкой эскадры у Синопа с турками не предвиделось никакого серьезного морского дела: интерес войны сосредоточился на действии или, правильнее, на бездействии Дунайской армии. Севастопольцы, живо интересуясь успехами русского оружия на Дунае и читая в газетах громкие патриотические реляции, в то же время отлично понимали то, чего еще не хотели понять некоторые петербургские дипломаты, а именно видели неизбежность войны с Англией и с Францией. Еще задолго до объявления нам войны союзными

державами такие люди, как Владимир Алексеевич Корнилов, не щадили усилий, чтобы сделать Севастополь неприступным с моря.

Корабль "Три святителя", на котором служил Лихачев, стоял вместе с "Силистрией" и "Константином" у входа в Южную бухту, на западном берегу которой амфитеатром расположен весь Севастополь, тогда как на другой стороне находятся морские казармы, а за ними Корабельная слободка. Корабль "Три святителя" стоял у мыса, как раз против Павловской батареи. Вся Южная бухта была густо усеяна парусными и паровыми военными судами разных наименований. Лес мачт и трубы пароходов придавали бухте весьма внушительный вид. На Главном рейде, более подверженном действию ветров, большие суда стояли в глубине его, за Киленбалочной бухтой. Кораблю "Три святителя", как и некоторым другим, было велено всегда находиться в боевой готовности, а потому матросы и офицеры продолжали жить на корабле, лишь иногда сходя на берег. Само собою разумеется, что молодые офицеры, которым наскучило жить на корабле в виду города, пользовались всяким удобным случаем, чтобы отпроситься в отпуск, и, несмотря на позднее время года, часто устраивали катания с барышнями на легких катерах под предлогом посмотреть на затонувший от полученных пробоин, находившийся почти у Адмиралтейства призовой турецкий корабль "Перваз-Бахри", переименованный в "Корнилова", и под другими подобными же предлогами. Но такие развлечения составляли лишь минутный отдых от работы. После Синопского боя требовалось многое для приведения кораблей в полную боевую готовность; командиры избитых судов старались обогнать товарищей и как можно скорее приготовить свои корабли к новым подвигам.

Вскоре все приняло прежний блестящий, почти праздничный вид. Палубы были, несмотря на частую непогоду, безукоризненно чисты; всякая медная скоба вычищена не хуже солдатской пуговицы; одним словом, флот имел не только грозный, но и щеголеватый вид.

Почти весь Черноморский флот был в сборе, кроме нескольких судов, крейсировавших у берегов Кавказа для внушения страха горцам, которые могли бы содействовать туркам.

На корабле "Три святителя" еще в декабре не было мачты; к концу января он стоял на своем месте, готовый хоть сейчас к походу.

Никогда моряки 'не развлекались так, как в те редкие, впрочем, дни, когда им удавалось видеть военные суда своих

будущих врагов.

В первый раз это случилось в день рождественского праздника, 25 декабря 1853 года. Был пасмурный зимний день.

Густой туман стоял над Большим рейдом, и с телеграфа, откуда наблюдали за движением судов, едва можно было различить корабли, стоявшие на рейде. Вдруг с Николаевской батареи послышалось три выстрела. Оказалось, что прибыл с депешами из Константинополя английский пароход "Ретрибюшен" и, не смущаясь военным временем, пытался проникнуть на рейд с очевидною целью осмотреть его. Выстрелы остановили дерзкого англичанина. Был послан на взморье наш пароход принять депеши. Англичанин сделал салют, мы ответили тем же, и любознательный пароход в то время еще "нейтральной" державы убрался в море.

Вскоре после этого маленького события Корнилову было поручено командование всем флотом, а в сущности, и самым портом, хотя победитель при Синопе, Нахимов, был старше его в чине, а официальным командиром порта считался вице-адмирал Станюкович.

Случилось это так: Корнилов в самое короткое время успел сделаться правой рукой князя Александра Сергеевича Меншикова, главного начальника сухопутных и морских сил в Крыму. Нахимов в конце года стал хворать, и по случаю его болезни Меншиков поручил Корнилову весь флот; что же касается старика Станюковича, он не мог и думать о соперничестве с вечно деятельным, неутомимым Корниловым.

IX

Настал февраль - начало весны для Южного бе-оега Крыма. Деревья стали покрываться зеленью, и только ночная свежесть давала себя знать.

В один из теплых дней, пользуясь восьмичасовым отпуском, Лихачев на легком катере вошел в Килен-балочную бухту, которая составляет как бы устье глубокого оврага, называемого Килен-балкой. Лихачев ловко причалил и, поручив сопровождавшему его матросу стеречь катер, сам сошел на берег и отправился пешком.

Килен-балка получила свое название от устроенного там места для килевания судов, то есть для осмотра и исправления их подводной части. Здесь всюду виднелись установленные шпили и блоки; чувствовался запах смолы, слышались покрикивания матросов. По обе стороны оврага были расположены живописные хутора, утопавшие в садах. Миновав несколько хуторов, Лихачев подошел к небольшому домику, принадлежавшему отставному капитану 2 ранга Виктору Ивановичу Спицыну, некогда

командовавшему одним из лучших черноморских фрегатов.

Домик Спицына, в котором капитан жил и зимой и летом, по справедливости мог считаться отличным дачным помещением. Это была постройка из глины и хвороста, чисто выштукатуренная, в татарско-малороссийском вкусе, крытая соломой и обнесенная плетнем выше человеческого роста. Снаружи плетень был окопан рвом, а изнутри защищен колючею белою акацией. Сад состоял из фруктовых деревьев - яблонь, слив, абрикосов. Вход в сад был через узкую, но высокую калитку, которая тщательно запиралась на ночь не от разбойников, а от матросских мальчишек, бывших грозою всех фруктовых садов этой местности. Являясь сюда целыми шайками из Корабельной слободки, эти ребята рисковали если не жизнью, то, во всяком случае, своей шкурой из-за какого-нибудь недозрелого яблока или соблазнительной сливы.

Не всякий плетень мог служить достаточной охраной от их опустошительных набегов.

Отставной капитан Спицын был вдовец; он потерял жену еще лет за десять до начала войны. Смерть ее была одной из главных причин выхода в отставку. Пока жива была покойница, Спицын спокойно уезжал в дальнее плавание, порою не бывал дома целые месяцы и даже годы и ограничивался частой перепиской с женою. Когда жена умерла, у Спицына осталась на руках семилетняя дочь, с которою он на первых порах положительно не знал, что делать. Списавшись с некоторыми из родственников, капитан решил наконец отдать дочь на воспитание своей двоюродной сестре, старой деве, имевшей в Смоленской губернии также маленькое имение рядом с имением матери Лихачева, которая также приходилась капитану родственницей, хотя очень дальней. Старая дева оказалась настоящей фурией и так тиранила девочку, что соседние помещики обратили на это внимание, и мать Лихачева написала капитану резкое письмо, говоря, что если он не возьмет дочь к себе, то она лично обратится к губернатору и сама отнимет дочь у ее прелестной тетушки. Капитан, недавно вернувшийся из плавания, получив письмо, всполошился. Его стали мучить укоры совести. Он вспомнил, что жена, умирая, умоляла его беречь дочь; а тут еще, как нарочно, подвернулись неприятности с начальством. Не долго думая, капитан подал в отставку, взял дочь, в то время уже десятилетнюю девочку, к себе в Севастополь и променял море на жизнь в своем домике.

Слуг у него было немного, всего двое. Отставной матрос Иван Михеев исполнял у него самые разнообразные обязанности, как-то: дворника, водовоза, садовника и, наконец, кучера, так как капитан приобрел пару татарских лошадок, на которых, впрочем, ездил редко, предпочитая кататься по морю. Обязанности кухарки

и вообще женской прислуги выполняла рябая курносая Мавра, находившаяся с Иваном в довольно интимных отношениях, плодом которых был шустрый мальчуган.

В таком-то обществе жила Леля и развилась в смуглую семнадцатилетнюю девушку, но по манерам походила скорее на дурно воспитанного и избалованного мальчика. Из-под гнета деспотической, богомольной тетки, заставлявшей ее ходить по струнке, молиться целыми часами, стоя на коленях, поститься каждую среду и пятницу (что делалось просто из экономии), Леля попала к отцу, где за нею не было никакого присмотра и где ее воспитателями стали слуги и уличные мальчишки. Сам капитан также воспитывал Лелю по-своему, то есть вообще предоставлял ей во всем полную свободу, но иногда вдруг напускал на себя строгость и наказывал ее за какой-нибудь пустячный проступок.

Другая, менее здоровая натура совсем бы одичала от такого воспитания. Но Леля при всей своей внешней угловатости и отсутствии манер была умна и, главное, отличалась тем, чего не дает самое утонченное воспитание - прямотой и искренностью. Быть может, лицемерная, ехидная тетка слишком грубо затронула лучшие струны детской души и заставила их зазвучать еще сильнее, вместо того чтобы подавить в девочке всякую искру честности.

Лихачев за все свое пребывание в Крыму еще ни разу не был у Спицына, хотя и приходился ему родственником. Если он и решился наконец на это посещение, то лишь вследствие усиленных напоминаний матери, которая просила его об этом в каждом письме. Лихачев сохранил воспоминание о Леле как о худощавой, некрасивой, черномазой девочке, с желтоватым цветом лица и постоянно заплаканными глазами, иногда приходившей к ним в гости в сопровождении злой старой тетки. Лихачев - румяный, здоровый, буйный мальчишка - не любил этой девочки, коверкая ее фамилию, называл ее Спичкою и, играя с ней в мяч, нарочно норовил как-нибудь запачкать ее платье. Он поступал так не из злости, а из желания рассердить ее тетку, которая то и дело одергивала платье девочки и делала ей наставления, как сидеть, как кушать, как держать голову.

Лихачев живо помнил одну маленькую драму из своей детской жизни, после которой у него навсегда пропала охота дразнить Лелю. Раз как-то Леля приехала к ним, конечно с теткой, с каким-то новым зонтиком, которого Лихачев до того времени не видел.

Мальчику так понравился этот зонтик, что, улучив минутку, когда тетка вышла в другую комнату, он стал подбрасывать зонтик, несмотря на протесты Лели. Дело кончилось тем, что

ручка зонтика сломалась. Леля громко расплакалась, говоря сквозь слезы, что попросит тетю никогда более не привозить ее к такому злому, гадкому мальчишке.

- Так ты будешь на меня еще фискалить, гадкая девчонка! Вот если бы ты сломала мою лошадку, я сказал бы маме, что сам это сделал. Да ты, впрочем, трусиха, боишься, что накажут! А я твоей тетки не боюсь.

- Злой мальчишка!.. Злой!.. Злой!.. - повторяла Леля, рыдая. - Ты не знаешь... этот зонтик... от покойной мамы! Тебе хорошо, у тебя есть мама... А у меня нет мамы! Злой, злой, я тебя знать не хочу!

Детское сердце чутко, а Лихачев не был очень злым мальчиком. Ему стало стыдно, он бросился сам искать ручку и, найдя ее, признался, что сломал зонтик.

Но Леля долго не могла успокоиться, и ее скоро увели домой.

Эта сцена вспомнилась Лихачеву, когда он приблизился к калитке салд и дернул звонок. Послышался сиплый лай собаки и заспанный голос Ивана, не успевшего еще вполне протрезвиться после вчерашней попойки. На вопрос, дома ли капитан, он ответил: спят в кабинете, а барышня читает в беседке. По указанию Ивана Лихачев направился по дорожке, усаженной сиренью и диким миндалем, к беседке, увитой виноградом. Все это было уже в зелени. Здесь сидела молодая, стройная, высокого роста девушка, в которой Лихачев никогда не узнал бы прежнюю Спичку - Лелю. Да и она не узнала его.

- Кого вам надо? Папа спит, - сказала Леля, увидя молодого мичмана, который вежливо приподнял свою форменную фуражку.

Беседка была довольно темная, и он не сразу мог рассмотреть лицо девушки, но когда Леля вышла из беседки и сделала несколько шагов навстречу мичману, он был изумлен переменой в ней.

"Какая хорошенькая, - удивился Лихачев, мысленно сравнивая ее со своей Сашей, и тут же подумал: - Она совсем в другом роде: Саша - ангел, а эта похожа на лермонтовскую Бэлу. Смуглая, губы темно-малиновые, глаза черные, ресницы густые, шелковистые... Настоящая газель, стройная. Неужели это Леля?"

- Если я не ошибаюсь, мы с вами давно знакомы, - сказал мичман и назвал себя.

Леля была удивлена и обрадована, и первою ее мыслью было броситься Лихачеву на шею и поцеловать его на правах родственницы. Она давно простила ему их детские ссоры и рада была встретить товарища детства. Здесь все знакомство ее ограничивалось несколькими старыми моряками, которые навешали Спицына, и двумя-тремя семействами в городе.

Капитан был домосед и если ездил куда-нибудь, то разве изредка в Морской клуб. Лелю он совсем не вывозил в свет просто потому, что не соображал, как и для чего это делается. Притом с течением времени капитан все более возвращался к привычке, которую оставил лишь в первые годы после женитьбы. Вечером он, по его собственному выражению, ездил через Ямайку в Рим, то есть начинал пить чай с ямайским ромом, и продолжал это занятие до тех пор, пока его не одолевал сон. При таком времяпрепровождении капитану, конечно, было не до забот о дочери.

Опомнившись от первого впечатления, Леля подошла к Лихачеву и, чуть не прыгая, сказала:

- Как вы сюда попали! А какой вы теперь серьезный! Я бы вас никогда не узнала, Сережа...

Назвав его по имени, она несколько сконфузилась и поправилась:

- Сергей Николаевич... Я вас привыкла звать Сережей.

Посыпались расспросы и воспоминания. Они говорили, перебивая друг друга, вспоминали прежнее и новое, смеялись: обоим было весело.

- Помните, как я хотел перенести вас через ручеек и нечаянно уронил на берегу и испортил вам платье?

- Да, и моя любезная тетушка заставила меня целый вечер каяться и молить Бога, чтобы он внушил мне повиновение и смирение.

- А что, ваша тетка жива?

- Жива и даже со мною в переписке. Представьте, я теперь уже не зла на нее. Она такая жалкая. Все же она меня любила по-своему.

- Извините, но я ее терпеть не мог... Вообще ненавижу таких людей. Интересно познакомиться с вашим батюшкой. У вас часто собираются? Много у вас знакомых?

- Представьте, никого, кроме двух-трех стариков капитанов... Папа не любит знакомств.

- Пожалуй, и меня прогонит? - пошутил Лихачев.

- Ну, вас - нет, он о вашей мамаше всегда отзывается с большим уважением. Да, пойдемте, может быть, он уже проснулся.

Они шли рядом. Прямо из садика" они вошли в виноградник, а оттуда, пройдя маленький дворик и палисадник, попали в галерею, стены которой были расписаны изображениями птиц. Доморощенный художник нарисовал здесь целую коллекцию пернатых, так что стены галереи напоминали картинку в зоологическом атласе. Из галереи через стеклянную дверь они

прошли в небольшую залу, служившую одновременно и столовой, уставленную тяжеловесной мебелью, с кожаной обивкой. Рядом был кабинет капитана; оттуда слышался богатырский храп хозяина дома, а сквозь полуотворенную дверь можно было видеть часть убранства кабинета. Как раз против двери висели на стене морские карты, стоял на столе глобус, а на полу у стены помещалась весьма порядочная и довольно больших размеров модель восьмидесятичетырехпушечного корабля.

- У вас модель не хуже, чем в библиотеке, - сказал Лихачев полушепотом.

- Представьте, я по этой модели знаю все части корабля, - сказала Леля. - Меня это всегда интересовало.

Лихачев стал шутя экзаменовать Лелю и удивился ее познаниям по морской части.

- Да вам бы прямо командовать кораблем!

- А знаете, я читала в одной книге, что в Америке одна девушка командовала пароходом. Жаль, что у нас нельзя. Ах как я люблю море! Если я выйду замуж, то непременно за моряка!

- Выходите за меня! - сказал Лихачев, смеясь.

Леля покраснела.

- За вас нельзя, вы мой кузен...

- Какой кузен! Десятая вода на киселе.

- Все равно нельзя. Мы с вами с первого же дня поссоримся. Помните, как вы раз со мной подрались, когда тетушка уехала с вашей мамашей к священнику, отцу Алексею...

- Леля, ты с кем там разговариваешь? - послышался заспанный голос капитана.

- Папа, кузен Сережа Лихачев приехал.

- А... вот что? Сережа... Что же ты не войдешь? Извини, я не совсем в порядке, но все же прошу в мою каюту.

Капитан называл свой кабинет не иначе как каютой. Он завел у себя морские порядки и даже вел журнал, в котором записывал сведения вроде следующих: "Сегодня дул свежий норд-ост. Повредил моим виноградникам". Летом капитан обыкновенно спал в саду на койке, подвешенной между двумя старыми ореховыми деревьями. Прежде он позволял себе это удовольствие даже в феврале, но в последнее время упорный ревматизм заставил его быть осторожнее, и капитан довольствовался тем, что в его каюте днем и ночью окна были раскрыты.

Капитан стал расспрашивать Лихачева о Синопском сражении, глаза его горели, он как бы мысленно представлял себе подробности боя. Леля также слушала с видимым вниманием.

- Молодец, молодец, Павел Степанович! - несколько раз повторял Спицын. - Думаю, Корнилов ему завидует, - сказал он,

когда Лихачев дошел до рассказа о прибытии пароходной эскадры и о неудачной погоне Корнилова за турецким пароходом "Таиф".

Капитан не любил Корнилова, так как одной из второстепенных причин его добровольной отставки была досада на замечания, сделанные ему однажды Корниловым по поводу неисправности на фрегате, которым он в то время командовал.

Лихачев также предпочитал Нахимова Корнилову, но должен был сказать по справедливости, что Корнилов всегда относился к Нахимову беспристрастно и без малейшей зависти.

- Дело было вот как, - сказал он. - Когда в конце боя пароход Владимира Алексеевича сблизился с кораблем Нахимова, Корнилов, не видя Нахимова на юте{38}, страшно встревожился и сейчас поехал к нему на шлюпке со своим штабом. У матросов, подававших ему фалреп{39}, Корнилов все спрашивал: "Где адмирал? Здоров ли он?" - но не успокоился, пока сам не увидел Нахимова на шканцах{40}. Тогда он бросился обнимать Нахимова, говоря: "Поздравляю вас, Павел Степанович, с победою, которою вы оказали большую услугу России и прославили свое имя в Европе!"

- Это очень благородно со стороны Владимира Алексеевича, - заметила Леля. - Я всегда говорила папе, что такой адмирал, как Корнилов, не может никому завидовать. Ах как он мне нравится! Он мой идеал. Я его видела всего раза два, папа недобрый, никогда никуда не берет меня с собою. Я живу здесь, как в монастыре.

- Ну да, ты только и знаешь, что осуждать отца и хвалить людей, от которых он перенес всяческие несправедливости. Я не оспариваю способностей Владимира Алексеевича. Но он слишком властолюбив и хотя мягко стелет, но жестко спать... Нахимов гораздо прямодушнее его, хотя не столь любезен с подчиненными... А Владимир Алексеевич никогда тебя по имени не назовет, делая замечание, говорит как будто о другом, а в результате выходит: полезай за борт, никуда не годишься! Говорят, - прибавил он, - Нахимов теперь очень недоволен Корниловым: Владимир Алексеевичи распоряжается его мичманами как своими.

- Да, у них вышли маленькие неприятности, но теперь они снова помирились, и Нахимов бывает у Владимира Алексеевича чуть ли не каждый вечер.

Поговорив еще о разных разностях и сделав несколько соображений о политике, капитан сказал Лихачеву:

- Думаю, однако, что общество старика вам надоело. Вы люди молодые, погуляйте и поболтайте вместе, а потом приходите,

вместе выпьем чаю.

Лихачев пытался уверить старика, что ему, наоборот, весьма приятно, но капитан только замахал руками:

- Вот этого не люблю! Лучше всего на свете откровенность. Вижу, что тебе скучно, Сережа, идите лучше покатайтесь с Лелей в моем катере.

- Если так, то позвольте мне прокатить Елену Викторовну в моем катере: вы можете смело доверить мне вашу дочь.

- У, каким высоким слогом выражается; я и сам когда-то в училище зубрил риторику, но теперь забыл... Ступайте, ступайте, я вам не мешаю.

Когда молодые люди ушли, капитан чуть ли не в первый раз в жизни задумался над вопросом, что не мешало бы найти Леле жениха. Способствовал ли этому случайно брошенный взгляд на стоявший на письменном столе маленький акварельный портрет его покойной жены, понравился ли ему Лихачев, или просто потому, что мичман был чуть ли не первый молодой человек, посетивший их уединенное жилище, - как бы там ни было, но капитану показалось, что Лихачев был бы подходящим женихом для его Лели. Жаль только, приходится сродни... В крайнем случае можно к архиерею! Моряк, имеет будущность! Получит от матери хотя небольшое, но все-таки имение. Да, это было бы хорошо. Да ведь и Леля не совсем бесприданница. За долгие годы при скромной, почти отшельнической жизни капитан накопил для дочери тысчонки две, все полуимпериалами, которые откладывал в заветном кованом железном ящичке под замком, отпиравшимся при помощи удивительного секрета.

Ящичек этот был еще лет двадцать тому назад куплен капитаном в бытность его в Нью-Йорке.

Весь Севастополь был в возбужденном состоянии. Был получен известный манифест девятого февраля, из которого стало очевидным, что Россия, продолжая войну с Турцией, готовится к разрыву с двумя великими державами.

Сорокатысячное военное население Севастополя, в особенности молодое поколение, было наэлектризовано этой вестью. Большинство относилось к войне с полной уверенностью в предстоящих нам громких победах. Лишь немногие при этом действовали подобно Корнилову, который, всеми силами стараясь поддержать общий подъем духа, обнаружившийся в войске и во флоте, в то же время тщательно изучал, насколько было возможно, силы противника и старался о предотвращении малейшей неисправности у нас самих. Большинство же, особенно в армии, ограничивалось распеванием патриотических песен вроде: "Ура! На трех ударим разом, недаром же трехгранен

штык!"

В разговорах между собою офицеры и даже генералы не допускали ни на минуту сомнения в том, что мы "вздуем" союзников.

Неминуемость войны с Англией и Францией была так ясна, что, хотя объявления войны" еще не последовало, было велено прекратить крейсерство, и вскоре в Севастополе собрался почти весь Черноморский флот.

Однажды утром с площадки, возвышавшейся над портиком морской библиотеки, откуда как на ладони видны рейд, взморье и весь город, несколько флотских офицеров наблюдали за движением судов. В то же утро ожидали возвращения корвета "Андромаха", крейсировавшего близ Сухум-кале. Корвет действительно был вскоре замечен. Но вслед за ним показался трехмачтовый пароход, имевший белый флаг с маленькими красными уголками. Вскоре стало ясно, что это пароход французский, и, по-видимому, парламентерский. Тотчас дали знать Корнилову, который отправился в Карантинную бухту и потребовал дежурной шлюпки, желая сам опросить пароход.

Шлюпка оказалась без парусов, без оружия, без флага, и гребцы были одеты весьма плохо. Корнилов вышел из себя, разнес брандвахтенного{41} командира и был весьма рад, когда увидел, что французский пароход, не дожидаясь опроса, повернул назад и вскоре скрылся из виду.

- Хорошее мнение составили бы о нас те, которые, может быть, завтра будут нашими неприятелями! - говорил Корнилов и тотчас же написал карандашом на клочке бумаги весьма резкую записку к вице-адмиралу Нахимову, которую немедленно отправил к нему на корабль со своим флаг-офицером. Нахимов уже вполне оправился от болезни и заведовал своей эскадрой и обороной рейда.

Получив записку Корнилова, Нахимов добродушно сказал флаг-офицеру:

- Кажется, Владимир Алексеевич, по обыкновению, имеет слишком мрачный взгляд на вещи-с... Неисправности везде есть, но уж едва ли верно-с, чтобы гребцы были, как он пишет, оборваны...

- Действительно, они плохо одеты, Павел Степанович.

- С какого корабля шлюпка-с?

- С "Святослава".

- Стыдно капитану Леонтьеву...{42} - заметил Нахимов. - Я ему скажу-с...

Как нарочно, в это время приехал на корабль Нахимова один из капитанов, особенно недолюбливавший Корнилова. Нахимов

показал капитану записку Корнилова. Тот притворился глубоко возмущенным, но не фактами, сообщаемыми Корниловым, а тоном письма.

- Помилуйте, Павел Степанович, простите мое откровенное замечание. Вы герой Синопа, да, кроме того, старший флагман, а Владимир Алексеевич пишет вам письма, которых я бы не перенес по отношению к себе... Какой он вам начальник!

Самолюбие Нахимова было задето. Он снова обратился к флаг-офицеру.

- Передайте Владимиру Алексеевичу, что я приму меры-с, но что за всякую неисправность на рейде отвечаю я-с, - сказал Нахимов с особенным ударением на последнем слове.

Флаг-офицер возвратился к Корнилову с заявлением, что Нахимов, по-видимому, обиделся.

- Я лично объяснюсь с Павлом Степановичем, - сказал Корнилов. - Он редкой души человек, но, к сожалению, находятся люди, которые жужжат ему в уши всякий вздор... Надо заботиться о деле, а не о том, кто кого обидел... Постойте, мы сейчас удовлетворим самолюбие Павла Степановича. Отправьтесь к нему немедленно и попросите, чтобы он сообщил мне составленное им расписание порядка занятий на корабле. Я объявлю это расписание приказом к руководству и на своей эскадре и тем покажу Павлу Степановичу, как глубоко я уважаю его знание морского дела.

Корнилов не ошибся. Нахимов был вполне удовлетворен и в тот же вечер сам пришел к своему старому товарищу на квартиру - поговорить и распить вместе бутылку марсалы в знак полного примирения. В то время семья Корнилова жила в Севастополе, и Нахимов был принят здесь как родной. Нахимов вообще избегал и даже ненавидел женщин, но он чувствовал себя как дома в обществе жены Корнилова.

XI

Вот уже недели три прошло со времени последнего посещения Лихачевым семьи Минденов. Лихачев ни на минуту не сравнивал своих чувств к Саше с той привязанностью, которую он чувствовал к дочери капитана Спицына, но как ему ни было стыдно признаться в этом перед самим собою, в обществе Лели ему было веселее, чем у Минденов. С Лелей они катались, гребли по очереди, правили рулем, Леля понимала в морском деле немногим меньше Лихачева, у них явились общие интересы, она интересовалась даже тем, кого раньше произведут в лейтенанты, на каком корабле поднимет свой флаг тот или другой из флагманов. Саша, наоборот, отдалась исключительно попечениям об отце, которого Лихачев даже видеть не мог равнодушно, до

того старик стал противен и несносен. Совесть, однако, стала мучить Лихачева, и в одно утро он, получив отпуск, твердо решил отправиться к Минденам. Решимость эта чуть было не поколебалась вследствие записки, в которой Леля просила Лихачева приехать за нею и повезти ее посмотреть на работы по подъему затонувшего корабля "Перваз-Бахри". Скрепя сердце Лихачев написал отказ, поехал на катере к Адмиралтейству и, взяв извозчика, проехал в конец Морской к знакомому домику, где была квартира Минденов. Его крайне изумило, что среди бела дня он в окно увидел горящие свечи. Сердце Лихачева тревожно забилось, предчувствуя что-то недоброе. Не успел он войти на крыльцо, как понял, что его предчувствие сбылось. Из залы доносилось монотонное чтение на немецком языке, и хотя Лихачев не знал по-немецки, но тотчас понял, что в доме готовятся похороны по лютеранскому обряду.

Посреди залы, куда, стараясь не стучать, вошел Лихачев, стоял гроб, возле которого склонились две фигуры в черных платьях - Луиза Карловна и одна из дочерей-близнецов - Лиза. Саша, также вся в черном, стояла на коленях, низко опустив голову и как бы не желая видеть ничего окружающего. Несмотря на торжественность минуты, Лихачев заметил, что черное платье шло очень к ней, еще более выделяя цвет ее белокурых волос. Жирный лютеранский пастор о чем-то вполголоса говорил с доктором, также немцем, в отдалении стоял доктор Балинский, вид которого сильно раздражал Лихачева, хотя доктор занимался тем же, чем и он сам, а именно рассматриванием хорошенькой белокурой головки. Тут же находился еще какой-то незнакомый Лихачеву молодой человек, как оказалось потом, также доктор из обрусевших немцев.

Улучив минуту, Лихачев подошел к Саше и вполголоса сказал ей несколько слов, думая утешить, но Саша не то апатично, не то враждебно взглянула на Лихачева своими красными от слез глазами и, не ответив ни слова, снова уставилась в землю. Лихачев почувствовал себя оскорбленным, тем более что на этот раз он от души сочувствовал горю молодой девушки.

Луиза Карловна приложила все усилия, чтобы придать похоронам мужа как можно более торжественный характер. Генерала, отставленного по суду, нельзя было похоронить с подобающими воинскими почестями, но все же Луиза Карловна не щадила усилий, чтобы придать обряду некоторую официальность.

Она лично бегала к сильным мира сего, умоляя их не оставить несчастную вдову и детей покойного, и действительно, ей удалось пригласить многих влиятельных лиц. Знакомые

являлись сами; многие из небывавших у Минденов по каким бы то ни было причинам явились теперь отдать последний долг покойному. Одним словом, похороны вышли весьма приличные, и Луиза Карловна достигла своей главной цели: возбудила во всем севастопольском обществе сочувствие к себе и к сиротам. Влиятельные люди тут же посоветовали ей обратиться к государю с просьбой о вспомоществовании.

Во время погребальной процессии Луиза Карловна сама поддерживала свою дочь Лизу, а Сашу поручила попечениям доктора Балинского, чем возбудила ревность и негодование Лихачева. Вместо того чтобы думать о похоронах, мичман сердито пожирал глазами доктора, который вел под руку его Сашу.

Но когда пришли на кладбище и гроб стали опускать, Саша истерически разрыдалась и, оставив руку доктора, бросилась к краю могильной ямы. Лихачев едва успел подхватить девушку сзади за талию, иначе она упала бы.

- Оставьте меня, пустите, мне ничего не надо, я также хочу умереть! говорила Саша, рыдая.

Лихачев со всею нежностью, на какую был способен, стал вполголоса уговаривать ее "успокоиться. Сам того не замечая, он несколько раз назвал ее своей дорогой Сашей, и потом только ему пришла мысль: что, если кто-нибудь услышал?

Припадок ревности, мелочная досада, все в нем исчезло, все, кроме бесконечной жалости и любви к ней. Он держал руку Саши в своей: оба они стояли на коленях у края могилы, и лицо Лихачева было так близко к ее щеке, что он чувствовал теплоту дыхания любимой девушки.

Лихачеву не было дела до этого умершего старика и до всех окружающих. Он любил эту девушку более чем когда-либо и думал, что и она любит его, хотя так убита горем, что теперь ей не до любовных признаний.

Вот уже все стали расходиться с кладбища, могила была давно засыпана и покрыта венками. Луиза Карловна и Лиза молились и плакали. Саша по-прежнему стояла на коленях, не поднимая глаз; Лихачев стоял подле нее.

- Не пора ли и нам, Луиза Карловна, - раздался резкий, неприятный голос доктора Балинского. От этого голоса Лихачева передернуло.

- Позвольте мне довести домой Александру Васильевну, - сказал Лихачев ее матери, чувствуя в себе внезапный прилив смелости.

- Ах, мой друг, ведь он молчит, молчит наш покойник! - не столько расстроенным, сколько жалобным голосом сказала Луиза

Карловна. - Поддержите мою бедную дочь!

Лихачева передернуло: столько фальши почувствовал он в словах вдовы. Он встал и с торжественным видом повел Сашу под руку. Доктор с неудовольствием поглядел на него и предложил свои услуги Лизе.

XII

В один из последних мартовских дней к зданию библиотеки подходила группа из двух офицеров и двух молодых девушек. Это были Лихачев, шедший рядом с Лелей Спицыной, и граф Татищев, оживленно разговаривавший с Лизою Минден.

Несколько раз Лихачев, пользуясь редкими случаями, когда имел отпуск, приглашал на прогулку свою Сашу, но она упорно отказывалась и сидела дома, по целым часам погруженная в полную апатию. Она все еще не могла примириться с мыслью о смерти отца. Лиза уже успела отчасти забыть свое горе, о котором ей напоминали лишь ее траурное платье да странствования вместе с сестрой на могилу отца, куда они постоянно приносили свежие венки. У Лизы молодость скоро взяла свое, она по-прежнему стала играть сонаты Моцарта и Бетховена и гулять с моряками и офицерами. Лихачев долго убеждал Сашу пойти хоть на полчаса прокатиться на лодке. Видя безуспешность своих усилий, он сначала был серьезно опечален, но, получив записку от Лели, не утерпел, был у нее раза два и наконец уговорился с нею устроить прогулку. Лиза Минден также согласилась участвовать.

В качестве кавалера для Лизы кстати подвернулся граф Татищев, иногда бывавший у Минденов. Решено было пойти сначала посмотреть библиотеку. Лиза еще ни разу не была внутри здания и просила об этом. Луиза Карловна охотно дала согласие. Отсюда молодые люди думали отправиться к Адмиралтейству, а потом прокатиться на славу на рейде. Чтобы успеть сделать все это, собрались рано и часов в семь утра подошли к красивому парадному входу библиотеки. Здесь посредине находится портик, поддерживаемый двумя колоннами ионического ордера с шестью статуями каррарского мрамора. Вот и две громадные статуи в нишах нижнего этажа: по одну сторону - Архимед, по другую - Ксенофонт, и два сфинкса по бокам парадной мраморной лестницы.

Лихачев знал всех сторожей, и, несмотря на раннее время, вся компания беспрепятственно вошла в большую залу, с двумя рядами окон, с галереею и железною решеткою, в центре которой укреплены большие часы-хронометр. Посредине залы стояла модель стодвадцатипушечного корабля "Двенадцать апостолов" со всем вооружением в две с половиной сажени длины. Они прошли

и наверх, где были две большие комнаты для чтения, и вниз, в газетную комнату, в переплетную и в типографию; потом пошли смотреть, по просьбе Лизы, могилу Лазарева, по соседству с библиотекой, наконец, отправились на площадку, возвышавшуюся над портиком, полюбоваться на вид города и Черного моря.

- К чему здесь поставлен флагшток? - спросила Леля.

Действительно, на площадке стоял флагшток, который, подобно шлюпочной мачте, мог быть убран и вновь поставлен.

- По распоряжению Владимира Алексеевича Корнилова, - ответил стоявший здесь с подзорною трубою в руке флаг-офицер, в котором Лихачев узнал одного из офицеров с корабля "Великий князь Константин".

- Отсюда, - поспешил пояснить Лихачев, - даются теперь сигналы. Видите, вот стоит сигналист. Прежде давали сигналы с городского центрального телеграфа. Там еще несколько выше над уровнем моря, чем здесь, но площадка очень тесна и неудобна для переговоров морскими сигналами с судами, плавающими в виду порта. Здесь и ближе к рейду, и площадка просторная.

- Можно мне посмотреть в трубу? - спросила Леля флаг-офицера.

- С величайшим удовольствием... Прошу вас! Только извините, долго нельзя: у нас служба.

Леля стала смотреть; ей это было не в диковинку, так как у ее отца была отличная труба.

- Кажется, я замечаю на горизонте какое-то иностранное судно.

- Быть не может, сударыня, я только что смотрел и не видел, - сказал флаг-офицер.

- Вам, верно, так почудилось, - сказал Лихачев.

- Нет, видно, у меня глаза лучше ваших, право, я вижу иностранный трехмачтовый пароход.

Флаг-офицер попросил трубу обратно, посмотрел и воскликнул:

- Вы правы, теперь я начинаю видеть!

- Что, Елена Викторовна! Вам принадлежит, быть может, честь открытия первого неприятельского парохода! - воскликнул граф Татищев. - Ведь теперь война объявлена, и господин Лихачев, вероятно, скажет, что мы не выпустим ни одного англичанина, который попадет в наши руки.

- А вы разве не того же мнения? - спросил Лихачев. - Впрочем, если вас послушать, можно подумать, что наши доблестные моряки хуже турецких, а англичане настоящие морские боги...

- Ну, этого я, положим, не думаю, - сказал граф. - Я даже уверен, что именно этот коварный британец, усмотренный такою

горячею патриоткою, какова Елена Викторовна, непременно станет добычею наших моряков.

- Вы что-то часто смеетесь над моим патриотизмом, - сказала Леля. - Ну а вы, граф, что вы такое? Патриот или космополит?

- Ни то ни другое... Я просто русский человек и думаю, что можно быть русским, не будучи квасным патриотом.

- А я разве квасная патриотка? Как вы любезны, граф.

- Однако это в самом деле нечто серьезное, - пробормотал флаг-офицер и, не обращая более внимания на гуляющие пары, велел сигналисту делать сигналы. С корабля и с центрального телеграфа "Великий князь Константин" также ответили сигналами.

- Ну-ка, Елена Викторовна, позвольте проэкзаменовать вас... Вы позволите барышне еще на минутку взглянуть в трубу? - спросил Лихачев флаг-офицера.

- Сделайте одолжение, но только на минуту, теперь дело спешное.

Леля посмотрела в трубу.

- Ну что же, вижу корабль; теперь вполне ясно, он идет к Бельбеку.

- Под каким флагом?

- Под австрийским, хотя корабль как будто английский.

- Неужели?

- Совершенная правда, - подтвердил флаг-офицер. - Я сам удивляюсь. Впрочем, вероятно, это только так... вывеска. Корабль, несомненно, английской конструкции.

- Видите, видите! - обрадовалась Леля. - Вот и не удалось меня срезать! Я выдержала экзамен!.. Мерси, - сказала она, возвращая офицеру трубу.

- А! Я так и знал! - вдруг воскликнул флаг-офицер. - Подлый англичанин!

- Что такое? - спросил Лихачев.

- Каков англичанин! - сказал флаг-офицер. - Теперь лег на норд-вест и догоняет русское купеческое судно, кажется, "Александр Невский".

- Сущие разбойники!

- Вот вам и ваши англичане! - сказала Леля, постоянно пикировавшаяся с графом Татищевым, с которым она недавно познакомилась у Минденов. Под влиянием Лихачева отец Лели стал чаще прежнего отпускать ее в гости, и хотя Леля не отличалась светскими манерами, но давно перестала быть той робкой, запуганной девочкой, какою ее когда-то знал Лихачев. В ней была некоторая дикость и угловатость, сначала шокировавшая графа, но мало-помалу граф свыкся с этим, и Леля

показалась ему даже не лишенной известной пикантности. Граф называл ее непочатой, непосредственной натурой, и после светских петербургских барышень она казалась ему, во всяком случае, интереснее севастопольских "аристократок". Патриотическое одушевление семнадцатилетней дикарки забавляло графа, и он нарочно поддразнивал ее, рисуясь своим скептическим отношением ко всему русскому.

- А вы чего же хотите, Елена Викторовна, вы бы желали, чтобы англичане сидели сложа руки, любуясь на наш флот? А вот англичане в свою очередь говорят, что мы нехорошо поступили под Синопом, напав внезапно на слабейший турецкий флот, потопив купеческие суда и предав пламени турецкую эскадру и город. Я, конечно, на это скажу: a la guerre come a la guerre (на войне как на войне), - но на каком же основании мы порицаем англичан за их крейсерство?

- Ну, уж это атанде-с, господин поручик, - сказал флаг-офицер, прерывая наблюдение. - Жаль, теперь нет времени оспаривать вас, а я бы вам доказал, что о синопском деле все написанное в английских газетах есть сущая небылица...

Он снова стал смотреть в телескоп.

- И я могу подтвердить слова господина лейтенанта, - сказал Лихачев, как личный участник сражения. - Последние слова Лихачев произнес с выражением особенной гордости. - Англичане страшно оклеветали нас, - добавил он.

- Они подняли сигнал из двух флагов - белый с синим крестом и красный продолговатый, - говорил флаг-офицер. - Эти негодяb намерены взять наше судно на буксир.

- Что отвечают с центрального телеграфа? - спросил Лихачев одного из флотских.

- Владимир Алексеевич дает сигнал фрегатам "Кулевчи" и "Коварна" сняться с якоря.

- Ага! Значит, погоня за неприятельским пароходом! Браво! - воскликнула Леля. - Как я рада. Теперь еще более жалею, что наша прогулка расстроилась. Как бы мне хотелось посмотреть!

- Я могу вам опять предложить маленькую трубу, - сказал флаг-офицер и велел матросу подать Леле трубу.

- Ах как я люблю Владимира Алексеевича! - вдруг воскликнула Леля. - Он такой смелый. Всегда ищет случая встретить врага.

- Не так громко, Елена Викторовна, - сказал граф. - Пожалуй, еще Владимиру Алексеевичу сообщат, что одна барышня в обществе призналась в своей любви к нему.

- Ну что же? Пусть говорят, ведь это правда, - сказала Леля. - Я всегда буду говорить, что Владимир Алексеевич - герой. У него даже вид геройский.

- Я не спорю насчет доблестей Владимира Алексеевича, - продолжал неугомонный граф. - Но что за особенный героизм, собственно, в данном случае? Английский пароход один, а у нас целый флот. Наоборот, с его стороны можно считать героизмом подступать так близко к такому сильному флоту.

- Хорош героизм! Украдкою, под австрийским флагом, и нападать на беззащитные купеческие суда! - воскликнула она. - Смотрите, смотрите... он уже навалил на наше судно и взял его на буксир! Ах как бы я желала, чтобы это судно было военное! Мы бы показали себя англичанам!

- Неужели будут стрелять? - тревожно спросила Лиза Минден, все время молчавшая. Одна мысль о сражении заставила ее побледнеть. - Я лучше возвращусь домой... Граф, вы проводите меня?

- Разумеется... Неужели мы отпустим вас одну, - сказал граф, которому хотелось остаться. - А вы, Елена Викторовна?

- Я, конечно, останусь! Еще бы! Благодаря любезности господина флаг-офицера я буду иметь возможность видеть такое чудное зрелище! - Какая вы, однако, воинственная девушка! - сказал граф.

- Англичанин делает сигнал из трех разноцветных флагов... А, наконец-то он поднял и свой британский флаг! - сказал офицер, наблюдавший в телескоп. Теперь он надеется удрать, а потому показал свои зубы. Погоди, брат, поймают, если не оставишь добычи! Теперь сигнал: адмирал требует скорого исполнения! - сказал он сигналисту.

Известие о погоне русских фрегатов за английским пароходом, похитившим русское купеческое судно, быстро распространилось в городе, и на площадку библиотеки стали стекаться любопытные, преимущественно моряки. Становилось тесно, и флаг-офицер вежливо, но твердо попросил публику не мешать ему, так как дело весьма серьезное.

- Черт знает что такое! - воскликнул флаг-офицер. - Наши

фрегаты ждут, пока пароход "Херсонес" даст им дорогу! Что за скандал! Уйдет, пожалуй, англичанин{43}!

- Браво! Фрегат "Коварна" миновал Константиновскую батарею! - говорила Леля, не замечая, что она одна посреди мужчин и что Лиза Минден, несколько раз звавшая ее с собою, наконец удалилась под руку с графом.

- Ага! Англичанин струсил! Отрубил буксир, спустил флаг и удирает во все лопатки! - говорил флаг-офицер.

- Наши фрегаты на ветре, идут бейдевинд{44} левым галсом, торжественно заявила Леля, изумив нескольких не знавших ее моряков, которые спрашивали друг друга: что это за девица?

- Молодцы! Узлов по восьми в час делают! - сказал один из моряков, наблюдавший в бинокль.

Действительно, в течение получаса можно было думать, что фрегаты настигнут пароход, но за Херсонесским маяком ветер стал стихать, и англичанин, пользуясь этим, лег круче, стараясь выйти на ветер у фрегатов. В четверть десятого неприятель снова поднял английский флаг. Вдруг послышался выстрел, затем другой, третий, четвертый.

- Врешь, брат, руки коротки! - сквозь зубы проговорил флаг-офицер. Должно быть, недохватит!

Действительно, снаряды не долетели до русских фрегатов кабельтова на полтора. Фрегат "Кулевчи" в свою очередь дал два выстрела: оба русских ядра также не долетели. Ветер стихал, ход фрегатов уменьшился до пяти узлов, и пароход заметно выигрывал расстояние.

- Какая досада! Отчего наши не погнались за ним на пароходах?! сказала Леля. Она так увлеклась, что время для нее прошло незаметно, хотя было уже более одиннадцати часов утра, когда английский пароход скрылся, а наши суда поворотили в Севастополь. Князь Меншиков и Корнилов смотрели на ту же погоню с городского центрального телеграфа. С этого времени, впрочем, и сам Корнилов стал предпочитать наблюдения с библиотеки.

Корнилов завел в Севастополе свои порядки. Он добился того, что сигнал, сделанный на библиотеке, имел значение приказа князя Меншикова, тогда как такие приказы нередко давались не только самим Корниловым, но и доверенными флаг-офицерами. Действительно, случалось так, что если бы флаг-офицер вместо распоряжения по собственному усмотрению сначала отправился докладывать Корнилову или Меншикову о неприятеле, то могли бы выйти самые печальные последствия.

XIII

Объявление нам войны двумя великими державами мало

повлияло на мирных жителей Севастополя; почти никто и не думал о том, чтобы выезжать, кроме нескольких иностранных купцов. Зато моряки и местные войска усиленно работали.

Пасха была проведена в Севастополе в тревожном ожидании. Было получено известие, что сильный неприятельский флот появился в виду Одессы. Знающие дело не сомневались, что отправка флота с целью бомбардировать мирное порто-франко была лишь уловкой: все ожидали, что неприятель явится внезапно у Севастополя, надеясь застать нас врасплох.

Весь Черноморский флот, кроме судов, чинившихся в доках, был в сборе: двенадцать линейных кораблей, четыре фрегата и шесть пароходов стояли на Севастопольском рейде в полном боевом порядке.

В середине апреля неприятельские корабли стали то и дело появляться в виду Севастополя в одиночку и целыми эскадрами.

Наступило 17 апреля. С раннего утра можно было видеть целую неприятельскую флотилию и легко было различить, что она состояла из больших кораблей и громадных по сравнению с нашими пароходов. У моряков, видевших это зрелище, забилось сердце от нетерпения поскорее сразиться с дерзким неприятелем. Но никто не знал истинного числа кораблей всей неприятельской армады, и благоразумие требовало хотя сколько-нибудь познакомиться с врагом, прежде чем вызывать его на бой.

Впрочем, в тот же день черноморские моряки имели удобный случай сравнить искусство неприятеля с своим собственным. Около пяти часов пополудни большой двухдечный винтовой корабль под английским белым контр-адмиральским флагом отделился от флота и стал быстро приближаться к рейду. На площадке библиотеки в это время находилось несколько офицеров, и с ними Владимир Иванович Истомин{45}, командир корабля "Париж", произведенный за Синопское сражение в контр-адмиралы.

Русские моряки с замиранием сердца следили за движением английского корабля. Корабль держался под парусами довольно близко к рейду и как будто дразнил черноморцев.

- Кажется, Джон Буль{46} хочет похвастать перед нами своими маневрами, - сказал Истомин. - Знаете, господа, - прибавил он, взглянув в трубу, - да ведь этим пароходом управляет отличный мой приятель!

- Как так? - изумились офицеры.

- Я не шучу. Ведь это "Агамемнон", и, по моим предположениям, на нем должен находиться контр-адмирал Лайонс{47}, а это хороший мой приятель: мы познакомились в Ливерпуле. Но дружба дружбой, а я вам скажу, господа, что мой

англичанин совсем оплошал. Посмотрите, как дурно выправляет рангоут! Просто колет глаз! А паруса они как переносят! Точно старые бабы! Это доказывает неопытность команды. Вот вам и надменные потомки Нельсона{48}!

Офицеры с восторгом слушали слова Истомина. Этот восторг вскоре сменился огорчением.

В мае 1854 года в Севастополе, вместе с Северной стороной, было уже сосредоточено семьсот шестьдесят одно орудие, причем некоторые из орудий были взяты с кораблей.

Но справедливость требует сказать, что с суши Севастополь был защищен весьма слабо. Корнилов, как моряк, естественно, заботился более всего о флоте.

Что же делал князь Александр Сергеевич Меншиков? Ввиду восстановления исторической истины, надо сказать, что еще в то время Меншиков жаловался на крайнюю нехватку рук, отсутствие средств и недостаточность предоставленных ему полномочий. А тогда Меншиков еще не был главнокомандующим в настоящем смысле этого слова. Нередко случалось, что князь просил того или другого генерала и даже полковника дать ему солдат для производства работ и получал ответ: "Нельзя обращать войска на инженерные работы". Меншиков радовался, когда встречал командиров, имевших более осмысленный взгляд на вещи. Однажды, объезжая укрепления, князь остановился близ укреплений, которые сооружались за Артиллерийской слободкой; невдалеке от кладбища князь увидел Волынский полк, которому производилось учение. Полковник, маленький, плотный, пожилой уже человек, круглолицый, с орлиным носом, энергично командовал полком. Это был Хрущов{49}. Полк его стоял в то время на Южной стороне, занимая бухты Камышовую, Стрелецкую и Казачью: то была опасная позиция, так как легко было ожидать, что именно здесь высадится неприятель.

Хрущев был старый холостяк, совершенно монашеского поведения. Солдаты его любили, офицеры нередко собирались у него на даче, в Камышовой бухте, пообедать, так как командир отличался хлебосольством. Здесь радушный хозяин расхаживал с своей неизменной суковатой палочкой, у которой вместо ручки было изображение птицы, и предоставлял своим гостям полную свободу, которою они нередко злоупотребляли. Особенно любили разные мальчишеские выходки состоявшие при Хрущеве прапорщик Маклаков и поручик Михайлов...

У того же полковника Хрущова была чуть ли не лучшая музыка во всем Севастополе. Он завел в своем полку итальянца-капельмейстера, по фамилии что-то вроде Папини, и если в Севастополе кто-нибудь хотел дать бал или сыграть свадьбу, то

наперерыв обращались к Хрущеву.

Хорошие отношения между Меншиковым и Хрущевым начались с описываемого нами случая.

Посмотрев на ученье волынцев, Меншиков поздоровался с солдатами. Князь имел прескверную привычку здороваться с войсками чуть не вполголоса, и часто случалось, что солдаты, не расслышав его слов, хранили гробовое молчание. Но Хрущов, зная эту слабость князя, предупредил своих волынцев, и они гаркнули: "Здравия желаем, ваша светлость!" Меншиков просиял и завязал с Хрущевым разговор об оборонительных работах, жалуясь, по обыкновению, на отсутствие рабочей силы.

- - Если так, ваша светлость, - сказал Хрущов, - я поручу некоторые работы моим волынцам. Князь просиял еще более.

- А неудовольствие вашего начальства, полковник? - сказал он.

- Уж это я беру на себя, - сказал Хрущов. - Работа полезна солдату, разовьет силу, особенно молодых рекрутов.

В один из первых дней июня князь Меншиков сидел за утренним чаем в обширной столовой Екатерининского дворца, где была его квартира. Кроме нескольких молодых адъютантов князя здесь был еще командир недавно прибывшего гусарского Лейхтенбергского полка Халецкий. Меншиков умел быть любезным, когда того хотел. Он часто приглашал к обеду или к чаю начальников вновь прибывших частей, сажал их подле себя и старался расположить их в свою пользу. Но по большей части любезность князя производила впечатление лишь в первые дни знакомства с ним. Князь любил, чтобы перед ним, в свою очередь, преклонялись и, главное, признавали его великие стратегические познания. Если он замечал, что им сколько-нибудь принебрегают, Меншиков круто изменял тон и из светского человека превращался в надменного начальника.

В ожидании чая разговор шел о разных предметах, и князь выказывал свои энциклопедические познания. Один из адъютантов князя, Панаев{50}, страстный наездник, говорил о лошадях. Князь тотчас прочел целую лекцию по иппологии.

- Удивляюсь, откуда вы, ваша светлость, не будучи кавалеристом, обладаете такими глубокими познаниями по части коннозаводства? - сказал генерал Халецкий.

- Говорят, ваша светлость, - вставил Панаев, - что будто вы в бытность вашу в германских университетах получили диплом не только доктора философии, но и ученого ветеринара...

Сказав это, адъютант несколько смутился, боясь, не обидится ли князь; но Меншиков одобрительно засмеялся своим дребезжащим смехом.

- Ты прибавь, братец, что у меня есть диплом на звание ученого кузнеца, и, на случай если моим завистникам удалось бы сместить меня с моего настоящего поста, у меня в руках остается ремесло.

- Ваша светлость, да, кажется, нет предмета, которого бы вы не знали! с энтузиазмом воскликнул Панаев.

- А вот здешние моряки находят же, братец, что я хотя и моряк, но недостаточно знаю морское дело. Эти господа убеждены, что морское дело знает только тот, кто умеет громко кричать матросам: "Все наверх!"

- Помилуйте, ваша светлость, - сказал Панаев, - неужели вы верите сплетням, что будто моряки вас не любят? Есть, конечно, два-три завистника да два-три человека, воображающих, что они могут распоряжаться здесь совершенно самостоятельно.

Говоря это, Панаев наполовину льстил князю. Панаев был молодой гвардеец, недавно приехавший из Петербурга, обласканный князем, искренне считавший Меншикова великим человеком и хваливший его в глаза и за глаза.

Камердинер князя Разуваев уже собирался подать чай, как вдруг было доложено, что с площадки библиотеки моряки усмотрели приближение к Севастополю сильной неприятельской эскадры, которая подходила к рейду с весьма подозрительными намерениями.

- Ну и пускай подходят. У нас одна Николаевская батарея имеет более ста пушек, и мы примем их с честью, - сказал князь. - Но я боюсь, что Корнилов снова вздумает настаивать на своем плане морского сражения. Не хотят понять, что с нашим немногочисленным парусным флотом мы совершенно неспособны выдержать сравнение с превосходными силами неприятеля, у которого столько винтовых кораблей и пароходов.

В это время князю доложили, что его желает видеть Корнилов.

Князь попросил Корнилова в кабинет.

Меншиков возвратился оттуда в самом мрачном расположении духа, проворчав: "Ничего не поделаешь с этим упрямцем!" - и велел камердинеру подать себе одеться. Одевшись, князь в сопровождении Корнилова и нескольких адъютантов отправился на площадку библиотеки.

В телескоп ясно были видны три громадных батарейных парохода, быстро приближавшихся к Севастопольскому рейду; вдруг они убавили ход и, по-видимому, стали осматривать местность и рейд. Корнилов некоторое время наблюдал, наконец сказал решительно:

- Как вам угодно, ваша светлость, я отправляю за ними в

погоню шесть пароходов. Я вижу, что неприятельские пароходы значительно сильнее наших, но, будучи в двойном числе, мы с Божьей помощью одолеем их.

- Еще раз повторяю, не следует подвергать сравнению наши суда с неприятельскими, - угрюмо проворчал князь, чувствуя, что спорить бесполезно и что Корнилов сделает по-своему.

Корнилов действительно велел уже дать сигнал, и шесть наших пароходов тотчас развели пары и пошли навстречу неприятелю. Неприятельские пароходы некоторое время продолжали приближаться к рейду. Вскоре стало очевидно, насколько они больше наших: наши пароходики казались по сравнению с неприятельскими чем-то вроде баркасов. Тем не менее, не принимая боя, неприятель стал медленно уходить, Корнилов указал на это князю.

- Как видно, Джон Буль не очень храбр, - сказал он. - Желал бы я, чтобы нам удалось сцепиться с ними. В борьбе с сильнейшим противником единственное действенное средство - абордаж.

Наш отряд, следуя за неприятелем, постепенно скрывался из виду, и наконец с библиотеки, несмотря на ее высоту, можно было видеть лишь рангоут наших пароходов.

Послышался выстрел, потом другой, третий.

- А, наконец-то завязали перестрелку! - сказал Корнилов. - Помоги Бог контр-адмиралу Панфилову{51}! Желаю неприятелям второго Синопа!

Новые, более отчетливые выстрелы послышались с нашей стороны. Спустя недолгое время наши пароходы повернули назад и стали приближаться к рейду.

Корнилов нервно кусал губы, Меншиков глядел на него в упор со своей обычной саркастической улыбкой.

- Кажется, Синоп у нас выходит не совсем удачный! - сказал князь и, обращаясь к адъютантам, прибавил: - Что, господа, более смотреть не стоит. Наши возвращаются после славного дела. Пойдем и мы домой пить чай.

Князь еще раз взглянул с усмешкой на Корнилова и ушел со своими адъютантами. Корнилов пожал плечами и, велев сделать еще несколько сигналов, поспешил на рейд.

Возвратившись во дворец, князь Меншиков сел пить чай и сидел все время молча.

Адъютанты перешептывались, не желая раздражать его. Вдруг отворилась дверь и показался Корнилов, явившийся впопыхах, без доклада. Не переступая порога, он громко и горячо, со свойственной ему искренностью воскликнул:

- Вы правы, ваша светлость! У нас нет пароходов! Они наших

не подпустили, да и борта у них настолько выше наших, что сцепиться не было никакой возможности.

С этими словами Корнилов снова исчез за дверью.

Эта перестрелка весьма неприятно подействовала на наших моряков. В первый раз им стало ясно, что в борьбе с союзниками кроме героизма и искусства необходимы были и те громадные материальные средства, которыми располагал неприятель.

Но еще крупнейшая неприятность ждала наших черноморцев.

14 июля на море был так называемый мертвый штиль. На рассвете еще чувствовался легкий восточный ветер, и, усмотрев три неприятельских парохода, наши крейсеры стали сниматься с якоря. Но вскоре с библиотеки был дан сигнал крейсерам остаться на месте, так как на горизонте появилась целая неприятельская эскадра. Ветер постепенно стихал, и наконец поверхность моря приняла зеркальный вид. Ярко-изумрудная вода Севастопольского рейда была совершенно прозрачна, солнечный зной давал уже себя чувствовать.

Матросы кончали уборку судов, мыли краску горячею водою, чистили наружную медь, проветривали паруса и флаги. На утро была слабая надежда, что вновь подует ветер и позволит сняться с якоря. Офицеры собирались в группы, и в разговорах между ними повторялось слово: "абордаж", "абордаж".

Легкий туман, с утра стоявший над рейдом, испарялся под лучами солнца и наконец совсем рассеялся. Суда наши стояли на своих боевых позициях. Один из трех ближайших неприятельских пароходов подошел к берегу у северного телеграфа.

Англичанин круто повернул, пустил ядро и две бомбы без всякого результата и побежал в море. Но полчаса спустя неприятельская эскадра стала приближаться. Она шла без флагов и парусов: парусные корабли двигались на буксире при помощи винтовых кораблей и пароходов. Эскадра была по силе равна нашему флоту, но имела то преимущество, что могла двигаться и тогда, когда мертвый штиль отнимал у черноморцев надежду приближаться к неприятелю.

Неприятель, точно глумясь над нами, стал делать в виду Севастополя разные мудреные эволюции. Винтовые корабли учились водить на буксирах сразу по два и по три парусных. Три парохода, раньше подходившие к берегу, делали промеры. Весь Севастополь следил за маневрами неприятельского флота. Даже Нахимов, в последнее время живший неотлучно на своем далеком корабле, стоявшем в глубине рейда, приехал на библиотеку. Долго смотрел он на неприятельские пароходы, наконец отвернулся, проговорив: "Проклятые самовары! Недаром-с я не любил их!"

Удар, нанесенный этим происшествием самолюбию моряков, был весьма чувствителен. Многие молодые офицеры чуть не плакали от бессильной злобы, не зная, кого винить. Даже для самых легкомысленных людей стало ясно, что мысль о втором Синопе должна быть оставлена и что надо думать лишь о том, чтобы спасти родной город и флот.

Часть вторая

I

Граф Татищев занимал квартиру в одном из лучших севастопольских домов на Екатерининской улице, хотя ему почти целые сутки приходилось проводить в лагерях близ Песочной бухты, где стояла его батарея.

О богатстве графа ходили в Севастополе несколько преувеличенные слухи, и многие севастопольские маменьки вздыхали, мечтая влюбить графа в какую-нибудь из своих дочерей. Всех интриговал вопрос, почему этот блестящий молодой человек променял гвардию на артиллерию. Одни утверждали, что у него вышла какая-то история с придирчивым армейским полковником, которому граф, гуляя на Невском проспекте, забыл отдать честь. Другие возражали, что в подобном случае при дворе всегда заступились бы за гвардейца, и приписывали перевод Татищева в армию несчастной любви, заставившей его будто бы бежать из Петербурга. Третьи, наконец, утверждали, что граф вызвал кого-то на дуэль, о чем узнало начальство, и хотя дуэль была предупреждена, графу пришлось будто бы перевестись в артиллерию. Какой из этих слухов имел основание - трудно решить, но, во всяком случае, по мнению многих севастопольских барышень, молодой граф был весьма интересным героем романа. Этого мнения не разделяла Леля Спицына, "капитанская дочка", как ее называли в Севастополе. Граф видимо интересовался ею и даже ради нее познакомился с капитаном, которому, впрочем, весьма не понравился. Капитан видел в графе петербургского хлыща и даже сделал выговор Лихачеву за то, что он познакомил свою кузину с этим аристократом. Капитан вообще не любил людей слишком светских и уверял, что слово "аристократ" означает: "Ори стократ, а все-таки я тебе не поверю!"

Граф мало-помалу стал свыкаться с обществом плебеев-артиллеристов, которое оказалось гораздо более серьезнее и образованнее, чем он ожидал. Товарищи Татищева, первоначально сторонившиеся бывшего гвардейца, также попривыкли к нему. Со скуки Татищев иногда стал собирать у себя на квартире артиллерийских и флотских офицеров: с пехотинцами, самой плебейской частью армии, он знался мало.

Таким образом, общество, собиравшееся у Татищева, было, во всяком случае, довольно избранное, и хотя здесь веселились и даже изрядно пили, но безобразия и бесчинства не допускалось.

Кроме денщика Василия, молодого парня из дворовых Татищева, у него был еще камердинер Матвей, старик с длинными седыми бакенбардами, в старомодном, некогда зеленом, теперь порыжевшем казакине и белых перчатках, всегда в безукоризненно чистой и туго накрахмаленной рубашке. Это был вполне барский слуга, необычайно ловко, несмотря на свою старость, подававший блюда, тарелки и обернутые в салфетки бутылки с винами. На молодого графа Матвей смотрел несколько свысока и покровительственно, так как носил на руках не только его самого, но и его отца. Севастополем старик был крайне недоволен, находя, что здесь и слишком жарко, и все дорого, даже фрукты не так дешевы, как ему бы хотелось, хотя в то время за пять копеек можно было купить порядочный мешок слив и даже абрикосов. Особенно же огорчало старика то обстоятельство, что граф, вопреки его советам, не взял с собою из деревни повара, но брал обеды в ресторане Томаса.

Что касается денщика Василия, из крепостных людей графа, он был бы отличным слугой, если бы не имел слабости напиваться раза два в неделю, с каковою целью он сливал остатки вин из разных бутылок, нисколько не смущаясь различием, существующим между красными и белыми винами, не говоря уже о таких тонкостях, как разница между хересом и портвейном.

В один из знойных июльских дней, когда на улицах было трудно дышать от жары и невыносимой пыли, покрывавшей слоем листву деревьев, рассаженных по обеим сторонам Екатерининской улицы, камердинер Матвей в ожидании своего барина накрыл стол белоснежною скатертью, поставил двенадцать приборов, так как у Татищева редко обедало менее десяти человек, и отправился будить денщика Василия, который спал в лакейской, издавая свистящие носовые звуки.

- Вставай, что ли, мужик необразованный! А еще денщик! Их сиятельство сейчас придут обедать, а он почивать изволит. Вставай, говорят тебе, беги в ресторан, вели им, чтобы через полчаса было готово.

- А? Что? Куда идти, дядя Матвей? - заспанным голосом спрашивал денщик, протирая глаза и переваливаясь на другой бок.

- Вставай, говорят тебе! Какой я тебе дядя! Матвей потащил денщика за' ногу, тот отдернул ногу и продолжал храпеть.

- Ну, подожди, я тебя когда-нибудь проучу, - проворчал старик, но в это время послышался резкий звонок, возвещавший о

приходе гра/ра. Старик побежал отворять.

- Что, Матвей? Как у нас? Никого еще не было? - спросил Татищев. Какая пыль, просто дышать нельзя, - сказал он, бросаясь на диван.

- Вы что-то как будто нездоровы, ваше сиятельство? - спросил с участием камердинер. - Вам бы прилечь немного, и гостей не принимать, и самим покушать чего-нибудь полегче. Уж, право, давно следовало бы нанять хоть здешнего повара, если не хотите из ваших людей... Этими обедами все здоровье испортите...

- Нет, я здоров, так, устал, - сказал граф. Он был вполне здоров, но на него напала какая-то беспричинная хандра и скука. "Уж хоть бы скорее явился неприятель - по крайней мере, будут сильные ощущения", - думал он и жалел, что не моряк - все же им веселее: хоть пустячные, но все же были перестрелки. Сухопутная же артиллерия, находившаяся у Песочной бухты, пока вела самую скучную, самую прозаичную лагерную жизнь, и Татищев мог еще считать себя счастливым, что имел возможность почти ежедневно ездить в город и разнообразить свои впечатления.

- Не было ли писем, Матвей? - спросил Татищев камердинера.

- Два письма, ваше сиятельство, я положил вам на письменный стол. Прикажете подать умыться и переодеться?

- Нет. Ты знаешь, я люблю умываться основательно... Дай сюда письма.

Матвей подал одно письмо: оно было от бурмистра и касалось денежных дел.

Прочитав адрес на другом письме, граф тотчас узнал почерк. Нервным движением он неловко разорвал конверт, слегка надорвал самое письмо, написанное на толстой почтовой бумаге, от которой, несмотря на продолжительное пребывание письма на почте, все еще слышался запах дорогих духов. Письмо было написано по-французски, изысканными выражениями, с незначительными орфографическими ошибками. Мы приведем его в переводе. "Дорогой друг мой, нет более сил терпеть. Я не перенесу нашей разлуки. Мой тюремщик становится с каждым днем все более придирчивым и ревнует меня ко всем, но о тебе и не догадывается. Я должна сообщить тебе все без утайки. Я беременна и считаю низостью обманывать его и назвать твоего сына (мне почему-то кажется, что у меня будет мальчик) его ребенком. Он низок, гадок и жалок, но на такой обман я не способна. Единственный исход из моего положения - бежать, бежать, пока еще не поздно. Теперь я еще перенесу трудности продолжительного путешествия. Я еду к тебе, мой милый, не отговаривай меня от этого! Я беру с собой только чемодан с моими вещами: остальное, все его подарки пусть остаются у него.

Я знаю, что ты будешь рад моему приезду. Ты, может быть, скажешь, что в мои годы (мне теперь уже двадцать пятый год) смешно вести себя как пятнадцатилетней девочке. Но пойми, это единственный исход. Ты, конечно, скажешь всем, что я твоя жена, а он не посмеет меня преследовать. Мне говорили, что есть закон, дозволяющий мужу требовать жену через полицию. Неужели есть такой ужасный закон? Но я скорее умру, чем вернусь к мужу. Притом он трус, а ты такой мужественный. С тобою я не боюсь никого в мире. Твоя навсегда. Бетси".

Татищев несколько раз перечитал это письмо и, стиснув зубы, потирал рукою разгоряченный лоб.

- Этого еще недоставало! - почти вслух проговорил он и кликнул Матвея: - Никого не принимать сегодня, сказать, что я болен.

- Давно бы так, ваше сиятельство, - ласково сказал старик и, уходя, прошептал: - В первый раз послушался старика! Такой упрямый мальчик! Весь в отца.

- Этого еще недоставало! - снова повторил граф. Ему стало душно, он выпил стакан холодной воды и, подойдя к окну, настежь отворил его. Но с улицы пахнуло как от раскаленной печи; вместо свежего воз

духа граф вдохнул только пыль. Он с досадою отошел от окна и снова развалился на диване.

В бытность свою в Петербурге граф еще года два тому назад стал ухаживать за княгиней .Бетси Бельской, одной из самых блестящих восходящих звезд петербургского большого света. Муж княгини Бетси занимал важный пост в министерстве. Это был человек весьма ученый, много путешествовавший не только в Европе, но и в Америке, в Египте, в Малой Азии, особенно по святым местам. В возрасте, когда другие имеют уже взрослых детей, он вдруг неожиданно для всех женился на девушке-бесприданнице из хорошей дворянской семьи, которая по окончании института была гувернанткой в семье его сестры. Граф Татищев познакомился с княгиней Бельской на придворном балу и стал бывать у ее мужа под тем предлогом, что будто бы интересовался сочинением о святых местах, которое князь Бельский давно уже готовил к печати, читая отрывки из него в избранном кругу своих знакомых.

Связь между Татищевым и княгиней Бельской скоро стала известна всем, кроме ее мужа, который был слишком уверен в своем превосходстве над молодой женой, чтобы подозревать ее в чем-либо, кроме легкого кокетства, которое он, как человек хотя и религиозный, но светский, не считал предосудительным. Лишь в самое последнее время пребывания Татищева в Петербурге,

когда отношения графа к его жене стали притчею во языцех, князь стал смутно догадываться, но все же был настолько ослеплен, что подозревал всех, кроме настоящего виновного. Самолюбие не позволяло князю Бельскому видеть соперника в юном гвардейце, и его подозрения обращались против людей более солидных по летам и по положению.

Татищев относился к этой своей первой светской связи довольно легко. Конечно, он чувствовал, что с княгинею Бетси нельзя поступить как с какой-нибудь мещанкой; но ни на минуту он не считал своих отношений к ней предосудительными, а еще менее того видел в них возможность возникновения какой-либо серьезной связи. Светская среда, в которой он вращался, не только не порицала, но одобряла графа: многие ему завидовали. Полученное им воспитание и воспоминания о похождениях отца не могли внушить молодому графу мысли, что связь с замужней женщиной есть что-либо предосудительное. Свет осуждал лишь людей слишком неловких, слишком грубо ведущих интригу, и еще более осуждал чудаков, относящихся к подобной любви слишком серьезно.

Теперь, получив это странное письмо от княгини Бетси, Татищев в первый раз увидел, что связь с чужой женою влечет за собою некоторую ответственность и может возложить на него тяжелое бремя.

"Что я буду делать с ней? Куда я ее помещу? Кто будет ей прислуживать, - думал Татищев, никогда до тех пор не задававшийся подобными мещанскими вопросами. - И главное, скандал: кто поверит, что я женат, как отнесутся ко мне товарищи и начальство? Черт знает что такое! Она погубит всю мою карьеру!"

Но вдруг ему стало страшно стыдно, так как Татищев знал, что Бетси любит его, как он, быть может, не способен никого полюбить. Ему стало стыдно даже за свои мелкие севастопольские победы, он вспомнил и свое неудачное ухаживание за дикаркой Лелей... Образ княгини Бетси, ее бледное, обрамленное черными локонами, овальное лицо, ее мягкие, бархатные, немножко узкие, томные глаза, слегка приподнятая верхняя губка и знакомая ему улыбка, которой он никогда не замечал у княгини в обществе, - все вспомнилось графу как живой укор. "Неужели придется взять Бетси сюда? - думал граф, ломая голову. - Как бы все это устроить? Каким образом избежать огласки, если муж захочет устроить скандал и потребует жену обратно? Нет, быть не может, чтобы она решилась приехать сюда! Уж лучше пусть едет в одно из моих имений. Но и там некому ее устроить! Хуже всего, что она в действительности

еще более энергична, чем в своих письмах!"

Татищев отчаянно зашагал по комнате, стараясь что-нибудь придумать, но ровно ничего не выходило. Явился вестовой с пакетом от батарейного командира. Татищеву надо было немедленно ехать на Песочную бухту, и эта поездка отвлекла его мысли в другую сторону.

II

Отставной капитан Спицын стал снова подумывать о вступлении на службу. Каждый день он садился писать прошение, начинавшееся словами: "Манифест государя императора объявил нам всем о разрыве с двумя западными державами. Желая принести посильную пользу отечеству..." Обыкновенно на этом слове прошение обрывалось. Капитан не мог перенести мысли, что, быть может, его услуги будут приняты холодно и что, во всяком случае, трудно надеяться, чтобы ему вновь было предоставлено командование кораблем.

Капитан сидел в своей "каюте", как он называл кабинет, выходивший окнами на рейд. Спицын до сих пор не мог привыкнуть к жизни на суше и старался сохранить во всем морские порядки. Летом он даже спал не на постели, а в койке, подвешенной в саду, между деревьями. Это представляло двойное удобство, так как капитан спал чутко, и мог следить за тем, чтобы матросские мальчишки не обрывали плодов в саду; в последнее время капитан пристрастился к садоводству и вел постоянную войну с воришками.

В один душный вечер, когда в воздухе не было ни малейшего ветерка, капитан сидел на террасе, читая газету и прихлебывая чай с ромом, как вдруг он увидел свою Лелю в розовом платье, в соломенной шляпке и в желтых перчатках. Леля шла, размахивая закрытым зонтиком, и, против обыкновения, не подошла к отцу, но прямо направилась в свою комнату.

- Отца стала забывать, - пробормотал капитан. - Конечно, я ей не могу заменить матери. Ах, если бы жива была покойница. Боюсь, что девчонка совсем собьется с толку. По целым дням катается в яликах с офицерами. Надо ее прибрать к рукам.

Капитан уже много раз давал себе слово обращаться с дочерью построже и приучить ее к хозяйству, но из этого как-то ничего не выходило.

Леля вошла в свою комнату, небольшую, но уютную, с белыми тюлевыми занавесками, этажеркою книг в красивых переплетах и столиком, заставленным разными безделушками. В углу стоял рабочий столик красного дерева, но Леля почти никогда не дотрагивалась до иглы и вообще никаких рукоделий не любила, предпочитая чтение. Пялец, составлявших в то время

необходимую вещь во всяком доме, у нее и вовсе не было.

Не раздеваясь, Леля отодвинула ширмы, бросилась на постель: не обращая внимания на то, что сомнет шляпу, она уткнулась лицом в подушку и начала всхлипывать.

- Какое право имеет он говорить мне такие пошлости! - сказала Леля. Разве я дала какой-нибудь повод обращаться с собою так? Боже мой, Боже, мой!.. Он думает, если он граф, то вправе оскорблять других.

Она долго плакала - и было отчего. Граф Татищев с легкомыслием, свойственным людям его круга, привык смотреть на средний класс как на особую породу людей, с которою можно позволить себе вольности, недопустимые в аристократическом кругу. Конечно, барышне-аристократке он не предложил бы после такого непродолжительного знакомства кататься с ним вдвоем за городом или ездить tete-a-tete (наедине) в легком ялике. Леля относилась к подобным прогулкам просто, как провинциалка, не видящая в этом ничего предосудительного, как девушка, привыкшая видеть у отца одно лишь мужское общество и стеснявшаяся дам более, чем мужчин. Но при всей невоспитанности и незнании правил света в ней была врожденная стыдливость, все сильнее проявлявшаяся с тех пор, как Леля из ребенка становилась девушкой. Инстинктивный страх отталкивал ее от всего, что имело малейший характер пошлости, и даже любовные романы Леля читала редко, предпочитая им описания путешествий. Ухаживание графа сначала было ей просто непонятно; но как только он во время вечерней прогулки позволил себе сказать ей несколько любезностей, весьма невинных, по мнению графа, но возмутивших Лелю до глубины души, она твердо решила, что эта прогулка будет последнею, и даже не позволила Татищеву проводить себя дальше садовой калитки. А все дело было в том, что граф, не слишком выбирая выражения (так как говорил не с аристократкой), отозвался о красоте ее лица и стана.

"Как он смел! - думала Леля, краснея до корней волос при одном воспоминании об этих комплиментах. - Что ему за дело, какое у меня лицо и какая талия! Никогда больше не поеду с ним кататься! Бедный папа, я на него сердилась, а вышло, что он прав, называя этого графа пустым фатишкой".

Леля вытерла мокрым полотенцем лицо и глаза, чтобы скрыть следы слез, и побежала к капитану. Она была лихорадочно весела, обнимала старика, отнимала у него газету, заставила его идти с собою под руку, прыгала, пела песни.

"Что это с ней такое? - недоумевал капитан. - То смотреть на отца не хочет, то на шею вешается. Вся в покойницу! Та, бывало,

только что меня с глаз прогонит, а через полчаса, смотришь, уже называет своим капиташкой".

- Папа, не правда ли, какой славный мой кузен Лихачев? - спросила вдруг Леля.

- Да, лихой будет моряк... Одного ему не прощу, зачем тебя знакомит со всякою швалью.

- С кем это, папа? - дипломатически спросила Леля.

- Да хоть бы с этим... как его... графчиком. Кажется, он того... вздумал за тобой ухаживать. Только ты ему передай от меня, чтобы он лучше снялся с якоря, потому что если он себе это позволит, то я, несмотря на мои лета, так уложу его в дрейф, что с места не встанет!

Капитан грозно потряс кулаком.

- С чего вы это взяли, папа? Да я сама не такая, чтобы кому-нибудь что-нибудь позволить. Уж об этом не ваша забота.

- Как не моя забота? Да как у тебя язык поворачивается говорить так с отцом!

- Я ничего такого не сказала. Я говорю только, что сама сумею постоять за себя.

- "Сама сумею постоять", - передразнил капитан. - Знаю, теперь девушки стали вести себя очень самостоятельно... Но от этого и происходит все это... Смотри у меня, Леля! Вот отошлю тебя опять к тетушке!

- Ну, теперь, папа, меня поздно этим пугать. Я не боюсь никаких тетушек на свете.

- Ладно, ладно, не разговаривать, ступай лучше спать.

- Спать еще рано, и я не восьмилетняя девочка. Сказав это, Леля ушла в беседку. Капитан только вздохнул.

В семье покойного генерала Миндена в течение лета не случилось ничего особенного, если не считать радостного известия из Петербурга о назначении по высочайшей воле вдове Минден и ее дочерям "негласной" пенсии в три тысячи рублей в год. Со дня получения этого известия все в семье повеселели. Даже Саша, все еще ежедневно менявшая венки на могиле отца, стала как будто веселее и иногда играла с сестрою на фортепиано в четыре руки.

К концу августа в Севастополь стали прибывать новые войска, съехалось много офицеров; да и флотские по случаю бездействия нашего флота все чаще стали появляться в обществе. Нападения врагов никто не боялся. С моря Севастополь считался неприступным. Вообще никакой тревоги в городе не было. Немногие уезжали, но зато были и такие, которые приезжали.

Граф Татищев говорил, а другие повторяли, что военное положение отразилось пока лишь на ресторанах, где почти

исчезли французские вина, постепенно заменяясь крымской кислятиной.

Сверх того, в обществе стали меньше говорить по-французски и вообще на иностранных языках; даже Луиза Карловна говорила почти исключительно по-русски, а по-немецки только молилась и считала деньги.

Генеральша Минден, хотя была в глубоком трауре, вздыхала, говоря: "Мой покойный муж", а иногда чувствительно повторяла: "Наш покойник молчит, молчит!" - но, в сущности, чувствовала себя очень хорошо. Только из приличия она не уступала желанию своей любимицы Лизы и не возобновила вечеров, но, считая себя и дочерей надолго обеспеченными, перестала думать о том, чтобы выдать их за первого встречного, и мечтала о какой-нибудь солидной партии.

По-прежнему их посещала молодежь. Стали бывать и новые лица - адъютант Нахимова Фельдгаузен и другие. Время проводили очень весело. Сестры играли на фортепиано, моряки, армейцы и доктора наперерыв ухаживали за ними. За Сашей приударил даже молодой белобрысый доктор Генрихсон, имевший (конечно, не в Севастополе) жену и ребенка. Впрочем, его ухаживания были самого невинного свойства и не возбуждали ревности даже в Лихачеве, который снова стал посещать Минденов, когда только ему позволяла служба, так как постоянные учения, примерная пальба из орудий, работы по сооружению новых укреплений - все это отнимало у моряков пропасть времени.

Вообще дела было так много, что Лихачев не успевал разобраться в своих чувствах к Саше, хотя и заметил в ней поворот, весьма благоприятный для себя. Саша перестала тосковать и даже несколько пополнела. При встречах с Лихачевым она улыбалась ему, и молодому мичману иногда казалось, что пожатие руки ее было особенно нежно.

Несколько месяцев назад один взгляд Саши мог бы осчастливить Лихачева, теперь же в ее присутствии он испытывал чувство, несомненно, приятное, но более спокойное и соединенное с внутренним самодовольством.

Чувства Лихачева к Саше окрепли с тех пор, как он стал верить в прочность ее привязанности к себе. Если Лихачев иногда и ревновал Сашу к доктору Балинскому, к молодому адъютанту и к другим знакомым, то стыдился признаться в этом даже самому себе. С тех пор как Лихачев стал серьезно работать и увидел, что его одобряет такой человек, как Корнилов, он вырос в собственных глазах и, придавая себе более цены, был уверен, что и любимая девушка оценит его.

В первой половине августа Лихачеву было поручено в числе других офицеров надзирать за доставкой морем камня и песку с Бельбека для возможно скорого сооружения башни над так называемой Двенадцатиапостольскою батареею, то есть батареею, для которой орудия были взяты с корабля "Двенадцать апостолов". Провозившись над этим делом с раннего утра до обеденного времени, Лихачев дождался, когда другой мичман приехал сменить его, а сам отправился на "Три святителя". Оказалось, что на корабле находится Корнилов, постоянно следивший за порядком во всем флоте. Корнилов стоял на палубе корабля "Три святителя" вместе с контр-адмиралом Новосильским, поднявшим на этом корабле свой флаг, и с командиром корабля Кутровым. Лихачеву b удалось услышать часть разговора между начальниками.

- Ну что вы скажете, Владимир Алексеевич, о пресловутом английском крейсерстве, - говорил Новосильский. - Ведь наш-то "Святослав" в июне стоял на мели в виду их эскадры, а они ничего не заметили и дали нам возможность снять его с мели самым удобным образом.

- Я повторяю то, что всегда говорил об англичанах, - сказал Корнилов. Они прекрасные моряки, но не английскому, а всякому флоту принадлежит пальма первенства, если только командиры кораблей искусно управляют судами, если люди бдительны, если их хорошо кормят и если они уважают своих начальников. Численностью и в особенности количеством пароходов неприятель превосходит нас. Но, с Божьей помощью, мы не выдадим родной флот и город.

- Но я к тому начал об этом речь, Владимир Алексеевич, - перебил Новосильский, - что, по моему мнению, в последнее время мы уже слишком много работаем на суше и ради этих работ забываем наши корабли.

- А я так думаю, что слишком мало на суше, - не согласился Корнилов. Я это сознаю, да горю пособить не могу. Делаем по мере сил, постараемся и еще больше сделать. Вот вы будете недовольны этим: вы в душе моряк и не хотите видеть, что здесь, в Севастополе, мы с городом составляем единое целое. А я вам скажу неприятную для вас новость: крейсерство наших судов на время вовсе придется сократить, а корабельные команды должны усиленно работать над сооружением батарей.

- Да ведь на это, Владимир Алексеевич, надо каких-нибудь саперов, а не моряков... - возразил командир корабля.

- Эх, капитан! Что нам считаться! Неужели ждать, пока неприятель возьмет Севастополь, и тогда послать за саперами и за армией? Будем исполнять наш долг, какое бы дело нам ни

представилось. На кораблях найдется дело, стоит только поискать его. Помните, что каждую минуту мы должны быть готовы к выходу на бой с неприятелем, и материальная часть нашего флота должна постоянно соответствовать пламенному желанию всех нас доказать, что мы пользуемся заслуженною репутацией.

Лихачев с восхищением смотрел на адмирала, сказавшего последние слова просто, без всякого желания сколько-нибудь рисоваться, что еще более усилило впечатление.

"Странное дело, - подумал Лихачев, - когда долго не видишь Корнилова, начинаешь верить всем сплетням о его властолюбии, честолюбии и прочему вздору. Но стоит увидеть его, и сам стыдишься, что поверил. Удивительный человек! В его глазах светится что-то особенное".

Лихачеву и на ум не приходило, что Корнилов чувствовал себя от усталости так дурно, что, выйдя на пристань, должен был взять дрожки. Семейство Корни-107

лова несколько дней назад переехало, по его желанию, в Николаев, и Владимир Алексеевич устроился по-холостому. По вечерам у него бывали Нахимов, Истомин и другие моряки. Добравшись домой, Корнилов вошел в свою спальню, не раздеваясь, бросился на постель и заснул как убитый. Но через полчаса он уже встал и, несмотря на сильную головную боль, собрался осматривать устраивавшуюся окончательно оборонительную казарму близ будущего пятого бастиона, а оттуда отправился на свой корабль "Константин".

Здесь, чувствуя себя совершенно" разбитым, он не был в состоянии даже написать письмо жене и поскорее лег спать, чтобы завтра встать до рассвета.

III

Князь Меншиков, по обыкновению, пил чай со своими адъютантами Панаевым, Грейгом и другими. За чаем князь был весел, что удивило адъютантов, привыкших за последние дни видеть его в угрюмом настроении. Все лето князь жаловался на петербургских чиновников и царедворцев. Особенно доставалось от него главнокомандующему путей сообщения графу Клейнмихелю. Князь, когда был в духе, не пропускал случая, чтобы не поострить насчет графа. И в этот раз он по поводу медленной доставки провианта и отсутствия рабочих не преминул задеть своего врага. (Врагов князь нажил себе"видимо-невидимо.)

- Нечего сказать, исправно исполняет Клейнмихель мои просьбы, - заметил князь. - После Пасхи я обратился к нему с просьбой дать роту рабочих для исправления дорог, и есть надежда, что к Новому году обещанная рота будет дана... Едва

добился, да и то помимо Клейнмихеля, присылки мне батальона саперов.

- Скажите, ваша светлость, - спросил Панаев не из желания угодить князю, но по ненависти к Клейнмихелю - чувство, которое питала к графу большая часть военных, - правда ли, что граф получил Георгиевский крест за венгерскую кампанию, в которой он вовсе не участвовал?

- Нет, - сказал Меншиков, улыбаясь, - не совсем правда! Он, братец, получил крест не за венгерскую кампанию, а просто за компанию: нельзя же было его обделить, когда другие получили.

Адъютанты прыснули со смеха.

- Что делать, - продолжал князь, - если приходится довольствоваться крупицами из-под ног Клейнмихеля и инженерного департамента. Решительно я прихожу к убеждению, что после монахов самая худшая порода людей инженеры... Кстати, скажу вам новость: сюда приехал из Южной армии саперный подполковник Тотлебен{52}. Кажется, Горчаков{53} вздумал нам прислать нового наставника.

Князь засмеялся неприятным дребезжащим смехом. В это время вошел камердинер и доложил о приходе Тотлебена.

- Проси в кабинет, - сердито сказал князь.

Кончив чай, Меншиков переоделся, велел подать бриться и тогда только вышел к Тотлебену. В кабинете шагал взад и вперед, с видимым нетерпением ожидая князя, молодой человек лет тридцати пяти, с несколько солдатской, но умной физиономией и серьезными добродушными глазами. Он был в походном мундире, с которого не успел вычистить пыль.

Князь Меншиков надменно смерил Тотлебена с ног до головы и, кашлянув, спросил:

- Кто вас прислал сюда?

Тотлебен изумленно взглянул на Меншикова.

- Если не ошибаюсь, обо мне была переписка между вашей светлостью и князем Горчаковым.

- Я так и знал! Изумительна рассеянность князя! Он всегда все перепутает... Я и не думал вас приглашать, он сам писал по этому поводу, но из этого еще ничего не следует.

Тотлебен, несколько озадаченный таким приемом, подал Меншикову письмо от Горчакова. Прочитав письмо, Меншиков уставился на Тотлебена и, язвительно улыбнувшись, сказал:

- Князь Горчаков, вероятно, в рассеянности позабыл, что у меня есть саперный батальон. Отдохните, молодой человек, и затем поезжайте назад в армию. Здесь вам нечего делать.

Тотлебен снова изумленно посмотрел на Меншикова своими добрыми глазами и откровенно сказал:

- Ваша светлость, я приехал сюда не ради карьеры, а единственно из научной любознательности. Я так много слышал об отличном состоянии приморских укреплений Севастополя, которые, говорят, стали неузнаваемы главным образом благодаря распоряжениям вашей светлости.

Меншиков несколько смягчился.

- А вот здешние флотские приписывают все себе, - улыбнулся он, переменив тон. - Скажите, молодой человек, - спросил князь, подумав, - вы по фамилии Тотлебен, а я знаю, что был на Кавказе генерал Тотлебен - это не родственник ваш?

- Некоторым образом предок, - сказал Тотлебен.

- Так вот, этот генерал Тотлебен был очень способный человек. Вы, конечно, знаете о его заслуге там, на Кавказе.

- К стыду своему, ваша светлость, должен признаться, что не знаю.

- Стыдно вам не знать. Он там провел войска по такому пути, которого и теперь отыскать не могут.

- Во всяком случае, мне весьма лестно слышать об этом, ваша светлость.

- А вы и не знали до сих пор? Каков потомок, - сказал Меншиков, засмеявшись на этот раз дребезжащим, но добрым смехом. - Что же, если вы действительно так любознательны, здесь найдется обильная пища вашему уму. Поезжайте посмотрите всю нашу оборонительную линию.

Меншиков присваивал себе вообще все хорошее, что делалось в Севастополе, но не мог не сознавать, что только по делу сухопутной обороны он мог приписать себе некоторую инициативу.

- Я приехал сюда у вас учиться, ваша светлость, - сказал Тотлебен, в начале разговора не на шутку боявшийся, что Меншиков отошлет его обратно к Горчакову.

Эти слова окончательно расположили Меншикова в пользу новоприезжего.

"Он дельный офицер, не из тех петербургских пройдох, которые приезжают сюда затем только, чтобы осуждать меня, а сами ничего не делают", - подумал Меншиков.

За вечерним чаем Меншиков обратился к одному из своих адъютантов, Грейгу, так, как будто о Тотлебене в первый раз идет речь.

- Сюда приехал от Горчакова саперный офицер Тотлебен, - сказал он, - и очень мне понравился. Ты сходи, братец, к нему - он остановился в нумерах. Познакомься, он тебе понравится. Предложи ему мою лошадь и завтра же поезжай с ним. Покажи все по порядку.

Рано утром Тотлебен поехал осматривать оборонительную линию, начиная от шестого бастиона. Его сопровождали двое адъютантов князя - Грейг и Панаев. Адъютанты все время хвастали, стараясь показать, что и они также могут приписать себе участие в возведении укреплений.

- Что это у вас: все камень да камень? - сказал Тотлебен.

- Да, и какой камень! Любое ядро от него отпрыгнет. Тверд и упруг, сказал Панаев, смысливший кое-что в лошадях, но ровно ничего не понимавший в инженерном деле.

- Не мешало бы немного землицы, - сказал как бы про себя Тотлебен, внутренне смеясь над адъютантом.

"Нет, эти укрепления ниже всякой критики, - думал он. - : Здесь надо все переделать по-своему. Да и орудия, нечего сказать, хороши. Трехфунтовые пушечки, тогда как неприятель, без сомнения, будет громить нас осадною артиллериею. Эти пушки как раз хороши для защиты Севастополя на тот случай, если против нас взбунтуются крымские татары".

Подумав это, Тотлебен сказал, однако, вслух:

- Да, для такого короткого времени и при ваших средствах вы сделали многое... Конечно, многое еще предстоит сделать и переделать.

В тот же день Тотлебен был приглашен к столу Меншикова.

- Ну что? - спросил князь торжественным тоном. - Как вам понравились наши работы?

- Удивляюсь, ваша светлость, как много сделано вами при таких условиях... Конечно, я осмелюсь со своей стороны указать на некоторые недостатки.

- Указывайте, я желаю знать ваше искреннее мнение. Я всегда рад искреннему и умному совету.

Тотлебен снова скромно повторил, что приехал учиться у князя, и весьма ловко, как бы спрашивая его указаний и советов, на самом деле сам указал ему на множество сделанных промахов. Все это было сказано так дипломатично, что князь не шутя поверил, будто эти самые мысли он внушал Корнилову и что только упрямство Корнилова помешало успеху дела.

За обедом все были веселы, и князь, между прочим, обратился к Тотлебену со словами:

- Теперь я сам посоветую вам Ьстаться при мне. Надеюсь, что Горчаков этому препятствовать не будет.

Тотлебен поблагодарил и прошептал на ухо Панаеву:

- Знаете ли, князь Горчаков не особенно жаловал Шильдера{54}, а потому я предпочел перейти сюда.

- Князь уже успел полюбить вас, - прошептал Панаев так, что Меншиков мог его услышать. Меншиков одобрительно

улыбнулся.

- Вы видели вновь заложенный редут на Зеленой горе? - спросил Меншиков.

- Как же, ваша светлость! Отличное место, только надо начать с того, чтобы осыпать землею каменные завалы, как вы сами изволили заметить.

- Как, а разве я вам не сказал об этом? Да, Корнилову я действительно сотни раз указывал, но он все стоит на своем: камень да камень.

- Надо употреблять везде самые подручные средства - в этом вся наша наука, - сказал Тотлебен.

- А вы, впрочем, познакомьтесь с Корниловым, - сказал князь. - Он упрям и своенравен, но человек способный.

- Я уже имел честь представиться Владимиру Алексеевичу, - сказал Тотлебен.

Он не прибавил, что, бывши у Корнилова, осуждал во всем князя и выражал, на этот раз вполне искренно, сочувствие энергичному моряку, который должен был все брать буквально с бою, так как Меншиков, считавший упрямыми своих подчиненных, сам был упрям и капризен в высшей степени. Корнилов так остался доволен Тотлебеном, что решил причислить его к своему штабу.

IV

Двадцать шестого августа, в годовщину Бородинского сражения, Бородинский полк, стоявший лагерем на Северной стороне, справлял свой годовой праздник.

Офицеры были уже в полном сборе близ палатки полкового командира. Ждали приезда главнокомандующего и других начальствующих лиц. Наконец приехал князь со своими адъютантами, отслушал молебен, сухо поздравил полк и сам уехал в Севастополь, предоставив адъютантам пировать с другими офицерами. Представителем пира был начальник семнадцатой дивизии, генерал-лейтенант Кирьяков, плотный мужчина не первой молодости, но считавший себя очень красивым, ухаживавший за всеми хорошенькими дамами, говоривший зычным грудным голосом и имевший репутацию прямого, истинно русского человека. Подле него сидел седой как лунь ветеран двенадцатого года, участник Бородинского боя, генерал Бибиков{55}, слепой старик, давно живший на Бельбеке в маленьком именьице. В своем старом, александровских времен мундире он выглядел какой-то археологической редкостью, и блестящие гвардейцы из свиты князя втихомолку подтрунивали над старичком.

- Граф, как вам нравится генерал Кирьяков? - спросил

адъютант Грейг, обращаясь к сидевшему подле него Татищеву, бывшему в числе приглашенных на праздник.

Татищев был не в духе. У него болела голова от бессонницы, и, сверх того, он получил второе письмо от княгини Бетси, в котором она сообщала, что ее муж болен, что ему угрожает паралич и что если, не дай Бог, это случится, она никогда не оставит мужа.

Мы уже видели, что Татищев отнесся далеко не сочувственно к сумасбродному плану княгини бросить мужа и ехать в Севастополь. Но теперь его самолюбие было задето и ревность заговорила в нем. Мысль, что эта прелестная молодая женщина останется навсегда прикованной к постели разбитого параличом ненавистного старика и что она делает это добровольно, в силу сознания какого-то долга, возмутила графа до глубины души. Он написал в ответ весьма резкое письмо, где сказал, между прочим, что его удивляет, к чему она разыгрывала с ним эту комедию, что он и не думал звать ее к себе в Севастополь, что теперь с минуты на минуту ожидают военных действий и присутствие женщины могло бы только связать его по рукам и ногам, что у него теперь нет для нее и помещения, так как с прибытием новых войск стали размещать офицеров по частным домам, -и ему вскоре придется оставить себе лишь одну-две комнаты, наконец, что он желает ей исполнить священный долг жены и горько кается в том, что был причиною уклонения ее от этого долга. "Конечно, всю вину за это безрассудное увлечение я принимаю на себя!" великодушно прибавил Татищев в конце письма.

Граф так был занят своими мыслями, что Грейг должен был повторить вопрос о Кирьякове.

- Кирьяков? - спросил, очнувшись, граф. - Да как бы вам сказать: плохо говорит по-французски, необразован, ограничен, прожорлив, как акула; других качеств его еще не успел заметить.

- Ах, вы не можете себе представить, - сказал адъютант Веригин, светлейший с первого же взгляда невзлюбил этого Кирьякова, и у них уже были столкновения. Светлейший теперь не читает ни одной бумаги Кирьякова, так прямо и возвращает без прочтения.

Подали шампанское. Провозгласили тост за государя, затем за наследника, высокого шефа полка, потом стали пить другие тосты, которые следовали без конца. У многих лица приняли уже совсем румяный оттенок. Почти все тосты провозглашал Кирьяков.

- Теперь, господа, - сказал он, снова поднимаясь с места и кивая в сторону слепого генерала Бибикова, - теперь выпьем за здоровье нашего почтенного гостя, настоящего бородинца и

старого вете-вете... - Язык Кирьякова заплелся.

- Ветерана, - подсказывали ему с разных сторон.

- Ветеринара! - выпалил Кирьяков.

Адъютанты зажали салфетками рты, едва удерживаясь от смеха. Бибиков встал было, но, сконфуженный, опустился на свое место. Кирьяков, нимало не смущаясь, залпом осушил свой бокал и сел.

На рассвете с тяжелой головой, столько же от выпитого вина, сколько от мучивших его мыслей, возвращался Татищев в свой лагерь. Звезды уже стали меркнуть от света зари, и море из черного принимало сначала пурпурный и наконец лазурный оттенок. Желтые холмы Севастополя стали резко выделяться над бухтой. На кораблях сновали матросы, на берегу работали солдаты и мужики, всюду тащились фуры и повозки с песком, с камнем. Кое-где бродили солдатики в фуражках с белыми чехлами. В Севастополе было вообще вольнее, чем в других городах.

Несколько дней спустя Тотлебен, после продолжительного разговора с Корниловым о возможности высадки неприятеля, был у князя Меншикова, который пригласил его с целью посмотреть вместе с ним на ход работ, предпринятых на Зеленой горе.

. Тотлебен знал упрямство и капризный нрав Меншикова, а потому пустил, по обыкновению, в ход свои дипломатические способности.

- Сколько мне известно, ваша светлость, - сказал он князю, - вы еще в начале года выражали опасение, что неприятель атакует Севастополь.

- Я об этом твердил и писал, но мне не верили, - сказал Меншиков. - Я вам когда-нибудь покажу копию с моего всеподданнейшего донесения от двадцать девятого июня, где я прямо написал следующее: "Мы положим животы свои в отчаянной битве на защиту святой Руси и правого ее дела; но битва эта будет одного против двух, чего, конечно, желательно избегнуть".

- Впрочем, полковник, - прибавил Меншиков, помолчав немного, - вы не думайте, чтобы я утверждал, будто неприятель непременно сделает высадку в настоящем году. Наоборот, я уверен в противном, чтобы там ни говорили наши моряки. Я знаю здешний климат. Неприятель никогда не рискнет подвергнуть себя здешним бурям, и если сделает высадку, то никак не осенью, а весною.

Такой неожиданный оборот речи крайне удивил Тотлебена.

- Неужели вы, ваша светлость, смотрите на вещи с надеждою на такой благоприятный исход? - сказал он. - Ведь до весны мы

успеем приготовиться так, что коалиция всей Европы едва ли возьмет Севастополь.

- Союзники потеряли слишком много времени, - сказал Меншиков. - Для высадки в этом году уже поздно, а в будущем году будет мир.

- Вы меня совсем успокоили, ваша светлость, - сказал Тотлебен, не зная, верить ли князю, и втайне жалея, что, быть может, все труды по укреплению оборонительной линии пропадут втуне.

Тотлебен привык относиться ко всему серьезно: он был уверен, что князь говорит, основываясь на каких-нибудь одному ему известных данных. Тотлебену и в голову не могло прийти, что князь говорит лишь по духу противоречия и из желания показать, что он всегда все знает лучше всех.

К северу от Севастополя берег Крыма идет почти по прямой линии до самой Евпатории, небольшого та-тарско-караимского городишка, где была когда-то крепость, разрушенная русскими войсками при овладении Крымом; уцелели от этой крепости только двое ворот и часть стен. Вода в гавани так мелка, что большие суда не могут подойти к берегу, и, сверх того, открыта для ветров.

В описываемое нами время кроме татар и караимов в городе жило несколько десятков русских чиновников с семьями, несколько сот русских мещан, да, кроме того, стоял "гарнизон", состоявший из слабосильной команды Тарутинского полка, под начальством майора Бродского, исправлявшего должность коменданта крепости, которая, в свою очередь, только "исправляла свою должность". Майор Бродский был человек честный, хороший служака и в свое время исправный фронтовик, но звезд с неба не хватавший. Он был в приятельских отношениях с окрестными помещиками, любил поиграть в преферанс, а иногда, вспомнив дни молодости, заложить банчишко, конечно, в обществе благородных людей.

Несмотря на близость Евпатории к полуевропейскому городу Севастополю, здесь была настоящая провинциальная, да еще степная глушь. Правду сказать, Евпатория и своими природными условиями, своим низменным берегом, с находящимися подле нее соляными озерами скорее напоминает Перекоп и Геническ, одним словом, северные крымские степи, нежели Южный берег Крыма.

В последних числах августа майор Бродский имел еще весьма смутное представление о том, что делалось в Севастополе. Он не получал ни от князя Меншико-ва, ни от кого бы то ни было никаких сведений и инструкций и знал лишь о том, что Россия

объявила войну трем державам. Подобно большинству тогдашних русских людей, майор был вполне убежден, что мы вздуем всех троих разом. Особенно возросла в обществе эта уверенность с весны, после того как союзники предприняли постыдное бомбардирование мирной Одессы.

Подвиг Щеголева{56}, который со своей маленькой батарейкой проучил дерзких неприятелей, был у всех на устах.

В один августовский вечер майор, одетый по-домашнему, то есть в нанковых панталонах и без жилета, сидел на террасе, то есть на плоской кровле своего домика, находившегося подле так называемой крепости и построенного совершенно в татарском вкусе. С этой террасы, сквозь ветви белых акаций, посаженных близ дома, можно было видеть большой медный купол красивой мечети - памятника татарского владычества, массивное здание с узкими, стрельчатыми окнами и двумя минаретами. Майор, впрочем, мало интересовался этим зрелищем: он вел оживленную беседу с своим приятелем доктором Эдуардом Ивановичем, толстым немцем в золотых очках, с красными, грубыми, мясистыми руками. Они горячо спорили. По случаю внезапной болезни начальника карантинного порта майор исправлял и его должность. Из-за этого и вышел спор с доктором.

- Нет, как вам угодно, Эдуард Иванович, - говорил майор, - вы неправильно судите! В военное время карантинные правила остаются в полной силе и применяются ко всяким судам, как своим, так и неприятельским, буде они прибыли в гавань.

- Што вы такое рассказивайт; я нишего нэ понимай, - с жаром перебил немец. - Как это мошно, какой тут карантин, если вас нашнут бомбардирен? Никакой холера морбус нэйслишно, а ви говориль карантин. Ви не мэдик, ви нишего не понимайт. Ми долшни назначат карантин, а не ви.

- Медик я или не медик, а тут штука, батюшка, не мудреная... Да из-за чего вы кипятитесь, Эдуард Иванович! Какое вам дело?

- Как какой мой дэйло?! Скорей не ваша дэйло.

- Да уж не вас спросят. Прикажу, и конец делу.

- Это ми ешэ будэм посмотреть! Вшера один купейц хотель со мной нашать драка, всэ из-за этого.

- Да будет нам ссориться, Эдуард Иванович, не хотите ли лучше в картишки? Жену позову, да вот еще Вера Павловна у нас в гостях - партийку можно составить.

- Это с удофольстфием, а фсэ-таки карантин нелься! Ви не знайт закон. А доктор за всэ отфешайт!

- Ну, завтра потолкуем о карантине, а сегодня можно и в картишки.

Примирение, по крайней мере временное, состоялось и еще

упрочилось тем, что эскулап - страстный картежник - удалился домой, выиграв два с полтиной, чего он никогда не получал за визит к больному.

Вера Павловна Папалекси, бывшая партнером доктора в этой игре, была толстая, с квадратными лицом, смуглая, черноволосая с проседью дама лет пятидесяти, в зеленом платье и чепце с лиловыми лентами. Происхождения она была бессарабского, имела небольшое именьице подле Контугана, почти на самом берегу моря, и другое, побольше, на реке Каче. Ее соседом по первому имению был богач Бенардаки, приезжавший в Крым не раньше октября и предложивший мужу Веры Павловны занять должность главного управляющего. Теперь, по словам Веры Павловны, из многих имений уезжали во внутренние губернии, сама же она переехала в имение Бенардаки: там спокойнее.

- И моя Натали ужас как боится! Постоянно говорит: а что, мама, если приедут турки и возьмут меня в плен?

- А ведь взяли бы, разбойники, - говорил майор. - Ваша Наташа брюнетка, и они, наверное, отправили бы ее в подарок самому султану!

- Что вы! Пожалуй, и я начну бояться. А скажите по совести, как перед Богом: ведь к нам они не могут прийти?

- Придут, непременно придут! - пугал майор Веру Павловну в твердой уверенности, что он только шутит.

- Слава Богу, что я продала карааиму весь свой хлеб еще на корню... Сами-то мы успеем уехать, а вот с хлебом была бы беда.

- Ну да пусть приходят! Я с своими инвалидами задам им перцу! - хвастал майор.

В тот же вечер Евпаторию посетило одно начальствующее лицо, уверившее жителей, что все вздор и никакой высадки не будет. По случаю прибытия особы была иллюминация с фейерверком. Особа осталась в городе на несколько дней.

VI

Настало первое сентября 1854 года. С площадки библиотеки, по обыкновению, наблюдали в телескоп офицеры, преимущественно с адмиральского корабля "Великий князь Константин". Корнилов, со дня на день ожидая неприятеля, приказал возобновить крейсерство, но с тем, чтобы пароходы совершали рекогносцировки, не удаляясь на значительное расстояние. В армии чуть не каждый день били тревогу. Князь Меншиков по-прежнему упорно твердил, что уже поздно и высадки не будет.

Наблюдавший в телескоп сигнальный офицер был на этот раз Евгений Лесли{57}, один из лучших моряков Черноморского флота.

- Васильев, - вдруг сказал он матросу-сигнальщику, - давай скорее сигнал: неприятельский флот показался в виду Севастополя.

В это же время князь Меншиков, спавший в своей комнате, в Екатерининском дворце, был разбужен камердинером, который доложил ему, что приехал какой-то грек, уверяющий, что имеет сказать князю нечто необычайно важное.

Князь велел принять грека, оказавшегося шкипером купеческого судна. Шкипер объяснил на ломаном русском языке, что вчера мимо мыса Тарханкут прошло более семидесяти неприятельских судов с очевидным намерением высадить войска где-нибудь подле Евпатории.

Между тем Корнилов, получив несколько сигналов с библиотеки, решил сам идти туда, но прежде чем отправиться, призвал к себе одного из своих офицеров, лейтенанта Стеценко{58}.

Стеценко был из числа лиц, не особенно долюбливавших Корнилова за его строгость и взыскательность по службе. Стеценко было поручено заведовать юнкерами со всех кораблей флота - обязанность щекотливая, так как многие из юнкеров, особенно из числа золотой молодежи, графские и княжеские сынки, были народ весьма беспокойный, любивший и выпивки, и бесчинство где-нибудь в ресторане или за Театральной площадью - в одном из увеселительных мест Севастополя. Сверх того, Стеценко хотелось поскорее составить себе карьеру, а у Корнилова этого можно было достичь только усердием, но не связями, давшими лейтенанту доступ к князю Меншикову.

Зато Меншиков протежировал лейтенанту.

Подозвав Стеценко, Корнилов сказал ему, что по желанию князя причисляет его к своему штабу, и прибавил, что считает его опытным по его прежней кавказской службе и будет употреблять его для разных поручений.

- Но вы все же не оставляйте ваших питомцев, - прибавил Корнилов. Прошу вас обедать у меня и переселиться ко мне на квартиру.

Между тем Меншиков спешил уже на библиотеку, где и встретился с Корниловым.

- Не говорил ли я еще зимою, что неприятель сделает высадку в Крыму! сказал он, увидев вице-адмирала.

- Как, ваша светлость? Где? Какая высадка?

- Я получил самые достоверные сведения, что неприятель готовится к высадке близ Евпатории, - сказал Меншиков, угрюмо глядя на Корнилова.

Корнилов был поражен этим известием. Появление

неприятельского флота, числом больше противу обыкновенного, навело его на мысль, что союзники намерены атаковать Севастополь с моря, и вдруг ему говорят о высадке близ Евпатории!

Корнилов побледнел и сказал с жаром:

- Ваша светлость! Да ведь там шестьдесят тысяч четвертей пшеницы!

- Я знал их тайную цель! - вскричал Меншиков, совершенно забывший или не знавший до сих пор об этой пшенице.

- Теперь единственный способ помешать их высадке - это напасть на них, - сказал Корнилов.

- Я об этом подумал.

- Видите, ваша светлость, какой густой дым, - сказал Корнилов, всматриваясь в даль. - Жаль, он помешает сосчитать число судов.

Несколько времени все бывшие на площадке молчали, ограничиваясь тем, что слушали сообщения наблюдавшего в телескоп офицера. Вскоре можно было видеть и простым глазом, что к Севастополю приближался как бы целый фабричный город с множеством дымовых труб.

Корнилов отправил одного из ординарцев князя, юного мичмана Ухтомского, призвать Стеценко, которого князь решил послать на рекогносцировку с сухого пути.

При виде неприятельского флота у князя промелькнула мысль: что будет, если союзники высадят армию и отрежут Севастополь от сообщения с Внутренней Россией не только с моря, но и с суши?

Прибыв на площадку библиотеки, Стеценко увидел здесь Корнилова, Меншикова, его адъютантов и ординарцев и многих других лиц. Меншиков велел Стеценко взять в Кронентале казаков, сколько ему понадобится, и скакать к Евпатории, о результатах же своей рекогносцировки сообщать записками в конвертах с надписью: "По приказанию главнокомандующего". Такие конверты передавались без задержки, по летучей почте, учрежденной из казаков.

- Там, в Евпатории, - прибавил князь, - передайте воинскому начальнику, чтобы слабосильная команда отступала не на Симферополь, а на Перекоп.

Меншиков поспешил во дворец и немедленно велел написать распоряжение: сосредоточить все войска на реке Алме{59}, сделать на батареях перекличку и учение, на портовые работы не высылать и готовиться к военным действиям.

Корнилов и Нахимов в свою очередь приказали всем судам готовится к походу, хотя противный ветер отнимал у них всякую

надежду выйти в море. Весь день телеграфы из Лукулла и из Евпатории извещали о постепенном увеличении числа неприятельских судов.

К шести часам вечера их насчитали более сотни. Вечером наступил полный штиль.

Еще утром того же дня "комендант" Евпатории, майор Бродский, получил от греческих шкиперов уведомление, что к порту приближается громадный неприятельский флот с десантом. Особа же, бывшая в городе, немедленно бежала с жандармом, сопровождаемая воем и плачем жителей{60}.

Майор также растерялся. Он тотчас послал к Меншикову курьера и, не зная, как быть в подобных обстоятельствах, пригласил на совещание уездного исправника, доктора, почтмейстера, стряпчего и бургомистра, то есть всех официальных лиц, не удравших вместе с особой. Все они расположились на террасе, у судьи оказалась даже хорошая подзорная труба, полученная им в виде "благодарности" от одного из местных помещиков.

Майор, бывший в полной форме, открыл заседание, сказав:

- Господа, я пригласил вас сегодня по особо важному делу.

- Знаем, знаем, батенька, лучше без предисловий, - перебил судья.

- Лллуччшше прямо ккк дделу, - сказал почтмейстер, сильно заикавшийся и произносивший слова с такими гримасами, при виде которых, по словам судьи, у новорожденного младенца могли бы сделаться судороги.

- Так вот, господа, всем вам известно, что неприятель приблизился сюда с сильным флотом. Мое дело чистое: у меня есть инструкция на случай приближения врага, превосходящего наш гарнизон силами...

Стряпчий расхохотался во все горло:

- Вот распотешил! Экий забавник! Превосходящий силами! Уж не думаете ли вы дать генеральное сражение?

Но его не поддержали. Судья сердито взглянул на него, а исправник проворчал:

- Тебе-то все смешки! Ты, чай, и с француза сумеешь взять барашка в бумажке.

Стряпчий сконфузился и с той минуты на все время совещания совсем стушевался.

- Так вот, господа, я со своей командой немедленно удаляюсь в Симферополь. У меня уже укладывают вещи. Жена совсем собралась.

- Ради Бога, ввввы уж и мои ящики с сссссоббой возьмите, - сказал почтмейстер. - Одддних казенных дденег тттттысяч двенадцать нннаберется, дддда и частные есттть ссссумммы.

- Вы уж, Петр Алексеевич, о частной корреспонденции не особенно хлопочите: убрать бы казенное добро, - сказал судья. - Ох, Господи! Откуда такое наказание!

Исправник, из отставных гусар, от которого слегка несло спиртом, разглаживал свои молодецкие усы и смотрел на бургомистра с таким видом, как будто собирался его съесть. Бургомистр, толстый купчина в синей чуйке, сидел на краю стула и постоянно вытирал потное лицо красным платком.

- Ну а как же, господа, насчет карантина? - спросил майор. Этот вопрос беспокоил его более всего, так как, не зная в точности значения исправляемой им должности, он страшно боялся ответственности.

- А вот что! Вы себе уходите с вашей слабосильной командой, а я, черт возьми, остаюсь, - героически произнес исправник, стукнув кулаком по столу. - Не будь я гусар присяжный, ежели я побоюсь француза! Мало мы их били в двенадцатом году!

- Если так, то и я останусь, - решительно сказал комендант. - Жену с детьми отошлю на почтовых, уж вы дайте нам лошадок получше, Петр Алексеевич, а я вам за то дам людей, они вам все уложат, и конвой вам дам для казенных ящиков.

- Ррад усслужить... - сказал почтмейстер.

- А нам-то как же, отцы родные, - сказал бургомистр, вставая и кланяясь в обе стороны. - Ведь это, примером будучи сказать, сущее разорение... У меня, почитай, четвертей тысячи две одной пшеницы, окромя другого-прочего.

- А ты на армию пожертвовал, твое степенство! - злорадно сказал исправник. - Аршинничать умеете, а теперь платись. Не хотел мне по сходной цене продать овес, покорми теперь французских лошадок!

Судья, долго наблюдавший в трубу, вдруг вскричал:

- Ну, господа, пока мы тут судим да рядим, эти окаянные едут сюда на всех парах. Вот посмотрите! - Он передал трубу коменданту. Действительно, на горизонте уже показался фрегат "Трибун", а четверть часа спустя можно было заметить множество черных точек, которые вскоре оказались клубами дыма от неприятельских пароходов.

В городе, где с раннего утра ждали неприятеля, поднялась суматоха, как во время пожара, тем более что жители думали, будто едут турки. Все, как могли, укладывались, торговались и бранились с извозчиками-татарами, кричали, суетились, и, когда неприятельский флот приблизился к гавани, почти весь чиновный мир Евпатории уже оканчивал укладывание домашнего скарба. Многие женщины горько плакали, испуганные дети визжали и хныкали - словом, было настоящее столпотворение.

Было около полудня, когда винтовой фрегат "Трибун", повернувшись к городу бортом и грозя жерлами тридцати шести орудий, стал на якорь, не имея возможности подойти к берегу по причине мелководья. К фрегату подплыла русская зеленая карантинная лодка и, сделав опрос, повернула назад. В некотором отдалении виднелось несметное количество мачт и пароходных труб. Вскоре к берегу причалила неприятельская шлюпка с парламентерским флагом в которой находились, между прочим, французский полковник Трошю и английский Стиль. На берегу их встретили комендант, исправник, бургомистр и несколько купцов - караимов, татар и русских.

Полковник Трошю молодцевато подошел к коменданту и, на мгновение приложив руку к козырьку, попросил бывшего с ними переводчика, кое-как изъяснявшегося по-русски, сказать "губернатору", каковым он счел майора, что союзники требуют сдачи города и, если их требование будет исполнено, предоставят "гарнизону" право беспрепятственного отступления.

- Это все я понимаю, - сказал майор, - но перметте... монсье... Черт возьми, и я в былое время умел парле франсе, совсем забыл теперь... Ну все равно, позвольте мне узнать, с кем имею честь говорить? Полковник Трошю назвал себя и сказал через переводчика, что прислан от самого главнокомандующего маршала Сент-Арно{61}.

- В таком случае, сударь, позвольте мне полученное вами от вашего начальства предписание.

Трошю начал терять терпение и просил майора через переводчика поскорее принять бумагу, в которой значились условия сдачи, но майор не брал ее в руки.

- Нет, уж это вы извините... Перметте... У нас карантинные

правила. Сначала надо бумагу окурить, и тогда только приму от вас, Бог вас знает, может быть, у вас чума.

Переводчик передал эти слова Трошю; тот улыбнулся и велел передать в свою очередь на словах содержание бумаги, гласившей, что союзники намерены сделать в Евпатории высадку не позже как через час и просят жителей не беспокоиться, так как честью Франции ручается за неприкосновенность имущества всех мирных граждан.

- Высадке я воспрепятствовать, кажется, не могу, - прошептал майор на ухо исправнику. - Как по-вашему, батенька?

Исправник, прежде храбрившийся больше всех, немного струсил, но не из боязни врага, а из страха ответственности перед начальством, хотя ему был подчинен не город, а уезд.

- Да вы настаивайте насчет карантина, может быть, хоть этим время протянем.

Майор был один из тех мирных военных людей, которым во всю жизнь свою ни разу не приходилось встречаться с неприятелем, исключая черкесов - он раньше служил на Кавказе. "Но черкесы разбойники, - думал он, - а как быть с этими, по-видимому, столь любезными неприятелями?" Он положительно не знал, как вести себя, и помнил только, что надо соблюдать карантинные правила.

- Высадке я, конечно, помешать не могу, - сказал майор, - но все ваши солдаты, офицеры и даже генералы обязаны выдержать семидневный карантин.

Узнав от переводчика содержание этих слов, Трошю расхохотался, чем немало обидел майора.

- Да знаете ли вы, - воскликнул хвастливый француз, - что через семь дней вся наша семидесятитысячная армия будет в вашем Севастополе?! Что же, губернатор, если мы не примем ваших условий?

- Тогда я не дозволю вам высадки, - твердо сказал майор, ни на минуту не задумываясь над вопросом, могут ли двести человек его слабосильной команды удержать семидесятитысячную армию. Майор помнил только свой служебный долг и приказ начальства и больше ничего не хотел знать.

- А если мы все-таки высадимся? - спросил Трошю.

- Тогда я буду жаловаться.

- Кому? Мы действуем на основании правил войны, и наш император вполне одобрит наши действия, - сказал Трошю.

- Да помилуйте, господин полковник! - вскричал майор, меняя упрямый тон на просительный. - Ну что вам составит! Ведь вы меня подводите. Ведь у меня жена и дети. Меня упекут под суд. Уж, ради Бога, подчинитесь нашим правилам. Выдержать

карантин - сущая безделица, ей-Богу! Я даже берусь на все это время доставлять вашим солдатам печеный хлеб или муку, как хотите: у нас в городе хлеба довольно - у купцов наберется до шестидесяти тысяч четвертей. И мельницы здесь есть, на самом берегу моря.

Английский полковник Стиль, 'все время молчавший, навострил уши и спросил переводчика, сколько это выйдет бушелей. Узнав, что такое русская четверть, он, несмотря на все свое британское хладнокровие, чуть не подпрыгнул и мысленно обозвал майора глупцом. Англичанин тотчас же обратился к бургомистру и спросил его через переводчика, может ли он доставлять муку и по какой цене?

- Очень даже можно, ваше превосходительство, - сказал бургомистр. Только уж нас не оставьте. Чтобы насчет цены никакой обиды нам не было. ,А мы с нашим удовольствием. Хлеба здесь довольно, да и мельниц, я думаю, до сорока будет. У меня самого четыре, дешево возьму за помол.

Говоря это, бургомистр подумал: "Весь свой гнилой товар спущу этим христопродавцам. Своим бы не продал тухлой муки, а их, канальев, чего жалеть? Не подавятся!"

- Через час будет высадка, - сказал Трошю, оканчивая препирательства с майором. - А насчёт карантина не бойтесь! Мы напишем вашему правительству, что вы исполнили ваш долг. Вы бравый солдат, господин губернатор. Вам и вашему гарнизону мы, как сказали, предоставляем право свободного отступления. Жители города пусть остаются при своих мирных занятиях. Их никто не тронет, ручаюсь вам в том честью Франции.

"Господи, Господи! Упекут меня под суд!" - думал майор.

- Так уж, ради Бога, хоть напишите, да бумагу не забудьте окурить в карантине, иначе почта не примет, - сказал майор и удалился, безнадежно опустив голову. Часа через два майор собрал своих слабосильных тарутинцев и отправился в Симферополь.

Город был вскоре занят английским отрядом. Вступив в Евпаторию, англичане тотчас же потребовали депутацию от местных татар. Англичане были уверены, что одно их появление возмутит против русского владычества всех крымских татар. Для пущей важности они выставили привезенного с собою турецкого муллу, которому поручили объяснить татарам, что союзники явились сюда с целью защитить главу мусульман - великого халифа, то есть султана, от несправедливого нападения России.

Старики татары качали? головами. Наконец один из них выступил вперед и произнес довольно цветистую речь, в которой объяснил, что татары приветствуют всякого чужеземца,

являющегося к ним с мирными намерениями, но что они и отцы их жили спокойно под властью русского царя; какова же власть государей французского и английского - этого они еще не знают, а потому ничего не могут сказать.

Английский офицер, говоривший с депутатами, спросил через драгомана, намерены ли татары доставлять союзникам продовольствие? Депутаты ответили, что продают каждому, кто платит деньги, но вместе с тем считают долгом гостеприимства снабдить гостей на первый случай всем необходимым без всякой платы.

Велика была досада англичан, когда татары не согласились принимать их гиней, и если бы некоторые предусмотрительные британцы не запаслись русскими полуимпериалами, то, несмотря на обещанное татарское гостеприимство, оставленному здесь гарнизону пришлось бы в первые дни своего пребывания в Евпатории нуждаться в самом необходимом или же мародерничать.

VII

Весь вечер собирался и выстраивался союзный флот.

Еще не потухла вечерняя заря, когда неприятель вытянулся в ряд параллельно берегу: английские суда составляли северную, левую часть флота, французские и турецкие - южную, правую. Всего здесь было триста восемьдесят девять судов разных наименований; на них находилось шестьдесят три тысячи солдат.

Берег, у которого стояли союзные флоты, представлял значительное удобство для высадки, так как соляные озера, находящиеся у самого берега, служили естественной преградой для русских войск, если бы они явились помешать союзникам. Но все же высадка была бы делом нелегким, если бы ей не благоприятствовало полное отсутствие русских войск и необычайное спокойствие моря ночью, однако странное приключение чуть-чуть не расстроило весь план высадки.

Чтобы устранить всякую путаницу, союзники условились пустить на воду буек, служивший границей между французами и англичанами. Но командиры некоторых французских судов нашли, что береговая полоса, назначенная для высадки, слишком тесна, а потому тайком от своих союзников поручили офицерам завести буек немного влево, так что англичанам пришлось бы высадиться прямо в болото, находившееся между обоими озерами. Контр-адмирал Лайонс, заведовавший высадкой англичан, проснувшись на рассвете, увидел с палубы своего "Агамемнона", что буек находится не на месте, и пришел в ужас. Зная характер английских солдат и матросов, он тотчас сообразил, что если начать высадку по прежнему плану, то между

англичанами и их союзниками может произойти драка, которая приведет к самым печальным последствиям. Пришлось повернуть весь английский флот еще более влево и высаживаться против большого озера, предоставив французам и туркам высадку на прежнем месте.

Утро второго сентября было чудное, море сверкало под лучами солнца золотыми блестками, и его зеркальная поверхность соперничала с гладью соляных озер; перед глазами союзников открывался вид на довольно низменные берега, отделяющие озера от моря. Военные суда останавливались на расстоянии около версты от берега. Поднялся говор, шум, слышались командные слова, стук от приколачивания трапов, лязг цепей от отдаваемых якорей. Спускали шлюпки, устанавливали трапы. Большие пароходы и транспорты были покрыты людьми, солдаты стали высаживаться на шлюпки и баржи. Раздался пушечный выстрел с корабля "Город Париж" - сигнал начала высадки французов. Шлюпки их двинулись в стройном порядке с значками, с музыкой. Эффект был вполне театральный. Англичане вследствие пакости, устроенной им ночью французами (быть может, нарочно, с целью опередить их и высадиться первыми), начали высадку несколько позднее.

В то самое время, когда английский генерал-квартирмейстер Эри в сопровождении генерала Брауна сошел на берег и стал осматривать местность, из-за большого озера, на узкой пересыпке, появились четыре всадника. Это были лейтенант Стеценко, посланный Меншиковым в Евпаторию, куда он не доехал, и с ним три казака. Еще с вечера Стеценко, находясь верстах в трех от Евпатории, увидел неприятельский флот и, начав считать с помощью казаков, насчитал более ста судов. Он не решился ехать далее, отыскал по дороге сарай и, укрывшись в нем на ночь, отправил с казаками две записки. Одного из казаков он отправил в Евпаторию.

Тот возвратился с известием, что комендант с солдатами ушел, а немец-доктор и исправник попали в плен. Действительно, англичане посадили обоих этих представителей местной администрации под арест за сопротивление распоряжениям английских офицеров.

Доктора англичане без церемонии заставили лечить своих солдат. Исправник совсем не признавал английского начальства и буянил до тех пор, пока его формально не объявили военнопленным.

Другого казака Стеценко отправил к Меншикову и Корнилову с письмами, в которых сообщил, что близ Евпатории союзный флот стоит в тесноте и беспорядке и что можно было бы ночью

прислать сюда пароход с брандерами и сжечь весь неприятельский флот. Говорят, что Корнилов хотел отправить один из брандеров, но князь Меншиков не позволил, найдя эту попытку несвоевременною.

Теперь Стеценко находился перед английским флотом на совершенно открытой местности и с любопытством, не без некоторого жуткого ощущения, смотрел на лес мачт и на ярко-красные мундиры, пестревшие на темных полосатых массах судов и над лазурной гладью моря.

- Как ты думаешь, Треилин, - спросил Стеценко одного из казаков, - что, если они начнут палить в нас?

- Не станут, ваше благородие! Стоит ли в троих-то человек стрелять из пушек?! А из ружья недохватит, разве что из штуцеров начнут стрелять. А вот, кажись, ваше благородие, двое из ихних, как будто офицеры. Прикажете взять?

- Да что ты, ошалел, что ли? Видишь, уже отваливают их шлюпки с десантом.

- Ничего, поспеем, ваше благородие! А не то можно и пристрелить.

- Скорее надо ускакать отсюда, марш за мной!

Они поскакали на плоскую возвышенность, находящуюся между озерами. Между тем с юга показался татарский обоз. Татары, в бараньих шапках и длинных халатах, едва понукали своих ленивых волов.

Стеценко, считая себя уже вне опасности, велел казакам кричать татарам, чтобы они свернули с дороги, так как неприятель может забрать их дрова материал, весьма нужный и для русских войск.

Двое казаков устремились марш-маршем на обоз, крича на татар, но те, не понимая, в чем дело, равнодушно смотрели на союзный флот и преспокойно продолжали свой путь.

Один из казаков был уже шагах в полутораста от обоза и неистово кричал по-татарски.

Татары наконец поняли и своротили волов; но в это время рота англичан уже поднималась на возвышенность и сделала залп. Пули перелетели, и казак, не обращая внимания на красные мундиры, продолжал кричать. Англичане пустили еще несколько пуль в казаков, но татары поехали по другой дороге. Тем временем прискакали два казака, отправленные Стеценко наблюдать за французами.

- Ваше благородие, французы идут по балке и нас обойдут.

- Куда они направились?

- Кажись, к Контугану.

- Едем туда за ними, а оттуда на Алму.

Князь велел Стеценко с рекогносцировки спешить не в Севастополь, а к реке Алме, куда он отдал уже приказ стягивать войска.

Между тем высадка шла своим чередом и благодаря тихой, ясной погоде происходила в удивительном порядке, особенно у англичан, которые вскоре опередили французов, хотя начали позже их.

Ряды английских шлюпок, расположенные в ряд длиною в полторы версты, быстро помчались к берегу. Можно было подумать, что присутствуешь на гонке где-нибудь на Темзе. Мерные взмахи весел избороздили воду. Смотревшие с палуб кораблей кричали "ура!" офицеру, который прибыл первый. Вслед за большим татарским обозом на берегу появился еще другой, не делавший попыток уйти, и английские солдаты бесцеремонно овладели им, обоз был также с дровами, и только в одной арбе были мелкие груши. Солдаты с жадностью стали поедать плоды. Татары угрюмо глядели на расхищение своего имущества и были крайне изумлены, когда английский офицер через переводчика-турка спросил их о цене, записал имена владельцев и объявил, что все взятое у частных лиц английскими солдатами будет оплачено. Немного погодя странное и печальное зрелище представилось английским солдатам, которые бродили по возвышенности, сверкая на солнце своими штыками. У многих из их товарищей, которые еще утром были бодры и веселы, к полудню обнаружились сильнейшие припадки холеры. Холера появилась на союзном флоте еще во время плавания. После полудня с холма стали спускаться солдаты, несшие на походных носилках белые ноши. Это были больные и умершие, покрытые белыми одеялами. У больных лица были открыты, мертвецов укрыли с головами. Больных снесли назад в шлюпки и отправили на корабль; для мертвых тут же, у подножия холма, стали рыть могилы.

Высадка продолжалась. Люди были, вообще говоря, веселы, особенно солдаты, которых утомило продолжительное плавание. Забавно было видеть саженных шотландских гвардейцев, горных жителей, не привыкших к морю, которым матросы, высаживая их из шлюпок, подавали руки, как барышням.

Настал вечер. Погода изменилась: подул ветер и нагнал тучи. Англичанам, высадившим всю пехоту, оставалось высадить еще кавалерию и часть артиллерии. У французов, не имевших кавалерии, не была высажена еще часть пехоты и почти вся артиллерия.

Ночью полил сильный дождь. Высадившиеся войска стали располагаться на ночлег кто как умел. У англичан совсем не было

походных палаток; их нельзя было взять с кораблей по недостатку транспортных средств. Солдатики лежали прямо в грязи, обернувшись в одеяла и оберегая не столько себя, сколько свои мундиры; но одеяла промокли насквозь. Французы устроились немногим лучше. Они носили с собою маленькие палатки, которые метко были прозваны собачьими конурами, так как в такой палатке нельзя было ни стать, ни сесть, а только можно было лежать, свернувшись по-собачьи. Лучше всех устроились турки, у которых солдаты по двое несли шесты от палаток, а полотнища несли другие. Из всех союзников турки, по большей части люди среднего возраста, имели самый воинственный вид. У французов и англичан чуть не половина армии состояла из молодых солдат и новобранцев. Турки, несмотря на непогоду, с равнодушием настоящих азиатов пили кофе и курили трубки, возбуждая зависть продрогших и промокших до костей европейцев.

VIII

Тихо и мирно протекала жизнь обитателей роскошной дачи, находившейся близ деревни Контуган и принадлежавшей в то время известному откупщику, негоцианту и миллионеру, греку Бенардаки. Владелец дачи проживал в то время где-то в Милане или в Венеции; управляющий, обрусевший грек Папалекси, имевший и свое небольшое поместье в Крыму, уехал по делам в Симферополь, а в имении оставалась только жена его, не то русская, не то молдаванка, Вера Павловна, дама полная, белая, из того типа женщин, которых удачнее всего можно сравнивать со сдобной булкой; впрочем, выдающиеся скулы придавали ее лицу слишком угловатый вид.

При всем своем внешнем добродушии Вера Павловна была добра только к дочери, но весьма сурова по отношению к крепостным девкам. Только крайняя лень препятствовала тому, чтобы она расправлялась с ними самолично. По целым часам она, бывало, сидит неподвижно на низкой софе с полуоткрытыми глазами и дремлет, а если придет в себя, лишь когда ей начнут надоедать мухи. Тогда она позовет Машку или Дашку и скажет:

- Машка, позови мне Федосью и вели ей отмахивать мух.

Случалось и так, что горничная девка пройдет по комнате и второпях уронит тарелку. Звук разбитой посуды режет нервы Веры Павловны, но она не решается потревожить себя и никогда не встанет, но крикнет:

- Дашка, подойди сюда, мерзавка!

Дашка покорно подходит и заранее всхлипывает, зная, что предстоит расправа.

Вера Павловна лениво достает из волос булавку с красной

сургучной головкой (делать такие булавки было, кажется, единственной работой, на которую она была способна) и воткнет ее виновной Дашке на полвершка в какую-нибудь мягкую часть тела. Лишь в случае крайнего гнева Вера Павловна вскакивала с дивана, и тогда девки трепетали, зная, что их отошлют на конюшню, где с ними разделается кучер под присмотром неумолимого садовника-немца, который будет педантично отсчитывать удары.

Единственная дочь Веры Павловны, Наташа, недавно окончившая институт, не отличалась особой чувствительностью и впечатлительностью, и домашняя обстановка лишь на первых порах поразила ее. Мало-помалу Наташа стала привыкать к этой жизни и даже иногда в минуту раздражения щипала прислуживавшую ей девушку. Впрочем, она не была зла по природе. Темперамент у Наташи был отцовский, живой, вспыльчивый и подвижный. Недаром мать никак не могла научить ее раскладывать пасьянс и валяться на диване.

Наташа была по одесскому институту подругой знакомых нам барышень Саши и Лизы Минден и подобно им любила музыку, хотя бренчала только пьесы Контского и Калькбреннера. Это была девица довольно пылкая, поочередно обожавшая почти всех преподавателей института, не исключая даже чудака Картамышева. Впрочем, переставая обожать кого-либо из учителей, ветреная Наташа тотчас начинала трунить на его счет.

Однажды утром Наташа рассказывала разные анекдоты о своих бывших кумирах.

- Ах, maman, какой у нас смешной был Картамышев. Мой кузен Серж рассказывал, что у них в Ришельевском лицее на него раз сочинили ребус. Взяли во время урока прибили к стене карту, мертвую мышь (бр... какая гадость! Я бы ни за что в руки не взяла) и букву ферт. Вот и вышло: Карта-мышь-эф... А наш душка длинноносый Минаков! Ах какой смешной! Мы его прозвали предводителем аргонавтов.

- Это почему же? - зевая, спрашивает мать и раскладывает какой-то мудреный пасьянс.

- А вот почему: раз на экзамен к нам приехал сам министр. Минаков страшно, струсил, потому что истории у нас никто не знал, кроме истории Франции, которую мы знали по урокам французской литературы. Министр спрашивает одну девицу: кто был предводителем аргонавтов? Минаков видит, что она не знает, и подсказывает тихонько: Я... Я... Я... то есть Язон; а девица слышит "я" и вдруг возьми и скажи: Иван Иваныч Минаков. Министр даже засмеялся, а Минаков так растерялся, знаешь, maman, у него привычка дергать себя за нос, и вдруг вместо

своего носа схватил нос инспектора Бруна. Вот вышел скандал!

- Фи, какие глупости, - зевая, отвечает мать. - А знаешь, Натали, у меня выходит дорога, потом письмо. Пиковая дама интересуется червонным королем, и из-за этого выходит ссора с бубновою дамою. Как бы ты думала, что это значит?

- А, вероятно... да, впрочем, я не знаю, maman. Ваши карты всегда говорят неправду.

- Ну, уж ты, пожалуйста... Ах, забыла совсем! Надо пойти посмотреть, поспели ли груши на большом дереве. Хочешь, пойдем?

- Пойдем, мама. Я попрошу Карла Францевича сорвать для меня самую спелую.

Карл Францевич был садовник-немец из колонистов, молодой человек лет тридцати пяти, весьма сентиментальный, знавший Шиллера наизусть, вздыхавший по Наташе, которая смеялась над ним, за глаза называя его картофелиной, а в глаза немного кокетничала с ним, как и со всеми сколько-нибудь приличными молодыми людьми. С Верой Павловной немец-садовник был в вечной вражде, так как жена управляющего имела притязание командовать им, а он считал, что служит только своему патрону Бенардаки. Сверх того, Вера Павловна была любительница кур и цесарок, а эти птицы портили цветочные клумбы. Часто случалось, что взбешенный немец прибегал к Вере Павловне, крича: "Опеть ваши курки" мне делают дюрки!" - то есть роют гряды. Чтобы избавиться от непрошеных гостей, немец завел собаку пойнтера, которая душила кур; отсюда выходили новые баталии с мадам Папалекси, и, если бы не его ухаживание за Наташей, немец давно бы бросил это, по его словам, проклятое место. Впрочем, как мы видели, немец охотно исполнял поручения Веры Павловны по части экзекуций.

Наташа с матерью приближалась по главной аллее сада к большой груше, которая давала чудные плоды. Немец, в парусиновом костюме и широчайшей соломенной шляпе, стоял близ дерева и, увидя мать с дочерью, поклонился и вздохнул.

- Карл Францевич, сорвите мне вот эту грушу, - сказала Наташа, указывая на подрумянившуюся фунтовую грушу, чуть-чуть не падавшую с дерева. Немец взял в одну руку свою шляпу, в другую - длинный шест с крюком и ловко сбил грушу, которая упала прямо в шляпу. Он подал фрукт Наташе.

- А что, наши девушки копают гряды? - спросила мадам Папалекси.

- Конечно, - сухо ответил немец. - Слышите, мадам, какой они дают концерт.

В самом деле, слышалась песня, которую пели крестьянские

девушки, вытягивая визгливые, невозможные сопрановые ноты.

Вдруг пение смолкло, послышался говор и шум, и несколько девушек прибежали к старому грушевому дереву.

- Что там такое? - спросила мадам Папалекси. - Вот я вас, негодные! Подождите.

- Да посмотрите сами, барыня... Турки идут, и все в красных шароварах. Через забор хорошо видно. Действительно, став у забора, можно было видеть в некотором отдалений полк французских зуавов{62}, который, по-видимому, приближался к помещичьей усадьбе.

- Боже мой! Турки! - вскричала, всплеснув руками, мадам Папалекси, также принявшая зуавов по костюму за турок. Вся ее обычная флегма исчезла. Скорее... бежать... спасаться... Проклятый пиковый туз! Я так и знала, что какое-нибудь несчастье... моя Наташечка... Скорее, тебя возьмут у меня! Бежим!

Немец стал суетиться, мигом распорядился, чтобы заложили экипаж, помог уложить кое-какие вещи, и через полчаса мать и, дочь умчались на четверке, добрых лошадок в Симферополь. Немец сидел на передней скамейке, и, так как экипаж был тесный, его колени касались колен Наташи. Он умильно смотрел в глаза напуганной не на шутку девушки и втайне блаженствовал, благословляя судьбу за то, что этот случай позволил ему быть до некоторой степени рыцарем и защитником Наташи.

Между тем зуавы, как саранча, нахлынули в усадьбу, забрали весь овес и сено и рассыпались по саду, объедаясь фруктами, поглощая фунтами виноград, персики, сливы, груши, все, что попадалось под руку в саду или в кладовых. Они, быть может, произвели бы и более крупные бесчинства, но вслед за ними прибыл сюда со своим штабом сам французский главнокомандующий маршал Сент-Арно.

Маршалу Сент-Арно было в то время немногим более пятидесяти лет, но тяжкая болезнь, от которой он оправился лишь за день до высадки, надломила его силы и состарила его.

Сент-Арно был одним из главных участников государственного переворота, создавшего империю Наполеона III и ознаменованного избиением нескольких тысяч мирных граждан на парижских бульварах. В награду за этот подвиг Сент-Арно был сделан военным министром, а с началом Крымской кампании назначен главнокомандующим. Прошлое этого человека было не безупречно. Он запятнал себя неслыханными жестокостями, совершенными во время алжирского похода. Не говоря уже о расстреливании и обезглавливании, он закапывал живых людей в землю. Но теперь маршал вел войну не в Африке и подвергался беспрестанному контролю со стороны английских генералов и

корреспондентов. Честь Франции была, следовательно, поставлена на карту. Маршал стал представителем самых гуманных идей. Два зуава, уличенные в убиении неприятельской курицы - одной из любимых куриц бедной Веры Павловны, - были немедленно арестованы и преданы суду, и лишь потому, что это были зуавы, маршал ограничился сравнительно нестрогим наказанием - арестом. Но вообще солдатам было объявлено, что за мародерство их будут расстреливать без всякой пощады.

Сойдя с коня, маршал полюбопытствовал осмотреть дачу, носившую ясные следы недавнего пребывания своих обитателей. Офицеры, сопровождавшие Сент-Арно и воображавшие себе Крым чем-то вроде калмыцкой степи, были крайне изумлены признаками несомненной цивилизации - двумя записочками на довольно хорошем французском языке, писанными мелким женским почерком. В зале стояло фортепиано, и даже раскрытые ноты остались на подставке, один из офицеров, умевший петь, не утерпел и, сев за фортепиано, начал напевать мелодию и наигрывать аккомпанемент: то был один из многочисленных тогдашних патриотических романсов на тему: царь, отечество и православие. Француз, не понимая слов и играя мотив, вообразил, что это отрывок из какой-нибудь духовной оперы, и захлопнут ноты, так как был отъявленным врагом клерикализма.

- Прошу вас, господа! - внушительно сказал Сент-Арно, - чтобы все в этом доме до окончания войны оставалось совершенно в таком же виде, в каком найдено нами. Ни одна вещь, за исключением случаев крайней необходимости, не должна быть переставлена с места на место. Вы должны подавать пример солдатам и доказать как нашим союзникам, так и врагам, что Франция сражается с армиями, но не с гражданами.

Отсюда французский главнокомандующий прибыл и в самый Контуган. Оставшийся здесь управляющий жаловался, что французские солдаты рубят деревья. Эти солдаты не были зуавы, и Сент-Арно велел произвести строгое следствие. Двое виновных были арестованы, и по приказанию маршала их жестоко вздули линьками.

IX

Третьего сентября князь выехал из Севастополя в сопровождении своей свиты на позицию при реке Алме. Настоящего штаба у князя не было. В строгом смысле и сам князь еще не имел определенного назначения: войска подчинялись ему как старшему в чине; свиту князя составляли люди самые разнокалиберные. Был тут штаб-офицер Вунш{63}, был один чиновник инженерного департамента, были адъютанты из числа петербургской золотой молодежи: Панаев, Грейг, Веригин,

Вилленбрандт, Сколков{64}. Из ординарцев один лишь известный нам лейтенант Стеценко был человек довольно солидный; другие - князь Ухтомский и Томилович - походили на молоденьких пажей, особенно Томилович, пухленький, розовенький, с несформировавшимся козлиным голосом. В этой компании такой офицер, как кирасирский штаб-ротмистр Жолобов, только что окончивший военную академию, был весьма солидным человеком.

Князь Меншиков со своим импровизированным штабом ехал в самом веселом расположении духа без отдыха до самой реки Качи. На правом берегу этой реки находился хутор богатого помещика; последний, узнав о высадке неприятельской армии, поспешно уложил свои чемоданы и ускакал в Симферополь. На хуторе остался лишь старик эконом с кухаркой, которая готовила для людской, и несколькими слугами. Первоначально слуги думали, что идут турки, и крайне обрадовались, увидя своих. Радость эта немного уменьшилась тем обстоятельством, что казаки, составлявшие конвой князя, бесцеремонно стали тащить сено и овес для своих и офицерских лошадей, а на протесты эконома ответили обещанием вздуть его нагайками.

Между тем молодежь из свиты Меншикова принялась осматривать достопримечательности хутора. Сам князь расположился в спальне, чтобы отдохнуть.

Адъютанты Веригин и Грейг, отличавшиеся особенно веселым нравом, гуляли в саду и забавлялись тем, что карабкались на деревья, доставая плоды, причем Веригин чуть не разорвал свой мундир. Панаев, как более серьезный и всегда старавшийся угодить князю, сам напросился на поручение допрашивать казаков, присылаемых к князю с наблюдательных постов. Меншиков велел ему докладывать о таких курьерах по усмотрению.

Часам к пяти адъютанты князя проголодались и, собравшись на крыльце, с нетерпением ожидали обеда, который уже был заказан кухарке.

- Посмотрим, чем угостит нас здешняя Цирцея, - сказал Веригин.

- ЕИе ез! 1аШе, сотте 1ез зер! рёспез сарйаих (она уродлива, как семь смертных грехов), - фыркнул Грейг; между адъютантами французский язык преобладал, несмотря на их патриотическое настроение.

- Господа, посмотрите, кого это сюда несет, - сказал Веригин.

Действительно, в экипаже, составлявшем нечто среднее между бричкой и татарской арбой, ехал молодой человек, судя по форме - военный врач. Он выскочил из брички и, поговорив с

казаком из конвоя князя, стоявшим у ворот хутора с куском арбуза в руке, тотчас же поспешил на крыльцо к адъютантам.

- Позвольте узнать, господа офицеры, - сказал он, - правду ли мне говорит казак, что здесь остановился сам главнокомандующий?

- Совершенную правду. А вам что надо? - несколько свысока спросил Панаев.

- Да я... я приехал к родственнику, владельцу хутора... Оказывается, он уехал... Я военный врач, спешу в Севастополь, думал остановиться у брата... Теперь, конечно...

- Да вы, батенька, не стесняйтесь, - покровительственно сказал Веригин. - Князь никого не желает стеснять. Найду я место и для вас. Милости просим.

- Благодарю вас... Позвольте отрекомендоваться: врач Алексеев...

- Очень приятно. Я доложу князю, - сказал Панаев. - Князь велел всем вновь прибывшим врачам представляться ему лично.

- Помилуйте. Но я весь в пыли... Мне совестно...

- Это ничего, - авторитетно сказал Веригин, подмигивая Грейгу, так как доктор показался ему смешным чудаком, над которым следует потешиться. Пускай князь проберет его по-своему, - шепнул Веригин на ухо Панаеву.

Князю доложили, и доктор был немедленно позван в спальню. Через полчаса он вернулся оттуда красный и вспотевший, как из бани.

- Ну что? Ну что? - приставали к нему адъютанты.

- Удивляюсь! Откуда светлейший так знает медицину, - говорил доктор, вытирая потный лоб. - Я на выпускном экзамене не подвергался такому строгому испытанию, как теперь... Чего только не спрашивал князь!

- Да, батенька, мы никого не пропускаем без внимания! - сказал Веригин. - Воображаю, пробрал вас светлейший по косточкам!

- Однако, господа, право, не мешало бы обедать. Цирцея, кажется, капризничает; хоть бы ты, Грейг, сыграл по отношению к ней роль Одиссея, сказал Веригин.

- Предоставляю тебе эту честь.

- А ты, вероятно, принял на свою долю испытать превращение в какое-нибудь не совсем красивое животное?

- Однако ты остришь! Боюсь, что эта острота не оригинальная, а заимствованная.

- Но уж, во всяком случае, не у тебя...

- Господа, не ссорьтесь, это портит аппетит, - сказал Панаев.

Наконец давно ожидаемый обед был подан. Пришел и князь.

Адъютанты острили над кулинарным искусством рябой Цирцеи, но ели преисправно и пили вино, принесенное экономом из погреба владельца, хотя оно было невысокого качества.

Князь прочитал по этому поводу целую лекцию о причинах, влияющих на дурное качество крымских вин, причем выказал разнообразные сведения по агрономии и ботанике. Панаев поддакивал князю, Грейг и Веригин, сидя на другом конце стола, острили и балагурили между собою.

Князь встал со стула раньше всех и вышел на крыльцо. Адъютанты подняли такую возню и шум, что наконец князь вошел в столовую, погрозил им пальцем и, не говоря ни слова, ушел в спальню.

Между тем все чаще стали приезжать с наблюдательных постов казаки с различными донесениями. Сначала князь доверялся расспросам Панаева, но вскоре стал сам выходить на крыльцо и прислушиваться.

Вечерело. Адъютанты князя удалились в диванную, где с помощью денщиков разделись и улеглись спать. Но им не спалось. Они продолжали балагурить и дурачиться до поздней ночи. Веригин бросил в сонного Грейга подушкой, крикнув: "Грейг, вставай, летит бомба!" Тот спросонок вскрикнул так, что князь испугался и послал узнать, в чем дело узнав же настоящую причину, рассердился не на шутку, после чего адъютанты присмирели и стали говорить уже шепотом, пока наконец сон не одолел их.

X

Наши войска постепенно стягивались к реке Алме.

Еще первого сентября в лагере на Северной стороне засуетились, начались приготовления: осматривали штыки, раздавали патроны, сухари, надвертки, пыжов-ники. Утром второго числа было назначено выходить из палаток по тревоге. Солдаты расхаживали по лагерю в амуниции, ежеминутно готовясь надеть ранцы. Погода была довольно прохладная, а по-крымскому - даже холодная. Солнце светило ярко. На горизонте ясно виднелся неприятельский флот, сдвигавшийся к Евпатории. Пароходы, по большей части небольших размеров и потому дававшие весьма неверное представление о силе неприятельского флота, шныряли вдоль берегов, то приближаясь к Севастополю, то удаляясь. Раз только показался гигантский английский пароход, но, по выражению солдат, понюхал-понюхал да и ушел. После полудня раздалась команда: "Надевай ранцы!" Построились перед палатками своих рот, потом формировались в батальоны. Теперь только барабанщики, как будто из приличия, ударили тревогу.

Солдаты Тарутинского полка особенно интересовались тем,

что делается в Евпатории, так как их товарищи были посланы туда на целебные грязи, и они-то составляли слабосильную команду - единственный гарнизон Евпатории. Тарутинцы построились одни из первых. Приехал полковой командир генерал Волков и объявил солдатам поход.

Командиры батальонов молодцевато сидели на своих конях.

Один из них, тучный, никогда еще не бывавший в походе, особенно старался ободрить свой батальон, видимо сообщая этим бодрость самому себе. Он пыхтел и кричал своим зычным, несколько сиплым басом: "Смотри, ребята! На штыке француза долго не держи. Пырнул в брюхо да и скорей тащи назад. Шапками его, каторжного, закидаем!"

Эта фраза стала исторической.

- Помни, ребята, - говорил сам полковой командир генерал Волков, патронов даром не расстреливай! Пуля дура, а штык молодец!

Один только подполковник Горев, командир второго батальона, сидел нахмурившись на своем коне и не отвечал на вопросы других командиров. Но когда тронулись в поход, он сердито пробормотал: "Не хвались, идучи на рать!.."

Медленно подвигались тарутинцы к реке Каче. Дорога шла по холмистой местности, почти сплошь покрытой зеленеющими садами и виноградниками. Кое-где белели красивые домики владельцев хуторов. Даже грязные татарские сакли, утопая в зелени, казались уютными и приветливыми. Приближаясь к Каче, полк вышел на местность более ровную. Батальоны правым плечом были подведены к какому-то помещичьему домику. Им велели остановиться для отдыха. У подошвы холма солдаты расположились группами.

Стали приготовлять первый бивуачный ужин.

Несколько офицеров, в том числе и подполковник Горев, взобрались на холм, чтобы осмотреть окрестность. Было еще светло. С горы виднелось море, и было заметно, как постепенно прибывали неприятельские суда. Некоторые офицеры разговаривали между собою, другие смотрели молча.

- Послушай, Иванов, - говорил молодой поручик еще более юному подпрапорщику, - ведь ты поэт. Неужели тебя не вдохновляет это зрелище вражеского флота? Ну-ка, сочини на сей случай что-нибудь вроде твоего "Голоса русского". Как это у тебя там: "С моря полночи угрюмой..." Забыл, ей-Богу! Да говори же, голубчик.

Подпрапорщик Иванов 2-й, известный молодой поэт, помещавший свои произведения даже в "Северной пчеле", стал в несколько аффектированную позу и начал декламировать

собравшейся вокруг него группе молодых офицеров:

С моря полночи угрюмой
До Понтийских берегов,
Страшный блеском, грозный шумом,
Миллион стоит штыков.
На подвластных океанах
Ходят стаи кораблей,
И восход зари румяной
Никогда не гаснет в ней.

- В ком это в ней? - спросил" юный скептик из подпрапорщиков.

- Да что вы, не понимаете, что ли? - сердито отозвался поручик, поклонник талантливого Иванова 2-го. - Понятно, речь идет о России... Только мешаете другим слушать.

Иванов продолжал:

Так идем же! Провиденье
Будет нам покров и щит.
С тайным страхом, с удивленьем
Нам полмира вслед глядит.

Офицеры с чувством слушали последние слова.

- Молодец, Иванов, - сказал кто-то. - Он когда-нибудь Лермонтова за пояс заткнет.

- Ну, уж и Лермонтова, - пробормотал скептический подпрапорщик, втайне завидовавший талантливому Иванову 2-му.

Солдаты окончили ужин.

Кое-где слышались песни, но не те удалые, которые поются, когда солдаты идут с унтер-офицерами и ротным командиром, а заунывные деревенские песни. Иные солдаты, собравшись в группы, вели разговоры.

Один солдатик, сидя у бивуачного костра, спрашивал другого:

- А что, брат, ты как думаешь, вернемся мы в Расею?

- А Бог его знает... Может, вернемся, а может, и здесь останемся...

- Займи табачку. Страсть покурить хочется.

- На, бери, что ли. Смотри, завтра отдай.

- А то что ж! Не отдам? Ишь скаредный черт! - прибавил проситель вместо благодарности.

Солдат стал стучать огнивом, высекая огонь для трубки.

- У тебя манерка-то отвязана; пойди зачерпни воды, - говорил старый солдат молодому. - В походе небось просил напиться, а пришел, так сиднем сидит...

- Пойду, дяденька. Вы-то что стоите все, не ляжете?

- А не знаешь, что ли? Так лучше, ноги уставать не будут, а то дорогой после скучать начнут. Мое дело стариковское, от моих ног расейским-то шассеям досталось-таки порядком.

- У Габадулича вода есть. Эй, Габадулич, дай-ка водицы.

Габадуличем солдаты прозвали товарища-татарина. Настоящее его имя было Абдулла. Тот подал воду.

- А ты, дядя Сидорыч?

- Дай два часа переждать, тогда напьюсь.

- Что так?

- После хуже. Глотком не напьешься, да, пожалуй, на ноги все пойдет.

- Как на ноги, дяденька? - спросило вдруг несколько голосов.

- А так, братцы. Вот, примерно, споенная лошадь. Отчего у нее ноги кривы? Гони ты лошадь да дай ей напиться - вода сразу и взойдет в ноги, ну, ноги подведет. Так и солдат. Идет, идет, ну, жарко, ремни давят; вот и хлебнет, а с тех пор и стал пропащий человек, в ногах ломота и в груди тяжко. Так-то, братцы.

- А в сражении-то как же, дяденька, пить небось хочется?

- В сражении, братцы мои, чтобы не соврать, я не бывал; вот шестидесятый год мне идет, а все больше топтал дорожки да по шассеям околачивался. А хоть и не бывал, думаю, там не до питья вам будет. Там знай помни присягу, да и ладно.

- А, чай, страшно, дяденька?

- Двум смертям, братцы, не бывать, когда-нибудь всем помирать надо.

Пробили зорю. Стемнело. Разложили костры.

Некоторые солдаты еще гремели манерками; кто натягивал балалайку, большая часть солдат уже лежала у ружейных козел, укрывшись с головами серыми шинелями. Несколько позднее улеглись и офицеры; все, не исключая высших начальников, были в серых солдатских шинелях, почти сливавшихся с цветом земли.

Настала ночь, звезды горели ярко, почти не мерцая на темном южном небе, Млечный Путь резко выделялся посреди небесного свода. Ночная свежесть давала себя знать. Солдатики все плотнее кутались в шинели. Наступила тишина, изредка прерываемая чьим-нибудь вскрикиванием, фырканьем лошадей и отдаленным лаем собак в опустевших помещичьих хуторах и татарских аулах.

Настало утро. Пробили зорю. Солдаты проворно встали. К кострам понесли чашки и ложки, и в ротных котлах варился ранний бивуачный обед.

В восемь часов батальоны тарутинцев двинулись к аулу Бурлюк.

Вдруг со стороны Евпатории послышалась явственная

канонада.

- Нас ведут прямо в дело, - сказал вполголоса подпрапорщик Иванов 2-й, выразив этим тайную мысль, промелькнувшую почти у всех солдат. У многих сердце стало биться учащенно.

Вскоре, однако, было велено остановиться на высокой местности, на расстоянии менее двух верст от реки Алмы. Отсюда море смотрелось как на ладони. Близ Евпатории высился густой лес мачт: это был неприятельский флот. Перед собою тарутинцы увидели маяк. К вечеру их подвинули на окраину возвышенности и повернули фронтом к аулу Бурлюк. За аулом, в стороне Евпатории, виднелась открытая местность, кое-где уставленная стогами сена и копнами хлеба.

XI

На левом берегу Алмы давно уже стояли войска. Так, например, Владимирский полк, прибывший в половине августа вместе с другими форсированным маршем из Молдавии, с тех самых пор стоял лагерем близ Алмы. Несмотря на возвращение из похода, большую часть этого полка составляли не обстрелянные еще солдаты.

С четвертого по восьмое число постоянно прибывали новые полки.

В один из этих дней князь Меншиков, бывший в особенно хорошем расположении духа, поехал со своим так называемым "штабом" осматривать позицию. Отъехали версты три, как вдруг послышались пушечные выстрелы. Это неприятель стрелял в знак благополучного окончания высадки. Князь ехал крупной рысью, но, услышав выстрелы, машинально прибавил ходу. День был ясный, все было весело. Молодые адъютанты сгорали от нетерпения: им казалось, что бой уже начался. Но на Алме было еще тихо. На возвышенности, находящейся над рекою, и внизу, у самой реки, войска занимали позиции и устраивали бивуаки.

Князь объехал позиции, кое-где передвинул войска и велел возвести две плохенькие земляные батареи для обстреливания брода и моста через реку. Затем, поднявшись на гору, выбрал место на возвышенной площадке для своей ставки. Здесь разбили маленькую серую палатку для князя, подле нее - большую солдатскую палатку для прислуги, третью - для ефрейторского караула. Возле ставки князя поставили несколько палаток для его адъютантов и приближенных. Палатку князя раскинули на такой высоте, что кругом было видно на тридцать верст. Телескоп огромной величины был наведен на неприятельский флот и на показавшийся в значительном отдалении неприятельский лагерь.

Пока князь отсутствовал в Севастополе, Корнилов, по обыкновению, не тратил времени. Общее одушевление,

охватившее севастопольцев, повлияло на него, конечно, не в смысле придачи ему энергии - в этом он мог поспорить со всеми, - но в том отношении, что Корнилов перестал даже наедине с самим собою предаваться печальным мыслям и сомнениям, которые прежде нередко овладевали им. Со дня отъезда жены Корнилов, по морской привычке, вел дневной журнал в виде писем, которые раза два в неделю отсылал жене с курьером в Николаев. Он очень беспокоился о здоровье жены, которая при отъезде была в последнем периоде беременности. Корнилов писал жене о состоянии Севастополя, что, "кажется, нечего бояться".

Вечер этого дня Корнилов провел, по обыкновению, у себя на квартире в обществе Нахимова, Истомина и других моряков и был очень весел. На другой день Корнилов писал жене: "Позиция, избранная князем, чрезвычайно сильна, и потому мы совершенно спокойны. Впрочем, все зависит от Бога. Севастополь деятельно готовится к обороне".

Жители по-прежнему не бежали поголовно. Некоторые выезжали, но были и приезжие. Корнилов с утра на коне обозревал укрепления, на которых работали не только солдаты и моряки, но и окрестные мужики.

По вечерам пробовали пушки и ракеты.

Пятого сентября, проснувшись, Корнилов стал припоминать, что этот день имеет для него какое-то особое значение: он вспомнил, что его новорожденная дочь Лиза именинница, и ему взгрустнулось при мысли, что этот день он проводит один. Корнилов велел денщику отправиться с пригласительными письмами, состряпать обед получше и достать бутылку шампанского. Денщик обегал весь город, но все были завалены работой, и к обеду пришли только Истомин и Ергомышев{65}! Корнилов был чрезвычайно рад и двум гостям, и они втроем пили за здоровье его жены и новорожденной, а кстати выпили тосты и за дорогой им всем Севастополь и Черноморский флот.

Вечером у Корнилова собралось большое общество и даже сели играть - кто в шахматы, кто в карты. Корнилов не играл; он больше беседовал с Истоминым и с Тотлебеном.

- Позиция наша, кажется, весьма сильна, - сказал Тотлебен. - Боюсь только, что князь, по своему всегдашнему неудовольствию на Кирьякова, станет делать все наперекор, а ведь Кирьяков в свою очередь упрям; из их ссоры может выйти путаница, вредная для дела.

- Трудно разобрать, кто из них прав, кто виноват, - заметил Корнилов. Я не особенно высокого мнения о Кирьякове, но ведь и князь иногда бывает невыносим... Но лучше оставим этот

разговор. Все люди не без греха. Знаете ли, сегодня я нашел в Афинском календаре весьма любопытные предсказания.

- А вы этому верите, Владимир Алексеевич? - спросил Тотлебен.

- Как бы вам сказать... Не то что верю, но бывают любопытные совпадения... игра чисел... ну, как хотите назовите. Разве не странно, например, такое совпадение, что второго сентября Наполеон Первый вступил в Москву и второго же сентября англо-французы вышли к нам на берег...

- Для них это предзнаменование не должно быть особенно приятным! сказал подошедший к Корнилову Истомин. - Как бы они не окончили, подобно Наполеону... Что же вы прочли в Афинском календаре?

- Весьма любопытную вещь. Там сказано, что восьмого сентября произойдет важное, но печальное событие. Сказано, впрочем, неопределенно: неизвестно, для кого оно будет печальным. Как вы думаете, господа, что это означает: нашу победу или поражение?

Начались споры по этому вопросу. Конечно, почти все доказывали, что поражение невозможно. Особенно горячился один армейский генерал, доказывавший, что французы еще туда-сюда, но уж англичане на суше ни к черту не годятся. Моряки они хорошие, спора нет, но разве матрос может устоять на суше против солдатского, и особенно русского, штыка?

В разговор вмешался герой Синопа, как все называли теперь Павла Степановича Нахимова.

- Я с вами вполне согласен-с, - сказал он. - Моряк на суше то же, что рыба на песке-с. Вы пра-вы-с. Если бы меня, например, назначить командовать пехотой-с, ну куда я гожусь? В подпрапорщики, и для того слишком стар-с.

- Вы слишком скромны, Павел Степанович, - сказал Корнилов. - А я так думаю, что мы с вами и на суше не ударили бы лицом в грязь.

- О вас не говорю, вы другое дело-с; а я просто моряк-с.

Спор продолжался, армейцы стали пикироваться с флотскими, и под влиянием выпитых вин и шампанского разговор принимал довольно крутой оборот.

Корнилов в роли хозяина, как умел, мирил гостей, Нахимов добродушно улыбался. Вошел денщик Корнилова с письмом. Корнилов узнал почерк жены, с лихорадочным нетерпением прочел первые строки, писанные довольно твердым почерком, не утерпел, при всех поцеловал письмо и сказал всем, что его жена и новорожденная здоровы. Посыпались пожелания и поздравления. Вечер окончился довольно весело, так как снова стали пить.

Нахимов, не особенно любивший шампанское, пил рюмку за рюмкой свою любимую марсалу и был очень весел, шутил, но под конец задремал. Он очнулся лишь во втором часу ночи и поспешил на свой корабль. Свежий воздух и воспоминания о неприятеле тотчас привели его в себя, и высокая, несколько сутуловатая, тучная фигура Павла Степановича, с фуражкой почти на затылке, быстро двигалась по направлению к пристани, где Нахимова давно ждала шлюпка.

Гребцы-матросы, увидя любимого начальника, весело сняли шапки, тотчас надели их и, взявшись за весла, лихо повезли Нахимова на корабль "Двенадцать апостолов".

Не доезжая полукабельтова до корабля, Павел Степанович ясно услышал на палубе громкую брань и по голосу узнал, что бранится один из лейтенантов, остзейский барон, недавно переведшийся из Балтийского флота и отличавшийся весьма крутым нравом. Матросы недолюбливали его. Лейтенант был, однако, человек способный, и Нахимов дорожил им, хотя не раз выговаривал ему за его обхождение с матросами.

- Вот вы с меня возьмите пример-с, - говорил Нахимов. - Разве я когда-нибудь за пустяки наказываю матросов? Нет, я только намекаю. Иное дело за службу-с, особенно на море... Там я строг!

- Какая у тебя душа! А если б и была, я б ее из тебя вышиб! - слышится голос рассвирепевшего барона. Вдруг этот голос умолк, - вероятно, грозный барон заметил приближение адмиральской шлюпки. Гребцы переглянулись, и взгляд их как бы выражал: "А что, брат, небось сам теперь поджал хвост".

Взойдя на корабль, Нахимов не сказал ни слова лейтенанту и только многозначительно поглядел на него. Тот поклонился и стушевался в группе товарищей, весело приветствовавших Павла Степановича. Нахимов стал осматривать корабль и нашел неисправность у одного из своих офицеров, который спускал катер с боканцев недостаточно живо и притом не наблюдал за этим лично, а положился на унтер-офицера. Притом у унтер-офицера была неумытая физиономия, а Нахимов терпеть не мог нечистоплотности: у него в каюте всегда была образцовая чистота.

- Это ни на что не похоже-с, - сказал Нахимов, обращаясь к переконфуженному офицеру. - Прошу вас вперед обратить все внимание на водворение между нижними чинами необходимой чистоты, которою должен отличаться образованный военный человек-с... А ты, братец, - обратился он к унтер-офицеру, - тебе как не стыдно: я сказал тебе, что ты отвечаешь за всякого человека, замеченного мною не мытым и не бритым, а ты сам, нечего сказать, хорош-с! Красавец! Полюбуйся в зеркало!

Стыдись! А еще матрос-с!

- Виноват, Павел Степанович, ей-Богу, не успел.

- Не успел! Что же ты, когда встать изволил! Видишь, я и на именинах был, и с трех часов утра на ногах. Чтобы мне этого вперед не было-с, иначе ты мне отвечаешь! Пошлю на бак, а там вздуют! Двести велю влепить.

- Не будет, Павел Степанович, не извольте беспокоиться...

- Ас вами, молодой человек, я хочу еще перего-ворить-с, - сказал Нахимов, отозвав в сторону офицера. - Я вас душевно люблю-с, но если вы так будете себя вести, мы с вами серьезно поссоримся. А кстати, намекните вашему товарищу, - Нахимов назвал остзейского барона, - что я лично слышал, как он говорит с матросами, и скажите, чтобы он вперед так не бранился, а не то ему даром не пройдет-с. Я ему ничего не сказал, потому что не хочу, чтобы он думал, что матросы мне жаловались, но я очень и очень им недоволен-с...

По обыкновению, Нахимов пригласил всех офицеров к обеду в свою каюту, но барона исключил из числа приглашенных. Все обратили на это внимание, а барон был так сконфужен, что сам пришел с повинною.

- Вы, вероятно, чем-нибудь недовольны, Павел

Степанович? - спросил он для начала.

- Я для вас не Павел Степанович, а ваш начальник-с, - сурово оборвал его Нахимов. - И если вы сами ко мне пришли, то я вам скажу-с, что я помещиков у себя на корабле не терплю-с. Здесь не крепостные-с...

- Теперь я понимаю, в чем дело! - с притворной наивностью сказал барон. - Право, вы напрасно гневаетесь... Этот матрос способен рассердить даже ангела... Я ведь его не ударил, а брань им даже полезна... Они иначе ничего не понимают... Ведь это те же мужики...

- Я вас прошу молчать-с, - сказал Нахимов. - Не в брани дело-с... Иной и выбранит и даже за хохол выдерет так, что не обидно! Хвалиться тем, что вы не деретесь, - это даже стыдно-с... По-вашему, матрос - мужик, а разве у мужика и самолюбия нет-с. Поверьте, не меньше, чем у вас, душа такая же, как ваша-с, а может быть, и получше-с! Пока вы не исправитесь, я для вас не Павел Степанович, а вице-адмирал Нахимов-с. Ступайте!

Сконфуженный офицер ушел повесив голову.

- Слышите, господа, - говорил один мичман товарищам, - сегодня Павел Степанович назвал матросов "образованными военными людьми-с". Каков либерал! А еще говорят, что он отсталый.

- Это говорят только глупцы, - обрезал его один из офицеров.

- Слышал я раз, - прибавил он, помолчав, - что будто Павел Степанович приписал однажды победу Нельсона при Трафальгаре тому обстоятельству, что брамселя были у него в порядке. А я вам скажу, господа, что это сущая ложь. Про брамселя он говорил, да не то: "Федот, да не тот". Я сам слышал слова Павла Степановича. Он сказал буквально следующее: уверяют, что Нельсон победил благодаря ловкому маневру, это чистый вздор-с! Победил он потому, что у него брамселя были исправны, значит, матросы знали свое дело, а побеждают не адмиралы, но матросы.

- Да ведь это то же самое! - сказал один из офицеров. - Нет, Павел Степанович не прав! Он, пожалуй, и Синоп приписывает не себе, а какому-нибудь пьянице Митрохе или Федору.

При слове "Синоп" обыкновенно все порицатели Нахимова умолкали и разговор принимал самый лестный оборот для начальника, которого любили все, хотя многие и считали его еще более придирчивым, чем Корнилов. Особенно солоно приходилось его так называемым любимцам, то есть наиболее способным офицерам. К ним Нахимов был на службе крайне строг и порицал их за малейшее упущение; но зато вне службы относился к ним, как редкий отец относится к сыновьям.

После вечера, бывшего у Корнилова в честь его новорожденной дочери, Владимир Алексеевич чувствовал себя утомленным, но тем не менее на рассвете отправился в лагерь Меншикова, расположенный на реке Алме.

Войска все прибывали. Кое-где гарцевали казаки. Корнилов провел целый день на бивуаках и, довольный всем виденным, возвратился в Севастополь. Даже князь Меншиков показался ему симпатичнее обыкновенного. Впрочем, не обошлось без столкновения. Князь потребовал у Корнилова откомандировать к нему морских стрелков. Корнилов доказывал, что эти стрелки нужны ему на море и бесполезны на суше. Князь настоял на своем, и это обстоятельство несколько испортило расположение духа Корнилова. Но добрый вид солдат, самоуверенность офицеров и генералов - все так повлияло на него, что и эта неприятность была забыта. Сверх того, он наслышался разных рассказов.

У нас уже был даже некоторого рода военный трофей, и рассказ об этом особенно развеселил Корнилова. Казаки успели поймать в виноградниках одиннадцать зуавов, забравшихся туда с целью угоститься крымским виноградом. Пленных привели к Меншикову, который прислал их во Владимирский полк, чтобы их там накормили. Солдатики сначала приняли зуавов за турок, и некоторые, успевшие в походе научиться десятку турецких слов, заговорили с ними по-турецки. Те только качали головами.

На выручку солдатам поспешил один поручик, знавший по-французски, как говорится, с пятого на десятое. Разговор вообще был труден, но зуавы поняли, что им предлагают есть, и, конечно, не отказались. Но велико было их разочарование, когда им дали ржаные сухари.

- Ри'ез! се яие с'ез! яие са (что это такое)? - спрашивал один зуав другого. - Ез1 се яие сез сНаЫез де гиззез ёёуогеп! ее 1а 1егге сш!е (разве эти черти русские пожирают печеную землю)?

- Да ты что сумлеваешься, братик, - увещевал солдат одного из пленных, чуть не тыча ему в зубы свой размоченный в щах сухарь. - Вот смотри, как я буду есть. Ты, брат мусью, сначала обмакни в щи, а потом и ешь. Вот так! Молодца.

Один из зуавов, похрабрее других, действительно последовал примеру солдата и, размочив сухарь в щах, начал есть. После он, смеясь, дразнил товарищей, говоря, что они ели только одно блюдо, а он - два: "5ап5 сухари" и "ауес сухари".

Корнилов много смеялся, слыша этот анекдот от лейтенанта Стеценко, и, возвратившись в Севастополь, рассказывал его своим приятелям.

XII

Седьмого числа день был ясный, даже жаркий.

Если бы князь Меншиков, вместо того чтобы окапываться и устраивать никуда не годные земляные батареи, двинул свою довольно многочисленную кавалерию, а вслед за ней и все свое войско по направлению к реке Булганак и дальше, он мог бы ударить во фланг неприятелю, совершавшему в это время трудный переход вдоль морского берега.

Французы с самого начала военных действий всегда имели притязание идти с правой стороны. Их армия двигалась в виде громадной ромбической фигуры почти у самого берега моря. Во главе шла дивизия Канробера, в хвосте - Форэ, по бокам - Боске и принц Наполеон{66}, турки шли за дивизией Боске. Справа французов прикрывал союзный флот, медленно подвигавшийся вдоль берега. Слева длинной колонной шли англичане; их левый фланг и тыл были совершенно открыты. Влево была обширная степь, слегка волнующаяся от слабого морского ветра, который несколько смягчал палящий зной. Степь была покрыта густой, но невысокой травой и, казалось, манила к себе кавалерию. В воздухе чувствовался горький аромат полыни и других степных трав. Сначала шли с музыкой, но вскоре трубы и барабаны перестали играть и даже разговоры прекратились.

Наступило тягостное молчание. Видно было, что солдаты утомлены высадкой, ночлегами под открытым небом, ночною сыростью и дневным зноем. Многих мучила жажда, а тут еще, как

нарочно, слышался шум морских волн, напоминая о присутствии воды, хоть и не годной для питья. Трава хрустела под ногами десятков тысяч солдат и под колесами орудий. Почти вся армия состояла из пехоты и артиллерии: кавалерия была у англичан, да и та весьма малочисленная. Солдаты для облегчения шли без ранцев, с небольшими узелками на плечах, но все же, когда зной усилился, несколько человек упали от изнеможения. Стали падать также внезапно заболевшие холерой. К полудню показалась речка Булганак. Английские гвардейцы расстроили ряды и, не слушаясь никаких приказаний, бросились пить мутную воду. Шотландцы последовали их примеру, но, привычные к дисциплине, вдруг остановились: громовой голос их начальника крикнул: "Стой!" Затем по новой команде они в полном порядке подошли к пересохшему до половины ручью и стали черпать воду.

По самой почтовой дороге из Евпатории в Севастополь, в том месте, где эту дорогу пересекает речка Булганак, показалась группа всадников, в числе которой был старик в штатском платье и с одним пустым рукавом, доказывавшим отсутствие руки. Этот однорукий старик в круглой шляпе, имевший вид школьного учителя, был английский главнокомандующий лорд Раглан.

За рекой Булганаком почва внезапно повышается и далее снова понижается, образуя холмы, лощины и долины. На вершине холма лорд Раглан заметил нескольких казаков и тотчас отправил на рекогносцировку четыре эскадрона кавалерии - гусар и легких драгун. Англичане проехали лощиной несколько сот шагов и вскоре заметили на вершине холма значительный русский кавалерийский отряд. Вскоре из-за другого холма что-то в отдалении заблистало на солнце. Это были штыки русских солдат. Еще несколько минут - и лорд Раглан, следовавший со своим штабом за высланными вперед эскадронами, увидел, что малочисленному английскому кавалерийскому отряду угрожает довольно значительный русский отряд, состоявший из всех трех родов оружия. Русский отряд, однако, не двигался вперед и наблюдал, как строились английские кавалеристы.

Чтобы понять это, необходимо знать, что делалось в русской армии.

Нашу передовую цепь образовали гусары-лейхтенбергцы, к которым вскоре были подосланы и веймарцы. Князь Меншиков очень любил оба эти полка за их молодецкий вид. Те и другие были в белых кителях, на хорошо откормленных конях; особенно красивы были веймарцы на своих наливных вороных конях. Всадники были по большей части краснощекие юноши, в числе которых находилось немало дворян.

Лейхтенбергцы первые выступили на рекогносцировку.

Командиром их был генерал-майор Халецкий, весьма молодцеватый генерал, производивший на смотрах со своим полком большой фурор и бывший на отличном счету и в Петербурге, и у Меншикова.

Отправив лейхтенбергцев, Меншиков наскучил ожиданием и послал своего ординарца лейтенанта Стеценко посмотреть, что делается на аванпостах.

Стеценко отправился по деревянному мосту, перекинутому через реку Алму, в деревню Бурлкж, где увидел прежде всего два стрелковых морских батальона и встретил командира одного из них, вооруженного с ног до головы, подобно рыцарю средних веков. В таком же виде явились и прочие морские офицеры; кроме людей бывалых, вроде Стеценко, все смеялись над ними, и когда эти моряки представились князю Меншикову, главнокомандующий не мог скрыть своей улыбки, а армейские офицеры стали подтрунивать над своими новыми товарищами. Даже солдаты подсмеивались над матросами, говоря: "Эй вы, морские сухари, вы чего к нам пришли?" Матросы не оставались в долгу, называя солдат "крупою".

Посмотрев на моряков, которые имели довольно неуклюжий вид по сравнению с великолепными армейскими солдатами, Стеценко поехал к казачьему полковнику Тацину, посмотрел вместе с ним в трубу и увидел в неприятельском лагере движение и уменьшение числа палаток. Удовольствовавшись этим зрелищем, Стеценко поскакал назад к князю, как вдруг заметил, что ему на пересечку спешит толпа всадников. Это и были лейхтенбергские гусары. Генерал Халецкий подскакал к Стеценко с вопросом: куда тот едет?

- Неприятель наступает, ваше превосходительство! - сказал Стеценко, уменьшая ход своего коня.

- Быть не может! А мы никого не видели. Вам кто сказал?

- Уверяю вас, ваше превосходительство, я видел собственными глазами.

- Говорю вам, лейтенант, этого быть не может! Я с моими гусарами занимаю аванпосты и могу это знать лучше вас.

- Как вам угодно, ваше превосходительство, я еду к светлейшему с донесением о том, что видел.

- Да как вы смеете, когда вам говорят! Извольте оставаться!

- Я не могу медлить, ваше превосходительство, я еду по личному распоряжению его светлости.

- Как? Вы еще мне говорите дерзости? Да вы, моряки, совсем не понимаете правил дисциплины. Я жаловаться буду, я вас под арест! Как ваша фамилия? Стеценко назвал себя и поскакал к первой линии наших войск, крича, что идет неприятель. Вся

первая линия быстро стала в ружье. Стеценко приехал наконец в ставку князя, который обедал со своими адъютантами.

- Продолжайте обедать, господа, - сказал князь. - Сегодня ничего серьезного не будет.

Стеценко рассказал ему о своем столкновении с генералом. Князь посоветовал ему извиниться и не придал этой истории значения.

Между тем генерал Халецкий со своими гусарами вскоре увидел малочисленный кавалерийский отряд англичан. Тотчас же он велел своим гусарам собраться в лощине, оттуда они сделали в англичан несколько бесцельных выстрелов и затем вдруг стали отступать.

С площадки, где находилась ставка князя Меншикова, было видно, что наши аванпосты неизвестно для чего отступают. Князь немедленно послал за генералом Кирьяковым, который был весьма недоволен, что ему помешали обедать.

- Я вас призвал, ваше превосходительство, - сказал Меншиков, не глядя в лицо Кирьякову, - с тем, чтобы возложить на вас весьма важное поручение.

- Что могу, исполню, - ответил Кирьяков. - Но пользуюсь случаем сказать вашей светлости, что сделанные вами изменения в расположении мне вверенных войск едва ли выгодны. Наш левый фланг весьма слаб.

- Что вы мне говорите о левом фланге! - раздражительно сказал Меншиков, не выносивший даже присутствия Кирьякова. - Вы стоите на неприступной позиции и считаете себя в опасности. Я вас призвал теперь не для объяснений с вами. Прошу вас немедленно составить отряд из казачьей батареи, тарутин-цев, бородинцев и четвертой легкой батареи. С этим отрядом вы пойдете следом за веймарцами, чтобы внушить неприятелю, что мы не слабы. Вы видите, я посылаю вас с нашими отборными силами. Надеюсь, что вы исполните все в точности. Вы должны искусным маневрированием выказать ваш отряд неприятелю в угрожающем положении...

- Признаюсь, из слов вашей светлости я все еще не понял цели этого движения.

- Как не поняли? Вы не хотите понимать, ваше превосходительство! Неужели я должен еще объяснять вам, какое значение имеют фальшивые атаки и другие движения, предпринимаемые с целью дать неприятелю преувеличенное понятие о наших силах. С этой целью вы должны прежде всего раздвинуть ваш отряд.

Кирьяков слегка пожал плечами.

- Остается только исполнить, - пробормотал он, садясь на

своего коня.

Небольшой отряд, вверенный Кирьякову, был по наружному виду очень красив. Тарутинцы и бородинцы годились хоть в гвардию, казачья батарея была легка и подвижна, а четвертая легкая была, что называется, настоящая батарея.

Кирьяков перешел мост в первой лощине, назло Меншикову не только не раздвинул отряд, но сжал его и не только не показал себя неприятелю в угрожающем виде, но, наоборот, укрылся в лощине и послал приказание веймарцам атаковать неприятельскую кавалерию, а казацкой и четвертой легкой батарее велел сняться с передков. Веймарские гусары поскакали, спустились в другую лощину и там застряли. Казачья батарея понеслась следом за ними и остановилась на спуске в лощину, видя против себя на возвышении неприятельскую конницу. Казаки ожидали, что будут делать гусары, те в свою очередь, не видя неприятелей, ждали, что сделают казаки, и преспокойно сидели в лощине.

Заметив против себя казачью батарею, англичане стали отступать; но в помощь английской кавалерии уже прибыла артиллерия с девятифунтовыми пушками. Казаки подумали с минуту и, видя отступление англичан, пустили по ним несколько выстрелов. Английские пушки немедленно отвечали, и два ядра понеслись по направлению к казачьей батарее, перелетели через нее и упали посреди казацкой сотни, составлявшей прикрытие. Одно из ядер сорвало черепа двум старым казакам. Стоявшие подле них молодые казаки, почти ребята, никогда не видавшие такого страшного зрелища, не выдержали и взвыли, как малые дети. Перестрелка не продолжалась и четверти часа, так как казакам было отдано приказание отступить. Дело в том, что в это самое время произошло замешательство, которое окончательно расстроило всю нашу атаку, не шутя оказавшуюся фальшивой.

Вот что произошло.

Командир лейхтенбергцев Халецкий, сидевший со своими гусарами в лощине, поближе к неприятелю, вдруг увидел, что веймарцы скачут ему на помощь. Не долго думая, он повернул повзводно направо, и лейхтенбергцы поскакали навстречу веймарцам на рысях, соблюдая равнение.

Веймарцы, завидя гусар Халецкого в белых кителях, каковые были, впрочем, и у них, вообразили неизвестно почему, что едут французы, кто-то крикнул: "Неприятель!" - и веймарцы стали отступать.

Пешая батарея оставалась между тем одна на своей позиции. Видя отступление веймарцев, Кирьяков вообразил, что их смяла неприятельская конница, и велел батарейному командиру палить по дерзким кавалеристам, которые на рысях приближались к веймарцам. Батарейный командир сначала усомнился, но потом и сам поверил. Пешая артиллерия засуетилась. Закурились фитили, а конная партия в белых кителях подвигалась все ближе. Но вот из пушек сверкнул огонь, загрохотали выстрелы. Когда дым рассеялся, мнимый неприятель, состоявший из передового эскадрона лейхтенбергцев, пустился врозь марш-маршем на наш правый фланг. Впереди всех мчался эскадронный командир с поднятой саблей. Он скакал прямо, к фронту артиллерии, неистово ругаясь.

Батарейный командир, увидя свою ошибку, чуть не рвал на себе волосы. На артиллеристов этот случай произвел тяжелое впечатление.

- В своих для почину стреляли! - говорили между собою солдаты, считая это событие весьма дурным предзнаменованием. По счастью, было убито лишь несколько лошадей и ранено несколько гусар. Батарейный командир больше всех хлопотал около раненых. По его морщинистым, загорелым и покрытым копотью щекам струились слезы.

- Я же вам говорил, генерал, - укоризненно сказал он Кирьякову, опустив глаза, - ему было стыдно смотреть другим в лицо.

Зато генерал Кирьяков отнесся к этому событию довольно хладнокровно.

- Черт же им велел, канальям, надеть кителя! Приказано было надеть всем серые шинели, так нет же - франтить вздумали. Жарко, говорят, а мне не жарко, что ли? Скажите, что, это у вас там убили двоих? - спрашивал Кирьяков подъехавшего к нему казачьего офицера Попова.

- Да, головы совсем раскроило, - сказал казачий офицер. - До сих пор над убитыми воют мои ребятишки. Что с ними делать? Народ молодой, глупый. Увидели сорванные черепа станичников и давай выть. Уж я хлестал их, подлецов, нагайкой - ничего не помогает. Пустяки, обстреляются, увидите, какими будут молодцами.

Кирьяков поскакал к Меншикову с донесением. Меншиков видел большую часть происшедшего с своей площадки, и, когда приехал Кирьяков, он трлько махнул рукой и отвернулся.

XIII

Генерал Халецкий, выехавший одним из последних из лощины, куда он запрятал своих гусар, слышал, как наша батарея

стреляла по его передовому эскадрону, но не видел этой сцены и недоумевал, что бы значили эти выстрелы. Он велел своим гусарам продолжать отступление. Так проехали они с полверсты, как вдруг, к немалому изумлению гусар, показался всадник, по-видимому французский полковник, и во всяком случае неприятельский офицер, который самым бесцеремонным образом гнал свою лошадь прямо на гусар.

У генерала Халецкого был бравый унтер-офицер Зарубин, служивший ему ординарцем.

- Ваше превосходительство, прикажите взять француза, - сказал он.

Француз продолжал гнать коня и чуть не врезался в наши ряды, тут только, как видно, понял свою ошибку и хотел повернуть назад, но было уже поздно. Зарубин схватил его коня под уздцы, француза мигом окружили, и он отдал свою шпагу.

Оказалось, что он попал в плен по своей близорукости. Это был французский полковник генерального штаба Лагонди{67}, находившийся в распоряжении лорда Раглана. Английский главнокомандующий, заметив, что английская армия во время перехода удалилась от французской версты на две, опасался нападения русских войск и послал Лагонди к принцу Наполеону просить подкреплений. Лагонди исполнил поручение, но на обратном пути принял русских гусар за французов.

Генерал Халецкий был в восторге. Взять в первую же рекогносцировку в плен офицера, да еще полковника генерального штаба, - это чего-нибудь да стоит. Генерал поспешил к князю Меншикову, желая скорей похвастать своим трофеем, как вдруг к нему прискакал офицер с донесением о том, что несколько лошадей его полка убито, а несколько гусар ранено своими же. Халецкий пришел в ярость.

Он винил во всем не себя, не батарейного командира и не Кирьякова, а того незнакомого ему лейтенанта, который встретился ему по дороге.

Халецкий сильно побаивался князя Меншикова, а поэтому, чтобы умилостивить его, послал сначала к нему Зарубина с пленным Лагонди.

В нашем войске все с любопытством смотрели на пленного, как на какое-нибудь диво.

Лагонди ехал сконфуженный, но старался придать себе бравый и беззаботный вид. Узнав, в чем дело, князь спросил Лагонди: кто он такой? Лагонди соскочил с коня, вместо ответа вынул свою визитную карточку и с вежливым поклоном подал князю, спросив в свою очередь: имеет ли он честь видеть русского главнокомандующего?

Адъютанты князя переглянулись, по-видимому одобряя утонченные светские манеры француза. Меншиков поручил одному из своих юных ординарцев, князю Ухтомскому, взять тройку лошадей и солдата и отвезти пленного в Севастополь.

- А ты, братец, - сказал князь, обращаясь к унтер-офицеру, привезшему пленного, - за твой молодецкий подвиг ты получишь Георгия, а за призовую лошадь назначаю тебе сто пятьдесят рублей.

- Куда мне, ваша светлость! - сказал Зарубин, махнув рукою. - Убьют все равно пропадет!

Зарубин думал, что ему отдадут прекрасного коня, и не был рад деньгам.

Князь Ухтомский и вся молодежь, окружавшая Меншикова, занялись пленным и стали упражняться во французском языке, щеголяя своим парижским выговором и знанием труднейших оборотов речи. Француз заметно повеселел и через полчаса был уже как дома, шутил, балагурил, но весьма тонко и ловко отвечал на все нескромные попытки молодых людей выведать у него что-нибудь о числе и расположении неприятельских войск.

Ухтомский объяснил пленному, что, собственно, для него возьмет ипе гплка и что езда на русской тройке имеет в себе особую прелесть, так что один из наших лучших писателей посвятил описанию тройки одну из лучших своих страниц. Француз выражал непритворное удовольствие при мысли о поездке на тройке и вскоре испытал всю прелесть этого путешествия. Князь Ухтомский так лихо катил его в Севастополь, что по дороге бричка опрокинулась на бугре и пленник вместе с князем и кучером очутился в канаве. Впрочем, перелома костей ни у кого не последовало и все обошлось благополучно, но француз долго после этого помнил русскую езду.

Генерал Халецкий наконец решился явиться к Меншикову.

- Ваша светлость, - закричал он тоном глубоко оскорбленного человека, я знаю, вы вините меня в этом прискорбном событии с моими гусарами, но, ей-Богу же, я ни при чем. Вся путаница вышла из-за того, что какой-то лейтенант, уверявший, что послан от вашей светлости, сбил меня с толку и помешал мне атаковать неприятеля...

- Я знаю все и нисколько не виню вас, - сказал князь. - Виноват во всем этот Кирьяков. А этот лейтенант - мой ординарец...

- Конечно, конечно! - подхватил Халецкий, весьма обрадованный таким оборотом дела. - Да, собственно, я и не сержусь на молодого человека... Но я был рассержен в первую минуту его дерзким тоном...

- Я уже велел ему извиниться перед вашим превосходительством.

Стеценко действительно по приказанию князя отправился в палатку Халецкого. Генерал принял его на этот раз весьма любезно. Стеценко потом хвастал перед товарищами, что не желает быть ни с кем в дурных отношениях накануне дела, а потому только будто бы поехал мириться с генералом. На самом же деле он извинился, говоря, что все это было сказано им сгоряча и не подумав.

- Ну, если так, молодой человек, - сказал Халецкий, - я охотно прощаю вам. Давайте в знак примирения выпьем бутылку шампанского.

Вечерело. На всем восьмиверстном протяжении нашей позиции, на левом гористом берегу реки Алмы, загорелись редкие, тусклые огни, так как по случаю приближения неприятеля велено было класть поменьше костров. Верстах в шести, по ту сторону Алмы, вскоре показались огни неприятельского лагеря. На неприятельских судах, подошедших к устью Алмы, также засверкали огни. Близ палатки Меншикова музыканты и песенники Тарутинского полка все еще не умолкали. Слышался залихватский мотив песни:

Вы, французы, англичане,
Что турецкий глупый строй!
Выходите, басурмане!
Вызываем вас на бой!
Вызываем вас на бой!

Странным диссонансом звучала эта бойкая песня посреди хаоса различных звуков. В опустевшем татарском ауле, за рекою, выли голодные собаки. Говор, топот, ржание - все сливалось в один общий гул. Неприятельские огни казались особенно большими и яркими, свои костры представлялись еще более тусклыми, чем были в действительности.

Близость неприятеля внушала всем безотчетное чувство, которое трудно определить одним каким-нибудь названием.

От веселости и самоуверенности почти у всех не осталось ни следа.

Князь Меншиков провел бессонную ночь, наблюдая в трубу неприятельские огни. Когда глаза его уставали, он ложился на бурку, но не мог заснуть и снова начинал смотреть в трубу, потом рассматривал при свете двух свечей планы и карты и делал отметки карандашом.

Недалеко от ставки князя находилась земляная батарея, сооруженная по указаниям главнокомандующего и одного из главных начальников, Петра Дмитриевича Горчакова, брата того

Горчакова, который командовал Дунайской армией. На эту батарею Меншиков возлагал большие надежды. Правее была еще одна подобная батарея. Орудия смотрели своими дулами в сторону неприятеля. Сзади орудий виднелись коновязи и палатки артиллеристов.

Подле одной из этих палаток находилась группа артиллерийских офицеров, в числе которых был и граф Татищев. Граф сидел на камне и молча смотрел в небольшую подзорную трубу на неприятельский лагерь. Двое молодых офицеров, Корчагин и Глебов, разостлали бурку и, усевшись на ней, пили чай вприкуску, держа блюдечки всеми пальцами, по-купечески.

Корчагин был широкоплечий, широкогрудый офицер, чуть не от няньки попавший в корпус, где он ружья почти из рук не выпускал, делая разные артикулы, но при всем том был весьма плохой стрелок, так как до выпуска в офицеры ему ни разу не приходилось выстрелить. С пушкой он также был знаком более теоретически. Его товарищ и приятель Глебов был одним из образованнейших офицеров всей батареи: он кончил по математическому факультету. Глебов был сын богатого помещика, охотился с отцом с двенадцатилетнего возраста, был отличный стрелок, рос всегда на свободе и по своему развитию выдавался даже среди артиллерийских офицеров.

- Ты слышал, Корчагин, - спросил Глебов, - как сегодня князь Петр Дмитриевич Горчаков хвастал перед главнокомандующим своей землянкой? Чудак! Говорит князю: а какова батарейка-то, ваша светлость! И туда палит, и сюда стреляет. А по-моему, прав Кирьяков, что в этом месте батарея не имеет смысла и что если, чего доброго, нам придется отступать, то не втащить нам ее наверх. Посмотри, с тылу она совсем заперта крутизною.

- Я и сам то же думаю, - сказал Корчагин, до сих пор не подумавший об этом и, наоборот, восхищавшийся батареей, потому что другие ею восхищались. Но перед авторитетом Глебова он преклонялся, а потому батарея показалась ему теперь никуда не годной. - Но скажи, Глебов, голубчик, - прибавил Корчагин почти шепотом, как бы высказывая мучившую его мысль, - неужели ты не уверен в нашей победе?

- В таких вопросах уверенности быть не может, - уклончиво ответил Глебов. - Видишь, - он указал на яркие костры, горевшие в отдалении по ту сторону Алмы, - их, кажется, гораздо больше, чем наших; но, разумеется, нам унывать нечего.

- А вы, граф, как думаете? - спросил Корчагин, обращаясь к Татищеву, которого он также считал весьма умным человеком и перед которым всегда пасовал, как перед человеком высшего общества, которое представлялось ему чем-то таинственным,

заманчивым, но недоступным.

- А что такое, в чем дело? - спросил Татищев, положив трубу.

- Да насчет завтрашнего дня... если только что-нибудь состоится...

- Что я думаю? Да вот, прежде всего, думаю, что мы с вами будем палить и в нас будут палить, так увидим... Может быть, кого-нибудь из нас убьют, одним офицером русской армии станет меньше.

Корчагина передернуло.

- Зачем же непременно убьют? - сказал он, как бы отгоняя от себя эту мысль.

- А вы боитесь смерти? - спросил граф.

- Смерти? Нет, - наивно ответил Корчагин. - Вот другое дело, если оторвет руку или ногу.

- Да, это гораздо хуже смерти, - подтвердил граф. - Что смерть? Переход от бытия к небытию, как сказал бы какой-нибудь ученый немецкий колпак. Лермонтов сказал, что жизнь есть пустая и глупая шутка. Он прав, но он забыл прибавить, что и смерть еще более пустой и глупый фарс...

- Ну, а по-моему, так русский народ более прав, - сказал Корчагин. Недаром народ сочинил пословицу, что русский человек смертью шутить. не любит... Это только кажется, что так легко умереть, а жить всякому хочется. Я не то чтобы боялся смерти, а странно подумать: сегодня жил, говорил, а завтра меня нет... Вот ты ученый, Глебов, объясни, как это мне представить, что меня вдруг не существует? Сегодня я вижу эти звезды, а завтра они будут так же светить, но, может быть, уже не для меня?

Глебов не отвечал на этот вопрос, вероятно не зная, что ответить.

- О, да вы начали философствовать, - сказал граф. - Это похвально. Прежде вы удивлялись моей философии и, помнится, говорили даже, что лучше играть в карты, чем думать о таких пустяках, как бытие и небытие.

- Да, поживешь, пофилософствуешь - и ум вскружится, как сказано у Грибоедова, - ответил Корчагин. - А как, однако, прохладно, господа, не развести ли и нам огонек? Глебов, ты, кажется, еще и ботаник, что это за сухая трава, как будто большой шар, думается, она будет отлично гореть.

- Неужели не знаешь? Да это самая обыкновенная трава, перекати-поле.

- У нас, брат, в корпусе учили и ботанику, и зоологию, а я все еще до сих пор волка от собаки не отличаю, - сознался Корчагин.

- Этому я верю, - сказал Глебов. - Помнишь, как мы с тобой

пошли на охоту и ты стрелял домашних уток вместо диких, да еще как радовался, что они так близко подпустили?

Корчагин немного обиделся при этом напоминании. Он сам любил трунить над собой, но не любил, если это делали другие. Сам он даже унижал себя перед такими людьми, как Глебов и Татищев, говоря о себе, что и глуп, и необразован, и неотесан, но он был бы глубоко оскорблен, если бы заметил, что, например, обожаемый им Глебов считает его неразвитым, и в особенности глупым. Кроме того, Корчагин вообще не любил, если его уличали в какой-либо ошибке или неловкости. Впрочем, сердился он всегда недолго, а на этот раз его мучило столько вопросов, что он не имел силы не высказать их, по крайней мере, Глебову.

Но Глебов, часто весьма словоохотливый и обыкновенно любивший отвечать на наивные вопросы товарища, на этот раз упорно отмалчивался: собственные мысли занимали его.

Песенники Тарутинского полка все еще хриплым голосом вытягивали:

Вызываем вас на бой!

Вызыва... а... а... ем вас на бой...

Наконец князь выслал сказать им, чтобы они перестали и шли спать. Группа самых младших офицеров Тарутинского полка собралась близ палатки полкового адъютанта.

- Это черт знает что за свинство, - говорил один безусый подпрапорщик. - Так далеко не уйдешь! Даже отличиться не дадут. На каком основании сегодня взяли у нас от всякого взвода для рекогносцировки только по полувзводу и офицеров по выбору начальства. Меня, например, обошли, а какого-нибудь оболтуса вроде подпоручика Курнашева отправили... Нет, что ни говори, брат, а наше положение самое незавидное. Мы с тобой не офицеры и не нижние чины. Уж солдат так солдат, а мы хуже юнкеров, ни рыба ни мясо.

- Ну, положим, после первого же дела нас произведут, - отвечал другой подпрапорщик.

- Ты это с чего взял? И ты думаешь, что, раз будет дело, тебе сейчас дадут отличиться? Поставят наш полк куда-нибудь в резерв, и очередь не дойдет до нас даже тогда, когда последний француз покажет нашим войскам свои пятки...

- Что же ты -не вызвался идти теперь с другими за аул на аванпосты?

- Это в цепь-то? Удивительно, как интересно! Татарских собак сторожить!

В другой группе, состоявшей из более солидных людей, слышались иные разговоры.

- А вы, капитан, смотрите не забудьте: ведь за вами еще

остался должок.

- Это какой такой? Не помню...

- Как, неужели не помните? Десять с чем-то рублей за последнюю партию.

- Ну, погодите, вот еще нас с вами убьют завтра, тогда будет не до счетов. Жив останусь - заплачу.

- Убьют... пока еще убьют, а долги все-таки платить не мешает.

- Да отвяжитесь наконец, что, я отказываюсь, что ли? Пристали с ножом к горлу!

- Ну ладно, не сердитесь, я подожду... Нехорошо сердиться перед таким днем... В самом деле, Бог знает, что с нами будет завтра...

- Черт, как воют эти проклятые собаки в ауле! Вы слышите? Ужасно неприятно... Мне несколько раз показалось, что сова кричит, а я не выношу этого крика...

- Да я и сам не люблю... Уж лучше бы вы не напоминали. Теперь и мне чудится что-то такое. В самом деле - сова! Что за гадость!

- Да нет, это собака. У вас не найдется ли чего по части выпивки?

- Есть там что-то такое. Я скажу денщику... Выпить все же лучше будет. Тоска какая-то щемит сердце. Когда я был юнкером, бывало, кутишь всю ночь, а утром изжога во рту, и тошнит, и скверно себя чувствуешь; теперь что-то в этом роде. Иной раз, кажется, на все бы плюнул. Со скуки бы сесть хоть в картишки, да как-то совестно перед делом...

- Да, неловко как-то, - согласился товарищ. - А выпить можно, после этого лучше спится... Да, может быть, завтра еще бой не состоится.

На рассвете восьмого сентября в морском батальоне, расположенном в виноградниках по ту сторону Алмы, вдруг произошла тревога: зоркие глаза моряков увидели движение как будто бы с левого фланга неприятеля, от деревни Тархаплар.

Вскоре, однако, обнаружилось, что это были батальоны Московского полка, вызванного князем Меншиковым из Керчи. Батальонам этим пришлось сделать в течение трех суток около двухсот верст. Правда, часть этого пути солдаты сделали на громадных скрипучих татарских арбах, запряженных парами буйволов, верблюдов и волов. Но и эти повозки отличались тем свойством, что имели больший объем вверх, чем вширь, а поэтому людей приходилось помещать на них стоя, тем более что в каждую повозку пихали по двенадцати солдат с патронными сумами и ружьями. От такой езды ноги и бока разбивались до

изнеможения.

Приближаясь к месту военных действий, четвертый батальон московцев, ехавший впереди всех, устроил еще шестого сентября последний привал. Ночь была тиха и благоуханна. Нигде ни звука, кроме жужжания жуков и трескотни кузнечиков, да вдалеке виднелось в разных местах зарево пожаров: это казаки жгли хлеб и сено, чтобы оно не досталось в руки неприятеля, а кое-где зажигали и оставленные татарами аулы. Утром седьмого числа московцы, еще не оправившиеся от езды на арбах, были рано разбужены командой: "Подниматься! Ружья вольно!" Слово "марш" поставило всех на ноги. Теперь подвод осталось уже мало, и пришлось идти пешком, что было еще хуже езды. Солнце Светило ярко и обещало не дать пощады непривычным к климату людям. Не успели еще двинуться, как подъехал в своей коляске четверней командир полка генерал-майор Куртьянов, необычайно толстый и цветом лица напоминавший разваренного рака. Куртьянов был одним из самых типичных полковых командиров, созданных в России эпохою Аракчеева. По искусству браниться и -кричать громовым голосом немногие могли сравниться с ним. На смотрах он отличался молодецким командованием, и только излишняя тучность мешала ему держаться молодцом на коне, который едва выносил тяжесть всадника. Вообще по мере возможности Куртьянов предпочитал ездить в коляске.

Подъехав к гренадерской роте штабс-капитана Зоркина, Куртьянов вдруг усмотрел нарушение своего приказания. Охотник до всяких бесцельных и только затрудняющих солдата нововведений, Куртьянов приказал заколотить патроны в колодки. Штабс-капитан Зоркий, человек толковый и любивший солдат, потихоньку велел своим гренадерам расколотить колодки, лежавшие в сумах, и вынуть из них, патроны, чтобы после было легко доставать, особенно на ходу. Куртьянов был взбешен и кричал:

- Я вас под суд отдам! Я приказал строить колодки, а вы разбрасываете патроны! Заколотить опять! - Но надо было спешить, и Куртьянов, не зная, где находится неприятель, сам боялся быть отрезанным. Поэтому минуту спустя он отменил свое новое приказание и велел идти так, обещая штабс-капитану, что ему это даром не пройдет.

Не доходя верст четырех до аула Тарханлар, кончается Алминская долина и начинается более возвышенная плоскость. Когда московские батальоны прибыли сюда, им с возвышенности представилась картина расположения неприятельского левого фланга, который составляли англичане. Не далее двух верст от дороги, по которой надо было идти московцам, гарцевали

английские разъезды. Каждая минута была дорога.

Генерал Куртьянов, еще более покрасневший от лучей восходящего солнца, велел какой-то роте образовать цепь. Смущенный ротный командир, подскакав к коляске генерала, объявил, что не успеет.

- Как не успеете? Это еще что такое?

- Ваше превосходительство, у нас ружей заряженных нет!

- Так заряжайте, черт возьми!

- Люди не умеют заряжать на ходу, с колодками у нас никто еще не привык обращаться.

Тут только Куртьянов, несмотря на все свое упрямство, понял, что напрасно кричал на штабс-капитана Зоркина. Волей-неволей пришлось отправить в боковую цепь гренадер, так как только у них были заряжены ружья. Только что образовали цепь, как сквозь нее по направлению к неприятелю проскочил какой-то конный татарин.

- Где ближе пройти к князю Меншикову? - крикнул Зоркий.

- Ступай сюда,- ответил татарин, направляя свою лошадь на стоявший в отдалении неприятельский конный взвод.

Зоркий вскипятился и, пустив марш-маршем своего коня вслед за татарином, влепил ему несколько нагаек.

Между тем генерал-майор Куртьянов, увидя близко неприятеля, велел своему кучеру ехать в Тарханлар рысью. Солдаты встревожились. Несмотря на страшную усталость, они взяли ружья наперевес и, не слушая команды, беглым шагом пустились за своим полковым командиром. Будь англичане более решительны, два-три эскадрона их кавалерии могли бы в это время уничтожить весь Московский полк. Солдаты перестали бежать только тогда, когда адъютант 3-го батальона, заскакавший вперед всех и узнавший от наших аванпостов, где брод через реку, указал солдатам, куда идти. Вспотевшие, запыленные солдаты бросились в воду беспорядочной толпой, стараясь на ходу зачерпнуть воды хоть ладонью. Иные припали к воде и подвинулись вперед, лишь получив изрядное количество толчков от товарищей. Настроение духа вдруг изменилось: московцы увидели своих. Направо от них виднелся Бурлюкский мост, а за ним курился синий дымок. В глубокой низине стояли здесь наши батальоны. Кашевары готовили пищу. Перед мостом виднелась на самом неудобном месте большая свежая насыпь, носившая громкое название "эполемента"{68}. Это и была батарея, воздвигнутая Меншиковым и князем Петром Горчаковым. Далее видны были пни только что срубленных деревьев; они не скрывали ни одного из наших солдат.

К девяти часам утра в неприятельских рядах обнаружилось

явное движение: правый фланг, состоявший из французов, начал спускаться со своей позиции. Французские колонны шли по волнистой местности, то совершенно скрываясь от глаз, то снова показываясь.

Незадолго до этого к Меншикову прискакал офицер Минского полка от подполковника Раковича, занимавшего нашу крайнюю левую позицию почти у самого моря, с известием, что еще с шести часов утра замечено движение французских войск, по-видимому намеревавшихся взобраться на высоты, которые считались неприступными.

Меншиков был крайне раздосадован этим известием.

- Передайте подполковнику, - сказал он приехавшему офицеру, - что пора ему научиться различать фальшивую атаку от настоящей. Пусть успокоится: это сущий вздор.

Тем не менее тотчас по отъезде офицера Меншиков послал своего ординарца Стеценко к генералу Кирьякову, чтобы предупредить его - быть осторожным.

XIV

Еще седьмого числа, когда совсем стемнело, французский главнокомандующий Сент-Арно, чувствовавший себя вполне бодрым и здоровым, прискакал в сопровождении своей свиты к маленькому домику, где была прежде почтовая станция и где теперь лорд Раглан устроил свою главную квартиру. Сент-Арно приехал с целью совещаться с лордом Раглаком насчет плана сражения. Резкую противоположность представляли оба главнокомандующие, сидевшие теперь за столом над большой картой Крыма. Сент-Арно постоянно вскакивал, делал жесты, говорил то по-английски, то по-французски и чертил на листе бумаги расположение войск, с жаром доказывая, что союзники должны, пользуясь своим очевидным численным превосходством, обойти армию Меншикова с обоих флангов. Когда это будет сделано, говорил Сент-Арно, атака центра станет "решительной, непреодолимой, неотразимой". Лорд Раглан сидел все время спокойно, слушал с добродушной улыбкой, не спорил, но в то же время мысленно решил действовать по своему собственному плану.

- Вы знаете, милорд, - говорил Сент-Арно, - наша рекогносцировка убедила нас, что западный утес близ морского берега совсем не занят неприятелем. Мой план поэтому таков. Вот взгляните: эта линия изображает Алму. Дивизия Боске под прикрытием флота, который будет двигаться вдоль берега, пойдет прямо к этому утесу. Вот положение русских: вы видите, их левый фланг удален от моря на две английские мили. Стало быть, мы обойдем их. Вы, милорд, в то же время обойдете их правый фланг

через брод на реке Алме - вы знаете, что вот здесь есть брод. Тогда начинается движение моей первой и третьей дивизий, которые сокрушат неприятельский центр.

- Я позволю себе предложить вопрос, - сказал присутствовавший на совещании полковник Трошю, приставленный Наполеоном III к Сент-Арно с нароч-ной целью: умерять пыл главнокомандующего. - Я хотел бы знать ваше решение, маршал, по вопросу чисто практическому: когда и где наши солдаты могут сложить свой мелкий багаж?

- Подобные вопросы изумляют меня, полковник! - гневно вскричал маршал. - Вопрос о солдатском багаже - это такая пустячная подробность, что говорить о ней, когда речь идет о плане сражения, просто смешно. - Маршал продолжал развивать свой план, лорд Раглан по-прежнему слушал с приятной, ласковой улыбкой, но результатом совещания было лишь то, что Раглан не препятствовал маршалу двинуть дивизию Боске, когда ему вздумается.

На следующее утро, ровно в половине шестого, генерал Боске действительно двинулся вдоль берега со, всей 2-й французской дивизией, имея сзади себя турецкие батальоны.

Между тем английская армия и не думала двигаться. Лорд Раглан заботился о своих уставших людях и, сверх того, боялся оставить свой обоз без прикрытия. Французы стали терять терпение. Сент-Арно отправил к лорду Раглану адъютанта спросить: что означает такое замедление? Лорд Раглан ответил, что часть его войска прибыла поздно и требует отдыха. Сент-Арно был вынужден послать Боске новое приказание: остановиться. К девяти часам французская армия остановилась; солдаты расположились, как на бивуаке, и стали варить в котлах кофе, браня англичан за их медлительность.

Утро было тихое, ясное, жаркое. В наших полках служили молебны. Наскоро пообедали и стали приводить в порядок оружие и амуницию. Солдаты надевали чистое белье. Все это делалось без шума и без обычной солдатской суеты. Особых военных приготовлений у нас не было: казалось, что готовятся встречать праздник, да и день, кстати, был праздничный. Солдаты молились; многие из офицеров становились на колени.

Даже у ставки главнокомандующего, подле которой собиралась блестящая петербургская молодежь, не было слышно ни смеха, ни шуток. Всеми овладело такое же торжественное настроение, какое овладевает даже неверующим, когда он входит в храм и видит громадную, коленопреклоненную, молящуюся толпу народа.

Но когда дивизия Боске вдруг остановилась и стала пить

кофе, у нас обнаружилось недоумение, смешанное не то с досадой, не то с чувством облегчения от какой-то тяжести. Многие, и в том числе сам главнокомандующий, стали думать, что в этот день опять ничего не будет.

Ординарец Стеценко прискакал назад от Кирьякова к главнокомандующему.

- Ну что? Видел он там французов? Ты сказал, что мы видели их движение? - спросил Меншиков.

- Точно так, ваша светлость, но генерал возразил мне: вижу, но не боюсь их.

- Это что значит? - спросил Меншиков, услыша с правой стороны звуки бубнов и пение. Оказалось, что истомленные московцы, торжествуя свой переход через Алму в виду неприятеля, шли теперь мимо других полков с бубнами, песнями и плясуном, оглашая этими звуками эполемент князя Горчакова. Московцы шли к маяку, на левый фланг, так как принадлежали к составу дивизии генерала Кирьякова. Уже по одному этому князь Меншиков ненавидел этот полк. Он приказал песенникам замолчать, а полку стать на свое место. В то же время князь послал своего адъютанта Панаева к Кирьякову с приказанием такого рода: "Ежели до ночи не будет дела, то на горе развести к ночи костры и придать ей вид нового бивуака, дабы отклонить неприятеля от флангового движения, которое при нашей растянутости едва ли можно отразить".

Панаев застал Кирьякова за сытным завтраком.

Услышав новое приказание князя, Кирьяков не на шутку рассердился.

- Вы уже не первый посланный от светлейшего, - сказал он, - и все об этом левом фланге! Что он беспокоится! Слезайте-ка лучше с коня да закусите, а мы французов угостим: как кур перестреляем. Кто на подъем вышел, тот тут и лег. Да не пойдут, бестии! Они только делают отвод. У меня там Рако-вич, командир второго батальона Минского полка он все подкреплений просит. Куда ему? Там и батальону делать нечего. Я сейчас послал светлейшему сказать о том, что мне Ракович доносит. Неприятель, видите ли, притащил к берегу моря какой-то огромный ящик, к самой Алме, положил его против подъема, а сам ушел. Я думаю, в ящике чумные. Они нас поддеть хотят: думают, вот так мы и побежцм рассматривать. Вот возьмите трубу: этот каторжный ящик виден отсюда... Что же, не хотите закусить?

Панаев наотрез отказался и поскакал назад к князю.

Князь Меншиков так убедился в том, что бой не состоится, что послал сказать в штабной обоз, находившийся на горе,

верстах в двух от его ставки, чтобы там ему разбили палатку и варили обед.

Но в это время прискакал Панаев с донесением, что Ракович требует подкреплений, а Кирьяков не дает их, этого было достаточно для того, чтобы Меншиков рассердился и излил свой гнев если не на Кирьякова, то на солдат его дивизии.

Кстати, в это время мимо палатки князя проходили изнемогающие батальоны Московского полка. Меншиков немедленно приказал двум из этих батальонов, как раз наиболее уставшим, первому и второму, стать в первую боевую линию перед фронтом Тарутинского полка, уже несколько дней отдыхавшего на позиции. Став на указанное место, московцы, по старинному обычаю, видя идущих на себя неприятелей, стали переодеваться в чистое белье. Меншиков не ограничился тем, что поставил московцев на самую опасную позицию: он лишил их главной силы, состоявшей на оба батальона из сорока восьми вооруженных дальнобойными ружьями штуцерников, которые были вместе с третьим батальоном отправлены через мост и через Бурлюк-в алма-тамакские виноградники, стало быть, на аванпосты. Четвертый батальон московцев стал справа белой каменной кладки, то есть недостроенного, издалека видимого маяка. К командиру этого батаяьо-на подъехал старший адъютант Кирьякова.

- Что, не видно начальника дивизии? - спросил батальонный командир.

- Он там, у маяка. Приказал подать коня; удержится ли в седле, не знаю... При мне налил такой пунш, что вышел голый ром. Такой крепкий чай с досады пью, говорит.

- А что, должно быть, у нашего Василия Яковлевича опять что-нибудь вышло с светлейшим?

- Да как же! Светлейший все к нему придирается. А Василий Яковлевич, в пику ему, все переговаривает слова старого князя насчет батарейки: туда палит и сюда стреляет. А на поверку выйдет, говорит Кирьяков, что неприятель из этого же эполемента пустит в нас картечью. Я хотел отвлечь внимание Василия Яковлевича от этого вопроса, тронул шпорами своего коня и говорю ему: неприятельские войска снова движутся и главнокомандующий ожидает вас на коне.

Действительно, окончив завтрак, Кирьяков поехал по батальонам кричать "ура". В это время Меншиков наблюдал в трубу не за неприятелем, а за нашим левым флангом. Он чувствовал себя нехорошо после бессонной ночи и пробормотал:

- Некстати нездоровится!

Посмотрев еще немного, Меншиков убедился, что на левом

фланге Кирьяков переставил некоторые части вопреки его приказанию. Князь спросил своего кабардинца, сел на коня и поскакал на левый фланг, проворчав:

- Надо посмотреть, что там наделал Кирьяков.

На пути князь пробормотал приветствие войскам и сказал им: "Надо вам показать себя сегодня истинно русскими молодцами". Солдаты не расслышали, и никакого ответа не последовало.

Во время подъема князя и его свиты на высоты левого фланга было замечено общее движение в неприятельских рядах. Теперь все поняли, что бой состоится сейчас же. В нашей передовой линии солдаты стали в ружье; московцы, не успевшие даже пообедать, стали разбивать колодки и откусывать патроны.

Англо-французы приближались к нашим аванпостам. Французы несколько опередили англичан, но и последние были уже ясно видны невооруженным глазом. Французы шли густыми колоннами, а англичане - длинным развернутым строем, имея впереди себя парную цепь, загнутую по углам. Их красные мундиры и оружие были ярко освещены палящими лучами солнца.

Окружавшие князя офицеры, видя движение англичан, терялись в догадках. Они понять не могли, как можно вести войска в атаку развернутым фронтом. В каждом тогдашнем учебнике предписывалось действовать густыми массами, напором.

- Должно быть, они думают при ударе охватить наши колонны с флангов, сказал сам Меншиков, разделявший общее недоумение, но старавшийся не выказать этого. - Да, - прибавил он, - цель явная. Доказательством служит то, что середина их батальона вдвое глубже краев.

В это время к князю подскакал наконец Кирьяков, слегка покачиваясь на своем прекрасном коне. Князь показал вид, что не замечает Кирьякова, и отвернулся. Кирьяков также повернул коня в сторону и поехал к тарутинцам, которые четырьмя массивными колоннами лежали с левой стороны маяка.

Меншиков приказал одному казаку следовать за собой и лично повел две роты московцев.

- Вот в этом направлении, - сказал он, указывая правее маяка.

Кирьяков слышал это приказание и не утерпел. Он подъехал и сказал:

- После трехдневного форсированного марша эти батальоны в полтора часа не могли отдохнуть. Пусть бы полежали; можно их заменить другим полком.

- Для них это ничего не значит. Извольте поставить их в ружье! - сказал Меншиков.

- По приказанию главнокомандующего - в ружье! - скомандовал Кирьяков.

Но Меншиков этим не удовольствовался. Он лично стал расставлять батальоны. Одному из них, под командою Граля, велел опуститься к речке по лощине и стать колонною к атаке подле резервных белостокских батальонов, другому - стать подле каменной стенки, ограждавшей небольшой фруктовый сад с высокими деревьями.

- Вы должны иметь эту стенку постоянно в глазах, - сказал Меншиков батальонному командиру. - Не дайте неприятелю укрыться за нею, а в случае надобности выбейте его оттуда штыками.

- Слушаю, - ответил батальонный командир, мужчина средних лет, с тонкими аристократическими чертами лица. Это был граф фон Зео. Как-то странно звучало у него это солдатское слово "слушаю", так и казалось, что он заговорит отменным французским языком.

Дивизия Боске шла по-прежнему впереди всех. Англичане уже почти поравнялись с первой и третьей дивизиями французов и находились уже верстах в двух от реки Алмы.

Здесь начинался спуск под гору к реке. Союзная армия в последний раз остановилась. Внизу, из-за садов и виноградников, сверкали струи извилистой Алмы; по ту сторону реки, посреди холмов, покрытых зеленью, виднелись большие серые квадраты и прямоугольники: эти серые фигуры состояли из людей, одетых в шинели, несмотря на палящий зной.

На минуту в союзной армии наступила глубокая тишина. В шестидесятитысячной армии все вдруг умолкли так, что ржание какой-то ставшей на дыбы лошади было слышно на громадном расстоянии. Гул и говор тридцати тысяч русских ясно доносился до слуха союзников. Далеко были слышны слова шотландского генерала Кэмбеля, который нарушил молчание, сказав:

- Кажется, пора освободить людей от половины их патронов.

Лорд Раглан в это время ехал навстречу маршалу Сент-Арно. Оба главнокомандующие поднялись на курган и стали смотреть в трубы. Сент-Арно был вполне уверен, что лорд Раглан одобрил его план сражения. Спрятав свою трубу в футляр, он с живостью спросил лорда:

- Вы, стало быть, обойдете неприятельскую позицию?

Теперь только в первый раз лорд Раглан пояснил свою мысль.

- У неприятеля, - сказал он, - стоит на правом фланге столько кавалерии, что я не решусь обойти его.

Маршал не сказал более ни слова и, закусив губы, поскакал по направлению к своему центру. Дивизия Боске уже начинала

обход русского левого фланга.

XV

Боске провел десять лет в Алжире и был одним из самых способных генералов французской армии. В противоположность князю Меншикову, который, проведя несколько суток на алминской позиции, оставался при убеждении, что западный утес близ устья Алмы неприступен, Боске счел необходимым лично исследовать местность.

Еще на рассвете Боске в сопровождении нескольких офицеров поехал по дороге, ведущей из деревни Алма-Тамак, и увидел, что здесь можно пройти не только солдатам, но и артиллерии. Когда французской армии пришлось остановиться по причине медленности англичан, Боске, чтобы не терять времени, продолжал рекогносцировку, а цепь его зуавов приостановилась только для того, чтобы шире разойтись, и потом, то осторожно подаваясь вперед, то снова останавливаясь, зуавы понемногу приближались к реке, нигде не видя русских.

К этому времени, впрочем, прибыли в алма-тамакские виноградники штуцерные Московского полка с поручиком Култашевым, за ними следом шел весь третий батальон московцев, который расположился цепью, заняв часть алма-тамакских садов.

Солдаты, изнемогшие от жажды, частью разбрелись по виноградникам и, мало думая о неприятеле, стали жадно поглощать спелые ягоды.

Между тем неприятельские колонны остановились. Вместо того чтобы пустить в дело штуцерных, был подан сигнал стрелять цепи, вооруженной гладкоствольными ружьями. Круглые пули, летевшие из этих ружей, не достигали неприятелей; поэтому был подан второй сигнал: перестать стрелять. Сейчас же после этого головы французских колонн разошлись веером и в свою очередь открыли огонь.

Третий батальон было зашевелился и вскоре снова скрылся в садах.

Немного погодя Боске, взяв с собой бригаду Отма-ра, двинулся по Алма-Тамакской дороге, а бригаду Буа отправил вместе с турками морским берегом. Вскоре зуавы из бригады Буа подошли к реке и искали на ней удобные переходы. Ни одного русского солдата не было перед ними. Переправа началась. Вскоре французы, а вслед за ними и турки были уже на левом берегу Алмы.

К половине двенадцатого лишь одна маленькая группа из бригады Буа дожидалась очереди перейти морскую отмель. Некоторые лежали на песке, другие, полуодетые, бродили по

воде. Перебравшись через реку, Буа увидел перед собою узкое ущелье. Пехота шла с удобством, но артиллерию еще не успели переправить. В то же время сам Боске с бригадою Отмара приближался медленно, постоянно останавливаясь, к реке через деревню Алма-Тамак, ведя с собой артиллерию. Некоторые из зуавов - народ нетерпеливый - бросились вперед и, вместо того чтобы идти по дороге, перейдя Алму, взобрались на вершины по тропинкам и прямо по камням. Наконец целый батальон зуавов вскарабкался на "неприступный" западный утес, но и отсюда не было видно русских войск. Бывший невдалеке батальон Минского полка еще скрывался от глаз французов, а находившаяся там же русская полубатарея еще молчала.

Командир минского батальона, однако, давно уже заметил движение французов и просил помощи, которой ему все еще не давали.

Князь Меншиков оканчивал расстановку батальонов Московского полка, как вдруг к нему с разных сторон стали являться офицеры и казаки с известиями о переправе через Алму части неприятельского войска у самого морского берега. Фальшивая атака оказалась настоящей. Сомневаться более было невозможно, и князь, сконфуженный, взбешенный своей собственной недогадливостью, вдруг решил, что все его внимание должно быть обращено на дивизию Боске и что недаром же он до сих пор так заботился о левом фланге. Князь в эту минуту совсем забыл, что до сих пор предметом его забот был не Боске, а Кирьяков.

В сопровождении адъютантов и свиты князь поскакал по направлению к обрывам крутых высот, стоящих у моря.

Как раз в это время движение вновь началось по всей неприятельской линии.

Громадная красная лента, образованная развернутыми английскими дивизиями, уже поравнялась с ожидавшими ее французскими колоннами. Причудливые уборы шотландцев, белые перья на касках всадников, окружавших лорда Раглана - старичка в долгополом синем сюртуке, - все это уже было видно невооруженным глазом в нашей первой линии. Наши аванпосты начали стрелять и понемногу отступали за реку. Только штуцерные по-прежнему сидели в алма-тамакских виноградниках и стали оттуда не без успеха стрелять по французам.

Как раз против того места, где левый фланг французов сближался с правым флангом англичан, по ту сторону Ал мы, была крайняя правая рота третьего батальона Московского полка. Командовал ею поручик Ол ов.

Вдруг войско в красных мундирах значительной массой и

бегом бросилось на него. Олов отодвинул своих людей влево и пустил на англичан беглый огонь, но в то же время в его роту стали стрелять французы.

- Бросайся, ребята, в воду! - крикнул Олов в надежде перебраться на левый берег Алмы прежде, чем враги сблизятся с ним. Но крутые берега задержали как его, так и весь третий батальон, последовавший его примеру. Произошла странная сцена: французы, англичане и русские - все смешались в общую кучу, но враги не трогали друг друга, и все пустились вброд; в этом месте было довольно глубоко и кое-где пришлось подпрыгивать, чтобы не захлебнуться. Наконец наши выбрались раньше неприятелей, вышли из речки и, отряхаясь, ушли за второй батальон, чтобы осмотреть свои патроны. Французы же и англичане вскоре попятились назад, так как их стали беспокоить наши штуцерные.

На левом фланге уже слышалась сильная, перестрелка. Еще раньше грянуло несколько пушечных выстрелов. Ружейный огонь все усиливался. Над Алмою уже поднимались клубы порохового дыма.

Князь Меншиков наконец прискакал на высоты, с которых было ясно видно, как врассыпную переправлялись хвосты французской бригады Буа. С моря было слышно, как гремели цепи пароходов. Подле самого берега, почти скользя по песчаному дну, неприятельские пароходы укрепляли себя на якорях, приготовляясь к пальбе из своих огромных орудий.

XVI

Бой кипел уже почти по всей линии. Движение англичан было несколько замедлено тем, что саперы подпилили мост через Алму, а казаки, удаляясь из аула Бурлюк, зажгли его. Палящий зной и способ постройки татарских домишек, в особенности же высокие заборы, способствовали распространению пламени, и вся деревня вдруг запылала, как будто от какого-нибудь пиротехнического фокуса.

Густой дым мешал противникам разглядеть друг друга.

На крайнем левом фланге подполковник Ракович держался еще несколько времени со своими минцами, но, не видя ниоткуда помощи, стал отступать, чтобы соединиться с остальной частью того же полка, находившеюся чуть не за две версты.

В числе полков, расположившихся у маяка, был Тарутинский, все еще ровно ничего не делавший из-за отсутствия ~ каких бы то ни было приказаний главнокомандующего. Командир этого полка Волков с утра усердно слушал молебен, а во все время дела был без лошади, ходил взад и вперед, суетился, но толку из этого выходило мало. Он даже не догадался послать своих штуцерных

на помощь Култашеву, который один задерживал движение неприятелей по Алма-Тамакской дороге.

Был час пополудни. К тарутинцам из английской цепи стали долетать пули. Солдаты, никогда не бывавшие в огне, оторопели, слыша странные звуки, вроде жужжания камня, брошенного из пращи. Пронзительный визг пуль, напоминающий звук "пэ-энь", все учащался, и наконец отдельные звуки слились в одно общее, непрерывное "пэ-энь", сопровождаемое как бы легким дуновением ветра. Вдруг один из рядовых, Черепов, съежился и с искривившимся лицом упал. Лица солдат вытянулись: это был первый раненый в их полку.

- Черепова, Черепова ранили, - вдруг заговорили солдаты. Составили носилки из ружей и понесли его на перевязочный пункт.

В этот момент наша земляная батарея открыла огонь ядрами по англичанам. Было видно, как англичане припали к земле, за исключением нескольких наездников, вероятно офицеров. Выстрелы нашей батареи были не особенно удачны: снаряды то не долетали, то перелетали узкую ленту, образованную английским строем.

Как раз в это время мимо тарутинцев проскакал на левый фланг Меншиков со своею свитой, а дым горящего Бурлюка скрыл англичан, подходивших к мосту.

Князь Меншиков со своими адъютантами был над обрывом и беспомощно смотрел на переправлявшихся зуавов. Вдруг с моря загрохотал выстрел, другой, третий, вскоре целая туча снарядов стала перелетать через головы главнокомандующего и его свиты.

Меншиков лично не был трусом, да ему и не в первый раз в жизни приходилось слышать музыку ядер: в различных сражениях он получил раны, и теперь дававшие себя чувствовать, когда он сидел в седле. Не страх, а полная растерянность выражалась в его взгляде. Адъютанты храбрились, .хотя в душе почти всем им было жутко, и можно смело сказать, что трусили более всех те, которые наиболее старались показать себя храбрецами.

В числе таковых был Панаев, юноша, до сих пор свято веривший в главнокомандующего и думавший, что он может управлять войском, как шахматный игрок своими пешками. "Если бы не этот Кирьяков, - думал Панаев, светлейший давно бы уничтожил половину неприятельского войска". Эти мысли были прерваны ревом неприятельских морских орудий, и все внимание Панаева обратилось на летевшие снаряды, производившие в воздухе шум, подобный урагану.

"Неужели и в меня попадет один из гудящих снарядов?" Эта мысль овладела Панаевым, и он забыл обо всем остальном.

Князь Меншиков, возвращаясь назад, наконец увидел пушки, переправленные бригадою, которую вел сам Боске. Эти пушки, очевидно, намеревались обстреливать отлогую балку, куда спускался князь со своею свитою. Князь сообразил, что надо пустить в дело нашу кавалерию. Он подозвал к .себе бывшего с ним офицера Генерального штаба Жолобова.

- Приведите два дивизиона гусар, - сказал князь, - направьте их против правого фланга французов и сбейте при мне их батарею с позиции.

Не успел Жолобов отъехать нескольких шагов, как вдруг лошадь его, пронизанная ядром, пущенным с моря, грохнулась вместе с всадником. Жолобов очутился на земле, сидя возле упавшего седла. Панаев, ехавший между казацким урядником и каким-то греком, бросился к Жолобову, забыв о собственной опасности.

- Что с вами? - спросил Панаев. - Ваша лошадь, кажется, убита; возьмите лошадь грека.

Лошадь была действительно убита ядром наповал.

- Кажется, у меня тут что-то вырвало, - сказал Жолобов, указывая на ногу.

Панаев и два других адъютанта соскочили с лошадей и подошли к товарищу. У Жолобова было изорвано платье, белье и рейтузы, но больше ничего не было видно.

Мимо проезжал казак. Его подозвали, он хотел удрать, но, увидя урядника, остановился.

- Стой, ты, такой-сякой! - закричал на казака Панаев, приправляя эти слова отборными юнкерскими выражениями.

- Полно, ваше благородие, - заметил урядник. - Того гляди, срежет - и помрете с скверным словом на языке.

Панаев был пристыжен и, велев казаку подержать лошадей, стал помогать Жолобову. С помощью урядника и грека Панаев потащил Жолобова за бугор, где было безопаснее от снарядов.

- Скажите светлейшему, чтобы берег себя, - говорил Жолобов, не издавая ни одного стона.

Когда его положили и попытались раздеть, то увидели огромную как бы обожженную рану: крови не было. У Панаева мурашки побежали по телу. Вдали ехала какая-то фура, Панаев велел греку остановить ее, но грек, не поняв или не желая исполнить приказания, ускакал в обоз. Панаев поскакал сам и привез фуру, куда уложили Жолобова. Жолобов обернул ногу полой своей шинели солдатского сукна. Урядник повез его в тряской фуре на перевязочный пункт. За гусарами вместо Жолобова послали Грейга. Прискакал-гусарский офицер и отрапортовал Меншикову, что лишь только гусары появились во

фланге французов, как их батареи снялись с передков, почему гусары и отступили.

- Это почему же? - спросил князь. - Повторяйте атаки, не давайте им покоя.

- Слушаю-с! - Офицер ускакал обратно.

Гусары, опасаясь пароходов, и не думали повторять атаки. Они стояли за бугром, французская батарея уже была установлена, и раздался первый выстрел. В это время примчалась и наша батарея (номер четвертый семнадцатой бригады) под начальством Кондратьева.

При третьем пушечном ударе Меншиков быстро обратился к бывшему подле него батальону московцев и скомандовал:

- Второй полубатальон вполоборота налево, первый вполоборота направо! Шагом... марш!

По этой команде выбившиеся из сил московцы бросились к батарее Кондратьева и за спиной стоявших без дела тарутинцев быстро прошли обе низины, далее они наткнулись на роты своего же полка, при которых был и командир полка Куртьянов, еще раз скомандовавший им: вполоборота направо! Но необходимо вернуться несколько назад и проследить движение Московского, полка еще до того, как его повел Меншиков.

Следуя параллельно батарее Кондратьева, московцы приближались к крутизне, оканчивающейся обрывом над рекой. Уже перевал очутился под их ногами; тут ротные командиры повернули фронт к морю. Над головами визжали пули и гудели ядра.

Ротный командир штабс-капитан Селихов шел впереди всех. Вдруг остановился; остановились и солдаты. В целом батальоне не оказалось никого, кто бывал бы в прежних сражениях, никто не знал, куда идти: впереди не было видно ни одного нашего солдата.

Молодой офицер Бейтнер, командовавший одним из взводов, указал на невысокий, но крутой холм, близ которого стояла батарея Кондратьева, бывшая без всякого прикрытия.

- Кажется, нам надо идти туда, - сказал он штабс-капитану.

В это время всем показалось, что с моря усилился ветер; на самом деле участились выстрелы с пароходов.

- Вперед - марш! - скомандовал ротный командир, видя, что его рота может быть укрыта холмом от пароходов.

Солдаты невольно пригнули головы, хотя это и не могло спасти от пуль и ядер, и почти бегом пустились к холму. Подпоручик Перов вместе с Бейтнером отважились взобраться на вершину холма, откуда было видно устье Алмы и слышно, как гремели цепями неприятельские пароходы.

Перед фронтом московцев и левее виднелись французы, которые выстраивались бегом и тащили орудия. Одно из них оборвалось и стало катиться вниз. Произошла остановка, лошади взбесились, но вскоре все пришло в порядок, и орудие втащили люди. Шесть французских орудий уже стояли в ряд, потом появилось еще два.

- Смотри, Бейтнер, - сказал Перов, - у них перед рядами скачут всадники, должно быть, начальство. Баранов! - крикнул он штуцерному (при этом батальоне были штуцерные). - Нельзя ли снять того, что на белом коне?

- Сейчас посмотрю, ваше благородие, - сказал штуцерный, взобравшийся на холм также из любопытства.

Штуцерные составляли привилегированное меньшинство, они стреляли из ружей, бивших на полторы тысячи шагов, и знали себе цену. Даже вид у них был более молодцеватый и независимый, чем у остальных солдат. Баранов считался одним из лучших стрелков в полку. Командир другой роты, бывший у подошвы холма, услышал слова Перова, прокричал тому же стрелку:

- Пожалуйста, Баранов, убей того, что на белом коне; наверное, он у них какой-нибудь начальник большой.

Баранов прицелился, выстрелил, и белый конь бежал уже один, влача на стремени седока.

- Молодец, Баранов, спасибо! - закричали офицеры, а вслед за ними и солдаты.

- Чарка водки за мной! - крикнул ротный командир.

- До белого коня сколько было шагов? - спросил Бейтнер.

- Во весь визир, ровно тысячу четыреста шагов, - отвечал Баранов, нисколько не сомневаясь в точности своих слов.

Весь неприятельский фронт, которому принадлежал убитый всадник, рассыпался в стрелки, не кончив построения. Неприятельские пули жужжали, все еще не задевая никого.

- Смотрите, господа, - сказал штабс-капитан Селихов стоявшим подле него двум молодым офицерам, - вот что-то упало подле меня, кажется, это пуля... Да, посмотрите, какой странной формы. Вот она: настоящий наперсток. Надо спросить наших артиллеристов: что это за диво? Неужели этими штуками думают стрелять в нас?

Один из офицеров, подобрав коническую пулю, так называемую пулю "Минье", вызвался перебежать к артиллеристам Кондратьева и узнать, что за новинка. Артиллерийские офицеры повертели пулю в руках и наконец решили, что, вероятно, это особые маленькие снаряды, наполняемые взрывчатым составом и предназначенные для того, чтобы взрывать патронные ящики.

Двое из офицеров даже стали рассуждать о траектории, описываемой подобным снарядом, и только удар неприятельского ядра, сваливший одну из наших лошадей, прекратил их спор.

Перов и Бейтнер все еще стояли на холме в виду неприятеля.

- Смотри, Бейтнер, - сказал Перов, - ведь наискось от нас стояла неприятельская батарея, пока я засмотрелся на Баранова, она куда-то исчезла, что за пропасть такая! Блестит всего одна пушка, других как не бывало.

- Это значит наводят орудия на нас, - ответил Бейтнер. - Жерлами глядят на нас они, оттого их не видно... Берегись, Перов! Опускайся!

Мелькнули огни, поднялся дымок, и о подошву холма шлепнулось несколько ядер.

- Мимо! - сказал Перов веселым голосом.

- Идем вниз! - крикнул Бейтнер. - Не спеши, а лучше припади к земле!

- Вижу, пустяки!

Бейтнер сам пополз и снова крикнул:

- Да опускайся же, черт возьми!

Вдруг послышался звук, как будто мешок упал на землю. Бейтнер оглянулся: Перов лежал, прильнув грудью к земле; одна его рука была отброшена в сторону. Бейтнер подполз к Перову, тронул его, поднял ему голову - тот был мертв. Розовые его щеки по-прежнему пылали, на губах играла застывшая улыбка. Весь правый бок был забрызган кровью.

Чувство самосохранения заставило Бейтнера поскорее сбежать вниз.

- Ребята, Перов убит, - сказал он.

Вся колонна, лежавшая на траве в шесть шеренг, встала на колени, шепча молитву и крестясь.

Впоследствии Бейтнер уверял, что Перов еще с утра имел предчувствие, что погибнет в бою. На рассвете, после того как неприятельские рожки и трубы мелодично проиграли зорю, а наши ответили им на это на барабанах "генерал-маршем", офицеры четвертого батальона Московского полка собрались потолковать, отчего не идут другие батальоны московцев. Перов все время молчал, но вдруг сказал:

- Вот вы о чем толкуете, а мне даже и думать ни о чем не хочется.

- Что так? Трусите? - спросил его кто-то.

- Таких вещей не говорят, - запальчиво ответил Перов. - И если бы не такой день, я бы знал, что вам ответить.

- Да я только пошутил, - оправдывался товарищ.

- Расскажите, что с вами? - спросил другой офицер.

- Тяжелый сон снился... Признаться, хотя я и не суеверен, меня это расстроило...

- Расскажите, расскажите, - пристали офицеры.

- Снилась мне моя покойная мать. Приходит она будто бы вся в белом, такая молодая, какую я видел только на портрете, и все зовет и манит меня куда-то. Мне было так весело и так хотелось идти за нею.

У многих офицеров, до сих пор скептически улыбавшихся, лица приняли грустное и торжественное выражение. В это время подошел Бейтнер, друг и однокашник Перова.

- Что с вами, господа? - спросил он, видя мрачные лица товарищей.

- Да вот, скуку нагнал, - сказал один офицер, с неудовольствием указывая на Перова. - И себя, и других расстраивает.

Узнав, в чем дело, Бейтнер постарался ободрить приятеля.

- Не сокрушайся, - сказал он, стараясь шутить, хотя это выходило не похоже на шутку. - Если тебя убьют, я останусь жив и сумею расквитаться за тебя с врагами; а убьют меня, ты отомстишь за меня!

- Верю, - сказал Перов. - Но, право, я еще не заслужил доброй памяти: не хочется так рано умереть!

- Давай бросим жребий, - сказал Бейтнер, - посмотрим, кому первому умереть!

- Ах, Бейтнер, что за пустяки! Этим ты меня не убедишь. Я уверен, что первая очередь моя, я наверно знаю, что первая!

- Так споем нашу предсмертную песню, - сказал Бейтнер.

- Спел бы, брат, как певал, да нет, не поется!

- Что за бабство! Не будем, брат, трусить.

- Боже сохрани, я не трушу! А не хотелось бы умереть. Скажи, Бейтнер, ты ведь мой друг?

- Друг, теперь и всегда.

- Ну так я тебе скажу по секрету: у меня невеста осталась дома.

- Э-э, брат, вот оно что! Вот где настоящая причина твоей грусти! Если так, утешься! Нам с тобой и через пятнадцать лет, быть может, недостанет времени жениться, а не то чтобы думать о том теперь, когда подошло время поражать врагов!

Но Перов не утешился и был одною из первых жертв Алминского боя.

Командир Московского полка, известный нам краснолицый толстяк генерал-майор Куртьянов, был в самом свирепом расположении духа. Дело в том, что солдаты при переправе через реку Алму, перетаскивая с великим трудом генеральскую

коляску, сломали ось и выпачкали грязью все сиденье.

Куртьянов никак не мог забыть этого обстоятельства и даже теперь, под жестоким штуцерным огнем, все вспоминал об этом событии и повторял: "Ах вы канальи! Я вас! Пусть только кончится дело, допеку я вас! Со света сгоню!"

Когда Меншиков лично расстанавливал батальон московцев, две роты этого полка вместе с Куртьяновым очутились подле части Минского полка, давно уже призванной Меншиковым из резервов, и ждали дальнейших приказаний. Куртьянов вместо каких-либо распоряжений стал снова оглашать воздух нецензурною бранью, которая звенела в ушах, не заглушаемая даже пальбою неприятельских штуцеров.

В это время к Куртьянову подъехал Меншиков, который ездил теперь взад и вперед в поисках за начальником левого фланга Кирьяковым. Оказалось, что и Куртьянов понятия не имеет о том, где находится начальник дивизии.

Меншиков злорадствовал.

- Генерал, - сказал князь, - я еду к правому флангу. Не вижу Кирьякова, чтобы оставить на него левый фланг. Примите же вы начальство здесь.

Куртьянов в ответ только промычал какой-то нечленораздельный звук.

- Продолжайте наступление, - сказал князь, хотя до сих пор никакого еще наступления со стороны Куртьянова не было. - Выберите момент для дружного удара в штыки. Дело здесь идет так хорошо, что этот момент наступит скоро.

- Слушаю-с, - сказал Куртьянов, а князь поскакал к правому флангу. Но по дороге ему донесли, что посланному им с каким-то поручением флигель-адъютанту Сколкову раздробило руку, и князь поспешил на перевязочный пункт.

XVII

Перевязочный пункт находился на лугу, в местности, достаточно удаленной от Ал мы, но и сюда долетали иногда снаряды и штуцерные пули. Здесь еще с утра находился считавшийся в свите Меншикова доктор Таубе с полковыми докторами, несколькими военными лекарями и фельдшерами, чем и ограничивался весь военный персонал. Позднее, услышав канонаду, приехали и некоторые севастопольские врачи. Гораздо раньше их прибыли сюда две женщины, весьма различные по наружности и по общественному положению.

Одна из них была Елизавета Михайловна Хлапонина. Когда она была еще не Хлапониной, а девицей Борисовой, ее знал весь Севастополь как одну из самых хорошеньких барышень, и на балах в морском клубе она привлекала многих поклонников. По

вечерам, когда на Екатерининской пристани играла музыка, она часто гуляла с молодым артиллерийским офицером Хлапониным, который быстро продвигался вперед и метил уже в батарейные командиры. Несмотря на то что Борисова уже почти официально считалась невестою Хлапонина, за нею продолжали ухаживать многие, никак не желая помириться с мыслью, что она оказывает предпочтение другому.

В числе ухаживавших за нею были даже люди солидные, как, например, генерал Кирьяков, вообще большой поклонник женской красоты. Даже когда, к досаде многих, Борисова обвенчалась с Хлапониным, только что перед этим получившим в командование батарею, генерал Кирьяков не прекратил своих ухаживаний и рисовался перед молоденькой дамочкой своим генеральским чином, армейскими любезностями, репутацией героя и Георгием в петличке. Еще задолго до высадки неприятелей Кирьяков говорил хорошенькой патриотке, что мы Европу шапками закидаем, и, вероятно в доказательство этого, носил шапку и вообще держал себя с ухарством, приличным скорее юнкеру, чем генералу. Но каких чудес не производят женские глазки! Ведь уверяют же, что другая севастопольская дама, менее скромная и более любившая повелевать, чем Хлапонина, до того овладела сердцами нескольких почтенных воинов, что они впрягались в маленькую колясочку и возили ее по саду, как ребенка.

Хлапонина, наоборот, сделала все возможное, чтобы избавиться от приставаний, но иногда скромность возбуждает более, чем самое наглое кокетство.

Как бы то ни было, Кирьяков был влюблен по уши, и многие стали это замечать. Уж на что князь Меншиков и тот поинтересовался узнать, что это за Хлапонина, и просил, чтобы его познакомили с нею. Раз как-то князь случайно узнал, что Хлапонина гуляет с мужем на пристани, и нарочно повернул туда своего коня. Меншиков и двое из его адъютантов сошли с лошадей и спустились со ступеней; князю представили Хлапонину, и он сказал ей несколько старомодных комплиментов.

В другой раз Хлапонина ехала амазонкой на Северную сторону и снова встретилась с князем и его свитой.

Всегда суровый, Меншиков на этот раз принял любезный вид и, поклонившись, спросил, куда она так спешит одна, тогда как до сих пор ее привыкли встречать всегда с мужем.

Хлапонина ответила, что муж ее отлучился на батарею и что она спешит, так как'уже поздно и ей стало немного страшно.

- В таком случае мы будем охранять вас до его возвращения, -

сказал князь и со всем своим эскортом провожал Хлапонину на Северную сторону.

В день Алминского сражения Хлапонина, не видевшая мужа в течение нескольких дней, стала тревожиться о нем и приехала рано утром на бивуак.

В это время уже проиграли зорю, сначала у французов, потом у англичан, затем и у нас.

- Митя, голубчик, - говорила Хлапонина, не стесняясь присутствием офицеров и солдат и ласкаясь к мужу.

- Поезжай домой, дорогая, - говорил Хлапонин. - Не тревожься обо мне... Ведь не всех убивают... А если меня и убьют, ты должна перенести эту потерю с твердостью духа. Обещай мне, что ты... Он шепнул что-то на ухо жене.

- Я не могу примириться с этой мыслью! - вскрикнула Хлапонина. - Какое мне дело до этой глупой войны! Я не хочу, чтобы тебя отняли у меня!

Она стала плакать. У многих офицеров, видевших эту сцену, навернулись слезы. Многие из них в другое время были бы не прочь ухаживать за хорошенькой женой батарейного командира, но теперь едва ли нашелся хоть один, кому в голову лезли бы такие мысли. Не до того было всем.

- Я останусь здесь, с тобою! - говорила Хлапонина, всхлипывая. - Пусть и меня убьют. Я буду помогать тебе. Ты думаешь, я женщина и поэтому ничего не понимаю? Я все ваши военные приемы знаю. Я буду передавать твои приказания.

С трудом удалось Хлапонину убедить жену, что ее присутствие только лишит его хладнокровия, необходимого для начальника во время боя.

Прощание расстроило почти всех присутствовавших. Хлапонина благословила мужа, как мать - сына.

В сопровождении одного из фейерверкеров{69} и с казаком она поехала посреди полков; всюду служились в это время молебны и слышался гимн "Коль славен".

На лужайке, за резервами, Хлапонина увидела собрание полковых докторов и, отпустив фейерверкера и казака, подъехала к ним. У нее мелькнула мысль, которая тотчас же оправдалась.

- Что у вас тут? - спросила она одного знакомого доктора, седого старичка.

- Перевязочный пункт, красавица моя, - ответил старик доктор, носивший ее когда-то на, руках. - Спешите скорее в город. Здесь не место нежным созданиям с слабыми нервами.

- А почему вы думаете, что у меня слабые нервы?

- Да вот вы и сейчас, как видно, плакали, и глазки-то у вас совсем красные... Не горюйте, Бог милостив, побьем этих ярых

туркоманов.

- А что вы скажете, доктор, если я останусь здесь?

- Вы? Я скажу вам, моя барыня, что это женский каприз. Что вам здесь делать? Вот, я понимаю, пришла сюда эта матросская девушка: видите, стоит там в куртке и в шароварах и балагурит с солдатами. Эта может быть нам полезна как рабочая сила. А вы, моя барыня, с вашими нежными пальчиками...

- Перестаньте, доктор, уж хоть вы бы не говорили этого! Я вовсе не хочу прослыть неженкой. Лучше скажите мне, ведь сюда будут приносить раненых. Что, если сюда принесут моего мужа?

Хлапонина сама испугалась своих, слов, но они стали для нее неотразимым доводом, она решилась остаться.

Другая прибывшая сюда особа была та самая девушка в матросской куртке и шароварах, на которую указывал доктор. До последнего времени эта девушка жила на одной из самых трущобных улиц Севастополя и была известна матросам и солдатам под именем Дашки. Но когда наша армия двинулась на Алму, Дашка решилась последовать за своими многочисленными "знакомыми". Она продала весь свой скарб, получив за него что-то рублей пять и в придачу матросскую куртку и штаны. Взяв" с собой кое-какие съестные припасы, графинчик водки, бутыль с водою, несколько узелков и ящик с чистыми тряпками, ножницами и корпией, Дашка на рассвете появилась возле резервов и, не смущаясь довольно циничными шутка-ми солдат, думавших, что она явилась в качестве маркитантки, отправилась на перевязочный пункт и, усевшись под кустиком, стала развязывать свой ящик и узелки. Доктора заметили ее и, узнав, в чем дело, похвалили, прибавив, однако, что она должна во всем слушаться как их, так и фельдшеров.

Когда Меншиков, узнав о несчастье, постигшем флигель-адъютанта Сколкова, прискакал на перевязочный пункт, на лужайке было уже столько раненых, что наличный персонал врачей едва мог с ними управиться. Ежеминутно являлись солдаты, неся на носилках, большей частью составленных прямо из ружей, своих товарищей, иногда изуродованных до неузнаваемости.

Хлапонина, засучив рукава и опоясавшись салфеткой, которая уже вся была в крови, бережно перевязывала рану молодому офицеру. Тот стонал и охал, хотя рана была довольно пустячная: ему просто было приятно сочувствие такой хорошенькой женщины. В другом месте Дашка, уже превратившаяся в Дарью Семеновну, неистово ругаясь с полупьяным фельдшером, вырывала у него из рук бинты и пук корпии. Она возилась подле умирающего, у которого от удара

ядром вывалились внутренности.

- Вас бы всех перевешать, идолов поганых, - говорила она, фельдшеру. Человеку бонбой все нутро вывернуло, а ты его тычешь в бок, как куклу, прости, Господи. Я те, пьяного черта! Погоди, дохтуру скажу.

- Это вы неправильно, Дарья Семеновна. Я даже очинно вас уважаю, говорил фельдшер заплетающимся языком. - А что из того, что я пьян? Я свое дело довольно понимаю.

- Понимаешь! Никакой жалости у вас нет, у идолов. Режет человеку ногу, все равно как курицу зарезал. Да и дохтуры-то ваши... При мне дохтур моему знакомому Ване Черепову всю как есть ногу откромсал, тот кричит благим матом, а дохтур его же давай бранить... Запорю, говорит, если еще пикнешь.

- Так и следует, Дарья Семеновна, потому ежели кто кричит, то бывает от этого прилив кровообращения, - говорил фельдшер, обрадованный тем, что имеет случай выказать свою ученость.

- Князь, где мой муж, вы видали его? - вскрикнула Хлапонина, как только увидала Меншикова.

- И вы здесь, Елизавета Михайловна? - спросил князь вместо ответа, но, видя ее умоляющий взгляд, прибавил: - Жив, здоров и вам кланяется... Где Сколков? - спросил он, обращаясь к одному из подбежавших к нему полковых врачей.

- Ему, ваша светлость, только что начали делать ампутацию.

- Как? Неужели нельзя этого избегнуть? - спросил Меншиков и, сойдя с коня, подошел посмотреть.

Сколков сидел, стараясь выказать полное равнодушие, но иногда его лицо передергивало, и он все посматривал на свою перебитую осколком руку. Когда4 же хирург стал точить свой нож, Сколков заметно побледнел. Меншиков стал подробно расспрашивать о ране и спорил о чем-то с доктором Таубе. Сколков вдруг попросил, чтобы прислали Хлапонину, с которою он был знаком раньше.

- Теперь вы должны, моя барыня, призвать на помощь все ваше присутствие духа, - шепнул ей старик доктор, передавая желание раненого. Хлапонина пересилила невольный страх и, поправив волосы, которые для удобства были повязаны платком, быстро отправилась, куда ее требовали.

- Держите меня за здоровую руку обеими руками, так мне будет легче, сказал ей Сколков.

Хлапонина исполнила этот каприз раненого и взяла тонкую, но сильную руку флигель-адъютанта обеими руками.

- Теперь режьте, - скомандовал Сколков. Хирург проворно надрезал кожу и начал резать мускул выше локтя. Меншиков, подошедший ближе, поморщился и отвернулся немного, но потом

превозмог отвращение и стал смотреть. Когда нож прошел в мускул, Сколков судорожно сжал зубы, глухо застонал и, сам того не замечая, здоровой рукой сжал обе пухлые маленькие руки Хлапониной так, что у нее хрустнули пальцы. Боль, которую почувствовала Хлапонина, привела ее в себя; сначала при виде ампутации у нее стала кружиться голова, холодный пот выступил на лбу, и она боялась упасть. Два фельдшера, державшие Сколкова, едва удерживали судорожные порывы раненого, который рычал от боли, как зверь. Кровь текла ручьем. Наконец показалась кость. Хирург взял пилу, и раздался отвратительный визг от перепиливания кости. Хлапонина чувствовала, что последние силы изменяют ей; раненый бессмысленно и дико вращал глазами, хотя боль при перепиливании кости была гораздо слабее, чем та, которую он испытывал, когда резали мускулы.

Наконец все было кончено, и рука с тонкими аристократическими пальцами, на которых красовались тщательно отточенные и выхоленные ногти, упала и была отложена в сторону, как негодный хлам. Началось бинтование раны. Через полчаса Сколков с одной уже рукой сидел в коляске, в которой собирался ехать в сопровождении фельдшера и казака.

- Благодарю, тысячу раз благодарю, - сказал он Хлапониной на прощание и с грустной улыбкой прибавил: - Теперь уже мне никогда не придется ни танцевать с вами вальс, ни играть а ˆиа1ˆе ташз (в четыре руки); уж разве, если позволите, а 1го1з ташз (в три руки).

"Бедный, бедный! - подумала Хлапонина, и снова страшная мысль мелькнула у нее: - А что, если Мите руку или ногу?.."

Но Хлапонину уже требовали к другому раненому.

За время присутствия Меншикова на перевязочном пункте положение дел у реки Алмы значительно изменилось.

Как только маршал Сент-Арно заметил, что Боске перешел мнимонепроходимые болота и взобрался на мнимонедоступные высоты, он немедленно решил двинуть первую и третью дивизии. Обращаясь к Канроберу и принцу Наполеону, маршал сказал им с обычной французской театральностью: "Людям, подобным вам, нечего отдавать приказания. Достаточно только указать на врага".

Англичане в это время снова остановились вследствие пожара, охватившего аул Бурлюк, и канонады нашей артиллерии, и потому французы быстро опередили их.

У французов тогда считалось священным правилом, что пехота должна идти в атаку не иначе как подкрепляемая артиллерией: это был завет "великого" Наполеона, который был по преимуществу артиллеристом. Канробер и принц Наполеон

поспешили установить пушки на краю виноградников и, видя перед собою на противоположных высотах какие-то русские батальоны, открыли по ним ружейную пальбу и артиллерийскую канонаду. Видимые батальоны принадлежали Брестскому резервному полку, вооруженному старыми кремневыми ружьями, стрелявшими не далее двухсот пятидесяти шагов.

Брестский полк, состоявший, собственно, из двух малочисленных батальонов, помещался на коротких выступах конусообразного холма, на стороне, обращенной к неприятелю. Этот резервный, дурно обученный и дурно вооруженный полк был поставлен как бы нарочной мишенью для неприятеля. Правее, уже перед бурлюкскими садами, против англичан точно так же на самом опасном месте был поставлен другой резервный полк - Белостокский. Между обоими резервными полками, в лощине, стояли батальоны московцев - графа фон Зео и Граля, батальоны, которые едва держались на ногах. Итак, московцы и брестцы - таковы были войска, которым предстояло удерживать две французские дивизии, причем московцы подвергались еще огню артиллерии и коническим пулям, посылаемым дивизией Боске.

Наши малочисленные штуцерные, засевшие в алма-тамакских виноградниках и долго не дававшие покоя французам, были вынуждены уступить: густая цепь французских стрелков бросилась на них с поднятыми прикладами. Резервные брестские батальоны, занимавшие уступы левого берега, были буквально расстреливаемы неприятелем; они пробовали отстреливаться, но пули их не долетали. Не зная ровно ничего о бывших над их головами московцах, брестцы стали отступать на юго-восток.

Тарутинский полк по-прежнему бездействовал. Бездействие повлияло на тарутинцев гораздо хуже самой жаркой перестрелки. Штуцерный огонь произвел на них неприятное впечатление. Необстрелянных солдат удивляло то, что в рядах наших оказывалась убыль даже тогда, когда неприятельских стрелков вовсе не было видно.

Наконец некоторые из батальонных командиров догадались переводить солдат с места на место. Этим они несколько развлекли солдат, но все же многие до того поддались чувству самосохранения, что жались друг к другу, как бараны, призывая на помощь всех святых угодников и угодниц. Когда примчалась батарея Кондратьева, тарутинцы уступили ей часть своей позиции и спустились ниже. Батарея открыла пальбу через головы тарутинцев и брестцев. Командир Кондратьев, тучный седой полковник, распоряжался с полным хладнокровием, хотя неприятельские штуцера донимали его.

- Смотри, ребята, - сказал командир одного из тарутинских

батальонов, Горев, - вот старик заслуженный, семейный, а видите: не дорожит жизнью! А мы что? Что нам терять?

- Рады стараться, - ответили некоторые из солдат.

- Кто из вас струсил, - продолжал Горев, - взгляни на меня! Если я моргну хоть глазом, можете меня не слушаться и уйти.

- Рады стараться! - повторили солдаты уже бойчее, но минуту спустя визг штуцерных пуль усилился, и солдаты стали наклонять головы.

- Ребята! - крикнул Горев. - Не бойся той пули, что жужжит! Эта пуля далеко! Ту, которая тебя убьет, не услышишь.

- Позвольте стрелять, - раздались голоса солдат; но Горев не решился тратить патроны без дозволения полкового командира, а тот совсем растерялся и отдавал самые бессмысленные приказания.

Между тем с моря поднялся целый ураган: ядра и разрывные снаряды снопьями летели через головы московцев и тарутинцев, но попадали большей частью в яму, так как крутой холм укрывал и тех и других. Тем не менее солдаты, частью по приказанию, частью инстинктивно, падали на землю, чтобы лучше укрыться от снарядов.

Вдруг пушечная пальба стала все реже и реже, и пароходы загремели якорными цепями. Дивизия Боске так приблизилась к московцам и минцам, что, продолжая пальбу, неприятельские пароходы рисковали попасть в своих. В отдалении несколько более картечного выстрела показалась цепь французских застрельщиков. Это были зуавы в красных шароварах. Они приближались быстрым гимнастическим шагом.

Командир Московского полка, краснолицый генерал Куртьянов, до сих пор все еще храбрился, повторяя сиплым басом:

- Разве враги наши могли забыть двенадцатый год? - И отвечал на это сам себе: - Нет, забыть они никак не могли.

Но, видя приближение густой цепи французов, он совсем потерял голову и даже перестал оглашать воздух бранью. Видя совершенную беспомощность полкового командира, поручик князь Трубецкой подошел к генералу Куртьянову с просьбой дозволить ему вызвать наших застрельщиков.

- Но как же вы будете стрелять? - спросил Куртьянов.

- Мы пройдем, ваше превосходительство, ползком до такой дистанции, с которой можно будет действовать из наших гладкоствольных ружей.

- Ступайте с Богом, - сказал Куртьянов.

Застрельщики поползли по местности, где были маленькие холмики и ни одного куста. Видя это, французские стрелки остановились и начали на выбор пятнать их пулями. Наши

застрельщики наконец вышли из терпения и на расстоянии более чем в пятистах шагах открыли стрельбу. Круглые пули наших плохих ружей не достигали неприятеля; они скакали по почве, разгоряченной солнцем, поднимали пыль и сбивали сухие былинки.

Это зрелище вызвало между французскими застрельщиками громкий хохот, раздосадовавший наших артиллеристов, и они пустили густой картечью по веселым французам, которые и остановились на приличной дистанции.

Затем дивизия Боске отодвинулась несколько вправо, уступая место подоспевшей к ней дивизии Канробера. Сотни французских стрелков открыли частый огонь, буквально засыпая пулями батарею Кондратьева. Половина прислуги и лошадей была перебита в этой батарее. Полковник Кондратьев посылал офицера за офицером, прося прислать ему хотя бы взвод солдат. Куртьянов отказал наотрез, говоря, что ему свои люди нужны. Видя невозможность держаться, батарея взялась наконец на передки и поспешила ретироваться. Тогда и французы перестали стрелять, и только свежие силы, приближавшиеся из Алма-Тамака, продолжали унизывать наши холмы коническими пулями.

Почти все наши штуцерные - единственные стрелки, достигавшие неприятеля, - были переранены. В одном полубатальоне из двенадцати штуцерных осталось только четыре. Они стали стрелять из всех двенадцати штуцеров. Тогдашние штуцера заряжались весьма мешкотно, и для облегчения уцелевших стрелков другие солдаты стали заряжать ружья, а они только стреляли.

Подобную же борьбу выдерживали с французами минцы, прижавшиеся к маяку. Раненые кучами шли и ползли оттуда на перевязочный пункт, многих из них доколачивали неприятельские пули и снаряды, бросаемые артиллерией генерала Боске.

Наш левый фланг был уже значительна поколеблен. В этот критический момент сзади ходивших с места на место и даже не закоптивших своих ружей тарутинцев марш-маршем пронеслась казачья конная батарея, присланная сюда генералом Кирьяковым. Снявшись с передков, батарея эта открыла учащенный огонь. С первых же выстрелов этой батареи французские пули стали реже долетать к нам.

- Спасибо, братцы! Ай да казаки! - говорили тарутинцы, еще недавно подсмеивавшиеся над "гавриличами"{70}. Командир казачьей батареи командовал громко и балагурил.

XIX

Посмотрев на ампутацию, произведенную флигель-адъютанту

Сколкову, Меншиков, вполне убежденный в том, что на левом фланге все идет превосходно, повторял:

- Так дело пройдет еще час или два, потом дойдет до штыков, а там что Бог даст.

Говоря это, он поехал к резервам и поздоровался, против обыкновения довольно громко, с Волынским полком. Затем Меншиков хотел посмотреть обоз, где ему варился обед, и надеялся выпить хоть стакан вина для подкрепления сил, так как с утра он ничего не ел и не пил, а зной был невыносимый.

По дороге князь встретил мчавшуюся на левый фланг казачью батарею.

- Кто послал? - крикнул Меншиков. Ему ответили, что Кирьяков.

- Где же наконец Кирьяков? - спросил князь, хмуря брови.

- Генерал здесь, вот он идет, - ответил один из офицеров.

Кирьяков шел пешком; подле него шел ординарец, ведя свою лошадь. Саженях в ста валялась лошадь Кирьякова, убитая ядром.

- Генерал, где я вас вижу, - с гневом сказал Меншиков. - Вы так далеко от вашего места! Я искал вас, чтобы поручить вам кончить на левом фланге, вас не оказалось, я оставил там генерала, которого совсем не знаю, он как-то невесело смотрит. Поезжайте, атакуйте, поскорее идите в штыки, а мне надо посмотреть, что делается у князя Горчакова.

- Ах, ваша светлость, - сказал Кирьяков, - я был здесь! Тут такое произошло, что у меня убили лошадь. Вот она.

- Но подле вас другая! Садитесь и скорее поезжайте на свое место!

Кирьяков неохотно повиновался.

Панаев, ехавший подле князя и все время глядевший в глаза своему патрону, сказал:

- Кабардинец изнурен, пересядьте на другую лошадь, ваша светлость.

Князь пересел и поскакал к обозу, который уже пострадал от неприятельского огня. Меншиков выпил стакан воды с вином и велел обозу отъехать подальше. Подошел саперный офицер Дьяченко с донесением, что мост через Алму подпилен и рухнул до половины и что англичане лезут, не видя брода и наполняя воду трупами.

Князь спустился с горы около Севастопольской дороги. Слышалась ожесточенная канонада и ружейная пальба по всей линии.

На левом фланге московцы местами отступали уже в беспорядке, но, разгоряченные боем, они и не думали об усталости. Меншиков никак не мог забыть о Московском полке и

снова прислал. Куртьянову адъютанта с приказанием немедленно ударить в штыки. Кирьякова все еще там не было.

Куртьянов исполнил приказание буквально. Припавшую к земле густую полубатальонную колонну он поднял на ноги и двинул эту массу в штыки против неприятеля, стоявшего вне картечного выстрела.

Стрелки в красных шароварах ответили на это градом пуль, и московцы, потерпев немалую убыль, вновь прилегли к земле. В это время прискакал от Меншикова второй посланный, повторивший то же приказание - идти в штыки.

Минский полк, лежавший рядом с двумя ротами, при которых был Куртьянов, не получил никаких приказаний от главнокомандующего. Куртьянов от себя пригласил командира этого полка полковника Приходкина вместе ударить в штыки.

- Я не вижу перед собой неприятельских колонн, - сказал запальчиво Приходкин, - и мне надобности нет идти в штыки. Эта честь принадлежит одному только Московскому полку.

Тут и Куртьянов сообразил, что не всякое приказание главнокомандующего должно быть исполняемо, и передал посланцу, что в штыки не пойдет. Меншиков, получив этот ответ, был вне себя.

- Я лишу его командования полком! - закричал он, но время было горячее, и князь поскакал к центру, где пальба постоянно усиливалась.

Казачья батарея, сначала склонившая перевес в нашу пользу, была уже сбита французами и, укрывшись за холмом, оправлялась. Все батальоны московцев отступали, и один из них, батальон графа Зео, был смешан каскадами картечи, посыпавшейся из четырех французских пушек. Две роты московцев смело бросились вперед и на время овладели двумя пушками, но должны были бросить их, так как были осыпаны градом пуль. Одного батальонного командира уже несли раненного на ружьях, его заменил сначала штабс-капитан, уговаривавший всех "поскорее уходить", а потом команду принял старший в чине майор, и батальон стал отступать прямо во фланг минцам. Произошла давка.

Майор, пришпорив коня, поскакал, не удерживая своих солдат, и даже сам велел им расчищать себе дорогу. Командир Минского полка Приходкин, взбешенный этим, крикнул своим солдатам: "Выбить этих м-в прикладами!" Майор, услышав такое приказание, поскакал к нему навстречу для объяснений. Майор ехал, пригнувшись в седле, так как его слух неприятно поражался визгом пуль. Не долго думая, командир Минского полка схватил нервного майора за шиворот и давай лупить его плоской своей

полусаблей. Ординарец Приходкина, юный офицерик, увидя эту сцену, пришел в ужас, думая, что его начальник ошибся, так как все были в шинелях солдатского сукна, и закричал:

- Полковник, да ведь это майор!

- А сойдет за горниста! Пошел! Догоняй своих беглецов да приведи их в порядок, бездельник.

Московцы, видя случай с майором, приостановились, и порядок был несколько восстановлен.

XX

Еще задолго до полного расстройства нашего левого фланга завязался упорный бой в центре позиции, против аула Бурлюк.

Казаки зажгли этот аул, руководясь не какими-либо мудреными стратегическими соображениями, а по старинной казацкой привычке жечь все, что может попасть в руки неприятеля. Пожар значительно задержал наступление англичан. Между тем прибытие нашей казачьей батареи и батареи номер пятый вначале очень дурно повлияло на французов. Сент-Арно не вовремя распорядился двинуть дивизию Канробера и потом некстати послал ей на помощь еще одну бригаду из своих резервов. Громадные массы французов столпились, образуя по неудобству местности весьма узкий, но глубокий фронт, и им пришлось постоянно останавливаться. Русская артиллерия производила губительное действие в этих густых колоннах. Французы уже начали роптать, говоря: "Оп поиз уеШ шаззасгег (нас ведут нарочно на убой)".

В течение некоторого времени дивизия Боске находилась в критическом положении. Был момент, когда французский адъютант прискакал к лорду Раглану и объявил ему напрямик, что если англичане ничего не сделают, то бригада Отмара будет скомпрометирована. Лорд Раглан со своей обычной приветливой улыбкой выслушал это донесение. Он чрезвычайно не любил всяких окольных выражений и, между прочим, терпеть не мог слова "скомпрометирован".

- Нельзя ли объяснить точнее, каков будет настоящий результат, если ваша бригада будет, как вы выразились, скомпрометирована?

- ЕПе ЬаНга еп ге!га!ге (она ударит отбой), - сказал с досадою француз. Лорд Раглан рысью подъехал к генерал-квартирмейстеру Эри, который давно уже выходил из себя, негодуя на медлительность главнокомандующего, и сказал ему несколько слов. Дицо генерал-квартирмейстера тотчас просияло. Все окружавшие лорда Раглана, даже не слышавшие его слов, поняли, что наступил момент атаки. Английской дивизии Эванса был отдан приказ перейти Алму.

Пожар Бурлюка все еще продолжался. Чтобы обойти пылающий аул с двух сторон, Эванс отослал два полка направо к броду, отделявшему французов от англичан. Тут-то и произошла уже описанная нами сцена, когда французы, англичане и русские все вместе брели через Алму. Сам Эванс, идя с левой стороны горящего аула, имел против себя пресловутый земляной эполемент, выдвинутый Меншиковым и Горчаковым, и другие батареи, стоявшие у Севастопольского шоссе. Виноградники, заборы и стены татарских домишек представляли плохую защиту от ядер, но англичане шли вперед и постепенно переходили реку. Во время этой переправы одна бригада Пеннефазера потеряла четверть своего состава.

Влево от Эванса шла легкая дивизия Брауна под градом ядер и гранат той же земляной батареи и другой, меньшей, стоявшей (для русских войск) правее предыдущей. Англичане ясно видели на русском правом фланге многочисленную кавалерию, которая стояла в полном бездействии, представляя очень красивое зрелище, так как лошади были подобраны масть в масть. Дивизии Брауна пришлось пробираться через целый ряд садов, заборов и виноградников. Прыгая через заборы и перелезая через каменные стены, солдаты Брауна достигли Алмы в таком месте, где хотя и был брод, но весьма опасный. Генерал Кодрингтон свободно переехал в одном месте, где вода едва смочила брюхо его арабской лошади, а рядом с ним офицер, ехавший на громадного роста скакуне, должен был пустить своего коня вплавь. Из солдат многие попадали в ямы, толкали друг друга, падали и погибали. Многих перебили наши застрельщики.

Само собой разумеется, что англичане переправились в полном беспорядке. Сэр Браун сам понял, что какое бы то ни было построение было невозможно, и сказал одному из офицеров: "Я теперь доверяю только личной храбрости каждого англичанина... Проклятые виноградники!" - прибавил он, пришпоривая своего серого коня. Браун был близорук и подъехал так близко к русским стрелкам, что удивительно, как его не убили, тем более что он резко выдавался в своей каске с перьями.

Правее Брауна командовал своей бригадой Кодрингтон, еще недавно бывший простым путешественником-полковником, не имевшим полка, и, как часто случается у англичан, вдруг превратившийся в бригадного командира. Сын моряка, он и сам на своей маленькой белой арабской лошадке не походил на генерала, и на голове у него красовалась не каска с перьями, а простая дорожная фуражка. Сжав свои тонкие губы, Кодрингтон осматривал местность с любознательностью туриста. Перед ним чернели закоптевшие, на время умолкнувшие жерла больших

пушек русской батареи, правее от себя он увидел неподвижно стоявшую русскую пехоту в длинных мрачных шинелях. Лучи солнца ярко блестели на штыках русских солдат. Крайним правым полком в бригаде Кодрингтона командовал Леси Йо, страстный охотник, с юных лет привыкший преодолевать препятствия в горных местностях. Для него левый берег Алмы показался пустячным холмиком, и он закричал своим солдатам: "Нечего строиться! Вперед, люди! Валяйте кто как попало!" Его стрелки быстро вскарабкались на пригорок и, увидев перед собой довольно ровную местность, стали громко кричать: "Ропуагс!, гопуагё, йэпуагс! (вперед, вперед, вперед)!"

Подобно трусости, храбрость также заразительна: примеру стрелков без всякого приказания начальников последовала целая бригада, увлекая еще два смежных полка. Англичане бежали вперед, причем, не говоря уже о ротах, части разных полков смешались между собою. Но тут у солдат явилась инстинктивная потребность к какому-нибудь порядку, и они сами попытались образовать нечто вроде развернутого фронта. Места не хватало, и построение не удавалось. Это была не армия, а толпа вооруженных отважных охотников в числе пяти полков. Против центра, этой толпы была русская земляная батарея, оба крыла англичан направлялись на густые колонны русской пехоты, прикрывавшие батарею с обоих флангов. Нестройная толпа англичан не была, однако, похожа на густую массу: она была растянута в виде длинной цепи.

Увидя приближение англичан, две массивные серые колонны, состоявшие из солдат Казанского полка, стали медленно спускаться с холма навстречу неприятелю.

Их вел в штыки Петр Дмитриевич Горчаков.

Одна из русских колонн шла с восточной стороны эполемента. Молча и торжественно- спускалась четырехугольная серая масса, ровным шагом направляясь на узкую цепь одетых в ярко-красные мундиры англичан. Английские стрелки дали залп, потом другой, третий. Колонна подалась назад и, попав в углубление между двумя холмами, почти скрылась из глаз. Другая колонна, вышедшая с западной, или, для русских, с левой, стороны эполемента, ответила залпом на залп, но у казанцев стреляли только штуцерные, так как по дальности расстояния гладкоствольные ружья остальных солдат были бесполезны.

XXI

Беспорядочная с виду толпа англичан приближалась на картечный выстрел к нашей главной батарее. Батарея все хранила молчание. Наши артиллеристы были изумлены дерзостью англичан и предоставляли разделываться с ними одним

штуцерным. Но когда красные мундиры, отстреливаясь от наших стрелков, приблизились на расстояние пятисот шагов, одна из наших пушек большого калибра грянула, пустив в англичан ядро, которое влепилось в самую середину английской цепи, где было гуще всего. Несколько человек свалилось. Затем огненная полоса сверкнула перед батареей; грянула вторая пушка, третья, и все пространство перед батареей покрылось беловатым дымом, образовавшим такое густое облако, что жерла орудий более не были видны англичанам. Тучи картечи, град ядер и гранат засыпали англичан.

Но английские стрелки, несмотря на страшную убыль, как бы инстинктивно стремились все к одной и той же цели. Большой редут, как они называли нашу батарею, это место, откуда посылались в них губительные снаряды, манило всех к себе, как огонь свечи манит мотыльков. Четыре полка бежали без оглядки прямо к жерлам наших орудий, стреляя на бегу. Ни один из высших английских офицеров не отдавал приказаний: офицеры бежали вперед, увлекаемые тем же инстинктом, который вел солдат. Командир 95-го полка был опасно ранен, капитана Эддингтона картечь убила наповал, третий офицер был буквально разорван на куски ядром. Молодые английские солдаты, в числе которых были и совсем необстрелянные, слышали кругом себя такой шум, визг и рев от пуль и снарядов, что, куда ни повернись, везде наткнешься на ядро или на картечь.

Кодрингтон сначала скакал почти впереди всех на своей арабской лошадке, но потом и его обогнали некоторые пешие стрелки, так как лошадь заупрямилась. Но вот дым понемногу стал рассеиваться. Десятки, потом сотни англичан бросились к нашим пушкам и увидели, что наши артиллеристы' хлопочут около орудий, но не заряжают их, а спешат повернуть лошадей. Дружный крик раздался среди англичан.

- Клянусь всем, что свято! "Он"{71} взялся на передки! "Он" увозит свои пушки! - крикнул один из англичан.

- Увозит! Увозит! - отвечали сотни голосов.

Молодой английский солдатик, почти мальчик, несший знамя валлийского полка, первый взобрался на парапет и водрузил на эполементе английское знамя. Пуля убила его наповал, он упал, и красное шелковое знамя покрыло его. Один из солдат поднял знамя и снова поставил: через минуту оно было в нескольких местах пробито русскими пулями. Кодрингтон въехал на своей арабской лошади, снял фуражку и помахал ею в воздухе. Наши артиллеристы не успели увезти лишь одной гаубицы. Английские солдаты тотчас стали делать на ней метки, стараясь опередить друг друга и приписать честь взятия этого

трофея себе и своему полку..

Предсказание Кирьякова наполовину сбылось. Гораздо легче было поставить здесь пушки, чем увезти их назад. Одна пушка, которую везли всего три лошади - остальные были перебиты, - едва тащилась вверх. Капитан Велль, приставив дуло пистолета к виску возницы, велел ему слезть с коня. Возница соскочил с коня и убежал, английский капитан схватил под уздцы одну из лошадей. К нему подъехал генерал Браун и сердито сказал: "Капитан, это не ваше дело! Ступайте к вашей роте!" Но капитан и не думал повиноваться. Он повернул лошадей назад, и они сами свезли пушку вниз; англичане тотчас набросились на нее и овладели ею. Тогда только капитан исполнил приказание генерала; между тем командир полка был убит, старший офицер также, и сердитый генерал волей-неволей передал ослушнику командование полком.

Со всех сторон на помощь англичанам прибывали новые полки. Против них за эполементом и по бокам его находились значительные русские силы, еще не вступавшие в дело, исключая казанцев, которые были уже частью расстроены, частью боролись еще с седьмым стрелковым английским полком. Как раз напротив эполемента, укрытый в лощине и потому еще не заметный англичанам, кроме офицеров, ехавших верхом, стоял Владимирский полк.

На нашем эполементе развевалось красное, английское знамя.

Один из русских полков - какой, к сожалению, неизвестно, так как пишут об этом только английские писатели, - видя неприятеля шагах в трехстах от себя, не получив приказания ни от полкового, ни от батальонных командиров, сам собою двинулся вперед, причем многие солдаты с остервенением стреляли на воздух. Но вскоре начальство остановило их и отвело в сторону. Говорят, это был Углицкий полк.

Генерал Квицинский, начальник 16-й дивизии, подъехал в это время к владимирцам и, видя, что неприятель близко, тотчас повел полк в штыки. Несмотря на свое положение в лощине, Владимирский полк не был вполне укрыт от неприятельских выстрелов, и навесно падавшие штуцерные пули уже давно долетали сюда; и здесь форма этих пуль, похожих на наперстки, возбуждала изумление офицеров, которые с любопытством рассматривали их.

Видя английское знамя, офицеры Владимирского полка стали терять терпение, желая поскорее схватиться с неприятелем. Владимирский полк по своему скрытому положению не мог видеть неудачи, постигшей часть Казанского полка, не успел еще

испытать настоящего действия неприятельского огня и был бодр духом. Понятно, какие чувства возбудило в нем появление красного вражеского знамени.

Войска бывшего шестого корпуса были настоящими парадными войсками, отличались выправкой, молодцеватостью и тонким знанием всех тайн тогдашней шагистики. Но, разумеется, не это влияло на героизм того или другого полка. Были моменты, когда и владимирцы находились в тягостном состоянии полного бездействия, состоянии, быстро угнетающем дух солдата. Некоторые части английских войск, двигаясь вперед, уже заметили владимирцев и стали осыпать их пулями, обстреливая преимущественно фланги батальонов, и поражали вследствие этого ротных командиров и других офицеров.

- Черт возьми! Эти канальи, должно быть, знают, какой у нас принят порядок колонн к атаке! - говорили наши офицеры.

Пульс у всех стал биться учащенно; дух захватывало, видя, что, не сделав даже выстрела, мы теряем людей, вырываемых из густых колонн целыми массами. Наконец всюду стали показываться красные мундиры, и вид их привел офицеров и солдат полка в состояние настоящего остервенения.

Очень может быть, что, продолжайся эта бойня еще минут пять, владимирцы последовали бы примеру того полка, который сам бросился вперед. Некоторые ротные и даже взводные начальники, не дожидаясь приказаний, уже скомандовали: "Пли!" - и кое-где слышалась стрельба, не достигавшая, впрочем, никакого результата, так как неприятель не подошел еще на достаточно близкое расстояние. Как и в других полках, удачно действовали только штуцерные, издали поражавшие англичан, которые, лежа на животе и стоя на коленях, стреляли в них в свою очередь с тыла захваченной ими батареи.

Неизвестно, что вышло бы из всего этого, но в это время к Владимирскому полку подъехал начальник 16-й дивизии Квицинский.

- Ваше превосходительство, у меня почти все ротные командиры переранены, - обратился к нему командир полка, полковник Ковалев. - Я не знаю, что делать! Мы не получаем ниоткуда никаких приказаний, я уже думал двинуть мой полк в штыки.

- Так что же вы медлите, полковник? - с раздражением сказал Квицинский. - Неужели вы не видите, что момент для удара в штыки теперь самый удобный.

Он соскочил с коня и, поручив его одному из унтер-офицеров, сам скомандовал: "На руку!" - и повел солдат. Полковник Ковалев ехал на коне.

Густая масса штыков, блестя на солнце, двинулась неспешным, ровным шагом, как на параде, по направлению к батарее, где пестрели красные мундиры.

Стройная стальная масса двигалась вперед. Англичане заметили это движение, и хотя им уже пришлось видеть атаку русских колонн, но при других обстоятельствах. Раньше они имели дело с егерями Казанского полка, которые сразу открыли перестрелку и быстро расстроили свои ряды. Владимирцы шли без единого выстрела, и это молчаливое шествие, эта серая масса шинелей, яркий блеск штыков - все вместе "произвело на англичан сильное впечатление. Они поспешно вскочили на ноги, и многие из них стали уходить, другие, не целясь, стреляли и потом проворно отступали к реке. Некоторые из англичан так растерялись, что кричали товарищам: "Не стреляйте, ради Бога, не стреляйте, это французы!" - и сами улепетывали. Некоторым, более суеверным, показалось, что из лощины выступила толпа чудовищных привидений. Один из английских офицеров велел горнисту дать сигнал к отступлению. Тогда некоторые из владимирцев не выдержали и без всякой команды бросились на эполемент, стреляя в кучу англичан, окружившую красное знамя. Знамя было изорвано пулями, и почти все окружавшие его перебиты. Рядовой первой гренадерской роты Зверковский, рослый солдат, бросился с несколькими товарищами вперед, чтобы схватить знамя, и всадил штык в одного англичанина. Штык сломался, Зверковский бросил свое ружье и, вырвав ружье из рук убитого, стал отбиваться прикладом, но и сам был сбит ударом по голове. Его, полумертвого, потом уже подобрали англичане и взяли в плен. Знамя было унесено англичанами. Неприятель был выбит из эполемента, и владимирцы бросились к нашим пушкам, стараясь повернуть их и втащить на гору, но это было невозможно. Послали просить ерша{72}, чтобы, по крайней мере, заклепать пушки, - ерша им не дали, так как такового поблизости не оказалось; просили лошадей - их также не давали. Между тем англичане, отбежав почти к самой Алме, построились развернутым фронтом и вдруг засыпали владимирцев градом пуль, и в то же время открыла огонь переправившаяся английская батарея. Владимирцы кучками без команды бросались из эполемента в штыки, но гибли массами без толку.

Весь полк уже сосредоточился близ эполемента. Полковой командир Ковалев был замечен издали, так как ехал верхом. Вдруг штуцерная пуля попала ему в грудь, прямо " Георгиевский крест, и он грохнулся на землю. Ехавший сзади адъютант также свалился, так как лошадь его была ранена. Видя на земле командира, адъютант бросился к нему, заткнул рану фуляровым

его платком и, вынесши его на плечах, передал солдатам, которые понесли Ковалева на перевязочный пункт. В это время владимирцев все еще вел Квицинский; как вдруг с другого фланга появился пешком еще один седой генерал в длинной шинели солдатского сукна, которая была во многих местах пробита пулями. Это был князь Петр Дмитриевич Горчаков, тот самый, который восторгался эполементом, теперь едва отбитым у англичан. Князь раньше водил уже в штыки казанцев, но неудачно. Теперь он стал приводить в порядок владимирцев, и, направив их кучки на выдвинувшуюся толпу шотландских гвардейцев, он довел дело до рукопашной схватки. Шотландцы бросились на наши красные жалонерные знаки, считая их чем-то вроде знамен; наши знамена были в чехлах и не так бросались в глаза. Наши в свою очередь старались отнять неприятельское знамя. В рукопашном бою наш трехгранный штык поддержал свою славу. Особенно отличался силач Бастрыкин, уроженец Ярославской губернии. Окруженный со всех сторон, он долго работал штыком, но, обломав его, схватил ружье за ствол и расчищал себе путь посреди рослых шотландских гвардейцев. При одном из взмахов он обдал стоявшего сзади него русского офицера с ног до головы окровавленными неприятельскими мозгами.

Общее внимание обратил на себя также молодой офицер Даманский, за которым следом в атаку бежал его верный ньюфаундлендский пес по кличке Скатов. Офицер был сражен пулей, попавшей прямо в горло. Собака жалобно выла над его трупом и рычала, когда подходили англичане. Наконец подоспел один офицер, приятель Даманского; раненый узнал его и выразительным жестом умолял прикончить его... Приятель отвернулся и отошел, а потом, снова подойдя к тому же месту, увидел Даманского уже мертвым. Он поманил верного пса, который с жалобным визгом последовал за ним.

Шотландцы были отбиты и поспешно отступили.

XXII

Генерал Кирьяков наконец прискакал на левый фланг и принял командование им, причем начал с того, что образовал из минцев и части Московского полка густую колонну. Вид этой массы на первых порах произвел на французов такое впечатление, что они послали к лорду Раглану адъютанта объявить, что на них идет "восьмибатальонная колонна", на что лорд Раглан с хладнокровием истого британца ответил: "Хорошо, я могу дать вам один батальон". На это французы не согласились.

Положение французов в этот момент было не особенно блистательное. Принц Наполеон почти со всей своей дивизией все

еще оставался по ту сторону реки Алмы. Только второй зуавский полк, не спрашивая разрешения или приказа, перешел Алму, оставив племянника Наполеона I в довольно беспомощном положении, и присоединился к первому зуавскому полку из дивизии Канробера. Маршал Сент-Арно, правда, перебрался через реку, но так и остался близ самого берега. Бригада д'Орелля образовала колонну длиною в версту, но имевшую фронт шириною в сажень и двигалась по неудобной дороге, так что удар с фланга мог бы ее уничтожить. Но Кирьяков, даже не подозревавший об этой бригаде, вел свою колонну против дивизии Канробера, которая должна была немного отступить. В это время, однако, подоспевшая артиллерия Канробера, посланная по Алма-Тамакской дороге, соединилась с батареями Боске. Кирьяков не заметил и этого до тех пор, пока жестокий огонь четырех батарей не был направлен на его густую колонну.

Сотнями ползли раненые, удаляясь от того места, где были поражены ядром или осколком гранаты. Удар был так внезапен, что Кирьяков остался при убеждении, будто пальбу эту открыли пароходы. Злополучный Тарутинский полк, о котором почему-то забыли все главные начальники, также был засыпан ядрами и стал отступать. Батальонные командиры, не получая никаких приказаний, были в отчаянии. Один из них, подполковник Горев, занимавший позицию в центре полка, просто соображался с движением фланговых батальонов, которые отступали шаг за шагом, беспрестанно останавливаясь.

- Не понимаю! - с досадой сказал Горев. - Кажется, наша конная артиллерия имеет успех, а мы отступаем!

Не успел он сказать этих слов, как ядро ударило в хвост его батальона и уложило трех человек. Снаряды гудели. Жутко было солдатам, ни разу не пустившим в дело своих ружей и стоявшим без всякого смысла под градом ядер, представляя в самом настоящем смысле этого слова одно лишь пушечное мясо...

На левом фланге дело было уже проиграно.

В самый разгар боя близ отбитого нами у англичан эполемента лорд Раглан ехал с несколькими адъютантами и немногочисленным конвоем, поднимаясь на гору влево от Севастопольского шоссе. Его гнедой конь шел крупной рысью, и всадник, живо помнивший битвы доброго старого времени, мало обращал внимания на жужжание пуль и гул снарядов. Он знал по прежнему опыту, что в любом месте поля битвы можно быть убитым или искалеченным. Видя поблизости от себя русские войска, лорд Раглан повернул несколько вправо и очутился на холме, с которого увидел на расстоянии менее версты главный резерв Меншикова, то есть Волынский полк, а влево от себя, на

весьма близком расстоянии, расположенные по шоссе русские батареи. Гораздо дальше виднелся по ту сторону шоссе эполемент, близ которого кипел жестокий бой.

Лорд Раглан как человек, изучивший войну не на парадах, подобно некоторым нашим генералам, и не в борьбе с полудикими народами и с парижской уличной толпой, подобно Сент-Арно и Канроберу, тотчас оценил важность пункта, на котором находился, и велел немедленно привезти две девятифунтовые пушки. Пушки были привезены так поспешно, что фейерверкеры, бежавшие пешком, не поспели за ними вовремя и первый выстрел был сделан офицером. Он был неудачен, и один из подоспевших солдат закричал: "Подождите, пусть прежде ветер перестанет". Офицер выстрелил вторично прямо в нашу батарею, и так удачно, что взорвал пороховой ящик и убил несколько человек из артиллерийской прислуги. Командир нашей батареи, вероятно сообразив, что многочисленный неприятель ворвался в центр нашей позиции, скомандовал взяться на передки, и батарея поспешно отступила. Англичане повернули пушки и пустили ядро в стоявший в резерве Волынский полк. Ядро просвистело мимо полковника Хрущева и вырвало несколько человек из знаменных рядов. Солдаты инстинктивно наклонились.

- Не кланяться и стоять смирно! - сказал громко и спокойным голосом Хрущев, но счел необходимым отвести своих людей несколько назад.

Снова повернув свои две пушки, англичане пустили ядро по Владимирскому полку, который одолевал шотландских стрелков в рукопашном бою близ эполемента. Эти пушечные выстрелы помешали владимирцам преследовать шотландцев.

Две пушки лорда Раглана сделали свое дело. Но участь боя была решена, конечно, не ими.

XXIII

Два батальона владимирцев, при которых остался Квицинский, оставались у эполемента, но два других вместе с князем Горчаковым, прогнав шотландцев, выдвинулись вперед. На помощь смятым шотландским стрелкам уже приближался полк гвардейских гренадер, заслонивший собою бежавших шотландцев; влево от него приближался другой английский гвардейский полк, а еще левее шли тремя эшелонами три полка шотландской гвардии. Последние резко выделялись своими костюмами из клетчатой материи и странными головными уборами.

Густая масса владимирцев шла вторично с князем Горчаковым в штыки прямо на гвардейский гренадерский полк,

который стоял в виде длинной шеренги, имея в глубину фронта всего по два человека. Владимирцы шли дружно, как русская артель; англичане действовали искусно, но каждый сам за себя. За первыми двумя батальонами владимирцев двинулись и два другие с Квицинским. Часть английских гренадер вдруг сделала поворот, образуя с остальной линией тупой угол. Какой-то офицер, вероятно адъютант, подъехал к полковнику Перси, крикнул:

- Отступайте!

- Отступайте! - повторил Перси. - Что за чертовщину они под этим подразумевают? Вероятно, хотят сказать, чтобы мы немного попятились.

Английские солдаты быстро попятились и повернулись фронтом к нашей колонне.

Затем оба английские гвардейские полка, отделенные между собою порядочным промежутком, не принимая удара в штыки, дали убийственный залп по владимирцам.

Владимирцы не отступали и молча шли в штыки. Несколько неудачных атак привели их в состояние исступления. Владимирцы стали стрелять, но их пули частью не долетали, частью не могли принести вреда, потому что узкий фронт принуждал стоявших сзади стрелять в воздух наудачу.

Английские гренадеры, сделав новый ловкий поворот, очутились во фланге нашей колонны и осыпали ее новым, еще более убийственным градом пуль.

Князь Горчаков ехал теперь на лошади. В это время на холм, где все еще находился лорд Раглан, окруженный своим штабом, прибыла целая батарея.

Одна из первых гранат, брошенных этой батареей, лопнула под лошадью Горчакова, и лошадь была опрокинута, придавив всадника. Один из офицеров с помощью солдат едва освободил князя от тяжести упавшего коня. Горчаков отделался ушибами и отошел к Углицкому полку.

Шотландские гвардейцы - саженные молодцы с голыми икрами и в фантастических костюмах - также открыли огонь. Несколько раз рвались владимирцы вперед, но перебежать расстояние, отделявшее их от неприятеля, не было никакой возможности: бежавшие сзади натыкались на груды убитых и раненых товарищей.

Начальника дивизии Квицинского уже несли, раненного в бок и в ногу. Подозвав к себе одного из поручиков - высших офицеров поблизости не было, или они были убиты, - Квицинскийв передал ему командование. Подоспел полковой адъютант Горбунов, который был без каски: ему сбили ее с головы ударом приклада.

Квицинский приказал передать, чтобы войска, стоявшие во второй линии, немедленно наступали и поддержали владимирцев; не успел он окончить этих слов, как новая пуля попала ему в ту же раненую ногу. Его унесли.

Остатки Владимирского полка, не раненные, а изуродованные пулями, отступали уже в беспорядке. Едва они взобрались на высоты, оставив покрытый трупами эполемент, куда ворвались неприятельские гвардейцы, как владимирцам невольно пришлось показать неприятелю тыл, и тотчас же их осыпали новым градом пуль. Бросая на пути раненых, сбрасывая ранцы, все время без толку душившие их, бросая амуницию и даже оружие, оставшиеся в живых владимирцы спешили кто куда мог: но это не было бегство полка, так как полка более не существовало; пять шестых его осталось на месте убитыми или ранеными; немногие, и в том числе два бригадных генерала, Щелканов и Логинов, бывшие с полком, также раненные, попали в плен.

Лорд Раглан, спустившись с холма и переехав через шоссе, очутился на позиции, уже занятой английскими войсками.

XXIV

Когда Меншиков, оставив перевязочный пункт, спустился с горы по Севастопольскому шоссе и повернул к нашему правому флангу, первое, что встретилось ему, была вышедшая из боя оправлявшаяся батарея. Несколько далее князь увидел морской батальон, который хотя и стоял за холмом, но не мог укрыться от навесно летевших штуцерных пуль. По подгорью валялись убитые, ползали раненые. Видно было, как егеря-казанцы, только что отброшенные сильным огнем, ретировались поодиночке, хотя князь Горчаков насильно гнал их снова, в штыки. На месте, где раньше была ставка князя, теперь одолевали штуцерные пули. Князь подъехал к четырем легким орудиям, которые готовились сняться с передков, и спросил: "Кто велел?" Офицер пробормотал что-то в ответ, скомандовал: "С передков!" - и тотчас же начал пальбу батальным огнем.

Правее была видна еще группа владимирцев, которая, стреляя, подавалась вперед и потом отступала под градом штуцерных пуль. Ехавший с Меншиковым исправлявший должность начальника штаба Вунш был контужен в живот. Меншиков увидел стрелков Бородинского полка, которые, повернувшись лицом к левому флангу, вели с кем-то оживленную перестрелку.

Князь обратился к Панаеву:

- Поезжай, братец, к морскому батальону и спроси, нет ли там у них подзорной трубы. Свою я оставил... Кажется,

Бородинский полк стреляет по своим! Понять не могу, как могли туда попасть англичане или французы!

Панаев подскакал к морякам, соскочил с лошади и добыл трубу.

Князь посмотрел в трубу, но густой дым не позволял разобрать, в чем дело, В это время прискакал с левого фланга один офицер с известием, что неприятель нас оттесняет, потом другой, сообщивший, наоборот, что мы держимся хорошо.

Меншиков отправил своего ординарца Стеценко к командиру Бородинского полка Шалюте-Веревкину.

Стеценко подъехал к полку и, не ища полковника, крикнул солдатам:

- Не в своих ли, ребята, стреляете?

- Какое в своих, ваше благородие, посмотрите, как строчат!

Стеценко стал присматриваться и, несмотря на густой дым, увидел неприятеля, который осыпал наш полк пулями.

Меншиков не удовольствовался донесением Стеценко и прискакал сам.

- Полковой командир, ваши стрелки стреляют по своим, - сказал князь.

- Ваша светлость, мои штуцерные стреляют в неприятельскую конницу, переправившуюся через Алму.

Конница, о которой говорил полковник, была свита лорда Раглана, но наши пули едва достигали туда.

- Неужели наш левый фланг отступает? - спросил князь.

Никто, понятно, не дал ответа.

Проехав несколько далее, Меншиков встретил Горчакова, пешком, в изорванной шинели,

- Что с вами, князь? - спросил он. Горчаков только махнул рукой.

- Я сам водил в штыки, шинель моя в шести местах прострелена, вот посмотрите. Лошадь убита гранатой. Что будете делать? Не идут люди в штыки! Казанцев я уже пробовал гнать угрозами, но люди не идут, не помогают ни угрозы, ни плеть, ни фухтеля! Плеть избил, полу саблю сломал, двух лошадей потерял, всю шинель мне пулями изрешетили - напрасно! Казанцы разбрелись и при отступлении - более двух третей - поражены в спины!

Должно быть, падение с лошади отшибло у князя Горчакова память. О владимирцах он даже не вспомнил и апатично сел на предложенную ему кем-то лошадь.

XXV

Вскоре и для князя Меншикова стало ясно, что на левом фланге мы совершенно разбиты, оттуда полетели гранаты и ядра,

падавшие близ Бородинского полка.

Меншиков не знал, на кого свалить вину поражения, и с досадой крикнул командиру Бородинского полка Шалюте-Веревкину, который вел свой полк в гору по удобной балке густой колонной:

- Что вы ведете людей в этом ящике? Этак они открыты для неприятельского огня. Займите высоты!

Не успел он сказать это, как ядро влепилось в хвост колонны, свалив двух солдат.

Меншиков отъехал уже в сторону и, поравнявшись с Горчаковым, сказал:

- Надо вывести владимирцев; другие сами о себе позаботились и улепетывают.

Полковник Шалюта-Веревкин не мог угнаться за князем и, догнав Панаева, бывшего подле князя, когда тот сделал выговор полковнику, спросил:

- Что значит "занять высоты"?

Панаев и сам не мог понять приказания главнокомандующего, но его благоговение перед Меншиковым нимало не уменьшилось, а скорее увеличилось во время дела.

"Какие олухи эти армейские фронтовики", - подумал Панаев и сказал с самодовольством аристократа, гордящегося своим развитием:

- В данном, случае занять высоту - значит двигаться по краям балки.

- Не понимаю, как я теперь перестроюсь! - в, отчаянии закричал совсем растерявшийся полковник.

"И это старый фронтовик!" - подумал Панаев и с снисходительной улыбкой сказал:

- Да очень просто: четные батальоны направо, нечетные налево!

- Ах, черт возьми, ведь в самом деле ларчик просто открывался! - сказал обрадованный полковник, - хлопнув себя ладонью по лбу.

Меншиков в последний раз поехал к левому флангу. Навстречу ему попались те же злополучные московцы, а именно четвертый батальон их полка, быстро отступавший под огнем французских батарей и штуцеров.

- Четвертый батальон трусит! - несколько раз повторил главнокомандующий.

Увидев генерала Кирьякова, Меншиков с гневом вскрикнул:

- Генерал Кирьяков, семнадцатая дивизия бежит от неприятеля, что это значит?

- Оружие наше таково, что уравновесить бой могут только

штуцера, а их-то у нас нет, - ответил Кирьяков.

Прошло несколько минут. Другие батальоны также отступали. Меншиков, еще более возвышая голос, сказал:

- Генерал Кирьяков, повторяю вам, семнадцатая дивизия бежит от неприятеля.

Кирьяков наконец потерял терпение.

- Ваша светлость говорите неправду! - сказал он. - Семнадцатая дивизия отступает, но не бежит. - Кирьяков дал шпоры коню, подскакал ко второму батальону и скомандовал: - Второй батальон, стой! Налево кругом!

Солдаты исполнили этот фарс без замешательства под градом пуль и ядер французов, вообразивших, что те идут в атаку, и участивших стрельбу.

- Спасибо, братцы! - сказал Кирьяков.

- Рады стараться, ваше превосходительство! Два ядра просвистали над головами солдат.

- Слушай, на караул!! - скомандовал Кирьяков. Солдаты сделали "на караул" наступающим французам. Французы прокричали "браво!" и, весьма довольные отданной им честью, остановились, не показав даже намерения преследовать московцев.

- Вы поняли, с какой радости генерал скомандовал на караул? - спросил поручик Бейтнер другого офицера.

Тот только пожал плечами и проворчал:

- Нечего сказать, велика честь французам. Жаль, что нас с дубинами не послали против штуцеров... Попробовали бы с нами сцепиться в штыки!

Меншиков, мрачный как туча, давно отъехал прочь.

Князь и его свита поднялись на гору. Близ шоссе, на площадке у подъемов от правого фланга, они увидели толпу егерей в затруднительном положении. Егеря метались из стороны в сторону, избегая снарядов, которые валились сюда кучами. Это был Углицкий полк, тот самый, который без команды чуть не напал на англичан. Теперь, наоборот, нравственное состояние солдат этого полка, вследствие нераспорядительности высших начальников почти не бывшего в деле, стало самым скверным.

Когда князь подъехал, несколько гранат с высот левого фланга, занятых французами, шлепнулось в самую середину батальона. Большая часть солдат присела. Меншиков нахмурился и писклявым от гнева голосом крикнул:

- Где ваши начальники?

Никто не отозвался. Некоторые офицеры даже прилегли.

- На свои места! - крикнул Меншиков. Никто ни с места.

- Стройся!

Не понимают.

Панаев, желая выказать усердие, любовь к светлейшему и вместе свое благородное негодование, взял нескольких казаков и погнал людей нагайками к знаменам, а нескольких офицеров без церемонии толкнул.

В это же время князь послал по всей линии отступающих войск приказание идти к Севастополю, но это приказание было в действительности передано лишь двум-трем полкам, остальные сами инстинктивно устремились к реке Каче, которая течет между Алмой и Севастополем. Углицкий полк тронулся в порядке, с музыкой, с распущенными знаменами. Так прошли с полверсты, как вдруг вдали, на месте, где в начале боя стоял наш главный резерв, увидели развернутый фронт войск, очевидно неприятельских. Казак Илья Сякин, Попова полка, вызвался подскакать. Спустя несколько минут он прибежал пешком, держа в руке седло своей лошади и красные штаны, которые успел стащить с зуава. "Французы убили лошадь", - проговорил он впопыхах.

По Севастопольской дороге поднялась английская кавалерия, но ограничилась наблюдением, французы же снова стали провожать наши войска ядрами и гранатами.

XXVI

Меншиков ехал рядом с Панаевым. Он долго молчал, наконец мрачно проговорил:

- Первое дал сражение и проиграл... Обидно! - Помолчав минуту, князь спросил: - Панаев, известна ли тебе дорога на Мекензиеву гору? Что там за лес?

Панаев знал местность не лучше Меншикова, но ответил, что знает дорогу, а сам решился расспросить у кого-нибудь.

Музыка Углицкого полка продолжала играть. Так проехали еще с полверсты и достигли лощины, где увидели бригаду наших гусар. Командир Лейхтенберг-ского полка генерал Халецкий, пользовавшийся расположением князя, во время боя стоял на своей позиции и понятия не имел о том, что произошло. Завидя князя, он закричал: "Сабли вон!" Бригада дернула "ура". Халецкий с азартом подскакал к Меншикову, отрапортовал и поздравил с победой.

- Это похоже на насмешку! - сказал князь.

Испуганный Халецкий даже голову пригнул и поспешил стушеваться. Князь подозвал бригадного командира генерал-майора Величко.

- Войска отступают в беспорядке, - сказал он, - прикройте отступление. Подайтесь к стороне неприятеля так, чтобы он только вас видел. Я весь отряд переведу на Качу, а вы останьтесь.

Казаков присоедините к себе, делайте разъезды, не выпускайте неприятеля из виду. Доносите, что он будет делать.

Некоторые полки отступали в беспорядке, но бегства нигде не было. Барабаны неприятеля, пробившие отбой, были приняты за сигнал к преследованию, и солдаты ускоряли шаги, но не бежали. До сражения многие думали, что на ранцах внесут французов в Севастополь, а теперь и ранцы почти все побросали. Не зная местности, солдаты долго блуждали по оврагам и узким долинам, пробираясь иногда сквозь сады и виноградники, чтобы соединиться с товарищами.

Проехав еще несколько верст, теперь уже без музыки, Меншиков увидел два полка пехоты и при них Кирьякова. Кирьяков молодцевато подскакал к князю.

- Ваша светлость, эти полки остались свежими и могут прикрывать отступление.

- Если так, соединитесь с гусарами, возьмите в распоряжение казачьи полки. Я пришлю еще батальон, если надо. В случае движения неприятеля держитесь до крайности. Вам известно, в каком беспорядке остальные войска. Между Алмой и Качей должен быть надежный отряд.

Кирьяков, очевидно раздосадованный этим приказанием, неохотно повиновался и тронулся в сторону неприятеля.

Вскоре после этого князь Менщиков, оставивший большую часть войска на попечение Кирьякова, увидел двух всадников, в которых узнал Корнилова и Тотлебена.

Объяснять было нечего. Стоило взглянуть на князя, чтобы убедиться, что сражение проиграно.

Корнилов с Тотлебеном выехали из Севастополя во втором часу. С утра в Севастополе никто не подозревал, что именно в этот день произойдет сражение: утром прискакал, правда, на своей тройке князь Ухтомский с пленным французским офицером и, сильно преувеличивая все в нашу пользу, рассказал о вчерашней сшибке' с англичанами. Но во втором часу к Корнилову пришли с Северной стороны сказать, что слышна пальба, и он, проглотив несколько ложек супу, поскакал с Тотлебеном в лагерь. Около четырех часов, приближаясь к Алме, они заметили, что пальба редеет, а полчаса спустя увидели отступление наших войск. На первых порах Корнилов успел узнать от окружающих князя лишь немногие известия, например, что Сколков потерял руку, что несколько офицеров ранены и что будто командир Московского полка Куртьянов убит, хотя на самом деле он был только ранен, да и то не опасно, в левую руку. Эти сведения не давали даже приблизительного представления о том, что на поле сражения и в тряских фурах у нас было более

пяти тысяч шестисот убитых"и раненых, что у французов выбыло из строя более тысячи, а у англичан более двух тысяч человек{73}, всего же в течение каких-нибудь трех-четырех часов было убито, искалечено и переранено до девяти тысяч человек.

Вечерело. В сумерки Меншиков со своим штабом достиг высот правого берега реки Качи. Никаких наших войск здесь не было видно. Поехали к спуску и в ближайшей долине услышали перестрелку. Встревоженный Меншиков послал Панаева с двумя казаками узнать, в чем дело. Оказалось, что в долине находятся солдаты разных пехотных полков и стреляют зайцев, горланят, бродят босиком в реке и мародерничают по хуторам, покинутым хозяевами. Панаева возмутило это зрелище, хотя возмущаться было нечем, так как солдаты с утра не ели и были рады хоть зайцам да случайно оставленным овцам и курам.

Меншикову было не до того, чтобы слушать Панаева. Он равнодушно отнесся к его благородному негодованию и ехал молча. Далее они догнали группу солдат, в числе которых были легкораненые; эти последние громко голосили и сами над собою причитали, призывая и мать, и отца, и всех святых. Корнилов подъехал к этой толпе и пристыдил голосивших, указал им на матроса из морского стрелкового батальона, который шел молча, равнодушно поглядывая на свою ампутированную выше локтя руку.

Спустившись к Качб, Меншиков поехал правым берегом вверх по реке.

Наступила ночь - темная, облачная. Далее поехали на подъем по большой чумацкой дороге. На перевале между Качей и Бельбеком князь простился с Корниловым и Тотлебеном и на прощание довольно долго говорил с каждым порознь. Корнилов что-то доказывал с жаром, князь морщился и оспаривал, но Корнилов, по-видимому, настоял на своем. Прощаясь с князем, Корнилов приказал лейтенанту Стеценко отыскать морские батальоны, с тем чтобы велеть им немедленно следовать к пристаням Северной стороны и садиться на гребные суда своих кораблей, которые будут их ждать.

- А там будь что будет, - прибавил Корнилов.

Было часов девять вечера, когда Стеценко отправился с этим поручением. Князь Меншиков во время разговора Корнилова со Стеценко подозвал одного - из своих адъютантов - Грейга.

- Поезжай с адмиралом в Севастополь, - сказал князь, - возьми подорожную и скачи в Петербург.

- Что прикажете сказать его величеству? - спросил Грейг.

- Скажи все, что видел и слышал... Писать же, ты видишь сам, и средств никаких нет, и это отняло бы слишком много времени.

Отпустив Грейга с Корниловым, князь поручил Тотлебену подробно исследовать местность, а сам в ожидании обоза сошел с лошади и опустился на землю в полулежачем положении. Адъютанты велели казакам собрать сухой травы перекати-поле и зажгли костер. Князь, держа в руке припасенный им огарок, рассматривал карту, но огарок догорел, и от света костра болели глаза. Послали казака искать обоз. Князь с пяти часов утра ничего не ел и сказал об этом. Панаев был как на иголках и вслух выражал изумление ангельскому терпению и выносливости князя! Наконец прибыли экипажи и повозки главнокомандующего. С повозок сняли восемь раненых солдат. Наскоро соорудили палатку, достали свечи, и князь снова стал изучать карту. Камердинер и вместе с тем фельдшер князя Разуваев согрел на спирту воду на стакан чаю.

- Хорошо, ваша светлость, что я на всякий случай приберег бутылочку водицы, а то все, что в запасных бочонках, пришлось раздать по дороге раненым. Да еще и с собой восьмерых привезли.

- Как же, братец, ты не скажешь? Иди перевяжи их и отправь в Севастополь в наших экипажах.

- Да для них и повозки хороши, ваша светлость... Сейчас отправлю, а они уже у меня перевязаны.

Остальная прислуга князя была мертвецки пьяна неизвестно почему: в ожидании ли нашей победы или с горя по нашем поражении? Князь остался в палатке один.

Панаев послал казака за водою, велел разместить лошадей по коновязям, а сам присел у палатки князя, чтобы быть у него под рукой. Уныло смотрел он вдаль, стараясь разглядеть что-нибудь во мраке, покрывавшем степь.

- Это ты, Аркадий Александрович? - спросил князь, выглядывая из палатки. .

- Я, .ваша светлость.

- Как ты думаешь, хорошо ли я сделаю, если поставлю войска фронтом к морю, чтобы быть во фланге у неприятеля? Второго сражения я дать не могу. Войска в ужасном перепуге и беспорядке.

Князь сказал это своим обычным равнодушным полусаркастическим тоном, но Панаев, несмотря на виденную им сцену с зайцами, вовсе не свидетельствовавшую о перепуге наших войск, испытал такое ощущение, как будто попал сразу из теплого Крыма в суровую северную местность.

- Солдат смутили неприятельские штуцера, - сказал он, стараясь казаться спокойным. - Надо ударить стремительно... Может быть, еще управимся.

- Я думаю, - сказал князь, - что завтра неприятель сам не в силах будет тронуться.

Князь ушел в палатку и снова стал со свечою рассматривать карту. Тень его резко выделялась на парусинных стенах палатки.

Адъютанты сидели у костра, изредка перебрасыва-яс$> двумя-тремя словами.

К костру постоянно сворачивали раненые, тащившиеся куда глаза глядят, и Христом Богом просили воды.

XXVII

Исполняя приказание Корнилова, лейтенант Сте-ценко отправился пешком назад с Бельбека на Качу отыскивать морские батальоны. Задача была нелегкая: войска запрудили дорогу. Идти навстречу этому живому потоку было трудно, да и люди разбрелись, так что разные полки перемешались. Пробираясь, а иногда проталкиваясь сквозь толпы солдат, Стеценко слышал кругом себя говор, крики, стоны раненых, скрипение фур, фырканье лошадей - одним словом, хаос был невообразимый, но нигде не замечалось особого уныния и упадка духа. Многие солдаты спешили, но с единственной целью, чтобы не отстать от своих; одни от усталости лежали, иные развели костры и грелись, некоторые лазили через заборы и каменные стены, отыскивая фрукты и виноград, чтобы утолить жажду, так как манерки почти всеми были побросаны в начале отступления.

Было уже совсем темно, лишь кое-где виднелись звезды на облачном небе, и при свете костров толпы солдат казались еще более многочисленными и беспорядочными.

Отступление прикрывали не столько гусары и даже не полки, которые повел Кирьяков, сколько Волынский полк, которым командовал Хрущев, взявший с собою, сверх того, две батареи. Когда все отступавшие части выдвинулись по направлению к Каче, тогда и полковник Хрущев с своим отрядом стал медленно отступать, готовый ежеминутно встретить неприятеля, если бы он вздумал преследовать наши войска.

Небольшая кучка владимирцев двигалась все вперед да вперед, без дороги, наудачу, по следам валявшихся по дороге трупов, обломков оружия, брошенных ранцев и амуниции.

- Смотри, брат Егоров, - говорил один солдат, - кажись, лошадь эта нашего Наума Лександрыча?

- Какого Наума Лександрыча?

- Поручика Горбунова, адъютанта - не знаешь, что ли!

- А как быдто и вправду его. Эй! Стой! Сокол! Тпру! Говорят тебе?! Лови его, Сидоров.

Рябой солдат с простреленною во многих местах шинелью и слегка контуженной, перевязанной грязной тряпкой головою, без

каски, бросился ловить лошадь, что ему наконец и удалось.

- Я ж тебе говорил, что это Сокол Наума Лександрыча.

- Ты как думаешь, Сидоров, убил Наума Лександрыча француз?

- Обнаковенно дело, - флегматически ответил Сидоров. - Ничего с ним, каторжным, не поделаешь. Охвицеров всех переранили, ну как тут было держаться! Нешто без охвицеров пойдешь на хранцуза? У них, брат, видел, кажинный солдат - штуцерный, вот и иди на него, каторжного, в штыки! Как раз дойдешь!

- Да, тепереча одних пушек у них страсть! Как стал жарить, да все больше с бонбов, ну и держись тут как знаешь.

- А как же, брат, говорили, быдто мы на турка пойдем в штыки?

- На турка! - презрительно сплюнув, сказал солдат. - Турок это што! Они, брат, турка и в бой не пущают. Турок у них, брат, затем приставлен, чтобы хвосты лошадям чесать; сказал - турка!

- Вот те Христос, своими глазами видел у них башибузуков.

- Да что даром пустое врать. Иди скорее, отстанем!

- Эй, ребята, вы какого полка? - раздался голос в темноте. По произношению легко можно было узнать, что говорит офицер.

- Мы - Владимирского, четвертого батальона, - отозвались солдаты. - Да, никак, это ваше благородие? Вот слава те Господи! А мы вашу лошадь ведем, уж думали, упаси Господи, что ваше благородие там остались.

- Нет, слава Богу, уцелел, - сказал Горбунов, обрадованный, что нашел свою лошадь. - Даже не ранен, - прибавил он.

- Слава те Господи, - отозвался один солдатик.

- - Что вы несете, ребята?

- Знамена, ваше благородие.

Горбунов невольно, по привычке, отдал честь знамени.

- Уцелели знамена?

- Как не уцелеть, ваше благородие, - с гордостью сказал знаменщик, старый кавказский солдат. - "Он" было подошел к знамени, да не тут-то было: наши приняли его в штыки, "он" и убрался подобру-поздорову. Как это можно, чтобы знамена не были целы? Вот тут древко маленько расщепало гранатой.

- А где же другие знаменщики?

- Там остались, ваше благородие, - сказал старик со вздохом.

- Эй, братцы, вы не моего ли батальона? Так и есть. Много вас уцелело? - спросил хриплый бас. Это был батальонный командир Мелентьев, ехавший вслед за Горбуновым. - Кто это у вас тут так охает?

- Иванов, ваше высокоблагородие, у него руку пулями

изрешетило, рука как есть почернела.

- Отрежут, - равнодушно сказал Мелентьев. - Что это у вас? Знамена? Как же они попали к вам? Ведь я их лично отбил у неприятеля и поручил фельдфебелю Гаврилову и унтеру Семенову.

- Не могу знать, ваше высокоблагородие, - сказал знаменщик. - А мое знамя у француза, слава те Господи, не было.

- Да что ты врешь, когда я тебе говорю, что было? Этакий дурак. Не знает, что мы с англичанами дрались, а не с французами. Говорю тебе, я собственными руками вырвал наше знамя у неприятеля.

- Не могу знать, ваше высокоблагородие... А как быдто знамя я из рук не выпущал.

- Как ты смеешь, скотина, спорить! Пшел вперед! Ступай! Чего еле ногами передвигаешь! Поручик Горбунов, ведите их, мне надо спешить отыскать начальника дивизии.

С этими словами батальонный ускакал. Он был известный хвастун, солдаты же не любили его за двуличие и несправедливость.

- Послушай, неужели правда, что батальонный отбил знамена у англичан? спросил Горбунов знаменщика. - Говори правду. Ты знаешь, мне нечего врать, я не твой командир.

- Ей-Богу, ваше благородие, неправда. Чего бы я стал врать? Я, ваше благородие, двадцать лет тяну лямку, срамить себя не стану... Брали у нас жалонерные значки, а знамя ни одно у француза в руках не было. Да разве я бы позволил? - с гордостью добавил знаменщик.

Подъехала новая фура с ранеными. Проезжали мимо костра, и красное пламя осветило груды человеческих существ с оторванными и раздробленными конечностями, с перебитыми черепами, с вытекшими глазами. Горбунов не мог вынести этого зрелища и отвернулся.

- Ишь ведь врет, пучеглазый черт, - бормотал знаменщик, который никак не мог забыть выдумки батальонного командира, приписавшего себе честь спасения знамени. - Чтоб я да отдал знамена хранцузу!

- Не расходиться, канальи! - слышался в другой местности зычный голос майора Попялковского, который, за ранами батальонного, командовал одним из батальонов Московского полка. Во время битвы Попялковский порядком трусил, но теперь, когда московцы были вне неприятельских выстрелов, его голос вновь приобретал свой обычный тембр и силу. - Говорю вам, не расходиться! Шагом марш!

Но солдаты, следуя примеру младших офицеров, потихоньку

забирались в сад, обнесенный изгородью, из-за которой виднелись виноградные лозы, обремененные тяжелыми темными гроздьями почти зрелых ягод.

- За мною, Баранов, - говорил поручик Бейтнер одному из штуцерных, - ты мастер стрелять, ты с Федоровым засядешь в кустах и, если увидишь неприятеля, стреляй в него, а я нарву винограду на всех троих.

- Ваше благородие, нам бы хоть по одной виноградинке! - просили другие солдаты, вынужденные повиноваться майору.

- Господин поручик, вы с ума сошли? - кричал вдогонку майор. - Вы мне людей бунтуете! Я вас посажу под арест!

Но Бейтнер притворился, что не слышит. Покрытые копотью стрелки также проскользнули в сад и засели в кустах. Бейтнер нарвал столько винограду, сколько мог захватить; его так мучила жажда, что он рвал не только руками, но и прямо хватал зубами. Возвратившись, он угостил и сердитого майора, и тот, смягчившись, позволил взять еще стрелков и нарвать побольше.

- Сторонись! Антиллерия! - раздался крик. Проехали с грохотом орудия.

- Пропали, брат, наши повозки, - говорил Бейтнеру молодой поручик. Везде искал, часа два блуждал, - вероятно, забрал их неприятель. Черт знает что такое! Половина моих вещей пропадет"

Освежившись виноградом, кучка московцев двинулась дальше. Наконец перешли Качу, а еще позднее остановился знаменщик на привале.

Здесь уже собралась огромная толпа солдат; были и кое-какие начальники. Слышались возгласы батальонных и ротных командиров и крики фельдфебелей.

- Первый батальон, сюда-а-а-а! Чего лезешь, тебя, что ли, зовут, скотина? Ты какого полка?.. Первый батальон Московского полка сюда-а-а! неистово кричал фельдфебель, протягивая елико возможно последний слог.

Люди подходили, но часто не того полка, который вызывался, и крики возобновлялись, еще более неистовые и протяжные.

Наконец эти возгласы стали все более редкими, люди перестали толпиться и улеглись на траве, стараясь большею частью укрыться в высоких кустах. Все смолкло среди мрака, кое-где озаренного мерцающими кострами. Для начальствующих лиц наскоро разбили палатки, и многие из них, успев по прибытии повозок перекусить кое-что, уже сладко спали.

Князь Меншиков все еще не спал в своей палатке. Он по-прежнему глубокомысленно рассматривал карту, а Панаев сидел у палатки, завернувшись в бурку. Вдруг послышался конский топот. Всадник соскочил с коня, и Панаев узнал по голосу Кирьякова.

- Где светлейший? - спросил Кирьяков и, не дожидаясь ответа, просунул голову в палатку.

- Ваша светлость, - сказал он самодовольно, - я благополучно довел людей до Качи. Теперь там все переправляется.

- Помилуйте, ваше превосходительство, что же вы делаете! Вы только дошли до самого серьезного момента вашего поручения и вообразили, что вами все исполнено! Вы покинули отряд ваш в

самую неблагоприятную минуту! Поспешите возвратиться к вашему месту и будьте осмотрительны! Поезжайте скорее!

- Хорошо, я поеду, - с досадой сказал Кирьяков и, сев на коня, поскакал прямо в Севастополь, спеша попасть туда раньше других и рассказать о сражении в таком смысле, чтобы выставить себя настоящим героем дня.

Тучи все более заволакивали небо, и темень была непроглядная.

Солдаты, шедшие вброд через Качу, натыкались на какие-то подводные сваи и неистово бранились. В кустах, где лежали группы солдат, слышался говор. Один из генералов, только что уснувший сладким сном, проснулся от разговоров солдат, которым на голодный желудок вовсе не спалось.

Генерал вышел из палатки и заспанным голосом спросил:

- Кто там шумит? Спать не дают! Вы другим спать мешаете.

- Спать никто не хочет, - раздались десятки голосов.

- Разве мало устали? - спросил генерал.

- Никак нет, ваше превосходительство. Мы еще не обедали, да и закусить нечем. Нам лучше до места идти.

Где это место, представлявшееся солдатам чем-то вроде страны обетованной, этого они и сами не знали.

Впрочем, ждать долго не пришлось. Меншиков разослал офицеров и казаков с приказанием не останавливаться, а идти к Каче. Вышла путаница, так как многие уже перешли Качу и вообразили, что им велел идти назад.

Это приказание очень дурно подействовало на солдат. Многие решили, что река, которую они перешли, была вовсе не Кача, а какая-то другая. Некоторые стали говорить, что их ведут навстречу неприятелю. Впрочем, возбуждение вскоре улеглось, когда после продолжительного спотыкания о коренья и цепляния за кусты солдаты наконец выбрались на дорогу и узнали, что велено идти теперь к Бельбеку.

Близ реки Бельбек мелькнули огни, и при свете их можно было видеть буйволов, верблюдов и волов, везших два громадных корабельных орудия и повозки со снарядами. Эти бомбические орудия{74} сначала были брошены на произвол судьбы, и лейтенанту едва удалось собрать людей, которые помогли снять их с места.

Обозы были спасены только тем, что Хрущов со своим Волынским полком продержался на высотах между Ал мой и Качей до глубокой ночи. Некоторых из своих людей он едва собрал, так как они в числе прочих разбрелись по хуторам и, найдя вино, перепились. Крики погонщиков были приняты неприятелем за возгласы нашей армии: союзники думали, что

наши войска расположились в садах, что было справедливо лишь относительно наших мародеров, а главная масса армии спешила частью на Инкерманские высоты, частью - в Севастополь на Северную сторону.

В Севастополе давно уже шли приготовления.

Около Северной пристани находились шлюпки, приготовленные для перевозки раненых к пристаням Южной бухты. У Южной бухты стояли люди с носилками. Дорога от бухты на гору, в госпиталь и в казармы, нарочно приготовленные для раненых, была освещена.

Всю ночь по этой дороге тянулись мрачные тени. Солдаты и матросы несли на носилках раненых, то молчаливых, то глухо стонавших, то издававших пронзительные вопли. Казалось, конца не предвидится этому печальному шествию.

Весть о нашем поражении быстро облетела весь город.

XXVIII

В тот самый день, когда на берегах Алмы происходила великая драма и решалась судьба десятков тысяч людей, в отдаленном домике отставного капитана Спицына, над Килен-балкою, разыгрывалась маленькая, никому не заметная драма, происходившая в душе Лели Спицыной.

С того самого дня, когда войска наши собирались выступить на алминскую позицию, Леля чувствовала, что в ней происходит серьезный внутренний перелом, но еще не отдавала себе полного отчета о своем душевном состоянии. Смутно сознавала она, что готовящиеся грозные события близко касаются самого сокровенного уголка ее души, что ее тревожит не война вообще, не отвлеченное представление о крови, о ранах, о страданиях, но мысль об одном, и только об одном человеке, который вместе с другими отправился в поход против неприятеля, откуда, быть может, ему суждено совсем не вернуться или вернуться раненым, страдающим, искалеченным, как тот несчастный матрос, которого Леля видела после боя парохода "Владимир" с турецким пароходом...

Сначала Леле стыдно было самой, себя. Она всегда избегала этого "петербургского фата", как его называл капитан, этого неудавшегося Евгения Онегина, как она сама прозвала графа Татищева. Иногда ей был положительно противен его аристократизм. Она не любила его даже за то, что он чересчур богат, Лелю оскорбляли его великосветские комплименты, которые казались ей пошлостями. "Он совсем некрасив, хотя много думает о своей физиономии", говорила себе Леля, вспоминая его смугловатое лицо, его блестящие ровные зубы, тщательно отточенные ногти и маленькие аристократические

руки. Впрочем, и вспоминать не было надобности, так как Леля несколько раз в день разглядывала миниатюрный акварельный портрет, подаренный ей графом Татищевым перед днем выступления в поход. Граф пришел проститься с нею и на прощание просил не поминать его лихом, если его убьют. Леля, слушая эти слова, старалась принять самый равнодушный вид, но портрет почти выхватила из его рук, а когда граф скрылся за садовой калиткой, она покрыла стекло портрета поцелуями.

- Нет, я не люблю его, я не могу любить петербургского аристократика, миллионера, графа... Да если бы и любила, я никогда бы не вышла за него замуж! Я не хочу, чтобы думали, что я вышла замуж из-за денег или для того, чтобы сделаться графиней. И кроме того, разве он способен серьезно полюбить?

Так рассуждала Леля, сидя в своей любимой беседке и для виду читая книгу; мысли ее были далеки от чтения.

Глухой звук отдаленного пушечного выстрела сначала не обратил на себя ее внимания: к пушечной стрельбе жители Севастополя давно уже привыкли. Но звук повторился, потом послышалось еще несколько подобных звуков, они становились все чаще и явственнее. Не было более сомнения, что где-то происходит сильная и весьма учащенная канонада. Леля встрепенулась, как птичка, когда ее спугнут ружейным выстрелом. Она выбежала из беседки и побежала к отцу.

Капитан сидел в кабинете в весьма вольном костюме и при входе дочери только слегка запахнул свой халат. Он пристально рассматривал большую карту окрестностей Севастополя.

- Слышишь, папа, кажется, стреляют?

- Не стреляют, а палят из пушек, - поправил капитан. - Сейчас видно, Леля, что на тебя дурно повлияло твое якшанье с разными армейскими офицериками. Это только в армии из пушек "стреляют", а у нас во флоте, слава Богу, еще таких глупостей не говорят. Ты, пожалуй, забудешь говорить по-русски. Стреляют из пушек! Ха, ха, ха! Это все равно, как если бы я сказал, что катер спускают с грот-марса.

Леля не слушала всей этой тирады, она нервно дергала конец своей косынки.

- Где это происходит пальба, как ты думаешь, папа?

- Неужели не можешь разобрать? Понятно, где-нибудь близ Лукулла или на Алме. Судя по звуку, это, кажется, корабельные орудия...

- Значит, пальба с неприятельского флота, папа?

- Уж, конечно, не с нашего. Что за вопрос? Вероятно, англо-французы радуются своему благополучному десанту. Ну да недолго им. радоваться! Удивляюсь, отчего Корнилов или кто

другой не пошлет к ним ночью брандеров. Можно бы хорошо проучить этих нахалов и отбить у них охоту защищать поклонников Магомета.

Но Леля не дослушала и этих слов и убежала в сад.

Неотвязная мысль о графе стала теперь еще более мучительною.

"Я поеду туда, на Алму", - мелькнула мысль у Лели.

Леля жила до сих пор так уединенно, была так непрактична, так мало знала жизнь и людей, что вещь, в сущности не трудная к исполнению, показалась ей совершенно несбыточною. Благодаря отшельнической жизни капитана Леля даже почти не была знакома с окрестностями Севастополя и если каталась далеко, то по морю, поездка же за каких-нибудь двадцать - двадцать пять верст на Алму казалась ей целым подвигом. Как поехать, как отыскать графа? - обо всем этом она не имела ни малейшего представления и, кроме того, хотя ей было стыдно в этом сознаться, просто побаивалась отца. Ведь папа так не любит графа, и что он скажет, если узнает, что дочь убежала отыскивать графа на поле сражения? И пустят ли ее к нему? Да он что подумает о ней? Леля решилась оставить эту мысль, но мучения ее удвоились. Каждый новый пушечный выстрел отзывался болью в ее сердце.

О своем родственнике Лихачеве она даже ни разу не вспомнила, хотя и не знала, ушел ли он в поход, и только слышала, что какие-то морские батальоны были вызваны Меншиковым. Мысли ее так были заняты одним человеком, что для других, даже близких, не находилось места.

Пальба усиливалась, потом стали доноситься и ружейные залпы. Леля чувствовала потребность уйти, бежать куда-нибудь. Ей казалось, что везде она будет ближе к нему, чем здесь, над этой проклятой Килен-балкой. Она быстро собралась, надела шляпу, мантилью и, сказав отцу, что едет в город за покупками, велела Ивану заложить бричку и покатила по новой саперной дороге, мимо Малахова кургана и морского госпиталя. У госпиталя суетились матросы и служители, приготовляя носилки. У Лели сжалось сердце, когда она увидела это зрелище. Велев Ивану ехать домой и приехать за нею часам к четырем, Леля села в двойку (небольшая лодка), и дюжий матрос перевез ее на тот берег через бухту. В бухте Леля не увидела ничего особенного: привычный глаз ее заметил, однако, что три парохода, стоявшие накануне у Константиновской батареи, вошли в бухту.

"Для чего б это?" - подумала она.

Приехав в город, Леля сначала решила заехать к Минденам, но передумала и поспешила на площадку библиотеки. Здесь она

увидела знакомого флотского офицера - благодаря Лихачеву Леля завела много новых знакомств, - который сообщил ей, что телеграф с Лукулла дал сигнал: "На Алме происходит сражение".

Сердце забилось у Лели учащенно, и ей казалось, что она слышит его биение.

По привычке Леля смотрела вдаль, на море, которое на этом расстоянии казалось темно-лазурного цвета. Но на море ничего не было видно, кроме кораблей. Отдаленная пальба не умолкала, хотя иногда становилась глуше и как бы перемещалась с места на место, подобно раскатам далекого грома.

XXIX

Генеральша Минден все еще была в глубоком трауре и при всяком удобном случае вспоминала о "дорогом покойнике", но на самом деле давно уже утешилась и думала лишь о том, как бы получше пристроить младших дочерей. Особенно торопиться не следовало, так как "негласная", а в сущности гласная, пенсия, назначенная генеральше, вполне обеспечивала ее и дочерей. Но все же не мешало подумать об их судьбе.

Многие уже выехали из Севастополя, но генеральша была не трусливого десятка и, надеясь, что по случаю военного времени в Севастополь соберется много военных, в том числе и блестящих петербургских гвардейцев, медлила отъездом. Одно ее беспокоило - это слухи о том, что вскоре во всех частных квартирах будет размещено множество военных. Хорошо, если попадется интересный офицер, а то вдруг навяжут ей какого-нибудь бурбона, не выпускающего изо рта трубки с Жуковым табаком и пьющего водку графинами. Луиза Карловна была аккуратна до щепетильности и боялась, что в ее доме все перевернут вверх дном, перепортят ей мебель, прожгут папиросами ковры и, чего Боже сохрани, сделают что-нибудь дурное ее любимой собачке Бибишке.

Одна из дочерей ее, Лиза, порядочная трусиха, уговаривала мать поскорее уехать. Саша, наоборот, желала остаться и по целым дням сидела за щипанием корпии: она уже нащипала два больших ящичка.

- Удивляюсь, душка, твоему терпению, - говорила ей Лиза, - я бы не была в состоянии.

- А ведь ты можешь часами играть гаммы и повторять один и тот же пассаж! .Вот у меня на это не хватило бы терпения.

- Что это так давно не был у нас господин Лихачев? - спросила Лиза. Неужели уже не пускают на берег? Признаюсь, Саша, что мне уже скучно за ним. А тебе как? Ты, кажется, об нем совсем забыла.

Саша покраснела.

- Я тебя просила, не злоупотребляй моим доверием к тебе. Я тебе вручила свою тайну не затем, чтобы ты надо мною смеялась.

- Саша, душечка, не сердись, разве я смеюсь над тобою? Я, напротив, тебе вполне сочувствую. Сознайся, ведь ты грустишь по нем?

- Не грущу, а так, иногда мне кажется, что он совсем мальчик... Он так молод сердцем, я столько уже пережила со дня смерти папа.

- Тише, maman идет.

Вошла Луиза Карловна.

- Лиза, Саша, из вас никто не слышал выстрелов? Дарья божится, что где-то стреляют.

- Дарья всегда пугает всех, - сказала Лиза, уже немного струсившая при этом известии. - Может быть, где-нибудь и стреляют... Нет, в самом деле, maman, слышите, где-то стреляют! И как часто... Саша, идем в сад, там слышнее... Боже, как страшно.

- Господи, как тебе не стыдно быть такой трусихой, - сказала храбрая генеральша которая всегда говорила по-русски, но не могла обойтись без некоторых немецких выражений. - Ведь ты с детства лет (генеральша всегда говорила с детства лет, а не просто с детства) привыкла слышать стрельбу. Так просто хочется немного пожеманиться?..

- Неужели вы не боитесь, татап?

- Я ничего в мире не боюсь... Лучше поговорим о деле. Я намерена сегодня ехать к адмиральше Станюкович, к мадам Кумани, к мадемуазель Анджелике и другим дамам здешнего бомонда. Надо затеять что-нибудь в пользу несчастных раненых.

- Каких раненых, мама?! - испуганно спросила Лиза.

- Какая ты глупая! Ведь все говорят, что на днях будет сражение, конечно, будут и раненые. Когда вы бегали с Сашей за покупками, здесь был Григорий Бутаков{75} и успел передать мне, что морские казармы уже превращены в настоящий госпиталь в ожидании раненых.

- Боже, неужели одного госпиталя не хватит? - спросила Лиза. - Какой ужас! Саша, вот и твоя корпия пойдет в дело! Дай, и я буду щипать, может быть, принесу хоть какую-нибудь пользу, хотя это страшно скучная работа! А вот перевязывать раны, этого, maman, я бы никогда не решилась. Я не могу видеть самого пустого ожога или нарыва...

- Какие нежности, как мы воспитаны! - сказала Луиза Карловна. Стыдись, Лиза! Вот я вчера нарочно ходила в госпиталь смотреть на операцию...

- Ах, maman, не рассказывайте... У меня сейчас начинают ноги болеть, когда я слышу о ранах, - сказала Лиза.

- А я в этом случае похожа на маму, - сказала Саша, - я ничего не боюсь.

- Не говори, душка, не испытавши... Ах, Боже, опять стреляют! Даже окна задрожали! Maman, право, я боюсь.

- Перестань нервничать! - прикрикнула мать. - Я готова. Иду прежде всего к мадам Кумани, потом к мадемуазель Анджелике...

- Ах, эта противная старая дева! - сказала Лиза. - Она мне напоминает наших институтских классных дам.

- Лиза, да перестанешь ли ты говорить глупости, - с досадой сказала Луиза Карловна, - ты знаешь, что и твоя мать служила в институте. Мне неприятны такие отзывы. Вот лучше позаботься об обеде, распорядись сама до моего возвращения.

Луиза Карловна надела чепец, взяла зонтик и мешочек с работой (без работы она никуда не ходила) и вышла из дому. Сестры, вместо того чтобы толковать с Дарьей об обеде, ушли, обнявшись, в сад. Грозные звуки отдаленных выстрелов все усиливались.

Леля недолго стояла на площадке библиотеки. Время тянулось бесконечно долго для нее. Она сошла в сад, потом поехала к Минденам, где застала только девиц. Лиза Минден по-прежнему трусила и уже несколько раз плакала со страху. .Саша думала о том, сколько будет несчастных семейств после сражения, как кстати пригодится заготовленная ею корпия.

Леле хотелось узнать, не слышали ли сестры что-нибудь о графе Татищеве, но язык у нее не поворачивался. Ей было стыдно даже заикнуться о графе, которого она на днях сама бранила, сказав в разговоре с Минден, что ненавидит графа и считает его пустым фатом. Лиза не соглашалась с этим, утверждая, наоборот, что граф вполне светский кавалер и очень любезен.

Наконец Леля не выдержала и сказала:

- Как вы думаете, Сашенька, кому в сражении опаснее: артиллеристам или пехоте? Ваш папа был генерал, вы, вероятно, знаете.

- Право, не знаю... Покойный папа много говорил ничего лучше о сражениях, но я мало помню... Я была так глупа, так мало ценила покойного папу, а он говорил так много интересного.

Слова "покойный папа" Саша всегда произносила с особенным чувством.

- Я это так спросила, - сказала Леля и прибавила небрежным тоном: Видите ли, сЬёге апйе, меня это интересует, потому что граф Татищев, ваш хороший знакомый, при мне всегда хвастал, что очень хладнокровен и что хладнокровие особенно необходимо артиллеристу. Я ему говорила, что и пехотинцу, и

моряку точно так же надо быть хладнокровным.

- Ну, нет, - сказала Лиза, - артиллеристу страшнее всего... Я бы ни за что не была артиллеристом. Я не могу без ужаса подумать, как бы я стояла подле пушки, когда она стреляет!

- А я, - сказала Леля, - представьте, когда еще была маленькая, не боялась... Папа брал меня иногда на корабль к знакомым капитанам... Я слышала пальбу с корабля из больших орудий и слышите, как опять стали палить?

- Не напоминайте, - сказала Лиза, рассказывайте!- Я уже плакала!

- Вот и мой кузен Лихачев, быть может, там, - сказала Леля, пристально взглянув на Сашу, но та и глазком не моргнула, а только как будто нахмурилась.

"Хорошо же она его любит! - подумала Леля. - Нет, я не такая! Эта Саша какая-то рыба. Я вот и не влюблена в графа, так только, а больше о нем беспокоюсь, чем Саша о своем женихе!"

Леля действительно чувствовала, что ее бьет лихорадка. Нет, это невыносимо! Надо куда-нибудь ехать, от кого-нибудь узнать! Леля наскоро простилась с Минденами и отправилась к рейду, а оттуда - на Северную. Здесь жил знакомый ее отца, офицер ластового экипажа, человек уже пожилой, вдовец, по фамилии Пашутин. У Пашутина была восьмилетняя дочурка Маня, которой Леля зимою давала уроки, то есть учила ее читать. Пашутин был в страшном беспокойстве и сказал Леле, что сражение происходит несомненно близ Ал мы и что батарея, в которой служил Татищев, отправлена туда. У Лели слезы выступили на глазах, она вдруг стала лихорадочно весела, бегала и резвилась с маленькой Маней и неестественно смеялась. Пашутин едва уговорил ее съесть творогу со сливками, так как домой она не поспеет к обеду. Домой Леля приехала, когда уже совсем стемнело. Пальба давно прекратилась.

Ночью узнали в Севастополе о нашем поражении. В десять часов вечера прибыли одними из первых Корнилов с Грейгом. Корнилов направил посыльных во все концы города и, хотя чувствовал себя совсем разбитым от усталости, сел писать, а Грейга снарядил в Петербург. Корнилов разослал повестки всем флагманам и капитанам, приглашая их назавтра утром на военный совет, как будто он был начальником всех морских сил Севастополя...

Особенно сильное впечатление произвела записка Корнилова, полученная в морском клубе, где собралось по случаю праздника и в ожидании известий с поля битвы довольно большое общество, состоявшее из служащих и отставных моряков, армейцев и нескольких штатских. Получив известие, поразившее всех как

удар грома, моряки тотчас собрались на сходку. Многие заговорили разом, подняли шум, стали спорить и рассуждать, что предпринять. Вдруг посреди этого шума ц гама раздались крики: "Господа, генерал Кирьяков!" Все устремились к вошедшему Кирьякову. Его осаждали вопросами, он не успевал отвечать.

- Помилуйте, господа, во всем виноват светлейший, - говорил он, зная, что моряки и без того не любят Меншикова. - Я, например, докладывал светлейшему перед боем, что тарутинцев нельзя ставить в яме; он из упрямства велел сделать по-своему. Начали летать снаряды; мои тарутинцы в самом начале боя отступили повыше, что уже произвело дурное впечатление на других солдат. А дело было жаркое! Подо мною убили трех лошадей, я приехал на четвертой. Если бы светлейший сразу послушался меня и укрепил наш левый фланг, я бы не дал господину Броке обойти нас.

Кирьяков хвастал немилосердно, но вдруг раздался мягкий, добродушный голос Павла Степановича Нахимова, который устремил "на генерала свои голубые глаза.

- А скажите нам, где же вы оставили наши войска-с? Разве все уже полки благополучно прибыли в Севастополь-с?

Кирьяков смутился.

- Думаю, они уже на Северной, - сказал он. - Я сделал свое дело, довел их до Качи, как мне сказал светлейший, а там уж дорога известна...

- Странно, очень странно-с, - сказал Нахимов. - Жаль, что у нас генералы больше думают о себе-с, чем о солдате. Для многих из них солдаты не люди, а лишь орудие личного честолюбия. А я бы на вашем месте, Василий Яковлевич, бросил эти рассказы-с да поехал посмотреть, что делают солдаты. Это немного поважнее того-с, сколько под кем лошадей убито. Живы, целехоньки вы, и слава Богу-с.

Кирьяков совсем смутился и прикусил язык. Вообще он заметил, что его хвастовство не произвело на моряков того впечатления, которого он ожидал. С досады он заказал себе ужин и выпил две бутылки крымской кислятины под названием лучшего лафита.

На следующее утро севастопольские дамы, точно по уговору, надели вместо праздничных платьев траурные и поехали встречать нашу разбитую армию. Кареты, коляски и простые брички ехали со всех концов города, на главных улицах - Екатерининской и Морской - было заметное движение. Дамы с дочерьми и без дочерей, с лакеями, с горничными и без всякой прислуги, везли с собою коробки и корзины с разными съестными припасами, с фруктами и с винами. Букетов и предположенных

вчера для победителей лавровых венков не было. Луиза Карловна с Сашей, так как Лиза наотрез отказалась ехать, были одни из прибывших раньше всех.

В числе прибывших очень рано была одна, по-видимому, небогатая женщина атлетического телосложения, похожая скорее на выбритого матроса, чем на даму. Ей было лет сорок, говорила она самым густым контральто. Ее некрасивое, покрытое бородавками лицо дышало бесконечным добродушием. Это была известная всему Севастополю повивальная бабка. Ирина Петровна Фохт, несмотря на немецкую фамилию, на самом деле коренная москвичка: немцами были, быть может, ее предки при Петре Великом. Ирина Петровна приехала с Корабельной слободки, где жила в домишке, принадлежавшем отставному матросу. Она везла с собой не фрукты и вина, а съестные припасы, пригодные для угощения солдат.

На привале, за Северной стороной Севастополя, виднелись войска, уже распределенные в порядке: по полкам, батальонам и ротам. На возвышенности были, между прочим, тарутинцы, внизу был жалкий остаток славного Владимирского полка, к нему еще прибывали некоторые неизвестно откуда взявшиеся товарищи.

Дамы стали угощать офицеров... Всюду шли оживленные разговоры и расспросы; у многих были знакомые, но угощали, конечно, и незнакомых.

Ирина Петровна скоро узнала, что владимирцы пострадали больше всех, и, отобрав несколько легко раненных, оставшихся в строю солдатиков, начала угощать их с дозволения начальства, причем любовно глядела на них и расспрашивала их обо всем, как родная мать. Одна из приехавших дам, известная своим благочестием, также хотела показать, что не гнушается солдатами, и расспрашивала фельдфебеля:

- Как же вы, голубчик, хоронили товарищей?

- Всякая рота своих хоронила... Привезли в фурах, выкопали ямы и похоронили... Шанцевого струмента не было, так мы, барыня, тесаками рыли. Просто из сил выбились! Грунт твердый, везде камень, хоть плачь! Никак его всего не зароешь... Ну, мы подумали, подумали, все равно гуртом хоронить: свалили человек десять и сверху только землей обсыпали! А в других ротах и того не сделали: ноги зароют, а голову так оставляют.

- Боже мой! Да ведь это ужасно! Это не по-христиански! Ах какие несчастные!

- Что делать, ваше благородие... Такое дело...

- И ты тоже так хоронил?

- Точно так.

- Да ведь грех, это ужасно, как позволили! - восклицала дама.

Сестра богатого негоцианта гречанка (не первой, впрочем, молодости) Анджелика занялась исключительно молоденькими подпрапорщиками. Один из них, с подвязанной, слегка оцарапанною щекою, сильно злоупотреблял ее любезностью и съел такое количество тартинок и фруктов, что можно было подумать, будто он видит все эти вещи в первый и в последний раз в жизни.

Угостив офицеров, многие дамы оставили им свои адреса и даже прислугу, которой было приказано провожать героев, желающих пообедать у той или другой из севастопольских патриоток. Само собою разумеется, что и герои, и простые смертные обрадовались этому приглашению.

Известный армейский поэт подпрапорщик Тарутинского полка Иванов 2-й, красивый, пухлый юноша, получил даже несколько приглашений, о чем самодовольно говорил поручику Пискареву:

- Меня, брат, теперь на части рвут здешние красавицы.

- Ну уж и красавицы! Да и попал ты контрабандой, затесавшись посреди офицеров Владимирского полка. Пригласили его какие-то старые маримонды, есть чем хвалиться!

- Врешь, не маримонды. Эта, как ее... Анджелика действительно старая рожа, но зато мадам Чижова - прелесть! Надо за ней приударить.

Иванов 2-й поцеловал кончики своих пальцев.

- Желаю успеха, - сказал поручик, вздохнув. - А ты не знаешь, что это за барышня приехала в светлом платье одна, без мамаши, на извозчичьей бричке, повертелась, посмотрела и уехала назад в город.

- Не знаю, первый раз вижу. Барышня прехорошенькая. Верно, удрала тайком от мамаши, а потом встретила какую-нибудь знакомую даму, испугалась и на попятный. А видно, хотелось барышне!

Барышня в светлом платье, резко выделявшемся посреди траурных нарядов других девиц и дам, была Леля Спицына. Она не спала всю ночь, узнав об исходе сражения от слуги, которого капитан нарочно посылал за сведениями. Рано утром она отправилась в город и направилась прямо к дому, где была квартира графа Татищева. Граф занимал теперь только две маленькие комнаты, остальные были заняты другими офицерами. Графа, конечно, Леля не застала дома и узнала от камердинера Матвея, что он еще не возвращался с похода. Старик сам был в смертельном страхе за своего барина, и Леля сразу полюбила его за это. Матвею Леля сказала, что она дальняя родственница графа; о квартире Татищева она давно выспросила у своего

кузена Лихачева, как будто мимоходом, и уже не раз ходила подле этого дома, тревожно поглядывая на окна и на балкон.

Не добившись ничего о судьбе графа, Леля зато узнала от Матвея, что все севастопольские дамы едут на Северную встречать наши войска. Она тотчас взяла извозчика-татарина и поехала, постоянно понукая возницу. Та же история повторилась с матросом, который перевез ее на ту сторону. Леля не догадалась нанять извозчика на все расстояние и ехать кругом рейда, через мост на Черной речке. На Северной нигде не было извозчика, и она была уже в отчаянии, но, на счастье, ей попалась крестьянская бричка, и Леля упросила мужика ехать с нею в лагерь. Приехав весьма поздно, когда почти все экипажи уже разъезжались, Леля долго искала глазами графа, но, кроме казачьей батареи, нигде не видела артиллерии. Она была готова заплакать, но все еще колебалась: спросить или не спросить? - как вдруг увидела Луизу Карловну с Сашей.

- Вы как сюда попали, Лелечка? - спросила генеральша Минден.

Леля сказала первое, что ей пришло на ум, будто она приехала с знакомой дамой, которой теперь не может нигде найти.

Луиза Карловна удивилась, как не стыдно этой даме так оставить молоденькую девушку, и предложила Леле ехать с собою.

На обратном пути Леля все время капризничала так, что даже ангельски терпеливая Луиза Карловна вышла из себя, сказала: "Асп, теш НеЬег Оо11 (ах, Боже мой)!" - и прикрикнула на Лелю, прибавив, что, будь у нее такие дочери, она бы сумела отучить их от капризов. Но уже показалась Килен-бал-ка, Леля чуть не на ходу выскочила из дрожек и, даже не поблагодарив генеральшу, побежала домой. Рыдания душили ее. Она была почти уверена, что граф убит или, по крайней мере, ранен, хотя ничего не говорила об этом, да она ни у кого и не осмелилась спросить.

В то время как севастопольские патриотки угощали офицеров, в квартире Корнилова происходил военный совет. Все флагманы и капитаны последовали его приглашению, хотя некоторые из них и ворчали, что Корнилов слишком много думает о себе и забывает даже, что Нахимов старше его. Нахимов явился одним из первых. Все были в парадных мундирах, со шляпами в руках. Общее настроение было серьезное и торжественное. Сам Корнилов был далеко не в бодром настроении духа.

Вчерашний краткий разговор с Меншиковым, когда они ехали рядом, не выходил у него из ума. Корнилов чувствовал, что при

всей его энергии в этом вопросе ему едва ли удастся взять верх над князем. Он знал, что и между настоящими моряками, не такими, как адмирал Меншиков, найдется немало людей робких и сомневающихся, которые отвергнут его собственный план, быть может слишком отважный, но зато достойный ученика незабвенного Лазарева.

- Господа, - сказал Корнилов, открывая заседание, взволнованным голосом. - Я созвал вас с целью решить общими силами, как нам спасти Севастополь и нашу собственную честь. Армия наша потерпела значительный урон и отступает к Севастополю, дать новое сражение невозможно. Но главная опасность не в этом, а в том, что путь к Севастополю теперь открыт неприятелю. Вы, конечно, сами знаете, что неприятель легко может занять южные Бельбекские высоты, распространиться к Инкерману и к Голландии{76}, где еще не кончена постройка оборонительной башни, и действовать с высот по кораблям эскадры Павла Степановича.

Нахимов кашлянул при этих словах, но не возражал.

- Думаю, - продолжал Корнилов, - что тогда флот наш волей-неволей будет вынужден оставить настоящую позицию. С переменой позиции неприятельскому флоту облегчится доступ на рейд. Если в то же время союзная армия успеет овладеть северными укреплениями, то никакое геройское сопротивление наше не спасет Черноморского флота от гибели и позорного плена!

Корнилов тяжело перевел дух и выпил залпом стакан воды. Все молчали, понуря головы.

- Но у нас есть еще одно средство, - сказал Корнилов, выпрямившись, и лицо его приняло выражение еще более строгое, чем обыкновенно. - Я предлагаю, господа, выйти в море и атаковать неприятельский флот, столпившийся у Лукулла. При счастии мы можем разметать неприятельскую армаду и тем лишить союзную армию продовольствия и оставить ее в жалком положении. При неудаче мы избежим позорного плена. Если абордаж не одолеет, мы взорвем сцепившиеся с нами неприятельские корабли на воздух. Спасая честь русского флага, мы грудью защитим и родной свой порт. Оставшись даже победителем, союзный флот будет обессилен гибелью многих своих кораблей и не дерзнет атаковать город, а без содействия флота союзной армии не справиться с городом.

По-прежнему все молчали. Корнилов обвел глазами всех присутствовавших.

- Вы согласны с моим мнением, Павел Степанович? - спросил Корнилов упавшим голосом. Нахимов поднялся с места.

- В рейд мы их не пустим-с, - сказал он, - а придут ли они к нам на Северную, этого мы еще не знаем-с... Действий на суше я, признаться, не понимаю и не могу судить-с. Выйти же в море с парусным флотом против этих проклятых "самоваров" не всегда удобно-с.

- Значит, вы не согласны? - резко спросил Корнилов.

- Не я, Владимир Алексеевич, а наш климат не согласен-с. Судите сами: если флот наш будет застигнут штилем частью в море, частью еще в бухте, мы попадем в самое жалкое положение. Вот что я вам отвечу-с.

Нахимов снова сел на хсвое место. Встал капитан 1 ранга Зорин{77}.

- Владимир Алексеевич предлагает меру, весьма льстящую нашему самолюбию, - сказал он. - Я предложу меру, которую многие из вас сочтут жестокою и даже постыдною. - Помолчав с минуту, он продолжал: - Флот наш, очевидно, не может бороться с неприятельским; пускай же он сослужит последнюю службу. Вопрос теперь не о флоте, а о спасении Севастополя. Вы должны сделать для неприятельского флота вступление в рейд невозможным. Для этого единственное средство: затопить фарватер.

- Я знаю, что вы скажете, капитан, - запальчиво перебил Корнилов. - Эту самую меру мне уже приказал привести в исполнение князь Меншиков, вы ему давно советовали поступить так, но я этого не допущу!

- Постойте, постойте, Владимир Алексеевич, позвольте договорить до конца, - раздались голоса.

- Не знаю, что приказал светлейший, - продолжал Зорин, - и, клянусь честью моряка, я с ним никогда не говорил об этом. Это мое личное мнение. Дело идет теперь не только о том, чтобы принести на алтарь отечества нашу жизнь. Нет, жертва должна быть выше. Надлежит поступиться нашим самолюбием, смять все, к чему стремились наши нравственные силы... Надо, господа, пожертвовать не собою, а нашим славным флотом...

Голос Зорина оборвался, и он с трудом выговорил:

- Надо затопить... не все, а старейшие по службе корабли... Затопить на фарватере... Людей с них и с других кораблей обратить на подкрепление гарнизону... Грудью нашей защитим родной город!..

Моряки еще ниже опустили головы. У многих навернулись слезы. Вдруг громкий говор сменил безмолвие...

"Невозможно"... "Придется затопить"... "Вы отрекаетесь от звания моряка"... Несколько минут нельзя было ничего разобрать в хаосе звуков. Наконец Корнилов напряг силы и перекричал всех:

- Вижу, что большинство против меня! Но я не допущу этого! Готовьтесь все к выходу в море; будет дан сигнал, что кому делать!

С этими словами он распустил совет.

XXXI

Когда Корнилов остался один в своем кабинете, выражение решимости и энергии быстро сменилось на его лице выражением болезненной усталости. В изнеможении он бросился на диван и прилег на вышитую подушку, когда-то подаренную ему женой. С этой подушкой он не расставался и на корабле.

"Боже, как я рад, что вовремя отправил всех, дорогих моему сердцу, в Николаев! - подумал Корнилов, взглянув на висевшие на стене портреты жены и детей. - Сколько теперь семейств желали бы не быть в этом каменном мешке! Даст Бог, мы защитим Севастополь. Войско наше потеряло много, но нигде не заметно уныния. Если бы мы нанесли удар вражескому флоту, все еще можно бы поправить..."

Но вскоре эти мысли сменились другими, более мрачными.

"Ужасное дело война, - размышлял он, вспоминая сцены, которые видел близ Алмы. - Но будет еще хуже, если Меншиков заупрямится... Тогда я не ручаюсь за участь Севастополя. Наше дело - гибнуть, мы на то и воины. Но чем виноваты несчастные мирные жители, все эти женщины, дети?! Нет, пусть все будут против меня, а я выйду с флотом на врага; это единственное средство предупредить осаду города... Может быть, с стратегической точки зрения тут и есть промах, но так честнее".

Ему живо представилось, что было бы. если бы здесь оставалась его собственная семья, как дрожал бы он при мысли, что грозный неприятель начнет бросать снаряды в то мирное жилище, где могла бы быть колыбелька его новорожденной дочери.

"А ведь много есть семейств, у которых здесь такие же малютки! Хорошо, если успеют выбраться вовремя. Неужели же мы, моряки, затопим наши корабли и запремся в городе, вместо того чтобы идти навстречу врагу, хотя бы в полной уверенности, что погибнем?"

Глаза Корнилова заблистали, он вскочил и позвал денщика.

- Сейчас же отправить эти письма, - сказал он, указывая на груду писем на столе. - Вот это письмо отправь отдельно, это барыне, в Николаев. Я сейчас еду на корабль.

- Обедать прикажете дома, Владимир Алексеевич? Корнилов не любил, когда его называли превосходительством.

- Нет, на корабле. Скорее давай одеваться. Ты же сам отправишься сейчас же на Куликово поле{78}. Там отыщи на

бивуаках офицеров Владимирского полка. Спросишь там полкового адъютанта Горбунова, ты не забудешь фамилию?

- Никак нет, не забуду, адъютанта Горбунова, Владимирского полка.

- Так вот, ему передай это письмо.

В письме своем Корнилов официально приглашал всех уцелевших офицеров и нижних чинов Владимирского полка отобедать на корабле "Великий князь Константин". Из беглых расспросов и из рассказов офицеров, участвовавших в бою морских батальонов, Корнилов уже успел составить себе понятие о действиях различных полков, несмотря на то что в Севастополе носились на этот счет самые противоречивые слухи.

Часа два спустя два офицера Владимирского полка, адъютант Горбунов и Розин, шли по направлению к Екатерининской пристани. Горбунов был с непокрытой головой, Розин - в каске.

- Однако, брат Наум Александрович, эдак у тебя сделается солнечный удар. Зайди, купи каску... Впрочем, сказать правду, и в каске не лучше. Дьявольская жара! Но все же купи.

- Поверишь, во всем Севастополе нет. Не понимаю, почему нашему полку не разрешены до сих пор фуражки. Черт знает что такое!

- Эти каски и в бою нам не много помогли: штуцерные пули отлично их пробивают, а между тем с этакой тяжестью на голове и подумать ни о чем не захочется.

- Что ж ты, так и будешь с непокрытой головой?

- Так и буду. Что делать, а 1а иегге сотте а 1а иегге (на войне по-военному). Потерял во время дела - и баста. Самая законная причина.

Они проходили мимо небольшого домика. Какая-то старуха в белом чепце, с виду мещанка или бедная чиновница, стоявшая у ворот, поглядела на офицеров, потрясла головой и подошла к ним.

- А вы что это, господин офицер, без каски ходите? Потеряли, что ли? спросила она.

- Видите, потерял, - сказал Горбунов. - А вам-то что за дело, тетенька?

- А то дело, голубчик мой, что уж не Владимирского ли ты полка? Говорят у нас, что будто вы там спины показали французам. Стыдись, батюшка, без каски-то ходить! Я седьмой десяток живу и такого срама не видела! Ты не хочешь ли надеть мой чепец, батюшка?

- Пошла вон, старая хрычовка! - в бешенстве прикрикнул на нее Горбунов. - Сначала узнала бы

толком, а потом и говори! Спины показали! Какой подлец эти

слухи распускает!

- Да охота тебе обращать внимание на сумасшедшую старуху, пускай ее лается... Идем, Горбунов, душенька, плюнь ты на эту глупость... До известной степени эта старуха мне даже нравится.

- Стоило бы ее проучить... Конечно, тут главная вина не ее, а скотов вроде нашего Мелентьева... Говорят, слухом земля полнится. Один негодяй скажет, сто дураков повторяют! Если он в самом деле попадет в полковые командиры, клянусь тебе, я переведусь в другой полк!

Горбунов долго еще не мог успокоиться.

- А мне вот что, брат, досадно немного, - сказал Розин. - Получил я, в числе других, приглашение сегодня на обед от одной очень пикантной дамочки, а теперь, делать нечего, не пришлось воспользоваться. Неловко, когда сам Корнилов нас приглашает.

- Понятно, неловко. У твоей дамочки останется для тебя обед до другого раза. Успеешь еще поволочиться. Меня также пригласила одна очень интересная особа, ну, да Бог с нею, теперь не до того... Я вместо себя послал знакомого Тарутинского полка подпрапорщика Иванова 2-го, знаешь, того, что пишет стихи. Думаю, она не успела запомнить моего лица, сойдет Иванов за меня! А если выйдет цш рго ˆио (путаница) (Горбунов выговаривал эти слова не на латинский, а на французский манер - ки про ко), так наплевать! Пускай Иванов выворачивается как знает, ну хоть оду пусть сочинит в честь ее прелестных глазок.

- А кто эта прелестная особа?

- Одна преинтересная вдовушка, мадам... мадам... Черт, забыл фамилию. Да! Жебровская. А тебе завидно? Хочешь, поезжай!

- Куда, к черту! Времени нет! И неловко! Я ведь ее в глаза не видел.

- А глаза, брат, черные, бархатные... Только здесь, на юге, бывают такие глаза. Посмотрит, так даже поглупеешь на минуту.

- Ну, перестань расписывать!

Разговаривая таким образом, они сошли на пристань, где уже собралась группа солдат и офицеров их полка.

- Зверковский, ты откуда взялся? - радостно сказал Розин, увидев того самого рядового первой гренадерской роты, которого на его глазах английский гвардеец ошеломил ударом приклада по голове. - Неужели ты остался жив!

- Точно так, ваше благородие, - сказал Зверковский, улыбаясь во всю ширину своего рта.

- Так ты и в плен не попался?

- Какое, ваше благородие! Меня он подобрал и свез к себе, значит, в лагерь, только я убег.

- Молодчина! Как же это ты умудрился? Рассказывай.

Зверковский рассказал, что ночью, освеженный холодом и росой, он очнулся, смотрит - кругом горят костры.

- Что за притча, думаю, рази наши еще здесь? Иду, шатаюсь как пьяный, вдруг слышу, кричат не по-нашему, а что-то мудреное. "О! о! рушан, рушан!" и хвать меня под ручки. Делать нечего, иду, куда ведут. Посадили нас всех в палатку и приставили часовых.

- Как, разве и другие были? - спросил Горбунов.

- Были, ваше благородие, человек пять или шесть раненых. Сидим мы, скучно нам стало, не видать уж нам матушки-Расеи, думаем мы себе. Только вдруг подходит часовой и тычет нам бутылку, а сам что-то головой и руками показывает. Понюхал я - в бутылке как быдто водка. Понимаю! Дают, значит, нам водки, а чтобы мы начальству ихнему молчок... Ладно, думаю, голубчики. Хватил маненько и товарищам дал, отдаю назад. Водка у них послабее будет нашей. Подождали мы, чтобы они перепились как свиньи, ну, говорю, ребята, теперь за мной! Кто на ногах может стоять, иди за мной, я дорогу знаю! Прошли сквозь цепь, у них там все были пьяны, а уж дальше-то мы шли не оглядываясь... Так и пришли... Ну, ребята, садись, за нами приехали.

Солдаты весело садились в шлюпки, матросы с прибаутками везли их к кораблю, который стоял недалеко от берега.

Горбунов и Розин также ехали в шлюпке с молоденьким мичманом, который с любопытством расспрашивал о сражении.

Корнилов дал знать, чтобы его не ждали, так как у него явилось много неотложных дел. Роль хозяина выпала на долю капитана корабля и флотских офицеров, которые угощали офицеров Владимирского полка, в то время как матросы угощали солдат.

Офицеры Владимирского полка - все больше молодежь, старшие были или переранены, или перебиты - за обедом больше молчали, краснели и конфузились. Они по слухам знали, что черноморские офицеры превосходят армейцев образованием и развитием, и, боясь перед ними ударить в грязь лицом, скромничали и отделывались односложными ответами. Исключение составлял полковник Мелентьев, который кричал громче всех, размахивал руками и рассказывал о своих невероятных подвигах.

- И ведь канальи эти англичане! - говорил Мелентьев, залпом осушая стакан крепкого хереса, припрятанного капитаном корабля для торжественных случаев. - Народ рослый, здоровый, упитанный бифштексами, и бокс знают в совершенстве. Представьте, этаких молодцов трое или четверо наваливаются на

меня. Ну да и я не из слабосильных. Дал одному коленом в грудь, другого хватил в висок прикладом, а третьего ухлопал фельдфебель Вахрамеев - только его, беднягу, в ту же минуту сразило гранатой. Я как-то уцелел, вижу, наше знамя уже в руках англичан. Бросаюсь вперед, кричу: "За мной, ребята! Умрем, не отдадим своего знамени!"

- Так, значит, правда, что наши знамена были в их руках? - спросил капитан.

Молодые офицеры Владимирского полка краснели до ушей, но из ложного стыда и чинопочитания не возражали полковнику, который под влиянием выпитого вина все более разгорячался.

- Еще бы! - кричал он. - Если бы не я, эти подлецы взяли бы их. Но я ринулся во главе одной роты и ударил в штыки. Англичане повалились, как мухи, и оставили в наших руках две гаубицы. Потом, когда мы отступили, пришлось их бросить. А жаль, гаубицы славные!

- Виноват, полковник, - сказал Горбунов, покраснев до корней волос, английских пушек там не было, это были наши собственные пушки.

- Прошу не возражать, - строго сказал Мелентьев, - вы не могли этого знать, так как были с другой стороны эполемента и, стало быть, ничего не видели.

- Я был подле вас, полковник, - сказал другой офицер, - и также никаких английских пушек не видел.

- Стало быть, вы не умеете отличать английских орудий от русских, сказал Мелентьев. - Да что с вами спорить! Вы мальчик, а я, слава Богу, не первый год служу.

Капитан корабля, желая прекратить этот спор, предложил тост в честь храброго Владимирского полка, который был покрыт громким "ура". В свою очередь один из владимирцев предложил тост за доблестных офицеров корабля "Константин" и за весь Черноморский флот.

В то же время матросы угощали солдат.

- Ты, братик, ешь, чего ворон считаешь, - говорил старый матрос солдату, который загляделся на незнакомую ему обстановку. - Каша, брат, скусная, по-скусней будет вашей армейской. У вас, окромя дубовой каши{79}, ничего, поди, не дают?

- И того, братик, не бывает... Одни как есть сухари, - сказал солдат. Перед сражением я и водки не пил. А вот московцы, братик ты мой, так не емши цельный день были. Беда!

- А што, небось англичанин вам ребра пощупал!

- Какое! - сказал солдат, махнув рукой. - Ён все больше из штуцеров да с бонбов. Никакой возможности нет подступиться.

Ты на него идешь, а он тебя как вдарит бонбой, тут, брат, хошь не хошь пойдешь назад.

- То-то, брат! Англичанин и на море матрос - первый сорт! Не хуже нашего брата будет, - прибавил матрос с самодовольством.

- А што, дяденька, вы пойдете бить англичанина? - спросил солдат.

- Чаво не идти. Прикажут - пойдем. Дадут, значит, сигнал: кораблям идти на неприятеля! Куда велят, хошь на Лондын пойдем. Нам, брат, эти дела известны.

- А он вас, дяденька, начнет жарить с бонбов. У него, поди, и в Лондыне есть солдаты.

- А мы его. У нас, ты думаешь, маркелы{80} хуже аглицких? Велят идти пойдем. Мы, брат, тоже присягали.

Солдаты с видимым уважением посматривали на матросов, видя в них полную решимость идти на неприятеля.

- Матроса, брат, пушкой не испугаешь, - решил один из солдат. - Они до этих дел привычны, у них кажинный день из пушек учение идет. Они, поди, и спят на пушках.

XXXII

Князь Меншиков в тот день осматривал местность, задумывая оставить Севастополь и отступить к Бахчисараю.

Еще до рассвета Меншиков, сделав карандашные отметки на карте, которую он долго и внимательно рассматривал, позвал к себе дремавшего близ его палатки Панаева.

- Аркадий Александрович!

- Я, ваша светлость!

- Знаешь ли ты дорогу, которая идет от Севастополя мимо Кадыкиоя на Мекензиев хутор и в Бахчисарай?

- Нет, ваша светлость, я знаю только малую ее часть, но могу представить вам сведущего человека.

Панаев привел из своей команды унтер-офицера Балаклавского греческого батальона Георгия Панаги.

Панаги долго объяснял князю. Меншиков чертил карандашом, делал заметки. Он решал свое знаменитое фланговое движение. Панаев дремал, растянувшись на мешках, выгруженных из подвод.

Едва рассвело, князь спросил лошадь, велел Панаеву привести в порядок обоз, Стеценко отправил к Корнилову, а сам поехал к Инкерманскому мосту по дороге, загруженной войсками-, тянувшимися на Северную сторону Севастополя. Панаев, сделав распоряжения, поскакал за князем и встретился с ним на Северной близ домика, находившегося у батареи номер четвертый. Князь слез с коня. Вид его был истомленный и измученный, но спокойный, и обычная саркастическая улыбка не

сходила с лица его.

- Наши экипажи сейчас будут здесь, - сказал Панаев.

- Надо побриться и переодеться, - сказал князь. - Поговорю также с Тотлебеном. Артиллерию пусть ставит на пароходы, надо все переправить на ту сторону. Для меня - катер.

- Обоз я отправил, ваша светлость, кругом, на Инкерманский мост по Саперной дороге. Тотлебен уже здесь.

- Хорошо. Следи, братец, сам за установкой орудий на пароходы. Не знаю, исполнил ли Корнилов мои приказания. Я отправил к нему Стеценко с приказанием обратить все средства флота и порта на перевозку войск с Северной стороны на Южную, но Корнилов упрям. Он уверяет, что неприятель непременно атакует Северную сторону и что здесь надо сосредоточить главные силы. Боюсь, что он намеренно перепутал все мои приказания.

Князь вошел в дом, где давно уже ждал его Тотлебен.

Панаев поехал смотреть на установку орудий. Несмотря на свое желание вмешиваться во все и говорить начальническим тоном, теперь он должен был сдерживаться, так как артиллеристы и моряки не любили, чтобы в их дела вмешивались. Получив два-три резких ответа, Панаев удовольствовался скромной ролью зрителя.

Подойдя к группе артиллерийских офицеров, в которой был и граф Татищев, Панаев услышал заинтересовавший его разговор.

- Скажите, граф, ведь это была мадам Хлапонина? - спрашивал Татищева другой артиллерийский офицер.

- Разумеется, она. Единственная из севастопольских дам, которая вместо проливания слез и угощения завтраками действовала на поле битвы как истинная христианка.

- Да, Хлапонина молодец бабенка, - сказал один старый артиллерист. - Да и муж ее достоин такой жены. Ведь вы знаете, господа, какую штуку ему удружили гусары?

- Что такое? Расскажите, капитан, мы не знаем!

- Ведь пятая легкая батарея, которою он командует, осталась после отступления левого фланга без всякого прикрытия, но палила до последнего снаряда. Сняться с места было трудно. Можете себе представить, для семи орудий - по две лошади, для ящиков - по одной, а два орудия совсем без лошадей. Что тут делать? Хлапонин отправил батарею, сам с тремя людьми остался при двух орудиях; пробовали вчетвером тащить - невозможно. Вдруг видит Хлапонин веймарских гусар. Он, натурально, просит лошадей или прикрытия - не дают, а гусарский офицер еще ругается, помилуйте, говорит, верховых лошадей я позволю в орудия запрягать. Делать нечего. Хлапонин говорит канониру

Егорову: "Будем тащить, брат!" Егоров от себя другим говорит: умрем, братцы, а орудия не отдадим. Тащут, ну, натурально, ни с места. По счастью, прибыл фельдфебель, не знаю какого полка, с тремя лошадьми - орудия спасли. Егорову дадут Георгия.

- Смотрите, господа, это что за лошадь бредет сюда к переправе? спросил один из офицеров.

Действительно, все обратили внимание на артиллерийскую лошадь с оторванною челюстью. Лошадь притащилась к переправе.

- Я знаю эту лошадь, - вмешался Панаев, - она из батареи Хлапонина. Я ее давно заметил. Она от самой Алмы шла за нами, помахивая головой.

Панаев, как страстный любитель лошадей, имел на них удивительную память.

Лошадь с обезображенной и окровавленной мордой медленно шла, неся на себе казенную сбрую.

- Смотри, братцы, - сказали увидевшие ее солдаты, - сама лошадь пришла, казенные вещи несет в сдачу!

- У, бедный, бедный, - пожалел раненую лошадь другой солдатик и потрепал ее по шее.

Сбрую сняли, лошадь погладили, пожалели. Она отошла на бугор, постояла, ткнулась головою в землю, перевернулась и вдруг, грохнувшись, испустила дух. Солдатики вздохнули, а Панаева даже прошибла слеза.

XXXIII

Князь Меншиков угрюмо и молча выслушал доклад Тотлебена и, не сказав ему ни слова о своих дальнейших намерениях, велел подать себе вельбот{81}, переправился на Южную сторону и, пройдя великолепный портик Графской пристани, отправился далее, по площади, мимо дворца. На площади его ожидал казак верхом, державший в поводу другую лошадь, и Меншиков в сопровождении казака поехал шагом по Екатерининской улице. По дороге он встретил командира парохода "Громоносец", который, пообедав в ресторане, спешил на свой пароход. Капитан этот был в вицмундире и в шляпе.

- Откуда в таком параде? - спросил Меншиков.

- С военного совета, ваша светлость.

- Кто это у вас здесь собирает военные советы, даже не потрудившись меня о том уведомить?

- Совещание было у Владимира Алексеевича, - уклончиво ответил капитан. - Одни говорили, что надо выйти с кораблями навстречу врагу, другие, и в том числе я, утверждали, что надо затопить фарватер.

- Последнее лучше, - отрывисто сказал Меншиков. - Я уже

приказал Корнилову поступить именно таким образом и удивляюсь, что он после этого все же нашел необходимым созвать совет. Весьма рад, что и среди вас, господа, нашлись люди, считающие мое распоряжение справедливым. Знаю, что меня ваши моряки недолюбливают, ну да что делать! Насильно мил не будешь.

- Помилуйте, ваша светлость! - сказал капитан.

Меншиков поехал дальше, а капитан отправился своей дорогой.

Капитан был из числа недовольных распоряжением Корнилова. Командуя пароходом, он привык предпочитать паровой флот парусному и хотя, как моряк, не мог не пожалеть о нескольких кораблях, но думал, что затопить их все же лучше, чем вступить в неравный бой с неприятелем. Скрепя сердце он шел, однако, исполнить приказание Корнилова: ведь не отставать же ему от товарищей, готовивших корабли к выходу.

Меншиков поехал на Театральную площадь, где производилось учение какому-то полку, потом повернул назад и мелкой рысью возвратился во дворец. Отдав лошадь сопровождавшему его казаку, князь отправился обедать и в то же время велел послать за Корниловым, которого и принял у себя в кабинете.

- Вы, ваше превосходительство, кажется, забыли мои распоряжения, сказал Меншиков. - Помилуйте, что же это такое! Я просил вас поскорее распорядиться о затоплении фарватера, чтобы прекратить всякий доступ в гавань неприятельскому флоту, а вы вместо этого собираете какие-то там военные советы.

- Я исполняю только мой долг моряка, - сухо ответил Корнилов. - К сожалению, и в нашей среде нашлись люди, предпочитающие меру, быть может, и полезную, но которая будет иметь самое дурное нравственное влияние. Выйдет, как будто мы испугались неприятеля... До тех пор, пока я здесь, я не допущу подобной самоубийственной меры.

- Я вижу, что с вами никакого сладу нет, - сказал Меншиков и позвонил. Вошел ординарец. - Вот это письмо ты, братец, вели передать вице-адмиралу Станюковичу, - сказал Меншиков и, обратясь к Корнилову, добавил со своей обычной саркастической улыбкой: - В последний раз вас прошу, ваше превосходительство, отдайте приказание затопить фарватер. Я не хочу скандала. Сделайте это ради меня.

- Я не сделаю этого, ваша светлость, - твердо ответил Корнилов.

- Ну, так поезжайте в Николаев к своему месту службы, - сказал князь с той же насмешливой улыбкой, - мы постараемся

здесь обойтись без ваших услуг. Позови, братец, сюда немедленно вице-адмирала Станюковича, - сказал князь ординарцу, - я отдам ему приказание.

Корнилов, все время сидевший, вскочил с места.

- Остановитесь! - вскричал он. - Это самоубийство, это подлость! То, к чему вы меня принуждаете, - подлость, но чтобы я оставил Севастополь, окруженный неприятелем, - невозможно! Я готов повиноваться вам.

Меншиков был ошеломлен этими словами и несколько минут молчал, наконец сказал:

- Успокойтесь, Владимир Алексеевич... Право, я не хотел огорчить вас... Поговоримте вместе спокойно, рассудительно. Горячностью вы ничего не сделаете... Что ж это, вы будете горячиться, я буду с своей стороны, ровно ничего и не выйдет. Уйди, братец! - сказал Меншиков ординарцу, сделав нетерпеливый жест.

Ординарец, юный гвардеец, стоял, чувствуя себя весьма неловко, он собирался уйти, но догадался спросить о письме.

- Не надо, не надо, - сказал Меншиков, махнув рукой.

Корнилов выпил стакан воды и с видом человека, покорившегося необходимости, сел за стол.

- Если так, - сказал он, - думаю, что вы мне вверите, по крайней мере, план обороны рейда. Чтобы затопить фарватер, надо обречь на гибель семь кораблей или пять кораблей и два фрегата, но при этом необходимо совершенно изменить диспозицию всех остальных судов.

- Делайте, делайте как хотите, - сказал Меншиков, довольный тем, что настоял на своем. - В подробности не стану вмешиваться и думаю, что вы с Нахимовым устроите все наилучшим образом. Я хотел дать вам в помощь Станюковича, но он стар и ничего не смыслит.

- В таком случае я составлю диспозицию и пришлю на утверждение вашей светлости, - сказал Корнилов официальным тоном и, раскланявшись с князем, поспешил на свой корабль. Тоска сжала его сердце, когда он, спустившись по каменной лестнице на пристань, увидел полосатую громаду корабля "Три святителя" - одного из тех пяти, которых он мысленно обрек уже на жертву. Ему казалось, что он готовился убить что-то живое и близкое своему сердцу. Взойдя по трапу на корабль "Великий князь Константин", Корнилов не сказал никому, из подчиненных о своем решении, но велел поднять сигнал: кораблям и фрегатам прислать по два буйка. Пока старшие штурмана расставляли по рейду буйки для указания судам их новых мест, Корнилов писал своим крупным размашистым почерком черновой приказ о

затоплении кораблей, он несколько раз черкал и наконец написал: "Корабли старые "Три святителя", "Уриил", "Селафаил", "Варна" и "Силистрия"; "Флора" и "Сизополь".

Офицеры корабля, не зная ничего о новом решении Корнилова, готовились к сражению с громадным неприятельским флотом и писали письма на имя государя, прося его в случае гибели исполнить их последние желания.

Писали также к родным и близким, прощаясь с ними.

К четырем часам рейд представлял необыкновенно оживленную картину. Шесть больших пароходов бороздили его, перевозя на буксирах корабли и фрегаты, которые становились на вновь назначенные места; малые пароходы и гребные суда, начиная от катеров и кончая маленькими двойками и тузами с двумя и одним гребцом, шныряли взад и вперед. Весь день перевозили с Северной стороны на Южную артиллерию, зарядные ящики и другие тяжести. К вечеру все корабли и фрегаты заняли свои места. Тогда только был разослан по всем судам новый приказ Корнилова. Но сам Корнилов еще надеялся, что так или иначе ему удастся спасти корабли от затопления. На всякий случай он предупредил командиров судов, что если решение топить суда будет принято безвозвратно, то на библиотеке будет выставлен вместо сигнала русский национальный флаг.

XXXIV

В пять часов утра мичман Лихачев был, по обыкновению, уже в кают-компании, то есть большой комнате корабля "Три святителя", куда он прошел из своей офицерской каюты. Потом он заглянул и на кухню и спросил кипятку для чая. У матросов, возившихся на кухне, были хмурые, сердитые лица, а старый Прокофьич глядел даже настоящим зверем. Корабль "Три святителя" был один из обреченных на гибель, и матросы чувствовали то же, что чувствует человек, которого с семьею выгоняют из дому с целью разорить дотла его родное гнездо. Лихачеву показалось, что даже на него и на других офицеров матросы смотрят как-то злобно и подозрительно. У него самого было очень скверно на душе. Все его мечты о блестящем поприще на морской службе, казалось, разлетались в прах. На берегу он должен был превратиться в простого пехотинца, чуть ли не в гарнизонного солдата. И почему именно избрали их корабль? Неужели нельзя было назначить к затоплению какой-нибудь другой? Досадно было и обидно.

Должно быть, и другие офицеры разделяли мысли Лихачева. Один из них, обратившись к группе товарищей, сказал:

- Господа, я предлагаю отправить депутацию к Корнилову. Мы должны заявить, что все мы умоляем не приводить к

исполнению этой меры.

Многие поддержали его и вызвались быть депутатами, спросили разрешения у капитана, и он, сказав, что сам желает быть в стороне от этого дела и умывает руки, тем не менее не согласился на отправку депутации.

- Ему хорошо, его, вероятно, назначат командиром на другой корабль, а мы-то как же будем? - сказал один из офицеров.

- Никогда не поверю, чтобы Корнилов написал этот приказ по своей доброй воле, - говорил другой.

Матросы ничего не говорили о готовящемся событии, они только ругались сердитое обыкновенного. Иные совсем приуныли.

На батарейной палубе, около кухонной печи, или, по-морскому, камбуза, сновали матросы в холщовых, куртках и просто в рубахах, подавая офицерам кипяток для чая. Две кошки, постоянные обитательницы кухни, выученные матросами ходить на задних лапках, умильно мурлыкали в ожидании подачки, но на этот раз никто не обращал на них внимания. Только Прокофьич погладил одну из них и проворчал себе под нос:

- Да, брат Машка, нас с тобою отсюда, значит, по шеям?

Повозившись и поворчав, Прокофьич отправился в корабельную церковь, то есть маленькую каюту с иконостасом. Он стал на колени и долго молился. В стороне от иконостаса, в углу, была икона, которую матросы считали чудотворною, обращаясь к ее помощи в случае зубной боли, ревматизма и от других напастей. Перед этой иконой клал земные поклоны старый матрос, безыскусно молясь о том, чтобы святитель заступился за родной корабль. В чудодейственную силу этой иконы верили даже два бывших в числе матросов еврея. Надо кстати сказать, что вообще племенной состав экипажа был самый разнообразный: были тут и армяне, и греки, и даже цыгане, но все это было проникнуто одним общим духом.

Солнце поднималось над горизонтом, подул ветерок, и в бухте развело волнение, корабли слегка покачивались; отражения солнечных лучей сверкали золотыми блестками. Лихачев вышел на верхнюю палубу подышать свежим морским воздухом. Он не молился, подобно старому Прокофьичу, но чувствовал какое-то особенное, почти благоговейное настроение, как будто перед ожидаемой смертью горячо любимого человека.

Он уже успел сжиться и сродниться с кораблем и с его обитателями: больно было думать, что родное гнездо разорят самым безжалостным образом. Но вот послышался свисток боцмана. Матросы засуетились. Велено было спускать брам-стеньги и отвязывать паруса. Лихачев поспешил, куда ему было назначено. Видно было, что и на других кораблях закипела

работа. Начали спускать гребные суда, два парохода уже сновали на рейде, свозя с приговоренных к смерти кораблей разные необходимые вещи на берег. Орудий еще не велено было снимать, тем более что на взморье вдруг показались два неприятельских парохода и можно было ожидать, что неприятель явится со всем своим флотом еще до затопления кораблей. Но неприятельские пароходы вскоре ушли, и других не появлялось. Весть о предположенном затоплении кораблей разнеслась в Севастополе - и по обоим берегам рейда, на Северной и на Графской пристани, уже собирались группы любопытных, но, наскучив ожиданием, большею частью снова расходились.

В шесть часов вечера Корнилов вошел на площадку библиотеки. С ним был один из его флаг-офицеров, Жандр{82}, и несколько матросов. Корнилов еще раз ездил во дворец убеждать князя, по крайней мере, отложить затопление кораблей и решиться на эту меру лишь в том случае, если окажется несомненным, что неприятель намерен атаковать одновременно Северную сторону и рейд, Меншиков сухо ответил: "Мне нужны ваши матросы для защиты города, который я оставляю со своей армией с целью совершить известное вам фланговое движение. Поручаю вам защиту Северной стороны, а Нахимову я передам оборону Южной стороны".

Грустный и задумчивый вошел Корнилов на площадку, но, собравшись с силами, сказал: "Поднять флаг". Русский национальный флаг развевался над городом. На рейде тотчас был замечен этот сигнал, означавший: "Топить корабли".

Корнилов постоял с минуту, сошел вниз и поехал на корабль "Ростислав", где было условлено собраться командирам обреченных на жертву судов. Когда приехал Корнилов, командиры были в полном сборе.

- Везите на берег все, что можно свезти в течение вечера и ночи, сказал Корнилов. - Завтра утром срубите мачты и погрузите корабли.

Он не мог продолжать, велел подать шлюпку и поспешил домой. На квартире Корнилова собралось несколько депутатов с различных кораблей, в числе их был Лихачев и другие такие же юнцы, но были и старые, заслуженные моряки. Один из стариков выступил вперед и голосом, прерывающимся от волнения, сказал:

- Владимир Алексеевич, мы пришли к вам не как к начальнику, а просто как к русскому человеку, уважаемому и, смею сказать, любимому нами всеми. Неужели нет возможности отвести удар, грозящий нашему званию моряка! Защитите, спасите нас! Что скажут в городе? Какое впечатление произведет на всех сева-стопольцев весть о нашем самозатоплении! Отец

родной, спасите! Мы погибнуть готовы, но от руки врага, а не от своих! Ведь это то же самоубийство! Ведь это нас топят вместе с нашими кораблями!

- Надо покориться необходимости, - с грустью сказал Корнилов. - Я сам разделяю ваше мнение, капитан, но не я здесь главный начальник, сделать я ничего не могу. Притом я знаю, что и на суше мы можем быть полезны по нашим силам и способностям. Не будем же унывать. Работа для нас везде найдется. Город видит в нас своих главных защитников, и мы должны оправдать общее доверие, хотя бы нам пришлось действовать на непривычной нам стихии... Поезжайте же, товарищи, на свои корабли, сослужите для них последнюю службу... Пока еще для вас и там найдется дело...

Корнилов чувствовал, что говорит против собственного убеждения, что он утешает не только других, но и самого себя, но он считал необходимым говорить так: лучше изменить своему убеждению, чем показать, что сам упал духом. Бороться с Меншиковым Корнилов не мог, оставалось быть полезным в пределах возможного.

Понурив головы удалились депутаты: они поняли, что более нет надежды.

"Товарищами нас назвал!" - с гордостью думали молодые офицеры.

Отставной капитан Спицын узнал вечером от одного моряка о предполагаемом затоплении кораблей - и вознегодовал. Он говорил, что распорядиться о затоплении кораблей могли только злодеи и что, будь он на месте Корнилова, он бы скорее перевелся в пехоту, чем скрепил своим именем такое кощунственное дело. Старик всегда не любил Корнилова, теперь он его возненавидел и даже побранился ради этого с дочерью.

Леля горою стояла за Корнилова, говоря, что она никогда, никогда не поверит, чтобы такой герой мог действовать из своекорыстных видов. Капитан, наоборот, уверял, что Корнилову его место начальника штаба дороже, чем весь Черноморский флот, что у Корнилова на первом плане стоит честолюбие. А вот Павел Степанович, пояснял капитан, это дело десятое; у Нахимова действительно душа нараспашку; Корнилову до него, как до звезды небесной, далеко. Леля совсем рассердилась на отца и, не простившись с ним, уехала в город ночевать к знакомым. Впрочем, ссора с отцом была только ловким предлогом. Главною целью поездки было иметь у этих знакомых свидание с графом Татищевым, который обязательно будет у них на вечеринке.

Леле все еще не удалось ни разу встретиться с графом

Татищевым. Правда, она узнала наверное, что он жив, здоров, не ранен и был у себя на квартире, где собирается даже ночевать.

Все эти подробности сообщил Леле камердинер Матвей, с которым Леля вела беседу, снова явившись спросить о графе. Но эти известия не удовлетворили пылкую девушку, в которой впервые появилась потребность любить: невозможность увидеться с графом только еще более волновала ее. Случайно узнав от Матвея, что граф будет у ее знакомой мадам Будищевой, Леля тотчас подумала: "Вероятно, он ухаживает за Катей Будищевой, она такая хорошенькая". Она решила во что бы то ни стало убедиться в справедливости своего подозрения и вспомнила, что в доме Буди-щевых празднуют теперь день рождения кого-то из дочерей и что ее неделю назад приглашали на этот день на вечеринку, с тем чтобы она переночевала, так как возвращаться домой так поздно одной девушке нельзя; идти ночью домой с малознакомым кавалером было неприлично. Вытащить же ее отца не было никакой возможности. А знакомых у Лели было мало, так как жила на краю города с отцом, не любившим никакого общества, кроме старых моряков, с которыми можно поиграть в шахматы и распить с чаем бутылку рома.

Леля была довольна этому стечению обстоятельств, и вся остановка была за отцом, который иногда не обращал на нее никакого внимания, но иногда запрещал ей, как говорится, ни с того ни с сего самые невинные вещи. Ссора с отцом из-за Корнилова вышла как нельзя более кстати, так как окончилась патетическим восклицанием капитана:

- Ты не уважаешь отца!.. Это черт знает что такое! Иди прочь с моих глаз и больше не показывайся мне сегодня!

- Очень хорошо, - сказала Леля. - Я, кстати, хотела ехать сегодня к Будищевым. Если вы не хотите меня видеть, я могу там остаться ночевать.

- Ну и ночуй где хочешь, хоть на улице! - сказал капитан, в минуты гнева не выбиравший выражений.

Леля велела Ивану запрягать бричку, поехала к пристани и вскоре очутилась у Будищевых; там уже собралось много гостей, но графа Татищева не было. Леле было страшно совестно спросить о графе, но наконец она решилась сделать это так, "чтобы никто не заметил", а именно отозвала таинственно в сторону Катю, старшую из барышень Будищевых, и спросила ее громким шепотом, так, что услышали даже бывшие не совсем поблизости:

- Катя, душечка, скажите, ведь, кажется, у вас бывает граф Татищев?

- Да, а вы разве с ним знакомы? - удивилась Катя.

- Почему же вы думаете, что я не могу быть с ним знакома? Разве в знакомстве с ним есть что-нибудь особенное?

- Нет, нисколько... Но я просто не знала, что он у вас бывает.

- А вам это как будто неприятно? Скажите, Катя, откровенно; ведь я всегда говорю с вами откровенно.

Катя сделала гримаску.

- У меня нет и повода для откровенности. Я вовсе не интересуюсь графом... Мы с ним недавно познакомились у Станюковичей; он там бывает и, кажется, ухаживает за кем-то из барышень! По-моему, он просто фат.

Леля вспыхнула и сказала довольно громко:

- Неправда, неправда, вовсе не фат! Я сама прежде считала его хуже, чем он на самом деле...

Но в это время игравший на рояле офицер загремел польский. Катю пригласил какой-то моряк, а Леле хозяйка дома представила юного краснощекого лейх-тенбергского гусара, своего дальнего родственника. Леля танцевала легко и грациозно. Кавалер рассказывал ей о своих воображаемых подвигах в Алминской битве, а она верила на слово и так заинтересовалась его рассказом, что на время забыла даже о графе.

Хозяйка дома, очень развязная барыня, не танцевала, но горячо рассуждала с некоторыми моряками о предполагаемом затоплении судов. Между моряками мнения разделялись.

Хозяйка же была решительно против затопления и говорила горячее всех, как будто сама была капитаном одного из обреченных на гибель судов. В самом жарком месте спора вошел граф Татищев. Как настоящий светский молодой человек, он поцеловал руку хозяйке и, присев в кресло, принял участие в споре, став на ее сторону, хотя, в сущности, мало интересовался вопросом, будут или не будут топить корабли. Он даже высказал мнение, что весь вопрос не в кораблях, а в артиллерии, и вел спор не с одушевлением, которое часто влечет за собою личности и резкие слова, но с непринужденностью и ловкостью - человека, умеющего оспаривать чужое мнение так, что противник чувствует себя вполне удовлетворенным.

- Уои1е2 уоиз (Запзег (вы танцуете)? - спросила хозяйка, довольно плохо владевшая французским языком, но считавшая почему-то неудобным говорить с бывшим гвардейцем и к тому же графом все время по-русски. - Я вас представлю нескольким хорошеньким барышням, - прибавила хозяйка с приветливой улыбкой. - С моей старшей дочерью вы уже знакомы; она сейчас сядет: полька кончается. А вот и моя младшая. Маня, ты еще не знакома с графом Татищевым?

Девочка-подросток, танцевавшая с молодым юнкером и

только что оставившая своего кавалера посреди залы, подбежала, раскрасневшаяся и запыхавшаяся от танцев.

Звуки рояля умолкли, хозяйка подвела графа к старшей дочери, и он, разумеется, пригласил ее на вальс. Но, боясь показаться графу недостаточно светскою, хозяйка решила после вальса представить его еще другим барышням, и прежде всего Леле, не зная, что граф с нею знаком. Леля не казалась ей опасной соперницей ее дочери. "Она почти деревенская, слова не умеет сказать, и граф, конечно, никогда не предпочтет ее моей Кате", - думала Будищева.

Между тем дочь ее неслась с графом в вихре вальса. Леля танцевала теперь с кайим-то штатским, который постоянно сбивался с такта, что очень досадовало Лелю. Пройдя первый тур/ Леля вдруг заметила подле себя голубое шелковое платье Кати и спустя секунду увидела, что Катя танцует с графом Татищевым.

Встреча эта была так неожиданна, что и Леля, и даже граф растерялись. Граф, танцевавший превосходно, сделал не совсем ловкий поворот и задел кавалера Лели. Тот споткнулся на паркете и вдруг грохнулся, увлекая за собою Лелю, которая упала почти к ногам графа и порядочно ушиблась.

Произошел переполох. Со всех сторон бросились кавалеры к месту происшествия. Штатский кавалер Лели так переконфузился, что, поднявшись на ноги, стоял красный как рак, вытирая лоб платком, но не поднимал своей дамы. Граф Татищев, несмотря на некоторое смущение, внезапно овладевшее им при виде Лели, теперь уже вполне владел собою, ловко остановился на месте, оставил свою даму, и, прежде чем кто-либо успел помочь лежавшей на паркете девушке, граф взял ее за руку и легким и быстрым движением, слегка придержав Лелю другой рукой за талию, поставил ее на ноги. Штатский кавалер бормотал какие-то извинения. Граф смерил его взглядом с головы до ног и самым любезным тоном сказал:

- Извиниться перед вашей дамой должен я вместо вас, милостивый государь, - рагсюп, не имею чести знать вашей фамилии, - виноват во всем я, так как я, кажется, сделал неловкий поворот и был невольной причиной этого прискорбного происшествия... Надеюсь, что вы простите мою неловкость? прибавил он, обратясь к Леле.

Леля уже не чувствовала боли от ушиба. Граф давно отпустил ее руку, но она чувствовала еще его прикосновение. Ей не было ни совестно, ни неловко за свое падение, хотя вообще она была самолюбива и больше всего боялась показаться смешною. Она была счастлива, что видит его, и вдвое счастлива потому, что его

весьма понятный поступок после сделанной им же неловкости показался Леле чем-то необычайно рыцарским, великодушным и благородным. Ее штатский кавалер уже стушевался где-то в толпе, к ней подошла с участием хозяйка, предлагая ей уйти в другую комнату; Леля ничего этого не слышала и не понимала, не слышала она и того, как хозяйка представила ей графа и как стоявшая поблизости Катя, перестав кусать губы, проговорила: "Матап, да они были раньше знакомы". Леля немного опомнилась только тогда, когда граф, стоявший перед нею в довольно неловком положении, догадался пригласить ее на мазурку.

- Конечно, непременно буду танцевать мазурку, - сказала Леля, сама не сознавая, что говорит. Хозяйка, думая, что она ошеломлена ушибом, почти насильно увела ее в свою спальню и упрашивала ее раздеться и растереть бок камфарным спиртом или арникой. Леля сказала, что совсем не ушиблась. Именно в это время она снова почувствовала боль в ноге и в боку, но решила не обращать внимания и ушла в уборную. Подойдя к зеркалу, она оправила свой несколько смявшийся костюм и сбитую набок брошку и снова выпорхнула в танцевальный зал, не видя в нем никого, кроме стоявшего в толпе мужчин графа.

Во время мазурки и в ожидании второй мазурки, на которую ее также пригласил граф, Леля говорила мало, но из тех немногих и, по-видимому, ни к чему не относящихся слов граф слишком ясно понял, что эта дикарка, как он называл ее, сделалась вполне ручною и находится в его власти.

- Вы были в бою? - спросила Леля. - Отчего вас так долго нельзя было нигде видеть?

Граф, разумеется, знал от Матвея, что Леля справлялась о нем два раза, и тотчас догадался, что это была именно она, хотя Леля не назвала себя камердинеру и уверяла Матвея, что она какая-то троюродная сестра графа.

- Я был занят службой... Притом после боя чувствуется усталость, какой вы, конечно, не испытываете даже после бала, - сказал граф.

- Это упрек? - спросила Леля. - Вы, верно, хотите сказать: стыдно вам танцевать в то время, когда мы, может быть, готовимся завтра умирать... Но вы напрасно считаете меня такою пустою девочкою. Я приехала сюда не для того, чтобы танцевать и веселиться...

Последние слова Леля произнесла с чувством особенного достоинства, хотя во время мазурки она, имея природный дар к танцевальному искусству, с замечательной отчетливостью следила за движениями своего кавалера в довольно запутанной фигуре, придуманной дирижером танцев гусарским корнетом

Загуляевым.

- Что же другое могло привлечь вас на этот раут? - во время второй мазурки вполголоса спросил граф, слегка наклонив голову, так что Леля чувствовала на своей щеке его горячее дыхание.

- Я хотела вас видеть, - просто сказала Леля.

Граф слегка вздрогнул, и это движение передалось Леле, как электрическая искра.

Затем они стали говорить о совершенно посторонних предметах, и, усаживая взволнованную не столько мазуркой, сколько несколькими отрывочными словами Лелю, граф успел еще сказать ей как бы мимоходом, что завтра утром он поедет на Графскую пристань смотреть, как будут топить корабли.

- Если вас интересует это зрелище, поедем вместе, - сказал граф. - Вы ездите на лошади?

- Еще бы! - сказала Леля. - Когда я была маленькая, я ездила даже по-мужски. Граф улыбнулся.

- Этого не требуется, - сказал он. - Я могу достать дамское седло. У меня есть лошадь очень смирная и как раз для вас. Но, помните, если хотите видеть, как будут топить корабли, надо встать до зари, а ведь теперь уже час ночи.

- Да я все равно не буду спать всю ночь, - сказала Леля. - Меня так мучит мысль об этих бедных кораблях, - поправилась она, боясь, что граф подумает, что она не будет спать, думая о нем.

- Так помните: часов в пять я приеду за вами.

- Лучше пришлите вашего человека, - сказала Леля. - Здесь провинция и будут Бог знает что говорить о нас с. вами. Я скажу, что за мной прислали из дому; мне поверят, так как знают, что у папаши бывают причуды.

- А на пристани вы будете одна? Не могу же я оставить вас там с моим человеком, - сказал граф. - И кроме того, моих лошадей и людей знает весь город.

- Ах, да, как я не сообразила! Конечно, я буду с вами. Ну, так приезжайте вы! Я скажу мадам Будищевой, что уже сто лет знакома с вами, прибавлю даже, что вы мой родственник и что папа просил вас проводить меня.

Разговор их был прерван приближением хозяйки, которая спешила удалить графа от Лели, находя, что он слишком долго занимается этой барышней и слишком мало обращает внимания на ее старшую дочь.

Прощаясь с графом, Леля успела сунуть ему в руку записочку, которую украдкой написала в уборной. Граф сунул записку в карман и, идя домой, забыл о ней. Но, раздеваясь и по привычке

шаря у себя в карманах, где иногда оставлял по нескольку полуимпериалов, он достал записку и прочел: "Устроим так: я выйду в половине пятого, пройду пешком до библиотеки. Там ждите меня, дальше пойдем вместе. Подумают, что мы встретились случайно.

Ваша Леля".

Татищев скомкал записку и бросил на пол.

"Вышло кстати, - подумал он. - Где бы я достал теперь дамское седло? А с казацкого, пожалуй, могла бы упасть и ушибиться больнее, чем вчера на балу. Преглупую рожу скорчил этот дурак, танцевавший с нею, вероятно какой-нибудь семинарист. Но и я хорош! Как это я умудрился толкнуть и свалить этого медведя? Жаль, что он, по крайней мере, не расшиб своей неприличной физиономии".

Граф Татищев даже покраснел при воспоминании о своей неловкости.

XXXVI

Еще с утра того же дня у подъезда красивого, но небольшого дома, именуемого Екатерининским дворцом, где жил князь Меншиков, постоянно являлись то моряки, то казаки, приезжавшие с аванпостов. Утром князь поручил Панаеву съездить в госпиталь и посмотреть на Жолобова и Сколкова, пострадавших в Алминском бою.

Панаев не был трусом, но, войдя в палату, где лежал Жолобов, почувствовал, что у него подкашиваются ноги и холодный пот выступает на всем теле. Кроме Жолобова здесь было еще несколько раненых офицеров. Жолобов лежал под одеялом, его ампутированной ноги не было видно, и вообще он выглядел довольно хорошо, только лицо его было необыкновенно бледно.

Он улыбнулся и слабо протянул руку Панаеву.

- Ну что, как вы себя чувствуете? - спросил Панаев, не зная, что сказать.

- Ничего... Довольно сносно... Глупая штука, в мои лета без ноги остаться! Ну да Бог с ним... Вот что, голубчик Панаев, отыщите, пожалуйста, у меня между вещами карты и книги князя. Я всегда аккуратен и не хотел бы, чтобы из книг князя что-нибудь пропало. Здесь со мною есть две или три, да читать как-то не хочется... Скверное состояние духа, особенно же раздражает, когда слышишь крики и стоны других... Кажется, что снова тебе делают операцию... А моя рана как будто заживает. Вот Сколкову руку оторвало - это, кажется, еще хуже моего, не помню, чуть ли не правую.

- Я сейчас иду к нему, - сказал Панаев. - Светлейший просил

узнать все подробно. Он хотел здесь быть сам, да пропасть дел, ни минуты покоя, а этот Кирьяков, по обыкновению, делает князю неприятности... Книги князя я отыщу и доставлю в сохранности.

- Пожалуйста, голубчик. Идите к Сколкову, думаю, он также ждет не дождется, чтобы кто-нибудь посетил его... Опять начинает жечь. Проклятая рана! Фельдшер! Да где они все, черт возьми!

Панаев кликнул фельдшера, выругав его за медленность, простился с Жолобовым и, отыскав одного из врачей, спросил, скоро ли надеются поправить Жолобова?

- Появились признаки гангрены, должно быть, умрет, - сказал врач, пожимая плечами.

Панаев отправился к Сколкову. Тот выглядел совсем молодцом и даже шутил, называя себя русским лордом Рагланом, так как подобно ему был без одной руки.

Вид раны, жирный запах крови и бред раненых - все это произвело такое впечатление на Панаева, что, выйдя из госпиталя на свежий воздух, он почувствовал себя как бы в раю.

Возвратившись во дворец, Панаев в дверях встретился с выходящим оттуда Нахимовым, который, добродушно улыбнувшись, первый поклонился ему. Нахимов только что перед тем был у князя, который призвал его к себе с целью поручить ему оборону Южной стороны. Корнилову князь поручил Северную сторону.

- Не могу-с, - сказал Нахимов, выслушав князя. - Как вам угодно, не могу-с. Я в пехоте еще не служил-с.

Князь Меншиков был неприятно изумлен этими словами. Он знал по слухам, что Нахимов не поддержал предложения Корнилова выйти в море, но подумал, что, вероятно, Нахимов испугался мысли о затоплении кораблей и поэтому изменил свой взгляд.

- Что означают ваши слова, Павел Степанович? Неужели вы разделяете мнение Корнилова, который из одного упрямства всегда не соглашается со мною? - спросил Меншиков.

- Нет, не могу-с. Готов служить на суше хоть наряду с простыми матросами, а быть генералом на сухом пути не берусь. Я по пехотной части, правду сказать, ровно ничего не смыслю... Рядовым служить могу-с.

- Павел Степанович, я этих слов не принимаю за серьезный отказ, сказал Меншиков. - Надеюсь, что вы исполните возложенное на вас поручение.

- Как угодно-с... - повторил Нахимов, но Меншиков заявил решительно, что не хочет слышать никаких возражений.

Таким образом, Нахимов волей-неволей вынужден был

принять начальство над гарнизоном Южной стороны.

Настало утро 11 сентября.

Осужденные на смерть корабли и фрегаты стояли на своих местах с отвязанными парусами. Несмотря на раннюю пору, на обоих берегах рейда собрались значительные толпы зрителей. Еще с вечера экипажи кораблей съехали на берег. На Северной и на Графской много было баб, торговок и матросских жен; последние плакали и причитали, как будто на похоронах. На Графской было также несколько дам и девиц в ярких шляпках и бурнусах. Леля под руку с графом Татищевым стояла в передних рядах толпы. В другое время зрелище поглотило бы все ее внимание, но теперь она была занята главным образом тою мыслью, что ее сегодняшняя прогулка с графом является до некоторой степени вызовом, брошенным в лицо многим севастопольским дамам и девицам, имевшим виды на богатого, молодого и красивого графа.

"Пускай смотрят на нас и завидуют", - думала Леля, втайне торжествуя и нимало не думая о том, насколько эта утренняя прогулка вдвоем по главной улице Севастополя может повредить ее репутации.

Но вот на палубах кораблей засуетились матросы, забегали корабельные плотники с топорами и с пилами. Стали подпиливать мачты, рубить отверстия в подводных частях кораблей. Угрюмо глядели на это зрелище стоявшие на берегу и на палубах других кораблей матросы.

Но вот зашатался один из кораблей и довольно быстро погрузился в воду, с шумом вспенивая волны и оставляя на поверхности воды обломки мачт. Затем другой, третий...

Вскоре четыре корабля и один фрегат исчезли в морской пучине. К восьми часам утра погрузился еще один фрегат; но корабль "Три святителя" все еще держался. Вода лилась потоками из отверстий, а он все стоял на месте. Более трех часов с ним бились - все было напрасно.

В толпе слышался глухой ропот.

- Хоть один бы оставить! Жить ему хочется, ребята.

- Икону-то чудотворную забыли! Взять икону, сейчас ко дну пойдет! толковали матросы.

- Боевой смерти просит! - говорили офицеры.

Один из матросов вызвался достать чудотворную икону, о которой действительно второпях позабыли. Каюта, где размещалась церковь, была уже полна воды, но матрос все же достал икону. К этому времени корабль начал погружаться, но весьма медленно, так что с берега едва можно было заметить. Наконец было приказано потопить корабль ядрами. Командиру

парохода "Громоносец" выпала на долю эта задача.

- Несчастный корабль! - говорили в публике, сочувствуя этой полосатой громаде, как живому существу. Многие плакали.

С парохода раздался выстрел, другой, третий. Ядра, пущенные на расстоянии меньше чем картечного выстрела, производили в подводной части корабля страшные опустошения. Наконец около часа пополудни корабль "Три святителя" зашатался, волны расступились, запенились и покрыли его. На воде плавали только черные щепы.

Моряки - офицеры и матросы - молча глядели на последнюю агонию стойкого корабля.

Корнилов, собрав на своем корабле флагманов и капитанов, обратился к ним с речью, в которой сравнивал гибель части флота с пожаром Москвы. Многие были тронуты и почувствовали прилив энергии. Корнилов не был заправским оратором, но умел говорить горячо и убежденно даже тогда, когда сам был близок к полному упадку духа. Ободряя других, он чувствовал, что и сам становится бодрее.

Толпа любопытных стала понемногу расходиться. Но до поздней ночи можно было видеть на Графской пристани старого матроса Прокофьича с корабля "Три святителя". Старик сидел неподвижно и все глядел на то место бухты, где под волнами скрылся его родной корабль. Слеза за слезой катилась по его морщинистому загорелому лицу. Его звали товарищи, подошел к нему даже какой-то офицер и окликнул его по имени, но старик не двигался с места и сидел, опустив голову. Когда же совсем стемнело, прохожие, сновавшие у пристани, ясно слышали чьи-то сдержанные рыдания. Старик рыдал как дитя.

Часть третья

I

Вечером Корнилов был у Меншикова, не во дворце, а в домике князя, близ батареи номер четвертый. Меншиков только что отдал приказания генералу Кирьякову и его квартирмейстеру Залескому{83}, а потому был в самом мрачном расположении духа и все повторял адъютантам: "Я уверен, что Кирьяков опять все перепутает, а между тем от движения его дивизии зависит исход дела". Вообще же князь никому не объяснил, кроме своих приближенных, главной сущности своих намерений. Кирьякову он просто отдал приказание идти с вечера к Бельбеку с двенадцатью батальонами пехоты, двумя батареями, двумя полками гусар и казаками. Кирьяков слегка пожал плечами и спросил:

- Что же прикажете сделать, ваша светлость, если мой отряд подвергнется нападению?

- В случае натиска, - сказал Меншиков, - держитесь до тех пор, пока я не извещу вас, что уже прошел Мекензиеву гору.

Кирьяков стал доказывать, что это неудобно и что неприятель легко может перейти Бельбек и очутиться в Северном укреплении раньше, чем Меншиков успеет стать ему во фланг или в тыл.

Это противоречие раздосадовало князя, который в душе и сам не был уверен, успеет ли он выполнить свой план, состоявший в том, чтобы либо зайти наступающему неприятелю во фланг, либо в случае неудачи отступить к Бахчисараю и оставить Севастополь на произвол судьбы.

Меншиков сидел за картой и, плохо зная местность, строил чисто теоретические соображения. За этой-то работой застал его Корнилов.

- Вы поручили мне оборону Северной, ваша светлость, - сказал он князю. - Насколько это зависит от сил моих, я постараюсь выполнить данное мне поручение...

- Хорошо еще, что не отказываетесь, подобно Павлу Степановичу, - сказал Меншиков. - Я ему поручил оборону Южной стороны, а он говорит, что на суше ничего не понимает. Я вот также ношу морской мундир, но не понимаю, как можно так отделять морское дело от военного вообще. Всякий военный должен быть до известной степени энциклопедистом.

Корнилову было не до разговоров о посторонних предметах.

- Ваша светлость, - перебил он князя. - Я был против затопления кораблей, но, покоряясь необходимости, привел эту меру в исполнение с тою, однако, целью, чтобы спасти чудный порт и остальной флот. Боюсь, что и эта цель не будет достигнута. Если верить слухам, вы отдали приказание Кирьякову выступить теперь же к Бельбеку, и, говорят, вся армия выступит отсюда. Является вопрос: куда и зачем?

- Я уже, кажется, сообщал вам, - сказал Меншиков, - что имею в виду важную диверсию, подробности которой я по некоторым обстоятельствам должен хранить в тайне. Я вам оставляю моряков, саперов и резервные батальоны тринадцатой дивизии. Неужели этого недостаточно?

- Не только недостаточно, ваша светлость, но, извините меня, эта мера будет гибельна! Севастополю не устоять, если войска оставят его! Горсть моряков не в силах остановить напор многочисленной союзной армии на Северные укрепления, а по взятии их - нельзя держаться и в самом городе.

- Неприятель не может атаковать Северных укреплений, - ответил князь. Он будет иметь у себя на фланге и в тылу нашу армию. Приказываю немедленно сформировать из корабельных команд батальоны для защиты города.

Князь говорил с такою уверенностью, что Корнилов начал ему верить. С обычной своей энергией он взялся за дело, сформировал из команд затопленных кораблей и фрегатов батальоны, распределил орудия и велел в случае крайности, если неприятель ворвется в Северные укрепления, затопить порох в корабельных крюйт-камерах, если нельзя будет долее держаться.

Вечером в городе и на рейде была суета. Пароходы и гребные суда перевозили войска и орудия, по главным улицам Севастополя двигались во множестве войска и повозки.

В Севастополе распространился слух, что неприятель на следующий день атакует город. Многие уверяли, что всем жителям будет роздано оружие. Некоторые из жителей складывали на возы свое имущество, не зная, удастся ли его провезти, так как ходили слухи, что у нас уже отрезано всякое сообщение с Симферополем. Команды моряков поспешно проходили по улицам, сменяя выступившую из укрепления пехоту.

Князь Меншиков стоял на Графской пристани и лично наблюдал за переправой морских батальонов.

На Южной стороне, на так называемом Куликовом поле, находились войска Кирьякова, которые по приказанию Меншикова должны были составить авангард.

Кирьяков взял с собою только два полка пехоты и столько же кавалерии и не спеша, осторожно подвигался к Бельбеку.

Вечерело. Было отдано строжайшее приказание идти без песенников и громко не разговаривать. Солдаты угрюмо молчали, изредка позволяя себе вполголоса ругнуть товарища, наступившего на пятку. Офицеры перешептывались. Никто не знал в точности, где неприятель: не было сделано ничего, похожего на рекогносцировку.

Отряд Кирьякова уже занимал свои места и собирался расположиться бивуаком, как вдруг на довольно близком расстоянии послышались мелодические звуки зори, без сомнения раздававшиеся из неприятельского лагеря.

- Неприятель! - заговорили офицеры.

- Стой! - скомандовал Кирьяков. - Налево кругом марш! - И, обратившись к своему начальнику штаба Залескому, прибавил: - Я ведь говорил светлейшему, что этим кончится! Черт знает что такое! Только конфузит меня своими бестолковыми распоряжениями! Ведь неприятель уже находится на самом берегу Бельбека. Не знаю, почему не видно костров.

Отряд Кирьякова повернул назад и поспешил за своим начальником, который, проехав мимо рядов солдат, опять очутился впереди. Подполковник Залеский тотчас отправил

казака к Меншикову с донесением, что неприятель так близко, что приказания князя исполнить невозможно.

II

На рассвете прискакал казак с донесением к князю Меншикову. Трудно представить себе гнев и смущение князя. Все планы его оказались построенными на песке.

- Скорее лошадь! - крикнул князь и поскакал на Куликово поле в лагерь. Панаев, вышедший с князем на крыльцо, так и остался там, не успев получить никаких приказаний. Казак едва поспевал за Меншиковым. Прибыв в лагерь, Меншиков узнал, что накануне вечером прибыл отряд под командою генерала Жабокритского, назначенного начальником шестнадцатой дивизии на место раненного в Алминском бою Квипинского.

- Где находится Жабокритский? - спросил Меншиков у одного из полковых адъютантов.

- На Мекензиевой горе, ваша светлость.

- Передайте генералу Жабокритскому, что Кирьяков не исполнил своего назначения, - сказал князь. - Поэтому пусть рассчитывает лишь на свою бдительность, сохраняя позицию до прибытия к нему на смену князя Петра Дмитриевича Горчакова. По милости этого Кирьякова мы потеряли двенадцать часов и теперь, пожалуй, не успеем появиться у неприятеля во фланге и в тылу!

Отослав адъютанта, Меншиков возвратился домой и застал у себя на столе письмо раненого Жолобова. Жолобов просил выслушать его предсмертную просьбу и прислал князю подарок: свой предсмертный труд - маленький карманный планчик окрестностей Севастополя, нарисованный им еще до Алминского боя.

Князь был растроган и немедленно поехал в госпиталь. Жолобов по-прежнему лежал под одеялом. Смертельная бледность разлилась по лицу его. Завидя князя, старший врач заблаговременно явился в палату. Князь подошел к Жолобову и спросил, о чем он хотел просить его. Жолобов слегка приподнялся, опираясь на локоть.

- Я об одном прошу, ваша светлость, пусть меня вынесут из этой духоты на свежий воздух. Так я умру спокойнее. Я уже просил доктора, да не позволяют... Ведь я хорошо знаю, что у меня антонов огонь... Все равно умру...

- Почему же вы не исполните этой просьбы больного? - строго спросил князь доктора.

- Да я, ваша светлость... Опасность простуды... воздух утром очень свежий... - бормотал доктор.

- Тем лучше, - сказал Меншиков, - это освежит больного.

И он начал что-то доказывать доктору, обильно пересыпая свою речь медицинскими терминами. Доктор постарался изобразить на своем лице почтительное изумление. Фельдшерам было велено осторожно перенести раненого в сад.

Меншиков подошел к открытому окну.

- Я вижу, во двор въезжает какой-то флигель-адъютант, - сказал Меншиков. - Кто бы это был? Терпеть не могу этих петербургских посланцев... Да, кстати, доктор, что Сколков?

- Поправляется, ваша светлость.

Приехавший оказался только что прибывшим из Петербурга флигель-адъютантом Альбединским.

Альбединский сказал князю, что послан государем за известиями, и стал жаловаться на дорогу.

- Все бока растрясло, пока доехал из Симферополя, а тут еще боялся, что не попаду в Севастополь: в Симферополе напугали, говорили, что уже прервано сообщение с Севастополем.

- Удивляюсь, как легко верят всякому вздору, - сказал Меншиков. - Я знаю, что об Алминском сражении государю наговорят самые несообразные вещи. Вас прошу об одном: судите по вашим личным впечатлениям и не слушайте, что бы вам ни говорили. Хотите, пойдем взглянуть на других раненых? - прибавил Меншиков, выходя с Альбединским из палаты, где был Жолобов.

Князь с Альбединским обошел раненых. В одной из палат лежал раненый офицер, как оказалось, Владимирского полка и подле него два солдата того же полка.

- Эти молодцы славно работали штыками, - сказал раненый офицер, указывая на солдат. - Если бы их не подстрелили в ноги, не взять бы англичанам наших двух орудий.

Меншиков знал, что государь строго приказал всем генералам исполнять правило Веллингтона: никогда не оставлять на поле битвы ни одного орудия в руках врагов. Поэтому он сильно поморщился от слов ротного командира, но, желая скрыть от Альбединского свою досаду, притворно выразил удовольствие и поздравил обоих солдат унтер-офицерами. Затем он поспешил опять домой, пообедал и вместе со всей своей свитой отправился в лагерь. Перед отъездом князь призвал своего ординарца - лейтенанта Стеценко и приказал ему ехать к Корнилову на Северную.

- Сообщите адмиралу, что я выезжаю в лагерь, - сказал князь. - Когда стемнеет, мы начнем известное Корнилову движение. Поспешите возвратиться назад. Вы останетесь при мне. Князь Ухтомский{84} и другие, о которых я говорил вам раньше, причислены к штабу Корнилова. Они слишком молоды для того,

чтобы их подвергать опасности нашего похода.

Накануне того дня, вечером, Корнилов был в самом мрачном расположении духа. Но он сел писать письмо жене, которой писал ежедневно хоть несколько строк, в виде дневника, отсылая журнал нескольких дней как одно письмо. На этот раз он писал, не зная даже, дойдет ли письмо в Николаев, так как, по слухам, сообщение с Симферополем было уже отрезано. Курьер поехал в Ялту.

Корнилов еще писал письмо, когда в кабинет вошел флаг-офицер Жандр. Видя, что адмирал занят, Жандр хотел уйти, но Корнилов, не отрываясь от письма, сделал ему знак остаться. Окончив и запечатав письмо, Владимир Алексеевич спросил Жандра: знает ли он, что Меншиков оставляет с армией Севастополь?

- Слухи носятся, Владимир Алексеевич, да трудно поверить...

- К сожалению, это истина, - сказал Корнилов. - Князь помешан на диверсиях и фланговых движениях. Под Алмою также без толку двигали войска с запада на восток и обратно, пока наконец неприятель не перешел речку!.. Делать нечего. Мы, моряки, остаемся защищать Севастополь: может быть, устоим против двадесяти языцев... Я вас хорошо знаю и уверен в вас, а потому от вас не стану скрывать трудности нашего положения... Вы знаете, с Северной стороны ретирады{85} нет, все, кто туда попал, ляжем навеки!

Жандр молчал. Корнилов также помолчал немного, быстро зашагал по комнате, потом снова сел и сказал задумчиво, как бы про себя:

- Смерть не страшит меня, а беспокоит одно только: если ранят... не в состоянии будешь защищаться... возьмут в плен!

Он снова зашагал по комнате.

- Владимир Алексеевич, - сказал Жандр после некоторого молчания. Осмелюсь ли я обратиться к вам с великой просьбой...

- Говорите, пожалуйста.

- Позвольте и нам, то есть вашим флаг-офицерам, перебраться с корабля к вам на Северную.

- Меня радуют ваши слова, - сказал Корнилов, - но я бы не хотел, чтобы со мною и вас всех перебили. Лучше вы разделитесь так: один - на телеграфе, один - на корабле, один - при переправе и один - при мне...

- Владимир Алексеевич, это невозможно! Добровольно никто из флаг-офицеров не останется на Южной стороне, когда вы будете на Северной.

- Ну так я отдам приказ, где кому быть, - сказал Корнилов.

На следующий день Стеценко явился к Корнилову от

Меншикова с извещением, что князь выступает с армией. Стеценко застал Корнилова близ батареи № 4, в домике Меншикова, где теперь поселился Корнилов.

Корнилов не любил Стеценко, как и всех, кто слишком угождал Меншикову, хотя и ценил способности лейтенанта. Он принял посланного довольно сухо и спросил: едет ли он вместе с армией?

- Разумеется, - ответил Стеценко. - Светлейший велит мне быть неотлучно при нем.

- Передайте князю, что весь Севастополь будет с нетерпением ждать скорейшего возвращения его светлости, - сказал Корнилов. - Время теперь критическое, и без армии здесь сделать ничего нельзя. Да поможет Бог князю побить или хоть потревожить Сент-Арно, но, ради всего святого, пускай князь постарается как можно скорее вернуться в Севастополь. Передайте все это светлейшему!

- Слушаю, - по-армейски отчеканил Стеценко и поспешил к князю.

III

Часу в четвертом пополудни двинулись наши войска с Куликова поля, начав знаменитое фланговое движение, о котором впоследствии так много говорили и у нас, и за границей.

Войска наши шли не по дороге, а несколько левее ее, по каменистому грунту. Всюду виднелся колючий терновый и кизиловый кустарник, потом показался и молодой дубняк.

Войскам было приказано соблюдать тишину, а потому все разговоры, даже между офицерами, шли вполголоса.

Солдаты ограничивались большею частью короткими замечаниями вроде:

- Ну, жарко!

- Эх, леший, тут все ноги об камни обобьешь!

- Скоро ли вода-то, ребята, пить страсть хочется?

- А кто его знает?.. Разве знаешь, куда ведут?

- Куда прикажут, брат, туда и пойдем. Ну, натер ногу, шут ее дери... совсем разопрела.

- Смирно, кто там разговаривает? - раздается сдержанный голос ротного командира, и разговоры совсем прекращаются.

Показались какие-то белые домики, и наконец войска пошли по дороге к Бахчисараю. Князь Меншиков послал приказание Кирьякову сойти с Сапун-горы и соединиться с остальной армией. Сам же Меншиков со своей свитой устроил привал на хуторе Бракера, покинутом обитателями. Напившись чаю, князь еще несколько времени ехал верхом, но, обогнув Сапун-гору, пересел в экипаж и шагом поехал в хвосте колонны. Адъютанты князя, разосланные всюду, вновь подтвердили строжайшее приказание,

чтобы движение было вполне секретное. Вероятно, потому было запрещено даже курить трубки.

Наступили короткие южные сумерки.

Вот по направлению к Мекензиеву хутору движется Тарутинский полк. Подошли к речке, которую пришлось перейти вброд. Вода наполнила голенища сапог, да и вообще купание в подобных обстоятельствах не представляло ничего привлекательного. Солдаты выбирали места, где можно было найти брод помельче, но начальство торопило, а какой-то плотный, скуластый полковник, несмотря на приказание говорить тихо, не выдержал и стал громко ругаться.

- Ему, братцы, небось хорошо, - прошептал один солдат, - сам на лошади, а ты иди как хочешь...

- Сказывают, брат, что как ни иди, а броду тут не миновать, флегматически отвечает другой солдат.

- Говорят, раз пять еще придется перейти... - уныло замечает третий.

Но все идут в воду не разуваясь, сапог липнет к ноге, по выходе на берег кажется, что к каждой ноге прибавилось полпуда весу. Пройдя далее, снова встретили гусар, которые стояли держа лошадей в поводу. Затем прискакал какой-то адъютант, поговорил с одним из полковых командиров, и полк остановился. Потом было приказано разместиться в кустах, для чего пришлось карабкаться по довольно крутым холмам, поросшим густым кустарником.

К сумеркам мимо этой позиции поехали гусары поить лошадей, но вдруг, не напоив их, стремглав бросились назад, завидев, как им показалось, в отдалении неприятеля.

.Между тем у Сапун-горы произошла настоящая сумятица.

Получив приказание Меншикова сдать свою позицию Жабокритскому и соединиться с Горчаковым, Кирьяков был поставлен в затруднительное положение, так как ему не было указано, куда идти, да и пройти было довольно мудрено. Кирьяков сунулся с горы рассыпным порядком и прямо врезался в колонну Горчакова. В темноте ничего нельзя было разобрать, и колонна была в нескольких местах прорвана, местами вынуждена была остановиться. Тут уже не помогли никакие запрещения; поднялся крик и шум. Кому отдавили ногу, кто спасался от наехавшей на него повозки, ротные командиры выбивались из сил, стараясь не кричать и опрашивая солдат, чтобы отделить своих от чужих. Трудно разобрать, кто был виноват в этой путанице: Кирьяков, взбешенный тем, что Меншиков велел ему очистить позиции для Жабокритского, или сам Меншиков, отдавший это приказание с досады на Кирьякова. Еще раз

оправдалась пословица, которую часто вспоминали по поводу ссор между князем и Кирьяковым: когда паны дерутся, у хлопов чубы болят. Из-за ссоры с Кирьяковым Меншиков даже не потрудился узнать, где находится неприятель. А неприятель шел у него чуть ли не по пятам.

Князь Петр Горчаков, ехавший во главе своей колонны, терпеть не мог Кирьякова и, узнав, что по милости его произошла остановка, так разгневался, что сам отправился на Мекензиеву гору узнать, в чем дело, и сказал своим адъютантам, что был бы готов разорвать Кирьякова. Поднявшись до половины подъема горы, князь Горчаков увидел, что колонна уперлась в какую-то сломанную повозку, с которою возились солдаты.

- Это еще что такое? - напустился Горчаков на бывшего тут офицера. Что вы ее не сбросите? Задерживать массу войска из-за такой дряни?

- Это повозка генерала Кирьякова, - ответил офицер.

- А? Кирьякова? Опять Кирьякова! Тьфу ты, пропасть! Ссунуть ее ко всем чертям в овраг!

Делать нечего, солдаты сбросили генеральскую повозку, и колонна взошла на Мекензиеву гору.

Затем Горчаков отправился к Меншикову, а Кирьяков к этому времени взошел на возвышенность, в противность приказанию Меншикова - не разводить костров - не только велел варить себе ужин, но, сверх того, приказал зажечь кустарники, чтобы, по его словам, испугать неприятеля. Костры запылали, солдаты повеселели и стали разуваться и сушить портянки, как вдруг прибыл один из адъютантов Меншикова с приказанием от князя залить костры.

- Это черт знает что такое! Даже поужинать не дадут! - кипятился Кирьяков и медлил исполнить приказание, пока не явился к нему сам князь Горчаков, подтвердивший слова адъютанта и передавший Кирьякову новое приказание Меншикова - идти немедленно за Жабокритским и расположиться возле места, куда придет Жабокритский.

- Да что это, в самом деле, светлейший воображает, что я могу идти всю ночь, - сказал Кирьяков, окончательно теряя терпение. - Ужинать не дают, повозку мою сбросили! Не могу идти в такую ночь. Черт знает что!

- Оставьте ужин, - сказал Горчаков. - А если вы не можете идти, старший полковник поведет ваш отряд.

Кирьяков смирился и сердито проворчал, что сейчас сам поведет войска, в пику Меншикову прошел мимо Жабокритского и шел дальше до тех пор, пока за ним не послали адъютанта с приказанием остановиться, а не то он, пожалуй, шел бы до самого

Бахчисарая.

Уходя с Сапун-горы, Кирьяков оставил батальон тарутинцев при четырех орудиях на Инкерманском спуске. Во время описанного переполоха об этом батальоне забыли да так и оставили его.

IV

В лесистой и каменистой местности, находящейся между реками Бельбеком и Черной, происходило движение не одних русских войск. Утром двенадцатого числа из Севастополя можно было видеть, что неприятель спустился в Бельбекскую долину, а на следующее утро союзная армия двинулась к Мекензиевой даче. Неприятель также совершал фланговое движение. С помощью компасов с- большим трудом двигались союзные войска, не зная ни дороги, ни расположения русской армии. Кустарник местами был так густ, что английским гусарам, составлявшим авангард, пришлось ехать врассыпную. Следовавшая за гусарами, которыми командовал лорд Люкан, английская пехота стала обнаруживать нетерпение, так как запасы воды истощались. Когда уже значительно приблизились к высотам Мекензиева хутора, в рядах англичан вдруг послышался гневный ропот, явно слышались слова: "Water! Water! (воды! воды)!" Английский главнокомандующий лорд Раглан не слышал этих криков, так как отъехал со своим штабом несколько в сторону и очутился на холме почти у самой Севастопольской бухты. С высоты холма он ясно видел темно-синие воды Большого рейда, видел часть флота, великолепные доки и притаившиеся, как зверь в своем логовище, береговые батареи. Несколько сзади виднелась Северная с ее звездообразной крепостью, а на юге, за Корабельной слободкой, раскинулся и сам Севастополь, со своими улицами, холмами, светлыми зданиями и зелеными куполами церквей. Нигде не было заметно присутствия русских войск. Лорд Раглан окончательно решил продолжать свое фланговое движение. Обогнав свою пехоту и артиллерию и оставив в стороне сбившихся с дороги английских гусар, лорд Раглан со своей свитой поехал по направлению к Мекензиевой даче по более короткому пути, воображая, что гусары значительно обогнали его. Вдали виднелся лес. Генерал Эри попросил у Раглана позволения поехать несколько вперед и посмотреть, что делается в лесу, так как там был слышен шум колес и какие-то восклицания. Несколько секунд спустя генерал вдруг остановил своего коня и, не говоря ни слова, сделал рукой знаменательный жест. И было отчего: проехав небольшую рощицу, Эри вдруг увидел почтовую дорогу и на ней, в расстоянии каких-нибудь ста шагов от себя, заметил русский обоз и при нем пехоту в странных одеяниях.

Обоз стоял на месте, русские солдаты (это был черноморский резервный батальон) расположились на траве. Многие, по-видимому, сладко спали. Оглянувшись назад, Эри увидел, что за ним по пятам едет английская артиллерия; шум колес ее должен был в скором времени разбудить русских солдат, которые, скрываясь за кустами и деревьями, легко могли бы перестрелять всю артиллерийскую прислугу.

Лорд Раглан понял молчаливый жест генерала и вполголоса приказал немедленно послать за своими гусарами, хотя и не знал, где они находятся. Сам он и его свита поспешили сойти с лошадей, тихонько отвели их несколько назад и остановились, скрываясь за деревьями. Русская пехота, по-видимому, ничего не заметила и продолжала предаваться покою. Посланные лордом Рагланом офицеры отыскали гусар, хотя и не тех, которым было велено идти в авангард. Наконец по чистой случайности прибыл и лорд Люкан со своими гусарами. Лорд Раглан с досадою сказал ему: "Вы опоздали!" Люкан не ответил ни слова и поскакал вперед.

Между тем вот что происходило в той части нашего обоза, которая была таким образом застигнута англичанами.

За полчаса до прибытия англичан хвост нашей колонны остановился на опушке леса, устроив привал. Здесь находились парковые повозки, обоз гусарского Веймарского полка и повозки владимирцев. Кроме прислуги тут было еще прикрытие из черноморских пеших казаков, иначе называемых пластунами. Находясь далеко от глаз высшего начальства, так как Меншиков со своей свитой в это время был уже в селении Отаркиой, наш арьергард мало соблюдал предписанную осторожность и заменил ее чисто русской беспечностью. Поставив нескольких часовых, пластуны преспокойно улеглись спать, прислуга разбрелась по кустам и меж повозками, и даже бывший здесь артиллерийский капитан Кузовлев расположился с несколькими младшими офицерами на траве пообедать и выпить.- Будучи артиллеристом, которые славились по всей армии своею порядочностью, капитан Кузовлев мало походил на своих товарищей. Быть может, и капитан имел достоинства, но, к сожалению, они стушевались "перед неумеренным поклонением Бахусу, о чем ясно свидетельствовал сизо-красный нос капитана и его сиплый бас, нечто вроде того, что немцы называют "пивным басом", хотя Кузов-лев пил не пиво, а попросту водку.

На этот раз Кузовлев также не удержался и, несмотря на то что внешняя температура напоминала скорее июнь, чем сентябрь, стал пропускать рюмку за рюмкой под тем предлогом, что продрог ночью, во время переправы через речку. Молоденький

гусарский офицер, все время хлопотавший близ обоза, попал также в число приглашенных к капитанскому завтраку, но остановился на второй рюмке.

- Вы это что же, господин корнет, - пробасил Кузовлев, - совсем осрамились! А еще гусар!

- Ей-Богу, не могу, господин капитан, очень уж жарко!

- Ну, третью для компании! Бог любит троицу!

- А знаете, господа, - говорил один из офицеров, - я слышал, тут водятся фазаны. Если бы не это проклятое секретное движение, отлично бы поохотиться! А теперь, того и гляди, приедет какое-нибудь начальство и придерется к тому, что мы здесь завтракаем.

- Что же, вы думаете, запах нашего завтрака привлечет французов? сказал другой.

- Еще бы! Они, я думаю, голодны как волки. У нас казаки поймали татарина, который перебежал было к союзникам. Говорят, у них насчет запасов - швах!

- Будут, подлецы, мародерничать!

- Да, слышали вы, господа, какая ночью была история? - сказал один из офицеров.

- А что такое? - спросили хором несколько голосов.

- Да вот что: мне рассказывал об этом приезжавший не знаю зачем полковой адъютант, кажется, Тарутинского полка. Слушайте, господа, это интересно!

Офицеры столпились вокруг рассказчика.

- Видите ли, дело было минувшей ночью. Один из батальонов расположился в кустах. Солдаты спали спокойно. Кругом - тишь, только слышалась трескотня кузнечиков. Вдруг на правой стороне дороги, подле речки, раздался стон или вопль. Некоторые из солдат проснулись и стали вслушиваться. Потом проснулись и офицеры. Все недоумевали. Один солдатик пошел в кусты, заметил казака, который пробирался к Инкерманскому мосту. Казак удивился, увидев своего, и говорит: убирайтесь поскорее, наши отступили, я искал своих товарищей и, пробираясь по-за хатами, видел французов. Солдат, услышав это, бежит прямо к батальонному и говорит: так и так, ваше высокоблагородие...

- Постойте, каким образом могли французы очутиться там так скоро? спросил другой офицер и, указав тихонько на капитана Кузовлева, шепнул: - А ведь наш капитан того!

Вдруг один из пластунов что-то крикнул, затем прислуга, бывшая у парковых и офицерских повозок, засуетилась. Офицеры также повскакивали и схватились за ружья. Кто-то приказал: "Растолкать спящих!!!" "Разбирай ружья, стройся!" - кричал другой. Капитан Кузовлев также встал и, промычав что-то,

пробовал идти, но его ноги выводили какие-то замысловатые фигуры. Произошел общий переполох. Внезапно из лесной чащи вынырнули как привидения английские гусары и еще какие-то солдаты в громадных медвежьих шапках.

- Неприятель, неприятель! - кричали застигнутые врасплох офицеры и бросились к своим повозкам. Молоденький гусарик, не помня себя от страха, вскочил в первую попавшуюся повозку, запряженную тройкой, и велел сидевшему в ней солдату лупить во весь дух.

Подоспевшая английская артиллерия пустила ядро, раздробившее одну повозку. Англичане, бросившиеся значительной толпой на повозки, рубили безоружную прислугу и грабили офицерское добро. Пластуны начали стрелять, но, видя, что неприятель слишком силен, рассыпались в кустах. Один только капитан Ку-зовлев, чувствуя, что ноги ему не повинуются, покорился своей участи и сел на траве, ожидая англичан, которые с торжеством подхватили его и повели к лорду Раглану, бывшему шагах в ста от этого места. Лорд Раглан, весьма довольный тем, что удалось взять в плен русского офицера, обратился к капитану на французском языке: кто он и с какой частью войск они имели дело? Но как только державшие капитана под руки английские гусары отпустили его, Кузовлев вновь почувствовал трудность соблюдать равновесие, пройдя несколько шагов, по-русски выругался и сейчас вслед за тем объяснил по-русски, же лорду Раглану, что любит его от всей души как честный офицер.

Лорд Раглан, уважавший в каждом офицере, хотя бы и неприятельском, прежде всего джентльмена, не вынес этого зрелища, с негодованием отвернулся и отъехал прочь.

Между тем молоденький гусарик мчался во весь дух в своей повозке. За ним по следам лупила повозка командира веймарских гусар, и вскоре их нагнала дюжина гусар, мчавшихся марш-маршем. Другие повозки частью попали в руки неприятеля, частью были раздроблены в щепы ядрами, а некоторые просто покатились с горы в овраг вместе с лошадьми. Гусарик с несколькими скакавшими за ним верховыми был впереди всех, доехал до реки и, не долго думая, пустился через реку, где, по счастью, оказалось лошадям только по брюхо, потом въехал на бугор и, промчавшись таким образом по горам и по долам, очутился как раз на холме, где была раскинута палатка князя Меншикова. Не замечая этого, гусарик мчался дальше, и его едва остановили. Он был сильно испуган и дико озирался по сторонам. Убедившись наконец, что он среди своих, гусарик радостно вскрикнул:

- Ну, слава Богу! Ускакал! Ах какая лихая тройка! Уж я

думал, генеральские отстанут... А там остальные все пропали, людей порубили, повозки поломали.

Князь насилу добился, в чем дело, и велел Панаеву расспросить гусарика подробно.

- Что же с парком? - спросил Панаев, когда юный корнет несколько пришел в себя.

- А, право, не знаю... Мы сделали привал. Со мной - двенадцать гусаррв. Вдруг на нас бросаются французы или англичане - не знаю, в больших медвежьих шапках. Мы скорей скакать! Наткнулись на парк. Туда-сюда, насилу выбрались. Парковые повозки пошвыряли с дороги. Едва я спас две офицерские повозки...

- Чьи?

- Одна - полкового командира, другая - моя. Да и славные же лошади!

- Что же ваши гусары?

- Все со мной пришли.

- Много ли на вас напало? - спросил Меншиков, хмуря брови.

- А, право, не знаю, ваша светлость, кажется, и не много.

- Что же ваше прикрытие? С вами были и два орудия.

- Да я и не догадался...

- Ступайте к себе в полк! - сказал князь.

В это время прискакал и гигант кучер из гусарского обоза. Это был мужик-бородач атлетического телосложения. Соскочив с лошади, которая едва выносила бремя такого седока, кучер стал отвечать на допрос князя.

- Ну добра лошадь! - сказал он для начала. - Слава Богу, ускакал, а кабы да на пристяжной, так нет! Там и осталась, сердешная. Ну уж страсти! Насмотрелся! Во шапки! (Он показал величиною чуть не в сажень.)

- Многих убили? - спросил князь.

- Страсти Господни! Как секнет - с Терешки башка долой. Секнет - Степан покатился. Никому нет пардону! Вижу, неладно. Я с возу, хвать за оглоблю, оглоблю-то перешиб, лошадь и выскочила. Я на нее как сигну и да как припущу! А ён за мной пушкой: "буц! буц! буц!" Да, видно, мимо.

- Что же парк?

- Да, я чай, никто не выскочил! Они пардону не дадут.

- Как же это ты, братец, оглоблю переломил? - сказал князь. - Стало быть, есть у тебя сила?

- Да есть-таки дарование! Сгоряча я хватил: когда тут, думаю, рассуждать! Напер на оглоблю, она и треснула.

- А что, взять бы тебе оглоблю да отлущить француза? - сказал Панаев.

- Нет, барин, уж больно страшно! - ответил силач, вздрогнув и покачав головой. - Во шапки! - прибавил он, снова показывая руками.

- Шапки ею ты испугался? Да тебе, брат, на одну ладонь мало трех таких шапок.

- Пожалуй что и мало! - вдруг согласился кучер, как бы впервые поняв неосновательность своего испуга.

- Так что же ты?

- Да что делать! - сказал Силаев, на этот раз совсем уже устыдившийся собственного страха, и ушел, почесывая затылок.

Между тем прискакал и командир парка полковник Хамрат, георгиевский кавалер, которого насилу разбудили в то время, когда англичане уже начали грабить наш обоз.

- Да что у вас там? - спросил его князь Меншиков, думая, что хоть от него добьется толку.

- Вот как есть остался! - отчаянным голосом произнес Хамрат.

- Как? Что?

- Ни нитки не осталось! Нечем переодеться! Я в одной рубашке!

- Да черт возьми, господин полковник, - воскликнул Панаев, позволявший себе многое в присутствии благоволившего ему князя Меншикова, - вас спрашивают о парке, а не о ваших вещах!

- Да, в парке пропало двенадцать повозок. Мы сами в этой путанице много поломали... Говорят, пропало много офицерских вещей.

Действительно, оказалось впоследствии, что весь офицерский обоз Веймарского полка попал в руки английских солдат, которые радовались, как дети, рассматривая доставшееся им добро.

Меншиков отправил в Севастополь состоявшего при его штабе капитана Лебедева хлопотать о пополнении парка и известить о позиции нашей армии.

С утра в Севастополе всюду замечалась лихорадочная деятельность.

Князь Барятинский{86}, один из флаг-офицеров Корнилова, находился на наблюдательном пункте, на Северной стороне, вместе с юным мичманом князем Ухтомским, который был при нем в роли сигнального офицера. Поставив флагшток, они давали сигналы о движениях неприятеля. Жандр производил такие же наблюдения и давал сигнал с библиотеки.

На Южной оборонительной линии работавшие здесь солдаты в первый раз увидели всадника в сюртуке и контр-адмиральских эполетах, в панталонах без штрипок, закатившихся чуть ли не по колено и обнаруживших белье, в шапке, сбившейся на затылок. Это был назначенный Меншиковым командиром всей Южной

стороны вице-адмирал Павел Степанович Нахимов. Ехал он задумчиво в сопровождении одного лишь своего адъютанта Фельдгаузена{87} и осматривал укрепления.

- Что бы я дал за то-с, чтобы понимать все, как Владимир Алексеевич, сказал Нахимов. - Смотрю и, быть может, не замечаю самого главного-с. Вот вижу, орудия лежат на земле, подле амбразур, - должно быть, тут хотят возвести новые укрепления... Надо спросить Тотлебена, это золотая голова-с... Ну, посмотрел, довольно-с... Едем теперь к генералу Моллеру{88}.

Поехали к Моллеру, который официально считался командующим войсками в Севастополе, подобно тому как Станюкович официально был командиром порта.

Старик Моллер сам был в переполохе. Он принял Нахимова весьма радушно и хотел прежде всего угостить завтраком, но тот наотрез отказался.

- Вот лучше скажите мне, генерал, какой принят вами план обороны-с? Я ничего не знаю: его светлость дал мне совсем неподходящее назначение-с. Морскими чинами, предназначенными защищать батарею, буду командовать охотно-с. Вот надо бы пополнить запас пороха и снарядов. Для подвоза всего этого-с на батареи надо повозок, лошадей и волов-с. Прошу вас распорядиться, чтобы жители Севастополя все это нам доставили в самый короткий срок-с.

- Но как же это сделать, ваше превосходительство? - спросил Моллер. Для такой реквизиции необходимо сперва объявить город состоящим в осадном положении. Так по закону. Я вам, если хотите, укажу статью свода военных постановлений...

- Объявляйте что, хотите, ваше превосходительство, - с нетерпением сказал Нахимов. - Дело не в этом-с. Я знаю одно: нам нужны повозки, а там как хотите, в осадном положении или без осадного-с.

- Надо бы собрать военный совет, - сказал Моллер. - Я приглашу всех генералов, адмиралов и начальников дистанций оборонительной линии.

- Как угодно-с, а на первый случай мне нужны повозки, волы и лошади, о чем прошу объявить-с всем жителям города...

- Но вы не откажетесь прийти на совет?

- Приду, приду-с, - добродушно сказал Нахимов, - но чтобы мне были повозки-с!

Моллер обещал и сел сочинять приказ.

Военный совет, на котором присутствовал и Нахимов, был непродолжителен. Ждали Корнилова, но он не явился, так как был слишком занят обороной вверенной ему Северной стороны. Без Корнилова на совете хотя и было одушевление, но не было

руководителя. Все говорили, что надо бороться до последней крайности, что необходимы решительные меры, но ничего серьезного никто не предлагал. Все как бы ждали, что в последнюю минуту явится настоящий распорядитель, который разместит войска и воодушевит гарнизон.

На Северной стороне между тем кипела работа. По распоряжению Корнилова подвозили с кораблей и фрегатов цистерны для воды, воду и провизию, а для перевязки раненых доставлялось с каждого судна по бочонку уксуса, смешанного с водкою: этим первобытным средством заменяли современную нам карболовую кислоту. В разных местах были учреждены перевязочные пункты. Пароходы были расположены таким образом, что в случае взятия неприятелем Северного укрепления они могли своей пальбой обеспечить отступление нашей армии. Окончив свои приготовления, Корнилов уже гораздо спокойнее прежнего ждал неприятеля.

- Теперь у меня десять тысяч наших моряков, взятых с кораблей, говорил он Тотлебену, наскоро позавтракав и отправившись вместе с ним на наблюдательный пункт. - Укрепления в надежном виде, не правда ли?

- О, в самом отличном! - весело потирая руки, говорил Тотлебен. Тотлебен всегда был весел, хотя лучше всех видел все недостатки обороны и втайне думал, что неприятель без труда может ворваться в Северное укрепление и оттуда разгромить весь Севастополь. Эта мысль не мешала Тотлебену понукать рабочих и с тем же веселым добродушием отвечать на вопросы Корнилова.

- Если армия сделает свое, я надеюсь отдуться, - сказал Корнилов. Жаль, что нельзя понять намерений князя Меншикова. С моря мы недосягаемы, особенно с тех пор, как обратили прекрасный Севастопольский рейд в озеро.

Последние слова Корнилов произнес с легким дрожанием в голосе.

- Что у вас вчера была за перестрелка? - спросил Тотлебен. - Я был на Южной стороне и не успел узнать.

- Да это Волохова башня перестреливалась с неприятельскими десятью пароходами. Кончилось тем, что наши ядра летали далее их и они со стыдом ушли..."

Подававший сигналы мичман князь Ухтомский вдруг объявил, что из города дают сигнал поставить батарею для защиты Инкерманского моста, сломать мосты и запрудить Черную речку, а также укрепить Малахов курган и Килен-балку.

- Что бы это значило? - спросил Корнилов, переглянувшись с Тотлебеном. - От кого сигнал?

- От вице-адмирала Станюковича, по приказанию его

светлости князя Меншикова.

Тотлебен по просьбе Корнилова немедленно отправился в город, чтобы узнать подробнее, в чем дело.

Прибыв на библиотеку, где находились флаг-офицер Жандр, другие офицеры и много посторонних лиц, Тотлебен увидел великолепное, но зловещее зрелище.

Почтовая дорога, спускающаяся с Инкерманских высот к каменному Трактирному мосту на реке Черной, была запружена неприятельскими войсками. По Мекензиевой даче, как кровавые пятна, виднелись красные английские мундиры, и тысячи штыков сверкали на полуденном солнце; казалось, весь лес, покрывавший гору, движется вместе с неприятельскими войсками. Было слишком ясно, что, оставив мысль атаковать Северную сторону, неприятель намерен двинуться по направлению к Балаклаве и расположиться лагерем на Южной стороне Севастополя. Тотлебен отлично знал состояние работ на Южной оборонительной линии. Он знал, что эти работы настолько подвинулись, что сильная армия, укрываясь за этими окопами, могла бы удержать неприятеля. Без армии здесь, разумеется, ничего нельзя было сделать, но можно было убедить Корнилова перевести сюда свои войска. Сообразительный ум Тотлебена мгновенно оценил значение грубой ошибки, которая была сделана союзной армией, отказавшейся атаковать Севастополь с севера. Тотлебен поспешил к Корнилову, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями.

Еще до прибытия Тотлебена Корнилов послал пароход "Владимир" для наблюдения за неприятелем и для обстреливанья плотины и моста через Черную речку. Корнилов уже значительно ободрился и повеселел, после же разговора с Тотлебеном стал делать приготовления к передвижению войск. Зато Нахимов, узнав о движениях неприятеля, был в самом мрачном расположении духа. Видя, что опасность перешла с Северной стороны на Южную, Павел Степанович еще более почувствовал тяжесть возложенного на него бремени и внутренне, проклинал князя Меншикова.

Надо заметить, что еще за день перед тем, когда все думали, что неприятель прямо с Бельбека пойдет на Северное укрепление, Нахимов с согласия Корнилова и других начальников велел прорубить отверстие в подводной части всех уцелевших кораблей и фрегатов и заткнуть их пробками, с тем чтобы в случае невозможности держаться потопить весь флот в течение какого-нибудь получаса. Теперь под влиянием овладевших им мрачных мыслей Нахимов придумал еще более решительные меры. Он велел привязать к кораблям смоленые кранцы и в случае крайности зажечь их, лишь бы не отдать неприятелю.

Поздно вечером возвратился Нахимов с оборонительной линии в свой дом, где жил отшельником, имея при себе лишь своего неизменного денщика. Сюда Нахимов недавно переселился со своего корабля.

Не раздеваясь, он прилег на диване, как вдруг из окна увидел полет трех ракет и затем услышал три выстрела с Николаевской батареи - сигнал общей тревоги.

Весь гарнизон Севастополя всполошился от этого сигнала, за которым последовала тишина. Все недоумевали и спрашивали друг друга: где же неприятель? Приехал и Корнилов с Северной стороны узнать, в чем дело. Вскоре все разъяснилось: оказалось, что мы приняли своих же солдат за неприятеля. Это были солдаты того самого тарутинского третьего батальона, который второпях был оставлен Кирьяковым посреди дороги. Офицеры батальона, собравшись в морском клубе, рассказали следующее:

"Наш батальон расположился вчера ночью в кустах. Солдаты спали. Огней не раскладывали, так как было запрещено. Всякий из нас от утомления прилег вздремнуть прямо на траве у ружейных козел. Не спали одни только часовые у знамен, да и те с завистью смотрели на товарищей. Вдруг слышим топот, прибегает казак и говорит: уходите... французы! Видим в отдалении каких-то солдат, которые собираются поить лошадей. Вскоре заметили, что их гораздо больше, чем наших, а где другие наши батальоны, известно одному Аллаху. Солдаты, вскочив со сна, засуетились, оторопели и стали торопливо строиться. При выходе на дорогу батальон было побежал, но наш командир заскакал вперед, саблей остановил передних, привел все в порядок и повел нас! Неприятель прошел как-то мимо, не заметив нас. Нигде не видя света, мы стали постепенно ретироваться. С нами были четыре орудия и часть обозов. Когда приблизились к городу, мы зажгли факелы, думая, что нас узнают, но эти-то факелы и произвели фальшивую тревогу".

Из отрывочных разговоров с офицерами Нахимов окончательно пришел к убеждению, что Южной стороны отстоять нельзя. Он возвратился домой, но ему не спалось. Рано утром Павел Степанович отправился на свой корабль "Двенадцать апостолов".

- Добыть мне писарей со всех кораблей, - сказал Нахимов и, хотя чрезвычайно не любил писать, собственноручно написал приказ такого содержания: "Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизону; я в необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на тех команды, с абордажным оружием, присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них

будет драться как герой. Нас соберется до трех тысяч, сборный пункт на Театральной площади. О чем по эскадре объявляю".

Написав этот приказ, Нахимов подозвал к себе своего адъютанта Фельдгаузена и сказал ласково и почти шутливо:

- Ну-с, теперь, молодой человек, нам с вами один исход: идти на батареи и подставить грудь. Убьет ядро - хорошо-с, пуля убьет - и это не дурно-с. По крайней мере, умрем-с как честные люди.

- Павел Степанович! С вами вместе и умирать не страшно.

- Вот прочитайте, что я тут написал-с. Много писать нечего-с. Думаю, выразил общие мысли всех моряков.

- Павел Степанович, к нам Корнилов едет, - сказал матрос, снимая шапку, когда подошел совсем близко к Нахимову.

- Милости просим... А вот и писаря едут в другом катере.

Корнилов приехал объявить Нахимову, что он приказал перевезти на пароходах в город с Северной одиннадцать флотских батальонов. Нахимов пригласил Корнилова в свою каюту и, оставшись с ним с глазу на глаз, сказал:

- Владимир Алексеевич, вы любите меня?

- Что за вопрос, Павел Степанович... Нас часто пробовали поссорить, но я всегда ценил и уважал вас более всех.

- Скажите-с, вы переправляете одиннадцать батальонов в надежде, что, присоединив их к моим морякам, мы отстоим город?

- Поручиться нельзя, - ответил Корнилов, - но попытаться можно... Если бы князь пошевельнул хоть пальцем и двинул вовремя войска, мы успели бы продержаться.

- Я не инженер и на суше ровно ничего-с не смыслю, - сказал Нахимов. Об этом я сам не раз докладывал светлейшему. Но настолько я смыслю-с, чтобы понять, что на семиверстной дистанции, составляющей Южную оборонительную линию, весь мой гарнизон вместе с вашими батальонами не удержится и двух часов против неприятеля. Это непреложно-с.

- Если вы хотите знать мое откровенное мнение, - сказал Корнилов, - я и сам так думаю. Наша оборонительная линия пересечена глубокими балками и имеет многие подходы, где все препятствие состоит из слабого артиллерийского огня и простых земляных насыпей. У неприятеля можно считать, по крайней мере, сорок пять тысяч войска, а моряки, вместе с резервами составляющие гарнизон, едва насчитывают до пятнадцати тысяч. В случае серьезного штурма мы будем раздавлены. Но Бог милостив, и союзники побоятся напасть на Южную сторону, как побоялись атаковать Северную... Они промедлят, а -мы тем временем укрепимся.

- Рассчитывать на оплошность врага - это плохой расчет-с, - сказал Нахимов. - Раз ошиблись, другой раз будут умнее-с! Нет, я с вами не согласен! Биться надо-с, но в полной уверенности, что все мы погибнем... Спешите укреплять город, а я сделаю свои распоряжения... А теперь простите и, если я чем-либо вас когда обидел, не поминайте лихом.

Они обнялись и поцеловались. Корнилов уехал. Павел Степанович велел потребовать всех мичманов своей эскадры и тоном, не допускающим возражения, объявил, что учреждает два условных сигнала, из которых один будет означать "затопить" корабли, а другой "сжечь".

Вслед за тем он велел немедленно свозить матросов своей эскадры на площадь перед великолепным трехэтажным зданием морских казарм и сформировать из команд батальоны.

Корнилов, расставшись с Нахимовым, поехал на свою городскую квартиру и, обсудив положение дел, решил собрать совет. Корнилов разослал повестки Нахимову, Моллеру и Тотлебену, как вдруг к нему явились с донесением, что по приказанию Нахимова затоплен один транспорт с артиллерийскими снарядами и два брандера.

- Это еще что значит? - спросил Корнилов. - С какой целью? Для чего?

- Да ведь они стояли в Килен-бухте, - сказал посланный офицер.

- Ну так что же?

- Павел Степанович нашел, что, находясь внизу первого и второго бастионов, они в случае взрыва могут нанести вред прислуге орудий наших батарей.

- Черт знает что такое! Быть не может, чтобы Павел Степанович приказал это! Я знаю, что именем его постоянно злоупотребляют, а он по своей доброте молчит! Как будто нельзя было отбуксировать эти суда из бухты! Так, пожалуй, мы затопим весь наш порох!

Корнилов долго не мог успокоиться, и, когда посланный ушел, он, хотя и был наедине, не утерпел, чтобы не сказать:

- Вся беда в том, что здесь нет одного человека, который мог бы распоряжаться всем! Где много нянек, там дитя без глазу.

Вскоре все приглашенные прибыли. Кроме высших начальников было несколько флотских офицеров, явившихся к Корнилову по другим делам. Корнилов просил их остаться, заметив, что не делает тайны из своих совещаний, так как доверяет всем.

- Я, господа, - сказал старик Моллер, обращаясь к Корнилову, Нахимову и Тотлебену, - заранее объявляю: я принял ваше приглашение не с тем, чтобы дать свой совет, хотя и я желаю посильно быть полезным. Я уже стар и отстал и скажу по чистой совести: пришел к вам поучиться.

Корнилов горячо и убежденно стал развивать свой план обороны города. Один Тотлебен иногда делал короткие, но веские замечания, впрочем, и он был изумлен тем, что Корнилов, моряк по профессии, обнаруживал такое глубокое понимание дела. Нахимов слушал, слушал и наконец сказал, как бы угадав тайную мысль Корнилова:

- А я вот что предложу-с. За отсутствием главного начальства выберем сами себе начальника, и, думаю, никому не будет ущерба, если я предложу повиноваться во всем Владимиру Алексеевичу.

Корнилов смутился.

- Но ведь это неловко, - сказал он. - И вы, и генерал Моллер старше меня.

- Какая тут неловкость! Больше нашего понимаете, и кончен бал-с. Не в старшинстве дело-с. Если бы, например, генерал Моллер попал ко мне на корабль, я бы ему предпочел вот этого мичмана-с, - сказал Нахимов, указав на одного из моряков, который покраснел как рак от подобного комплимента. Генерал Моллер, слыша свою фамилию, привстал, но когда Нахимов кончил, он, сконфуженный его словами, сел.

Корнилову стало жаль старика, до сих пор ровно ни в чем не

проявившего свою деятельность и все же обиженного словами Нахимова. Но не было времени останавливаться на чувстве жалости, и Корнилов сказал:

- Все это хорошо, Павел Степанович! И действительно, две трети гарнизона - моряки, привыкшие ко мне больше, чем к сухопутному начальству. Но как быть с остальными? Сухопутные войска не обязаны исполнять моих приказаний.

- Это верно, - сказал Моллер. - Но в законе есть параграф, позволяющий устранить это затруднение. Я предлагаю отдать приказ, что вы, Владимир Алексеевич, принимаете на себя должность начальника штаба всех войск, расположенных в Севастополе. Тогда все войска будут непосредственно подчинены вам.

- Вот и отлично-с, - сказал Нахимов. - По мне, назначьте Владимира Алексеевича кем хотите, хотя архиереем, лишь бы его слушались. Ведь нам с вами, генерал, надо пасовать, с нас довольно быть и хорошими рядовыми-с.

Моллер тут же написал и подписал приказ о новом назначении Корнилова. Корнилов стал составлять диспозицию войск и начал вслух читать черновую, как вдруг явился контр-адмирал Вукотич{89}.

- А я к вам с донесением, Владимир Алексеевич. Кстати, здесь и Павел Степанович. Донесение печального свойства, но исполнено лишь приказанное.

- Что такое? - спросил Корнилов.

- Корабль "Ростислав" затоплен... то есть начали затопление, а теперь, вероятно, справились.

- Как! Кто вам велел?! - вскрикнул Корнилов.

- Кто велел? Велел его превосходительство Павел Степанович Нахимов. Нам был дан сигнал с корабля "Двенадцать апостолов".

- Это недоразумение, я сейчас все улажу! - вскрикнул Нахимов, действительно приказавший начать затопление. Он бросился к двери и, прежде чем Корнилов успел удержать его, исчез.

- Что за безобразие! - сказал Корнилов, не стесняясь присутствием посторонних. - Лейтенант Жандр, подойдите сюда!

Флаг-офицер Жандр подошел.

- Поезжайте немедленно ко всем командирам кораблей, - сказал Корнилов, - и скажите им, что если хоть одна подводная пробка будет открыта без моего приказания, то признаю командира того корабля за государственного преступника и в кандалах отправлю к государю.

Это было сказано с энергией, и все присутствовавшие поняли, что Корнилов говорил не фразы и что он сумеет воспользоваться

властью, добровольно уступленною ему другими начальниками.

Жандр тотчас поехал на "Ростислав", который уже начал было погружаться в воду, и затем на другие корабли. Только к Нахимову он не решился ехать.

Оставшись с Тотлебеном, Корнилов сказал:

- Вы знаете состояние работ на Южной стороне лучше моего. Скажите, где вы видите необходимость самой спешной работы? Надо удвоить энергию, я привлеку к работе не только солдат и матросов, но и мещан, крестьян и даже арестантов.

- По моему мнению, - сказал Тотлебен, - лучше и полнее других вооружен шестой бастион. Вал у пятого бастиона слишком низок. Ров четвертого бастиона едва начат, пороховые погреба вообще устроены ненадежно, все батареи к востоку от Южной бухты не связаны между собою, и самая местность представляет несколько слабо защищенных подходов. Вооружение Малаховой башни также неудовлетворительно, и она не представляет достаточного препятствия неприятелю, умевшему овладеть так называемыми "неприступными" алминскими высотами.

- Даже светлейший понял это, - сказал Корнилов. - Алминский урок не прошел для него даром, и, как вы знаете, он утром прислал нам приказание укреплять Малахов курган. Интересно было бы знать, где князь теперь пребывает. О нем ходят самые сбивчивые слухи. Казалось, он на Мекензиевой даче имел дело с неприятелем, а теперь уверяют, что он окончательно покидает нас и ретируется к Бахчисараю.

- Всего грустнее, - заметил Тотлебен, - что, по-видимому, князь от нас отрезан. Час тому назад адмирал Станюкович отправил курьера к князю, тот не нашел главной квартиры и возвратился с известием, что неприятель отбил часть обоза нашей армии и отрезал ее от города. - Слышал, слышал, - нетерпеливо сказал Корнилов. - Если это правда и если князь не ударит неприятелю в тыл, а будет сидеть под Бахчисараем, то нам не удержаться... Но мы должны исполнить свой долг... Вот и ваши товарищи, теперь обсудим все.

Вошли два инженера, за которыми послал Корнилов.

- Составьте ведомость, - сказал Корнилов, обращаясь к Тотлебену, какие средства нужны для успеха работ - и средства явятся. Чего нет в роте, то дадут доки, а чего недостанет в доках, то дополнит инженерная команда. Спрашивайте, требуйте. Если вам нужны орудия - требуйте орудий, словом, не стесняйтесь ничем. Диспозицию войск я уже придумал. Резервных солдат мы поставим за оборонительной стеной, а матросов, как более развитых, употребим на защиту балок и ущелий. Малахов курган я поручил Владимиру Ивановичу Истомину... Будем стоять,

господа. Слава будет, если устоим. Если же нет... помните, мы с вами учили когда-то в истории: мертвые срама не имут... Вечером прошу всех к себе для окончательного распределения ролей и позиций.

Понемногу все разошлись, Корнилов велел оседлать коня и собирался осматривать укрепления, как вдруг к нему вошел капитан одного из кораблей.

- Я пришел спросить распоряжений вашего превосходительства, - сказал он официальным тоном. - Командиром порта с согласия Павла Степановича было отдано мне приказание затопить в бухте порох из главного погреба, что в Георгиевской балке.

- Как! - вскричал Корнилов. - Да они все с ума сошли! И вы затопили?!

- Не затопил по неимению средств.

- Слава тебе Господи! Ради Бога, ничего не осмеливайтесь топить, ни единой крупицы, без моего приказа! Затопить тридцать тысяч пудов пороха, почти весь наш запас! Очистить погреб необходимо, но прошу и приказываю не потерять ни единого фунта и перевезти весь этот запас на какой-нибудь транспорт.

Корнилов поехал осматривать укрепления и вернулся домой поздно вечером совершенно разбитый нравственно и физически. Он едва имел силы написать несколько обычных строк жене.

VI

Даже люди, знавшие Корнилова близко, изумлялись перемене в его характере; тем сильнее было впечатление, которое он производил на людей, привыкших видеть его только издали и судить о нем по слухам.

Сделавшись полным хозяином Севастополя, Корнилов как будто вырос на целую голову. Поступь его сделалась еще увереннее обыкновенного, грудь он стал держать еще прямее, голос его стал, еще повелительнее. Все чувствовали, что нашли наконец человека, которого все искали и которому надо повиноваться, отбросив в сторону всякие счеты и мелочное самолюбие. Прежние противники и завистники Корнилова частью стушевались и умолкли, частью сами спешили к нему, спрашивая, что он им прикажет делать.

Исторические ли условия, при которых слагался характер русского человека, или критическое положение, в котором находился город, а может быть, и обе эти причины вместе подействовали так, что севастопольцам нужен был человек, которому они могли бы поклоняться, как кумиру. Корнилов был как нельзя более пригоден для этой роли. В памятные

севастопольцам дни, когда Меншиков совершал со своей армией стратегические движения и предавался бездействию у Бахчисарая, когда все начальство потеряло голову и отдавало порою нелепейшие приказания, необходим был человек, который, разделяя в глубине души общие опасения, умел бы показать другим, что он уверен в своих силах. Таким человеком был Корнилов. Проведя ночь в мучительных мыслях о будущем Севастополя и России, он утром стал придумывать средства, как бы ободрить защитников города. Позвав денщика, он спросил блестящую парадную генерал-адъютантскую форму и велел созвать всю свою многочисленную свиту. По распоряжению Корнилова был устроен крестный ход по Южной оборонительной линии. Войска были поставлены на боевые позиции: некоторые батальоны раскинуты цепью вдоль стены и по завалам; другие собраны в ротные колонны и колонны к атаке. Духовенство с образами, хоругвями и крестами совершило крестный ход, на дистанциях отслужили молебны и окропили войска освященною водою. Корнилов делал смотр войскам и всюду произносил крат

кие речи. С армейскими 'Корнилов говорить не привык, и речь его вышла довольно казенною. Армейским батальонам он сказал: "Ваше дело сначала строчить неприятеля из ружей, а если ему вздумается забираться на батареи, так принимайте его по-русски. Тут уж знакомое дело - штыковая работа". Проезжая мимо матросов и экипажей, Корнилов сказал просто: "Знаю вас за молодцов, а с молодцами говорить много нечего". Затем, обратясь ко всем вообще, он сказал, напрягая все силы своих легких: "Помни же, не верь отступлению! Пусть музыканты забудут играть ретираду! Если я сам прикажу отступать - коли меня!"

- Вот это, братцы, енерал так енерал! Скажет слово - за версту узнаешь, что начальник, не то что наш черт, - говорили солдаты, невольно сравнивая Корнилова с Меншиковым, которого за его мрачность и неумение говорить в войсках прозвали довольно нелестным именем черта.

Меншиков часто оправдывал себя за свое обращение с солдатами, говоря, что терпеть не может никакой театральности. Корнилов, несомненно, был до известной степени театрален, если можно назвать этим словом умение возбуждать в других одушевление и мужество даже тогда, когда сам сознаешь, что дело почти проиграно. Корнилов отлично знал, что без известных внешних приемов, без некоторого актерства, требующего особого искусства и таланта, нельзя влиять на массы и покорять сердца людей. Действительно, в эти дни все стали смотреть на Корнилова как на вдохновенного человека, и, будь это где-нибудь на Востоке, его провозгласили бы пророком. Даже англичане,

смотря впоследствии в подзорные трубы на наши укрепления и видя постоянно одного и того же всадника, ездившего в шинели нараспашку вдоль оборонительной линии, сравнивали Корнилова с бедуином, носящимся в пустыне, - сравнение едва ли удачное, но показывающее, что самый неприятель окружал Корнилова поэтическим ореолом.

Слыша крики солдат: "Рады стараться, ваше превосходительство!" - и восклицания матросов: "Умрем за родное место, Владимир Алексеевич!" Корнилов осмотрел боевые позиции, сделал небольшие изменения и переговорил на Малаховом кургане с Истоминым. Здесь, как и всюду, кипела работа: укрепления вырастали, будто волшебством. Но если бы кто-нибудь заглянул вечером в дневник Корнилова, то мог бы убедиться, что, одушевляя других, сам Корнилов далеко не питал розовых надежд. Он знал, что неприятельские кавалерийские разъезды еще с утра показались на седьмой версте Симферопольского шоссе. К вечеру же аванпосты союзников утвердились над хутором Сарандинаки. Неприятельские пароходы хозяйничали в Балаклаве и в Херсонесских бухтах, посылали шлюпки к маяку и зажгли ночью маячный огонь. "Чего ожидать, кроме позору, с таким клочком войска, - писал Корнилов в своем дневнике. - Если бы я знал, что это случится, то, конечно, никогда бы не согласился затопить корабли, а лучше бы вышел дать сражение двойному числом врагу... Осматривал войска... Из матросов четыре батальона приобучены порядочно, а остальные и плохо вооружены, и плохо приобучены. Но что будет, то будет - других нет. Чтобы усилиться, формируем еще команду из обоза. Может завтра разыграться история. Хотим биться донельзя, вряд ли поможет это делу. Корабли и все суда готовы к затоплению, пускай достанутся одни развалины..."

VII

Работа на батареях кипела днем и ночью. С кораблей свозили туда пушки, станки и снаряды; от порта стали отпускать лес, шитые мешки, железные цистерны для воды, инструменты, даже гвозди; все средства города были обращены на усиление обороны: частные подводы возили снаряды и материалы, из жителей Севастополя была образована милиция для караулов и обходов, мужчины и женщины добровольно приходили работать на батареи. Даже арестанты просили, чтобы их употребили в работу. Узнав об этом, Корнилов явился к ним лично и, сказав, что они могут загладить свою вину, велел освободить всех, не исключая прикованных к тачкам. Весь город принял военный вид, работа кипела весело, без малейшего принуждения. Кто имел лошадь, сам отдавал ее на бастионы возить снаряды и землю. Дети

тащили лопаты, женщины и девушки носили воду и пищу. Всюду носили и возили бревна, доски. Почти все полки были вооружены лопатами, кирками, мотыгами. Рабочие таскали землю в корзинах, в мешках, в полах шинелей.

Некоторые жители укладывали свое имущество и перебирались с Южной стороны на Северную, другие уныло бродили по улицам, но большинство стремилось на бастионы хотя бы из любопытства. Многие запаслись подзорными трубами и беспокойно посматривали с библиотеки и с других возвышенных мест города на неприятельские позиции.

Если с Театральной площади ехать по балке, где идет Балаклавская дорога, то влево останется холм, где воздвигался четвертый бастион; вправо, в сторону кладбища, была оборонительная казарма пятого бастиона. Эта казарма была одним из самых ранних укреплений Севастополя.

Во время дела под Алмой это укрепление отличалось далеко не грозным видом. Казарма не многим отличалась от обыкновенных мирных казарм, только нижний этаж ее полукруглого выступа был вооружен тремя пушками, да наверху, за каменным, не заштукатуренным, насухо сложенным бруствером, находилось пять длинных чугунных пушек двенадцатифунтового калибра, действовавших через амбразуры по расходящимся радиусам. Артиллерийская прислуга также набрана далеко не из заправских артиллеристов. Команда была в буквальном смысле слова сборная, состоявшая более чем наполовину из писарей, вахтеров, музыкантов и кантонистов морского ведомства. Батарейный командир ежедневно учил их артиллерийской стрельбе. Народ оказался такой понятливый, что сам Нахимов, не слишком щедрый на похвалы, посмотрев, как они стреляют, сказал:

- Ничего-с! Хорошо-с!

Жизнь на батареях сначала разнообразилась частыми отлучками в город, но после алминского дела и затопления кораблей на оборонительной казарме закипела работа. Белено было устраивать деревянные щиты для защиты прислуги от штуцерного огня: ждали штурма. 11 сентября приказали всем ночевать на батареях. Началась настоящая батарейная служба. Батарейный командир получил приказ никого не пропускать через казарму. Отзыва не дали, поэтому командир распорядился попросту запереть входные двери, поставить часового и не пускать никого.

Была ночь. Батарейный командир, уставший от дневных забот, прилег соснуть, как вдруг в дверь послышался сильный стук.

- Кто там? - сердито спросил он.

- Это я, ваше благородь, - послышался голос денщика.

- Что тебе?

- Часовой не пущает охвицера, а они лаются...

- Пошел, скотина, спроси часового, кто там." Оказалось, что приехал адъютант начальника дистанции. Батарейный командир засуетился и, еще раз обругав денщика, велел просить войти. Адъютант вошел и сказал сердитым голосом:

- Что это у вас за порядки! Меня послали с спешным поручением, а эти остолопы не пускают.

- Извините, ей-Богу, не знал, что это вы... Я уже выругал этих подлецов, - оправдывался батарейный.

- Готова у вас батарея?

- Как же может быть готова? Видите, все орудия завалены щепою и брусками щитов. Не понимаю, на кой черт эти щиты! От штуцеров еще туда-сюда, но первое шальное ядро разнесет их в щепы...

- Это не мое дело, - сказал адъютант. - А я вот прислан заявить вам, что идет неприятель!

- Как неприятель! Откуда он взялся? А у меня ровно ничего не готово!

- Ничего не хочу знать, - сердито ответил адъютант. - Ваша батарея передовая, а у вас не готовы орудия! Смотрите, расстреляют вас за это!

- Ну уж и расстреляют! Это вы еще атанде.

- А я вам говорю, чтобы сей же час была готова батарея! Генерал приказывает вам стрелять, как только покажутся в поле огни!

- Эх, черт возьми, значит, вы не шутите? Где же огни? Никаких огней1 не вижу.

- Я и не думаю шутить. Исполняйте все без рассуждений!

Видя, что дело плохо, батарейный подошел к барабанщику, который спал сладким сном, и толкнул его ногою. Тот вскочил, на разбирая спросонок, в чем дело.

- Колоти тревогу! Валяй во всю ивановскую! Живо!

Барабанщик вскочил, не успев даже надеть портянки, и забил тревогу.

Быстро повскакивала спавшая в казарме батарейная прислуга. Подбежал фейерверкер.

- Что делать, ваше благородь?

- Раздавать боевые заряды, разжигать фитили, по заряду картечью к орудиям.

Через пять минут все было готово. Огни действительно показались в отдалении.

- Черт их знает, что за ослы эти французы, - сказал батарейный. - Уж, по-моему, идти на штурм, так идти в темноте, а никак не с факелами! Пусть только подойдут на картечный выстрел! Задам я им маку с перцем.

Вдруг прибежал казак, который еще издали закричал, махая руками:

- Не стреляйте! Генерал приказал не стрелять! Оказалось, что идет не неприятель, а сотни две наших гусар. Подобно батальону тарутинцев, они были отрезаны неприятелем от нашей армии и по незнанию местности вместо Балаклавской дороги попали на Маячную.

- Слава Богу! - сказал батарейный командир и даже перекрестился, радуясь, что так счастливо отделался.

На следующий день, в полдень, на Балаклавской дороге показалась цепь неприятельских застрельщиков. Из казармы было видно, как перебегали люди в красных штанах и синих куртках (это и были зуавы), прячась то за одним, то за другим бугром. Они были, впрочем, вне пушечного выстрела. У нас ожидали штурма. Батарейной прислуге были розданы ручные гранаты и заклепки для орудий. Ночь прошла тревожно, но утром, не видя нигде неприятеля, все весело взялись за работу. Впереди казармы вскоре выросли пятый бастион и редут Белкина{90}. Стали привозить страшные морские орудия. Края отверстий, или амбразур, были выложены железными цистернами, насыпанными глиною, позади казармы были поставлены на весьма удачно выбранном пункте четыре мортиры. Вскоре оказалось, что оборонительная казарма из передового и сравнительно хорошо оборудованного пункта сделалась одним из слабейших на пятом бастионе. Но все же оборона заставляла ожидать многого, от казармы до редута Шварца{91} шла лишь невысокая каменная стена. Против пятого бастиона была, на высотах за балкой, каменная кладбищенская стена, за которой легко мог укрыться неприятель, сверх того, виднелось на окружных высотах немало хуторов, обнесенных каменными стенами и как бы нарочно приготовленных для неприятеля. Полагая, что неприятель атакует нас непременно с Северной, никто не догадался заблаговременно разрушить этих стен.

В следующие дни работа кипела по всей оборонительной линии. За четвертым бастионом все обращали внимание на одну батарею, которую сооружали исключительно женщины; они были одеты по-мещански, но руки, мало привычные к грубой работе, лица с своеобразным выражением глаз, как бы стыдящихся дневного света, - все указывало на их профессию. Это были проститутки, живущие в трущобных домах за Театральной

площадью. Пошли они на работу добровольно, когда узнали, что их притоны, по всей вероятности, одни из первых подвергнутся неприятельским выстрелам. Здесь были слишком знакомые севастопольским юнкерам и молодым офицерам Дуньки и Таньки, были и девицы самого дешевого сорта, знавшиеся только с солдатами и матросами. Последние работали живее и подсмеивались над белоручками.

- А что, мамзель, - говорил одной из девиц поприличнее проходивший мимо щеголеватый штабной писарь, - небось не хотите попасть в руки французу? А ведь французы, говорят, преантиресные кавалеры. Скажите, вы бы дали французу поцеловать себя в ваши сахарные уста?

- Я бы ему все глаза выцарапала, - ответила ночная фея, продолжая свою работу.

Она, видимо, устала, вся обливалась потом и тяжело дышала.

- Как же! Дождутся они от нас, проклятые, чтобы мы их еще целовали! подтвердила другая, с виду попроще, говорившая сиплым пьяным голосом. Разве мы не русские? У нас также есть крест на шее! Целоваться с французом! Вишь, что выдумал, оголтелый черт.

Она даже сплюнула и с ожесточением ткнула лопатой в землю.

Батарея так и была прозвана "Девичьей"{92}.

VIII

Укрепления Севастополя принимали постепенно все более грозный вид. Каждую минуту ждали штурма, и наши работы были приноровлены не столько к правильной осаде, сколько к отбитию штурмующих колонн. Слова: "штурм", "град картечи" и "удар в штыки" - не сходили с языка у распорядителей работ.

Об армии не было никаких известий и даже слухов. Князя Меншикова уже обвиняли даже в том, в чем он, конечно, не был виновен: его называли изменником. Говорили, что он позорно бежал со всей армией, предоставив Севастополь его собственной судьбе.

Между тем главная квартира сначала расположилась у деревни Отаркиоя. Тринадцатого сентября обнаружилось движение неприятеля в Балаклавскую долину, и на следующий день Меншиков послал полковника Хрущева с небольшим отрядом. Хрущову{93} было дано шесть батальонов, дивизион артиллерии, сотня черноморских пластунов и полсотни казаков и велено устрашить неприятеля видом этой армии и, если возможно, атаковать. Отдавая это приказание, Меншиков прибавил:

- Грустно, что мы, русские, бежим от неприятеля.

Хрущев - маленький, круглолицый полковник, с круглым подбородком и гладко причесанными, довольно длинными, но редкими волосами, с свежим, как у юноши, цветом лица - ехал впереди своего отряда. Проехав так называемое Королевское ущелье, он вел свой отряд всю ночь, и утром, в то самое время, когда в Севастополе по приказанию Корнилова совершался крестный ход, Хрущев расположил свой отряд на высотах, с которых было видно движение неприятельской армии. Далее идти с артиллерией было невозможно. Хрущев успел, однако, убедиться, что союзники перешли с Северной стороны на Южную. Но прежде чем он мот донести об этом главнокомандующему, Меншиков отправил вдогонку своего ординарца Стеценко, причем велел передать Хрущеву: "По возможности растягивайте ваш отряд, выставляйте его на вид неприятелю, дабы парализовать его решимость напасть на Севастополь, если бы таковая решимость входила в его планы".

Стеценко возвратился с донесением, что неприятель переходит со всеми главными силами в Балаклавскую долину. Князь немедленно распорядился отступать еще ближе к Бахчисараю и перенес свою главную квартиру. Стеценко же отправил в Севастополь узнать, что там делается.

- Смотрите, - сказал он, - лошадь оставьте на Мекензиевой. Будьте осторожны. У Жабокритского готов для вас проводник-татарин, человек надежный. Идите ночью пешком, весьма возможно, что неприятель уже находится подле самых стен Севастополя и вы можете встретиться с ним. Быть не может, чтобы все неприятельские силы успели перейти в Балаклавскую долину... Думаю, что неприятель желает обмануть нас фальшивым движением.

Расположившись почти у самого Бахчисарая, князь послал туда Панаева узнать, какое количество хлебов можно напечь в местных пекарнях.

Панаев много наслышался об измене татар, о том, что они в Евпатории будто бы стреляли в русских. Понятно поэтому не совсем приятное чувство, овладевшее им при въезде в чисто татарский город в сопровождении одного лишь казака. Город имел, однако, необычайно мирный и благодушный вид, скоро придавший Панаеву храбрости. Многие знают Бахчисарай только по описанию фонтана в поэме Пушкина. На самом деле Бахчисарай представляет длинную, грязную, вонючую улицу, к которой примыкает несколько переулков. Город имеет вполне восточный вид. Проезжая по этой главной и чуть ли не единственной улице, по которой не в состоянии ехать рядом два больших экипажа, Панаев видел по обе стороны не столько дома,

сколько усадьбы с садами, обнесенными снаружи глухими стенами, так что трудно было сообразить, как попасть в дом. Впрочем, у большинства домов были деревянные пристройки с лавками и мастерскими, придававшими улице вид восточного базара. В лавках было навалено всевозможное добро: овощи, мясо, сахар рядом с дегтем, пачки чая подле ремней, конфеты и смола, пряники и нагайки. В других лавках на открытом воздухе татары месили ногами тесто, предназначенное для печения булок и бубликов. Точно так же на открытом воздухе мяли овчину, шили, лудили, ковали и золотили. На гвоздях всюду висели кафтаны, конская сбруя, халаты, шапки, бурки. В съестной лавке один татарин рубил конину, другой вырезал из мяса маленькие куски и бросал их на сковороду, шипевшую на огне. Всюду по улице сновали, грязные, оборванные ребятишки, просившие милостыню; казак с трудом мог отогнать их, а когда Панаев бросил в толпу ребят несколько монет, между мальчишками произошла жестокая потасовка.

Проехав несколько далее, Панаев вынужден был остановиться, так как дорогу загородили две столкнувшиеся арбы: одна была запряжена парою верблюдов, другая - четырьмя парами волов. Возницы неистово ругались. Панаев со своим казаком должны были проехать гуськом, да и то чуть не ткнулись лбами о низкие навесы татарских лавок. Проехали еще несколько лавок, где продавались кошельки, яблоки и туфли. Торговцы-татары в широких шароварах и в овчинных и верблюжьих шапках важно сидели на полу перед грудами товара, не зазывая покупателей. Вот к одному торговцу зашел гость в желтых туфлях, сел и, свесив ноги с помоста на улицу, стал курить, беседуя с хозяином, который также курил.

Проехав далее, Панаев увидел, что перед ним мелькнуло что-то белое: это была татарка, покрытая чадрой; из отверстия покрывала блеснули два черных как уголь глаза, быть может засмотревшиеся на русского офицера; но татарка поспешила скрыться, не удовлетворив любопытства Панаева. А вот и русская вывеска с надписью: "Чайный трахтир". Панаев даже обрадовался этой вывеске, как чему-то родному посреди чужой азиатчины. Наконец добрались до квартиры коменданта. Комендант оказался болтливым старичком; принял он Панаева, как родного сына, угостил сытным завтраком, немного в татарском вкусе, и сказал ему, что у них в городе все смирно, только наши солдатики и особенно казаки бесчинствуют и мародерничают по хуторам, да, говорят, какие-то разбойники-татары разорили хутор одной помещицы.

- У нас, государь мой (комендант всех называл "государь

мой"), полицмейстер молодчина. Представьте, ни одного случая неповиновения! Проезжали тут из Симферополя - удивлялись: говорят, у них все боятся, что татары перережут русских. А я вам скажу, государь мой, что все это вздор. Татары самый смирный народ, только с ним надо "уметь обращаться. Татарин терпелив, но уж если озлобится, тогда он хуже зверя. Говорят, после взятия Евпатории где-то в окрестностях татары выпороли станового, так я вам доложу, государь мой, этого станового я бы сам велел выпороть в пример другим: известный был картежник и взяточник. А из русских помещиков никого не тронули, напротив, еще помогали им увозить хлеб. Подумайте, что за безобразие: говорят - татары бунтуют, татары изменники, - а казакам позволяют бесчинствовать! На днях казаки у одной здешней помещицы угнали сотни две овец. Ну на что это похоже!

"Однако как он любит татар!" - подумал Панаев.

Поговорив с комендантом, который помог ему устроить дело с печением хлеба, Панаев собирался уехать, но, когда они прощались, пришел бахчисарайский голова, почтенный седой купец-татарин, довольно хорошо говоривший по-русски.

Он просил Панаева, чтобы тот представил князю о необходимости прислать от войск караулы на мельницы, чтобы прекратить хозяйничанье казаков. Панаев обещал, но, выезжая из города, встретил команду из лейхтенбергских гусар, присланную князем для присмотра за печением хлеба и еще потому, что князь стал тревожиться долгим отсутствием Панаева.

- Светлейший там чуть не плачет о вас, - сказал гусарский офицер, - и велел доставить вас живым или мертвым.

Панаева покоробило от этой шутки. Проехав еще версту, он встретил бричку, в которой ехал татарин парою добрых коней. Татарин вдруг приподнял шапку и, оскалив зубы, окликнул Панаева:

- Барин, барин, не узнаешь?

- Ах это ты, Темирхай! Какими судьбами?

- По своему делу... В Бахчисарай.

- Слушай, Темирхай, это правда, что у тебя под Алмой пропала бричка?

- Правда, правда. Бричка якши! Пропала.

- Это у тебя что за медаль?

Темирхай снова улыбнулся и с чувством собственного достоинства сказал:

- Это мне миндал за храбрость. За бричка деньги не брал, казна деньги давал, Темирхая говорит: не нада, не хочу денег!

- Ведь это та самая бричка, в которой ехал бедный писарь его светлости Яковлев?

- Тот самый, самый... А у меня беда!

- Что такое? Лошадь, верно, околела?

- Ну нет, лошадь - беда большой, а у меня беда небольшой. Брат сбежал...

- Куда сбежал? Какой брат?

- Мой брат, нехорош брат.

- Да его брат, ваше благородие, известный забулдыга, - сказал казак, провожавший Панаева. - Я их всех знаю. От него и родные отступились. Он англичана, говорят, в Балаклаву провел, мне в Бахчисарае наши станичники сказывали.

- Ах какой негодяй! - воскликнул Панаев.

Как же это, Темирхай, ты сам хороший человек, а брат у тебя такой?

- Нехорош брат, - согласился татарин и, приподняв еще раз шапку, поехал своей дорогой.

Панаев возвратился к князю с различными известиями, слышанными им в Бахчисарае, и с донесением, что черного хлеба во всем Бахчисарае нет и печь не умеют, а потому солдатам придется довольствоваться татарскими булками. Сверх того, он передал князю важное известие, слышанное от Темирхая, что союзники, по-видимому, овладели Балаклавой.

- Видишь, братец, - сказал князь, - я и на этот раз был прав. Быть не может, чтобы они вздумали атаковать Южную сторону. Они хотели обмануть нас, да ведь и мы не дураки! Все их движение было фальшивым. Знаешь, вчера у них, говорят, была тревога: кажется, они побили своих. Мы слышали какую-то перестрелку. Я очень рад, что они сунулись в Балаклаву. Теперь мы их запрем и отрежем От всяких сообщений, а уж флот свой они никак не проведут в Балаклавскую бухту, там и барка сядет на мель.

- Ваша светлость, я слышал от одного грека, что Балаклавская бухта вовсе не так мелка, как думают, и что лет пятьдесят тому назад туда входили большие суда.

- Это вздор, - сказал Меншиков. - Можно ли верить всяким бабьим сказкам?.. Знаешь что, братец, после обеда я поеду с тобой в Бахчисарай. Я давно, там не был, интересно посмотреть, да и тебе, кстати, покажу достопримечательности ханского дворца. Ты, конечно, помнишь пушкинскую Зарему? Настоящее имя ее было, говорят, Феря - не особенно благозвучное имя!

- Разве, ваша светлость, Пушкин не сочинил все это из головы?

- Нет, он основывался на местных преданиях. Поедем, я тебе все покажу и расскажу.

После обеда князь с Панаевым, другими адъютантами и

значительным конвоем поехал в Бахчисарай. Как раз в то время, когда в Севастополе Корнилов, сделав смотр войскам, окончательно распределял позиции, князь Меншиков, посетив полицмейстера и побывав в ханском дворце, заехал на обратном пути в татарскую кофейную. Жители города со старшинами и муллами толпились по улицам, глазея на княжескую свиту; князь сошел с коня и вместе с Панаевым пошел в кофейную. Кофейная была вполне в татарском вкусе, над оврагом, ход с улицы вел в нее по длинному узкому пешеходному мостику. У входа на мост также стояла толпа в ожидании князя.

- Сейчас, братец, убедишься, что татары не уступают туркам в умении приготовлять кофе, - сказал князь Панаеву. Толпа расступилась, князь прошел под навес и спросил кофе. В несколько минут кофейные зерна были изжарены, столчены, сварены и поданы по-турецки, с гущей, в крошечных фарфоровых чашечках, вставленных в медные рюмочки вместо подноса. Напиток оказался превкусным.

- Видишь, братец, как расторопны татары, - сказал князь. - Пожалуй, расторопнее нашего Кирьякова.

Уходя, князь положил золотую монету и возвратился в главную квартиру в весьма веселом настроении духа.

IX

Ординарец Меншикова Стеценко, следуя совету князя, тогда еще не знавшего, что неприятель окончательно перешел в Балаклавскую долину, отправился в Севастополь ночью пешком, с проводником-татарином, соблюдая всевозможные меры предосторожности.

Стеценко прошел по тому месту, где авангард лорда Раглана напал на наш парк; место это было заметно по остаткам разломанных повозок. Проводник боялся идти прямым путем и повел Стеценко глубокими лесными балками. Подошли к долине Черной.

- Там лагерь французов, - сказал татарин, указывая рукой в темноту, но Стеценко ровно ничего не видел, как ни напрягал зрение.

Подошли к реке. Мост был разрушен, и пришлось пробираться по сваям.

Уже светало, когда Стеценко со своим татарином поднялся по Саперной дороге. С горы спускалось несколько всадников. Они вдруг остановились. У Стеценко дух замер.

"Вот чертовщина! - подумал он. - Неужели это неприятель?"

Тут он увидел казачью пику.

"Слава Богу, Севастополь еще не взят!" - подумал Стеценко и участил шаги.

- Обезьянинов{94} да это ты! - вскричал он, узнав приятеля-лейтенанта, который вдвоем с казаком ездил сюда смотреть, нет ли неприятеля.

Обезьянинов велел казаку слезть с лошади, и Стеценко поехал вместе с ним к Малахову кургану. Здесь под наблюдением контр-адмирала Истомина и инженера Ползикова{95} возводились укрепления. За эти дни Малахов курган стал неузнаваем.

Увидя Стеценко, Истомин даже всплеснул руками.

- Да скажите наконец, лейтенант, куда запропал главнокомандующий? спросил он. - Что он там делает? Где он? Что все это значит?

- Ваше превосходительство, его светлость близко. Князь велел мне узнать, что делается в Севастополе, и обратить особое внимание на укрепление Докового оврага.

- Вы видите, что мы здесь не сидим сложа руки. Говорите же, где князь и когда именно он вернется?

- Армия дня через два покажется в виду, - сказал Стеценко, так как надо было сказать что-нибудь. - Да притом, ваше превосходительство, судя по тому, что я вижу у вас на бастионах, Севастополю нечего опасаться, если б армии и не было.

Но Истомину было не до выслушивания комплиментов.

- Хорошо вам говорить, - сказал он. - Отправляйтесь немедленно к адмиралу Корнилову и, пожалуйста, сообщите подробно об армии. Мы здесь все не знаем, что и думать.

Стеценко поехал к Корнилову, который, выслушав его подробно и узнав, что к Меншикову присоединился Хомутов{96} с десятитысячным отрядом, что на днях прибудет вся 12-я пехотная дивизия и что тогда князь намерен атаковать врагов, сказал:

- Вы видите, мы здесь не унываем, укрепляемся, как умеем и как средства позволяют. Удивляюсь, почему князь не двинулся сюда немедленно по прибытии отряда генерала Хомутова. Прошу вас сейчас же ехать со мною на оборонительную линию: я должен показать вас моему гарнизону в подтверждение того, что армия с князем не находится в бегах. Потом милости просим ко мне отобедать.

Взяв с собою Стеценко, Корнилов поехал по бастионам и проехал всю линию, передавая главным начальникам вести из армии.

После этого объезда Стеценко почувствовал себя совершенно разбитым от усталости и зашел к своему знакомому моряку Викорсту, жившему на Северной. Не застав хозяина, он велел его денщику стащить с себя сапоги, преспокойно разлегся на его

постели и заснул сном праведника. Проспав несколько часов, Стеценко был разбужен сильным стуком в дверь.

- Кто там? - спросил он.

- Вставайте, ваше благородие, - сказал денщик, - за вами пришли.

Денщик был из молодых и довольно нерасторопный и непонятливый. Он даже не знал фамилии Стеценко и не догадался спросить его, кто он.

Наскоро одевшись, Стеценко отворил дверь. Вошел господин, в котором Стеценко тотчас узнал севастопольского полицмейстера. Полицмейстер, наоборот, не знал в лицо Стеценко.

- Честь имею рекомендоваться: здешний полицмейстер, - официальным тоном произнес вошедший и сел на стул. - Позвольте спросить ваш паспорт...

- Паспорт? Да ведь я ординарец главнокомандующего, - ничего не понимая, спросил Стеценко.

- Как ординарец?.. Да что же это я, в самом деле, ослеп, что ли?! воскликнул в свою очередь полицмейстер. - Да вы правду ли говорите, милостивый государь? Вы русский или поляк?

- Удивляюсь вашим вопросам. Да вот, слава Богу, Викорст. Выручи, голубчик. Не знаю, за кого меня принимает господин полицмейстер.

- Что? В чем дело? - спросил вошедший Викорст, обнимаясь с товарищем и подавая руку полицмейстеру, которого знал лично. - Рекомендую: лейтенант Стеценко, ординарец светлейшего.

Полицмейстер совсем опешил.

- Простите, ради Бога! Представьте, какое недоразумение! Ко мне прибежал ваш денщик, заявивший, что какой-то незнакомый ему офицер явился на вашу квартиру и расположился как дома. Между тем в городе ходит слух, что к нам пробрался какой-то переодетый поляк, неприятельский шпион... Я и вообразил! Ведь находит же иногда на человека затмение!

- Так вы меня приняли за французского шпиона! - сказал Стеценко, расхохотавшись. - Благодарю, не ожидал! Ну, господин полицмейстер, теперь одно из двух: либо на ваш счет выпивка, либо я вызываю вас на дуэль за оскорбление.

- Я, разумеется, предпочитаю первое, так как для дуэли я слишком стар, а в свое время и мы дрались... Хе-хе-хе!

- Нет, господа, как хотите, я хозяин, и вся история вышла по глупости моего остолопа, поэтому выпивка на мой счет...

- Если хотите, грех пополам, - настаивал полицмейстер. - Только уж если выпивка, так знаете, чтобы был настоящий пунш, не так, как теперь пьет молодежь, а по-старинному.

- Будет. Эй ты, образина! - позвал Викорст своего денщика. - Следовало бы тебя вздуть за излишнее усердие! А знаете, - сказал он, когда денщик ушел за напитками, - в народе ужасно тревожное настроение. Сегодня здесь на базаре исколотили одного татарина, приняв его за шпиона.

Недоразумение было заглажено пуншем, приготовленным самим полицмейстером по всем правилам искусства.

Ночью Стеценко отправился назад, в главную квартиру, отыскав на базаре нового проводника.

X

В ауле Дуванкиой, подле Бахчисарая, стоял. Тарутинский полк в составе трех батальонов: мы уже знаем, что один батальон был по ошибке брошен на дороге и давно вернулся в Севастополь.

Был вечер. Горели костры. Солдаты отдыхали, кто сидел или лежал, вытянувши ноги, кто разувался и сушил портянки, кто снимал шинель и украдкой вынимал назойливое насекомое.

- Этого, ребята, стыдиться нечего! - сказал своим солдатам батальонный командир Горев и для примера снял с себя все и велел денщику подержать свою одежду над огнем. Солдаты увлеклись примером начальника, и вскоре бивуак принял вид стана краснокожих дикарей.

Не успели солдаты одеться, как им представилось развлечение. Привели первого французского дезертира. Это был немец, насильно взятый на службу в Париже. Когда с ним заговорили по-французски, он покачал головой и сказал: "Ich bin]a еш ОеШзсЬег (ведь я немец)". Позвали поручика Гове, отлично знавшего по-немецки, и повели дезертира к командиру полка генералу Волкову.

- Вы хотите поесть? - спросил генерал, а Гове перевел по-немецки.

- О Ja (о да), - ответил немец и объяснил, что голоден, целый день не ел, да и убежал главным образом потому, что плохо кормят.

Немец довольно добросовестно отвечал на расспросы, только уменьшил число неприятелей.

На другой день тарутинцев повели еще ближе к Бахчисараю, и тут-то было бы им раздолье, если бы не два обстоятельства: отсутствие черного хлеба и строгость генерала Кирьякова, начальника их дивизии.

Несмотря на то что варились отличные щи, жарилась баранина, которую можно было за бесценок иметь от казаков, а порою попадались арбузы и дыни, солдатские желудки скучали за черным хлебом и не довольствовались татарскими булками. Зато фруктами просто объедались.

Раз как-то ночью известный нам талантливый тарутинский поэт, бывший подпрапорщик Иванов 2-й, уже произведенный, гулял с товарищем-поручиком в окрестностях Бахчисарая. Он был в самом поэтическом настроении, задумывал написать поэму под заглавием "Мария Потоцкая, или Прекрасная крымская пленница" и рассказывал поручику сюжет поэмы.

- Конечно, я не думаю соперничать с Пушкиным, - скромно сознался юный поэт, - но у меня выйдет ближе к местным преданиям, чем у Пушкина. Вот послушай...

Вдруг за стеною, окружавшею сад хутора, мимо которого они проходили, послышался странный, подозрительный шум. Слышалось какое-то щелканье, сопровождаемое звяканьем оружия.

- Слышишь? - сказал Иванов, схватив за руку поручика. - Что бы это значило, -уж не забрался ли туда неприятель?

- Пойдем, скорее известим ротного, - сказал поручик, но из сада вдруг послышалось забористое русское словцо, тотчас изобличившее присутствие в нем своих.

- Э, да это, кажется, наши молодцы там забавляются. Эй, ребята, кто там? - крикнул поручик.

- Свои, ваше благородие, там кругом есть калитка, зайдите. Страсть сколько орешков!

Офицеры последовали приглашению. Несмотря на ночную темноту, было видно, что под деревьями лежат груды миндальной скорлупы. Солдаты штыками сбивали миндаль и волошские орехи и лакомились всласть.

- Ах вы скоты этакие! - для начала выругался поручик. - Ведь это чужое добро, как же вы смеете обрывать деревья?

- Помилуйте, ваше благородие, - сказал один из солдат побойчее, - тут орехи всякий татарин ест, так уж как не взять солдату? В Москве, чай, одни дворяне да купцы едят такие орешки, а тут сколько хошь. Пожалуйте, ваше благородие, скорлупу я камешком разбил.

И он протянул поручику шапку, полную очищенного миндаля.

- А все-таки не следовало бы брать без спросу, - говорил поручик, уписывая миндаль за обе щеки. Поэт последовал его примеру и даже забыл о Марии Потоцкой.

- Смотрите, ребята, впредь чтобы этого не было! - говорил поручик, выходя из сада и робко озираясь, нет ли где начальства.

Но генерал Кирьяков был не так снисходителен к мародерству солдат. На следующее утро расставленная им цепь поймала одного солдатика, который сцапал где-то ягненка. Солдатику связали назад руки, поставили, скомандовали: "Пли!" -

и он упал, пронзенный пулями. Это страшное наказание отбило у многих охоту мародерничать.

Когда Стеценко возвратился из Севастополя с известием, что дорога совершенно очистилась от неприятеля, Меншиков тотчас велел двинуться назад к Бельбеку и объехал войска.

Всегда угрюмый, князь на этот раз просиял. Отправляя в Петербург флигель-адъютанта Альбединского, князь долго говорил с ним о своем фланговом движении. Альбединский также был в восторге и изумлялся стратегическим способностям князя. Даже между офицерами, не любившими Меншикова, прошла молва, что после флангового движения француз сидит как бы в клетке. Объехав войска, князь остановился у своей палатки, чтобы перед отъездом позавтракать, и пригласил флигель-адъютанта на прощание разделить его трапезу.

- Только у меня завтрак самый скромный, самый скромный, - сказал князь. - A la guerre come a la guerre, уж не взыщите.

Альбединский не знал подробностей походной жизни князя, а потому был немало изумлен, когда Меншиков велел подать себе жаровню с горячими угольями и мешочек с картофелем, достал из бокового кармана небольшие щипцы и стал собственноручно печь картофель, который и вынимал щипцами.

- ЗипрНсИё сН пе сГип СшсшпаШз (простота, достойная Цинцината), сказал Альбединский.

- Самая практичная закуска, - сказал князь, - и главное, никаких хлопот.

Закусив, князь спрятал щипцы обратно в карман. Здесь, кстати, не мешает описать карманы князя. Они были в своем роде столько же энциклопедичны, как и его мозг, то есть начинены самым разнообразным содержимым. В них находились разные записки, документы, планы, циркуль, лупа, бинокль, хирургические инструменты, патроны, маленький револьвер, один-два ржаных сухаря, мятные лепешки, фляжечка коньяку - и все это в систематическом порядке.

Простившись с Альбединским, Меншиков переговорил с Жабокритским, которому предстояло идти в авангарде.

- Вы видите, удача флангового движения полная, - сказал князь. Надеюсь, теперь нам удастся запереть неприятеля. Но нам предстоит еще несколько важных диверсий. Мы еще слишком слабы, чтобы атаковать союзников. Надо подождать!

Наконец войска двинулись. Местность была им теперь более или менее знакома. Вот долина, где был устроен наш привал и где потом останавливались французы. Здесь валялись обожженные шомпола от русских ружей, подобранные неприятелем под Алмой. Этими шомполами французы мешали

уголья, варя свой кофе. Здесь же валялись штиблеты, лоскутки французских газет и разная подобная дрянь и несколько истрепанных русских ранцев, тоже, вероятно, подобранных под Алмой и, должно быть, не понравившихся французам. В некоторых ранцах был оставлен нетронутым кое-какой хлам, но нигде не оказалось сапог, взамен их французы бросили свои деревянные башмаки. Как видно, русские сапоги пришлись им весьма по вкусу.

Авангард наш набрел по дороге на нескольких убитых и раненых. У многих остались в памяти два трупа: один казацкий, другой татарский, лежавшие рядом. Труп казака весь распух, из обезображенных рук были вытянуты жилы.

- Господа, чьи это штуки, французов или татар? - спросил один офицер.

- Разумеется, татар, не видите, что ли, подле казака труп татарина, сказал с досадою ротный командир. - Разве французы способны на подобное варварство?

- А может быть, тут виноваты турки?

- Ну, турок они, по-видимому, держат в черном теле. Под Алмой мы их что-то совсем не видали.

Несколько дальше набрели на татарскую арбу, конвоируемую казаками. В арбе сидел казак, правивший волами, а подле него лежало какое-то человеческое существо.

Подошедшие владимирцы тотчас признали своего, сказав: "Да это, ребята, наш унтер-офицер шестой роты Алексеев".

Несчастный походил, скорее, на ободранный скелет, чем на человека. Он был полуодет, да и то в рваном белье, и видны были его раны, в которых копошились черви. Тем не менее он был при полной памяти. Его обступили и с участием расспрашивали.

- Здравствуй, Алексеев, где это тебя подобрали? - спрашивал офицер.

- Под Алмой, ваше благородие. - Алексеев старался привстать.

- Какие негодяи его так ободрали? - спросил офицер у казака.

- Известно дело, татары, ваше благородие.

- Орлы заклевать хотели, - слабым голосом проговорил Алексеев, - а тут еще татары всю одежу сняли... Одной росой пять дней питался. Когда бы не добрые люди, там бы и околел, как собака.

- Господа, надо ему дать чего-нибудь поесть, - говорили офицеры.

- Покорно благодарю, ваше благородие... Есть теперь не хочется. Все нутро печет. Пить страсть хочется. Водицы бы испить.

- Не хочешь ли винограду? - спросил кто-то, подавая ему гроздь крупных, душистых ягод. Винограду Алексеев обрадовался, - как ребенок, и стал сосать сок.

Долго еще толковали офицеры об этом случае и радовались, что спасли человека от ужасной смерти - быть заживо растерзанным орлами.

Наконец 18 сентября авангард наш подошел к Северному укреплению. Неожиданное появление армии произвело в городе неописуемую радость. Войска наши остановились на высотах против так называемой Голландии.

Меншиков приехал в два часа пополудни в свой домик на Северной. Не успел он пообедать, как явился Корнилов.

Владимир Алексеевич был так рад приезду Меншикова, что забыл всю свою прежнюю досаду и радостно приветствовал князя.

- Теперь у нас войска довольно, - сказал он, - и надеюсь, что ваша светлость прикажете тотчас переправить большую часть войска на Южную сторону. Наши дела по-старому: укрепления умножаются, мы все осматриваемся и готовим в случае атаки русский отпор. У нас была утром перепалка с неприятельскими пароходами, впрочем незначительная. Неприятельские корабли становятся на якорь снаружи: они завладели всеми бухтами. У нас, ваша светлость, можно еще все сделать, была бы только армия.

- В том-то и беда, ваше превосходительство, что армии у меня нет, сказал Меншиков. - Разве это армия? Дали мне какие-то сборные войска и удивляются, что я проиграл алминское дело. А тут еще такие полководцы, как Кирьяков со своим полковником Залеским! Этот Кирьяков стоит самого Дибича! Неприятель очень силен. Надо ждать прибытия новых войск. Я думаю сделать еще одно движение с целью соединиться с двенадцатой дивизией.

- Стало быть, вы опять предоставите Севастополь своим средствам? спросил Корнилов, чувствуя, что едва сдерживает себя.

- Называйте как хотите, ваше превосходительство! У вас довольно войска, чтобы держаться, а у меня его слишком мало, чтобы атаковать неприятеля в открытом поле.

- Но если так, ваша светлость, то - прощай Севастополь! Если только союзники решатся на что-нибудь смелое, нас задавят. Я прошу, наконец, немногого: дайте мне три полка по вашему выбору, и я берусь отстоять Севастополь... Созовите, наконец, военный совет: я уверен, что большинство будет одного со мной мнения.

- Пожалуй, я созову совет, - сказал Меншиков, - но предупреждаю вас, ваше превосходительство, что решения совета

для меня не обязательны.

- Но мне кажется, важность недопущения неприятеля в Севастополь даже не подлежит суждению, - горячо сказал Корнилов. - Даже последующее истребление всей неприятельской армии на развалинах Севастополя не вознаградит государю гибель этого важного порта и всего Черноморского флота - не только с кораблями, но и с офицерами и матросами.

- Вы, вероятно, думаете, ваше превосходительство, что я без вас не знал этих истин, - надменно сказал Меншиков. - Вы думаете также, что я не знаю, какие здесь обо мне распускают слухи. Но для меня это безразлично. Вы могли убедиться, что мое фланговое движение принесло свои плоды. Теперь я намерен сделать новое движение с целью отвлечь внимание союзников от города.

- Но, ваша светлость, это движение может быть неудачным, а по малочисленности войск, о которой вы сами говорите, оно не может быть грозным. Неприятель, имея лазутчиков, скоро удостоверится в слабости гарнизона и под носом у нашей армии вырвет и город, и флот! Я считаю единственною мерою обеспечение значительной частью войск обороны Севастополя и наблюдение небольшим отрядом Северной стороны, куда могут быть направлены следующие из России подкрепления.

- Я спорить более не намерен, - сказал князь. - Если хотите, составьте записку и подайте в военный совет. Но повторяю, если обстоятельства не изменятся, никто не отклонит меня от моего решения.

Корнилов вышел от князя в состоянии, близком к отчаянию. Единственная надежда его была на военный совет.

Но по уходе Корнилова Меншиков вдруг изменил свои намерения. Пересматривая полученную во время его отсутствия корреспонденцию, Меншиков, между прочим, прочел несколько писем, в которых его умоляли не оставлять Севастополь. Два-три письма были гораздо более неприятного содержания. Князь поморщился и позвал Панаева.

- Ты знаешь, братец, новость, - сказал князь.

- Что такое, ваша светлость?

- Да вот что! Я, видишь ли, хотел продать Севастополь англичанам, да дешево давали! Вот, прочитай это письмо.

Панаев пробежал письмо и с негодованием бросил его на стол.

- Ваша светлость, только отъявленный негодяй мог распустить о вас подобную гнусную клевету.

- Позови мне Вунша, надо распорядиться.

Князь не созвал обещанного совета, но решил дать Корнилову

три полка Кирьякова - Московский, Тарутинский и Бородинский, - а также часть резервов и две легкие батареи.

Корнилов торжествовал. Он немедленно приказал, чтобы все пароходы развели пары. Два полка были поставлены на Театральной площади, откуда их разместили по бастионам, а Бородинский - на Ушакову балку.

"Теперь войска много; будем стоять и отстоим", - писал Корнилов в своем дневнике.

XI

Отставной капитан Спицын в последнее время часто был не в ладах с дочерью, но только со времени возвращения графа Татищева в Севастополь он вполне почувствовал значение слов Фамусова: "Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом". Даже постоянные мысли о Черноморском флоте не могли отвлечь его внимания от странного поведения Лели. В день затопления кораблей капитан Спицын был так расстроен, что не мог думать ни о чем другом, но на следующий день он прочел лежавшую у него на столе записку, принесенную человеком мадам Будищевой. В этой записке было сказано: "Мне весьма неприятно, что я совершенно против своей воли сделалась участницей странного поступка вашей дочери. Как это ни грустно, я должна сообщить вам, как отцу, что ваша дочь ведет себя не так, как следует благовоспитанной девице. Вчера вечером она была у меня, и я, не желая отпускать ее так поздно даже со своим человеком, оставила ее ночевать. Представьте себе мое удивление, когда утром моя девка Палашка, войдя в комнату, где я устроила вашу дочь, нашла ее пустою! Я тотчас стала допрашивать всех своих людей и наконец дозналась, что на рассвете дочь ваша ушла пешком куда-то по Екатерининской улице, поставив тем меня в крайне неловкое положение".

Прочитав это послание, капитан не на шутку рассердился и тотчас отправился в комнату дочери.

Посещения отца были так редки, что Леля не приняла никаких мер предосторожности. Она сидела за своим рабочим столиком и внимательно рассматривала портрет.

Капитан, не утративший с годами своего острого зрения, отворив дверь, в одно мгновение разобрал, кто был изображен на портрете. Он с шумом захлопнул дверь и подошел к дочери. Леля, как провинившаяся школьница, покрыла портрет лежавшею на столе книгою.

- Покажи-ка мне этот портрет, - сказал капитан. В голосе его чувствовалась особенная твердость.

- Разве я маленькая девочка, что должна вам показывать все портреты, которые мне дарят мои знакомые?

- Прошу без глупостей. Дай сюда этот портрет. Леля вспыхнула.

- Зачем вам, папа? Капитан топнул ногою.

- Отдашь ли ты мне портрет, гадкая девчонка! Ты думаешь, я не знаю, чей он? Петербургские графчики тебе дарят свои портреты! Отлично! Что сказала бы покойница твоя мать! Дай сюда, говорю тебе.

- Возьмите, если вам так хочется, - сказала Леля, отдавая портрет, и хотела выйти из комнаты, но капитан грубо схватил ее за руку.

- Постой, ты не уйдешь! Говори сейчас, как ты смела уйти ночью от Будищевых? Это что еще за фантазии? Уж не назначила ли ты свидание своему графу?

Он сжимал руку дочери до боли.

- Да, я гуляла с графом на пристани и не вижу в этом ничего дурного, сказала Леля, стараясь сдержаться, чтобы не заплакать.

Капитан оттолкнул от себя дочь.

- Так вот что! На пристани! В общем присутствии! Как я тебя там не заметил?! Ведь я был там! Все подумают, что с моего ведома! Так вот какая у меня дочь! Подожди же!

Он бросил портрет на пол и, прежде чем Леля успела поднять его, стал топтать его ногами. Стекло распалось в мелкие кусочки.

Леля бросилась на свою кровать и, уткнувшись головой в подушку, истерически разрыдалась. Капитан отшвырнул исковерканный портрет ногою и быстро вышел, изо всех сил хлопнув дверью.

Леля недолго плакала: гордость взяла свое. Она вскочила и, подняв остатки портрета, бережно спрятала в ящик комода, очинила перо, достала лист почтовой бумаги, на котором сверху красовался вид Севастополя, и села писать. Написав письмо, она запечатала конверт и вышла в сад. Отыскав сына дворника, она велела ему поскорее отправиться с запискою в город по указанному адресу. На конверте было написано: Екатерининская улица, дом Попандопуло, графу Татищеву от Е. С. Внизу было приписано: "Весьма спешное". Мальчику велено было ждать ответа.

Мальчик не застал графа и возвратился с известием, что граф отправился опять в поход. Действительно, граф участвовал во фланговом движении. Камердинер Матвей передал мальчику записочку, в которой было сказано: "Елена Викторовна. Внезапно получен нами приказ опять выступить в поход. Когда мы вернемся, не известно. Желаю вам всего хорошего. Ваш Т.".

"И.больше нечего", - подумала Леля. Записка показалась ей мертвенно холодною, и ей было досадно, что она написала графу.

Она была рада, что граф не получил ее письма, и решила отправиться завтра в город и взять письмо назад. Но, перечитав записку графа еще раз, она обратила особенное внимание на слова "ваш Т.", и мнение ее изменилось.

"Он так был озабочен, что ему не было времени заботиться о любезностях", - решила Леля.

Целую неделю Леля провела в томительном ожидании. В эти дни жизнь для нее была настоящей каторгой. Ей постоянно приходилось встречать суровый взгляд отца; в город она не могла отпроситься ни под каким предлогом, и только раз ей удалось побывать там тайком у Будищевой, которая приняла Лелю очень холодно, сказав, что ей неприятно видеть у себя в доме девушку, которая так мало дорожит своей репутацией. Леля запальчиво ответила совсем несообразную вещь, а именно, что Будищева напрасно надеется, что граф Татищев сделает предложение ее дочери. Будищева с чувством оскорбленного достоинства сказала, что после такой выходки она запрещает Леле переступать порог своего дома. Леля и сама сознавала, что сделала непростительную глупость и что выдала себя, но дело уже непоправимо, и оставалось только надеть шляпу и мантилью и уйти. Она поспешила на квартиру графа, но и Матвей ничего не мог сообщить.

По возвращении нашей армии Леля, улучив минуту, поспешила опять в город и на этот раз узнала от Матвея, что граф вскоре поступит на бастионы и что сегодня и завтра он ночует дома.

- Ради Бога, голубчик, не забудьте передать ему мое письмо.

- Не забуду, не забуду, барышня... Да скажите на милость, какой вы родственницей доводитесь их сиятельству? Я, кажись, по пальцам всю их родню знаю. - Матвей давно уже начал относиться к посещениям Лели подозрительно.

- Граф знает, знает, - нетерпеливо сказала Леля. - Ради Бога, передайте, это важное письмо по его личному делу, он сам вас поблагодарит.

- Передам, барышня, отчего не передать, - сказал Матвей, а в душе подумал: "Должно быть, завел себе граф цыганку. Прежде за ним этого не водилось... В отца пойдет! Старый граф был страсть охоч до женского пола".

Леля ушла, а часа два спустя граф возвратился к себе на квартиру. Матвей передал записку, граф довольно равнодушно прочел адрес, бросил конверт на стол и велел дать себе пообедать. После обеда он закурил сигару и, распечатав конверт, стал читать.

- Интересно, - сказал он вслух, но чем более читал, тем лицо

его становилось серьезнее.

У графа было много напускного фатовства. Искренние, горячие и наивные признания девушки растрогали его. Волна нового, неведомого чувства охватила его; это не была любовь, даже не была страсть, вроде той, которую он испытывал к великосветской красавице Бетси, это было теплое, почти братское чувство, удивившее самого графа: он не считал себя способным к такому чувству. Ему становилось совестно за свое легкомысленное отношение к Леле, он был поражен, уничтожен глубиною ее чувства и не знал, как отнестись к нему. Граф чувствовал, что еще минута - и он прослезится, как сентиментальная институтка. Он поспешил дочитать письмо до конца, спрятал его и стал придумывать ответ, но никак не мог придумать.

"Что я ей напишу? - думал он. - Написать, что она слишком молода, - не имеет смысла, так как и моложе ее выходят замуж. Намекнуть о неравенстве наших общественных положений, о том, что брак наш был бы в большом свете принят как тёзаШапсе (непристойный союз), - это оскорбит ее, да я и сам чужд глупых светских предрассудков. Сказать просто, что я, не люблю ее или люблю другую, - пожалуй, не поверит или сочтет меня весьма дурным человеком, который хотел воспользоваться ее неопытностью..."

Наконец граф взял лист бумаги, на котором был изображен его герб с короной, и написал: "Если возможно, приходите завтра в десять часов утра к памятнику Казарскому. Завтра вечером или послезавтра я поступаю на бастионы, и нам долго не придется видеться. Ваш Т."

Леля была в девять часов в назначенном месте. Час ожидания показался ей вечностью. Она подошла к библиотеке, увидела, что с террасы сняты украшавшие ее статуи (это было сделано по приказанию Корнилова на случай бомбардировки), подошла к чугунной решетке сада и вошла через калитку. На скамье под густой акацией сидел граф и читал книгу.

- Вы здесь? - сказала Леля, садясь подле него и отнимая книгу.

Граф вздрогнул от неожиданности.

- Я вас испугала? - спросила Леля. - Отчего вы не пришли к памятнику?

- Я ждал условленного времени, - сказал граф, оглядываясь по сторонам. В саду никого не было видно, кроме матросов, чистивших дорожки.

- Вы получили мое письмо? - спросила Леля.

- Вы могли в этом убедиться из моего ответа, Елена

Викторовна. Я написал вам, чтобы разъяснить вам мой взгляд на наши отношения...

- Я думаю, разъяснять тут нечего, - сказала Леля. - Я написала вам все и начинаю раскаиваться в этом... Папа прав! Я совсем не дорожу своей репутацией... Но если бы я знала, что вы отнесетесь ко мне так, я бы сумела дорожить собой...

- Какая вы странная, Елена Викторовна! Я еще ничего не сказал вам, а вы уже истолковываете мои чувства, как будто вы их знаете.

- Разве я не вижу? - сказала Леля дрожащим голосом. - Вы как будто не рады моему приходу, вы оглядываетесь по сторонам, как будто боитесь не за мою, а за свою репутацию.

- Вы, кажется, намерены сегодня поссориться со мною, Елена Викторовна, - сказал граф. - Но я бы этого не желал; я считаю вас очень хорошею, но упрямою и капризною девушкой. Вы мне написали много такого, что не принято писать хорошему знакомому, который ничем не заслужил вашего особого внимания...

Граф внутренне любовался собою, произнося последние слова. "Мое благоразумие охладит пыл этой горячей головки, - думал он, - и заставит Елену Викторовну быть осторожнее в своих поступках".

- К чему вы мне все это говорите? - спросила Леля. - Если я для вас только хорошая знакомая, значит, я ошиблась в вас. Возвратите мне мое письмо: оно, вероятно, при вас.

- Нет, я его спрятал на память, - сказал граф. Леля встала со скамьи.

- В таком случае уничтожьте его, когда придете домой, - сказала она. А теперь прощайте, граф. Я сознаю, что поступала очень глупо и была слишком легкомысленна.

Граф тихо взял ее за руку и снова усадил на скамью.

- Елена Викторовна! Будем говорить хладнокровно. Ведь вы меня совсем не знаете. Вы, вероятно, создали ваш идеал по романам, а я, наверное, весьма далек от воображаемого вами идеала. Вы еще так молоды, так мало знаете жизнь, а я ее изведал вполне...

Рука Лели была в его руке.

- Я сам, - сказал граф после некоторого молчания, - я сам был бы счастлив, если бы мог полюбить так искренно, так чисто, так непосредственно, как вы способны полюбить... Вы мне не сказали в вашем письме прямо, что любите меня, и, быть может, я не имею права говорить с вами таким образом, но я сердцем угадываю, что у вас натура глубокая, способная к сильному чувству. А я, я светский человек, и больше ничего... Быть может,

если бы вы меня серьезно полюбили, я бы и сам нравственно переродился, но ведь вы мне не сказали, что любите меня... Граф с ужасом заметил, что говорит совсем не то, что положил себе сказать.

- Разве вы не поняли из моего письма? - сказала Леля, задыхаясь от волнения. - Неужели вы хотите, чтобы я непременно произнесла эти слова, как будто и без них вам непонятно! Ну хорошо, я скажу вам, я люблю вас, слышите ли? - почти вскрикнула Леля. - Я люблю вас! Теперь вы поняли?

У нее закружилось перед глазами, Леля не понимала, что делается вокруг нее.

Граф помог девушке встать и, взяв ее под руку, пошел по дорожке, мимо цветочных клумб.

"Однако это подлость с моей стороны!" - подумал граф. Он вдруг вспомнил о своей великосветской связи.

Леля ничего не вспоминала, она вся отдалась настоящему и только улыбалась, глядя то на цветы, то в лицо графу. Граф избегал ее взгляда.

- Вы, вероятно, не успели позавтракать, - сказал вдруг граф. - Пойдем ко мне, я угощу вас чем-нибудь. У меня найдется закуска и фрукты.

Леля вовсе не думала о завтраке, но тем не менее сказала:

- Ах, как это весело! Идем к тебе. Не говори мне больше "вы". Ведь я твоя невеста, не правда ли?

- Да, - подавленным голосом сказал граф.

"Какой я подлец!" - снова подумал он, но продолжал вести Лелю и наконец переступил вместе с нею порог своей квартиры.

Граф, как было уже сказано, занимал теперь из своего прежнего помещения только две комнаты: в остальных были расквартированы другие офицеры. Но никого не было дома, о чем граф узнал от своего камердинера, который, увидя графа с барышней, нахмурился и что-то проворчал себе под нос.

- Ступай, купи нам фруктов и чего-нибудь закусить... Возьми у Томаса котлеток, - сказал граф камердинеру.

Матвей удалился. Граф нервно кусал губы.

Он чувствовал, что им овладевает неудержимая страсть - и боялся за себя.

Леля, ничего не подозревая, улыбалась и болтала всякий вздор, рассматривала портреты, висевшие у графа над письменным столом, садилась подле Татищева на диван и смотрела на графа, любуясь им.

Граф отвечал односложными "да" и "нет".

- А это чей портрет? Какая красивая! - сказала Леля, увидя портрет молодой женщины. В ней зашевелилось чувство

ревности.

- Это моя петербургская знакомая, - уклончиво сказал граф.

- У тебя много знакомых? Ты богач, аристократ... Я не хочу, чтобы думали, что я выхожу за тебя, потому что ты богат и знатен... Мысль, что кто-нибудь подумает так, мучит меня...

- Никто и не подумает, - сказал граф.

Он встал, подошел к окну, налил и выпил залпом стакан холодной воды, хранившейся в большом глиняном кувшине.

- Ты любишь меня? - спросила вдруг Леля. - Ты - еще ни разу не сказал мне этого, а от меня как требовал!

- Люблю, - прошептал граф, привлекая к себе девушку. Она хотела отвернуться, но не успела, и поцелуй графа обжег ее губы.

- Оставь, оставь, - слабо защищаясь, говорила Леля. Граф поднял ее на руки, как ребенка, посадил на диван и опустил зеленые шторы. В комнате наступил зеленоватый полумрак.

В соседней комнате послышался старческий кашель Матвея. Граф быстро вошел туда, сказал несколько слов камердинеру и, отослав его с новым поручением, возвратился к Леле. Леля полулежала на диване, не понимая, что с нею делается и где она находится... Граф осыпал поцелуями ее руки и плечи.

XII

Поздно вечером, когда уже совсем стемнело, Леля возвратилась домой, вошла в свою комнату и бросилась на свою девическую постель. Полежав несколько минут, она села и долго сидела, низко склонив голову и закрыв лицо руками. Щеки ее пылали. Жгучий стыд все ниже и ниже клонил ее гордую голову. Смутный рой мыслей и совершенно новые чувства и физические ощущения, которых она вчера еще не могла бы понять, угнетали все ее существо, придавливали ее. Все ее наивные мечты и представления о любви были растоптаны, поруганы, разбиты. Еще утром - невинный ребенок, теперь она знала любовь во всей ее беспощадной, реальной, грубой форме, не имевшей ничего общего с теми возвышенными, сентиментальными поэтическими образами, которые Леля извлекла из чтения любовных романов и чувствительных поэм. То, чего она не могла понять, стало для нее ясным как день, она изумлялась своей прежней наивности и проклинала себя за свою глупость и доверчивость. Воспоминание о жгучих ласках графа было противно ей, потому что она поняла, что в отношениях графа к ней не было ничего, кроме страсти, не было того нравственного возвышающего начала, которое облагораживает самую страсть. И прежде Леля смутно, по инстинкту, догадывалась, что в любви есть чисто животная сторона, и инстинктивно боялась этой стороны; но Леля всегда была уверена, что главное содержание любви состоит в

нравственном, духовном слиянии, которое ее воображению рисовалось то в виде торжественного церковного обряда, освящающего, любовь, то в виде счастливой жизни с нежно любимым мужем. Теперь перед нею была одна страсть, отделенная от всякого нравственного содержания, страсть - для нее по крайней мере - скорее мучительная, чем приятная, скорее унизительная, чем возвышающая душу, противная в своей грубой, физической наготе.

Леля не плакала, и только одна жгучая слеза - слеза стыда и раскаяния тихо скатилась по ее пылающей щеке, да и ту она поспешно стерла, зажгла свечи и подошла к зеркалу. Леля вздрогнула. Она не узнала себя.

В несколько часов Леля как будто постарела на несколько лет. Это уже не была прежняя резвушка Леля. "Елена Викторовна Татищева", - мелькнуло у нее в уме, и это сопоставление звуков показалось ей злостной иронией.

Леля поспешно потушила свечу, не раздеваясь, легла в постель, укрылась пикейным одеялом и старалась заснуть. Но мысли, одна другой мучительнее, неотвязно ползли, как бы цепляясь одна за другую и подтачивая ее мозг.

Раньше обыкновенного встала Леля, но долго не выходила из своей комнаты. Наконец капитан прислал Мавру узнать, отчего барышня не идет разливать чай. Леля наскоро умылась и, посмотревшись в зеркало, испугалась: синие круги были у нее под глазами, лицо как будто вытянулось и пожелтело.

- Ты нездорова, Лелечка? - с участием спросил капитан.

В первый раз со времени их последней ссоры отец заговорил с нею ласково, и эта ласка резнула Лелю, как нож.

- Да, я не спала всю ночь, - сказала Леля.

- Вероятно, клопы, - сказал капитан. - Надо этой старой дуре Мавре приказать, чтобы она постоянно осматривала матрацы. Мне недавно всю ночь не дали спать... Я думаю опять спать в саду на койке.

- Папаша, не делайте этого, вы простудитесь и схватите ревматизм.

- Я простужусь? Я, старый моряк? Ха, ха, ха! Что выдумала! Ну чего ты киснешь, Лелька! Полно нам с тобой ссориться! Повернем на другой галс! Теперь, Лелька, не до того! Надо думать об общем горе, о горе всего родного города и флота, а не о наших мелких огорчениях.

И эти слова болезненно отозвались в сердце Лели. Со вчерашнего дня интересы Севастополя и флота были для нее пустым звуком по сравнению с ее личными треволнениями.

- Полно тужить, Лелечка! - не то шутя, не то серьезно сказал

капитан, выпивая третий стакан чаю пополам с ромом. - Ну, обидел я тебя, погорячился немного, извини. А ты все-таки плюнь на своего графчика, вот мы отстоим Севастополь, тогда выдам я тебя замуж за какого-нибудь лихого лейтенанта, героя, сражавшегося на бастионах... А твой графчик, я думаю, после первой серьезной перепалки отпросится куда-нибудь на излечение в Симферополь.

Чаша переполнилась. Леля вскочила и так поставила чашку, что разбила ее вдребезги.

- Как вам не стыдно, папа! Как вы можете так судить о человеке, который сражался под Алмой в самом опасном месте и сам отправился на четвертый бастион, где, говорят, будет очень опасно, наконец, о человеке, которого я люблю, о моем женихе, если вы хотите знать все!

Леля знала, что сказала далеко не все, но главного она не имела духу сказать.

- Он сделал тебе предложение? - спросил капитан. - Где и когда, позволь спросить? Письменно или на словах? И почему этот господин не спросил меня, желаю ли я отдать за него свою дочь? Если ты желаешь обойтись без моего согласия, тогда - другое дело... Но тогда я тебе не отец...

- Он вчера сказал мне на словах, что женится на мне, как только кончится кампания, - сказала Леля. - Конечно, если его не убьют, - прибавила она и сама испугалась своих слов.

- Хорошо, - сказал капитан. - Мы еще поговорим об этом. Удивляюсь, как у вас это все скоро сладилось. И где ты вчера могла его видеть? Я строго приказал этому болвану Ивану без моего спроса не возить тебя в город. Надеюсь, что ты еще одумаешься и поймешь, что ты не пара графу. Может быть, он и прекрасный человек, и отменных качеств, но отец твой не богач и не знатной породы, и, выйдя за графа, ты будешь, что называется, ни пава ни ворона... Смотри, ты разбила ту чашку, которая тебе досталась от твоей покойной матери. Следовало бы больше дорожить такими вещами.

Леля сама только что заметила, какую именно чашку разбила, и в этом событии увидела для себя дурное предзнаменование.

XIII

По уходе Лели капитан долго сидел, прихлебывая чай и куря трубку. Он видел, что без постороннего совета положительно неспособен сладить с дочерью. Долго думал он, к кому бы обратиться за советом. Наконец выбор его остановился на Елене Ивановне Меринской, старинной знакомой капитана, гостившей у своего дяди, полковника Хрущева, того самого, который со

своими волынцами прикрывал отступление наших войск после Алминского боя.

"Елена Ивановна дама умная и образованная, - подумал капитан. - Она посоветует мне, как действовать в настоящем случае. Я вижу, что моя Лелька хандрит, что она бредит об этом графе, но как быть, что делать - не знаю. Ведь вижу я отлично, что все эти разговоры, будто он сделал ей предложение, - чистый вздор... Надо посоветоваться с Еленой Ивановной".

Елена Ивановна недавно переехала с дачи Хрущова, с Камышовой бухты, в дом над Килен-балкою. Оставаться на даче было небезопасно после перехода неприятеля на Южную сторону, и действительно, вскоре после переезда Меринской неприятель завладел бухтой.

Елена Ивановна, по второму браку Меринская, по первому Сокольникова, урождённая Хрущова, была помещица Тульской губернии. Это была полная, среднего роста дама, весьма стройная, несмотря на полноту, с темными умными глазами. Второй муж ее был товарищем поэта Лермонтова. Второй брак Елены Ивановны не понравился некоторым из родных: ДОеринский состоял с нею в близком свойстве и тогдашние понятия осудили этот брак.

Рассорившись с родными, Елена Ивановна осталась, однако, в ладах с полковником Хрущевым, и главной целью ее приезда в Крым было примириться через посредство Александра Петровича со всей роднёю.

Полковник - старый холостяк, как и все его братья, кроме отца Елены Ивановны, - живший до того времени в обществе одних офицеров своего полка, со времени приезда племянницы стал жить жизнью более семейной.

Он очень полюбил маленького Гаврика, смуглого, темноволосого сына Елены Ивановны. Нельзя сказать, чтобы Гаврик принадлежал к числу смирных и послушных детей. Наоборот, не проходило дня, чтобы он не устраивал какой-нибудь штуки, к чему особенно поощряли офицеры, вроде поручика Михайлова. Кроме матери, Гаврик не признавал над собою ничьего авторитета. Дядю-полковника он любил, но нисколько его не боялся. Теперь, наслушавшись рассказов дяди об Ал минском сражении, Гаврик вообразил и себя героем и, живя над Килен-балкою, в недалеком расстоянии от Корабельной слободки, имел полную возможность удовлетворить своим воинственным наклонностям. Действительно, фруктовый сад, примыкавший к дому, часто подвергался разбойническим нападениям матросских мальчишек, которые уже представились Гаврику чем-то вроде союзной армии, атакующей алминскую позицию. Взяв с собою

двух знакомых мальчиков и вооружив свою малочисленную, но храбрую армию палками, Гаврик подстерег неприятеля в канаве и дал ему генеральное сражение, окончившееся удачнее Алминского. Матросские мальчишки были разбиты наголову и позорно бежали, пустив в противников кирпичами и камнями. Один из камешков сильно контузил ногу Гаврика, но герой не оставил поля битвы и возвратился домой хотя прихрамывая, но с трофеем - мешочком слив и персиков, брошенным неприятелем.

- Гаврик, что с твоей ногой? - спрашивала Елена Ивановна юного героя.

- Так, ничего, нечаянно ушибся.

- А тебе есть сегодня сюрприз: от дяди Степана Петровича получено два письма, одно из них на твое имя.

- Мама, мама, дай скорее прочитать! Как я рад, как я рад, - напевал Гаврик, подпрыгивая на здоровой ноге, что он делал как от радости, так и потому, что, ступая ушибленной ногою, чувствовал жестокую боль.

- Только... уж извини, я распечатала твое письмо.

- Зачем? - сказал Гаврик с вытянувшимся лицом. - Разве хорошо читать чужие письма? Я бы и сам мог распечатать.

- Думаю, секретов от меня нет, - сказала, улыбнувшись, мать. - Впрочем, успокойся, я не читала твоего письма, и если есть секреты, ты можешь мне не рассказывать.

Гаврик с видом солидного человека сел читать письмо, но вскоре не утерпел и стал вслух высказывать свои впечатления.

- Мама, у них там страшные морозы, а у нас такая жара!.. Мама, дядя застрелил недавно медведя... Мама, это очень интересно (Гаврик прочел описание охоты)... Мама, дядя дарит мне два золотых. Где же они?

- У меня, я тебе передам. А что, дядя теперь уже не называет тебя неграмотным Гавриком?

- Нет, - с досадою сказал мальчик. Мать коснулась неприятного для него воспоминания.

Год тому назад Гаврик написал дяде письмо, в котором было изрядное количество орфографических ошибок, так как диктовке он упражнялся под руководством подпрапорщика, который сам был не тверд насчет буквы "ять". Дядя в письме, адресованном Елене Ивановне, перечисляя разные присланные им с тою же почтою подарки, сделал приписку: "А неграмотному Гаврику от меня два золотых". Мальчик долго не мог понять: как же это он неграмотный, ведь он умеет писать? Когда наконец ему объяснили смысл этого выражения, самолюбие Гаврика было затронуто и он стал просить мать поправлять ему диктовку.

Мать была женщина образованная, даже печатала свои

повести в "Северных цветах". От нее Гаврик унаследовал страсть к сочинительству и девяти лет уже сочинял маленькие рассказы, в которых, разумеется, описывались невероятные битвы с черкесами и с турками и подвиги героев, как две капли воды напоминавших самого Гаврика.

Гаврик наконец не утерпел и прочел все письмо вслух матери. Елена Ивановна внимательно слушала, как вдруг вошла горничная девка и сказала, что пришел капитан Спицын.

- Что вы так редко показываетесь? - спросила Елена Ивановна, усаживая гостя и отсылая Гаврика играть.

Капитан хотя и не был светским человеком, но с дамами был очень любезен. Поцеловав ручку хозяйки, он сел и сказал Елене Ивановне, что пришел поведать ей свое горе.

Елена Ивановна сама курила и попросила капитана курить.

- Лелька моя что-то дурит, - сказал капитан. - Не знаю, что с нею делать...

И он вкратце рассказал, что знал о знакомстве Лели с графом. Знал он, разумеется, весьма немногое. Елена Ивановна имела о графе довольно смутные понятия, хотя и встречалась с ним в обществе. Но она знала, что капитан человек честный и прямой, чутьем отличающий дурных людей от хороших. Знала она также, что в воспитатели девушке он совсем не годится, и посоветовала ему отослать Лелю к родственникам в Николаев.

- Это тем необходимее, - сказала Елена Ивановна, - что скоро и всем нам придется выехать по случаю военного времени. Я на днях собираюсь выехать в свое тульское имение. Говорят, сообщение с Симферополем теперь свободно. Жаль, что Александра Петровича нет дома, вы бы с ним поговорили, он так любит беседовать с вами о военном деле... Я, как женщина, мало в этом понимаю. Он бы вам рассказал все.

Капитан соображал.

- Да, вы правы, Елена Ивановна... Боюсь, она закапризничает, но придется даже против ее воли удалить ее в Николаев. Кажется, это единственное средство. Я-то сам, конечно, останусь.

- Вы думаете опять поступить во флот?

- Нет, - сказал капитан, махнув рукой. - Все собирался, да, кажется, ничего не выйдет. Корабли теперь топят, значит, и мы никуда не годны!

Поговорив еще о разных предметах и узнав, что Александр Петрович Хрущев со своими волынцами поставлен на четвертый бастион, где и будет находиться в течение трех недель бессменно, капитан пожелал хозяйке всего хорошего и отправился домой. Когда он вошел в свою "каюту", явился Иван с донесением, что по ту сторону Килен-балки показались неприятельские

застрельщики.

- Где барышня? - спросил капитан.

- Гуляют в балке...

- Ах ты болван! Что же ты их не позовешь поскорее!

Капитан побежал искать дочь. У него мелькнула нелепая мысль, что Лелю могут взять в плен. Разумеется, ничего подобного не было, и Леля вернулась целою и невредимою и потом вместе с отцом смотрела на мелькавшие в отдалении фигуры неприятелей, как вдруг послышалось несколько пушечных выстрелов - и неприятель разбежался.

- Должно быть, "Владимир"{97} угостил их ядрами, - сказал капитан, затем объявил Леле о своем твердом решении отправить ее на следующий же день в Николаев. К немалому удивлению капитана, Леля не стала спорить. Ей и самой хотелось бежать неизвестно куда, как будто от перемены места жительства зависело скрыть мучивший ее стыд. После того рокового в ее жизни дня она еще ни разу не видела графа и, как ей казалось, не имела ни малейшего желания видеть его. Она боялась встречи с ним, боялась, что если увидит его, то усугубит свой позор. Леля стала собираться к отъезду и укладывать свои вещи. Но она не могла ехать, не уведомив об этом графа. У нее шевелилась слабая надежда, что ее решимость уехать будет пробным камнем для его чувств к ней. Если в нем действительно есть хотя капля человеческого чувства, он не отпустит ее, не обвенчавшись с ней тотчас же или не дав ей торжественного обещания сделать это в самом близком будущем.

В тот роковой день, уходя от него, она не могла добиться от графа ничего, кроме поцелуев и слов любви, слов бессмысленных и под конец оскорбивших ее до глубины души.

Обдумывая теперь все, что говорил ей граф, Леля оправдывала его. Может ли человек в пылу страсти говорить что-либо разумное? Она требовала от него обещания жениться, просила, чтобы он, по крайней мере, обменялся с нею кольцами, граф на это отвечал: "Какие у тебя чудные глаза! Поцелуй меня еще раз, вот так, крепче, крепче!" - и как будто избегал ответа на вопросы, от которых зависела вся ее жизнь, все ее счастье. Но теперь он должен дать ей решительный ответ.

Размышления Лели были прерваны появлением Мавры, которая подала ей письмо, написанное слишком известным ей почерком. Дрожащей рукою разорвала Леля конверт и прочла следующее: "Елена Викторовна (Леля вздрогнула, прочитав это официальное обращение)! Я глубоко виновен перед вами: я готов назвать себя негодяем.

Да, я поступил с вами низко, подло. Не любя вас, любя

другую (для вас все равно, кто эта другая, - скажу только, что она живет в Петербурге и вы видели у меня ее портрет), я был так низок, что позволил себе увлечься минутной страстью и погубил вас навсегда... Ненавидьте меня. Я низкий человек. Но теперь делать нечего. Надо постараться, хотя отчасти, исправить дело. Вы не ребенок, вы теперь женщина, и было бы смешно скрывать от вас следствия нашего легкомыслия... Если вы не примете заблаговременных мер, вы произведете на свет новое существо, которое будет несчастным, так как я не могу жениться на вас. Есть средства избегнуть этого. Обратитесь к доктору, адрес которого при сем прилагаю. Вы можете ненавидеть меня, но из моего письма вы видите, что я всеми силами пытаюсь загладить свою вину и исправить свой поступок".

Леля читала как во сне. У нее кружилась голова.

- Человек ждет ответа, - сказала Мавра, снова входя в комнату.

- Сейчас, - сказала Леля. Глаза ее сверкнули. Она села к столу и быстро написала: "Ненавидеть таких людей, как вы, нельзя. Их можно только жалеть и презирать".

Леля тщательно запечатала письмо, передала Мавре, еще раз перечла письмо графа, потом достала остатки изломанного отцом портрета и все письма графа и, связав все это в пакет, сожгла.

На следующее утро Леля получила от графа записку такого содержания: "Забудьте мое вчерашнее письмо. Отнеситесь к нему как к тому, что пишет человек в припадке сумасшествия. Я назначен не на 4 бастион, как я рассчитывал, а на дистанцию контр-адмирала Истомина. Нашу батарею завтра поставят перед доками, позади острога. Вы видите, это довольно близко от вас. Приходите сегодня в час пополудни к моим казармам, а оттуда поедем в город ко мне и пообедаем вместе. Одному смертная скука. Я весь день дома, завтра начнется настоящая служба".

Леля недолго боролась против искушения. Она просила отца отложить поездку дня на три и... отправилась на свидание с графом, у которого осталась до следующего утра.

Капитан, недоумевая, куда исчезла дочь, рвал на себе волосы, воображая всякие ужасы.

Утром Леля возвратилась домой и уверяла отца, что ездила прощаться с севастопольскими знакомыми, запоздала и ночевала будто бы у мадам Будищевой. Вслед за тем она вдруг объявила, что раздумала и не поедет. Капитан раскричался, Леля расплакалась и убежала в свою комнату. С этого дня все помыслы ее обратились на придумывание средств увидеться с графом.

Прежняя правдивая, честная Леля, ненавидевшая в других малейшую ложь и притворство, стала сочинять отцу небывалые

истории. Одна ложь влечет за собой другую, а Леля так запуталась во лжи, что уже не могла выйти из созданного ею самою заколдованного круга. Капитан все еще верил ей, и в большинстве случаев ее хитрости удавались. Если свидания Лели с графом становились все менее часты и менее продолжительны, то это происходило от причин, не зависящих от ее воли. Служба становилась все труднее и поглощала у графа все больше времени. Тем не менее почти все товарищи графа уже знали Лелю и догадывались об ее отношениях к Татищеву. Это было нетрудно, так как Леля вела себя крайне неосторожно и несколько раз сказала графу при посторонних лицах "ты". Казалось, она совсем перестала дорожить своей репутацией, и, живи ее отец менее отшельнической жизнью, он давно бы узнал то, что знал весь Севастополь.

XIV

Генеральша Минден была в ужасных хлопотах. Она перебиралась из своей квартиры, где, как ей сказали, будет вскоре небезопасно.

Найти в Севастополе помещение было чрезвычайно трудно: все частные квартиры были заняты. Пользуясь любезностью доктора, заведовавшего госпиталем, устроенным в морских казармах, генеральша думала временно поселиться там, а при первой возможности найти подводы и уехать в Симферополь.

Практичная Луиза Карловна умела пользоваться всякими знакомствами. Несколькими офицерами были ей присланы денщики, которые помогали укладывать вещи и увязывать чемоданы.

Перевозка вещей из прежней квартиры в комнаты, предоставленные ей в морских казармах, также не стоила ей ни гроша, так как вещи перевезли на казенных фурах. В то время как даже многие официальные лица с трудом находили помещение, Луиза Карловна отлично расположилась в двух комнатах; в одной устроила спальню, в другой - гостиную, где поставила фортепиано, и суровое здание казарм в тот же вечер огласилось дивной увертюрой из "Эгмонта" Бетховена; а сестры-близнецы Лиза и Саша, весьма довольные переездом, как всякой новинкой, сели играть в четыре руки. Окна были открыты, вечер был чудный, и на площади перед окнами казарм собралась многочисленная публика из морских офицеров слушать эту импровизированную музыку. Число слушателей еще более увеличилось, когда Лиза начать петь популярную в то время песню, начинавшуюся словами:

Встает от мала до велика, Встает с крестом Христов народ.

Мягкие звуки красивого, хотя еще не сформировавшегося

контральто хватали за душу, и вдруг внизу на площадке, как будто по сигналу, толпа офицеров грянула хором вместе с Лизой припев песни:

Полки кричат: "Ура! Ура!" Труба гремит: "Пора! Пора!"

Лиза пела:

Христос - архистратиг наш вечный,

Он здесь! За ним - святой войной!

И светлый крест осьмиконечный

Вонзим над бледною луной!

И снова грянул хор мужских голосов:

Полки кричат: "Ура! Ура!" Труба гремит: "Пора! Пора!"

Эффект вышел необыкновенный.

Даже Саша, первоначально не решавшаяся петь и только аккомпанировавшая на фортепиано, присоединилась к сестре, и ее высокое, чистое сопрано, сначала дрожавшее от волнения, но потом окрепшее, вызвало удивление слушателей.

В числе этих слушателей был один, на которого голос Саши произвел особое впечатление. Мичман Лихачев находился в это время по делам службы подле морских казарм. Несмотря на сумерки, он узнал Сашу по ее голосу и тотчас побежал к доктору расспросить, какими судьбами находится здесь семья Минденов. Узнав, в чем дело, он не утерпел и, несмотря на позднее, по провинциальным нравам, время, зашел к Луизе Карловне под предлогом поинтересоваться, не понадобятся ли ей его услуги по какому-либо делу. Генеральша не замедлила дать ему несколько поручений, но с Сашей Лихачеву едва удалось сказать несколько слов, так как пришлось торопиться на бастион, куда он был назначен. На прощание мичман крепко пожал руку Саши.

- Прощайте, - сказал он немножко театральным тоном. - Думаю, что я не хуже других буду отстаивать родной город. Под защитою наших пушек вы можете спать спокойно.

- Ах, вы портите мое расположение духа, - капризно сказала Лиза. - Я слышать не могу о пушках и тому подобных ужасах.

- А я об этом совсем не думаю, - сказала Саша. - У меня из ума не выходят бедные матросы и солдаты, которые лежат в госпитале, рядом с нами...

- Ах, не говори, Саша! - перебила Лиза. - Я заткну уши! Пожалуйста, душка, не говори...

- Ну, еще раз прощайте, - сказал Лихачев. - Если со мной что-нибудь случится, не поминайте лихом!

Он поспешно простился и вышел. Ему пришлось быть в этот вечер у Нахимова.

Павел Степанович, поговорив с Лихачевым о делах, спросил:

- А теперь, молодой человек, скажите-с, что это о вас за

слухи-с? Вы, говорят, дурно себя ведете-с?

- Как? В чем моя вина, Павел Степанович?

- Да вот-с, слухи идут-с, что вы приударили за одной барышней. Это не хорошо-с. Такому бравому мичману, как вы, даже непристойно-с.

Лихачев покраснел до корней волос.

- Что ж тут предосудительного, Павел Степанович?

- А то, я вам скажу-с, что раз молодой человек влюблен-с, ему не до службы! Особенно теперь. Да и пользы мало-с. Я вам, как родной отец, советую, бросьте вы этот вздор-с!

- Павел Степанович, вы не рассердитесь, если я осмелюсь, предложить вам один вопрос?

- Знаю-с, знаю-с! Хитрец! Вы хотите сказать: а что, любезнейший Павел Степанович, разве вы, когда были мичманом, не ухаживали за барышнями и не были влюблены-с? Это-с вы хотели спросить?

- Да, вы не сердитесь на меня, Павел Степанович?

- Чего тут сердиться?.. Каюсь, и я в свое время был небезгрешен по этой части-с (Нахимов вздохнул). Ну, да вот видите, слава Богу, я довольно стар, а ни с одной бабой не связался-с... Да и вам советую. Что за моряк, коли женат! Уж на что Владимир Алексеевич, а и на того порою как посмотришь, просто сердце болит-с! Вспомнит о жене и детях и ходит весь день сам не свой-с! Нет, уж лучше бросьте! Вся эта любовь, скажу вам, чистый вздор-с! Ну что вам с того, что вас лишний раз чмокнут! Умнее от этого не станете-с. Ну, а теперь спешите на ваш .бастион; завтра я у вас буду гостем. До свиданья-с!

"Чудак!" - подумал Лихачев, уходя от Нахимова.

XV

Неприятель давно уже начал правильные осадные работы. Днем и ночью работали сотни человек, копая траншеи и сооружая батареи. - С кораблей, и пароходов постепенно выгружались осадные орудия. От Севастополя отвели речную воду так, что нашим пришлось довольствоваться колодцами и цистернами.

Началась так называемая правильная осада, представлявшая ту особенность, что осажденные не были окружены со всех сторон и имели свободное сообщение с остальной Россией. Меншиков приписывал это обстоятельство своему фланговому движению, но были голоса, утверждавшие вслед за Тотлебеном, что удача Меншикова произошла единственно вследствие непонятной ошибки союзников, не догадавшихся поставить отряд по дороге из Севастополя в Бахчисарай.

В последних числах сентября каждый человек, мало-мальски смыслящий в военном деле, мог убедиться, что союзники

намерены бомбардировать город. Все усилия осажденных были направлены к уничтожению работ, начатых неприятелем.

Перед отъездом к войску князь Меншиков объезжал вместе с Корниловым приморские батареи и оборонительную линию.

Прибыл на батарею номер десятый, у самого входа в Севастопольский рейд, как вдруг в отдалении показались неприятельские пароходы. С нетерпением ожи-4 дали артиллеристы, пока пароходы приблизились на пушечный выстрел, и пустили несколько ядер. Пароходы продолжали плыть.

Меншиков спокойно глядел на неудачную пальбу нашей батареи и только иногда бросал иронические взгляды на батарейного командира, который горячился, все приказывая менять угол возвышения. Еще более горячился Корнилов, кричавший: "Выше! Выше!"

- Выше невозможно, ваше превосходительство, - сказал батарейный командир, - станок не выдержит.

- Стреляйте! - скомандовал Корнилов.

- Ваше превосходительство, не донесет, а станок, наверное, не выдержит.

- Стреляйте!

- Тринадцатая, винград долой, цельсь, пли! - скомандовал батарейный командир; грянул выстрел - и станок орудия рассыпался.

- Черт знает что за станки! - вскричал Корнилов. - С этаким устройством придется давать не прицельные выстрелы, а действовать наугад!

Станки прежнего устройства действительно были никуда не годны для стрельбы по подвижным предметам.

Осматривая оборонительную линию, Меншиков прибыл на шестой бастион, как вдруг ему донесли, что неприятель наступает на Малахов курган и занял особым отрядом вершину горы между Килен-балкою и Большой бухтой. Меншиков поехал на курган и увидел то, что было, впрочем, ему много раз повторяемо Тотлебеном, а именно, что пространство между Малаховым курганом и первым бастионом оставалось еще мало защищенным. Он велел ускорить здесь работы, а сам поехал в лагерь.

Когда Меншиков прибыл к своей палатке, его встретил Панаев, приехавший в лагерь раньше своего патрона. Панаев сообщил князю приятную новость о прибытии на Качу кавалерийской бригады генерала Рыжова.

- Теперь, ваша светлость, мы так сильны, что, наверное, отплатим неприятелю за Алму и атакуем его прежде, чем он начнет бомбардировать Севастополь.

Панаев, как истый кавалерист, считал кавалерию лучшей

частью войска. Ему было обидно и досадно, что в алминском деле на долю нашей кавалерии выпала весьма незавидная роль.

- Не горячись, братец, - сказал Меншиков, - поспешность всегда портит дело.

- Ваша светлость, а у нас и еще есть новость, совсем другого рода.

- Что такое?

- Наши казаки поймали на аванпостах какую-то девочку-гречанку лет десяти и возятся с нею. Девочка была изнурена и измучена, они ее накормили, напоили и теперь нянчатся с нею. Говорят, она из Балаклавы.

- Интересно, - сказал князь, - не сообщит ли она нам каких-нибудь подробностей о занятии англичанами Балаклавы. Я, признаться, до сих пор не верю, чтобы большие суда могли проникнуть в гавань, где, говорят, порядочный баркас сядет на мель. Вели привести ее сюда.

Девочку привели. Это был черноглазый, курчавый ребенок, все еще не оправившийся от испуга.

- Подойди сюда, милая девочка, - сказал Меншиков, и в тоне его голоса послышались совершенно необычные мягкие и нежные ноты. - Ну, не бойся же, подойди, я тебе дам чего-нибудь сладенького. Поищи чего-нибудь для нее, приказал князь старику камердинеру, который также ласково глядел на ребенка. Девочка ободрилась и понемногу разговорилась, но по-русски говорила очень плохо, и добились от нее немногого.

- Поручаю ее твоим попечениям, - сказал князь Панаеву и, еще раз погладив ребенка по головке, прибавил: - Бедные дети! Чем они виноваты?

Князь вспомнил, быть может, о своих внучках, находившихся далеко, в Москве.

Панаев напоил девочку чаем, укутал в тулупчик и уложил в своей палатке. Девочка заснула как убитая. Поздно ночью денщик окликнул Панаева:

- Ваша благородие! Тут прибежал офицер, ищет девочку, не нашу ли?

- Ради Бога, пустите, здесь, говорят, есть девочка, - слышался чей-то умоляющий голос.

Это был старый грек, отставной офицер. Он был без шапки, растерянный, измученный поисками.

- Ради Бога, господин офицер, - обратился он к Панаеву, - покажите, какая у вас тут девочка.

Панаев тихонько открыл головку ребенка. Узнав свою дочь, старик хотел вскрикнуть, но успел подавить крик и только припал головою к ногам ребенка и стал целовать и прижимать ножки и

ручонки. Ребенок не просыпался. Панаев почувствовал, что еще минута - и он последует примеру старика, то есть расчувствуется более, чем прилично гвардейскому офицеру. Он оставил отца с дочерью, а сам ушел к товарищу. Старик лег спать в ногах у ребенка.

На следующее утро из рассказов старика узнали некоторые подробности взятия Балаклавы, хотя все же не верили, чтобы Балаклавский порт, который по тогдашним учебникам географии числился чуть ли не лужей, вдруг оказался пригодным для трехдечных кораблей. Один из адъютантов Меншикова, Виллебрандт, слушая рассказ грека, пожал плечами и сказал на ухо Панаеву: "Старик от радости сошел с ума".

На самом деле взятие Балаклавы было одним из курьезнейших эпизодов Крымской войны. Переходя с Северной стороны Севастополя на Южную, союзники увидели живописную деревню, утопающую в виноградниках. Это был Кадыкиой. От местных татар узнали, что поблизости есть приморский город Балаклава, совсем не защищенный ни с суши, ни с моря. Лорд Раглан со своим авангардом поехал вперед к зданию, имевшему вид развалин старого замка. Вдруг из этого здания послышался выстрел, вылетела бомба и упала поблизости от лорда Раглана. Послышалось еще несколько выстрелов. Бомбы падали, но были дурного устройства и не разрывались. Лорд Раглан подумал, что татары его обманули, и двинул значительный отряд, не встретивший никакой армии; навстречу англичанам попалось лишь несколько женщин и детей, бежавших в. смертельном страхе.

Вдруг неизвестно откуда, по-видимому с моря, хотя моря еще не было видно, послышался рев орудий огромного калибра, и вслед за тем на развалинах крепостицы взвился белый флаг. Вскоре дело разъяснилось. Оказалось, что комендант Балаклавского греческого батальона полковник Манто{98}, увидев приближение целой армии, вздумал сопротивляться, то есть стрелять из бывшей у него мортирки. Но в это время с моря загремели орудия подоспевшего английского флота.

Лорд Раглан, не любивший безумной отваги, был крайне рассержен сопротивлением полковника, и, когда Манто привели к английскому главнокомандующему, лорд Раглан забыл даже свою обычную сдержанность и вежливость и закричал:

- Вы с ума сошли! Неужели вы думали с горстью людей остановить целую армию?!

- Помилуйте, да ведь от меня никто не требовал сдачи, - наивно ответил полковник. - Я исполнил только свой долг службы.

Этот простой аргумент сразил лорда Раглана, и, сразу переменив тон, он сказал:

- Вы правы, но в свое оправдание я должен сказать, что предложение условий сдачи иногда бывает сопряжено с практическими трудностями. Скажите, как глубока здешняя гавань?

- Ее считают неглубокою, - сказал полковник, - но, быть может, дно засорено. Старожилы уверяют, что прежде она была весьма глубока.

Лорд Раглан хотел продолжать расспросы, но ему донесли, что английские линейные корабли свободно входят в гавань и нигде не садятся на мель; местами только пришлось немного расчистить дно, что и было сделано без труда.

День спустя Балаклава имела уже вид английского военного порта.

XVI

Настали первые числа октября.

В ожидании близкой бомбардировки сотни семейств ежедневно выезжали из Севастополя. Купцы запирали лавки, жертвуя значительную часть товара в пользу армии, многое же оставляли на сохранение. Жители отдавали офицерам и солдатам хозяйственную утварь и различные пожитки. На дворе морских казарм и в других дворах были устроены целые склады всякого добра. Комиссарам велено было сначала брать все жертвуемое и оставляемое под расписку, но это оказалось почему-то неудобоисполнимым. Многие из комиссаров, писарей и даже простые солдатики порядком поживились при этом. Офицерские денщики ели конфекты и угощали ими строительниц знаменитой Девичьей батареи, а порою приносили и своим господам, говоря: "Кушайте, ваше благородие, тут этого добра теперь столько валяется, что и девать некуда".

Семья Минденов все еще находилась в Севастополе. Во вторую половину сентября перестрелка наших батарей с неприятельскими пароходами до того приучила слух севастопольских жителей к звукам частых пушечных выстрелов, что даже нервная Лиза Минден перестала бояться и относилась довольно равнодушно к пальбе, иногда не прерывая музыки или пения, пока наконец звуки выстрелов не становились слишком частыми и чересчур назойливыми. О Саше и говорить нечего. Она углубилась в свое любимое занятие - щипание корпии, во время которого размышляла то о могиле отца, куда теперь нельзя было пройти, то о Лихачеве, которого мысленно сравнивала с доктором Балинским, отдавая предпочтение то одному, то другому.

"Лихачев милый мальчик, но в нем есть некоторое

легкомыслие, отсутствие глубины, - думала Саша о молодом мичмане. - Он эгоист по натуре, он хотел бы, чтобы, любя его, я отрешилась от всех других привязанностей. Он совсем не жалел бедного папу и даже тяготился его присутствием на наших свиданиях. Я чувствую даже, что меня он любит только тогда, когда я здорова, весела, счастлива, когда ему кажется, что я интересуюсь преимущественно им. Что же это за любовь? Кто меня любит действительно, должен любить меня еще более, когда я больна, когда я несчастна. Я уверена, - думала Саша, - что, если бы у меня сделалась чахотка, Лихачев, узнав об этом, разлюбил бы меня на другой же день".

Доктор Балинский составлял для Саши загадку. Его личность гораздо труднее подчинялась анализу, и Саша не могла определить: добрый ли он человек или злой, эгоист или способен на самопожертвование? Она знала наверное лишь одно, что Балинский человек умный и гораздо более серьезно рассуждающий о жизни, нежели молодой мичман. Доктор относился к ее отцу не только как врач: он постоянно ободрял старика, уверял его, что обстоятельства переменятся, что и на его улице будет праздник - одним словом, был нравственною поддержкою старика. Действовал ли он искренне или из желания угодить Саше - Саша не знала, хотя этот вопрос часто интересовал ее. Иногда ей казалось, что она замечает в докторе некоторую фальшь; но по большей части такие подозрения оканчивались тем, что Саша упрекала себя за излишнюю недоверчивость и подозрительность.

Старуха Минден ни на минуту не подумала бы о выборе между доктором Балинским и мичманом. Доктор был, по ее мнению, человеком весьма многообещающим. Несмотря на свою молодость, он имел уже обширную практику, и, если бы не военное время, вынудившее его остаться здесь, он давно уехал бы в Петербург и приобрел бы там и капитал, и знаменитость.

Здесь ему, специалисту по акушерству и женским болезням, поневоле пришлось лечить солдат и матросов. Впрочем, Балинский хлопотал о переводе в Симферополь, что представляло для него двойное удобство. Во-первых, как человек практичный, он скоро понял, что осажденный Севастополь по отношению к Симферополю будет то же, что ад по сравнению с раем. Здесь - опасности, тревога, отсутствие покоя, и за все это никакой особой мзды, кроме, быть может, двойного жалованья. Там - широкое поприще деятельности, возможность управлять каким-нибудь доходным ведомством и перспектива составить себе в течение кампании такой капитал, какого в мирное время не сколотишь и в десять лет. Конечно, там можно умереть от тифа, но Балинский

не был трусом, и будучи практиком, он не забывал и идеальной стороны своего проекта. Он всеми силами поддерживал план старухи Минден ехать не в Николаев, а в Симферополь. Балинский любил Сашу, как только был способен любить это черствый, холодный человек, живший не столько сердцем, сколько рассудком. Преследовать свои практические планы и в то же время в часы досуга слушать, как Саша поет серенаду Шуберта или играет полонез Огинского, стоять у фортепиано, переворачивая ноты, и при этом чуть-чуть касаться своими пальцами ее нежных пальчиков, иногда предупреждающих его намерение, любоваться ее роскошными золотистыми косами, то собранными в букли, то просто спущенными вниз, - все это казалось ему очень приятным и предвещающим исполнение его заветных желаний. В самой черствой душе всегда есть искра поэзии.

Саша мало понимала Балинского, да и вообще знала жизнь лишь немногим более других институток. Прямота и искренность Лихачева нравились ей, но к мичману она питала чувство старшей сестры, хотя и была моложе его. Она сама была наивна, и потому наивность не представляла для нее ничего заманчивого и привлекательного. Задумчивый, серьезный Балинский - с строгим, загадочным, иногда язвительным выражением лица, остроумный, даже злой, но не мелочный гораздо в большей степени годился в герои ее романа, нежели правдивый, простой, но уж слишком наивный юноша. К Лихачеву она была привязана, но иногда он надоедал ей своей излишней откровенностью.

Луиза Карловна не спешила с отъездом из Севастополя по двум причинам: она ожидала окончательного результата хлопот доктора Балинского относительно перевода в Симферополь, и, кроме того, ее знакомая помещица Папалекси, приехавшая в Севастополь из своего имения на Каче, обещала достать подводы в Симферополь на весьма выгодных условиях.

Наконец генеральша Минден собралась в путь. Хлопоты Балинского увенчались успехом: он был назначен в Симферополь ординатором госпиталя при главном враче Протопопове.

XVII

Утро пятого октября 1854 года, до восхода солнца, когда в здании морских казарм еще царил сероватый полусвет, а в палатах устроенного здесь временного госпиталя горели свечи, заведовавший госпиталем врач, молодой человек не то немецкого, не то финского происхождения, но вполне обрусевший, вышел из своей комнаты в коридор и окликнул денщика:

- Иван, чаю! Скорее ставь самовар.

- Слушаю, ваше благородие.

- Распорядись также, чтобы поскорее ставили самовары для больных.

- Поставлены, ваше благородие, все на дворе, как вы приказали.

- Вот и хорошо. А то вы вечно начадите так, что больные угорают.

Доктор стал одеваться, как вдруг слух его был поражен пушечными выстрелами, которые в течение каких-нибудь пяти минут до того усилились, что несколько стекол разбилось вдребезги от сотрясания воздуха. Еще пять минут и грохот орудий стал так ужасен, что более не оставалось никаких сомнений: неприятель начал бомбардировку.

Поспешно набросив на плечи муслин-деленовую шинельку, какие в то время носили военные врачи, доктор бросился во двор, повинуясь инстинктивному влечению посмотреть, откуда грозит опасность, хотя и сознавал, что ничего определенного не увидит. Пройдя мимо складов всякого добра, свезенного купцами, и в том числе мимо нескольких дрожек и экипажей, оставленных в пользу госпиталя местным каретным мастером, далее на открытом месте доктор увидел десятка два громадных пузатых, плохо вычищенных самоваров с такими же пузатыми, солидных размеров чайниками. Пар валил клубами, распространяясь в свежем осеннем воздухе. Доктор не мог дать себе отчета, почему именно он побежал посмотреть на самовары. Грохот пушек превратился в шум, подобный раскатам грома. Вдруг на довольно близком расстоянии от доктора пронеслось что-то с ревом и свистом, потом раздалось звяканье, как от разбитой посуды, и повалил клуб дыма и пара. Минуту спустя доктор увидел на месте, где стоял ряд самоваров, только лужу воды, обломки посуды и куски меди. Громадная бомба, разорвавшись над самоварами, исковеркала их.

"Ах, Боже мой! Теперь мои больные останутся без чаю!" - мелькнуло в уме у доктора.

Он бросился бежать назад в казармы и по дороге вспомнил, что в нижнем этаже казарм в кабинете находится и, вероятно, пьет чай его хороший приятель батарейный командир Хлапонин, недавно поселившийся здесь. Жена Хлапонина также жила с мужем в казармах и спала в соседней комнате. Вместе с генеральшей Минден она нередко помогала доктору делать перевязки раненым и добровольно принимала на себя обязанность сиделки.

Когда доктор постучал в дверь кабинета, Хлапонин, проснувшийся от выстрелов, поспешно оделся и вышел в кабинет.

- Что, доктор, бомбардировка? - спросил Хлапонин, озабоченно посматривая на дверь, ведшую в комнату, где спала его жена. Оттуда вскоре послышалось плескание воды: Хлапонина начала умываться, но через две минуты шум воды был совсем заглушен страшным гулом, от которого звенело в ушах.

- Лиза, ты одета? - крикнул Хлапонин. - Спеши, дружок, мне надо сейчас идти- на батарею. Хочу, чтобы ты меня благословила.

- Я готова, - сказала Хлапонина, выходя из своей комнаты. Она была, как всегда, прекрасна и даже улыбалась, но тонкий наблюдатель мог бы заметить у нее то же волнение, которое Хлапонина испытывала в начале Алминского боя, находясь на перевязочном пункте. - Як вашим услугам, доктор, - прибавила она. - Сегодня вы, кажется, дадите мне много работы.

- Ах, если бы вы знали, - сказал доктор. - Там у меня все самовары исковеркала бомба, просто беда!

- Лиза, прощай, - сказал Хлапонин, целуя жену в лоб.

- К чему это слово, Митя, я не люблю его: не прощай, а до свидания. Пусть Бог хранит тебя!

Она перекрестила мужа и поцеловала его в голову.

- И тебя, моя дорогая. Не бойся, бомбардирование вовсе не так страшно, как кажется. Я видел, они вчера весь день прорезывали амбразуры; следовало ждать, что сегодня будет дело. Ну, да мы не посрамим себя. До свидания, я при первой возможности приду сюда навестить тебя.

Доктор отошел к сторону, чтобы не мешать мужу и жене поговорить по душам.

Когда Хлапонин ушел, жена, проводив его глазами, поспешила за доктором.

Бомбардировка продолжалась. По всей оборонительной линии грянули наши орудия в ответ неприятелю, но отличить по звуку выстрелы свои от неприятельских не было возможности. Весь Севастополь, хотя и опустевший за последние дни, но все еще имевший, помимо солдат и матросов, немалое количество жителей, был давно на ногах. Привычные к небольшим перестрелкам севастопольские жители вскоре поняли, что теперь происходит нечто небывалое. В полчаса город был охвачен густым дымом, застилавшим солнце.

Наши бастионы были наполнены по преимуществу моряками и во многом напоминали собою корабли. Офицеры и матросы и на суше не хотели отвыкнуть от своих флотских порядков. На бастионах, например, не было "дежурных по батарее", а были "вахтенные".

На рассвете один из таких "вахтенных" офицеров, стоявший на вахте в оборонительной казарме пятого бастиона, смотря в

зрительную трубу на неприятельскую траншею, увидел, что на ней стоят рабочие, выбрасывая мешки из амбразур, откуда показались дула орудий. Офицер хотел бежать к начальнику, как вдруг из неприятельской траншеи показался белый дымок и свистнуло ядро, а затем послышался залп, и ядра посыпались градом.

- По орудиям! - скомандовал офицер. - Одиннадцатая и двенадцатая, пальба орудиями, остальные все на низ!

- Прикажете бить тревогу? - сказал подбежавший барабанщик.

- Пожалуй, бей!

Забил барабан, как вдруг ядро ударило в верх бруствера и сбросило двухпудовый камень, раздавивший барабанщику ногу.

- Носилки! - крикнул офицер и сам побежал вниз к начальнику батареи. Он столкнулся с юнгой, которого с непривычки разобрало так, что зуб на зуб не попадал.

- Не лихорадка ли у тебя? - спросил офицер, чувствуя и себя не совсем ладно.

"Черт побери, к чему я его об этом спрашиваю?" - мелькнуло у него в уме, но, получив ответ: "Лихорадка-с", - пресерьезно сказал:

- Ты, брат, глотай по утрам по семи зернышек черного перцу. Это наше морское средство, получше будет всякого хинина.

Прибежав вниз, офицер спросил: "Где батарейный?" - но получил ответ, что командир сильно контужен и отправлен на перевязку. Он собирался отправиться наверх, как вдруг увидел, что и другой барабанщик также ранен, но легко.

- Отправляйся на перевязку!

- Позвольте остаться! Я прилягу здесь, и пройдет.

Барабанщик прилег за высокий уступ, как вдруг раздался сильный треск: внутри батареи лопнула граната и отбила барабанщику обе ноги, а одним осколком хватило офицера в бок, но он был только контужен и решил остаться.

Взобравшись наверх, офицер увидел, что в канаве сидят неприятельские штуцерные, стреляющие по прислуге соседнего четвертого бастиона.

- Девятая и десятая, пальба орудиями! - скомандовал офицер и вскоре прогнал неприятельских стрелков.

Но к этому времени гул неприятельских орудий стал невыносимым. Офицер снова побежал вниз, чтобы распорядиться об отпуске гранат, как вдруг столкнулся со своим сослуживцем, который бежал, крича в паническом страхе:

- Пороховой погреб горит!

Не долго думая, контуженый офицер схватил сослуживца за лацкан сюртука и сказал ему: "Еще слово - и я вас убью!" - дернул так, что лацкан остался в его руках. Побежав к погребу, храбрый

офицер увидел, что от лопнувшей гранаты горит брезент, на котором насыпали порох в картузы; рядом же находилась камера, где было семьсот пудов пороху. Минута была критическая.

- Ведер, посуды! - кричал офицер.

Матросы суетились, но вся посуда была перебита, как вдруг влетела еще одна граната и упала, кружась на месте. Один из матросов схватил и потушил ее руками, а офицер, не долго думая, стал набирать воду из цистерны своей фуражкой. Матросы последовали его примеру, и горевший брезент был потушен.

- Перенести весь порох в погреб! - крикнул офицер, и матросы стали перетаскивать бочонки с порохом под выстрелами неприятеля. В это время на пятый бастион прискакал Нахимов; он посетил и казарму и стал распоряжаться на бастионе, как на корабле, шутя с матросами и хладнокровно отдавая приказания. Как и всегда, он был без шинели, в сюртуке и эполетах.

Вскоре приехал на пятый бастион и Корнилов, явившийся туда с четвертого бастиона.

Едва послышалась канонада, Корнилов спросил лошадь и с адъютантами Жандром, Шестаковым{99} и другими поскакал на четвертый бастион. Адъютанты едва поспевали за ним.

Корнилов, раньше всех угадавший близость бомбардировки и давно готовившийся к этому событию, был на этот раз еще серьезнее, еще сосредоточеннее обыкновенного. Его умные, проницательные глаза глядели грустно, но спокойно, он явно сам был воодушевлен. Щеки его пылали, иногда на губах мелькала легкая улыбка.

Сойдя с коня, Корнилов взошел на левую сторону бастиона. Канонада была уже в полном разгаре. Сквозь густые клубы дыма солнце казалось небольшим красноватым кругом. Севастополь был опоясан двумя огненными линиями: нашей и неприятельской.

На четвертом бастионе было особенно жарко. Перед ним скрещивались бомбы и ядра трех наций - русских, французов и англичан. Это был центр позиции: налево гремели в отдалении английские батареи, справа были французы, через голову защитников бастиона летели русские бомбы с двух батарей, защищавших тыл бастиона. Корнилов шел от орудия к орудию. Его сухощавый, несколько сутуловатый стан выпрямился, он высоко держал голову и как будто сделался выше ростом.

Моряки работали на четвертом бастионе так же исправно, как и в других местах. Можно сказать даже, что они чересчур усердствовали, не зная разницы между морским сражением и защитою крепости. Обращенный к неприятелю фасад бастиона был, с их точки зрения, бортом корабля, и по морской привычке

они считали необходимым действовать сразу орудиями целого борта и делали залпы один за другим со всевозможной поспешностью.

На четвертом бастионе ожидали, что бомбардировка является лишь предисловием к штурму. Как только загремели неприятельские орудия, начальники батарей открыли огонь изо всех орудий.

Моментально все занесло дымом. Сквозь клубы дыма иногда казалось, что движутся массы неприятельской пехоты, и тогда были отдаваемы приказания стрелять картечью; стреляли наугад, но штурма не было, и бомбардировка становилась все ужаснее. Крики начальников перемешивались со стонами и воплями раненых.

- Капитан, мы выбросили из орудий по двадцати пяти снарядов, - говорил флотский офицер начальнику одной из батарей. - Что нам делать? Запас снарядов у нас очень мал.

- Послать арестантов за снарядами.

На бастионе сновали выпущенные на свободу арестанты, таскавшие носилки с ранеными, приносившие снаряды и воду. Одному уже оторвало голову ядром.

Когда прибыл Корнилов, все ободрились и еще более участили выстрелы. Священник с крестом, благословляя всех, обходил бастион. Корнилов также подошел под благословение и, возвратившись к орудиям, стал разговаривать с комендорами, указывая им, куда целить, и советуя не торопиться. Перейдя на правый фланг бастиона, Корнилов подошел к главному командиру бастиона вице-адмиралу Новосильскому, поговорил с ним и, сев на лошадь, спустился в лощину между четвертым и пятым бастионами. Адъютанты следовали за ним. Дорога шла по крутому холму, против которого ежеминутно сверкали как молнии вспышки французских батарей. Лошади стали фыркать и упрямиться, пугаясь огня и снарядов. Корнилов принудил свою лошадь повиноваться и, усмехнувшись, сказал, оборачиваясь к адъютантам:

- Не люблю, когда меня не слушают.

В лощине находился батальон тарутинцев. Хотя он был уже обстрелян на Алме, но на солдат дурно действовал непривычный рев морских орудий громадного калибра, гремевших как с нашей, так и с неприятельской стороны. Когда Корнилов проехал медленной рысью, послышались одобрительные замечания солдатиков: вот этот, братцы, так молодец! Корнилов направился к пятому бастиону, где уже был Нахимов.

Нахимов по-прежнему распоряжался с удивительным хладнокровием и еще более удивительным добродушием, никогда

его не покидавшим, когда он находился среди своих подчиненных.

В самом начале канонады один из офицеров вдруг заметил, что у Нахимова лоб и ухо покрыты кровью.

- Павел Степанович, вы ранены! - вскричал офицер.

- Не правда-с! - с досадою ответил Нахимов и вполголоса сказал: - Как вам не стыдно-с, молодой человек, мои матросы Бог знает что могут подумать! - Проведя рукой по лбу, он прибавил: - Слишком мало-с, чтоб об этом думать, слишком мало-с!

У него была глубокая царапина, вероятно от шальной штуцерной пули или от осколка гранаты.

Корнилов, взойдя на бастион, горячо пожал руку Нахимову, но раны его не заметил, потому что Павел Степанович, против обыкновения, надвинул фуражку не на затылок, а на лоб.

Оба адмирала стояли на открытом месте, под градом снарядов и наблюдали действие неприятельского огня. Ядра свистели, обдавая то землею, то кровью убитых.

Много кровавых сцен разыгрывалось на бастионе и много сцен, представлявших вместо усердия иногда слишком нерасчетливое геройство с отпечатком наивности и трогательной простоты. В то время, когда Корнилов разговаривал с Нахимовым, одному боцману, состоявшему комендором при бомбическом орудии, вдруг оторвало ядром ногу. Раздался обычный крик: "Носилки!" и арестанты понесли раненого.

По дороге попался его приятель-матрос.

- Стой! - крикнул боцман носильщикам. - Эй, Семен, поди-ка сюда!

Подбежал матрос.

- Тебя, что ли, назначат на мое место?

- Меня.

- Слушай! Я подбил одно орудие. Если ты мне к вечеру не подобьешь второго, я приду и накладу тебе, такому-то сыну, в шею!.. Ну, теперь пошел, неси меня, братцы, на перевязку!

Поговорив с Нахимовым, Корнилов стал указывать комендорам, как наводить орудия. Наблюдавшему за этим капитан-лейтенанту Ильинскому{100} вмешательство Корнилова показалось несколько обидным.

- Владимир Алексеевич, - сказал он, - ваше присутствие здесь доказывает недоверие к подчиненным.

- Это почему? - резко спросил Корнилов.

- Вы рискуете вашей жизнью, драгоценной для всей России, - сказал Ильинский, - и вместе с тем как бы даете нам понять, что мы не можем сами исполнить наш долг.

- А зачем же вы хотите мешать мне исполнить мой долг? -

сказал Корнилов. - Мой долг видеть всех.

Сказав это, он взошел на площадку над оборонительною казармою. С прибытием его огонь пошел здесь так живо, что орудия накалились.

Офицер, следивший за пальбой, велел покрывать орудия мокрыми брезентами.

Было полное безветрие, и пушечный дым был так густ, что приходилось на время прекращать пальбу, чтобы рассмотреть для прицела неприятельскую батарею. Прислуга у орудий томилась жаждою. Корнилов приказал Жандру позаботиться, чтобы на каждый бастион доставили по нескольку бочек воды, другого флаг-офицера, барона Крюднера{101}, послал передать начальникам, чтобы они были во всякое время готовы отразить штурм, сам же отправился на следующий, шестой бастион, а оттуда поехал к городскому телеграфу, против которого находилась его квартира. У подъезда стояла наготове оседланная лошадь, а Корнилов сел пить чай и, проглотив стакана два чаю, поспешил дописать последние строки письма к жене. Капитан-лейтенант Христофоров{102}, назначенный курьером в Николаев, ждал письма. Окончив, Корнилов передал Христофорову письмо и золотые часы, доставшиеся от отца.

- Передайте, пожалуйста, жене, - сказал он. - Часы мои должны принадлежать старшему сыну: боюсь, чтобы здесь их не разбить.

Ежеминутно являлись к Корнилову с донесениями. Один офицер донес, что в Южную бухту падает множество английских бомб и что необходимо вывести оттуда транспорты.

- Как хорошо, что вы мне об этом напомнили! - вскричал Корнилов. Немедленно распорядитесь, как найдете лучшим.

Барон Крюднер прибыл с Малахова кургана.

- Адмирал Истомин просит вас не приезжать на курган, - сказал барон. Он надеется управиться с англичанами.

- Напротив, я сейчас еду на левый фланг, - сказал Корнилов. - Надо все видеть самому.

- Видеть можно с террасы этого дома, - сказал бывший тут же капитан-лейтенант Попов{103}.

- Вы правы. Пойдемте, но все равно мое личное присутствие будет и там необходимо.

Взошли на террасу над крышею дома. Отсюда открывалось своеобразное, величественное зрелище. Казалось, что находишься где-нибудь на вершине горы, у подошвы которой разыгралась сильная гроза: гром орудий, молнии, сверкавшие из орудий, густые облака дыма - все дополняло иллюзию. Огонь французских батарей на нашем правом фланге становился все более неровным:

было ясно, что здесь мы имеем перевес над неприятелем. Но налево английские батареи беспощадно громили Малахов курган. Корнилов велел Попову поспешить принять меры к снабжению батарей зарядами и снарядами и сказал:

- Я боюсь, что никаких средств недостанет для такой канонады.

XVIII

Князь Меншиков, находившийся, в лагере на Бельбекских высотах, проснулся от первых неприятельских выстрелов и, тотчас сообразив, что началась бомбардировка, поскакал на Северную, а оттуда в шлюпке - в Корабельную слободку и вместе с Панаевым и другими приближенными взошел на подъем, где уже валялись обезображенные трупы. Князь поехал со своей свитой через Ушакову балку и проехал мимо домика отставного капитана Спицына. Ядро ударилось в стену, которой огорожен был сад капитана, сделав в ней глубокую пробоину. Князь поехал ко второму бастиону, а оттуда на Малахов курган. В одном месте пришлось ехать по отлогости холма, с которого откатывались ядра, ложившиеся плотно, как булыжники на морском прибое.

С Малахова кургана князь поехал мимо острога к главному морскому госпиталю. У госпитальной стенки прижался Бутырский полк, укрываясь от ядер. Князь покосился на бутырцев и проехал мимо, пробормотав:

- Эти, кажется, трусят.

Меншиков был необыкновенно мрачен. Распорядиться он не умел, не знал, с чего начать, а то, что он видел у Малахова кургана - град неприятельских снарядов, - показалось ему весьма неутешительным. Меншиков постоянно возвращался к мысли оставить Севастополь на произвол судьбы, пожертвовав им ради армии.

Теперь эта мысль особенно настойчиво преследовала его. Меншиков знал, что фактически городом начальствует и распоряжается Корнилов, и, при всей своей досаде на адмирала, не мог не поделиться с ним своими впечатлениями. Он переехал Южную бухту с целью повидаться в городе с Корниловым.

Князь подъехал к дому, где была квартира Владимира Алексеевича. У дома Корнилова дожидалась лошадь.

- Доложите адмиралу, что я его спрашиваю, - сказал Меншиков попавшемуся навстречу флаг-офицеру.

Корнилов вышел.

- Кажется, ваше превосходительство, мы не долго выдержим такую канонаду, - сказал Меншиков. - Защищайтесь до последней крайности, а я еду к войску, мое присутствие там теперь необходимо. В случае штурма не надейтесь на стрельбу, а велите

идти в штыки.

- Батареи наши пока не только отвечают неприятельским, но и берут над ними решительный перевес, по крайней мере на правом фланге, - сказал Корнилов. - Вот с англичанами дело идет хуже: за Малахов я, признаться, боюсь. Сейчас скачу туда. Надеюсь, однако, что в случае штурма мы угостим их картечью так, что штурм едва ли будет действительным.

- Вы думаете? - сказал Меншиков. Помолчав, он вслушался в гул канонады и прибавил: - Кажется, в самом деле с французской стороны огонь становится как будто неровным. Ну, прощайте, я еду...

- Я провожу вас до пристани, - сказал Корнилов. - Кстати, надо посмотреть, что делается на рейде.

Корнилов поехал с князем по Екатерининской улице до пристани. Ядра свистели мимо них, иногда попадая в здания. Почти ни в одном доме не было цельных стекол. Князь сел в шлюпку и поехал со своими адъютантами на Северную, а Корнилов поехал к театру; на пути он разослал с приказаниями двух сигнальных офицеров и адъютанта Шестакова, а сам вдвоем с Жандром опять поехал на четвертый бастион.

Навстречу попадались носилки с телами убитых и раненых. В начале боя их не успевали подбирать, и они везде валялись; но теперь установился строгий порядок, и бастион был очищен от тел.

Приехав на вершину горы, на уступе которой прежде находился бульвар, а теперь находились две бомбические батареи, Корнилов услышал радостную весть, принесенную с пятого бастиона.

Произошло это следующим образом. По уходе Корнилова с пятого бастиона огонь с него продолжался с прежнею живостью. Орудия были так горячи, что до них не было возможности коснуться рукою. Наши батареи уже порядочно пострадали: кули с землей были сбиты, деревянные щиты разлетались в щепы, поражая прислугу. Щепы, осколки бомб, перебитые ружья представляли груду мусора; даже в нижней батарее осколками гранат был усыпан весь пол. Впрочем, ни одно орудие не было повреждено.

Комендор одного из бомбических орудий усердствовал, выпуская бомбу за бомбою, наконец устал и приостановился.

- Валяй еще одну, последнюю! - скомандовал командир батареи.

Комендор навел орудие наугад: целить было невозможно по причине густого дыма. Раздался выстрел, и вскоре с неприятельской стороны сверкнул столб красноватого пламени, затем послышался своеобразный звук, не похожий на пушечные выстрелы, более глухой, но тем не менее пересиливший на минуту звуки адской канонады.

Дым от нашего залпа в это время несколько рассеялся, и над неприятельской траншеей можно было видеть огромный столб густого черного дыма. Наши артиллеристы и моряки инстинктивно угадали, в чем дело, и дружно крикнули: "Ура!"

У французов взлетел на воздух пороховой погреб.

С четвертого бастиона Корнилов поехал на левый фланг к третьему бастиону.

- Владимир Алексеевич, - сказал адъютант Корнилова Жандр,

ехавший рядом с ним, - кажется, пора возвратиться домой. Вы ведь видели с террасы все, что делается на левом фланге.

- А как вы думаете, что скажут солдаты, если я в такой день спрячусь дома? - сказал Корнилов. Жандр не смел более спорить.

- Может быть, вы правы, - сказал он. - Я сам был свидетелем, как ваше появление ободрило тарутинцев.

Корнилов подъехал к театру, уже сильно пострадавшему от выстрелов.

Близ театра был домик, где жила одна старушка чиновница с двумя дочерьми, еще не успевшая выехать. К удивлению Жандра, обе девушки стояли у ворот дома и с любопытством, но без особого страха смотрели на свистевшие и взрывавшие землю ядра. Корнилов молча указал Жандру на девушек и спустился с горы на Пересыпку Южной бухты.

На Пересыпке Корнилов встретился с Тотлебеном, который, осмотрев всю оборонительную линию, возвращался с третьего бастиона. Тотлебен ехал на своей вороной лошади. Его круглое загоревшее лицо покрылось потом и копотью, он был задумчив и серьезен.

В последнее время Тотлебен сдружился с Корниловым, который постоянно обращался к его содействию, хотя Тотлебен по-прежнему оставался, так сказать, добровольцем, не занимая никакой особой должности: он был причислен к штабу Корнилова - и только, а между тем распоряжался всеми инженерными работами.

Тотлебен был все еще недоволен достигнутыми результатами. Он знал, что многое сделано наскоро, и особенно боялся за левый фланг. Тем не менее и он посоветовал Корнилову не ехать туда.

- Я уже сделал все распоряжения, - сказал Тотлебен. - В случае штурма, надеюсь, мы отразим их картечью. Картечь, картечь и картечь - в этом вся наша надежда! Повреждения велики, но я указал, как их исправить.

- Я все же поеду, - сказал Корнилов. - Не из недоверия к вам, полковник, я знаю, что вы понимаете более моего в инженерном деле, но мое присутствие воодушевит моряков.

- Ради Бога, Владимир Алексеевич, велите вашим морякам стрелять реже! вскричал Тотлебен. - Они даром тратят порох и снаряды. Такая бестолковая пальба уничтожает все мой соображения. При сооружении укреплений я много думал об удобствах прицела, но, помилуйте, какой тут прицел, когда они каждые пять минут, посылают такие салюты, от которых свету Божьего не видно!

- Признаться, мне самому показалось, что мои молодцы

чересчур усердствуют.

- Да как же! Они соображают, что палить непременно надо всем сразу, а отсюда ничего не выходит, кроме бестолковщины. Я им говорил, а они и в ус не дуют.

- Хорошо, я распоряжусь, чтобы стреляли реже. Полковник, вы куда?

- Я теперь на четвертый. Посмотрю, что там делается, недавно видел лейтенанта Стеценко; он хлопочет о том, чтобы вы отменили ваше дозволение юнкерам оставаться на бастионах. Ужасно хлопочет о своих юных питомцах: я, говорит, отвечаю за них перед родителями.

- Кто хочет, пусть угодит, - сказал Корнилов, - а запретить оставаться я не могу никому. У меня на бастионах есть двенадцатилетние юнги и работают преисправно.

- Да, еще два слова: Стеценко мне рассказывал, что, отыскивая вас, видел странные вещи у четвертого бастиона. Стоявшие подле бастиона солдаты, как только неприятель открыл огонь, подались назад и оставили свою позицию в полном беспорядке. Эти самые солдаты, по словам Стеценко, стоят на Театральной площади молодцами, как на плац-параде: привыкли к звукам канонады. Чудной народ! Ну, а теперь прощайте!

- Владимир Алексеевич, - сказал Попандопуло, бывший командиром третьего бастиона, - что вам за охота подвергать себя напрасной опасности? Мы стоим здесь по долгу службы...

Корнилов привык к этой стереотипной фразе и не отвечал ничего.

Дорога на третий бастион шла по крутой тропинке, выбитой в скале ступенями. Корнилов не раз ездил по этой тропинке, не желая избирать более длинного пути.

Третий бастион был еще в порядке. Высокий бруствер защищал прислугу от неприятельских выстрелов, но ластовые{104} казармы и бараки уже превратились в груду развалин, и вся площадка позади бастиона была изрыта английскими ядрами. Корнилова провожали кроме Жандра и казака капитаны Ергомышев и Попандопуло и граф Рачинский{105}.

Граф Рачинский предложил Корнилову ехать через Госпитальную слободку:

- Я только что ездил сам верхом вдоль траншеи левого фланга нашей дистанции. Могу вас заверить, что проехать почти невозможно.

- Однако вы проехали, стало быть, совершили невозможное, - сказал, улыбаясь, Корнилов. - Перестаньте убеждать меня, господа. От ядра не уедешь.

Втроем, с Жандром и казаком, Корнилов спустился под гору вдоль траншеи.

- Посмотрите, - сказал Корнилов Жандру, - что сделалось с садом полковника Прокофьева.

Он указал на перебитые деревья, окружавшие попавшийся им навстречу дом.

- Однако они действуют не только из орудий, но и штуцерами, - заметил Корнилов, услыша свист пуль. - А ведь Тотлебен прав, - сказал он. - Надо было и на левом фланге устроиться так, как в центре и на правом. Расположив наши орудия дугообразно, мы сосредоточили бы на французских батареях перекрестный огонь, и французы, имея фронт далеко уже нашего, должны были потерять...

Ядро взрыло землю под лошадью Корнилова, лошадь рванулась вперед.

"Нет, у него, без сомнения, есть счастливая звезда, как и у всех замечательных полководцев!" - думал Жандр.

Подъехали к морскому госпиталю. Подле него стояли батальоны московцев; несколько солдат были уже убиты ядрами.

- К чему они здесь? - спросил Корнилов и велел перевести людей за флигель казарм, чтобы укрыть их от снарядов. Оттуда Корнилов заехал к острогу, где еще было много арестантов. Он подумал, что следует воспользоваться ими для тушения пожаров на бастионах.

Корнилова встретил караульный офицер.

- Всех не прикованных к тачкам, - сказал Корнилов, - отведите на Малахов курган. Я еду туда и распоряжусь работою.

- Ваше превосходительство, - сказал офицер, - прикованные к тачкам умоляют, как милости, выпустить их...

- Приведите их сюда.

Вошла толпа арестантов, иные без кандалов, но многие гремели кандалами.

- Кандалы прочь! - сказал Корнилов, и при содействии товарищей кандалы были мигом сняты. Арестанты построились в три шеренги.

- Ребята, - сказал Корнилов, - я еду на Малахов курган. Марш за мною. Усердием и храбростью вы заслужите прощение государя.

- Ура! - крикнула толпа и почти бегом пустилась за лошадью Корнилова.

Корнилов стал подниматься по западной покатости Малахова кургана. Навстречу попались матросы, весело гаркнувшие "ура".

- Будем кричать "ура", когда собьем английские батареи, - сказал Корнилов, - а теперь покамест только эти замолчали. -

Корнилов указал направо, в сторону французских батарей, которые действительно совсем умолкли, после того как взлетел у них еще один погреб.

Корнилов взъехал на Малахов курган и сошел с лошади. На Малаховом было очень жарко. Три английские батареи действовали по кургану; на одной развевался английский флаг, и в ней до начала бомбардировки было видно двадцать четыре амбразуры, другая была подле шоссе, третья - знаменитая пятиглазая, то есть в пять амбразур, стояла на скате холма, у верховья Килен-балки. На верхней площадке башни был такой ад, что прислуга оставила орудия. Только внизу Истомин с успехом отстреливался из земляных батарей. Корнилов спустился в нижний этаж.

- Владимир Иванович, - сказал он Истомину, - отчего вы не прикажете перевязывать здесь раненых? Кажется, это удобно.

- В этой сумятице я не догадался, - сказал Истомин.

- Да и доктора у вас здесь нет. Я сейчас же пошлю кого-нибудь за доктором на перевязочный пункт.

Отдав приказание и посмотрев на действие наших орудий, Корнилов сказал:

- А жаль, что нельзя угостить их сверху. Неужели никакой нет возможности? Я взойду сам на верхнюю площадку, посмотрю, что можно сделать.

- Как вам угодно, Владимир Алексеевич, - горячо сказал Истомин, - туда я не пущу вас! Да там и нет никого. Неужели вы мне не верите на слово, что мы бросили верхнюю площадку по невозможности укрыться там от ядер?

- По-моему, - сказал Корнилов, - следовало бы в таком случае вообще прекратить огонь с башни. Наши орудия малокалиберны, а у них - чудовищного калибра. Мы только терпим потерю в людях без особой пользы.

- Если прикажете, я прекращу огонь. Башня умолкла, продолжали пальбу только земляные батареи.

- Теперь мы все видели, пора и домой, - сказал Жандр и, взглянув на часы, добавил: - Скоро уже половина двенадцатого, пора бы и пообедать.

- Постойте, - сказал Корнилов, - мы поедем еще туда (он указал на Ушакову балку), а потом и домой.

Он также хватился было за часы, но вспомнил, что отослал их в Николаев жене.

- Ну, пойдем, - сказал он и направился к брустверу, за которым стояли оставленные лошади.

Жандр поспешил за адмиралом. Кврнилов подходил уже к брустверу, Жандр был в двух шагах от Корнилова, как вдруг ему

послышался глухой звук как бы от падения тяжелого мешка на землю, и на грудь Жандра брызнула кровь. Корнилов пошатнулся и упал бы совсем навзничь, если бы Жандр не подхватил его голову. Другие офицеры бросились на помощь, подняли адмирала на руки и положили за бруствером, между орудиями. Ядро раздробило Корнилову левую ногу у самого живота.

- Отстаивайте же Севастополь... - сказал Корнилов и, не испустив ни одного стона, лишился чувств.

Офицеры и матросы хлопотали подле Корнилова, пришли два врача, за которыми посылал Жандр в Корабельную слободку, и, осмотрев раздробленную ногу Корнилова, принялись за перевязку, качая головами.

- Господа, - сказал Жандр, - я еду сообщить о нашей страшной потере генералу Моллеру и Нахимову... В случае штурма все будут ждать распоряжений Владимира Алексеевича... Надо предупредить... По дороге забегу в госпиталь.

Жандр спешил как мог, но, не успев еще съехать с кургана, почувствовал удар как бы камнем в руку и жестокую боль. Убедившись, что это не рана, а контузия, он продолжал путь, завернув в госпиталь, послал на курган лучшего оператора и носилки, а сам стал искать Моллера и Нахимова. Моллера он нашел на шестом бастионе, а на пятом ему сказали, что Нахимов поехал домой обедать. Нахимов обедал наскоро и один; подавал ему денщик, обративший внимание на кровь, запекшуюся на лбу у Нахимова, за что барин сказал ему: "Да ты, братец, совсем дурак-с" - и продолжал обедать. На столе стояла неизменная бутылка марсалы, уже до половины осушенная. Когда вошел Жандр, Нахимов, увидя его озабоченным и растерянным, спросил, как бы предчувствуя что-то недоброе:

- Где Владимир Алексеевич?

- Он ранен, опасно ранен ядром и едва ли останется жив, - сказал Жандр. Нахимов вскочил с места.

- Где он? Говорите! Такой человек, как Корнилов, и вдруг ранен! Другого такого нет-с и не будет! Вот истинное несчастье! Уж лучше меня бы хватило ядром или кого другого, но только не его! Поймите, молодой человек, вы, вероятно, его полюбили за короткое время, а ведь так его знать, как я его знаю-с!.. Я старый моряк, и, поверьте, мне не стыдно перед вами: вы видите, молодой человек, я плачу, да, я плачу-с!

Слезы действительно градом катились по щекам Нахимова. Жандр чувствовал, что и у него горло сжимают спазмы, и поспешил уйти. Только выйдя от Нахимова, он почувствовал, что боль от контузии становится невыносимою, и поехал в госпиталь позаботиться о самом себе.

По дороге он заметил, что со стороны рейда слышится необыкновенная канонада. Привычный слух моряка тотчас узнал рев корабельных орудий.

"Неприятельский флот бомбардирует нас с моря", - мелькнуло в уме у Жандра. Он не ошибся.

XIX

У входа в Севастопольский рейд, на северном берегу, находилась грозная с виду Константиновская батарея - массивное, гранитное подковообразное здание с стенами почти саженной толщины. Поверх двухэтажных казематов, на верхней стене батареи, виднелся красивый ряд огромных орудий на крепостных станках. На валах стояли часовые и под наблюдением офицеров зорко следили за малейшими движениями неприятельских кораблей. Во дворе батареи было оживленное движение. Солдаты ходили и бегали взад и вперед. Командир постоянно обходил стены, говорил с офицерами, потом спускался в каземат, служивший ему кабинетом. В этом оригинальном кабинете половина пространства была занята огромною крепостною пушкой, глядевшею на море. На лафете и на колесах прежде висели брюки и другие принадлежности туалета, но теперь все это было убрано. У другого окна, выходящего во двор, стояло фортепиано: командир батареи был музыкант, игравший на нескольких инструментах. На стене висела скрипка, на столе лежал ящик с флейтой, а фортепиано было завалено нотами. Командир подошел к клавишам, вытер носовым платком пыль, взял несколько аккордов, потом тщательно запер инструмент на ключ.

"Если и здесь будет дело, - мелькнуло в уме его, - пропадет мой инструмент... А впрочем, может быть, и ничего?"

Он машинально раскрыл тетрадь с нотами, положил ее снова на место и опять поспешил к орудиям на валы.

Вдруг послышались выстрелы с находящейся на противоположном берегу у Карантинной бухты батареи номер десятый. На маленькой платформе, у ворот, барабанщик забил тревогу. Командир скомандовал:

- К орудиям на валы!

И артиллеристы поспешили занять свои места.

С валов было видно, что к батарее номер десятый подвигается французская эскадра. Расположенные в ряд корабли буксировались пароходами, прикрепленными сбоку, чтобы укрыть эти последние от наших выстрелов. Батарея номер десятый открыла огонь. В то же время были замечены английские корабли, приближавшиеся к Константиновскои батарее с севера, то есть с тыла.

Командир батареи знал, что с фронта ему бояться нечего, но тыл был слабым местом Константйновского форта. Башня Волохова{106} и батарея Карташевского могли лишь отчасти вознаградить за потерю пятипудовых мортир, которые были сброшены впопыхах в море после ал минского дела, в те памятные дни, когда решено было затопить корабли.

В течение четверти часа французские корабли не отвечали на нашу пальбу.

Наконец они стали на якорь на весьма почтительном расстоянии от наших крайних фортов. Французский адмирал Гамелен сказал своим подчиненным: "La France уош ге агс1е (Франция смотрит на вас)".

Вдруг более шестисот французских корабельных орудий дали залп, направляя огонь преимущественно на батарею номер десятый и на Александровскую, которая находилась как раз против Константиновскои.

Вслед за тем и английские корабли начали бой с северными батареями.

Батарея номер десятый могла отвечать французам только тридцатью тремя пушками, Александровская - семнадцатью. Командир Константиновской батареи, несмотря на огромное расстояние, направил на французский флот двадцать три орудия. Всего семьдесят три орудия против французских шестисот! Но нас спасали три обстоятельства: громадность расстояния, решимость французского адмирала стоять на месте и мощность гранитных стен наших казематов.

Спустя еще немного времени все английские корабли, бывшие в деле, открыли огонь, и Севастопольский рейд огласился превосходящими всякое описание залпами тысячи ста девятнадцати корабельных орудий, которыми располагала союзная эскадра. Эти залпы можно было сравнить только с ударами сильнейшего грома, слышимого в самом близком расстоянии. Густая туча дыма застилала рейд, по временам сверкали огни из орудийных жерл, подобные красноватым молниям. В истории морских сражений не было еще такой канонады.

Обширное поле вне оборонительной линии, между батареею номер десятый и шестым бастионом, было буквально покрыто градом французских ядер и разрывных снарядов.

Сквозь густой дым можно было, однако, видеть, что через пять минут после первого громового залпа огонь наших батарей уже вывел из линии один трехдечный корабль.

Князь Меншиков незадолго перед этим был близ Константиновскои батареи. Еще до первого залпа он с

адъютантами направился берегом в свой домик, к батарее номер четвертый. Бомбардировка захватила его на пути. Несмотря на громадное расстояние, некоторые английские бомбы залетали дальше Николаевской батареи и даже падали в Южную бухту заодно с бомбами, которые летели с суши с все еще гремевших английских батарей. Местами в рейде вода клокотала и пенилась от падавших снарядов. Следовавший за Меншиковым Панаев, не доезжая домика Меншикова, увидел с берега шлюпку, в которую сел старик, по-видимому отставной моряк, с двумя девушками. Это был капитан Спицын с Лелей и еще одной незнакомой им девушкой, случайно попавшей в их шлюпку. Капитан правил рулем, обе девушки гребли не хуже матросов. Опасность придавала им ловкость и силу. Они спешили с Северной, правя к Килен-балочной бухте.

Несколько снарядов шлепнулось подле шлюпки, взбрасывая столб воды.

- Спешите, дети! - кричал капитан, как будто обе девушки были его дочери. - Бливко!

По мере приближения к бухте стало менее опасно; здесь падали только снаряды с сухого пути.

- Скорее, скорее! - кричал капитан, продолжая ловко лавировать. Навались!

Не доезжая бухты, шлюпка причалила; ухватились баграми.

- Все вон! - командовал отставной капитан, как бы воображая, что он на корабле. - Дальше!

Не успели вскарабкаться на берег, как вдруг бомба ударилась в только что оставленную шлюпку и разбила ее в щепы.

- Опоздала, Виктория! - крикнул капитан, грозя кулаком в ту сторону, где по его предположению находилась пустившая бомбу английская батарея. Обе девушки уже спешили через сад, прилегавший к первому бастиону, к домику капитана над Килен-балкой.

XX

Кроме Панаева и других подобных ему посторонних зрителей за движениями шлюпки, в которой находились капитан Спицын и две девушки, наблюдал человек, в котором это зрелище вызывало не простое сочувствие, а массу чувств, весьма сложных и весьма мучительных. Человек этот был граф Татищев.

Батарея, в которой служил граф, была за несколько дней до бомбардировки поставлена подле Артиллерийской бухты, в тылу зданий Николаевского форта. Накануне бомбардировки Леля, пренебрегая приличиями и рискуя окончательно скомпрометировать и себя и графа, пришла в казармы, где находился граф. Слухи о близкой бомбардировке давно носились

в городе, и Леля хотела знать, куда назначен Татищев. Граф встретился с нею довольно сухо: он был крайне недоволен тем, что Леля так открыто пренебрегает общественным мнением. 'Он наговорил Леле много неприятных, даже жестоких слов, сказал ей, что она только мешает ему исполнять свой долг и что в такие серьезные минуты смешно и глупо думать о таком ничтожном чувстве, какова любовь между мужчиной и женщиной. Леля молча выслушала эти упреки и, когда граф кончил, сказала:

- Ты не хочешь, чтобы я была подле тебя в минуту опасности, но я хочу этого. Ты должен сказать мне, где ты будешь завтра: я приду туда. Ведь ходят же матросские жены с Корабельной на бастионы к своим мужьям...

- Сотрага15оп п'ез! раз га1зоп (сравнение - не доказательство), - с досадой сказал граф. - Твои сравнения просто поражают своей дикостью. Ведь я, кажется, не матрос, и ты не моя жена... по крайней мере в настоящее время.

- Это все равно, - сказала Леля, опустив глаза.

- Завтра нас переведут, вероятно, на Северную, - сказал граф. - Я думаю, нас назначат на Константиновскую батарею...

Он солгал, чтобы поскорее отделаться от Лели.

- Я приду узнать, - сказала Леля тоном, не допускающим возражения. - Я буду завтра на Северной.

Леля сдержала свое слово. Как только на рассвете послышалась канонада, Леля бросилась в кабинет отца и искусно разыграла роль, уверяя, что страшно боится оставаться дома, так как, вероятно, сюда будут долетать снаряды.

Капитан собрал кое-какие вещи, отдал Ивану некоторые приказания и, взяв шлюпку, отвез Лелю на Северную, а сам поспешно вернулся домой.

Леля для виду заехала с отцом в дом вдовца Пашутина. Леля очень любила семилетнюю дочурку Пашутина Манечку, но на этот раз она даже не осталась успокаивать девочку, которая, испугавшись бомбардировки, истерически плакала и никак не могла привыкнуть. Перепуганный отец, как мог, утешал ребенка и был очень обрадован приходу Лели, к которой девочка прильнула, как к старшей сестре. Но, пробыв здесь не более получаса, Леля вскоре после отъезда отца под благовидным предлогом вышла из дома Пашутина и отправилась к Константиновской батарее.

Здесь ей сказали, что никакого Татищева нет и не было, и наконец от самого батарейного командира Леля узнала, что Татищев по-прежнему находится подле Николаевской батареи, по ту сторону Главной бухты. Леля тотчас хотела отправиться .туда, но это было невозможно, так как все шлюпки были заняты. Она

вернулась в дом Пашутина, прося, чтобы он помог ей найти шлюпку, так как она тревожится за отца и поедет назад к Килен-бухте. Пока длились все эти поиски и переговоры, с моря грянули небывалые еще залпы и вся Северная сторона была потрясена этими грозными звуками. Не помня себя, Пашутин схватил за руку свою дочурку и, забыв о Леле, бросился к пристани. Леля также побежала на пристань и здесь встретила отца, приехавшего за нею. Они уже садились в шлюпку, как вдруг совсем незнакомая девушка прыгнула туда же, умоляя взять ее с собою. Разумеется, капитан согласился. Пашутин с своей дочуркой в другом челноке еще раньше переправился на Графскую и, совсем обезумев, бегал взад и вперед по пристани, таща за собою девочку, которая попеременно то кричала, то всхлипывала.

Граф Татищев находился в начале морской канонады на Николаевской батарее, потом был послан с поручением от батарейного командира ко дворцу. Оттуда он из любопытства отправился на пристань, увидел незнакомого офицера ластового экипажа, бежавшего со своей маленькой дочерью, потом увидел шлюпку и, обладая хорошим зрением, сразу узнал капитана и Лелю. Первым побуждением его было махнуть платком. Леля гребла и сидела так, что могла видеть его, но она опустила глаза, наблюдая, по-видимому, за взмахами весла и не замечая графа. Когда упал первый снаряд, шлепнувшийся саженях в двух от шлюпки, Татищев невольно зажмурил глаза; открыв их, он увидел, что шлюпка повернула к Килен-бухте и, по-видимому, не потерпела повреждений. Теперь Леля повернулась к графу так, что не могла его более видеть; граф с замиранием сердца продолжал следить за движениями шлюпки, искусно направляемыми опытной рукою капитана. Вот еще несколько взмахов - и они будут близ берега... Наконец-то причалили!

Тогда только у графа мелькнула себялюбивая мысль: а ведь если бы Леля погибла, с нею канула бы в вечность одна из худших совершенных им подлостей... или, правильнее, глупостей, так как всякая подлость коренится в какой-нибудь глупости...

Эта мысль была мимолетна по двум причинам: во-первых, самому графу она показалась чересчур чудовищною; во-вторых, его внимание снова было привлечено офицером, имевшим вид сумасшедшего, бегавшим по пристани и по площади со своим ребенком.

"Не предложить ли ему помощь?" - подумал Татищев, но вспомнил, что давно пора возвратиться на Николаевскую батарею, и поспешил туда.

На пути он встретил офицера из числа своих сослуживцев, который сообщил ему, что у них вызывают охотников с целью

узнать об участи батареи номер десятый, которая буквально осыпана градом неприятельских снарядов, и пройти туда нет никакой возможности, если нет охоты идти на верную смерть.

- Что за пустяки, - небрежно сказал граф, - жаль, что меня не было. Я бы первый вызвался идти.

- Так что же, время еще не ушло, идите, - с досадой ответил товарищ. Но, по-моему, это будет не храбрость, а безумие...

- Смотря по тому, что называть храбростью, - ответил граф своим ровным, спокойным голосом. - У нас есть офицеры, сидящие на задних дворах и в подземельях и считающие себя храбрыми...

Татищев поспешил к батарейному командиру и заявил о своем желании идти. Батарейный покачал головою и недоверчиво сказал:

- Попробуйте, господин поручик... Боюсь только, что и вы вернетесь, подобно двоим, которые отправились раньше вас... Один вернулся без кисти руки - перебило осколком, - другой хотя и цел, но ни жив ни мертв; оба не прошли и полпути.

- Быть может, моя звезда счастливее, - сказал граф. - Я немного фаталист и теперь почему-то твердо уверен, что выйду невредим... Сейчас видел шлюпку, шедшую под градом снарядов; в ней были две женщины - ничего, уцелели. Отчего бы и мне не уцелеть?

- Как хотите, господин поручик... не могу вас удерживать, но и посылать не имею права в такую баню... Попытайте счастья... Авось Бог милует, пройдете...

Татищев отправился.

В начале пути чувство самосохранения сильно заговорило в нем, и он чуть было не вернулся. Но самолюбие взяло верх, и он продолжал идти и мало-помалу так присмотрелся и прислушался к частому полету всевозможных снарядов, что стал думать: "А ведь, в самом деле, это вовсе не так страшно, как кажется сначала!" Далее он уже шел машинально, и притом теперь было все равно куда идти: и за ним, и перед ним, и справа, и слева - везде гудели, шипели и с треском разрывались в "воздухе гранаты и бомбы. Сначала граф шел больше траншеями, но, убедившись на опыте, что траншеи весьма мелки и что туда падают снаряды в большом изобилии, вылез и пошел прямо.

Десятая батарея стояла одним фасом к морю, другим - к Карантинной бухте, третий фас был обращен в поле, к шестому бастиону.

Татищев шел полем. На всем поле не было видно ни души, но зато всюду, как булыжники, валялись осколки снарядов. Татищев увидел уже бухту и за ней возвышенность - то самое место, где

был знаменитый в древней русской истории Херсонес. Чудные переливы холмов, которыми не раз любовался Татищев, теперь не обратили на себя его внимания. Татищев вспомнил только, что еще недавно в этой самой бухте офицеры их батареи, и в том числе он сам, стреляли диких уток. Теперь поверхность бухты то и дело взметывала фонтаны от падавших в нее снарядов.

Батарея номер десятый была уже близко, но по приближении к ней инстинкт самосохранения снова заговорил в графе. Он стал наклонять голову и ускорил шаги.

"А вдруг какая-нибудь шальная бомба разорвется как раз над моей головою, - думал граф, слыша сквозь рев канонады резкий звук, обозначающий разрыв снаряда. - Если погибну, смерть выйдет самая глупая: даже неизвестно, когда и где похоронят и найдут ли части моего трупа. Пожалуй, изуродует меня до неузнаваемости. (Граф вспомнил некоторые случаи из Алминского боя.) Напишут обо мне как о без вести пропавшем... Черт знает что такое! А интересно было бы знать, как отнесутся к известию о моей смерти некоторые мои знакомые!"

И в уме графа мелькнули десятки образов. К некоторым из них он отнесся презрительно, к другим равнодушно... Но вот и образ Бетси...

"Быть может, она уже забыла о моем существовании", - подумал граф, и эта мысль сильно уколола его самолюбие и возбудила в нем жгучее желание еще раз увидеть эту гордую светскую женщину, еще раз покорить ее своей воле.

Но как-то сам собою этот образ стушевался и заменился другим, более близким: любящая, но уже не гордая, а напоминающая оробевшего пойманного зверька дикарка Леля, та самая Леля, которая интересовала его, пока казалась недоступною, а потом опостылела, как увядший цветок, вдруг вспомнилась ему и стала мучить совесть. Умереть с подобным пятном на своей памяти показалось графу ужасным. В эти минуты он считал себя преступником, приговоренным к смертной казни...

Почти бегом приблизился граф к воротам. Ворота были заперты. Стоявший возле часовой спросил отзыв и, получив верный ответ, отпер калитку. Татищев прошел двором и спустился в траншеи; потом пошел площадкой между траншеями в сопровождении матроса, который указывал ему дорогу. Траншеи были полны солдатами; командир оказался в каземате. Татищев думал найти в батарее картину хаоса, разрушения и смерти, но, к удивлению, увидел полный порядок, спокойствие, весьма мало раненых и лишь незначительные повреждения построек.

- Да, жарня у нас тут идет порядочная, - сказал командир. -

Только эти господа пускают снаряды без толку, а мы скоро перестанем совсем пускать, потому что расстреляем все свои заряды... Смотрите сами: почти все их ядра и бомбы ложатся между шестым бастионом и восьмым номером, а нам ничего! А мы их угощаем преисправно. Карташевского батарея еще лучше нашего действует и, кажется, пустила один английский пароход ко дну... А вот Константиновской приходится плоховато: орудия ее нижнего этажа не достигают неприятеля, и с тылу ее жарят совсем безнаказанно. Сейчас перед вашим приходом там было какое-то несчастье: пожалуй что, взорвало зарядные ящики; на время там совсем было тихо, теперь опять стали действовать. А у нас ничего! Пока убито восемь да повреждены пять зарядных ящиков... Вот постойте, сейчас мы угостим их снова!

Командир стал отдавать распоряжения, а Татищев поспешил тою же дорогою назад. Идти во второй раз было уже не так страшно. Возвратясь назад, Татищев, к немалой своей досаде, узнал, что его предупредил флотский офицер, еще раньше пробравшийся на батарею с шестого бастиона и донесший генералу Моллеру, что батарея почти невредима. Весть эта быстро дошла и до Николаевской батареи. Татищев мысленно обругал командира батареи десятого номера, который ничего не сказал ему о флотском офицере. Геройство графа оказалось истраченным совершенно даром.

"И неужели я мог погибнуть из-за такой глупости?" - подумал граф и готов был теперь согласиться с офицером, который заранее назвал его подвиг безумной выходкой.

XXI

С обеих сторон канонада еще продолжалась, но заметно ослабевала как с суши, так и с моря. Сухопутные английские батареи все еще боролись с нашими с переменным успехом. У нас жестоко пострадал лишь третий бастион, находившийся слева, у Госпитальной слободки. Пространство между морским госпиталем и Доковым оврагом было изрыто снарядами. Особенно много ложилось снарядов на большой площади, у Корабельной слободки. На северном краю этой площади, у землянки, сидели офицеры Бутырского полка и следили за полетом снарядов.

- Не идет что-то мой Федька, - сказал один из офицеров, пославший своего денщика Федора принести обед. - Уж не хватило ли беднягу гранатой?

Но денщик вскоре показался на площади. Он шел, подобно графу Татищеву, под градом снарядов, но думал не столько о своем героизме, сколько о миске щей.

"Не пролить бы, - размышлял он. - Его благородие

пригласили товарищей обедать и будут гневаться, если я пролью... Ах ты, шут тебя дери! Чуть по уху не задела!" - возмутился Федор, слыша зловещее гудение снаряда.

Вот наконец и землянка. Денщик все еще искоса поглядывает, не падают ли снаряды, но здесь уже сравнительно безопасно, здесь все снаряды либо не долетают, либо перелетают.

Подойдя к группе офицеров, денщик ставит на лавку огромную миску, из которой валит пар и чувствуется запах кислой капусты. Совершив - свой подвиг, денщик крестится и говорит:

- Ну, слава Богу, не пролил!

Между тем на третьем бастионе разыгралась страшная катастрофа. Несколько огромных бомб упало на бастион. Падение первой из них окончилось, правда, довольно комическим образом. Бомба, крутясь, грозно шипела, собираясь разорваться на части.

Толпа матросов собралась вокруг нее, осторожно приближаясь, чтобы потушить трубку бомбы. Одному из матросов надоело ждать.

- Не сердись, толстуха, - сказал он, обращаясь к бомбе, - никого не испугаешь, у меня теща сердитее тебя, а я и ее не боюсь.

С этими словами матрос залепил трубку бомбы грязью.

Но вслед за тем дела приняли трагический оборот. Одною из батарей на третьем бастионе командовал лейтенант Попандопуло, сын командира бастиона, капитана 2 ранга. Вдруг отцу докладывают, что сын смертельно ранен. Старик поспешил к сыну, который был уже без памяти, поцеловал и благословил его, а сам возвратился на свое место и стал командовать еще энергичнее прежнего, желая отомстить убийцам своего сына, только легкое дрожание замечалось в его голосе.

Но вот еще падает граната, разрывается, ранит и контузит в голову самого капитана Попандопуло, и команда переходит к молодому моряку Евгению Лесли, всеобщему любимцу. Корнилов возлагал большие надежды на этого капитан-лейтенанта. Младший брат Евгения, Иван{107}, находится подле старшего. Это наивный, милый юноша, начавший службу с светлыми надеждами на будущее и теперь еще убежденный в том, что мы разгромим неприятеля вконец.

Является сам начальник артиллерии капитан Ергомышев и совещается с Евгением Лесли, не смущаясь его молодостью. Вдруг еще одна огромная бомба влетает в бастион и, прежде чем кто-либо успел опомниться, пробивает пороховой погреб.

Страшный взрыв потрясает третий бастион. Ергомышев

контужен в голову и падает в беспамятстве. Иван Лесли ищет брата, но не находит его. Евгения нет, он исчез бесследно, его тело разорвано на части, и отыскать их нельзя. Везде разбросаны обезображенные трупы, их видят во рву, между орудиями; груды рук, ног, головы, отделенные от туловища, валяются в беспорядке. Третий бастион безмолвствует. Иван Лесли и немногие, оставшиеся подобно ему невредимыми, щупают свои головы, руки, изумляясь, как они уцелели. Бастион превращен в груду мусора и щебня, почти все орудия испорчены.

Но подле третьего бастиона находились офицеры сорок первого флотского экипажа. Один из них (женатый на старшей дочери генеральши Минден) бросается вперед и ободряет ошалевшую прислугу. Пятеро человек управляются с двумя оставшимися целыми орудиями. Находящаяся поблизости батарея Будищева{108} учащает огонь.

На Малаховом кургане дела идут довольно хорошо. Здесь матросов немало воодушевляет священник, благословляющий прислугу. В епитрахили, с крестом в руке он ходит по самым опасным местам.

Выстрелом с кургана взорван наконец и английский пороховой погреб на той из батарей, где в начале дела развевался английский флаг. Английская батарея понемногу стихает, отвечая лишь двумя орудиями. Лейтенант Львов{109} спешит с этим известием к умирающему Корнилову.

Корнилов пришел в себя на перевязочном пункте, причастился и просил послать брата своей жены юнкера Новосильцева{110} в Николаев, предупредить жену о своей опасной ране.

Прибыли носилки, Корнилов заметил, что его затрудняются приподнять, опасаясь повредить рану. Раненый делает усилие и переворачивается сам через раздробленную ногу в носилки. Его перенесли в госпиталь. Кроме доктора Павловского{111} и фельдшеров при Корнилове остался капитан-лейтенант Попов, недавно пришедший сюда. Увидя, в каком положении находится Корнилов, Попов не выдержал и заплакал.

- Не плачьте, Попов, - сказал Корнилов. - Рана моя не так опасна, Бог милостив, я еще переживу поражение англичан.

Корнилов, видимо, крепился, но разговор утомил его, и он почувствовал страшную боль, как ему казалось, не в ране, а в желудке. Стиснув зубы, Корнилов застонал и подозвал доктора.

- Доктор, что-нибудь дайте для успокоения желудка, жжет, как будто раскаленным железом мне терзают внутренности. Нет, не могу больше... Я не в силах. Доктор, чего-нибудь дайте, чего хотите, только поскорее!

Доктор, не зная, что делать, дал раненому несколько ложек горячего чая.

- Кажется, теперь немного легче стало, - сказал Корнилов.

Он взял наклонившегося над ним Попова обеими руками за голову.

- Скажите всем: приятно умирать, когда совесть спокойна... Надо спасти Севастополь и флот, - прибавил Корнилов в полузабытьи. Он снова очнулся, когда в комнату вбежал контр-адмирал Истомин, за которым Корнилов просил послать.

- Как у вас на кургане? - спросил Корнилов. - А я, как видите... умирать собираюсь...

- Наши дела идут недурно, не думайте, что я говорю, чтобы успокоить вас, - сказал Истомин. - Бьют нас, но и мы бьем и надеемся на победу. А вы, Владимир Алексеевич, еще поправитесь, и тогда опять к нам, не правда ли?!

- Нет, туда, туда, к Михаилу Петровичу, - сказал Корнилов, говоря о покойном Лазареве.

- Благословите меня, Владимир Алексеевич, - сказал Истомин. - Иду опять на бастион.

Корнилов благословил его, Истомин бросился ему на шею, разрыдался и побежал на бастион.

- Владимир Алексеевич, - сказал Попов, - не пожелаете ли послать в Николаев курьера к вашей супруге, чтобы она приехала сюда?

Корнилов пожал руку Попову и сказал:

- Неужели вы меня не знаете? Смерть для меня не страшна. Я не из тех людей, от которых надо скрывать ее. Передайте мое благословение жене и детям. Кланяйтесь князю и скажите генерал-адмиралу, что у меня остаются дети... Доктор, ради Бога, дайте чего-нибудь, жжет в желудке невыносимо.

Доктор еще раньше потихоньку влил в чай опиум.

- Не выпьете ли еще чаю? - сказал он раненому. Корнилов попробовал, узнал вкус опиума и сказал:

- Доктор, напрасно вы это делаете: я не ребенок и не боюсь смерти. Говорите прямо, что делать, чтобы провести несколько спокойных минут.

Доктор дал капли, Корнилов, приняв их, несколько успокоился и стал дремать. Вдруг за дверью послышался шум. Лейтенант Львов пришел с известием, что английская батарея сбита и что теперь у англичан стреляют только два орудия.

Попов велел не пускать никого, чтобы не беспокоить умирающего, но Корнилов очнулся и спросил:

- Что там такое?

Узнав, в чем дело, умирающий собрал последние силы,

довольно громко сказал: "Ура! Ура!" - и забылся.

Через несколько минут его не стало.

Канонада начала ослабевать и с суши, и с моря. Неприятельский флот, причинив нам ничтожный вред, потерпел значительный урон. Французские батареи давно умолкли, да и английские почти смолкли после удачного выстрела с Малахова кургана. Союзники убедились, что взять Севастополь не так легко, как казалось.

Когда бомбардировка была еще в полном разгаре, на берегу рейда разыгралась одна из тех многочисленных трагедий, которыми был богат этот день.

Знакомый нам офицер ластового экипажа, перебегавший с места на место, чтобы спрятать свою маленькую дочь, окончательно потерял голову.

Он несколько раз прятался в различные подвалы и погреба, но везде ему казалось недостаточно безопасным, и наконец он решил спрятать дочь на берегу в пещере, бывшей между скалами. Схватив девочку за руку, офицер побежал с ребенком по Екатерининской площади, стараясь прикрывать малютку собою от гудевших всюду снарядов. Вдруг бомба чудовищных размеров разорвалась над головою ребенка. Оглушенный звуком взрыва, отец сначала не мог опомниться, потом взглянул - и увидел в своей руке окровавленную, оторванную детскую ручку: девочка исчезла, или, точнее, ее тельце, разнесенное в клочки, было разбросано по площади. Шедший через площадь мичман бросился к отцу; тот дико озирался, подошел к мичману и жалобно-просительным голосом сказал:

- Куда девалась моя девочка? Отдайте мне ее, я ее спрячу в пещеру. Спрячу мою малютку, укрою, защищу своим собственным телом. Скажите же, где моя девочка?

Глаза его сверкали, как у сумасшедшего. Мичман увидел окровавленную ручку, и хотя видел уже много страшных сцен, но этой не выдержал и поспешил уйти. Отец пробрался к пещере, искал там свою девочку, звал ее, называя всевозможными самыми нежными именами, и опять вернулся на площадь. Выйдя на середину площади, он поднял теплую еще ручку к небу и стал искать клочья тела малютки, но ничего не нашел, кроме окровавленного осколка бомбы, нескольких комков мяса и больших кровавых пятен.

Стемнело. Канонада совсем прекратилась. И наши и союзные войска принялись за починку повреждений. У нас закипела работа на бастионе и в госпитале. Женщины и дети приняли участие в этой работе. Севастопольские дамы и бабы поили раненых, обмывали раны, приносили бинты, корпию, тряпки,

перевязывали сами. На госпитале был вывешен флаг, но союзники все же громили его весь день, и раненых перевели на Северную сторону и в дом Благородного собрания. Хлапонина и Хомякова - последняя была женою офицера одной батареи с Хлапониным - показывали пример другим дамам{112}.

Наступила ночь, прохладная и необыкновенно тихая, так показалось, по крайней мере, после дневной бомбардировки. Из офицеров, весь день простоявших на бастионах, одни спали, другие ужинали, многие снова спешили на свой бастион.

Часам к двум ночи почти все угомонилось в Севастополе, кроме ночных рабочих, исправлявших бастионы. Да еще на обрыве берега, над темными водами рейда, можно было видеть старика офицера, не спавшего всю ночь. Он то подкрадывался к пещере, то бродил по площади, то садился на ступеньки каменной лестницы и рыдал, положив себе на колени давно уже похолодевшую детскую ручку.

На следующий день одни английские батареи возобновили бомбардировку: французы все еще чинили свои сооружения. Седьмого числа бомбардировка возобновилась по всей линии. С этого времени борьба между нашими бастионами и неприятельскими батареями более не прекращалась, и хотя иногда ослабевала, но не было такого дня, когда можно было бы считать себя в полной безопасности от неприятельских снарядов. Вся последовавшая осада Севастополя была, в сущности, громадной, почти непрерывной бомбардировкой.

В один из первых дней бомбардировки Хлапонин, утомившись от ночной службы, возвратился на рассвете домой, в морские казармы, и лег спать на диване. Жены его не было дома: она была неотлучно в госпитале. Хлапонин заснул, но вдруг его разбудил знакомый голос.

- Это ты, Грандидье! - вскричал Хлапонин своему старинному приятелю, французу по происхождению, но русскому в душе и бывшему на русской службе.

Грандидье только что приехал из Петербурга. Как свежий человек, он крайне интересовался всем и осыпал Хлапонина вопросами, на которые тот едва успевал отвечать. Хлапонин рассказывал, что знал, и о смерти Корнилова, и о подвигах знакомых офицеров; рассказал анекдот о том, как капитан 1 ранга Керн{113} утром в первый день бомбардировки крикнул своему денщику:

- Михайло, чаю!

- Ваше высокоблагородие, - говорит денщик, - чаю не будет, ядро снесло трубу с самовара!

- Пошел, дурак, как хочешь, а чтобы был чай!

В это время летела над Малаховым курганом ракета. Денщик говорит:

- Сейчас будет чай!

И давай лупить по тому направлению, куда должна была упасть ракета, по его соображению. Через несколько минут, смотрим, наш матросик уже устанавливает железную гильзу ракеты на самовар своего капитана.

- Однако, брат, - прервал Хлапонин свой рассказ, - я-то хорош! Говорю о том, как капитан пил чай, а тебя с дороги и угостить забыл... Да еще вдобавок сам сижу на диване, а гостя усадил на стуле... Будь моя жена здесь, она бы меня пожурила за мою рассеянность.

- Как, ты женат?! - с изумлением вскричал Грандидье.

- А ты и не знал?

- Откуда мне знать? Вот история! Да что же ты не сказал мне до сих пор! Чудак! Где же твоя жена? Неужели ты ей позволил остаться в этом адском месте!

- Она у меня не такая, чтобы спрашивать позволения, - сказал, вздохнув, Хлапонин. - Моя Лиза сидит теперь, бедняжка, в госпитале и ночи не спит над ранеными.

- Это весьма благородно с ее стороны. Но как ты допустил до этого? Ведь ты, без сомнения, влюблен в свою жену, как и все молодые мужья?

хотя и русской службы и воспитывался в России, но в душе легкомыслен, как и все французы. Желая переменить разговор, он усадил гостя на диван и сам хотел пойти распорядиться насчет чая. Вдруг послышались звуки пушечных выстрелов.

- Опять начинается! - сказал Хлапонин.

Не успел он, сказав это, дойти до дверей, как в раскрытое окно влетело что-то шипящее и свистящее и, повертевшись в воздухе, вдруг огласило здание морских казарм страшным звуком взрыва. Хлапонин почувствовал жестокую боль в ногах и в голове и упал. Комната наполнилась дымом, запахом пороха и гари. Хлапонин громко крикнул, и, когда сбежались люди и затушили горевший уже пол комнаты, на полу и на стенах нашли кровь и бесформенную массу единственное, что осталось от несчастного Грандидье. Хлапонина, еле живого, также подняли и перенесли в палату. Тотчас послали за его женой, которая, оставив все, прибежала и припала к изголовью мужа. Хлапонин оказался сильно контуженным в ноги и раненным в голову, в кабинете же, где произошла катастрофа, вся мебель, и особенно диван, на котором сидел Грандидье благодаря погубившей его любезности хозяина, - все было перебито, обожжено и испорчено до неузнаваемости.

Первую помощь оказал Хлапонину знакомый доктор, заведовавший устроенным в казармах временным военным госпиталем. Но затем жена решилась везти мужа в Симферополь. Князь Меншиков, возвращаясь с Панаевым от реки Бельбека к высотам, на которых расположилась наша армия, встретил открытый экипаж, в котором Хлапонина везла мужа. Раненый вытянул ноги, глаза его были вытаращены, рот открыт, лицо имело бессмысленное выражение. Хлапонина, прежняя севастопольская красавица, была неузнаваема. Она похудела и подурнела, глаза ее были красны. Князь посмотрел на нее, приподнял фуражку и отвернулся. Слезы навернулись на глазах мрачного начальника морских и сухопутных сил Крыма.

- Хлапонин жив, - сказал князь. - О какой ужас! И чем эти бедные женщины виноваты?

Во второй день бомбардировки хоронили Корнилова. Когда садилось солнце, в Михайловском соборе раздались заунывные звуки панихиды. Канонада гремела неумолкаемо, но собор был полон народа. Забыв об опасности, все шли сюда - и адмиралы, и генералы, и матросы, и солдаты. Когда стемнело, погребальное шествие тронулось по Екатерининской улице, мимо Петропавловской церкви. Суровые матросские лица были еще суровее обыкновенного.

Офицеры " рядовые шли с непокрытыми головами, наперерыв добиваясь чести нести прах Корнилова. Грохот пушек, треск бомб и свист ядер заменяли похоронную музыку. Неслышно двигались по улице два батальона и четыре полевых орудия: шум шагов и колес заглушался звуками бомбардировки. Факелы освещали путь, порою светили также бомбы, огненными полосами носившиеся по небу. Приближались к знакомому склепу, где был похоронен Лазарев. На всех кораблях были скрещены реи, спущены флаги и вымпелы. Гроб был опущен в склеп; послышались рыдания. Матросы плакали, в последний раз прощаясь с покойником. Плакали не только друзья, но и многие противники Корнилова, завидовавшие ему, бранившие его за глаза, называвшие его честолюбцем, самодуром и педантом.

- А ведь, правду вам сказать, - говорил капитану Зорину отставной капитан Спицын, всхлипывая на каждом слове, - мы с вами... не раз... грешили... против Владимира Алексеевича!

- Что и говорить! - сказал Зорин, махнув рукою. У Зорина глаза также были красны от слез.

Канонада продолжалась до позднего вечера и на следующее утро возобновилась с удвоенною силою. На Театральной площади проходу не было от неприятельских снарядов, и роты, обыкновенно стоявшие здесь, были расставлены по Морской

улице. Небольшими группами сидели солдаты у стен, положив ружья пред собою из предосторожности, чтобы неприятель не заметил составленных в козла ружей. До поздней ночи продолжалась бомбардировка. Тысячи снарядов светились в ночном мраке, как звездочки и красивые огоньки, да белые облачка дыма обозначали разрыв гранаты или бомбы.

Однообразно и утомительно потекла жизнь Севастопольского гарнизона. Днем бомбардировки, ночью опять бомбардировки и работы по исправлению повреждений с уверенностью, что завтра будут сделаны новые, быть может еще большие, повреждения. Скучная, каторжная жизнь, в которой со стороны для каких-нибудь петербуржцев и москвичей представлялось много поэтического и даже сказочного, жизнь, вызывавшая во всех концах России сотни восторженных возгласов в прозе и в стихах, но на самом деле во всей своей будничной обстановке далеко не такая привлекательная, какою она казалась людям, подогревавшим свои патриотические чувства где-нибудь на веселой столичной пирушке...

Часть четвертая

I

Дорога до Перекопа и почти до самого Симферополя не представляет ничего привлекательного даже в лучшее время года, осенью же, во время дождей, она просто отвратительна.

Был дождь, сопровождаемый сильным ветром. Глинистый грунт обратился в подобие густого теста, и почтовый тракт представлял собой широкую, покрытую следами колес и копыт бесконечную лужу, местами достигавшую такой глубины и вязкости, что тяжелые кареты и возы приходилось вытаскивать несколькими парами волов или верблюдов. По этой невылазной грязи ехали в немецкой повозке на колонистских лошадях три офицера, прибывшие из разных мест и познакомившиеся между собою только на предыдущей станции. Один из них, совсем еще юный, недавно произведенный бывший петербургский кадет Николай Глебов, прибыл прямо из Петербурга: он был назначен в один из пехотных полков, стоявший подле батареи, где служил его брат, сослуживец графа Татищева. Молодой офицерик, видимо, продрог от дождя и кутался в свою шинель. Наконец показалась почтовая станция. На крыльцо вышел косматый, заспанный старик в поношенном пальтишке и полинялой фуражке - очевидно, станционный смотритель. Окинув взглядом приезжих и видя, что это не генералы и вообще лица не важные, он снова вошел в дом, захлопнув за собою дверь.

Молодой Глебов проворно соскочил с повозки, утопая в грязи, взошел на крыльцо и поспешил в комнату, откуда тянуло

теплом и запахом сильного угара: действительно, на столе шипел пузатый нечищеный самовар красной меди, от которого понесло угаром. На том же простом неполированном столе, не застеленном скатертью, стояло два стакана без блюдец и ложек. Подле стола, на диване, богатырским сном спал покрытый буркой офицер, а на полу, подложив под голову седло и сумку, храпел казак. Смотритель - пожилой человек из обрусевших поляков - стоял подле столика, на котором лежала шнуровая книга.

- Послушайте, - сказал смотрителю один из приехавших с Глебовым офицеров. - Где хотите, а чтобы мне сейчас были лошади. Это черт знает что такое! Еду по казенной надобности, вынужден нанимать подводы у колонистов. Я буду жаловаться!

- Лошадей нет и не будет, - лаконически отрезал смотритель, как видно уже привыкший ко всяким проявлениям неудовольствия - до оскорбления действием включительно; о последнем свидетельствовала его и теперь еще подвязанная щека.

- Как не будет? Да вы с ума сошли! Да ведь это разбой! - горячился офицер. - Как хочешь, а чтобы мне через четверть часа были лошади, а иначе тебе несдобровать! - грозно прибавил он, переходя с "вы" на "ты" и становясь в угрожающую позу.

Смотритель, видя, что дело принимает крутой оборот, прибег к маневру, который ему большею частью удавался, особенно с молодыми офицерами. Он принял униженную позу и сказал:

- К чему же нам ссориться?.. Разве я тут при чем?.. Вот не напьетесь ли чайку, я сейчас пришлю мою дочку, она нальет вам и составит компанию, а тем временем, может быть, и подойдут лошади... Сами посудите, наше положение...

В таких случаях обыкновенно офицер раскрывал рот, чтобы ответить, но в это время смотритель уже исчезал, из боковой двери появлялась его дочка полногрудая, довольно смазливая девица с несколько обрюзгшим лицом и развязными манерами. В этой глуши, в одиноком домике появление смазливой девицы сомнительного поведения всегда производило эффект. Теплый, хотя и угарный воздух комнаты, шипенье самовара, картинки на стенах, изображавшие Синопское сражение и еще какую-то битву русских с черкесами, - все это после осенней стужи и слякоти немножко напоминало домашний очаг, немыслимый без присутствия женщины. Смазливая девица являлась как бы необходимым дополнением обстановки, ее довольно плоский разговор казался милым, ей отпускались любезности, она пила с офицерами чай, поедала с ними булки и закуски, если таковые оказывались, вообще, делала им пребывание здесь приятным и отвращала от отца не одну готовую разразиться грозу.

Сердитый офицер, требовавший лошадей, не

удовольствовался, однако, появлением девицы и продолжал шуметь и буянить до тех пор, пока спавший на диване под буркою офицер не проснулся от этого крика и шума.

Проснувшийся офицер приподнялся и в свою очередь прикрикнул на буянившего поручика:

- Что это за безобразие! Я две ночи не спал, а вы здесь шумите так, что спать никому не даете...

Сердитый поручик хотел было затеять ссору, но, увидев, что спавший офицер старше его чином, прикусил язык и, подойдя к окну, стал смотреть, не подъехала ли телега, в которой плелся сзади его денщик с вещами.

"Все равно без вещей я не поеду, - подумал поручик, - и даже если бы были лошади, пришлось бы ждать".

Смазливая девица подсела к юному Глебову, который стал угощать ее где-то купленной им жареной куропаткой. Девица сказала Глебову, что любит таких молоденьких, как он, и удивляется, как родители отпустили его на войну. Глебов обиделся, что его считают слишком юным, и, чтобы доказать противное, стал отпускать девице юнкерские любезности, принятые ею весьма благосклонно. Выпив с Глебовым по рюмке водки (предварительно она, конечно, жеманилась и уверяла, что не пьет), девица совсем повеселела и стала толкать юного офицера под столом ногою. Он шепнул девице что-то на ухо, от чего она слегка покраснела и кивнула головою утвердительно.

Лошадей дождались лишь к следующему утру. Оставалось еще два -перегона до Симферополя. Глебов на этот раз ехал лишь вдвоем с сердитым поручиком, так как третий попутчик остался дожидать своего товарища.

Проехав несколько верст, Глебов и его попутчик услышали в отдалении какие-то глухие звуки, становившиеся все более явственными.

- Что это? - спросил Глебов ямщика.

- Где, барин?

- Да вот, слышно, что-то бухает.

- Эх, барин, нешто не знаешь? Стреляют в Севастополе, тут и слышно.

- А сколько туда верст будет?

- Да верстов сто, почитай, будет... У Глебова невольно забилось сердце при мысли, что он теперь некоторым образом является участником драмы, разыгрывающейся в Севастополе, хотя и отстоит от города за целую сотню верст...

Приехали наконец в Симферополь поздно ночью и остановились у гостиницы "Золотой якорь", которая молодому Глебову показалась хуже иных петербургских трактиров. О

красотах местоположения Симферополя он и не думал: не до того было, так устал и продрог он после путешествия по болотистой равнине, сменившейся теперь гористой местностью.

В гостинице некоторые окна были освещены, но ворота были уже заперты, и со двора слышался лай собак. Стали стучать и насилу достучались. Войдя в первую комнату, увидели бильярд, на котором спал какой-то гусарский офицер. Вышел сонный содержатель гостиницы и сказал, что теперь, кроме ветчины, нет ничего, а завтра можно получить обед, какого и в Петербурге не получишь. Глебов посмотрел на карту и, увидя в числе поименованных блюд "португальские щи" и "борщ по-гречески", должен был согласиться с хозяином, а пока удовольствовался ветчиной. Хлеба также не оказалось, и, по счастью, выручил бывший тут казак, предложивший их благородиям черного хлеба и соли. Цены в "Золотом якоре" оказались непомерными: за грязный номер, в котором стены были покрыты кровавыми пятнами, свидетельствовавшими о борьбе прежних обитателей с клопами, с Глебова и поручика, который из сердитого стал от утомления сонным и угрюмым, спросили такую цену, что юный офицер с ужасом понял, что необходимо разменять последний золотой: предпоследний он с чисто юнкерской щедростью подарил станционной Дульсинее в виде благодарности за ее гостеприимство.

Несмотря на все неудобства своего помещения, Глебов спал всю ночь как убитый. Проснувшись рано утром, он снова явственно услышал отдаленное буханье пушек. Выйдя в коридор, чтобы потребовать умыться и чтобы узнать, приехал ли денщик с багажом, Глебов почти столкнулся с выходившим из своего номера артиллерийским офицером и хотел уже сказать "виноват-с", как вдруг артиллерист сжал его в своих объятиях, закричав:

- Коля! Наконец-то! Да ты уже произведен! Молодец!

- Алеша, неужели это ты? - вскрикнул в свою очередь младший Глебов, узнав брата. - Как же ты не в Севастополе? Неужели ты был ранен? - тревожно спрашивал он старшего брата.

- Нет, Бог миловал... Я сюда по поручению начальства. Деньги надо получать. Хочешь, сегодня вечером поедем вместе? Тебе, конечно, хочется поскорее в Севастополь, ну да успеешь.

- Да если бы не ты, я бы сейчас поехал. Впрочем, не думай, что мне неприятно ехать с тобою, - поспешил прибавить младший Глебов. - Я, напротив, так рад тебя видеть! Господи, сколько времени! Я бы сразу не узнал тебя. А ведь правда и.я изменился?

- Ты вырос, возмужал, окреп. Ты теперь имеешь вид настоящего воина, сказал, улыбнувшись, брат. - Жаль, что пехтура, тебе бы быть кавалеристом. Ну, зайдем ко мне в номер,

напьемся чаю.

Они сели пить чай.

- Ну, что у вас там, в Петербурге? - спросил старший Глебов. - Ведь я давно не был там...

- Что может быть там особенного? Вот лучше рассказывай скорее, что у вас делается. В газетах пишут о вас много, но все не то, что от тебя самого услышать... Воображаю, сколько ты видел, сколько пережил за это время! Как я завидую тебе, Алеша! Скажи, разве правда, что под Ал мой мы действительно не могли удержаться? У нас одни винят Меншикова, другие говорят, что наши войска были неопытны, третьи сваливают все на дурное вооружение... Да рассказывай же, Алеша! Я все один говорю, а ты точно воды в рот набрал.

- Да что говорить об отдаленном прошлом, - сказал старший Глебов, которому казалось, что со времени Алминского боя прошло уже Бог знает сколько времени. - Ведь ты, должно быть, слышал, если не в Петербурге, то по пути, что нас недавно вторично поколотили...

- Как! - вскричал младший брат. - Быть не может! Ничего не знаю! Я трое суток тащился по грязи от этого проклятого Перекопа! Когда я выезжал из Петербурга, у нас, наоборот, все ликовали по случаю неудачи неприятельской бомбардировки и особенно после известия о блистательной победе Липранди{114}.

- Ну уж и блистательной, - сказал старший Глебов. - Липранди молодец, не спорю, славное было кавалерийское дело: мы почти вконец уничтожили английскую кавалерию, и оказалось, что наши кавалеристы вовсе уж не так плохи, как можно было думать после Алмы. Но беда в том, что наши великие полководцы (Глебов понизил тон и оглянулся, не слушает ли кто из посторонних), наши великие полководцы, начиная с самого светлейшего и кончая выжившим из ума Петром Дмитриевичем, не сумели воспользоваться первой удачей... Вот хоть бы в последнем деле: сначала нам так повезло, что английские пароходы уже стали разводить пары, думая, что придется везти войско восвояси. И что же? В конце концов дали неприятелю оправиться, и мы потерпели решительное поражение, да еще какое!

- Бога ради, расскажи же, в чем дело! Я с вечера ни с кем не говорил, так прямо и завалился спать...

- Ладно, расскажу, только не совсем складно: у меня сегодня пропасть дела...

II

- После балаклавского дела, - так начал старший Глебов, - у нас в Севастополе было всеобщее ликование: говорили, что мы

вполне отомстили неприятелю за Алму. Липранди был, разумеется, героем дня...

- Извини, Алеша, - перебил младший брат. - Что я тебя хочу спросить: правда ли, будто в этом деле полковник Еропкин перерубил пополам английского драгуна, а двух других англичан убил ударом плашмя?

- Чистый вздор, хотя я и сам об этом слышал от многих, но я говорил с самим полковником. По его словам, дело было так: Еропкин по приказанию генерала Липранди ехал куда-то, за ним - его вестовой унтер-офицер Муха. Нападают на них три драгуна. Еропкин выстрелил в одного из пистолета и убил его наповал, с другим схватился Муха, а третьего Еропкин, мужчина сильный и плечистый, не успев схватиться за саблю, ударил кулаком в лицо. Англичанин упал на шею лошади. Еропкин хвать его опять кулаком в висок, а сам на помощь Мухе; убили вдвоем третьего англичанина и поскакали к своему полку... Но ты, брат Коля, не перебивай меня, а слушай: если станешь задавать вопросы, я и до вечера не кончу, а у меня здесь пропасть дел.

- Хорошо, хорошо, рассказывай... А все-таки молодец Еропкин! По-русски расправился с англичанами!

- Ну так слушай, - продолжал старший брат. - Ночь перед последним сражением была нельзя сказать, чтобы приятная... Да, я ведь хотел еще сказать тебе о балаклавском деле. Ну, хорошо, скажу в двух словах. Дело было так. По прибытии дивизии Липранди все у нас стали говорить, что мы вскоре атакуем неприятеля. Вечером узнали мы диспозицию. Как только рассвело, наши двинулись в глубокой тишине; через полчаса очутились перед неприятелем, находившимся под самой Воронцовой дорогой. Перед нами рисовались грозные английские редуты. Наши "приятели"-англичане спали, ничего не подозревая. Липранди - очень симпатичный, замечательно хладнокровный генерал - сказал, солдатам: "Надеюсь, что вы будете драться так же храбро, как и на Дунае". Азовцы первые напали на редут: артиллерийский и ружейный огонь неприятеля не остановил их. Турки, занимавшие передовые английские редуты, едва увидев наших, показали пятки и наткнулись на шотландцев. Говорят, какая-то шотландская маркитантка, баба громадного роста, остановила турок, думая, что они хотят грабить ее запасы, и пребольно отхлестала бежавших мимо нее турок хлыстом. Вдруг появилась английская кавалерия. Наша кавалерия ей навстречу. Казаки обхватили шотландскую пехоту с обоих флангов, но не выдержали и первого залпа, поскакали назад. Наши гусары - веймарцы и лейхтенбергцы приняли участие в бое; старик генерал Рыжов скакал впереди всех...

- Подобно Мюрату{115}, - вставил младший брат.

- Да, если хочешь, сравнивай... Только та беда, что лошадь под ним убили, и старик погиб бы, если бы не один унтер-офицер Веймарского полка, успевший посадить генерала на свою лошадь. Мало того, этот храбрец поймал еще неприятельского коня, расседлал и надел на него генеральское, а когда его спросили, зачем такой маскарад, он ответил: "Вот те на, разве можно бросить генеральское седло?" Между тем Липранди послал ординарца с приказанием, а тот оказался олухом: переврал приказание и велел уланскому маршевому полку скакать для поддержания гусар. Что тут делать? У нас рассуждать не велено. Командир полка развернул своих улан в одну линию и пошел прибавленною рысью. Неприятельская батарея обсыпала их картечью. М.ежду тем у англичан вышла путаница еще хуже нашей. Один из их начальников, не поняв приказания лорда Раглана, велел Кардигану атаковать нашу кавалерию. Кардиган, говорят, пришел в ужас, так как ему пришлось идти под перекрестными выстрелами нашей артиллерии и пехоты. Англичане поскакали, мы встретили их картечью и пулями. Английские кавалеристы ударили на казаков те дали драла, смяли веймарцев, веймарцы смяли лейхтен-бергцев, и мы были свидетелями невероятного скандала: каких-нибудь триста англичан гнали наших три полка...

- Послушай, неужели ты не преувеличиваешь?! - вскричал младший брат. Ты всегда имеешь привычку относиться к своим слишком строго...

- Не думай, Коля, что я обвиняю наших солдат в трусости... Боже сохрани! - сказал старший Глебов. - Солдат наш храбр, как лев, когда им командуют толковые начальники. Под Балаклавой же у нас, как и всегда, была страшная бестолковщина. Старик Рыжов также храбрец, но не сумел сколько-нибудь сносно расположить войска: поставил впереди казаков, которые не могут выдержать натиска регулярной кавалерии. И главное, вместо того чтобы встречать атаку атакою, наши кавалеристы стояли на месте; понятно, что чего неприятелю не хватало в массе, то он взял скоростью. Натиск англичан был стремительный. Неприятель заклепал несколько орудий, напал на отступающих гусар, рубил их беспощадно и просто наседал им на плечи. Около моста гусары дрались отчаянно, да было поздно. Между тем наши уланы, ехавшие на разномастных лошадях, так как это был маршевый полк, наткнулись на Одесский полк, который принял их за неприятеля, свернул в каре и давай палить по своим; насилу остановили. Англичане же, смяв наших гусар, отступали назад и шли на рысях как на ученье. Тут, однако, и им пришлось испытать

последствия своей ошибки. Наши уланы ударили на них с фланга, а пехота и артиллерия на обратном пути снова открыли по ним огонь, от которого, впрочем, досталось и своим: из улан многие были ранены во время этой пальбы. Англичане скакали назад по своей прежней смертельной дороге, и легли почти все под картечью седьмой легкой и под пулями Одесского полка, и лишь немногие были убиты нашими уланами и ударившими в тыл гусарами... Позиция осталась за нами, и, стало быть, мы победили. Радость была неописанная.

- Господи, как это не похоже на то, что пишут о балаклавском деле в газетах! Я читал или слышал от кого-то, что будто бы английская кавалерия была пьяная, чем объясняют ее безумную отвагу.

- Вздор, нелепость! - горячо воскликнул старший Глебов. - И удивляюсь, как тебе не стыдно верить такому вздору! Я, по крайней мере, видел многих раненых и пленных англичан, и в числе их ни одного пьяного. Да и нам не велика была бы честь справиться с пьяными. Если бы ты видел хладнокровие, с которым англичане пустились в обратный путь, ты бы никогда не поверил этому вздору. Тут нужно было сознание долга и чести, хладнокровная и обдуманная отвага; но ко всему этому пьяный человек, конечно, не способен.

- Ну, Алеша, если ты так рассказываешь о нашей победе, воображаю, как ты опишешь то, что ты называешь нашим последним поражением.

- Опишу как сумею и, надеюсь, не солгу, тем более что сам был участником боя. Как и всегда, наши солдаты умирали как герои, но одного героизма для войны недостаточно: надо хоть немного рассуждения. Между тем и на этот раз вся беда произошла, как обыкновенно, оттого, что каждому генералу хотелось действовать по-своему и наперекор всем другим... Так слушай же, как было дело... Постой, впрочем. Человек, самовар! - крикнул он, выглянув в коридор.

Но "человек" долго не появлялся, и лишь после усиленного зова удалось добиться, чтобы подали самовар. Заварив чай, Глебов начал рассказ об инкерманском деле:

- Так вот, помнишь, я начал было тебе рассказывать, что утро в день сражения было прескверное: дождь и слякоть вроде нынешней, да к тому же туман. Около четырех часов утра у нас в Севастополе раздался звук церковного колокола. Но день двадцать четвертого октября был воскресный, и англичане, вероятно, думали, что это обыкновенный призыв к ранней обедне. У нас впереди шел генерал Соймонов со своими колоннами. Мы вышли гораздо позднее, так как наша батарея была в отряде

генерала Тимофеева и нам было поручено сделать вылазку из Севастополя против неприятельских работ. Выступили мы, когда бой на Инкерманских высотах был уже в полном разгаре. Выйдя из ворот правее бастиона номер шестой ("Когда будем в Севастополе, я тебе покажу это место", - прибавил Глебов), мы прошли мимо кладбища, и наша пехота бросилась на неприятельские траншеи. Граф Татищев, мой товарищ, отпросился в охотники, взял ерш, и с двумя пехотинцами втроем они заклепали неприятельское орудие, всего же орудий заклепали при этой вылазке, кажется, до пятнадцати. Между тем неприятель, опомнившись, стал присылать подкрепления и сильно теснить нас. Мы отступили в порядке, неприятель - за нами; но когда он подошел под картечные выстрелы наших крепостных орудий, его приняли честью, и он отступил с уроном, мы же вернулись в Севастополь, забрав не только своих раненых, но и несколько неприятельских. Мы и не подозревали, что в это время происходило с нашей армией. Остаток дня мы провели в Севастополе в напряженном ожидании. Почти все были уверены в победе наших войск, чему особенно благоприятствовало впечатление нашей собственной удачи. Против левого фланга оборонительной линии слышалась неумолкаемая ружейная пальба, а с бухты два парохода ревели своими пушками, обстреливая неприятельские позиции против Килен-балки. Неприятель отстреливался. Я так боялся за дом, где живет одна прелестная барышня, с которой я недавно познакомился, хотя давно слышал о ней от графа Татищева, - Елена Викторовна, дочь отставного флотского капитана; она живет с отцом в домике над самой Килен-балкой. Упрямый старик не хочет оттуда переселиться. Я был у них недавно в доме; представь себе, старик укрепляет свою усадьбу с помощью каких-нибудь двух или трех рабочих, устраивая самодельные прикрытия из мешков, набитых землею... Барышню я, к счастью, видел потом на бульваре целою и невредимою...

Глебов посмотрел на часы.

- Черт возьми, как поздно! Спешу кончить...

- Да ты только что начал, Алеша, ради Бога, расскажи, интересно! Только не о барышнях, они мне и в Петербурге надоели. Говори о последнем сражении.

- Да что рассказывать! Вечером с разных сторон стали прибывать войска в город. Я искал знакомых офицеров. Спрашиваю об одном - убили. Спрашиваю о подполковнике Гореве - одном из лучших офицеров Тарутинского полка, говорят, пропал без вести. Насилу нашел одного знакомого.

- Ну что, - спрашиваю, - как дела?

- Были в неприятельском лагере. Вот трофеи: галеты, изюм, рис, английская каска. Мы свое дело сделали.

- Ну а чем кончилось?

- Пришли назад. Генерал Соймонов убит: его прострелили в живот насмерть в самом начале дела, и он уже умер; командир бородинцев Шалюта-Веревкин опасно ранен, из приближенных Меншикова многие контужены: его сын Владимир в шею, флигель-адъютант Альбединский и (недавно, вернувшийся из Петербурга) Грейг - в голову, под Данненбергом убиты две лошади...

- Ну а неприятель? Кто же кого поколотил? - спросил я.

- Эх, брат, - отвечает мой приятель, - лучше не расспрашивай, мы, брат, сильно пописались. Наш полк второпях переколотил своих же бутырцев, а на московцев мы чуть не пошли в штыки! И угораздило их идти в дело в каких-то диковинных шапках...

Тут, брат Коля, я понял, что наше дело было проиграно. Не хотелось более расспрашивать... Ну, теперь пора идти по разным мытарствам; иди со мною, если хочешь, а не то оставайся здесь, отдохни. Подробности расскажу тебе в другой раз, да сам, если хочешь, расспроси в Севастополе...

- Алеша, голубчик, не мучь, хоть вкратце расскажи!

- Времени нет... Спешу... - решительно сказал старший брат и стал одеваться.

Младший Глебов предпочел отдохнуть и разлегся спать в номере, занимаемом братом, так и не узнав подробностей инкерманского дела. Брат на прощание только прибавил, что в деле участвовали великие князья Николай и Михаил Николаевичи и что князь

Меншиков был крайне встревожен, когда великим князьям пришлось ехать под градом неприятельских снарядов.

III

Об инкерманском деле было столько различных толков, что в них действительно трудно было разобраться.

Ходили странные слухи, что будто бы диспозиция, давно составленная князем Меншиковым, была послана на одобрение в Петербург. Император Николай, весьма недовольный Меншиковым за Алму, на этот раз был так доволен, что сообщил подробности диспозиции прусскому посланнику Рохову, тот телеграфировал в Берлин, из Берлина дали знать в Лондон, а из Лондона сообщили обо всем лорду Раглану. Лорд Раглан получил это важное сообщение накануне сражения и успел принять некоторые меры.

Как бы то ни было, но следует прибавить, что самая диспозиция была весьма неясна, не говоря уже о том, что

Меншиков сообщил ее главным начальникам лишь за несколько часов до выступления, не дав им времени обсудить и обдумать то, что им было поручено.

Но мы предоставим историкам восстановить истину и воздать каждому из исторических лиц должное, а сами последуем за старшим из братьев Глебовых, Алексеем, который из гостиницы "Золотой якорь" поспешил в здание, где помещалось интендантство.

Было десять часов утра, но, зная, какая ватага приемщиков должна была нахлынуть в этот день, Глебов быстро шагал по грязным улицам, внутренне ругая себя за то, что увлекся разговором с братом и потратил столько драгоценного времени. Глебов не ошибся в своих опасениях: придя в интендантское управление, он застал здесь человек сорок приемщиков от разных частей войск. Лица большей части этих офицеров имели выражение, далеко не способное ободрить вновь прибывших. Видно было, что деньги достаются здесь не легко. В числе офицеров попался один гусар, которого Глебов немного знал.

- Ну, батюшка, попали, как говорится, в самый раз, - сказал гусар шепотом на ухо Глебову, отведя его в сторону. - Я вам скажу по секрету: мне писарь шепнул, что сегодня привезли из Петербурга миллион. Секретарь будет, конечно, врать нам с три короба, но вы ему не верьте, это христопродавец, впрочем, очень любезен, если вы сумеете его подмазать.

- То есть как это подмазать? - спросил вполголоса Глебов.

- Тс, тс... не кричите, а то еще услышит и обидится... Натурально как! Экая вы святая простота! А еще из университетских... Да вы, впрочем, математик; будь вы юрист - тогда другое дело, одним словом, предложите ему аржанов - и все будет чудесно.

- Я на это не уполномочен от своей батареи, - сухо ответил Глебов, высвобождая свою талию из объятий гусара.

Тот несколько насмешливо взглянул на Глебова и сказал:

- Ну, делайте как знаете. Я хотел вам дать товарищеский совет, а там как хотите.

Глебов, мало имевший случаев сталкиваться с дельцами и живший светлыми студенческими преданиями, был неприятно поражен словами гусара. Он знал, что наши войска терпят если не нужду, то, во всяком случае, крайний недостаток. Продовольствие армии было в совершенном беспорядке. Особенно же скудно было довольствие лошадей. На фураж отпускались огромные суммы, а между тем лошадей вместо сена кормили морскими сухарями да мелким дубовым кустарником. Солдаты так и выражались, что лошадей кормят дубьем. Глебов

знал, что невозможные дороги столько же в этом виноваты, как и бесчестность некоторых командиров; но он считал таких командиров исключениями, был уверен, что два-три честных человека, подобных ему самому, могут переделать все. Об интендантстве он давно уже слышал весьма нелестные отзывы, но был уверен, что при своей энергии не дастся в руки никаким хищникам. Он твердо решил взяток не давать. "Ведь не могут же мне отказать в том, чего я требую по закону", - думал Глебов.

Но теперь размышлять более не было времени. Подойдя к чиновнику, который сидел, уткнувшись носом в какую-то ведомость, Глебов спросил, где управляющий.

- Да вы теперь едва ли сможете его видеть, - сказал чиновник, слегка оборачивая голову и щуря один глаз, и тотчас же опять уткнулся в свою ведомость.

- Однако мне надо его сейчас видеть. Я приемщик от легкой батареи четырнадцатой бригады.

- А, так бы и сказали... Пожалуйте, так через полчаса, направо в кабинет: там уже есть вашего брата довольно.

Глебова покоробил этот фамильярный тон.

- Я вас не спрашиваю, когда мне идти, а желаю только знать, где управляющий, - запальчиво сказал он.

- Так я же вам сказал, - пробурчал себе под нос чиновник и пробормотал вслед Глебову: - Ишь какой прыткий! Ну уж эти артиллеристы! Самый беспокойный народ.

Глебов вошел в кабинет, обширный, уставленный хорошею мягкою мебелью, с вышитыми бисером подушками на диванах и солидным письменным столом, на котором лежали кипы деловых бумаг и тома законов гражданских и военных.

Управляющий, тучный, но болезненный пожилой человек, сидел в широких креслах и говорил о чем-то с гусарским штаб-ротмистром, также развалившимся в креслах. Несколько пехотных офицеров сидели поодаль на стульях. Управляющий и штаб-ротмистр были веселы и разговаривали, по-видимому, вовсе не о деловых предметах.

- Где я могу видеть господина управляющего? - спросил Глебов.

- Я-с, чего вам угодно? - сказал управляющий, глядя вполоборота на вновь вошедшего.

- Я приехал от батареи четырнадцатой бригады за получением денег, сказал Глебов.

- А, отлично-с... Посидите немножечко, сейчас я с вами побеседую.

Глебов сел на первый попавшийся стул и ждал.

- Да, я вам скажу, что за конфетки! Пальчики оближешь! -

продолжал штаб-ротмистр начатый раньше разговор. - Тут у вас в Симферополе действительно есть чем поживиться. Эдаких красоток и в столице не всегда отыщешь... Особенным успехом пользуются тут две девицы, дочери генеральши Минден, кажется близнецы. За ними положительно все увиваются - и наш брат, и доктора.

- Видно сейчас, что к меду и мухи льнут, - сказал управляющий.

- Видели вы, каких рысаков купил этот каналья доктор Протопопов? И какие дрожки! Я от души позавидовал.

- Да уж, я вам скажу, Протопопов охулки на руку не положит, - сказал управляющий, смеясь и пыхтя от мучившей его одышки. - Вот говорят об нашем брате... Это все, батюшка, нарекания-с. Комиссариат да комиссариат посмотрели бы на докторов! Вот где, я вам скажу-с, корень зла! Дерут в полном смысле слова и с живого и с мертвого, да еще вас уморят!

- Это верно! Лечат, как коновалы, вместо хинина дают прогорклую муку, а дрожки из рысаков небось заводят, - согласился штаб-ротмистр.

Глебов стал терять терпение.

- Извините, господин штаб-ротмистр, - сказал он, обращаясь к гусару. Вы, если не ошибаюсь, окончили ваши деловые объяснения с господином управляющим, а у меня дело спешное... Так позвольте уж сначала мне...

Штаб-ротмистр величественно осмотрел Глебова с ног до головы.

- Я вам не мешаю, господин поручик, - сказал он, продолжая сидеть в кресле напротив управляющего. - Секретов тут, надеюсь, нет?

- Разумеется, - сухо отвечал Глебов. - Прошу вас, господин управляющий, скажите мне определенно, в котором часу я получу сегодня деньги?

- Сегодня денег больше нет, - отрезал управляющий.

- Как так? Да ведь, говорят, сегодня из Петербурга прислан целый миллион!

- Миллион-то он миллион... и, во-первых, не миллион, а всего-то восемьсот тысяч, а во-вторых, у меня претензий на полтора миллиона... Извольте-ка всех удовлетворить! Вы не одни, вас всех пятьдесят приемщиков.

- Позвольте, - горячо сказал Глебов. - Я сегодня должен получить денег, и мне никакого дела нет...

- Вам-то нет дела, да мне дело... Впрочем, вы, как видно, по сей части неопытны, вам, должно быть, приходится в первый раз... Я скажу вам кое-что по секрету...

Управляющий встал и, грузно переваливаясь, отвел Глебова в сторону.

- Деньги, пожалуй, найдутся, только скажите наперед, сколько вы дадите процентов?

- Как процентов? - вскричал Глебов, покраснев от негодования. - Кому я должен дать проценты?

- Если вы так кричите, то и я вынужден сказать при всех, так как это вовсе не особенная тайна, - нахально сказал управляющий. - У нас водится отчислять на наше ведомство шесть процентов - как видите, совсем немного, казенный процент!

- Господа офицеры, - сказал Глебов, едва сдерживая себя, - призываю вас всех в свидетели, что господин управляющий хочет взять с меня взятку.

Пехотные офицеры уставились в землю, а штаб-ротмистр с важностью сказал:

- Господин поручик, мы в семейные дрязги не мешаемся... У меня правило: сору из избы не выносить.

При этих словах вся фигура управляющего потряслась от смеха.

- Это черт знает что такое! - вскричал Глебов и выбежал из кабинета, захлопнув за собою дверь.

Он быстро шагал по присутственной зале и уже был подле выхода, когда его догнал секретарь, юркий человечек с довольно приличной физиономией, безукоризненно чисто одетый, с прической в виде хохолка.

- Господин поручик, господин поручик, куда вы?

- Да с вами никакого дела нельзя иметь! - сказал Глебов.

- Вы, вероятно, от господина управляющего? - вполголоса сказал секретарь. - Он человек крутой и старых правил... Вы не беспокойтесь, мы и без него вам все дело устроим-с.

- Делайте как хотите, но я сегодня должен получить деньги. Солдаты едят гнилые сухари, лошади дохнут с голода, а тут денег не добьешься, без того чтобы...

- Тс... к чему же так? - умоляющим голосом произнес секретарь, прикладывая палец к губам. - Ну, старик наш сболтнул что-нибудь, а вы и поверили! Он, вероятно, насчет процентов?.. Поверьте, это пустяки, так просто, упрямится, потому что денег действительно мало; надо же что-нибудь придумать, чтобы не ломились в дверь.

Физиономия секретаря показалась Глебову заслуживающей доверия. Глебов последовал за ним, к его столу, окруженному приемщиками.

- Видите ли, - сказал секретарь, вдруг изменив умоляющий тон на официальный. - Сегодня вам денег, во всяком случае, дать

нельзя. Сегодня мы удовлетворяем только тех, о ком имеем предписания главнокомандующего, чтобы рассчитать их немедленно. Впрочем, позвольте мне справиться.

Глебов закусил губы, и, пока секретарь собирал какие-то справки, он, от нечего делать, стал рассматривать валявшиеся на столе ордера. Сидевший тут же писарь так углубился в переписывание бумаги, что не заметил, как Глебов, взяв лежавший сверху ордер, стал читать его.

Глебов читал и не верил своим глазам. Это был подписанный князем Меншиковым ордер о немедленной выдаче двадцати пяти тысяч рублей командиру подвижного парка на фуражное довольствие лошадей в ноябре.

"Что это значит?" - думал Глебов. - Парк не стоит даже на позиции, а светлейший велит ему выдать деньги на ноябрь. А мы находимся в виду неприятеля, терпим нужду и не удовлетворены еще за октябрь, а некоторые батареи даже за сентябрь!"

Между тем секретарь, наводя справки, разумеется, в кабинете управляющего, возвратился к своему столу.

- Объясните, пожалуйста, что это такое значит? - спросил Глебов, показывая ордер.

Секретарь покраснел как рак и, почти выхватив ордер, сказал:

- Сделайте одолжение, не трогайте бумаг. Вам сказано, завтра получите все деньги сполна, чего же больше? А ты, болван, чего глазеешь по сторонам! - прикрикнул он на писаря. - У тебя все бумаги растащат, тебе все равно, скотина!

Писарь, у которого горло было повязано засаленным платком, охриплым голосом проговорил что-то в свое извинение.

- Так попрошу вас завтра, - сказал секретарь, но, как бы подумав, прибавил: - А впрочем, вот что, господин поручик. Не придете ли ко мне сегодня пообедать?

- Что вы?.. Мне ехать пора. Какой тут обед!

- Да, может быть, тогда сообща обсудим, как вам удобнее получить деньги.

- Я желаю их получить сейчас же, без всяких обедов.

- Экий вы несговорчивый какой!.. Ну да послушайте, перестаньте упрямиться! "Ведь экая шельма, - думал секретарь. - Вероятно, себе хочет два процентика, ну, так бы и сказал сразу!" Вот что! - вдруг воскликнул секретарь, приложив палец ко лбу и как бы озаренный наитием свыше. Блестящая, скажу я вам, мысль! Пойдемте со мной к казначею, я вам, так и быть, постараюсь все уладить!

И он подхватил несколько опешившего Глебова за талию и повел его с собою в казначейскую комнату.

Казначей, пожилой уже человек, с вооруженным очками

ястребиным носом и выдающимся острым подбородком, гладко выбритым, как и его верхняя губа, сидел, погрузившись в чтение газеты. Сторожа лениво ходили взад и вперед, ожидая приказаний. В комнате стоял еще усатый штабс-капитан в серой солдатской шинели с сумкой через плечо. Писарь щелкал счетами.

- Сейчас, господа, - сказал казначей, положив газету.

- Тобольскому пехотному, кто приемщик?

- Я-с, - отозвался штабс-капитан.

- Сейчас денежки вам полностью выдам, только вы нас совсем обанкрутите... Эдакая махина деньжищ...

Глебов удивился, как все это просто и как легко совершается казавшееся ему недоступным.

- Подай-ка сюда счеты! - крикнул казначей писарю. - Я сейчас проложу. Тэ-экс. Вам по трем статьям. (Он стал считать на счетах.) Так, кажется? Всего 21 327 рублей 15 1/4 копейки. Кажется, верно. Проверьте.

Казначей вынул из ящика несколько пачек ассигнаций и, смочив слюною пальцы, стал считать, изумляя Глебова своим проворством, пересчитывал по два раза, записывал на бумажке, клал на счеты, прикладывал к пачкам, перекладывал их с места на место и, кончив, сказал штабс-капитану:

- Получайте!

Штабс-капитан сел, засучил рукава, обнаружив мохнатые руки, и стал считать.

- Верно? - спросил наконец казначей.

- Так, - проговорил штабс-капитан. - Позвольте расписаться...

Пока штабс-капитан считал, Глебов заметил, что секретарь что-то шепчет на ухо казначею, и понял, что речь идет о нем.

- Ну, теперь, артиллерия, подъезжайте, - пошутил казначей.

"Господи, как все это легко и просто!" - подумал Глебов, едва веря своим ушам.

Казначей снова вынул несколько пачек ассигнаций.

- Мне бы серебреца немножко, - рискнул заметить Глебов. - Так рублей на триста.

- Нет, нет и не будет. Какое тут серебро! Теперь во всем казначействе и на пять рублей серебра не найдется. Извольте пересчитать.

Глебов стал считать и вскоре убедился, что не хватает около тысячи шестисот рублей. Только теперь он понял, в чем дело. Ясно, что с него вычли обычный процент.

- Позвольте, здесь неверно, - сказал Глебов, посматривая на еще не удалившегося штабс-капитана.

- Как неверно? - запальчиво спросил казначей. - Вы, вероятно,

сами считать не умеете. Пусть со всего света счетчики считают - ошибки нет-с.

- В таком случае извольте вторично пересчитать при мне.

- Послушайте, - сказал казначей, перегибаясь через стол и говоря вполголоса. - Деньги верны. Ну что вы шумите? Шесть процентов - это уж обычное дело!

- Извольте, - громко сказал Глебов, заметив, что штабс-капитан замыкает сумку и собирается уходить, - я готов вам дать шесть процентов, но пожалуйте мне расписку в том, что вы их с меня удержали.

- Да что вы, в самом деле, за детей, что ли, нас принимаете? - сказал казначей. - Какая тут расписка! Дай-ка вам расписку, вы сейчас начнете кричать: грабеж, взятки! А не верите мне, спросите господина штабс-капитана: я еще мало с вас требую, другие больше дают.

- Да уж без этого нельзя, - флегматически заметил штабс-капитан и ушел, прежде чем Глебов успел ответить что-нибудь. Видя себя наедине с казначеем, секретарем и сторожами, Глебов донял, что дело дрянь, но еще старался показать вид, что не сдается.

- В таком случае я денег вовсе не беру, - сказал он.

- Как вам угодно, - сказал казначей. - Михеев! - крикнул он писарю. Выдача кончена, печатай ящик!

"Восемьсот рублей еще куда ни шло, - мелькнуло в уме у Глебова, - в крайнем случае папаша из своих денег мне вышлет".

- Как же я могу без расписки? - сказал он. - Ну а что как батарейный командир не поверит, что вы удержали, и подумает, что я взял себе?

- Как не поверит? Он обязан вам верить. Вы офицер... А не поверит сам, другого спросит, все ему то же скажут. Ну вот что - это мое последнее слово, господин поручик. Чтобы не ссориться с вами, я удерживаю ровно тысячу сумма кругленькая, а вот вам еще шестьсот, извольте считать.

Глебов махнул рукой.

- Ну ладно, - сказал он, - давайте распишусь. - Пересчитав деньги и спрятав их в сумку, Глебов поспешил уйти, не подав руки секретарю, который так и остался с протянутой рукою.

- Ведь эдакая шельма! - сказал секретарь, когда убедился в том, что Глебов не услышит. - Верно, ему на девочек понадобилось шестьсот рублей, и ведь ловко стибрил! А я бы на вашем месте, Иван Трофимыч, ни за что ему не дал. Зачем баловать? Еще перед другими хвалиться станет, а нам убыток!

- Да не стоит из-за шести сотен связываться, - оправдывался казначей.

"Ну да и ты хорош, старый колпак! - подумал секретарь, взглянув на казначея с некоторым презрением. - Эдакого молокососа не сумел прибрать к рукам!"

Заметим, что батарейный командир не только поверил Глебову, но даже удивился, что с него вычли так мало...

Получив деньги, Глебов поспешил опять в гостиницу "Золотой якорь". Войдя в бильярдную, он увидел здесь группу офицеров, игравших с азартом в бильярд и в штос. Слышались различные возгласы игроков: то гневные, то самодовольные, смотря по тому, как кому везло в игре.

Пройдя в свой номер, Глебов застал брата все еще спящим и разбудил его, предложив пообедать.

- Только вот в чем дело, Алеша... Тебе придется заплатить за меня. Поверишь ли, у меня ни гроша денег.

- Неужели тебе так мало дали из дому? - сказал старший брат, знавший, что старик отец никогда не отпустил бы своего любимца Николиньку без приличной суммы. - А я еще у тебя хотел занять несколько сотен.

- Какое! Дела папаши плоховаты, - соврал младший Глебов. - Оброк мужики плохо платят...

Юному офицеру стыдно было сознаться, что полученную им кругленькую сумму он истратил частью в Петербурге на прощальных попойках с товарищами, частью по дороге на разные пустяки, вроде приключения с станционной Дульсинеей, которой он отдал предпоследний золотой. Делать нечего. Старший Глебов должен был позаимствовать сотенку из казенных денег и занял брату, взяв с него честное слово отдать, как только получит из дому.

Младший брат дал слово, но чувствовал себя обиженным.

"Что это, в самом деле, Алеша как будто не доверяет мне" - подумал он.

Вечером старший брат отправился в город за кое-какими покупками. Младший пошел в малую, так сказать интимную, бильярдную посмотреть, что там делается. Он уже кое-что слышал о здешних забавах. Посмотреть действительно стоило. На большом ломберном столе, за которым обыкновенно резались в штос, лежала в довольно откровенной позе и в довольно легком одеянии девица, вокруг которой столпились игроки. Для удобства ей даже подложили под голову подушку. Находя, по всей вероятности, обыкновенную игру не довольно привлекательной, веселые молодые гусары и пехотинцы придумали особую игру "с девицей". Среди военных (штатских было мало) выдавался полковой адъютант, блестящий молодой человек из довольно известной фамилии Дашковых, игравший роль банкомета. Девица

заменяла стол: на ней метали банк, отпуская по этому случаю недвусмысленные остроты. Два генеральских сынка, судя по сходству родные братцы, постоянно понтировали и проигрывали.

Слышались возгласы: "Дана!", "Взяла!". Девица, по-видимому сильно уставшая, старалась казаться веселой, но иногда невольно меняла положение. Тогда раздавались крики:

- Ради Бога! Упадут карты! Как бы не спутать игры.

Почти все присутствующие успели уже порядком угоститься в буфете. Юному Глебову все это показалось весьма забавным, и он тут же спустил восемьдесят рублей из ста, данных ему братом.

Между тем внезапно не повезло и банкомету. С досады он стал метать карты так, что они поминутно падали с девицы на стол. Он проиграл последние сто рублей.

- Стойте, господа! - вдруг вскрикнул он. - А я забыл, что у меня сегодня с почты получены деньги! Васильев, друг любезный, стань на мое место, а я сейчас вернусь, и мы тут банчишко заложим! На славу!

Вскоре он возвратился с нераспечатанным пакетом. Это были четыре тысячи, только что присланные Дашкову богатой тетушкой. Достав пачки ассигнаций, Дашков повел игру с новым азартом, и юный Глебов был свидетелем, как он в течение часа проиграл все. У самого Глебова хватило благоразумия воздержаться от дальнейшей игры. Но в последовавшей затем попойке он, разумеется, принял участие и спустил последние двадцать рублей. Что там происходило, не стоит описывать. Достаточно сказать, что пили вино из большой мраморной ванны, в которую посадили ту же самую злополучную девицу, раньше заменявшую собою зеленое сукно.

Далеко за полночь младший Глебов пришел в номер брата.

- Где ты пропадал? - спросил тот. - Я по твоей милости опоздаю.

- Алеша, голубчик, ты будешь на меня сердиться: я хотел попытать счастья и проиграл сто рублей, которые занял у тебя.

Брат не на шутку рассердился и назвал его негодяем-юнкеришкой. Младший Глебов вспыхнул, но перенес обиду, так как сознавал себя кругом виноватым. Он не утерял еще способности краснеть и был хотя распутным, но, в сущности, добрым малым.

IV

Знакомство старшего Глебова с Лелей началось весьма оригинальным образом. Он явился к ней на второй день бомбардировки, так сказать, в качестве депутата от графа Татищева. После той памятной сцены, когда на глазах графа Леля ехала с отцом в шлюпке под градом неприятельских снарядов,

граф еще не видел дочери капитана. Узнав, что его товарищ по батарее Глебов послан на Килен-балку с поручением от начальства, граф просил Глебова заехать в дом капитана и узнать, что там делается. Глебов в точности исполнил поручение, увидел Лелю и заинтересовался ею, удивляясь смелости молоденькой девушки, жившей в таком опасном месте и, по-видимому, нисколько не напуганной. Капитану Глебов сразу понравился простотою своего обращения, и он повел гостя кругом дома, указывая ему на меры, принятые им самим по случаю бомбардировки. Глебов отлично видел, что одной удачно пущенной бомбы достаточно, чтобы пробить кровлю дома капитана, и дал с своей стороны несколько советов, но при этом советовал как можно скорее перевезти дочь, по крайней мере, на Северную, но Леля сказала, что теперь уже не боится и ни за что не оставит отца.

- Она у меня прекапризная девочка, - сказал капитан. - Вчера весь день гнала меня на Северную, а сегодня говорит: останемся здесь.

- Вовсе не весь день, папа, ведь я сразу согласилась ехать с вами домой.

- Неужели вы не боитесь? - спросил Глебов Лелю, невольно любуясь ею.

Он раньше никогда не видел ее и потому не знал прежней шаловливой веселой птички Лели. Она показалась Глебову серьезной, задумчивой девушкой: он любил таких.

"У нее есть что-то на душе, какое-то большое горе. Вероятно, умер кто-нибудь из ее близких", - думал он.

После балаклавского дела он уже по собственному почину навестил отставного капитана. Попал он как раз в такое время, когда капитан спал крепким сном в своей "каюте". Поэтому Глебов мог на досуге переговорить с Лелей. Капитан не проснулся и тогда, когда рев неприятельских выстрелов доказал, что бомбардировка возобновляется, хотя далеко не с прежнею силою.

От Лели Глебов узнал, что дом их пока цел и невредим; в саду упала большая бомба, но не разорвалась, и их слуга Иван успел уже благополучно вынуть из нее всю, как он выражался, "начинку".

Случайно узнав от Глебова, что он - товарищ графа, Леля вспыхнула, и, если бы Глебов хотя бы сколько-нибудь был более близок к графу, он тотчас бы угадал ее тайну. Но он всегда не ладил с графом и сторонился его, и хотя слышал от других, что за графом, как выражались офицеры, "бегает" какая-то прехорошенькая молодая девица, но никогда Глебову и в голову не приходило, что речь идет об этой, так понравившейся ему

девушке, которая казалась чистым, невинным созданием.

Быть может, будь он предупрежден на ее счет, все ее обаяние исчезло бы для него. Но, не зная об ее отношениях к графу, Глебов вспоминал о Леле даже теперь, во время поездки с братом по отвратительно грязной дороге, на обратном пути из Симферополя в Севастополь.

Ехали убийственно медленно. Младший Глебов, забыв о недавних симферопольских впечатлениях, прислушивался к отдаленным звукам канонады и только и думал что о Севастополе. Впечатления рассказов врата о наших удачах и неудачах также почти изгладились. Ему хотелось поскорее видеть все собственными глазами.

Братья приехали в Бахчисарай и остановились в грязнейшей татарской кофейне, чтобы хотя немного обогреться и обсушиться.

- Где же ханские дворцы, сады и фонтаны? - спросил младший брат.

- Это, брат Коля, все останется влево. Заезжать некогда. Отсюда заглянем в трактир подле станции, пока переложат лошадей, и закусим. Там порядочный обед, хотя чертовски дорого и подают довольно грязно.

Зашли закусить. За столом уже сидел гусарский офицер, поставивший подле себя машинку с музыкой, которую он беспрестанно заводил. Машинка играла камаринскую, потом какую-то тирольскую песню, которая, не оканчиваясь, переходила в модный патриотический романс, сменявшийся веселеньким вальсом.

Младший Глебов с аппетитом ел под музыку и совсем повеселел. Далее ехали все между горами, постоянно обгоняя бесчисленные обозы. Вот наконец и Дуванка, последняя станция перед Севастополем. Селение расположено амфитеатром: татарские постройки лепятся в лощине, за ними синеют горы. В лощине группы живописных пирамидальных тополей, а гребни холмов покрыты приземистым дубовым кустарником. Внизу, у речки сады - все больше груши и орешник.

Явственно слышались выстрелы, которые отдавались в горах постепенно замирающими раскатами...

- Теперь всего верст семь до Севастополя, - сказал старший Глебов брату.

Учащенно забилось сердце у молодого офицера. Ежеминутно он ждал, что вот-вот появится город, но видел перед собою только горы, холмы и овраги. Уже вечерело, когда наконец показалась в отдалении гора, покрытая разбросанными светлыми зданиями, и синяя бухта с чернеющими мачтами кораблей. По обеим сторонам горы, вдали направо, - море.

Вдруг на небе сверкнула огненная полоса, и несколько погодя послышался слабый звук.

- Смотри, Коля, бомба, - сказал старший Глебов брату. - Теперь они и по ночам стреляют, и даже более ночью, чем днем.

Спустились в лощину. Вот наконец и севастопольская станция - каменный дом с большими закоптелыми окнами. Собственно, под станцию была отведена одна только комната. Братья вошли туда, чтобы подождать денщика, ехавшего с вещами. В комнате царил полнейший хаос. В одном углу была ссыпана груда овса, в другом стояла кровать смотрителя; посредине вместо стола лежала доска на двух камнях. Всюду стояли и лежали ружья и полусабли. У печки сидели на постовых тюках и на мешках с овсом офицеры в шинелях, в фуражках и в папахах.

Дождавшись денщика, братья поспешили к пристани, так как после семи часов вечера не дозволялось переправляться через Главную бухту. Еще несколько огненных полос появилось на небе; младший Глебов теперь понимал их значение.

Переправившись, они отправились в казармы за Николаевскую батарею.

- Я бы хотел сейчас пойти посмотреть на бастионы, - сказал младший брат, едва успев войти в крохотную комнату, где помещался старший Глебов.

- Утро, брат, вечера мудренее, и без проводника тебя пустить нельзя: заблудишься или попадешь черт знает куда... Завтра пойдем вместе, я покажу тебе наш знаменитый четвертый бастион. Теперь там каждый день бывает очень жарко. Если меня задержат дела службы, попроси кого-либо из моряков. Предупреждаю: там сначала тебе будет несколько жутко, потом привыкнешь...

В двадцатых числах декабря в Севастополе началась зима. Был туманный, холодный день. С утра шел дождь пополам со снегом и крупою, на улицах была невообразимая грязь.

Душевное настроение Лели было мрачно, как эта суровая погода. Леля дошла до того состояния, когда начинает исчезать различие между днем и ночью, между бодрствованием и сном. Но ночам ее мучила бессонница, днем она грезила наяву. Она перестала различать часы. Дни и ночи тянулись бесконечно долго, с мучительным однообразием, не принося с собою ничего нового.

С графом она не виделась уже более недели. Но не эта разлука была главной причиной ее душевных мук. Нет, она чувствовала, что в жизни ее наступит в скором времени нечто более серьезное, более роковое, нежели самая любовь к графу. Она сознавала, что в ее организме совершается какой-то перелом,

таинственная внутренняя работа; и это сознание терзало ее, не давало ей ни минуты покоя.

Леля была в таком состоянии, что переставала иногда понимать все, происходящее вокруг нее. Иногда ей казалось, что все окружающие ее люди не люди, а какие-то куклы, автоматы, которые двигаются и говорят без всякого смысла и цели. Сама Леля также превратилась в живого автомата. Она отправлялась наливать отцу чай, разливала суп, ходила вместе с капитаном осматривать его импровизированные туры и брустверы, которыми он защищал свой домик от неприятельских снарядов, все чаще падавших в этой местности, но ко всему этому Леля относилась безучастно, на вопросы отвечала машинально и часто невпопад. Капитан дивился этой перемене, иногда умолял Лелю переехать на Северную или уехать в Николаев, так как, вероятно, у нее расстроены нервы от ежедневной пальбы. Но Леля стояла на своем, что не оставит отца и что ничего не боится, и капитан более не настаивал, твердо веря в непроницаемость своих земляных мешков и тому подобных домашних средств.

Чем более узнавала Леля графа, тем более убеждалась в необходимости отказаться от всякой мысли о счастии... "Уж лучше он был бы груб, как мой отец, - думала Леля, - лучше был бы деспотом, но он просто убийственно холоден, убийственно вежлив и даже любезен, и в то же время ни капли, ни капельки истинного чувства!" И Леля живо припомнила его слова, сказанные недавно, во время последнего их свидания в гостинице Томаса, куда перебрался граф, заняв там два номера.

"Вы отлично понимаете, - сказал ей Татищев, - что о браке между нами не может быть и речи. Я не имею предрассудков относительно тёзаШапсе, моя собственная мать была простая певица, но вы поймите, что я вас бы поставил в самое неестественное положение, если бы ввел вас в большой свет".

"Как это все пошло, плоско и даже глупо! - думала Леля, чувствуя, что слезы начинают душить ее. - Он боится, что я его скомпрометирую в свете, что я испорчу его карьеру! И когда он думает об этом?! В минуты, когда кругом всюду умирают, когда гибнут внезапно, неожиданно, когда ему самому ежеминутно угрожает смерть..."

Эта мысль заставила Лелю вздрогнуть.

"А что, если в самом деле его убьют? - подумала она. - Я не переживу этого. А он даже не интересуется моим существованием. Ни разу не заглянул; даже не прислал денщика узнать, жива ли я!"

И вдруг снова другая, еще более мучительная мысль наполнила все ее существование.

"Сказать ли наконец отцу о том, что я... Все равно он рано или поздно узнает... Чем скорее, тем лучше..."

Леля была так неопытна, что даже не знала в точности, как скоро может обнаружиться ее положение. Ей казалось, что это должно наступить очень скоро, что еще неделя, две - и все узнают... Не с кем посоветоваться, некого спросить... Говорить с Маврой или другой какой-нибудь простой бабой ей не хотелось, из знакомых дам почти все уехали, да, кроме того, ни одной из них она не доверила бы свою тайну.

- Мама, бедная мама, посоветуй твоей дочке, что ей делать! - с отчаянием сказала Леля, становясь на колени перед висевшим на стене портретом своей покойной матери. - Мама, дорогая мама! Услышь меня там, в своей могилке, скажи, что мне делать!

Ряд безотрадных воспоминаний детства, детства без присмотра любящей матери, промелькнул в ее воображении. Как всегда бывает, вспомнились вместе с важными вещами разные мелочные подробности. Злая старая тетка предстала перед нею как живая. Вспомнилась почему-то прежде всего одна детская обида. Тетка приказала девочке "стоять подле варенья", то есть следить за тем, как варится варенье. Девочка стояла очень долго, ноги у нее заболели, голова также заболела от жаркой печи, она не выдержала и села на скамью.

Тетка вошла и принялась неистово бранить Лелю, упрекая девочку в неблагодарности, в том, что она ест ее хлеб, а не хочет исполнить самого пустячного поручения. В конце концов Лелю заперли в темном холодном чулане на весь день. Там, в этом чулане, Леля испытала чувства, несколько сходные с теми, которые переживала теперь; вот почему ей и вспомнилась вся эта маленькая драма из ее детской жизни. Как тогда, так и теперь она была до глубины души возмущена человеческим бессердечием и несправедливостью. Ведь и старую тетку она сначала любила, думая, что та будет относиться к ней, как мать, но ее грубо оттолкнули; и когда она в первый. раз хотела поцеловать тетку и приласкаться к ней, старая дева сказала, чтобы Леля не смела "лизаться", так как она этого терпеть не может.

А разве граф лучше поступает с нею? Чем он отвечает ей на ее пылкую любовь, чем отплачивает ей за то, что она пожертвовала всем?..

"Ведь я не дурнушка какая-нибудь, не урод, на которого никто никогда не обращал внимания, - думала Леля. - Многим я нравилась и нравлюсь и ничем не заслужила такого пренебрежения..."

Ей вспомнился новый ее знакомый Глебов, который в последнее время часто заглядывал к ним. Леля была с ним

любезна, насколько могла быть любезной в том состоянии духа, которое овладело ею. Но все же она успела заметить, что Глебов, видимо, интересуется ею, а иногда глядит на нее пристально своими синевато-серыми, умными, добрыми глазами.

"Вот хороший, умный, образованный человек, - мысленно говорила Леля. Чем он хуже вас, граф? Я не сомневаюсь, что он почел бы за счастье, если бы я подарила его хоть одной улыбкой. А вы можете иметь все и не цените..."

Опять та, другая, мучительная мысль...

"Нет, надо кому-нибудь сказать! - решилась Леля. - Наконец, я не имею даже права! Ведь я ровно ничего не знаю, не понимаю, а от этого зависит участь не моя только, но и будущего крошечного существа. Что, если я своим неосторожным или глупым поведением принесу какой-нибудь вред этому маленькому, невинному ангельчику?.. Решено, я сегодня же во всем признаюсь отцу. Пусть зовет доктора или акушерку... Теперь мне все равно!" Щеки Лели пылали от стыда и волнения. Собравшись с духом, она уже хотела идти к отцу, но капитан предупредил ее, постучав к ней в дверь.

- Леля, Лелечка, ты одета? Можно войти?

- Конечно, одета, папа... Что такое?

- Представь, какое несчастье!

- Вы меня пугаете, папа?

Леля с некоторых пор инстинктивно боялась всякого испуга.

- Мою любимую грушу сломало ядром! Неужели ты не слышала выстрела? Сначала мне показалось, что ядро попало в стену дома.

- Я так задумалась, что ничего не слышала.

- Что ты опять так невесела? Дурная погода навела на тебя хандру?

- Нет, не погода, папа...

Леля сделала над собою усилие.

- Папа, - сказала она, - дайте мне слово, что вы выслушаете меня спокойно, я должна сказать вам важную и очень неприятную для вас вещь.

- Что такое? Теперь ты меня пугаешь. Уж не убило ли кого? Ивана или Мавру?

- Нет, папа... Я хочу вам сказать... про себя... Со мной случилось большое несчастье...

- Говори, ради всех святых, что такое?

- Я, папа, не знаю, как вам это сказать... Нет, лучше не теперь... в другой раз...

- Да перестань ломаться, Леля, говори толком. Ведь я отец, ты должна быть со мной вполне откровенна.

- Папа, если бы вы были женщина, я бы сказала вам. Это я могу сказать только женщине.

- Ну не нелепая ли ты девчонка! Виноват я, что ли, что я не баба? Не могу же я ради твоего каприза обабиться. Говори, пожалуйста, без всяких фокусов. Ты больна, что ли? Так я позову доктора. Но ведь доктор также не баба, и теперь этих господ почти невозможно достать, да это и хорошо, потому что все доктора, взятые вместе, не стоят ломаного гроша.

- Папа... - сказала Леля, опустив глаза, с грустью, но заранее решившись спокойно выслушать самые жестокие упреки. - Мне надо позвать не доктора... мне надо... акушерку, - наконец выговорила Леля, сама изумившись своей смелости.

- Что? Да ты насмехаешься надо мною, что ли - заревел капитан.

- Нет, папа, - сказала Леля, вдруг опускаясь перед отцом на колени. Делайте со мною что хотите, я не могу более скрывать... Все равно... Я скажу вам всю правду... Я больна... У меня будет скоро ребенок... Вы, вероятно, сами догадались от кого.

В первый раз капитан понял все. Он побагровел.

- Встань... Вон, вон из моего дома, негодная тварь! Ты опозорила и себя, и меня! Прочь с моих глаз! Иди... иди к твоему любовнику! Ты мне более не дочь...

Капитан выбежал из комнаты, схватившись обеими руками за свою седую голову.

Леля поспешно надела теплый бурнус, завязала в узел некоторые необходимые вещи. Простая мысль мелькнула у нее в уме. Она зашла на кухню, где Мавра усердно мешала тесто, готовя ее любимый пирог.

- Мавра, ты не знаешь, где живет акушерка Ирина, забыла, как ее по отечеству... Знаю, что где-то на Корабельной.

- Как не знать, барышня... Ее домишко-то вчера разбило и зажгло бомбой, сгорел как есть дотла... Теперь живет на фатере у моей знакомой старухи безногой Фоминишны...

- Ах, это у той, что разбита параличом? Она, кажется, тетка нашего Ивана.

- Тетка, родная тетка. Отца его, значит, сестра родная. Так вот, у Фоминишны.

- Как же туда пройти?

Мавра объяснила, прибавив барышне, что ходить туда надо осторожно, когда стреляют, так как в тех местах многие матросские дома насквозь изрешетило ядрами.

Пальбы не было слышно, и Леля, мало, впрочем, думавшая об этом обстоятельстве, отправилась куда ей было указано, сказав Мавре, что к обеду едва ли вернется домой. Узелок она захватила

с собою и перед уходом написала отцу записку, которую передала Мавре.

VI

Зима с 1854-го на 1855 год была для Севастополя необычайно сурова. Перед новым годом были порядочные морозы.

Но иногда южная природа брала свое, и вдруг наступали теплые, почти весенние дни.

В один из таких ясных дней к Северному укреплению приближался вновь прибывший с Бельбекских высот полк, назначенный на смену другому полку, стоявшему на знаменитом четвертом бастионе и потерпевшему громадную убыль в людях.

Полк медленно двигался по грязной дороге. Уже смеркалось, когда показались причудливые гребни севастопольских холмов, убеленные дымом выстрелов. Все ярче блистали огненные языки орудий и красивые линии, означавшие полет бомб. Перестрелка была довольно сильная.

В полутьме полк вступил в Северное укрепление, среди которого был заметен длинный, освещенный огнями, парусинный шатер. Оттуда гремел хор песенников-моряков.

Солдаты, составив ружья в козлы и сбросив ранцы, разбежались в разные стороны.

Большинство офицеров, несмотря на усталость, высыпали на валы укрепления. Бомбы то и дело бороздили темно-синее небо, и казалось, что по небу беспрестанно проносились падающие звезды.

Шатер, который, как оказалось, принадлежал маркитанту, носил громкое название: "Одесская гостиница".

Полковой адъютант, тот самый офицер Дашков, который проиграл в Симферополе присланные ему тетушкой четыре тысячи, один из первых вошел в шатер. На полу, у самой парусинной стенки, стояли бочонки с вином, маслом, икрой и селедками, на них банки с огурцами и грибами, на прилавке стояли громадные ящики с конфектами, сигарами и сухарями, под потолком качалась на веревках сушеная рыба, висели колбасы и харьковские крендели.

Хозяин палатки, известный всему Севастополю военный маркитант, в шинели, крест-накрест подпоясанной шарфом, и в теплом ватном картузе, с толстой кожаной сумкой, перекинутой через плечо, подошел к адъютанту, тотчас сообразив, что это выгодный посетитель, и предложил сигар и чаю.

- Чай у меня настоящий московский-с! - сказал он с плутоватой самодовольной улыбкой.

- Ну, давайте, что ли, московского чаю, - сказал Дашков, подходя к задней стенке палатки, где стояли два небольших

столика - по обе стороны корзины, в которой виднелись куры.

За одним из столиков сидел артиллерист и уже пил чай.

- И сигар десяток, если не слишком воняют, - сказал Дашков.

- Что вы, помилуйте-с! - обиделся маркитант. - Самый тонкий аромат-с! У Томаса и у Шнейдера таких не найдете-с.

Расторопный приказчик живо принес сигары. Дашков сел за столик против артиллериста и, всмотревшись в его лицо, вдруг вскрикнул:

- Граф Татищев! Какими судьбами? Неужели вы здесь, в Севастополе?

- Я здесь с начала осады. А вы как сюда попали? Я был уверен, что вы на Кавказе.

- Переведен сюда, и теперь полковым адъютантом... А интересно у вас тут, в Севастополе... Что, чай скоро будет? - спросил он сновавшего по палатке приказчика.

- Сию минуту-с.

- Чай здесь очень порядочный, - заметил Татищев. - Вода лучшая в городе. С тех пор как неприятель отвел воду, у нас в Севастополе довольствуются колодцами, а здесь берут из Голландии: солдаты носят бочонками, за что маркитант им дает по чарке водки.

- Ну как живется вам здесь?

- Скука смертная, - ответил, зевнув, граф. - Я служу на самом скучном месте, в Николаевской батарее. Только и бывает развлечение, когда пойдешь на бастионы или отпросишься в охотники... Несносная казарменная жизнь... Все, что пишут в газетах о прелестях нашей жизни, - сущий вздор. Иногда такая находит апатия, что, если бы я был англичанином, я бы давно застрелился... Вот им весело, - сказал граф, указав на группу матросов, стоявших в другом конце палатки, которые, не стесняясь присутствием офицеров, снова хором грянули разухабистую матросскую песню. Солдаты подходили к матросам, расспрашивая их о Севастополе. Те принимали их радушно, по-флотски, объясняли им, куда идти, и по-своему разговаривали об осаде.

- А я, граф, сказать правду, приехал сюда, чтобы избавиться, от скуки... Хочется сильных ощущений, - сказал Дашков. - Надоела вся эта жизненная мелочь и пошлость... Неужели же и здесь можно скучать?..

- Да вот увидите... Ко всему привыкаешь, все приедается... На первых порах, может быть, здешняя жизнь покажется вам очень веселою и своеобразною. Впрочем, я говорю так оттого, что имел несчастье быть здесь слишком долго. Для вас Севастополь, конечно, будет иметь прелесть новизны... Для меня сегодня была

развлечением поездка в лагерь, куда меня послали с поручением к светлейшему. Севастополь мне положительно опротивел... Главное, досадно, что тянется одна и та же история. Хотя бы новая бомбардировка, я уже не говорю о штурме, которого все мы дожидаемся... Да вот завтра предстоит маленькое развлечение: командир Константиновской батареи, отличный музыкант, вздумал устроить музыкальный вечер; я в числе приглашенных. Будут и дамы.

- Как, неужели у вас в Севастополе есть еще дамы?

- Есть, и даже очень хорошенькие, и не только дамы, но и девицы.. Если у вас есть время и охота, можете поволочиться, а мне, признаться, и это надоело, - сказал граф. - Однако, знаете ли, к переправе мы уже не поспеем; нам с вами придется отправиться отсюда на станцию и переночевать там.

Татищев с Дашковым, напившись чаю, отправились на станцию, где им пришлось спать на мешках с овсом. До рассвета Дашков проснулся от сильной стрельбы и разбудил графа.

- Что это значит? - спросил он.

- А? - лениво протянул граф. - Что? Стреляют? Да, действительно, слишком рано вздумали. Брр, как холодно!

Погода опять испортилась: шел мелкий дождь. Они встали и вышли за ворота, где уже столпился народ. Солдаты и матросы делали глубокомысленные замечания.

- Ишь ты расходился! То было смолк, а то опять! Давно уж так не палил! - сказал один из матросов.

Еще не вполне рассвело. Бомбы огненными полосами резали небо, иногда разрываясь в воздухе. Было заметно, как, достигнув известной высоты, они на мгновение останавливались и потом падали почти отвесно вниз. Левее слышалась, как мелкая барабанная дробь, частая ружейная перестрелка.

- Пойдем еще спать, - сказал Татищев и вошел опять в дом.

Дашков постоял немного, слушая, как матросы объясняли что-то вновь прибывшим солдатам.

- Вон, вишь ты, братцы, откуда он вчерась из маркелы пущал бонбы. Нониче тоже жарко нашим будет.

- Погоди, вон мы на пароход станем, он и почнет нас жарить, - сказал другой.

- Толкуй! Небось на наш пароход оттуда не долетит.

- Ядро не долетит. Ну а как бонба?

- Ну, нешто бонба!

Светало. Мало-помалу бухта принимала оживленный вид. На свинцово-серой поверхности моря, среди черневших, хмурых кораблей, слышались сигнальные свистки моряков. Мелкие суда всевозможных наименований: катера, ялики, лодки и гички -

сновали, перегоняя друг друга, по различным направлениям. Задымились пароходы, вспенивая воду и таща за собою на буксире неуклюжие шаланды, нагруженные турами - плетеными корзинами, набитыми землею.

- На Графскую! На Графскую! - кричали пассажиры, сновавшие у пристани.

- Пожалуйте, ваше благородие! - кричали матросы.

Граф с Дашковым поспешили сесть в ялик.

Солдаты стояли у пристани, ожидая команды, и осматривались кругом. Окружавшая их местность представляла сходство с громадным фабричным двором. В одном месте были навалены огромные кучи каменного угля, в другом валялись кули сухарей. Всюду виднелись жилые землянки, из которых валил дым, низко стелившийся по случаю пасмурной погоды. У самого берега был барак для мертвецов, доставляемых сюда с Южной стороны для омовения и погребения. Огромные пирамиды бомб, гранат и ядер слабо блестели в утреннем полусвете. Всюду сновали матросы, казаки, иногда попадались черноморские пластуны в своих странных, страшно оборванных одеяниях; слышался говор, крики, перекликания. В воздухе отдавало запахом каменного угля и тютюна.

Когда Татищев с Дашковым приближались уже в своем ялике к Павловской батарее, к Северной пристани причалил дежурный пароход. По команде "В ружье!" солдаты засуетились и, крестясь, поспешили на пароход.

Граф с Дашковым были уже на пристани, которая, несмотря на раннюю пору, была запружена народом. Близ пирамиды красиво сложенных ядер стояли бабы, выкликавшие: "Яблоки, крымские яблоки! Свеженькие яички, яйца свежие, яйца!" Тут же продавали сбитень мужики, стоявшие с самоварами. Подбежали носильщики. Граф велел нести вещи по Екатерининской, к Томасу, куда предложил заехать и Дашкову.

- Вчера там был еще свободный номер. Если его не заняли, советую нанять, а в крайнем случае поместитесь со мною. Я прежде занимал два, а теперь должен был уступить один моей знакомой замужней даме, родственнице, которая по некоторым обстоятельствам не могла выехать из Севастополя.

Сказав это, граф вспомнил, что ведь, кажется, Дашков с нею знаком.

"Как это выйдет глупо!" - подумал он.

Они пошли по Екатерининской, направо показался красивый дом Благородного собрания.

- Здесь перевязочный пункт, - пояснил граф своему спутнику.

На площади перед этим домом стояли пушки и валялись кучи

ядер. Далее на возвышении виднелся бульвар Казарского{116} с чугунным памятником, на белом пьедестале; показались собор и недоконченная церковь; поперек улицы была устроена баррикада из белого камня. На улице попадались военные, все в шинелях, фуражках и высоких сапогах; невольно поражало отсутствие киверов и эполет. Некоторые здания Екатерининской улицы были покинуты обитателями. У иного дома был отбит угол, в другом торчали ядра и осколки бомб. Вообще, в начале улицы еще не было картины полного разрушения, и оставались еще многие магазины.

- Вот здесь была прежде моя квартира, - сказал граф, указывая на дом, во многих местах пробуравленный ракетами и в котором не оставалось ни одного цельного стекла. - Представьте, всю мою мебель, зеркала и фортепиано исковеркала проклятая ракета, и я должен был перебраться к Томасу. Мой камердинер Матвей в отчаянии и клянет день и час, когда мы приехали в Севастополь.

Проходя мимо двухэтажного дома, Дашков обратил внимание на стоявшую на балконе старуху, которая плакала, закрыв платком лицо. Кроме нее, в доме, казалось, не было ни одного живого существа.

Войдя в гостиницу Томаса, узнали, что свободный номер уже занят, и Дашков до приискания квартиры остановился у Татищева. В коридоре и в ресторане Дашков не видел ни одной женщины; тем более заинтересовали его слова Татищева о даме, живущей в соседнем номере. Но ему хотелось поскорее посмотреть бастионы, и он вскоре забыл обо всем остальном и отправился рыскать по городу.

VII

Когда Дашков ушел, Татищев с помощью поместившегося в чулане камердинера Матвея (спать вместе с половыми Матвей не захотел из важности) долго умывался, привел в порядок свой туалет, тщательно вычистил и подпилил ногти и тогда только постучал в соседний номер.

- Уоиз роиуег еп!гег (можете войти), - послышался приятный женский голос.

Граф вошел. На кресле перед небольшим, но хорошим и, без сомнения, не трактирным зеркалом сидела молодая женщина среднего роста, полная, брюнетка с матовым цветом лица и пухлыми, чувственными губками. Она была в утреннем неглиже. По манерам этой дамы было видно, что она принадлежит к высшему кругу общества или, по крайней мере, долго вращалась в нем.

- Как ты себя чувствуешь сегодня, Лиза? - сказал граф, целуя

ее руку. Я воспользовался поездкой к светлейшему и наконец привез все твои вещи. Теперь можно будет устроить тебя удобнее.

- Я все еще не могу опомниться от этого страшного путешествия, - томно сказала княгиня Бетси - это была она, старинная петербургская любовь графа. - Здешние опасности меня не страшат, мой милый, ведь я буду всегда с тобою... Я буду бояться не за себя, а за тебя.

Чтобы понять возможность появления княгини в Севастополе, надо возвратиться несколько назад.

В начале ноября граф получил из Харькова от княгини письмо такого содержания: "Наконец, мой дорогой друг, я достигла желанной свободы! Из предыдущего письма моего ты знаешь, что я была больна, что жизнь моя была в опасности и что все мои страдания окончились появлением на свет несчастного недоразвитого существа, которому не суждено было жить... Он был такой маленький, такой жалкий, пальчики были без ноготков; он не прожил, бедняжка, и двух дней. Мой тюремщик заботился не столько обо мне и об этой несчастной крошке, сколько о том, что скажет свет. Когда все кончилось, он формально (ты подумай только: формально! - это его собственное выражение) объявил мне, что после такого "скандала" (по его мнению, это только скандал, не больше) ему ничего не остается, как затеять со мною бракоразводный процесс. Я решилась не дожидаться выполнения этой угрозы, заложила все, что у меня было своего, не даренного им, и, взяв с собою лишь самое необходимое, решила ехать к тебе... Если у тебя хватит духу, выгоняй меня... Я теперь в Харькове и скоро буду в Одессе, а оттуда - к тебе, мой бесценный друг! Чтобы не скомпрометировать тебя, я буду выдавать себя за сестру милосердия и за твою родственницу. Кстати, знаешь ли, по почину великой княгини Елены Павловны к вам в Севастополь вскоре приедут настоящие сестры милосердия. Тогда и я постараюсь попасть в их общину, и если стесню тебя, то найду где-нибудь пристанище. Я хочу одного: видеть тебя каждый день, хоть в течение пяти минут... Ты не можешь себе представить, какие ужасы иногда приходят мне в голову... До свидания, мой дорогой, мой единственный друг".

Почти через месяц по получении этого письма, войдя в свой номер, граф Татищев застал там княгиню Бетси, или Лизу, как она просила называть себя с этих пор. С нею была ее камеристка Маша, которую Бетси тотчас выслала в коридор. Но возвратимся к рассказу.

- Знаешь, Лиза, мы скоро переберемся отсюда, - сказал граф. - Здесь становится небезопасно, а я вовсе не хочу подвергать тебя

опасностям.

- А ты сам разве не подвергаешься им ежеминутно? Нет, я, право, не боюсь...

- Ты, конечно, поедешь со мною сегодня на вечер в Константиновскую батарею? Там будет весело, - сказал граф. - Музыка, танцы; ты споешь что-нибудь.

- Нет, я не поеду и тебя не пущу... Лучше останемся вдвоем, если у тебя есть время, свободное от службы. Я так мало и так редко вижу тебя.

- Вдвоем... Пожалуйста... Что же мы будем делать? Вдвоем наскучит сидеть, Лиза... Мне и без того не весело...

- Значит, ты меня не любишь, если можешь со мной скучать... В прежнее время ты мне не говорил, что тебе со мною скучно...

- В прежнее время... Да, в Петербурге, где все эти глупые светские удовольствия мне надоели до тошноты... Но здесь я рад малейшему развлечению. Ты эгоистка, думаешь только о себе.

У княгини блеснули слезы на глазах. Впрочем, она умела вызывать слезы по произволу.

- Я здесь всего несколько дней, и вы уже начали мучить меня, - сказала она. - Я не выношу таких мещанских упреков. Лучше просто скажите мне, что вы меня не любите, и я не стану тяготить вас своим присутствием...

- К чему эти сцены?.. - сказал граф, пожав плечами. - Я люблю вас, но из этого не следует, что должен лишать себя самых невинных развлечений. Я люблю музыку и давно не слышал ничего, кроме музыки пуль и ядер.

- Я удивляюсь вашим новым вкусам, - сказала Бетси. - Предпочесть моему обществу какой-то солдатский концерт...

- Ваше сиятельство, письмо! - раздался из коридора фамильярный голос Матвея. Матвей всегда был фамильярен, когда знал, что граф чувствует себя неловко.

Граф вышел в коридор.

Камердинер подал письмо за неимением графского подноса, погибшего на прежней квартире графа, на трактирном размалеванном подносе.

Граф взял письмо и, войдя опять к княгине, хотел сунуть его в карман.

- От кого это? - спросила Бетси. - Почерк, кажется, женский. Помните, граф, я ревнива и не позволю вам переписываться с женщинами.

- Должно быть, от управляющего, - сказал граф, но Бетси уже выхватила письмо.

- Прошу тебя, отдай письмо, - сказал граф, слегка побледнев. - Я не люблю, когда вмешиваются в мои дела.

- А я прошу вас сказать мне, кто автор этого письма. Вы смущены, граф? Вам стыдно, что вы попались, как мальчик?

- Ты ошибаешься. Чтобы доказать тебе противное, я даю тебе слово, что по прочтении письма передам его в твое полное владение.

- Вы даете честное слово?

- Честное слово.

Бетси отдала письмо. Граф с притворным хладнокровием распечатал его.

"Бетси поможет мне покончить с этой глупой комедией, - думал он. - Она умная женщина и, наверное, придумает умный исход", Граф ожидал прочесть в письме упреки, слова любви и мольбы о примирении. Он был вполне уверен, что дикарка Леля все еще находится в полной его власти и что по одному его слову она была бы здесь, у ног его. Граф старался сообразить, что он скажет, чтобы оправдаться перед Бетси, и вместе с тем ему хотелось похвастать перед княгиней своим умением одерживать победы. "Этим я только возвышу свою цену в ее глазах", - думал он. Но Татищев прочел совсем не то, чего ожидал. "Вы предлагаете мне денежную помощь, - писала Леля. - Я с презрением отвергаю это предложение. Я искала вашей любви и, убедившись в том, что я для вас не более как игрушка, требовала, по крайней мере, вашего имени, а вы предлагаете мне денег! Так поступают только низкие и подлые люди. Вы думали воспользоваться моей крайностью, тем, что родной отец выгнал меня из дому. Вы ошиблись. Свет не без добрых людей. Здесь поблизости оказалась старушка, которая когда-то нянчила меня. Она мне помогает, и, когда я буду в состоянии работать, я возвращу ей долг... Прощайте, граф. Будьте счастливы, я не желаю вам зла, скажу даже более, хотя это вам покажется странным: я от души презираю вас и в то же время люблю вас. Прощайте навсегда! Леля С."

- Где же ваше обещание? - нетерпеливо сказала Бетси. - Дайте мне письмо!

- Успокойся, это просто шутливое послание одного моего товарища, сказал граф, к которому, несмотря на сильное внутреннее волнение, уже возвратилось его самообладание. - Если хочешь, я прочитаю тебе вслух...

Тон его звучал такой неподдельной искренностью, что Бетси поверила. Граф прочел вслух сочиненное им тут же письмо юмористического содержания. Бетси смеялась, и граф вторил ей, хотя смех его звучал как-то неестественно.

Весь день граф не отлучался из дому, так как в этот день пальба, против ожидания, почти стихла и его никуда не

требовали. Он был так нежен и ласков с Бетси, что она охотно уступила его желанию, и часов в пять пополудни они отправились на Константиновскую батарею, где веселились до рассвета. Командир батареи устроил импровизированный оркестр: все музыкальные таланты батареи были налицо, и многие посторонние виртуозы поддержали их. В каземате, где стояла пушка, попытались даже танцевать. Кроме Бетси было еще несколько дам, большею частью жен офицеров. Граф рекомендовал всем Бетси как свою замужнюю кузину. Предварительно он уверился, что на вечеринке не будет никого из его петербургских знакомых, которые могли бы знать княгиню. Он отлично знал, что обман рано или поздно обнаружится, так как Севастополь кишел петербургскими аристократами, и все же считал удобным скрывать истину, пока это было возможно.

VIII

В одном из самых трущобных мест на Корабельной слободке находился домик, принадлежавший разбитой параличом старухе Фоминишне. Ей было уже за семьдесят лет. В этом домике, всего-навсего состоявшем из двух комнат и кухни, в душной, тесной комнатке помещалась акушерка Ирина Петровна, и с нею жила Леля со дня удаления из отцовского дома.

В тот день, когда Леля ушла от отца, зайдя к акушерке, не застав ее дома и оставив у нее узелок с вещами, она отправилась в гостиницу Томаса. Графа также не было дома. Она потребовала у камердинера Матвея, нахально осмотревшего ее с ног до головы, перо, чернил и бумаги и, зайдя в комнату графа, написала ему письмо, полное любви, в котором умоляла его принять ее к себе, так как отец прогнал ее. Не получив ответа и тревожась за графа, Леля пришла вторично вечером. Матвей вручил ей записку лаконического содержания: "Это невозможно, вы погубите себя и меня. Отец погорячился, но простит вас".

Леля вторично написала письмо, в котором писала, что ни за что не вернется к отцу. На это письмо также не было ответа, а через несколько дней какой-то казак принес Леле пакет, в котором она нашла письмо и деньги. Письмо было такого содержания: "Если отец решительно отказывается от вас, я вынужден поддержать вас материально; но о ваших планах не может быть и речи, так как я никогда не любил и не люблю вас настолько, чтобы принести вам в жертву всю мою будущность".

Деньги Леля, конечно, возвратила по принадлежности; ответ ее на письмо графа уже сообщен выше.

С тех пор Леля окончательно примирилась с жизнью в трущобном домике, но ее грызла мысль, что она составляет тяжелое бремя для приютившей ее акушерки. Теперь только она

вспомнила о своей старушке няне. Наведя справки, она узнала, что няня еще жива и, мало того, живет здесь же, на Корабельной, в домишке своего сына матроса Федора, подобно знаменитому Петру Кошке{117} славившегося за ловкость, с которою он подкрадывался к неприятельским аванпостам. У старушки водились денежки, но пьяница сын часто пропивал их, и она копила тайком от него. Теперь старуха заняла Леле из своего сбережения такую сумму, что обеспечила ее содержание почти до июля месяца, когда, по предположению акушерки, Леля должна была родить.

По-прежнему однообразно и скучно проходила жизнь Лели с тою только разницею, что теперь она жила нуждаясь и среди нужды и, никуда не показываясь, находилась исключительно в обществе акушерки, няни, разбитой параличом старухи - хозяйки дома и ее дочери, богомольной старой девы, мечтавшей поступить в монастырь, но все почему-то откладывавшей исполнение своего намерения.

Так проводила Леля дни и ночи, смотря на вечно невозмутимую Ирину Петровну, женщину лет за сорок, которая в ожидании, пока ее позовут к какой-нибудь рожающей матроске, сидит по целым часам у крохотного окошка, слабо освещающего душную комнатку, и вяжет чулок или шьет приданое для будущего ребенка Лели.

- Ирина Петровна, да ведь это кукольные рубашечки, - скажет иногда Леля, -г- Разве ребенок бывает такой маленький?

И чувство умиления проникает в ее душу при мысли об этом будущем крохотном существе. Леля даже забывает свой стыд и начинает мириться со своим положением.

Но бывают минуты, когда краска покрывает ее впалые, исхудавшие щеки, когда она проклинает и себя, и графа, и отца, и даже ни в чем не повинное, еще не явившееся на свет существо. Леля плачет, мечется на своей постели, ее мучит бессонница, или, наоборот, она ложится в постель днем.

- А вы напрасно лежите, вам надо побольше ходить, - скажет невозмутимая Ирина Петровна.

Леля притворяется, что спит, и от нечего делать прислушивается, что делается за тонкой деревянной стеною, отделяющей их комнату от помещения хозяйки.

Разбитая параличом Фоминишна, по обыкновению, лежит в постели, где она проводит не только дни, но и ночи, и бранится со своей дочерью. Фоминишна из полуобразованных, она вдова дьякона.

- Я знаю, - шепелявит старуха, - знаю, чего тебе хочется. Ты рада уложить меня в гроб... А вот я назло тебе и не умру! Буду жить, понимаешь ли ты, буду жить! Вот не хочу умирать, и конец...

- Да чего вы привязались, маменька? - огрызается дочь. - Разве я вам что-нибудь говорю?

- Я тебе говорю, а ты слушать должна! Я знаю, что я у тебя сижу бельмом на глазу! Пока я жива, ты любовников не можешь в дом водить... В монастырь собираешься, а на уме одна мерзость! С кем ты стояла сегодня у ворот?..

Леля не могла более слушать. Она отвернулась от стенки и раскрыла глаза; Ирина Петровна все вязала чулок.

- Ирина Петровна! Мне плакать, мне реветь хочется!

- Ну и ревите, - обычным невозмутимым тоном заявляла Ирина Петровна.

- Ирина Петровна, я хочу видеть его, так более нельзя! Я умру от тоски. Что, если он убит?

- Убит, так похоронят. Сами вы называете его негодяем. Ну, одним негодяем станет меньше на свете.

- Ирина Петровна, мамочка, голубушка, что же мне делать, если я все-таки люблю его!

- Э, да выбросьте из головы весь этот вздор! Вам о себе, о будущем ребенке подумать надо, а она какими-то глупостями занимается!

- Ирина Петровна, голубушка, вам легко говорить! Вы, вероятно, всегда считали любовь глупостью... Вы никогда, должно быть, не были влюблены.

- А почему вы так думаете, ветреница вы эдакая? Вы на меня смотрите, что мне под пятьдесят лет, так думаете, что у меня и молодости никогда не было?

Непривычные для слуха ноты зазвучали в словах Ирины Петровны. Леля вскочила, как была, полуодетая и бросилась целовать акушерку.

- Душечка, извините, я такая глупая! Душечка, расскажите, кого же вы любили? Это так интересно...

Ирина Петровна долго отнекивалась, но Леля приставала, и она наконец рассказала немногосложную историю своей любви.

Она была дочерью довольно крупного провинциального чиновника. В нее влюбился молодой человек, подчиненный ее отца, скромный, тихий, работящий, бедняк, не имевший ни гроша за душою. Узнав об этом, отец пришел в крайний гнев, выгнал ее возлюбленного из своего дома и, сверх того, лишил его места. С отчаяния молодой человек спился, совершенно пал, шлялся по трактирам и наконец умер в больнице от белой горячки. Конец этой житейской повести оказался далеко не поэтичным, но Леля была глубоко растрогана не столько судьбою неизвестного ей молодого человека, сколько тем волнением, которое овладело Ириной Петровной, когда она теперь, после стольких лет, говорила о любимом человеке. Ирина Петровна с этого дня стала в глазах Лели совсем другою.

- И с тех пор вы никогда никого не любили? - спросила Леля.

- Никогда никого. Я осталась верна памяти Дмитрия... Хотите, я вам покажу медальон с его волосами: у него были чудные каштановые волосы.

Ирина Петровна достала шкатулку, первую вещь, которую она бросилась спасать во время пожара, охватившего домик, где она жила прежде, и показала Леле медальон.

Участие к чужому, хотя и давнему горю на минуту отвлекло Лелю от ее собственных терзаний. Она как-то лучше почувствовала себя и даже по настоянию Ирины Петровны оделась потеплее и вышла погулять.

Было пять градусов мороза, и лежал снег, какого давно не видели в Севастополе. По случаю сурового времени года осадные работы союзников шли довольно вяло, и в этот день перестрелка была самая незначительная; усердно громили лишь все тот же четвертый бастион; на Корабельную редко залетали снаряды.

Идя по кривой, узкой улице, обстроенной матросскими домиками, из которых многие жестоко пострадали в первую бомбардировку, Леля увидела две группы матросских мальчишек и девчонок, образовавшие, по-видимому, два враждебных лагеря, между которыми происходила ожесточенная борьба снежками.

Снежки, по-видимому, изображали ядра. Леля остановилась в отдалении, боясь, чтобы в нее не попал один из этих снарядов. Вдруг она услышала подобие слабого взрыва; один из мальчишек упал, крича благим матом, другие бросились к нему, крича:

- Егорка, Егорка ранен!

И в то же время проходивший мимо флотский офицер прикрикнул:

- Ах вы негодяи! Чем забавляться вздумали!

Ребята живо разбежались, не исключая Егорки, у которого руки были в крови. Оказалось, что мальчишки умудрились начинить снежок порохом, который зажгли при помощи трута. Импровизированную бомбу разорвало, и смерзшиеся кусочки снега поранили одного из мальчишек.

- Кого я вижу? - раздался молодой звучный голос флотского офицера. Это вы, Леля?

- Сережа Лихачев? - вскрикнула Леля.

- Кузина, вы как сюда попали? Неужели ваш папаша решился оставить свой дом?

- Нет, я здесь одна... Отец боялся за меня и почти насильно заставил меня жить здесь.

- Но ведь и здесь далеко не безопасно. И притом жить в такой трущобе? Отчего бы вам не уехать в Николаев? Где вы живете? Я вас столько времени не видел! Знаете, вами чрезвычайно интересуется один мой новый знакомый артиллерист Алексей Глебов, вы с ним познакомились также недавно... Он одной батареи с Татищевым. Умолял меня узнать, где вы. Я сегодня, пользуясь праздничным днем, хотел идти к вам на Килен-балку. А я, как видите, уже лейтенант. Теперь у нас чины идут не по дням, а по часам! Недавно государь приказал считать каждый месяц, проведенный в Севастополе, за год - и вот я уже лейтенант! Скажите, вы в переписке с Минденами? О них ни слуху ни духу. Глебов уверяет, что слышал их фамилию в Симферополе...

Леля шла рядом с Лихачевым, слушая его болтовню. Чем-то здоровым, хорошим повеяло на нее. Она давно никого не видела из знакомых.

"Но как я приму его у себя? - думала она. - Пожалуй, догадается, хотя по моей талии еще никак нельзя судить".

- Проводите меня, я хочу зайти к моей старушке няне, - сказала Леля. Она живет здесь неподалеку. Я вам скажу мой адрес, только меня трудно застать дома, я часто бываю в госпитале, - солгала Леля. - Хочу присмотреться, может быть, окажусь годною в сестры милосердия, хотя у меня очень нетерпеливый характер.

Сказав это, Леля устыдилась своей новой лжи и подумала:

"А в самом деле, не попробовать ли мне, вместо того чтобы хандрить и сидеть сложа руки? Но не может ли это вредно отозваться на ребенке? Надо спросить Ирину Петровну".

Лихачев проводил кузину к маленькой, полуразвалившейся избушке с разбитою ядром трубою. Здесь жила старушка няня, и, поблагодарив Лихачева, Леля вошла туда, не приглашая кузена следовать за собою. Он помялся на одном месте и, спросив на прощание ее адрес, ушел к товарищу обедать, но, не застав его дома, отправился в город, в гостиницу Томаса, и спросил в ресторане котлеток. Обеденный зал был битком набит народом, почти исключительно офицерами. Подавали убийственно медленно. Лихачев увидел за одним из отдельных столиков старшего Глебова и подсел к нему. В нескольких шагах от них, за другим столом сидел адъютант Дашков с другим адъютантом. Это был некий Гроссу, состоявший при недавно прибывшем в Севастополь представителе одной из известнейших в России княжеских фамилий.

- Представьте, - говорил Гроссу, - сегодня князь получает поздравительную эстафету из Петербурга от одного значительного лица. Читает: "Помни, друг Виктор, день двадцатого декабря". Князь ломает голову. Что такое случилось 20 декабря? В прошлом году в этот день, кажется, не было ничего особенного. Наконец вспомнил и, хлопнув себя рукою по лбу, вскрикнул: "Ах черт возьми, вспомнил! Да ведь мы с ним вместе в этот день пьянствовали!"

Дашков расхохотался, но видно было, что он смеется не вполне искренне. Гроссу, напротив того, весь трясся от смеха под впечатлением собственного рассказа.

Глебов с Лихачевым говорили о совсем других предметах.

- Ну что у вас на четвертом бастионе? - спрашивал Глебов.

- Ничего... Прежде была грязь невылазная, а теперь уже несколько дней то снег, то мороз. Все же немного обсушились. Вчера к нам на бастион опять явился перебежчик. Прежде передавались больше немцы, насильно завербованные во Франции, а теперь пошли и англичане, впрочем больше ирландцы. Вчерашний ирландец говорил нам: "Наши лорды после дела под Бурлюком (так они называют алминское дело) обещали нам, что на следующее воскресенье мы будем ночевать в Севастополе, а теперь ночуют здесь только те, кто добровольно вам передастся". Жаловался, что у них плохо кормят, а от стужи деваться некуда. Много пострадал их лагерь от ноябрьской бури: говорит, у них снесло чуть не все палатки, а кораблей погибло больше, чем думали у нас. Говорит также, что желающих перейти к русским очень много, но только трудно выбраться из своего

лагеря: кругом цепь и строгие пикеты!

- Да, - сказал задумчиво Глебов. - Наполеон Третий покается в своем безумии... Много положат они здесь костей, прежде чем мы отдадим им Севастополь!

- Неужели вы думаете, что они когда-нибудь возьмут Севастополь? спросил Лихачев. - Я даже не допускаю этой мысли.

- И я не допускаю, - сказал Глебов, - но вот это мне также противно. Он ткнул пальцем в лежавший перед ним номер газеты. - Хорошо нашим господам патриотам кричать там, сидя в Петербурге. Ах, кстати, я вам расскажу курьез. Недавно был я на обеде у генерала Семякина{118}, он хорошо знает моего отца и пригласил меня. Знаете, он совсем почти оглох после балаклавского дела его контузило тогда в голову, - но стал еще разговорчивее прежнего. Генерал рассказывал за обедом, что какой-то купчина прислал ему в подарок русский полушубок, на котором вышита надпись: "Храброму герою и генералу Семякину от купца и кавалера такого-то". После обеда генерал показал нам полушубок и говорит: вот побольше бы, господа, таких вещественных проявлений признательности; это, по крайней мере, годится для зимнего времени, а то присылают черт знает что (и назвал несколько глупых приношений). Потом говорит: "Вот хотите, господа, я покажу вам, каким скоморохом меня изобразил один мой добрый приятель? - И показал картинку, на которой художник изобразил генерала в балаклавском деле с саблею в зубах. - Отродясь, говорят, я так не ездил".

В это время Дашков и молдаванин Гроссу продолжали свой разговор о симферопольских феях.

- Князь Виктор все хлопотал, чтобы светлейший позволил дать экипажей для доставки некоторых из этих птичек сюда, - говорил Гроссу. - Я, как заведующий транспортной частью, предложил свои услуги. Светлейший сначала было упрямился, а потом согласился, что офицерам необходимо некоторое развлечение. Я, знаете, мастер по части выискивания этого товара.

Дашков слушал из любопытства, но с омерзением думал:

"Неужели этот... носит мундир русского офицера да еще состоит при таком милом, светском человеке, каков князь Виктор, всеобщий любимец?"

- Да, батюшка, я на все руки мастер, недаром служил когда-то по особым поручениям... - нахально хвастал Гроссу. - А кстати, видели вы когда-нибудь прежнюю любовницу графа Татищева?

При имени своего сослуживца Глебов стал прислушиваться.

- Нет, ведь я еще недавно здесь. Граф, говорят, в Петербурге был в связи с княгиней Бельской... Это на него похоже. Я

несколько отстал от петербургских сплетен...

- Ах, это целая история... А знаете, теперь с графом находится здесь какая-то дама или девица. Она живет в этой же' гостинице и, говорят, иногда даже приходит обедать в общий зал... Так прежней вы не видали? Интересно. У графа отличный вкус на эти вещи. Говорят, девчонка была прелесть, но скоро надоела ему. Она дочь отставного капитана... как его... кажется, Спицына.

- Это нахальная и гнусная ложь! - вскричал при этих словах Лихачев, вскочив со своего места. Глебов также встал, он был бледен.

- Господин лейтенант, я не имею честь быть даже знакомым с вами и удивляюсь, как вы смеете приставать ко мне с дерзостями, - сказал Гроссу, не вставая.

Видно было, однако, что он порядком струсил.

- Вы осмелились оскорбить мою хорошую знакомую и даже родственницу гнусной клеветой, и мне остается только назвать вас во всеуслышание подлецом.

Видя, что затевается скандал, офицеры, обедавшие за отдельными столами и за общим столом, столпились вокруг места происшествия.

- Простите... Может быть, я... ошибся фамилией... Я не имею чести... бессмысленно бормотал Гроссу.

- В таких вещах ошибки не бывает, и, по-моему, все равно, кого бы вы ни оклеветали, - сказал в свою очередь Глебов, - я вполне разделяю мнение господина лейтенанта, что ваш поступок низок и подл, и в другое время, не будь у нас осады, я бы первый потребовал от вас отчета... Но теперь я не советую и моему товарищу вызывать вас к барьеру... Не стоит...

- Господа, господа! - слышались крики со всех сторон. - Перестаньте, к чему ссоры заводить! Ну, выпейте вместе бутылку - и конец делу! Может быть, в самом деле человек ошибся фамилией...

- Я говорю: ведь да, я ошибся... Простите, ради Бога, - сказал Гроссу. - Ведь ошибка - не преступление...

Он был так жалок и смешон, что Лихачев, несмотря на торжественность минуты, чуть не фыркнул. Неизвестно, чем бы кончилась вся эта история, но вдруг в соседней комнате, где также обедали, раздался звон как бы разбитого стекла, потом выстрел громче пистолетного, снова звон и стук. Все бросились туда, забыв о скандале.

В небольшой комнате, где обедало всего с десяток офицеров, было неописуемое смятение. Два офицера лежали на полу, один сидел с окровавленной головою, в которой виднелся обнаженный мозг. Этот раненый размахивал руками и усиленно царапал

раненое место. Дым от взрыва еще не совсем рассеялся, в стене торчал осколок лопнувшей гранаты, другим осколком пробило шкаф с посудой; разбитые вдребезги тарелки повалились на пол. Это был первый снаряд, попавший в гостиницу. Содержатель прибежал и с крайним смущением повторял:

- Поверьте, господа, это у меня еще только первый случай, а у Шнейдера уже три случая было.

Послали за доктором. Один из раненых офицеров тут же испустил последний вздох.

Уже наступали сумерки, и вскоре послышалась довольно сильная канонада.

"Опять начинается история!" - подумал Лихачев и, забыв о существовании нахального адъютанта, поспешил на свой четвертый бастион.

Четвертый бастион! Как много связывалось с этим словом в тогдашней севастопольской жизни. Все знали, что жить на четвертом бастионе - значит подвергаться ежеминутной опасности погибнуть, или, по крайней мере, быть искалеченным. Но долго жившие там так свыклись с обстановкой, что не видели в своей жизни ничего особенного и жаловались только на грязь, стужу и неудобства жизни в узких норках, так называемых блиндажах. Нередко случалось, что офицер, проведший несколько месяцев на бастионах, вздрагивал, когда подле него разрывалась граната где-нибудь в городе. Когда товарищи выражали изумление, он, бывало, ответит:

- Чего удивляетесь? Понятно, вздрогнул от неожиданности: в этакой тиши и - вдруг граната.

- Как же вы не боитесь на бастионе? Ведь у вас там, говорят, иногда за один вечер ложится по восьмисот зарядов на площадку.

- Там другое дело: на бастионе нам знаком каждый выстрел.

Затем начинались обычные расспрашивания и неохотные ответы. Более всего страдали на бастионах от скуки, особенно флотские, не привыкшие к однообразной жизни на суше.

IX

Наступил новый, 1855 год, но на первых порах не принес для Севастополя ничего нового.

Но мало-помалу, несмотря на прекращавшееся суровое время года, неприятель стал снова усиленно возводить осадные работы. С нашей стороны также не дремали, и вскоре возобновились довольно сильные перестрелки. Часто происходили также ночные вылазки, на которых сначала отличались моряки и пластуны, но теперь и пехотинцы могли поспорить с ними в удальстве.

На бастионах жизнь текла по-прежнему.

В это время Севастополь еще делился на две половины -

мирную и боевую. Баррикады в далеком конце улиц Морской и Екатерининской разделяли эти две половины. В мирной части города с наступлением первых теплых февральских дней господствовало оживление. С обеих сторон улиц по дороге к оборонительной линии виднелись еще уцелевшие вывески магазинов, попадались дамы в шляпах, гулявшие при закате солнца на бульваре Казарского под звуки военной музыки, встречались мальчуганы, катившие ядра: за ядро давали по копейке. Случалось, что и в эту часть города залетали бомбы, а чаще всего конгревовы ракеты{119}, летевшие с страшным шумом; дамы кричали и разбегались при появлении такой нежданной гостьи.

Пройдя баррикады, встречались уже дома без вывесок. Двери были заколочены досками, окна выбиты, попадались пробитые крыши. Улицы были вымощены ядрами, покрыты ямами, вырытыми бомбами в каменном грунте. Тут уже не было дам, попадались матросские жены в старых шубейках и высоких солдатских сапогах. У самого Малахова кургана постоянно сновали бабы, мывшие белье офицерам, продававшие булки, квас, пироги и всякую всячину.

Вот полк идет на смену другому полку, занимавшему батареи, соседние с четвертым бастионом. Полк движется по Морской улице и минует баррикады, над ним в воздухе крутятся с легким свистом бомбы; полет их кажется медленным, и особенно в дневное время, никак не ожидаешь от них особой опасности. Назойливое жужжание штуцерных пуль гораздо неприятнее действует на нервы. Подвинувшись к избитому снарядами театру, солдаты выстроились продольно по обе стороны улицы. Роты полка, который они пришли сменить, по частям перебегали опасное пространство на площади, куда постоянно ложились неприятельские снаряды. Вдруг лопнула граната над левым флангом вновь прибывшего полка: молодой солдат упал навзничь.

Под свистом ядер солдат повели в траншеи, то есть ров, наполненный вонючей, желтоватой грязью, в которой ноги вязли почти по колено. В траншее и по краям ее виднелись матросы и арестанты с носилками, брели раненые, шедшие без посторонней помощи на перевязочный пункт. По бокам траншеи виднелись грязные норки, в которых, согнувшись, могли поместиться два человека. В таких норках жили пластуны.

Вот один из них высунул ноги из дверей, чтобы переобуться; другой сидит на корточках и курит трубку. По гребню траншеи прыгнуло ядро и обдало солдат грязью. Пройдя траншею, вошли в изрытое пространство, окруженное насыпью, это и есть четвертый

бастион. Площадка бастиона покрыта постройками, перерезана насыпями, землянками, пороховыми погребами, буграми, в которых чернеют отверстия - входы в подземные жилища, называемые блиндажами.

На пороховых погребах стоят огромные чугунные орудия, а подле них высятся пирамиды из ядер. Всюду валяются подбитые орудия, черепки, неразорвавшиеся неприятельские бомбы и гранаты, все это тонет в жидкой, липкой грязи. В воздухе душно, так как над бастионом постоянно стоит облако густого порохового дыма.

Солдат разместили на батарее, примыкающей к бастиону, но из офицеров большинство отправилось посмотреть самый бастион.

Командовавший здесь капитан 1 ранга Кутров, бывший капитан "Трех святителей", попросил лейтенанта Лихачева и других офицеров показать гостям все достопримечательности бастиона.

На площадках бастиона была беготня, но все происходило в порядке, без лишней торопливости. Штуцерные подбегали, стреляли и опять заряжали штуцера. Слышалось буханье орудий. С непривычки сразу трудно было разобрать, кто стреляет, мы или неприятель, так как неприятель подступил к четвертому бастиону весьма близко.

- Они от нас всего в шестнадцати саженях, - сказал Лихачев армейскому офицеру, у которого вызвался быть проводником.

- Быть не может!

- Да вот сами увидите. Подойдите сюда. - Лихачев подвел офицера к орудию, укрытому веревочными щитами (такие щиты стали делать по мысли капитана Зорина вместо деревянных). - Только будьте осторожнее, - прибавил Лихачев. - Учтивые французы здесь вовсе не учтивы!

Офицер взглянул в щель между щитом и пушкой: виднелся беловатый вал неприятельских траншей, лежали такие же, как у нас, мешки и выскакивали белые дымки, казалось, без всякого звука, так как в воздухе стоял хаос звуков.

- Хотите, пойдем к Мельникову{120} в мину? - предложил Лихачев офицеру, оглушенному недавним выстрелом.

Офицер согласился, и они спустились вдвоем, нагнувшись, сначала в полусвете, потом в совершенном мраке. Навстречу выходил кто-то и крикнул: "Держи направо!" Лихачев успел посторониться, но непривычного офицера порядком толкнул выходивший сапер. Офицер так устал, что пополз на четвереньках, но вскоре попал руками в воду и должен был встать. Мина все суживалась: сначала можно было ощупать доски

и столбы, далее шел голый земляной коридор. Вдруг показался свет. Увидели фонарь, и в расширенном месте, на полу, сидели солдаты.

- Вот тут, - сказал Лихачев своему спутнику, - неприятельские работы встретились с нашими. Видите их мину; она идет сбоку. Французы все стараются подкопать и взорвать наш бастион. Но это им не удастся! Наш "обер-крот", как мы называем Мельникова, не даст перехитрить себя! Уже несколько раз мы взрывали их на воздух. Тотлебен здесь бывает каждый день, но главная работа все же падает на Мельникова. У нас все говорят, что Тотлебен выедет на шее Мельникова, вероятно, потому, что он немец, а немцам у нас всегда везет. Вот здесь, в этой нише, живет Мельников. Зайдем, он всякому гостю рад.

Лихачев слегка постучал в дверь.

- Войдите, - послышался голос Мельникова.

Они вошли в довольно порядочную подземную комнату, увешанную коврами. Посреди комнаты, на столике, шипел самовар, по стенам шли земляные диваны, также устланные коврами. Подле одной стены была печь вышиною в человеческий рост. Огня в ней не горело, и на ней лежали тетради, бумаги, чертежи и том "Мертвых душ". Комната была освещена свечами и фонарями.

Молодой штабс-капитан с Георгиевским крестом - это и был "обер-крот" Мельников - принял гостей необычайно радушно и усадил их пить чай. Вид у Мельникова был весьма нездоровый, на руках виднелись синие волдыри следствие жизни в сыром подвале.

Случайно упомянули имя Тотлебена.

- Что это за светлый ум! - с восторгом воскликнул Мельников. - Ему, а не мне приписывайте, господа, всю честь того, что усилия неприятеля в этой подземной войне не привели пока ни к чему. Он голова, я только руки, просто исполнитель его поразительно гениальных планов.

Голос Мельникова дрожал от волнения.

"Странный человек!" - подумали в одно и то же время оба посетителя.

Мысли их были прерваны появлением сапера, который вбежал в подземельный кабинет Мельникова и, запыхавшись, сказал:

- Ваше благородие, идет француз контрминою{121}, слышно работает!

Услыша слово "идет", пехотный офицер вообразил, что "идет на приступ", и хотел было бежать к своим солдатам, но Мельников остановил его:

- Куда вы? Пойдемте послушаем работу французов.

Все трое отправились в сопровождении двух саперов. Шли не тем путем, каким сюда попали гости. При свете фонаря вышли наконец в оборонительный ров и достигли зияющих минных колодцев.

- Хотите спуститься? - предложил Мельников.

Лихачев был уже человек привычный и спустился совершенно спокойно, но пехотный офицер чувствовал себя, как в гробу.

Мельников долго слушал, припадая ухом к земляным стенам колодца, наконец поспешно повернул назад.

- Они саженях в пяти отсюда, - сказал он. - Завтра мы сделаем им сюрприз, дадим камуфлет... Хороший народ французы, жалко, как подумаешь, а делать нечего...

На другое утро на бастионе все ожидали предстоящего зрелища. Любопытные смотрели из-за бруствера. Вдруг дрогнула земля, и с страшным грохотом и треском взнеслась между бастионом и неприятельским валом масса сырой земли, заклубился громадный густой сноп дыма и образовалась воронка. Камни посыпались на бастион, едва не задев одного из зрителей, а близ воронки упало три трупа французских минеров. Два были сильно обожжены и представляли черные массы, но третий, убитый камнем, лежал ближе к бастиону. На нем была тонкая белая рубашка, которою играл ветерок. С бастиона грянуло "ура", и несколько солдат и матросов выбежали, чтобы посмотреть поближе, но неприятельские штуцера скоро заставили их спрятаться. На бастионе торжество было неописуемое, и несколько офицеров отправились поздравлять Мельникова; у французов были разрушены главные минные галереи, и им приходилось начать сызнова работу, необычайно утомительную по причине каменистого грунта и сырости.

Простившись с Мельниковым, Лихачев и его спутник пошли другим путем. Приезжий офицер легко вздохнул, когда выбрался из этого подземелья. Даже музыка бастиона показалась ему менее страшною.

В то же утро новоприбывший полк был назначен в работу на траншеях, испорченных неприятельскими бомбами. Солдаты сначала дичились матросов, которые в свою очередь подсмеивались над ними, жалея о тех, которых они сменили, так как к прежним матросы успели привыкнуть. Вскоре, однако, и новые пришельцы сдружились с моряками и успели приглядеться к странным фигурам пластунов, которые видом своим напоминали пряничных солдат и к тому же были неуклюжи и малы ростом. Солдаты, однако, знали по слухам, что пластуны - народ отчаянный.

Светало. Бомбы чертили огненными хвостиками темный свод неба. Иногда проносился с свирепым ржаньем так называемый "жеребец" - двухпудовая бомба, пущенная продольно, отчего искры, сыпавшиеся из трубки, походили на гриву. Солдаты невольно наклоняли головы.

- Смотри, братцы, солдат "жеребцу" кланяется! - острили матросы, и во второй раз солдаты из боязни насмешек старались держаться прямо.

- Кто там храпит, братцы? - спрашивает капрал солдат, слыша громкий храп, которого не заглушила даже продолжавшаяся в соседней батарее перестрелка с неприятелем.

Солдаты подошли и увидели человека, лежавшего в грязи посреди площади и совершенно укрытого косматою буркою.

- Тронь-ка его, ребята, авось очнется, - говорит капрал.

- Эй, земляк, вставай, чего лежишь посреди дороги?

Спавший лениво высовывает из-под бурки голову, на которой надета папаха.

- Чего? - спрашивает он на своем малороссийском наречии. Это, очевидно, пластун.

- Да ты нездоров, брат, али хмельной? - спрашивает капрал. - Посреди баксиона валяешься! Вставай, что ли?

- А бо дай вам таке лихо! - говорит пластун. - Сплю, тай годи!

- А неравно бомба накроет, земляк. На что ж даром губить христианскую душу?

- Сто чертив вашей матери! Тикайте сами! Мени и тут добре!

Пластун поворачивается на другой бок и снова храпит пуще прежнего.

- Чудной! - говорят солдаты.

- Уж это, братцы, все они такие отчаянные!

- Отпетый народ! Они, братцы, сызмала насобачились.

Два других пластуна сидят тут же: один - на неприятельской неразорвавшейся бомбе, из которой он успел вынуть порох, другой - на куче угольев и "куняют", то есть дремлют, покуривая трубки. Далее сидят на корточках матросы и играют в карты; проигравшего бьют картами по носу.

На батарее у исходящего угла бастиона, подле образа, также собралась группа матросов и солдат. Одни играют в карты и в кости, другие слушают рассказчика. Вот группа солдат сидит перед амбразурой, поставив перед собою котелок, и ест кашу. Матрос ест обед, принесенный женою, бабою в высоких сапогах, пестром ситцевом платье и платочке, повязанном по-мещански. Жена ждет, пока муж поест, а когда он кончит, берет посуду и идет домой под градом пуль. Вот на орудии сидит флотский офицер и свертывает из толстой желтой бумаги папиросу,

поглядывая в амбразуру. Теперь на бастионе не видно особой суеты. Полное спокойствие и уверенность замечаются на всех лицах. Даже вновь прибывшие солдаты и те, глядя на других, скоро обживаются и на второй, на третий день смотрят совсем молодцами.

Нахимов и Тотлебен почти ежедневно посещали все бастионы. Нахимов, можно сказать, сам поступил на бастионы. Верхом на лошади, как всегда, в сюртуке и эполетах, с казацкой нагайкой в руке, с сбившейся на затылок фуражкой, из-под которой выглядывали пряди светлых, с проседью волос, Павел Степанович подъезжал к бастиону, слезал с коня и оправлял брюки, которые носил без штрипок, почему они всегда во время езды приподнимались до колен. Передав лошадей денщику или казаку, а не то первому попавшемуся матросу, Павел Степанович отправлялся на бастион и самолично осматривал всякую мелочь, разговаривая преимущественно с матросами, которых часто хвалил и поощрял. Казалось, более ничего не делал этот чудак, а между тем одно появление его ободряло матросов и солдат. Суровые лица радостно улыбались, и услышать похвалу самого Павла Степановича было величайшею наградой. Более же всего он действовал своим примером: Нахимов, казалось, не имел понятия о чувстве страха и даже простого самосохранения. Он не рвался на опасность, как делали многие молодые офицеры, но как бы не замечал ее. Под градом штуцерных пуль и ядер он прогуливался с таким видом, как будто вокруг него падают дождевые капли или снежинки. Подойдет Нахимов к группе матросов, сейчас послышится говор: "Павел Степанович, Павел Степанович".

- Что, брат, - скажет Нахимов какому-нибудь матросу, хлопнув его по плечу, - Синоп забыл?

- Как можно забыть, Павел Степанович! Чай, и теперь еще у турка почесывается!

- Молодец, брат. Ну что твое орудие?

- Ничего, слава Богу, Павел Степанович. Подойдет Нахимов к флотскому офицеру.

- Теперь у вас на бастионе порядок-с, блиндажи для всех сделали, и всем хорошо-с. Я -вижу, что для черноморца ничего невозможного нет-с!

Потом пригласит к себе кого-нибудь обедать, предупредив, что у него постное: офицеры и солдаты по особому разрешению Синода не соблюдали даже Великого поста, но Нахимов и в этом отличался от прочих.

Самые интересные и порою ужасные сцены происходили на бастионах по ночам. Как только смеркалось, обыкновенно и с

нашей, и с неприятельской стороны начиналась потеха.

Смеркается. Глухо отдаются выстрелы во влажном воздухе. Как звезды, пролетают бомбы и, остановившись на мгновение, выбирают место падения. Затем, шатаясь из стороны в сторону, они падают все быстрее и быстрее, и наконец глаз не может более уследить за их полетом.

- Маркела! (мортира!) - слышится на нашем бастионе голос сигнальщиков.

Стоявшие на площадке припадают к земле.

- Не наша! - кричит сигнальщик. - Армейская!

По полету он знает, куда упадет бомба, и видит, что беречься нечего.

- Берегись, наша! - кричит он, предостерегая относительно следующей бомбы, и вскоре неприятельская гостья, со злобным шипением разбрасывая искры, вертится посреди лежащих на земле матросов и солдат.

- Не ховайсь, померла! - кричит пластун, заметивший, что трубка погасла и бомбу не разорвало.

Начальник батареи, услышав, что началась возня, выглядывает из своей конуры.

Конура эта помещается в небольшом погребе, или землянке. Потолок такого блиндажа устроен из толстых дубовых брусьев. С трех сторон и сверху землянка ограждена от выстрелов, с тыльной стороны набросаны куски плитняка, а к ним кое-как прилажена дверца. Маленькие кривые окна заклеены бумагой.

В конуре находится постель и небольшой столик - все убранство комнаты. У дверей шипит самовар. Землянки для солдат более поместительны, но зато и помещают там столько человек, что им тесно, как сельдям в бочке.

Выглянув из своей землянки, командир говорит:

- Что это там так расшумелись? Послать прислугу по орудиям!

- Есть! - отзывается комендор, и несколько матросов подбегают к орудию.

- Чем заряжено? - спрашивает батарейный командир.

- Бомбой.

- Ну, валяй!

Трехсотпудовое чугунное чудовище отпрыгивает назад, обдавая прислугу горячими клубами дыма. Грянул выстрел, и бомба несется туда, к каменистому валу, при лунном свете. Звук выстрела отдается в ушах и потрясает весь организм. Чувство довольства, соединенное с некоторою злобою и желанием насолить врагу, охватывает всех присутствующих.

Неприятель посылает в ответ не один, а десять выстрелов;

сигнальщик едва успевает кричать:

- Бомба! Не наша! Пушка! Берегись, граната! Маркела! "Жеребец"!

- Не части, Митроха! - кричат ему матросы. Звук, напоминающий русское "ура", слышится со стороны неприятеля.

- Черт возьми, уж не думают ли они идти на штурм! Эх, раскутились, говорит офицер. - А ну-ка, ребята, угостите их картечью!

- Слышь, Михеич, валяй темную! - передают матросы приказание начальства.

- Пали через каждые десять минут! Когда надо будет прекратить, я скажу, - говорит командир батареи и уходит в свой блиндаж пить чай.

- Берегись, граната! - снова раздается крик сигнальщика.

Через минуту уже кричат: "Носилки!" - и двое матросов несут товарища, у которого нога перебита у живота и держится одной кожей.

- Простите, братцы! - говорит раненый.

Его уносят. Пальба продолжается, но постепенно становится все слабее.

Соседняя батарея Будищева продолжает громить неприятеля из огромной гаубицы, оглашающей бастионы своим зычным ревом.

- Слышите, Будищев стреляет к французам в Камыш! - говорит Лихачев пехотному офицеру, с которым успел подружиться. - Пойдемте в наш флотский блиндаж, выпьем чаю, а потом и спать пора. Мне еще хочется написать домой письмо...

Матросы, оставшись без присмотра офицеров, собираются устроить потеху на славу. Пехотные солдатики, уже обжившиеся на бастионе, подстрекают матросов, которые из желания показать себя куражатся более чем следует.

- Кавалер, а кавалер, - говорит солдатик матросу, действующему из страшной, бросающей пятипудовые бомбы мортиры, - что нониче мало палите?

- Начальство не велит. Бонбов у нас эфтих мало, стало быть, налицо. Кономию велено соблюдать!

- А он небось жарит, не меряет пороху! И откуда у него берется этого форсу?

- "Капральство" бы ему послать для порядку! - поддакивает другой солдат.

"Капральство" - это чисто матросское самородное изобретение. Заметили матросы, что неприятель угощает нас иногда вместо бомб бочонками пороху и деревянными обрубками, к которым привязывались по четыре гранаты. Один из

наших матросов придумал штуку похитрее. Присмотревшись к неприятельским "букетам", как были тотчас названы новые снаряды, он приспособил жестяной цилиндр вроде четверика с деревянным дном, куда вложил штук двадцать пять гранат, и этот снаряд пустил из пятипудовой мортиры. Снаряд упал к неприятельскую траншею в виде целого ряда светящихся звезд. На дальнее расстояние он, разумеется, не действовал, но, попадая в траншеи или в минные воронки, производил у неприятеля порядочный переполох. Это новое изобретение солдаты прозвали "капральством". Начальство, видя в таких снарядах бесполезную трату снарядов и пороха, обыкновенно запрещало посылать "капральства", но иногда и оно из любопытства допускало эту забаву. При удачном выстреле эти "капральства" производили страшные опустошения, особенно в минах.

- Да ну, кавалер, потешь! - пристают солдаты.

- Пороху нет, - наотрез отказывает матрос.

- Ну, коли пороху нет, мы патронами сложимся, только угоди!

- Ну что с вами разговаривать, - сердито огрызается матрос. - Тойди (отойди), не то как брызнет, неравно оплешивеешь! - говорит он любознательному солдату.

Мортира отпрыгивает, и букет ярких звездочек на мгновение освещает неприятельскую траншею. Несколько гранат попадают прямо в минную воронку, и минуту спустя оттуда выскакивают ошалевшие французские саперы. Наши штуцерные не дремлют и тотчас подстреливают троих.

Лихачев не успел полюбоваться этим зрелищем; он был уже в своем блиндаже, где помещался с тремя товарищами - флотскими офицерами. Сидя в душной землянке на своей постели у простого деревянного столика, он писал письмо домой, матери и сестрам. Родные картины мелькали в уме его. Старушка мать, вероятно, постится и говеет. Сестры ждут не дождутся брата; им скучно, и даже на масленицу едва ли они особенно веселились. Еще раз перечитал Лихачев недавно полученные письма родных и письмо от своей кормилицы, которая просила его написать матери, чтобы та освободила от барщины ее младшего сына. "Непременно напишу, - думал Лихачев, - мамаша будет недовольна моим вмешательством, но я считаю это своим нравственным долгом. Для мамаши не составит большой разницы, а кормилицу я осчастливлю. Мамаша, наверное, исполнит мою просьбу. Напишу как можно убедительнее, сравню положение кормилицы с ее собственным. Ведь и кормилица хотя простая баба, а все-таки мать и имеет материнские чувства". Дописав письмо, в котором он изобразил свою жизнь в несколько смягченном и прикрашенном виде, Лихачев лег спать. Было уже за полночь.

Пальба всюду стихала, только Будищев по-прежнему палил в Камыш из .своей гаубицы, да с передового Костомаровского{122} люнета{123} слышались учащенные выстрелы, вызванные, по всей вероятности, фальшивой тревогой.

X

После происшествия с гранатой, влетевшей в ресторан Томаса, граф Татищев стал искать другой квартиры. С большими деньгами в Севастополе можно было найти все, и он нашел довольно удобное помещение в северной части Екатерининской улицы. Это и вообще было необходимо. Живи граф один, он помирился бы со всякой обстановкой, но жизнь вдвоем с княгиней Бетси налагала на него обязанность заботиться об известном комфорте. Жизнь в гостинице, где, кроме нее, не было почти ни одной женщины, подвергала княгиню различным неудобствам, не говоря уже о трудности поместиться ей, привыкшей к роскоши, в одной комнате, где приходилось расположиться вдвоем с взятой с собою из Петербурга камеристкой Машей.

Теперь в распоряжении княгини были четыре отлично меблированные комнаты - помещение убогое по сравнению с ее петербургской квартирой, но показавшееся ей райским уголком.

Граф Татищев далеко не отличался тем железным характером, какой он в себе предполагал. Он был деспот по натуре, но деспот, способный попасть под башмак любой сколько-нибудь опытной и энергичной женщины, а княгиня была и опытна, и энергична. Граф вскоре понял, что притворство не поведет ровно ни к чему и в конце концов поставит его лишь в глупое и смешное положение. Из Петербурга ежедневно прибывали представители великосветской молодежи, ему приходилось бывать у них и принимать их у себя. Встречаясь с людьми, из которых многие раньше его были знакомы с княгиней, он, даже если бы хотел, не мог бы долго поддерживать свой обман. Пришлось действовать напрямик и подчиниться условиям, в которые он был поставлен капризной женской любовью. Граф стал открыто принимать гостей у себя в доме, где роль хозяйки была принята на себя княгиней. В сущности, изменилось немногое, так как об их связи и без того знал весь Петербург. Это было лишь искренним признанием давно совершившегося факта.

Под влиянием страстного, пылкого темперамента княгини граф несколько оживился и стал как будто веселее прежнего. Он уже не повторял глупых сцен вроде тех, которые разыгрывал в начале ее приезда, когда выставлял напоказ свою разочарованность и скуку и когда скрывался от любимой женщины. Быть может, он действовал тогда таким образом под

влиянием недавней связи с Лелей, связи, часто мучившей его. Граф не мог простить себе этого глупого увлечения и объяснял его своим прежним одиночеством в скучном провинциальном городе, где Леля поразила его тем, что была оригинальнее других. "При таких условиях, - думал граф, - не повстречай я этой дикарки, я мог бы, пожалуй, влюбиться в дочь любого матроса... Между ними также попадаются смазливые физиономии. Вчера только я видел одну, которая так и просится на картину".

Адъютант Дашков был один из первых, посетивших графа на его новой квартире. Бетси еще спала, и, пользуясь этим, Дашков откровенно рассказал графу обо всем скандале, происшедшем в ресторане, и о сплетнях, которые распространил о нем адъютант князя Виктора.

Граф притворился изумленным.

- Я сам спрошу князя Виктора, что ему за охота иметь при себе адъютантом эту темную личность. Князь благороднейший человек и, вероятно, не догадывается о подвигах этого молдаванина. Я пренебрегаю так называемым общественным мнением, но вам отплачу откровенностью за откровенность. Я действительно встречал в Севастополе некую Елену Викторовну Спицыну, дочь старого моряка, но знакомство наше было самое поверхностное. Вот и все. Несколько раз она, правда, бывала у нас на батарее, но, во-первых, не я один находился там, у нее было много знакомых; во-вторых, здесь, в провинции, нравы просты, и в посещении девицей батареи, быть может из любопытства, никто, конечно, не видит ничего предосудительного.

Дашков завел разговор о других предметах, но в это время вошла Бетси. Дашков встречал княгиню еще в Петербурге и был изумлен ее появлением, тем более что ждал появления какой-то таинственной незнакомки, но, как светский человек, понял, как вести себя в таком случае. Французский язык мгновенно выручил его из затруднения, и разговор тотчас сделался .непринужденным. Говорили о Петербурге, о представлении патриотической драмы "Маркитантка", о том, как хорош Самойлов в роли чухонца, оплакивающего груз салакушки, отнятой у него англичанами, которые прислали флот с целью взять весь Петербург, о музыке Глинки, о которой княгиня отозвалась несколько свысока, заметив, впрочем, что теперь такая "вульгарная" музыка соответствует патриотическому настроению общества, и так далее в этом роде. Татищев также принял живое участие в разговоре, острил, смеялся, был весел, но вдруг лицо его приняло мрачное и тоскливое выражение.

- Что с вами? - спросил встревоженный Дашков, отличавшийся весьма впечатлительной и сострадательной

натурой.

- Ничего, или, попросту сказать, зубная боль, - с досадой сказал Татищев.

У него действительно немного разболелся зуб, но граф был очень мнителен. Он не боялся ничего на свете, кроме болезней вообще, и в частности зубной боли. Он стал нетерпеливо шагать по комнате и обнаруживал признаки желания отделаться от гостя. Дашков, думая, что зубная боль есть только предлог, и никак не предполагая, чтобы граф, о котором все говорили как о безумном храбреце, был так слабонервен, поспешил удалиться. Как только он ушел, Татищев начал охать и стонать, обругал без всякого повода своего камердинера, толкнул денщика - словом, стал вести себя не как герой и не как аристократ. Княгиня изучила натуру графа и все время молчала, как бы не обращая внимания на его мальчишеские выходки. Наконец граф бросился на диван и стал стонать так, как будто ему резали ногу.

- Что бы с вами было, если бы, не дай Бог, вас ранили, - сказала Бетси. - Я без ужаса не могу подумать об этом!

Эти слова задели самолюбие графа.

- Будьте уверены, что тогда вы не услышали бы от меня ни единого стона, - сказал он. - Теперь же я желаю стонать, и никто не смеет мне запретить делать в моем доме все, что я хочу.

- Я и не оспариваю у вас этого права, - сказала Бетси, - но удивляюсь тому, что вы ради зубной боли, которую я испытываю чуть ли не ежедневно, были так нелюбезны с Дашковым.

- Зато вы были с ним слишком любезны, - сказал граф.

Разговор окончился ссорой, но зато граф забыл о своем больном зубе, который уж вовсе не так мучил его, чтобы ради этого лезть на стену.

Ссора с княгиней имела, однако, последствием, что граф после обеда отправился на батарею, хотя его еще не требовали.

"Надо заставить эту женщину уважать меня, - думал граф. - Неужели она воображает, что я боюсь серьезной опасности? Зубная боль - это совсем другое дело. Мало ли, вот я боюсь идти один в каком-нибудь захолустье, где можно подвергнуться нападению стаи собак, но из этого не следует, чтобы я был трусом. Я вполне понимал слова Воронцова: 11 ?аи1 ёЧге Ъгауе, та15 11 1е $аи1 ё1ге ауес сАёˆапсе{124}. А тут хороша ё1ё апсе, если тебя терзает какой-то несчастный гнилой зуб. Таких страданий не стоит переносить с достоинством. Я понимаю Цезаря, который счел бы величайшим несчастьем для себя, если бы, пронзенный кинжалами убийц, упал обнаженным и вообще в неприличном виде... Поступок Цезаря, завернувшегося в тогу, когда его поразили кинжалы, кажется мне одним из величайших

проявлений духа древних народов: они во всем умели ставить на первом плане красоту. Бетси не понимает этого. Это недостаток ее воспитания... Сейчас видно, что при всей своей светскости она не кровная аристократка".

Так размышлял граф. Довольно сухо простился он с княгиней, сказав ей, что завтра весь день будет занят службой.

Княгиня, оставшись одна, села писать письмо в Петербург высокопоставленному лицу. Следует заметить, что на имя княгини давно был положен ее мужем значительный капитал. "Не имея понятия о законах, - писала Бетси, - я умоляю вас принять участие в несчастной женщине, от которой отвернулся свет за то, что она последовала влечению своего сердца и рассталась со своим тираном". Бетси просила высокопоставленную особу повлиять на ее мужа с целью прекратить скандальное дело о разводе и вместе с тем устроить так, чтобы она получила хотя часть своего капитала; но в крайнем случае она готова отказаться от всего, готова остаться нищей, лишь бы этот тиран оставил ее в покое. Письмо было написано в самых трогательных выражениях и довольно изящным французским слогом. В весьма длинной приписке княгиня умоляла особу устроить так, чтобы обо всем ее деле не дошло до сведения государыни, которая, как ей писали, все еще больна. "На нервы государыни вся моя печальная история могла бы повлиять весьма неприятно", писала княгиня. Бетси просила подробно сообщить ей о состоянии здоровья государыни и других августейших особ, так как за эти сведения будут необычайно признательны все жители Севастополя. Наконец княгиня в восторженных выражениях отозвалась о пребывании в Севастополе великих князей, описывала глубокое сожаление, которое испытали севастопольцы по случаю отъезда их высочеств, и радость, когда разнеслась весть, что великие князья снова прибыли в город. Письмо вышло длинное, интересное не только для самой княгини, но и для лица, которому было адресовано.

XI

Младший Глебов, служивший в Н-ском пехотном полку, вскоре по приезде своем в Севастополь участвовал в нескольких незначительных вылазках, которые беспрестанно повторялись в декабре и январе. Но в начале февраля в полку стали поговаривать о более серьезной затее, и утром девятого числа все были уверены, что ночью будет дело.

Готовились к делу различно. Младший Глебов провел последнюю ночь в весьма веселом обществе, а именно в компании из офицеров и известного рода девиц, частью туземных, частью приехавших из Симферополя; опасности осады не удержали этих красавиц. Ужинали в ресторане Шнейдера, потом забрались в

дом, оставленный жившим в Севастополе до осады англичанином, который передался своим. Дом был конфискован и пока не имел назначения. В этом доме, где была и мебель, и фортепиано, устроили нечто вроде импровизированных танцклассов. Кутеж вышел на славу и закончился самой безобразной оргией под звуки неприятельской канонады, которая была ясно слышна здесь, так как дом находился не в дальнем расстоянии от оборонительной линии. Само собой разумеется, что после такой ночи у Глебова трещало в голове.

Младший Глебов вообще не походил на серьезного, сосредоточенного старшего брата. Отличаясь весьма податливым, слабым характером, он попал в Петербург, где воспитывался в корпусе, в обществе самых худших из товарищей, и с юных лет был уже неисправимым циником. На отношения к женщинам он смотрел весьма просто, о любви отзывался с насмешкою, называя ее миндальничаньем и уверяя, что понимает только страсть. При всем том он имел обманчивый вид хорошего, хотя избалованного мальчика, и на эту удочку нередко попадались опытные львицы, считавшие Глебова, прошедшего сквозь огонь и воду, получившего свое нравственное воспитание у Излера и в тому подобных местах, невинным, милым ребенком; вот причина успеха, которым пользовался Глебов у подобных барынь. Привыкнув к легким победам, он стал смотреть на женщин вообще как на существа, легко подчиняющиеся воле мужчины. "С ними надо брать смелостью и нахальством, - думал Глебов. - Самая скромная женщина ничего так не любит, как нахальство". Правда, с скромными женщинами он почти не имел дела, но, раз составив суждение, Глебов применял его ко всем огулом.

И вот с этим-то юным донжуаном произошел совершенно неожиданный казус: он в первый раз в жизни влюбился не на шутку, и, что хуже всего, любовь его была безнадежна.

Однажды старший брат сказал ему, что хочет проведать живущую на Корабельной барышню, весьма симпатичную девицу, к тому же прехорошенькую. Старший Глебов был по отношению к женщинам человеком довольно исключительным. В университете он увлекался наукой более, чем женской красотой, и, даже вступив в военную службу, остался целомудрен, чем возбуждал бы насмешки товарищей, если бы они вообще не уважали его. Среди офицеров он слыл идеалистом: такие натуры для большинства даже непонятны. Несмотря на зрелый возраст и недюжинное образование, старший Глебов был в некоторых отношениях наивен до смешного, например совсем не замечал происходивших у него под носом похождений своего брата Николая, которого он считал расточительным, но не распутным.

Надо сказать, впрочем, что Николай Глебов был мастер по части совершенно искреннего вранья, именно искреннего, так как, каясь в своих распутствах, он часто говорил брату то, что действительно чувствовал в данный момент. Так, например, после безобразной оргии он уверял и себя и брата, что такая жизнь ему опротивела и что с этих пор он станет совсем иным человеком; завтра же повторялась прежняя история.

Старший Глебов давно уже помышлял познакомить брата с какой-нибудь порядочной девушкой, думая этим повлиять на его нравственное развитие. Сначала он подумывал о Леле, но, услышав грязные сплетни, которые о ней распространялись публично, призадумался. Эти сплетни возмутили его, он от души готов был поколотить распространителя клеветы, но у него невольно шевелилась мысль, что не может же подобная сплетня возникнуть без всякого основания. Графа Татищева он знал хорошо, как его сослуживец, знал кое-что о его прежних петербургских похождениях, и в истории, которую рассказывали о связи с Лелей, не было ничего неправдоподобного. Но по зрелом размышлении Глебову стало досадно на самого себя.

- И как это я могу верить всякому вздору и некоторым образом способствовать киданию грязи в беззащитную девушку?

Он решил удостовериться во всем лично. "Надо узнать ее поближе. Может быть, мне удастся спасти ее от окончательного падения", - думал Глебов и с пылкостью студента сороковых годов решился взяться за это дело, насколько позволит трудное военное время.

Пользуясь сравнительным затишьем, наступившим по случаю зимнего времени, Глебов выбрал день и, узнав от Лихачева адрес Лели, отправился к ней, чтобы поддержать знакомство.

Он имел глупость взять с собою брата. Посещение двух офицеров, из которых одного она видела в первый раз в жизни, показалось Леле крайне бестактным и даже обидным.

"Чего они от меня хотят? - думала Леля. - Неужели они не видят и не понимают, что, живя в этой трущобе, я желала бы, чтобы все забыли о моем существовании?"

Она приняла братьев довольно сухо, но старший Глебов был так сконфужен, так извинялся, что ей стало жаль его, и она постаралась быть более любезною и даже предложила братьям напиться с нею чаю. Младший Глебов сказал с нею всего несколько слов, но, возвращаясь домой, он был уже безумно влюблен и на следующий день явился без приглашения уже один.

На этот раз Николай Глебов не притворялся. Он действительно был по отношению к Леле так скромен, так робок, так застенчив, что удивлялся самому себе. Убогая комната с

двумя кроватями, едва прикрытыми ситцевым пологом, показалась ему райским уголком, а грустная, задумчивая, сосредоточенная Леля - существом не от мира сего, к которому он недостоин прикоснуться своей кощунственной рукою, еще недавно обнимавшей продажных красавиц. Нескольких случайных слов, брошенных Лелей, было, однако, для него достаточно, чтобы понять, что его чувство едва ли встретит взаимность. Желая от души быть скромным, юный Глебов предложил не совсем скромные вопросы:

- Скажите, Елена Викторовна, случалось ли вам встречать женщину или девушку без предрассудков?

- То есть как это? - спросила Леля. - Предрассудки бывают различные. Я, например, не верю тому, что тринадцать за столом приносят несчастье, но в предчувствие я верю, и оно меня никогда не обманывало.

- И я также верю. Я, например, предчувствую, что мне вскоре суждено испытать нечто весьма важное в моей жизни, - сказал Глебов.

- Значит, вы не похожи на меня, - сказала Леля с грустной улыбкой и, как бы размышляя вслух, добавила: - В моей жизни все важное было в прошедшем, а в будущем я вижу лишь однообразное и скучное прозябание.

- Вы так еще молоды! - сказал Глебов. - Возможно ли в ваши годы так мрачно смотреть на жизнь!

В соседней комнате, за деревянной стеною, послышалось кряхтенье разбитой параличом старухи, которая проворчала:

- Вишь, кавалеры к ней ходят, и такой гвалт в доме, что спать нельзя! Просто срам, да и только.

Леля вспыхнула.

- Там живет сумасшедшая старуха хозяйка, - сказала она вполголоса и прибавила по-французски: - Не обращайте на нее внимания, она не виновата: даже в образованном обществе посещение одинокой девушки мужчиною считается чем-то предосудительным. Но вы не бойтесь, в этом отношении я намерена бравировать предрассудки.

- Хорошо делаете, - сказал Глебов и задал уж совсем нескромный вопрос: - Ну, а в отношении любви вы также без предрассудков?

Леля строго посмотрела на него.

- Об этом вы меня не спрашивайте, - сказала она. - Я предупреждаю всех, кто со мною желает быть знакомым, вопроса о любви не касаться, так как для меня он не представляет никакого интереса.

- Вы меня не так поняли, - сказал Глебов, сильно покраснев. -

Я никогда не мог думать, что мой вопрос покажется обидным.

- Ну так знайте впредь: о чем хотите говорите со мной, только не о любви. Может быть, мы с вами будем когда-нибудь друзьями, но для этого первым условием должно быть: никогда никакого разговора о любви, я это слова не могу слышать равнодушно.

- Ну, хорошо, обещаю, не буду. Но вы не сердитесь?

- Не сержусь, но только предупреждаю вас.

Странно устроена натура человеческая! Уходя от Лели, Глебов давал себе клятву навсегда отказаться от распутства, жить одними чистыми помыслами и довольствоваться платонической любовью к ней, но, возвратившись на свою квартиру и застав там двух полупьяных приятелей-кавалеристов, отправился вместе с ними, как выразился один из этих приятелей, "с места в карьер" на пирушку, которая и закончилась упомянутой уже нами оргией. Само собою разумеется, что на следующее утро у Глебова трещала голова и он даже не сразу разобрал значение слов, сказанных ему одним из товарищей:

- А знаешь, брат, сегодня ночью у нас будет дело.

XII

Велико было разочарование офицеров, когда они узнали, что вместо предполагаемого дела три батальона их полка назначены в работы, а именно для закладки на Корабельной стороне, влево от Килен-бал-ки, редута, получившего впоследствии название Селенгинского. Работа была мешкотная и утомительная: по причине каменистого грунта местами пришлось взрывать камни порохом. Работали всю ночь, весь следующий день и все еще не кончили работы. Лишь к вечеру одиннадцатого февраля ров перед правым фасом редута был углублен аршина на два. Даже терпеливому русскому солдату становилось порою невтерпеж. Зададут бедняге урок, он долбит, долбит шанцевым инструментом, а все толку мало. С левого фаса едва удалось углубить ров на аршин.

Поставили туры - круглые плетенки из прутьев вышиною в полтора аршина и насыпали их землею и камнями, но орудий ввезти не успели: французы уже заметили наши новые работы и еще за день перед тем имели незначительную перестрелку с нашими штуцерными.

В это время на редуте уже находилось четыре тысячи войска: весь Волынский полк, три батальона селенгинцев, небольшие команды саперов, моряков и пластунов.

Хрущев, командир волынцев, уже произведенный в генерал-майоры, был главным начальником отряда. Новый начальник гарнизона Остен-Сакен{125}, прощаясь с Хрущевым на втором бастионе, так расчувствовался, что благословил его.

Маленький круглолицый генерал с орлиным носом далеко не имел героического вида, но солдаты любили его и знали, что он их любит - а это самое главное.

Ночь с 11-го на 12 февраля была ясная, лунная. Селенгинцы продолжали работу, волынцы образовали цепь, пластуны залегли в секрете, высматривая своими зоркими глазами, нет ли где неприятеля.

О пластунах ходили в Севастополе самые разнообразные анекдоты. Действительно, это было весьма своеобразное войско. Есаул их Даниленко, бодрый седой старик лет шестидесяти, жил в так называемой штаб-квартире; эта "квартира" находилась в старом туннеле, пробитом для водопровода. Здесь, на вечном сквозном ветре, жили с ним сотни две пластунов, защищаясь от непогоды только рогожами. Раньше всех и без приказания высшего начальства стали они делать вылазки. Впрочем, это были вылазки весьма оригинальные. Пойдет десяток пластунов шляться по Корабельной, идут, идут, выйдут далеко за оборонительную линию и доберутся до самых неприятельских траншей. Раз они добрались до английского редута "Виктория" и, не долго думая, подцепили часового, стащив его с вала особенным крючком. Ночью они ловили неприятелей бечевками и связывали их оригинальным способом: стянут пленному только большие пальцы, повернув руки за спину, а потом одной бечевкой свяжут четверых вместе. Такая кучка была послушна малейшему движению и не требовала более одного провожатого. Французский главнокомандующий Канробер, человек весьма гуманный (несмотря на то что участвовал в избиении своих сограждан на парижских бульварах), возмутился таким странным способом ведения войны, се тойе ёггап е де сотЪа!, и написал Остен-Сакену: "Не желая утверждать, что употребление этих средств противно правилам войны, мне, быть может, дозволено сказать, пользуясь старинной французской поговоркой, что это вовсе не вежливое оружие (яие се пе зоШ рош! 1а ёез аппез соиПо1зе)".

Неуклюжие, мешковатые, флегматичные пластуны, сначала возбуждавшие одни насмешки солдат, давно уже попали в почет. В так называемых секретах они были незаменимы. Они ползали, как кошка, подкрадывающаяся к птичке, и вдруг бросались на ошеломленных неприятелей. Они же научили пехотинцев, ходивших в охотники, следующему приему. Сначала они подползали к неприятельской траншее, шагов за тридцать останавливались, давали залп и с криком "ура" снова падали; как только неприятель ответит на залп, они с новым криком "ура" быстро бросались в траншеи и шли в штыки. Особенно удавался

этот маневр с англичанами, которые вообще не отличались бдительностью, так что часто удавалось колоть штыками сонных. Случалось, что ошалевшие англичане бросали спросонок ружья и одеяла, которыми накрывались сверх плащей. Такие случаи были для пластунов и соперничавших с ними матросов настоящим праздником: одеяла были для них кладом, и долго потом ходили на бастионах рассказы, кто кого хватил и сколько одеял удалось стащить у англичан.

На этот раз у Хрущева был маленький отряд пластунов с самим есаулом Даниленко, однако и эта горсть сослужила свою службу.

В этот вечер они, по обыкновению, раньше всех выследили неприятеля. Лежа в секрете, они услышали шум от неприятельских кирок и лопат. Ясно, что неприятель в свою очередь сооружал траншеи. К полуночи эти звуки затихли. У нас тишина прерывалась ударами кирок: селенгинцы продолжали работу.

- Подпоручик Глебов, - сказал ротный командир младшему Глебову, - вы сами вызывались в охотники, а потому полковник требует вас. Вам и прапорщику Яковлеву будет дано важное поручение.

Глебов приосанился и как будто вырос на пол-аршина.

Он и прапорщик Яковлев подошли к полковнику Сабашинскому.

Прапорщик Яковлев был одним из любопытнейших явлений николаевских времен. Это был прапорщик, имевший густые бакенбарды с весьма заметною проседью и поседевший не от горя, а от солидного возраста: ему было за сорок лет, а в этом возрасте брюнеты часто седеют. Был ли он когда-либо разжалован в рядовые или по другим каким причинам остался до седых волос в чине, о котором сложилась поговорка: курица не птица, прапорщик не офицер, - об этом история умалчивает. Достоверно, что таковой прапорщик существовал в Севастополе и есть, стало быть, лицо историческое, а не измышленное автором ради каких-либо целей чисто романтического характера.

Несомненно также, что этот седой прапорщик давно заслуживал высшего чина, потому что был не только просто храбр, но храбр в превосходной степени. Не было вылазки, в которую бы он не вызвался охотником, и всегда сражался с поразительным хладнокровием, которое гораздо важнее для воина, нежели безумная, кипучая отвага.

Почему его обошли при производстве по случаю шестого декабря - день, с которого месяц службы стал считаться за год, - это также покрыто мраком неизвестности. Да мало ли кого

обходили, в то время как другие получали незаслуженные награды! Князь Меншиков вообще был скуп на награды, и лишь новому начальнику штаба Семякину удалось сделать его более щедрым.

Полковник Сабашинский, подозвав Яковлева и Глебова, первому сказал только куда идти, но ко второму отнесся совсем по-отечески, ласково дал ему несколько советов, как исполнить возлагаемое на него поручение. Поручение состояло в том, чтобы осведомиться, что делается в нашем секрете, и спросить у пластунов, не заметили ли чего нового. Каждому из офицеров дали по солдату; до известного пункта им надо было идти вместе. До последней минуты Глебов приосанивался и храбрился, но наконец надо было отправиться. Внезапно на Глебова нашло самое отвратительное настроение духа. Он не был трусом. Но кому из военных неизвестно, что бывают минуты, когда на храбреца вдруг находит точно столбняк. Является совершенно беспричинная тревога и тоска, ноги подкашиваются и отказываются служить, холодный пот выступает на всем теле. Чертовски скверное чувство! И что всего более странно, оно иногда исчезает так же внезапно, как и появляется.

Глебов подошел к товарищам:

- Ну, господа, иду... Прощайте...

- С Богом! В добрый час! - ободряли товарищи.

- Прощайте...

Глебов стал целоваться с товарищами.

- Пора! - сказал он еще раз. Голос его задрожал, и при ярком свете луны было видно, что слеза катится по его бледной юношеской щеке. - Не поминайте лихом!

- Ну, брат, да ты, я вижу, нюня, - сказал один из офицеров. - Пожалуй, и в неприятельских траншеях ты разрюмишься. Смотри, еще, чего доброго, станешь пардон просить у французов.

Глебов побледнел еще более. Когда человек начинает не то что трусить, но волноваться, надо оставить его в покое. Насмешки не только не придают храбрости, но еще более угнетают человека. Теперь Глебов не на шутку стал трусить.

- Что делать? - сказал он. - Отказываться поздно! Стыдно!.. Чувствую, что не вернусь... А если вернусь, ну, тогда посмотрим! Сами меня в герои произведете... А не хотелось бы погибнуть... Жить еще хочется... Ну, прощайте!

Он поспешил догнать седого прапорщика, который молодцевато шагал по направлению к цепи, составленной волынцами. Секрет был еще ближе к неприятелю.

"Если умру, пусть она хоть раз вспомнит обо мне, - подумал Глебов, припоминая до мельчайших подробностей свое свидание

с Лелей. - Ах как хочется жить!.. Не вернуться ли? Нет, стыдно!.. Пожалуй, останусь жив, произведут в поручики, нет, даже сразу в высший чин... Теперь чины идут скоро... к концу кампании буду, может быть, майором... Тогда и она переменит мнение... Вот уже близко... Неужели убьют?"

Луна уже спускалась к горизонту, и стало темнеть; ветер нагнал тучи, и они постепенно заволакивали небо. Яковлев хорошо знал местность и шагал с уверенностью. Глебов раза два споткнулся.

Вдруг послышался выстрел, и вскоре Яковлев молча указал Глебову на какие-то фигуры, промелькнувшие за бугром шагах в пятидесяти от, них. Еще выстрел, и завязалась перестрелка, а затем мимо Яковлева и Глебова пробежал пластун, очевидно посланный к генералу Хрущеву с донесением.

Яковлев понял, что их донесение не будет теперь иметь значения, и, свернув в сторону, он повел товарища ближайшей дорогой к месту, где стоял один из батальонов их полка. Пластун донес Хрущеву, что неприятель, наступая, наткнулся на наш секрет.

Волынцы стали в ружье, селенгинцы побросали лопаты и кирки, быстро разобрали ружья и стали в резерве.

Хрущев велел дать условный сигнал - зажечь фальшфейеры.

Наведенные заранее с парохода "Владимир" орудия загремели из бухты по направлению, где должен был идти неприятель. Французы по своей привычке не шли, а бежали в атаку стремительным гимнастическим шагом. Уже ясно были слышны одобрительные понукания их офицеров, и послышался крик вроде нашего "ура".

Волынцы дали залп, но французы местами уже прорвались сквозь цепь и бросились на редут со всех сторон, особенно же с левого фланга. Многие из них, хватаясь за туры, еще не засыпанные землей - а таких оставалось немало, - скатывались в ров; но другие вскочили на вал, и в числе их генерал де Моне, получивший тут же три раны, что не остановило его. Над рвом редута начался упорный штыковой бой. Отборные французские охотники-зуавы, венсенские стрелки и моряки боролись с нашими волынцами. Сначала можно было еще видеть что-нибудь.

Седого прапорщика, судя по бакенбардам, французы приняли за полковника, и он был убит, так и не дослужившись до высшего чина. Молодой Глебов получил несколько довольно тяжелых штыковых ран и свалился в ров. Командир зуавского полка Клер был ранен, генерал Хрущов чуть не был убит зуавом. Между тем стало темно хоть глаз выколи, стрелять боялись, чтобы не попасть в своих, и бой был в полном смысле слова рукопашный. Стреляли

только в упор, да и то нередко попадали в своих. Озлобленные крики людей, боровшихся грудь с грудью, раздавались в ночной темноте. Французы и наши звали своих, окликали друг друга. Старик Даниленко бился с помощью трех пластунов с несколькими французами, как вдруг услышал крик:

- Ребята, русские, сюда!

Он бросился на зов, но его схватили двое французов и потащили за руки. Старик упирался, один из французов споткнулся о труп товарища и упал; Даниленко упал на него, высвободил руку и пырнул француза кинжалом; другой же француз побежал. В течение нескольких минут французы овладели редутом, но вскоре были, выбиты с большим уроном. Целый час продолжалась эта бойня. Выбитый штыками неприятель отступал в беспорядке и при отступлении пострадал еще от огня, открытого не только с пароходов, но с двух ближайших бастионов.

Победа была за нами. Французы оставили на поле битвы более ста тел, в том числе девять офицеров.

XIII

На следующий день в Севастополе только и было речи что об удачном ночном деле.

На Северной стороне, в пресловутой "Одесской гостинице"-палатке, собралась группа офицеров. Идут бесконечные толки и споры о подробностях дела. Каждому хочется показать, что он знает лучше всех, и каждый рассказывает по-своему. Один уверяет, что генерала Хрущева чуть не взяли в плен и что дело было так: зуав схватил генерала за ворот и уже потащил к своим, но тут подоспел горнист Павлов и бац француза пипкою трубы в голову наотмашь - у зуава череп раскроился надвое. Другой обижается за генерала:

- Помилуйте, как это можно, за ворот! Ничего подобного не было, я сам видел. Не зуав, а зуавский офицер напал на генерала с саблей наголо. Генерал глядел в другую сторону и погиб бы неминуемо. В это время горнист отвел удар сабли трубой, а один из солдат воткнул французу штык в живот.

- Ну уж, позвольте, - замечает третий. - И вы также неверно рассказываете. Горнист не только отвел удар, но и выхватил у француза саблю.

- Позвольте, да как он мог ее выхватить?

Прапорщик Маклаков, ординарец Хрущева, в свою очередь уверял, что он знает лучше всех, но не сказал ничего нового, подтвердив лишь слова последнего рассказчика.

Зашел в "Одесскую гостиницу" и есаул Даниленко, разыскивавший кого-то из пластунов. Его осадили со всех сторон,

приставая, чтобы и он рассказал что-нибудь.

- Та що ж я вам расскажу, - ответил Даниленко, смешивая русские слова с малороссийскими. - Такое лихо, шашки моей не найду...

- Скажите, капитан, правда ли, что вы справились с тремя французами?

- А то що ж?

- Да как же это было, расскажите, интересно! Даниленко долго отнекивался, но наконец рассказал:

- Я себе иду, ничего не бачу; и я шашки вытягнуть не поспил, схватили меня бисовы французы та и тянут; а я упираюсь, не иду; хочу кричать - за горло держат, я того, что за горло держит, схватил за ружье, а другого держу за грудки, а ружье ему из рук вышиб и тяну их обоих к шашке. Тут я подумал: при мне кинжал. Как брошу того, которого держал за грудки, да кинжал ему в брюхо, а другой давай бежать. Чуть стало светать - смотрю: где моя шашка? Нет шашки. Ах ты, сто сот ее маме! Говорю своим: глядите, щоб була моя шашка, а то и служить не хочу! Ищу своих, мабуть, нашли шашку. А то и справди не хочу служить. О таке лихо!

Но к комическому элементу этого дня примешалось много трагического. Конечно, это ночное дело было шуткой по сравнению с Инкерманским сражением, стоившим нам одиннадцати тысяч человек, тогда как на этот раз у нас было убитых каких-нибудь шесть десятков да раненых сотни три. Но ведь и одна человеческая жизнь стоит чего-нибудь.

Убитых русских и французов одинаково подобрали наши солдатики. Офицеры и солдаты единогласно хвалили храбрость неприятеля. "Французы молодцы драться, ну да и наши не плошают", - говорили солдаты. "Считаю долгом уведомить, - писал барон Остен-Сакен Канроберу, - что ваши убитые храбрые солдаты, оставшиеся в наших руках ночью 23(11) февраля, были погребены со всеми почестями, подобающими их примерной неустрашимости".

Убитых французов положили поодаль от наших. Многие любопытные пришли посмотреть. У некоторых черепа были раскроены пополам. Полковник Сабашинский объяснил, что некоторые из селенгинцев вместо штыков пустили в дело кирки и мотыги, которыми раньше копали землю.

Мирно лежали французские трупы поодаль от русских. Для французов вырыли две большие ямы: в одну положили офицеров, в другую - солдат. Зуавы имели широкие шерстяные кушаки вроде шарфов, их размотали и закрыли покойникам глаза. Католический священник отслужил панихиду. Взвод наших

солдат сделал залп, отдав последний долг убитому неприятелю; в то же время могилы были засыпаны землей. Наших хоронили отдельно. С неприятельских батарей масса зрителей следила за этим зрелищем.

У Северной пристани, в сарай, были свезены умирающие и мертвые, подобранные после этого погребения. Здесь русские и французы лежали рядом и вперемешку, в одних рубашках и нижнем платье, без обуви. В головах у русских теплились восковые свечи, приткнутые к земле. Все обратили внимание на одного зуава поразительной красоты, черноволосого, с высоким лбом, правильными чертами лица и голубыми глазами; он был еще жив. Пробитая пулею грудь подымалась, пальцы шевелились. Он умер тут же, в сарае, до подания медицинской помощи. Рядом с ним испустил последний вздох здоровенный русский фельдфебель, весь залитый кровью.

Остальные раненые, свои и французы, были отправлены на перевязочный пункт.

В Инженерном доме, где был в то время главный перевязочный пункт{126}, работа кипела. Палаты были полны ранеными. Слышались стоны, крики и причитания, но иные раненые лежали спокойно и только стискивали зубы от боли. У входных дверей здания постоянно появлялись носилки. Вот несут солдата с исковерканной нижней челюстью и вывороченным наружу языком, придающим ему вид снятого с петли. Он дико водит глазами и стонет. Далее следуют носилки с капитаном зуавов, у него прострелена нога. Он глядит бодро. На голове у него белая повязка вроде чалмы. Капитана понесли в операционный зал. Внутри зала стояли кровати в два ряда, над ними шкафчики, куда раненые клали свои вещи. При входе стоял операционный стол. Близ стола, на кровати, лежал уже русский солдат, раненный пулею в локоть. Около этого солдата столпились доктора, осматривавшие рану. Две сестры милосердия из приехавшего около месяца тому назад третьего отделения Крестовоздвиженской общины готовили инструменты, бинты, корпию и воду. Одна из них, Бакунина{127}, смотрела на окружающее совершенно спокойно, другая была несколько взволнована, но крепилась. Эта вторая была родная сестра подпоручика Глебова, и ее взволновала не столько предстоящая операция, сколько известие о штыковых ранах, полученных братом, которого она еще не успела видеть - так была завалена работой.

Солдат, которому готовились отнять руку, стонал, страдая от невыносимой боли. Искусный флотский хирург Земан{128} дал знак хлороформировать. К носу солдата поднесли белый

полотняный мешочек, наполненный смоченною хлороформом корпиею. Крепкая натура солдата долго не поддавалась; наконец его одолело, он заснул, даже захрапел, стал бредить. То вдруг запоет: "Прощай, девки, ан прощай, бабы, нам таперича а-ах ни до вас!" - то начнет стонать, ругается, кричит о какой-то пуговице и отпускает слова, способные оскорбить слух сестры милосердия. Но Бакунина по-прежнему смотрит строго и спокойно, а Глебова, видимо, сама начинает страдать за солдата.

Оператор нагибается над раненым и в два приема обнажает кость, отделив мясо. Кровь потоком льется из перерезанных артерий в медный таз, который подставила Бакунина; другой врач и фельдшер придавливают артерии, и кровь останавливается. Оператор быстро пилит кость. Каждый звук пилы отзывается во всем организме Глебовой, но она пересиливает себя и подает шелк, которым оператор быстро перевязывает артерии. Операция кончена, только фельдшер заканчивает ее, заложив корпией обрезанное мясо и облепив рану пластырем.

- Ах ты... - ругается все еще спящий больной, отпуская самое забористое словцо. Наконец он просыпается, ослабевший, утомленный, бессмысленно осматривает присутствующих и снова начинает стонать. Вдруг он замечает, что у него отрезана рука выше локтя, и повторяется обычная в таких случаях сцена. "Батюшки, отцы родные, погубили!" - кричит солдат, обливаясь слезами. В углу зала валяется отрезанная рука в числе прочего подобного же негодного мусора.

Теперь приходит очередь капитана зуавов. Он, по-видимому, хладнокровен и даже бравирует, отказываясь от хлороформа. Ему отнимают ногу; капитан не испускает ни одного стона, и только когда резали мускул, он не выдержал и слегка вскрикнул. Его положили на кровать. На стол положили зуава, красавца атлета с черной бородкой, в феске и синей куртке с шитьем на плечах и на рукавах. Дали хлороформ. Операция кончилась, хлороформ отнят. К ране приставили теплую губку.

- Аи пот де В1еи! Уоиз те Ьгй1ег! Уоиз те Ьгй1ег (ради Бога, вы меня жжете! Вы меня жжете)!.. - кричал зуав и боролся с фельдшерами. Шесть человек с трудом могли удержать его.

- Тепех поиз Ъгауе, топ ёпгаШ;! Моиз иёпгоп5 Ыеп, уоуе2-уои5 (мужайтесь, дитя мое! Посмотрите, мы выздоровеем), - сказал капитан, которому только что отняли ногу.

Гигант, услыша слова капитана, притих и только стиснул зубы. Его положили неподалеку от капитана.

Немного погодя и капитан приуныл. Мимо него проходил доктор, капитан попросил сдвинуть его, так как он съехал на край

кровати и может упасть, но, когда доктор стал приподнимать капитана, обхватившего его за шею, он опустил в изнеможении руки и сказал:

- Коп, 1а155е2 то!, 1а155ег то!, раз з! у11е (нет, оставьте меня, оставьте меня, не так скоро).

Но вот и еще операция: раненому пластуну вынимают пулю. Он хладнокровно курит трубочку и шутит, насмехаясь над докторами, которые ищут, ищут и не могут найти. Один из зуавов заявляет доктору претензию на пластуна за варварский поступок с ним во время боя. Может быть, это был и другой пластун, но все они похожи, как родные братья. Оказывается, пластун во время борьбы искусал французу все лицо.

- Слышишь, брат, что говорят про одного из ваших? - сказал доктор пластуну, переведя ему слова зуава.

- Шкода, що ему зовсим ниса не видгризли (жаль, что ему совсем не отгрызли нос), - саркастически, но вполголоса говорит пластун, с улыбкой поглядывая на француза, у которого лицо было покрыто сине-багровыми знаками.

- А ведь, в самом деле, что за варварство, - сказал доктор. - Матрос и даже солдат никогда бы этого не сделали...

Жалкую фигуру представлял бывший тут же французский перебежчик, слегка раненный пулей, пущенной ему вдогонку своими. Он как-то скорчился и сидел в углу. С ним не хотели говорить ни русские, ни французы.

Знаменитый хирург Пирогов{129} был болен и в этот день не пришел совсем. Один из докторов сказал другому, что теперь из сестер милосердия только пять или шесть на ногах, остальные заболели: одни - тифом, другие просто от истощения сил.

- Еще бы, - сказал он. - Подумайте только! Черт знает какую дрянь возят по распоряжению светлейшего из Симферополя в Севастополь чуть ли не в каретах: недавно таким образом приехало несколько симферопольских... - а несчастные сестры должны весь день бегать пешком по невылазной грязи. Это просто возмутительно.

Другие два доктора говорили о ссоре, возникшей между Гюббенетом{130} представителем немецкой партии, и Пироговым - представителем русской партии, хотя, впрочем, при Пирогове был секретарем немец Обермиллер. Сам Пирогов боролся не столько против немцев, сколько против ученого педантизма, принятого Гюббенетом под свое покровительство.

Ночь. В палатке, где лежат безразлично и офицеры, и солдаты, уже стихло. Только изредка слышится стон страдальца или просьба дать ему водицы. Сестры и фельдшера обходят больных. Из фельдшеров есть два-три старательных, остальные

грубы и неловки. Сестры, наоборот, успели приобрести любовь раненых. К подпоручику Глебову подходит бледная девушка и чуть не вскрикивает: она узнает брата. Подавив крик, она шепчет:

- Коля, голубчик, наконец я тебя нашла!

- Наташа! - может только выговорить Глебов. Слезы выступают у него на глазах. - Вот что со мной сделали, - говорит он. Ему хочется еще более разжалобить сестру, хоть раны его неопасны.

Сестра наклоняется над ним, и они долго шепчутся, вспоминая то родной дом, то недавно пережитые сцены.

- Старуха Ульяна прислала тебе крестик, - сказала Наташа. - Ты помнишь Ульяну?

- Твою няню? Как не помнить! Помнишь, как мы с тобою плакали, когда мамаша велела высечь старшую дочь Ульяны, которую подозревали в какой-то мелкой краже...

- И потом оказалось, что украла не она, - сказала Наташа. - Ах как я тогда плакала... Но лучше не говори об этом.

- А эта дура Ульяна меня же разбранила, - сказал Глебов. - Грех, говорит, на маменьку сказать дурное, я еще им ручку поцеловала: что за беда, что девку девки же высекли, вот у других бар хуже... Вот дура так дура! Я этого случая долго не мог забыть.

Наташа немного покраснела, ей было совестно и за мать, и за брата.

- Ну, оставим об этом говорить, Коля. Мама - женщина старых понятий, но, право, она всех нас любит. Теперь и она стала мягче с крестьянами.

- Ты не поверишь, Наташа, - сказал Глебов, - как я переменил за это время свой взгляд на русского мужика. Что за народ наши солдаты! Я сжился, сроднился с ними, я понял, что они во многом лучше нас!

- Голубушка, дайте, Христа ради, водицы, - взмолился солдат, лежавший неподалеку.

- Ну, до свидания, Коля, надеюсь, скоро поправишься. При первой возможности опять подойду к тебе!

Наташа перекрестила брата и, поправив ему подушки, подошла к солдату. У солдата глаза горели лихорадочным огнем, жар был сильный.

Он выпил воды.

- Теперь легче, голубушка-барышня (в то время солдаты еще редко употребляли слово "сестрица").

Наташа совершила обход других больных. Когда она еще -раз проходила мимо умирающего солдата, тот сказал слабым голосом:

- Барышня! Явите божескую милость, пройдите еще раз.

Спустя полчаса Наташа исполнила эту наивную просьбу. Когда она подошла к солдату, суровое лицо умирающего прояснилось. Он взглянул с неизъяснимой благодарностью на это, казавшееся ему неземным, существо и умер с улыбкою на устах.

Часть пятая

I

Грозные события шли своим чередом, а наряду с ними текла и мелкая будничная жизнь, сотни и тысячи маленьких драм разыгрывались точно так же, как и в мирное время.

В первые дни после разрыва с дочерью капитан Спицын крепился. Уже не раз случалось, что, поссорившись с ним, дочь убегала на день или два из дому и ночевала у знакомых, но теперь проходили дни, недели, месяцы - о Леле не было ни слуху ни духу. Лишь случайно, благодаря наивной болтливости Лихачева, капитан узнал, что дочь его живет у акушерки. Он написал ей письмо, в котором приглашал вернуться, но Леля не последовала приглашению.

Капитан был оскорблен до глубины души и решил предать забвению самое имя дочери. Но это легче было сказать, чем исполнить. Целые дни просиживал капитан в своей "каюте", понуря седую голову и думая о дочери. Только изредка выходил он из дому, осматривая сад, считал попавшие туда снаряды и лазил на чердак и на крышу, чтобы осмотреть состояние своего импровизированного укрепления. Особенно обрадовало капитана возведение редута нашими селенгинцами, так как теперь его дом был с одной -стороны прикрыт от неприятельских выстрелов.

Еще реже отправлялся капитан в библиотеку читать газеты. Большую часть новостей он узнавал частью от Ивана, частью от посещавших его знакомых, с которыми вел длинные споры и беседы. Капитан высказывал довольно верный взгляд на вещи. Он заранее предсказывал неудачу предприятия против Евпатории. Узнав подробности этого дела, бывшего еще до ночного сражения на редуте, капитан резко осуждал генерала, задумавшего эту экспедицию. Генерал этот был Хрулев{131}, которого по сходству фамилий не надо смешивать с Хрущевым, тем более что он вовсе не походил на Хрущева.

Однажды после долгих откладываний капитан вновь посетил библиотеку, не столько с целью читать газеты, сколько из желания встретить кое-кого из знакомых.

Несмотря на свое положение на возвышенности, библиотека нисколько не пострадала от неприятельских выстрелов, хотя бомбы нередко лопались под окнами в саду.

Было время, когда капитан любил морскую библиотеку как

бы свою собственную. Моряки не жалели средств на создание этого книгохранилища: они вносили в пользу ее два процента со своего жалованья.

Поднявшись по мраморной лестнице с бронзовыми поручнями, капитан вошел в комнату, где на столе красного дерева стояла модель корабельного остова, а по стенам висели английские гравюры с изображением морских сражений.

Пройдя другую комнату с моделью целого корабля и книжными шкафами с чудными зеркальными стеклами, капитан увидел, что книг в шкафах уже нет, и, спросив у сторожа, узнал, что их уложили в ящики для отправки в Николаев.

- Что же это, брат? Разве вы собираетесь сдать Севастополь? - с досадою сказал капитан.

- Никак нет, Виктор Иванович, - сказал сторож, отставной матрос, отлично знавший капитана. - Как можно отдать! Сами здесь все умрем, а не отдадим.

- То-то!

Капитан вошел в последнюю комнату - читальню. Посреди комнаты стояло два стола, и на них лежало постоянно шестьдесят шесть журналов и газет на разных языках. Мебель ценного красного дерева была изящна и покойна. Посредине стены, против входа, был сделан чугунный камин.

Приятно и уютно было сидеть и читать в этой комнате, хотя кругом слышался нестерпимый гул от канонады, особенно с третьего бастиона, и часто случалось, что стекла трескались и, звеня, падали на пол.

В читальне сидело человек шесть: один в штатском, один армейский, остальные - флотские офицеры, из которых один оказался приятелем капитана. Они разговорились и, видя, что мешают другим, отправились на маленький бульвар.

Было пять часов вечера. Со второй половины февраля начались теплые дни, и на этот раз по случаю хорошей погоды на бульваре играла военная музыка, бродили офицеры, юнкера, матросы, солдаты; даже видно было несколько дам и девиц в ярких шляпках и бурнусиках, давно вышедших из моды в Петербурге. На нижних дорожках по жидким аллеям, усаженным акациями, ходили парочками. Вот юнкер под руку с молодой девицей, они горячо разговаривают и, быть может, объясняются в любви; а вот и еще пара, дама одета с особенным изяществом, тотчас отличающим ее от провинциалок. Это княгиня Бетси под руку с адъютантом Дашковым. Княгиня повздорила с графом Татищевым и нарочно гуляет с адъютантом, чтобы возбудить ревность графа; граф узнает об этой прогулке из оставленной ему записки. Сам виноват: она просила его идти с нею гулять, а он

отвечал колкостями.

Княгиня говорит с Дашковым о политике, о петербургских сплетнях, о том, что, судя по полученным ею письмам, при дворе весьма недовольны князем Меншиковым, в особенности за евпаторийское дело.

- Да, это была колоссальная глупость, - заметил Дашков. - Хрулев, несомненно, человек безумной отваги и хороший тактик, но плохой стратег. Евпаторию мы могли взять в свое время, но не тогда, когда союзники оказались там и посадили туда чуть ли не двадцать тысяч войска.

Дашков хотел продолжать, как вдруг прибежал камердинер графа с запиской. Княгиня прочитала и, несколько смутившись, просила Дашкова проводить ее домой. Граф писал ей, что по случаю убыли артиллеристов на четвертом бастионе вызывали желающего служить там, что он также вызвался и сегодня же вечером окончательно переселяется на бастион.

Отставной капитан гулял еще несколько времени в саду, потом отправился на один из фрегатов навестить приятелей, но не успел еще дойти до пристани, как встретился с капитаном Зориным, который шел с озабоченным видом.

- Что с вами? - спросил Спицын.

- Знаете, у нас какая-то начинается катавасия. Вы слышали, что светлейшему велено подать в отставку и на его место Горчаков?

- Как? Что? Ну, воображаю. Теперь пойдет еще лучше! Ваш Меншиков был хорош, но уж Горчаков показал себя на Дунае! Воображаю, что он здесь натворит!

- Официально это еще неизвестно, и я вам сообщаю по секрету. Говорят, Меншиков получил от наследника цесаревича весьма гневный рескрипт за евпаторийское дело. Переполох там, в главной квартире, полнейший. Мне сегодня случилось быть у Меншикова по делу. Сам старик все хворает, но бодрится и показывает вид, что ничего не случилось, а видно, что опечален и ждет своей участи. А ведь" сказать правду, чем виноват светлейший? Ему из Петербурга шлют приказание за приказанием, хоть тресни, возьми Евпаторию, он и послал Хрулева, одного из храбрейших генералов, а тот возьми да и наделай глупостей: поставил впереди всех греческих волонтеров и донских казаков. Волонтеры - народ храбрый, но их вели бестолково, как на убой!

Поговорив еще с Зориным, Спицын отправился на фрегат, где гостеприимные хозяева угостили его на славу и оставили ночевать.

За два дня до описанного разговора князь Меншиков,

разбитый физически и нравственно, угрюмый более обыкновенного, сидел в своем кабинете, помещавшемся в Инженерном домике, где у него была квартира о двух комнатах, и разговаривал с Панаевым, жалуясь на всех и на все. В последнее время роль князя, хотя и назначенного главнокомандующим, свелась почти к нулю. Пока был жив Корнилов, иногда действовавший именем Меншикова, пока возможны были битвы вроде удачного балаклавского дела, слава нашего оружия переходила и на светлейшего; но теперь было слишком ясно, что он почти такой же нуль, как и старичок Кизмер{132}, комендант Севастополя, говоривший о себе, что он был сторожем арестантов, а теперь лишен и этой должности, так как арестантов выпустили на свободу.

- Людей нет, никто ничего не смыслит, - как бы про себя сказал Меншиков.

- Ах, ваша светлость, - сказал Панаев, желая развеселить князя, слышали, какой курьез был недавно с одним из наших генералов, мне неловко его назвать, но ваша светлость догадается?! Мне один флотский рассказывал.

- А что такое?

- Да вот что: вздумал генерал, седой, почтенный старец - он в отцы годится вашей светлости, - вздумал показать, что и он кое-что знает в морском деле. Что же? Давай принимать сигналы с телеграфа. Ему дают сигнал: показались неприятельские корабли на зюйд от SO{133}, а он, по сходству, принял за цифру пятьдесят и передает в таком виде. Понятно, на рейде страшный переполох. Я и говорю этому флотскому: однако, господин лейтенант, я вижу, что оный генерал поступил как ветреная блондинка...

- Ветреная блондинка! Ха! Ха! Ха! Да у тебя, братец, язык поострее моего! Ха! Ха! Ха! Ветреная блондинка! Ха! Ха! Ха!

Давно так не смеялся угрюмый князь, и Панаев был очень доволен.

Немного погодя князь сказал серьезным, но уже не мрачным тоном:

- Знаешь, братец, я скажу тебе новость. Думаю, что на днях состоится высочайшее повеление, по которому вместо меня будет назначен другой.

- Быть не может, ваша светлость! Разве кто-нибудь может заменить вас?!

- А князь Михаил Дмитриевич? У него дела пойдут лучше нашего. У него ведь есть организованная армия, а у нас всякий сброд.

- Но, ваша светлость, без вас нам придется оставить Севастополь! совершенно искренне воскликнул Панаев.

- Отчего?

- Оттого, ваша светлость, что имя князя Горчакова не внушает неприятелю страха. В алминском деле англичане, зная, что Горчаков против них, и принимая Петра Дмитриевича за Михаила Дмитриевича, лезли на нас упорно. У них сложилось мнение: где князь Горчаков, там бой не страшен.

- Не знаю, почему англичане сделали о Горчакове такое заключение. Горчаков в молодости был удалым офицером и нередко бывал смелым предводителем охотников... Так ты не желал бы приезда сюда Горчакова?

- Никак нет, ваша светлость. Да и князь Горчаков не согласится. Как тут управиться новому человеку. Ему все будет дико.

- А я так думаю напротив, - сказал Меншиков. - Он будет доволен назначением.

Вошел камердинер князя Разуваев; старик сильно похудел и стал постоянно кашлять.

- Ваша светлость, приехали генерал-интендант господин Затлер и генерал-майор Бахтин.

- Проси.

- Генерал Затлер здесь, а генерал Бахтин еще в Дуванке, только прислал вперед курьера.

- Ну и пусть там сидит. Послушай, Панаев, ты помнишь Бахтина вице-директора комиссариатского департамента? Не понимаю, на кой черт его сюда прислали. Что мне с ним делать? Стар, глуп, мало сведущ и так тучен, что не войдет в мою избушку. Послать ему навстречу фельдъегеря, и пусть убирается домой.

- Ваша светлость, - решился заметить Панаев, - как бы на это не рассердились в Петербурге.

- Пусть сердятся! Это похоже на то, как присылают мне курьеров. Я их всегда отсылаю к Камовскому{134}, чтобы он угощал их. Камовский молодец на этот счет, рассыпается мелким бесом: "Ах, вы голодны с дороги, ах, как вы кстати!" - настоящий дипломат... А то посланный скажет, что армия умирает с голоду. Прислали нам также сестер милосердия. Я знал, что эти сестры будут главными орудиями сплетен. Воображаю, что они пишут обо мне родным в Петербург! Женщины везде одинаковы. Не зная сущности дела, на лету подхватывают всякий вздор, делают из мухи слона, пишут в Петербург кумушкам, а те бьют в набат, и идет кутерьма! Женские языки длиннее и поострее наших. Ах да, я забыл: просить Затлера сюда.

Панаев удалился, и в кабинет вошел генерал с неглупой и с виду добродушной физиономией. Он держал в руках портфель,

который положил на стол, достал оттуда записку, испещренную цифрами.

После первых приветственных слов Затлер просил позволения прочесть записку. Он прочел несколько строк, как вдруг Меншиков, слушая рассеянно, перебил его вопросом:

- Где вы прежде служили?

- До назначения в тысяча восемьсот сорок шестом году генерал-провиантмейстером служил я в артиллерии.

Меншиков вдался в расспросы, не имевшие отношения к делу. Затлер отвечал как мог, наконец спросил:

- Прикажете читать записку?

- Да, читайте.

Послушав еще несколько строк, Меншиков вдруг спросил:

- Вы ведь из Варшавы приехали в армию?

- Из Варшавы.

- Жив ли еще граф Ожаровский?

- Не знаю, кажется...

- Имя Ожаровского, - сказал Меншиков, - напоминает мне одно обстоятельство из кампании тысяча восемьсот тринадцатого года. Я состоял в то время при князе Волконском. После Кульмского сражения государь послал меня осмотреть позицию нашего гвардейского полка. Я возвратился с докладом. "Неправда, - сказал государь, - полки не так расположены". - "Ваше величество, я сам видел". - "Как же Ожаровский доложил мне иначе? Призвать Ожаровского". Он сознался, что сам не был, а говорил со слов других. Вот как иногда исполняют приказания.

Молчание.

Помолчав немного, Затлер спросил:

- Прикажете читать?

- Читайте, читайте!

По окончании чтения Меншиков благодарил.

- Стало быть, ваша светлость, вы утверждаете мой доклад? - спросил Затлер, и лицо его просияло.

- Утверждаю и совершенно разделяю ваши взгляды.

Меншиков еще поговорил с Затлером на ту тему, что нет людей. Генерал Семякин - глухарь, Герсеванов{135} ничего не понимает, и так далее.

Затлер ушел от князя весьма довольный. Он страшно боялся за этот доклад, так как знал, что вследствие мошенничества подрядчика Цуккермана и его собственных подчиненных произошла утайка семисот тысяч казенных денег. Но Меншиков утвердил доклад, не вникнув в его содержание, и, стало быть, концы в воду опущены, так как проверять никто не станет.

Генерал Семякин, начальник штаба сухопутных и морских

сил, был человек честный, прямой, бесхитростный, не особенно далекий, но вполне добросовестно старавшийся исполнить свои многотрудные обязанности. После балаклавского дела вследствие контузии он стал очень туг на ухо, чувствовал постоянные головные боли и шум в голове. Но это не мешало ему теперь трудиться и корпеть над бумагами с утра до вечера.

Капризному нраву князя Меншикова угодить было нелегко. Семякин работал как умел, никогда не унижаясь до лести и угодливости, иногда свойственной даже и талантливым натурам, а тем более людям дюжинным.

"Благодарю Господа, - рассуждал сам с собою Семякин, - что до сих пор могу потрафить князю: он, мне кажется, привык к моей прямоте; не знаю, как в душе у него, трудно разгадать. Вижу - доверяет. Все доклады идут без затруднений, все он утверждает. Делом его я не утомляю..."

Но бывали и такие минуты, когда Семякин не знал, что делать с князем.

"Бог его знает! Сердится чего-то, а чего - неизвестно, - думал Семякин. - Все не так, все не по его. Видно, что он избалован льстецами, которые все выставляют в розовом свете, я же, напротив, черное - черным. Говорю ему правду как главнокомандующему и как отцу, быть льстецом не умею, командовать не хочу и держу себя тем, чем должен быть его помощник".

Великие князья любили Семякина, и это утешало его во всех горестях. Раз как-то, когда Меншиков был болен, к Семякину заехал великий князь Михаил Николаевич и нашел старика чуть не по уши в бумагах.

- Ну, - сказал великий князь, - теперь не удивляюсь, что редко вас вижу. Дай вам Бог здоровья! Не уставайте, будьте молодцом.

"Да, недаром я начальник штаба сухопутных и морских сил!" - с гордостью подумал Семякин.

Мало-помалу и сам Меншиков переменил сердитый тон на дружественно-величественный и на все, что ему предлагал Семякин, отвечал:

- Делайте, это хорошо.

В день неудачного евпаторийского дела Семякин с утра до трех часов был на открытом воздухе, а этот день был морозный, с метелью; старик сильно простудился и слегка занемог. Едва он успел оправиться, как Меншиков послал его осмотреть и расформировать прибывшую в Бахчисарай резервную бригаду. По дороге в Бахчисарай Семякин был поражен множеством всюду валявшихся трупов воловьих и лошадиных; брошенные повозки также валялись всюду. Это было ясным доказательством

справедливости слухов, гласивших, что интенданты и "комиссариат" буквально губили злополучных погонцев. В ханском дворце Семякин был ошеломлен необычайным смрадом. Оказалось, что здесь гнили полушубки, все еще не прибывшие в армию, хотя зима близилась к концу. Солдаты защищались от непогоды рогожами, а полушубки отравляли воздух в городе, где был военный госпиталь.

Провозившись два дня в Бахчисарае, Семякин поспешил в Севастополь, но, к немалому изумлению и огорчению своему, узнал, что светлейший болен и по совету врачей уехал в Симферополь. Это известие, как удар обуха до голове, ошеломило Семякина. Он более всего боялся, что не будет в состоянии справиться с делами. Он полетел к Остен-Сакену, которому Меншиков сдал начальство. Остен-Сакен сам ничего не знал и не ведал.

- Видели ли вы князя? - спросил он Семякина. - Нет? Ну так поезжайте, догоните, догоните его, он вас требует.

Не зная, что все это значит, Семякин поскакал к великим князьям и узнал, что Меншиков, по всей вероятности, будет сменен, так как государь им недоволен.

В два часа ночи Семякин поскакал на перекладной и днем догнал Меншикова в Бахчисарае, где князь остановился ночевать. Грязь была невылазная. Меншиков устал с дороги и был совершенно придавлен нравственным ударом, полученным им, когда он прочел рескрипт цесаревича... Этот рескрипт был равносилен повелению подать в отставку.

Меншиков принял Семякина радушно и даже задержал его на целый день. Ему хотелось перед кем-нибудь отвести душу. Он показывал Семякину некоторые письма государя, долго рассуждал с ним, наконец поздно вечером благословил его и сказал: "Продолжайте работать... Сакен об вас очень хорошего мнения, я поправлюсь, приеду".

Семякин поскакал обратно. На рассвете он, несмотря на глухоту, услыхал знакомые звуки севастопольской канонады, часа полтора поспал и поехал к Сакену. Дел было по горло. Надо было писать кучу писем, посылать в Петербург флигель-адъютанта, писать приказы. Семякин работал всю ночь. На следующий день работы опять было гибель. Вечером Семякин опять работал. Вдруг входит адъютант великих князей:

- Их высочества просят вас к себе, они через час едут в Петербург.

- Что такое? - спросил Семякин, думая, что ослышался.

Адъютант как можно громче повторил те же слова.

- Боже мой! Что же это значит?

Семякин сел на коня и поскакал к великим князьям, жившим весьма в скромном помещении. Он застал обоих великих князей в глубоком огорчении. Николай Николаевич взволнованным голосом сказал:

- Дорогой Константин Романович, мы получили горестное известие. Мы должны спешить в Петербург. Не только государыня, но и государь болен, и трудно болен.

Михаил Николаевич также сказал несколько слов и, чуть не рыдая, обнял и поцеловал Семякина.

- Застанем ли мы его? - спрашивал он.

Семякин был так поражен, что не знал, что ответить.

"Государь трудно болен... Его огорчила Алма, потом Инкерман и окончательно евпаторийское дело, само по себе неважное, но крайне обидное для русского чувства..." - так думал Семякин.

В десять часов вечера великие князья умчались в Петербург.

Дела в Севастополе шли недурно. Впереди Селенгинского редута возник еще один - Волынский и был заложен третий. Под Евпаторией наши уланы поколотили зазевавшийся турецкий отряд и татар. В газетах стали носиться слухи, что придут еще новые неприятели - сардинцы, но над этим новым врагом только смеялись. Разнесся слух об окончательном назначении Горчакова.

Слух этот был подтвержден запискою, полученною Семякиным из Симферополя. Меншиков писал: "Получил письмо наследника, уведомляющего меня, что я увольняюсь по болезни от звания главнокомандующего и что князь Михаил Дмитриевич Горчаков назначен на мое место".

Вскоре после этого на всех севастопольских бастионах появились полковые священники для отправления панихиды по императору Николаю Павловичу.

Слух о смерти государя разнесся еще за два дня до этого. Впервые он был сообщен неприятелем во время переговоров, но казался невероятным. Теперь, конечно, не оставалось более места для сомнений. Многие старые солдаты плакали. Молодежь понурила головы. Большинство не могло себе отдать полного отчета в состоянии собственных чувств.

III

Был май 1855 года.

Одинокая, истомленная нравственными муками и тяжелою беременностью, проводила Леля день за днем в своей конурке и, несмотря на чудную погоду, не выходила даже погулять, апатично выслушивая наставления и даже брань акушерки.

- Да послушайте, матушка, перестаньте вы ломаться и строить комедии! говорит ей Ирина Петровна. - Пойдите гулять.

Сюда бомбы теперь не залетают, бояться нечего, а убить могут и в подвале.

- Да мне все равно... хоть совсем не выходить.

- Вам все равно, а ребенку не все равно.

- Ах, Ирина Петровна, я теперь ничего не желаю, кроме смерти... И себе, и ему.

- И не грех вам говорить этакие вещи? Да вы что, христианка или язычница? В Бога не верите?

- Верю, Ирина Петровна, и каждый день молю Его послать мне скорее смерть... Смерть - избавление от всех мук. Нет, я не переживу этого.

- Стыдитесь! Посмотрели бы вы, как простые бабы рожают. Вот у них бы поучились терпеть. А вы только и знаете, что хныкать.

- Я сознаю, что я очень дурная женщина, Ирина Петровна, и я буду очень дурной матерью. Я возненавижу своего ребенка, я не могу мысли перенести, что у меня будет ребенок.

- Э, да с вами после этого не стоит и говорить. Сидите себе и хныкайте, - решила Ирина Петровна и погрузилась в свою работу: она шила чепчик для будущего малютки.

- Ирина Петровна, вы знаете, что отец прислал мне денег? Я не хотела брать, а потом раздумала и взяла. Это все же лучше, чем брать у старушки няни... Ах как я себя ненавижу и презираю! Дойти до того, чтобы жить на средства бедной старушки и вдобавок объедать вас.

- Да перестанете вы сегодня говорить глупости? Что, я вас гоню, что ли? Расплатитесь со временем, надеюсь, не обманете.

Вдруг Леля вздрогнула и улыбнулась.

- Ирина Петровна, мой малютка разбушевался. Скажите, это он ножками так толкает?

- Ну да, ножками, а может быть, и ручками.

- Бедный малюточка! Спит себе, как в темной колыбельке, и ровно ничего не думает, - сказала Леля. - Опять разбушевался мой шалунчик, и как он больно мне делает... Я так боюсь за него... Сколько и мне, и ему повредили эти страшные бомбардировки... На Светлый Праздник я чуть с ума не сошла, так боялась, не за себя, а за него... Я слышала, старуха за стеной говорила со своей дочерью; дочь уверяет со слов какого-то матроса, что завтра опять будет сильная бомбардировка.

- Ну да ведь часто врут, - сказала Ирина Петровна. - Идите же погуляйте, потом, с Богом, ложитесь спать.

Леля наконец решилась выйти подышать воздухом и, почувствовав себя гораздо лучше, легла спать.

Утром Леля была разбужена выстрелами, но только в три

часа пополудни послышались первые страшные залпы. Значение этих залпов Леля понимала. "Бомбардировка!.." - мелькнуло у нее в уме, и, надев туфли на босую ногу, она выбежала на улицу; в воздухе уже носились снаряды, страшный гром стоял над Севастополем. Весь вечер Леля провела в состоянии, близком к сумасшествию. Каждый выстрел отзывался во всем ее существе и еще в другом крохотном существе, чья жизнь была связана неразрывно с ее собственной; это существо также обнаруживало беспокойство и шевелилось сильнее обыкновенного.

Леля пряталась куда могла, забивалась в угол, уходила в погреб, в чулан, на чердак. Ирина Петровна выбилась из сил, стараясь успокоить ее, и наконец махнула рукою, решив, что та сама одумается. Но и ночью бомбардировка не прекращалась, и тучи снарядов проносились над Корабельною.

На бастионе шла работа еще с утра, но сначала не представляла ничего особенного. Обитатели бастионов за последнее время так привыкли к перестрелке с неприятелем, что их тревожил не гул орудий; а, напротив того, молчание их. Часто случалось, что по какой-либо причине неприятель прекратит огонь; тогда у нас строили догадки: что бы это значило? И по большей части думали: такое зловещее молчание, наверное, предвещает штурм. Штурма севастопольцы боялись хуже всего, так как еще ни разу не испытали его.

Утром, задолго до начала настоящей бомбардировки, когда была слабая перестрелка на левом фланге, генерала Хрулева, храбреца, так неудачно поведшего евпаторийское дело, посетил генерал Шульц, только что перед тем назначенный начальником 2-го отделения оборонительной линии.

Как человек новый в Севастополе, куда он приехал недавно из Кавказской армии, Шульц начал с того, что перезнакомился с севастопольцами. Все приняли гостя радушно. Горчаков за три дня до бомбардировки пригласил его на обед. Остен-Сакен усадил на своей оттоманке и подробно расспрашивал о Кавказе, о нашей победе над турками при Баш-Кадыкларе и просил переехать к нему, в Николаевские казармы, а потом повел его на домашнюю церковную службу, при которой присутствовала вся прислуга Остен-Сакена. Постояв немного, Шульц отправился к Пирогову, который жил против Сакена, в поместительной квартире с отличною мебелью, посетил коменданта Кизмера, с легкой руки Панаева прозванного Ветреною Блондинкой, - старика, убеленного сединами, ходившего с палкой.

Старичок, однако, не показался Шульцу комичным, а, напротив, почтенным. Все его семейство жило еще здесь.

Побыл приезжий и у Васильчикова{136}, милого, изящного

аристократа, был у Тотлебена, которого застал в саду, усаженном тропическими растениями.

Почти все, кого видел Шульц, резко осуждали Горчакова. Сам главнокомандующий - старик в очках, вечно озабоченный и страшно рассеянный, - жаловался, что его принуждают к вылазкам.

- Я знаю, к чему бы это привело, - говорил он. - Сделай я сегодня такую вылазку, какой хотят Хрулев, Тотлебен да и многие другие, то вышло бы вот что: сегодня мы бы имели успех, завтра написали бы громкую реляцию, а послезавтра потеряли все войско... И что сказали бы обо мне в Петербурге, если бы я стал действовать наобум! Во всяком деле надо терпение, надо выжидать момент! Мы не должны вдаваться в рискованные предприятия!

В таком же роде говорил преданный Горчакову Коцебу{137}, интриговавший против Тотлебена.

Особенно резко осуждал главнокомандующего Пирогов.

- Меншиков был недоверчив и скуп, - говорил Пирогов, - но при нем хоть что-нибудь делалось. Теперь здесь единственный, кто мог бы поправить дело, это Тотлебен; но посмотрите, как все против него интригуют!

Хрулев жаловался, что ему дают приказания, которые одно другому противоречат.

- Знаете, - прибавил он, - почему мне не дают дивизии? Только потому, что я артиллерист... Бестолковщина у нас полнейшая...

Утром двадцать пятого мая Шульц опять посетил Хрулева. Тот был в крайне раздраженном состоянии, бранил Горчакова и наконец сказал:

- По-моему, только немедленная атака неприятеля всеми нашими силами на один пункт может привести к чему-нибудь.

- Но у неприятеля теперь войска чуть не вдвое более, чем у нас, возразил Шульц. - И где вы видите, позвольте спросить, такой стратегический пункт?

Хрулев замялся.

- Ну, найти можно! - сказал он.

Шульц был приглашен обедать к Пирогову, у которого всегда было большое общество. Только что кончили обед, как послышался рев орудий.

Секретарь Пирогова, доктор Обермиллер, прискакал к дому и закричал с улицы:

- Канонада! Канонада! Врачи на главный фербант{138}!

Все обедавшие разбежались. Пирогов лег спать, зная, что всю ночь ему придется работать на перевязочном пункте; Шульц

послал денщика к князю Васильчикову - просить лошади. Ему привели лошадь, но без казака, и генерал поскакал на четвертый бастион по Морской. По всей длине улицы ложились снаряды.

Подъехав к траншее и отдав лошадь саперам, Шульц пошел пешком. Ядра взрывали песок и камни. Множество артиллеристов спешили из города, от обеда, занять свои посты на батареях; в числе их был и граф Татищев, только что обедавший дома и простившийся с княгиней, которая уже вполне примирилась с ним и отпустила его, рыдая, благословив его.

На самом бастионе было немного офицеров: остальные попрятались в блиндажах. Матросы работали у орудий молодецки. Орудийная прислуга суетилась, из землянок сыпались матросы, на бегу надевая куртки. С ревом, визгом и шипением неслись на бастион неприятельские снаряды. Налево уже слышался гром наших орудий с других бастионов. Четвертый бастион также спешно готовился принять участие в борьбе. Банники работали, на платформах слышалось мирное: раз-два-а, раз-два-а!

- Твое куда наведено? - спросил одного из комендоров стоявший подле флотский офицер.

- Туда.

- Валяй!..

- Товсь! - гаркнул комендор, отскакивая от орудия, и дернул шнурок.

Пушка, визжа, отпрыгнула, и граната понеслась. Один из матросов вскочил посмотреть.

- Не донесло!

Офицер сам навел орудие, но неудачно. Третий снаряд попал хорошо, комендор отметил мелом на подъемном клине.

Но несколько погодя уже трудно было думать о прицеле. Наши и неприятельские выстрелы - все слилось в непрерывный рев.

Промежутков между выстрелами не было, и только сила рева то возрастала, то понижалась. В воздухе и в земле слышалось что-то вроде стона.

Дым так сгустился, что орудия направляли наугад. Огонь неприятеля становился все губительнее. Бомбы рвались над головами, уже была убыль в прислуге, но комендоры живо отстреливались. Поджарый мальчуган, босой и засаленный, с виду лет пятнадцати, метался как сумасшедший, поднося картузы{139} и снаряды.

- Гранату! - кричат комендоры. - Ядро!

При крике "ядро" он нес заряды, так как самые ядра лежали у орудий. В этом хаосе звуков он как-то различал, откуда и кто что

требует.

Шульц, впервые видевший подобное зрелище, невольно подивился и крикнул:

- Я назначен вашим начальником. Рад служить с такими молодцами!

- Рады стараться!

- Все посторонние, укройтесь в блиндажах, но артиллерийским офицерам быть на своих постах.

Прятавшиеся офицеры вышли из блиндажей. Прятались из трусости весьма немногие, а большею частью просто из лени и небрежности.

"Успею еще", - думал каждый.

Шульц с несколькими офицерами пошел осматривать бастион. Что эти офицеры были не трусы, видно из следующего. Идя к самому опасному месту, они даже не предупредили генерала, боясь его обидеть. Только один из них, когда генерал хотел повернуть вправо, сказал:

- Я иду с вами, но дорога эта ведет к смерти!

- Извольте, идем влево, - сказал генерал.

Едва они сделали два шага, как ядро ударилось в землю, разбрасывая камни. Один из камней ушиб генерала в кисть руки, другой хватил в лицо офицера, который лишился чувств. В то же время убило ядром одного мичмана, а удачно пущенные неприятелем две бомбы переранили более пятидесяти человек.

К тому же времени началась пальба и с Корниловского бастиона, это имя в честь убитого здесь Корнилова получил Малахов курган. Здесь же был в марте убит Истомин: ему ядром оторвало голову, и кости его черепа контузили нескольких офицеров.

Теперь здесь командовал уже другой начальник, и каждый день приходил сюда Павел Степанович Нахимов.

Вот сложенный из ядер крест - это памятник, положенный на том самом месте, где погиб Корнилов.

Может показаться невероятным, но это исторический факт, что в то время на Малаховом кургане, против которого неприятель вел теперь свои главные работы, у нас почти не было войска. Десятка три-четыре пластунов да матросы, составлявшие орудийную прислугу, - вот и все. Остальные войска, которым следовало быть здесь, находились на Корабельной слободке: так распорядился новый начальник левого фланга генерал Жабокритский, один из тех бестолковых генералов, которыми, к сожалению, изобиловала наша армия. На Камчатке, самом передовом из наших укреплений, где ежеминутно можно было ждать штурма, находилось всего триста пятьдесят человек

Полтавского полка.

Но жарче всего было на передовых редутах. Еще с утра здесь засвистели пули. Утром на Селенгинском редуте можно было видеть воплощенную картину русской беспечности. Большинство орудийной прислуги спало около орудий. Некоторые матросы свернулись, другие растянулись на платформах, не чувствуя, что через них шагали и наступали им на ноги. По случаю вчерашней попойки многие из матросов представляли различные стадии состояния невменяемости. Старый, рыжеватый и рябой комендор Фоменчук, считавший своей обязанностью напиться в праздник, а иногда и в будни до бесчувствия, сидел уже на лафете. Проснувшись с похмелья, он был всегда в самом свирепом настроении духа. Двое матросов сидели на "медведке", то есть на пушечном станке. Опершись о винград, стоял рекрутик, недавно поступивший в экипаж и совсем еще не похожий на матроса.

Вдруг к трем часам в цепи, залегавшей в ложементах{140}, впереди Камчатки, и состоявшей всего из сотни штуцерных Владимирского полка, послышалось несколько отдельных выстрелов, и вслед за тем затрещала стрельба по всей цепи.

Офицеры, большею частью пившие чай, поспешно высыпали из землянок. Раздалась команда: "К орудиям!" Впереди уже гремела канонада. Из амбразуры Волынского редута вырвался огонь, грянул выстрел, и редут заговорил всеми орудиями переднего и правого фасов. По гребню бруствера бегло засверкал огонь.

С Селенгинского редута палили картечью. С шипением выносилась картечь из передних амбразур. Но вот засверкал и левый фас Камчатки и вслед за тем заревели орудия оборонительной линии от первого бастиона до Малахова кургана.

Снаряды неслись и с фронта и с тылу через "Трех отроков".

Наши бомбы взвивались из-за Килен-балки, останавливались над Волынским редутом, и казалось, вот-вот упадут на него, а между тем падали больше в Георгиевскую балку. Одна из бомб, брошенная со второго бастиона, начала было опускаться на передний левый угол Волынского редута, но лопнула в воздухе, и осколки разлетелись за валы. Несмотря на треск и грохот, можно было разобрать, что неприятельские полки не приближаются и что штурма ,еще бояться нечего.

Вскоре канонада гремела по всему левому флангу. Белые, наклоненные в одну сторону столбы дыма протянулись по отлогим холмам Корабельной и вдоль оборонительной линии, от Волынского редута до четвертого бастиона. Местами они сливались в густой туман, который покрывал все: батареи, горы, здания, но вдруг на фоне этого тумана снова появилось, как

исполинский парус, белое облако, и долго плывет, не рассеиваясь. Сверкают едва заметные огни, перекатываются выстрелы, взвизгивают ядра, мерно звякают двухпудовые бомбы, глухо рокочут чудовищные шести- и двенадцатипудовые, бросаемые неприятелем. Ударится бомба, брызнет фонтаном взброшенная земля, и послышится глухой взрыв; а иной раз слышно гудение осколка.

Жестоко пострадали наши передовые редуты. На них падало до пятнадцати бомб разом. Бруствера пронизывало ядрами насквозь. Редуты Селенгинский и Волынский, отрезанные от ближайших бастионов широкой балкой, казались жертвой, брошенной в огненную печь, вполне оправдывая свое прозвище "Трех отроков в пещи". Раненых приходилось носить отсюда за три версты на ближайший перевязочный пункт, в Доковую балку, через горы и овраги и под градом выстрелов.

Немногим лучше было на бастионах. На Малаховом кургане и третьем бастионе удачно отвечали неприятелю, но с течением времени и здесь выстрелы становились реже. Камчатка к вечеру совсем смолкла или, правильнее, почти была сметена неприятельскими бомбами. Вал исчез: вместо него громоздились кучи земли, растрепанные туры и фашины, валялись разбитые платформы, торчали из земли доски; многие орудия были до половины засыпаны землею.

В городе все были смущены этой бомбардировкой превосходившей две предыдущие. Особенного страха, впрочем, нигде не замечалось. Слишком уже привыкли все к подобным сценам.

Неприятельский огонь не прекращался в течение всей ночи. Утром Камчатка представляла груду развалин. К восьми часам утра огонь наших бастионов и батарей ослабел; один только третий бастион настойчиво боролся с англичанами.

Четвертый бастион неприятель громил до поздней ночи. Командир бастиона капитан Реймерс{141} был ранен в голову, но после перевязки остался на позиции. Многие офицеры были ранены. Одна из неприятельских бомб, разорвавшись в нескольких шагах от графа Татищева, ранила его осколком в ногу.

Граф сел, схватился за ногу и спокойно сказал:

- Нога капут!

Рана была серьезная. Подбежавший офицер разрезал графу сапог: обе кости выше щиколотки были раздроблены. Графа уже собирались нести на перевязочный пункт, как вдруг на площадке бастиона в сопровождении одного из офицеров появилась, ко всеобщему удивлению, хорошо одетая дама. Собственно,

появление женщины не удивило бы никого: в течение дня приходило немало матросских жен и в самый разгар канонады явился неизменный продавец булок, мужик в кучерском армяке, всегда полупьяный и всегда водивший с собою на бастионы десятилетнюю девочку, свою дочку, которая сначала плакала от страха, а потом привыкла.

Но явившаяся теперь дама была не матроска, и появление ее возбудило общее любопытство

- Ради Бога, скажите же, где граф, не мучьте меня! - говорила она сопровождавшему ее офицеру.

Это была княгиня Бетси. Долго она прислушивалась к грозным звукам канонады, и на нее напал страх: ей почему-то показалось, что графа непременно убьют. Промучившись весь день, она наконец не выдержала и поехала, а потом, сойдя с лошади, побежала на четвертый бастион. Местность она несколько знала, так как давно еще, воспользовавшись временным затишьем, упросила графа показать ей этот знаменитый бастион, а у нее была хорошая память на места. Тем не менее она легко могла бы заблудиться, если бы не встретила офицера, который, получив легкую рану, был на перевязке и теперь опять возвращался на бастион.

Увидя графа раненым, Бетси истерически расхохоталась и стала говорить совсем несообразные вещи, так что ее можно было принять за сумасшедшую. Гром орудий еще раньше довел ее нервы до крайнего напряжения.

- Ах как у вас тут хорошо, на бастионе, - говорила она. - Ха! Ха! Ха! Только зачем вы положили моего мужа так неловко на такие гадкие носилки? Ведь вы знаете, это мой муж! У меня его никто не отымет! Ха! Ха! Ха! Ты ранен, мой милый? Бедный, бедный! Ха! Ха! Ха! Ха! Не думайте, что я боюсь... Ничего страшного нет, ничего, ничего, ничего... Меня никто не смеет выслать в Петербург. Я останусь с ним... Отдайте мне его!

Капитан Реймерс поручил одному из молодых мичманов проводить княгиню, которая ухватилась за носилки; ее с трудом могли уговорить, и она наконец позволила нести носилки, а сама, не обращая внимания на падавшие близ нее снаряды, шла за ними, опираясь на руку мичмана и продолжая смеяться и говорить бессвязные фразы.

Княгиня опомнилась только, когда носилки прибыли на главный перевязочный пункт, снова переведенный в Благородное собрание. В первой огромной комнате висели койки и стояли кровати, из которых лишь одна была пуста, и на нее положили графа. Поминутно слышались крики: "На стол!", "На койку!", "В дом Гущина!". Дверь налево в ампутационный зал была открыта

настежь. Оттуда слышались стоны и крутая солдатская брань: ругались солдаты, усыпленные хлороформом. Некоторые раненые были положены прямо на пол.

В то самое время, когда внесли графа, в ампутационный зал вошел старик в солдатской шинели нараспашку, из-под которой выглядывала длинная красная фуфайка, какие носят скорее бабы, чем мужчины. На голове у старика был картуз, из-под которого выбивались клочки седых волос, спускаясь на висках. Старик отправился к зеленому столику, стоявшему в углу комнаты, и сел у столика, молчаливый, задумчивый и, казалось, безучастный ко всему окружающему. Это был Пирогов.

Вокруг маленького операционного столика толпилось несколько медиков, сверкали ножи и пилы, текла ручьями кровь, и жирный, опьяняющий запах ее пополам с запахом хлороформа бил в нос всякому, приходившему сюда со свежего воздуха.

Минуту погодя к Пирогову подошел один из докторов и спросил его о чем-то. Пирогов встал, и сосредоточенное выражение его лица стало еще более серьезным, но приняло оттенок особой уверенности. Он подошел к столу, взглянул на лежавшего пациента и, взяв нож, сделал несколько взмахов.

- Гениально! Гениально! - шептались между собою доктора, изумленные новым, небывало смелым приемом, который был придуман Пироговым тут же с экспромта.

Но носилки следовали за носилками, операция за операцией, и никакая гениальность не могла бороться с такою массою работы. Серьезное выражение лица Пирогова сменилось озабоченным; засучив рукава с окровавленными руками, он сновал взад и вперед по палате, как будто отыскивая кого.

Вошел офицер, назначенный дежурным, никогда еще не видевший Пирогова.

- Что мне здесь делать, доктор? - спросил он, не догадываясь, что имеет дело с знаменитостью.

- Делайте что хотите! Тут некогда разговаривать с вами: видите, какая каша. А вот, подержите-ка мне этого молодца!

В углу стоял солдатик с простреленным пулею большим пальцем. Пирогов сделал знак фельдшеру.

- Этого без хлороформа, нет времени! - сказал он и при содействии офицера и фельдшера принялся за вылущивание пальца. Солдат стал кричать и барахтаться.

- Молчи, не то всю руку отрежу! - прикрикнул Пирогов.

Солдат перестал барахтаться, но отрывисто вопил:

- Ваше благородие! Явите божескую милость! Заставьте Бога молить!

Но операция была уже кончена, и фельдшер начал

перевязывать.

- Это что за чудак-оператор? - спросил офицер.

- Как! Вы Николая Ивановича не знаете? - спросил фельдшер, с некоторым сожалением взглянув на офицера.

"Дай Бог и не знать!" - мелькнуло в уме у дежурного офицера, но из любопытства он стал искать знаменитого оператора, чтобы еще раз взглянуть на него. Пирогов уже ушел в другую комнату, где кипели самовары и сновали сестры милосердия в белых капюшонах, а также солдаты, фельдшера. Здесь же была княгиня, умолявшая одну из сестер дать графу Татищеву поскорее хоть стакан чаю, так как раненого мучила жажда.

Дежурный офицер наткнулся на носилки, в которых несли неопределенную массу, издававшую едва внятный, изнемогающий стон. Заглянув поближе, он увидел окровавленные кишки вперемешку с кусками одежды пластуна и еще какую-то кровавую массу вместо головы.

- Этого в Гущин дом! - решил, махнув рукою, попавшийся тут же дежурный врач. - Нечего было и носить сюда!

Офицер знал, что в дом Гущина несут лишь безнадежных. Только что пронесли эти носилки, как внесли другие и, сняв с них раненого, положили его на кровать подле той, где лежал граф Татищев.

Княгиня добыла наконец стакан чаю и принесла графу. Он с благодарностью посмотрел ей в глаза.

- Кажется, мне лучше, Лиза, - сказал он слабым голосом. - Думаю, что обойдется без ампутации.

- Я уже хлопотала о тебе, - сказала княгиня. - Тут ничего не добьешься. Едва могла найти Пирогова. Тебя перенесут в другую палату, там будет спокойнее... Здесь такой шум, такие ужасы...

Татищев пристально вглядывался в только что принесенного раненого... "Неужели это он?" Граф вздрогнул. Да, действительно он. От волнения графу сделалось хуже, его стал мучить озноб. В раненом граф узнал отца Лели капитана Спицына. Графа так потрясла эта неожиданная встреча, что он вскоре стал бредить и впал в забытье. Княгиня не спала всю ночь, ухаживая за ним.

Утром графа перенесли в другую палату, так как нашли, что дело обойдется без ампутации. Как нарочно, в эту же палату перенесли и капитана.

Капитан Спицын был ранен осколком бомбы, влетевшей в трубу его дома и разнесшей в прах все убранство его "каюты". Очнувшись, капитан сказал только:

- А ведь про трубу я и забыл! Ну что стоило засыпать ее землею!

Осколком бомбы его ранило в живот, и доктора сомневались

в выздоровлении, так как помощь была подана слишком поздно: много времени прошло, пока Иван успел найти носильщиков, и капитан велел во что бы то ни стало нести к знакомому флотскому доктору, служившему теперь на главном перевязочном пункте.

Утром у капитана живот потемнел, и доктора обнаружили признаки начавшейся гангрены. Знакомый доктор со слезами на глазах сказал об этом капитану.

- Ну, что же, умирать когда-нибудь надо, - сказал спокойно капитан. Доктор, у меня есть к вам просьба. Исполните?

- Как вы можете спрашивать!

- Видите эту даму, сидящую у изголовья молодого артиллерийского офицера. Попросите ее подойти сюда, мне надо сказать ей несколько слов.

Доктор исполнил поручение.

Граф спал, и княгиня, ничего не зная о капитане, не нашла возможным отказать раненому. Она подошла к нему.

- Скажите, сударыня, обманывают ли меня глаза или нет, ведь это граф Татищев лежит там?

- А вы знаете графа? - с живостью спросила княгиня.

- Знал, знал немного... Простите за вопрос: мне уже не долго жить и мне простительно любопытство... Вы его супруга, родственница или просто знакомая?

- Знакомая, хорошая, старинная" знакомая, - слегка покраснев, сказала княгиня.

- Больше ничего, сударыня. Благодарю вас, не отказали ответить старику. Еще одна просьба: позовите сюда сестру, которая утром давала мне лекарство, ее фамилия, кажется, Лоде.

Княгиня исполнила и эту просьбу и поспешила опять к изголовью графа.

Капитан попросил сестру милосердия достать ему клочок бумаги и карандаш и, несмотря на нестерпимую боль, мучившую его, кое-как нацарапал записку, умоляя сестру Лоде доставить ее каким бы то ни было образом по принадлежности. Записка была адресована на имя дочери.

"Боже мой! А ведь, говорят, Корабельная вчера страшно пострадала!" мелькнуло в уме капитана.

- Ради Бога, скорее, скорее пошлите записку! - умолял он сестру милосердия, которой удалось отыскать казака, взявшегося мигом исполнить поручение.

Часа через два в палату вошла бледная, с исхудалым лицом, но слишком полной талией молодая женщина, в которой нелегко было сразу узнать прежнюю Лелю. Она шла довольно быстро, но все же, проходя мимо кровати графа Татищева, не могла не

заметить его, так как граф уже проснулся и, сидя в постели, смотрел на входную дверь. Глаза их встретились, и Леля, вскрикнув, упала без чувств на пол. Княгиня видела это, заметила смущенный взгляд графа, дрожащего как в лихорадке, вспомнила историю с письмом и чутьем, свойственным ревнивым женщинам, мгновенно поняла все. Она бросила на графа гневный, уничтожающий взгляд и, овладев собою, первая подбежала к Леле, чтобы подать ей помощь.

Старик капитан отвернулся и потихоньку плакал.

"Как она любит этого негодяя! - думал он. - Бедняжечка! А я чуть-чуть было не проклял ее из-за этого мерзавца! Бедная, бедная моя девчурочка!"

Уведя очнувшуюся Лелю в другую комнату и попросив одну из сестер милосердия позаботиться о ней, княгиня возвратилась к графу.

- Вам теперь легче, - сказала она. - В этой палате лежат лишь труднобольные, и стоны их будут беспокоить вас. Я попрошу, чтобы вас перенесли в другую палату. Доктор обещал устроить вас как можно удобнее.

Граф не возражал. Он был слишком слаб и слишком угнетен нравственно, чтобы противиться этой энергичной женщине.

Когда Леля спустя полчаса, собравшись с духом, опять шла в палату, графа уже там не было, и по указанию сестры милосердия она подошла к отцу и стала на колени у его кровати.

Старик хотел наклониться, чтобы поцеловать ее в голову, но не мог, и от усилия его схватили такие боли, что он вскрикнул. Леля должна была встать и наклониться над ним. Она целовала его руки, и капитан почувствовал, что на них капнула не одна слеза.

- Папочка, дорогой, ты простил меня? - шептала Леля.

- Простил, моя дорогая Лелечка, дочечка моя... Умру я, Лелечка, чувствую, что умру. Благословляю тебя... - Капитан остановился, но потом продолжал спокойно: - И моего внука или внучку, кого Бог пошлет. Не тужи, Лелечка, бедный твой крошка ни в чем не виноват, люби его, забудь только этого... негодяя, погубившего тебя... Ты была молода и неопытна... Да и я сам, старый дурак, во многом виноват! Разве я тебя воспитывал?! Разве может старый хрыч воспитывать девушку?! Ах, будь жива твоя мать! Все было бы иначе!

- Папочка, дорогой! Ты выздоровеешь, будем опять жить вместе.

- Думай теперь о себе и твоем малютке, а мне и без того давно в гроб пора! Куда я гожусь? Другие за отечество умирали, а я того не сумел. Сиднем сидел, на печи лежал и ждал у моря

погоды! Назначения ждал! Другие и без назначения шли! Вот намедни один такой же отставной, как я, сам пошел на бастион и без спросу давай наводить пушки и командовать матросами! И что же, говорят, две пушки у англичан подбил!

Капитан утомился от разговора и совсем ослабел. Подошел доктор и запретил ему говорить. Леля сидела подле отца до поздней ночи. Ничто окружающее, кроме этого больного, не интересовало ее. Она сначала не обратила внимания даже на чувствуемые ею боли - последствие неловкого падения, когда с нею был обморок. Она не заметила, как в четыре часа пополудни опять усилился рев орудий вследствие возобновившейся бомбардировки.

Дни и ночи сидела она у изголовья отца, равнодушно слушая разговоры фельдшеров и сестер милосердия, рассказы о том, что французы овладели всеми тремя нашими передовыми редутами, и рассуждения о последствиях этой нашей неудачи. Капитан встрепенулся, услыша это известие, и слабым голосом проговорил:

- Ну, теперь нашему флоту придется удалиться от верховья бухты, иначе их совсем забросают бомба- ч ми.

А лежавший тут же офицер Волынского полка с досады даже заплакал, как ребенок. Для Лели все это казалось чем-то отдаленным, не касающимся ее, и она осталась бы безучастною, даже если бы ей сказали, что неприятель взял самый Севастополь. Что ей было до Севастополя, когда здесь, в этом госпитале, сосредоточились все ее прошлое, настоящее и будущее: погибшая любовь, умирающий отец и внутри ее самой биение новой, таинственной жизни, слитой в одно нераздельное целое с ее собственным существованием.

IV

Вот что происходило в эти дни на бастионах.

На второй день бомбардировки храбрый генерал Жабокритский, тот самый, который после Ал минского боя назвал владимирцев трусами, заболел, то есть сказался больным, опасаясь, что ему придется лично отстаивать передовые редуты. Вместо него назначили Хрулева.

Между тем французы, обратив наши редуты и Камчатку в груды щебня, двинулись по углублениям Килен-балки и Докового оврага.

Новый французский главнокомандующий Пелисье{142}, сменивший Канробера, уже прибыл со всем своим штабом. Взвились сигнальные ракеты. Было пять часов, но и в эту пору полет ракет был очень красив. С бастионов следили за ракетами. Вдруг неприятельская канонада перенеслась с левого фланга на

правый. Задымились и загремели холмы за линиею южных верков.

Генерал Хрулев стоял в дверях своей квартиры на Корабельной и курил трубку.

- Что бы это значило? - спросил он у окружавших офицеров.

Французские колонны быстро подвигались к Волынскому и Селенгинскому редутам. Французы шли смело, как будто в свой собственный лагерь; впереди офицеры с саблями наголо. На мгновение сверкнули за валом острия сабель и штыков. Горсть пластунов и солдат, находившихся на редутах, не могла сопротивляться. Часть наших легла на месте, другие бежали к мостику, перекинутому через Килен-балочную бухту. Небольшие кучки французов уже бегали по горе, заглядывали в землянки и распоряжались на редутах, как дома.

Камчатка еще не была взята. Ее атаковали зуавы, линейный полк и алжирские стрелки - черные чудовища, внушавшие нашим солдатам мысль о черте в человеческом образе.

Наши отступили из Камчатки к Малахову. Прискакал Нахимов, как всегда, в сюртуке, эполетах и ордене Георгия 2 класса. Французы осыпали его пулями. Доехав до рогатки, Нахимов старался удержать людей за валом, но все это бежало, ныряя под руки останавливавших их офицеров.

Наконец удалось собрать горсть солдат и открыть огонь по французам, которые едва не прорвались в Корабельную.

Местами французы обгоняли отступавших и бежали врассыпную к Малахову. Горсть французов окружила лошадь Нахимова, один схватил ее под уздцы, другой уже пытался стащить адмирала с лошади.

- Ребята, выручай Павла Степановича! - раздался крик со всех сторон, и матросы, бежавшие с банниками, которые уносили от заклепанных орудий, с остервенением бросились на французов. Нахимов был спасен от плена.

На Малаховом все еще не было войска, кроме орудийной прислуги. С батарей был открыт частый картечный огонь.

Хрулев уже поскакал к Владимирской церкви, велел ударить тревогу, а сам поскакал на Малахов.

Здесь, впереди гласисной батареи, и далее, близ рогатки, происходили жестокие рукопашные схватки. Как раз против одного нашего орудия столпилась кучка французов. Они подошли к деревьям, наваленным по ту сторону рва, и, наведя штуцера, высматривали, в кого бы выстрелить. В орудии торчал банник. Два матроса вытащили его, но французы тут же поразили их пулями.

- Не умеют, подлецы, заряжать! - крикнул лейтенант Юрьев, схватил два картуза картечи, один послал в орудие, как вдруг сам сел на кучу картечи.

- Что вам за охота шутить! - сказал другой офицер. - Вставайте, в вас целят!

Но Юрьев не шутил, он был мертв, пуля прошла ему в самое сердце. В это время комендор крикнул: "Пли!" В кучке дерзких французов были два штатских в светлых пальто и соломенных шляпах. Когда дым рассеялся, кучка исчезла и только шляпы вертелись в воздухе.

Но Хрулев с забалканцами и суздальцами уже гнал французов с Малахова. Неприятель с уроном отступил опять в Камчатку.

Стемнело. В потерянных нами редутах была глубокая тишина, и ночной мрак не позволял видеть, как работал там неприятель.

Еще день бомбардировки, и наконец в полдень 28 мая на бывшей нашей Камчатской батарее взвился белый флаг - сигнал перемирия для уборки тел.

На Малаховом кургане, где был съезд большинства высших начальников, тотчас появился наш ответный флаг. Пальба с обеих сторон тотчас же прекратилась. Всем стало легче на душе, но в то же время больно было видеть неприятельский, хотя бы и парламентерский, флаг на Камчатке, стоивший нам стольких трудов и такого количества жизней.

Тотчас была назначена черта; безоружные брянцы выступили из своих прикрытий и образовали цепь. Вскоре с неприятельской стороны появились солдаты и офицеры.

Понемногу сначала офицеры, а потом и солдаты двух враждебных армий стали сходиться и завязывать разговор. Французские офицеры в щегольских шитых мундирах, новых лайковых перчатках, с сигарами в руках; русские офицеры в солдатских шинелях, которые редко сбрасывались, несмотря на сильный зной; зуавы в своих шитых, всегда расстегнутых куртках;

французские линейные солдатики; наши пехотинцы, матросы, оборванные пластуны - вся эта разношерстная толпа собиралась в группы, разговаривала словами и жестами, и трудно было поверить, что полчаса тому назад эти люди громили друг друга из орудий, резались, колотились и душили один другого, как дикие звери.

- Эхма! - говорит наш солдатик, указывая французским носильщикам на теплый еще труп неприятеля. - Что своего забыли? Только что отошел!

Иных несли, не разбирая - свой или француз. Многие суетились меж трупами, ища однополчан, товарищей, друзей. Иные трупы лежали уже по два дня. Вот лежит навзничь француз, оскалив зубы; кровь запеклась у его рта, из груди сквозь синюю шинель торчит переломленный русский штык.

Далее лежит пара - французский и русский, пронзившие друг друга штыками. Голова русского покоится на руке француза, как будто в объятиях друга.

Русский офицер из говорящих по-французски солидно подходит к французу и козыряет. Французский офицер самодовольно приподнимает свое легкое кепи, подает визитную карточку и говорит так быстро, что офицеру кажется, как будто это не по-французски: он с трудом разбирает, что француз желал бы видеть храброго генерала Хрулева и что, по мнению француза, русские сражались. весьма храбро, хотя и уступили непреодолимому натиску французов.

- Однако какие они самохвалы, - вполголоса говорит офицер товарищам.

У солдат дело идет проще. Они сначала оглядывают друг друга со всех сторон, потом начинают расспросы, каждый на своем языке, делая выразительные жесты.

- Да ты скажи, мусью, что это вы все зовете Алену? Какая там у вас Алена? Святая, что ли, или так просто? - допытывается солдат, слышавший, как французы, штурмуя наши редуты, кричали друг другу: "АПопз поиз (вперед)!"

Другой солдат показывает французу на свою манерку. Не понять этого жеста нельзя, француз кивает головою. Солдат наполняет крышку манерки водкою и, предварительно отпив глоток подает со словами:

- Ну-ка, хлебни, брат мусью! Водка бун!

Французы смеются.

- Да пей же до дна, мусью! Водка бун! Уважь, любезный.

Слыша слово "уважь", французы переделывают "уаспе" (корова) и, думая, что этот эпитет относится к их товарищу, громко хохочут.

Француз разом опоражнивает крышку, вытаращив глаза, высовывает кончик языка, запускает руки в глубокий карман и, закусывая галетою, трясет головою.

- Вггт! Засггге пот! Те1 Гог1! В1аЫе (брр! Черт побери! Такая крепкий)! - говорит он и в свою очередь достает миниатюрную фляжку с ромом, которую подает русскому солдату.

- Это мы могим! - говорит солдат, утерев губы рукавом, прикладывается к мизерной, красиво оплетенной фляжке, сосет до половины, сплевывает в сторону и говорит своим: - Ничего, братцы, и у них эта статья, выходит, важная, только наша будет позабористее.

А вот в другом месте, против третьего бастиона, лежат трупы англичан в красных мундирах. Англичане сторонятся от наших и держат себя серьезно. Только некоторые офицеры говорят с нашими флотскими офицерами, единственными, знающими по-английски, да кое-где солдаты молча вглядываются друг в друга и в редких случаях обмениваются угощениями.

Между нашими офицерами идет спор: одни хвалят французов, другие англичан.

- Да вот посмотрите на ваших англичан, - говорит один из спорящих. Вот, полюбуйтесь!

В отдалении была видна следующая сцена: какой-то английский генерал, перейдя нейтральную черту, навел на наши верки большой бинокль и внимательно их рассматривал.

Заметя это, французский генерал (это был Боске) поспешно подошел к нему, с жаром что-то доказывая. Казалось по движению его руки, что он готов вырвать у англичанина бинокль. Выражение лица французского генерала выказывало крайнее негодование. Наконец англичанин уступил, проворчал что-то и сердито удалился за нейтральную линию.

Французские офицеры, стоявшие подле наших и видевшие эту сцену, сказали, что, по их мнению, поступок английского генерала составляет возмутительное отступление от правил войны, и добавили, что, наверное, француз, сделавший что-либо подобное, был бы предметом всеобщего презрения.

- Ну что? - торжествующим тоном сказал офицер, хваливший французов. Видите, насколько воинская честь более развита у французов, чем у англичан.

Его противник был сильно сконфужен.

Да я вам лучше скажу продолжал неугомонный офицер.

- Верите ли, я сам видел во время бомбардировки, бывшей после Пасхи, что англичане стреляли по нашим солдатам, подбиравшим их же раненых соотечественников. Ну, не подлецы ли!

- Ну, этого мы не видали! - вмешался подошедший флотский. - Я заступлюсь за англичан. Ваши французы, может быть, и рыцари, но уж зато и хвастунишки. Наслушался я сегодня их хвастовства! Передают слова своего Пелисье: "Севастополь непобедим - ну, так я его возьму!" Это мы еще увидим!

- Что хвастуны, это правда! - сказал другой. - Да и любезности у них какие-то приторные, просто тошно становится! Слава те Господи! Белый флаг на Камчатке опускается, значит, опять война!

Еще не вся брянская цепь успела сняться и возвратиться к своим ружьям, как последовал первый выстрел с французской батареи. Наши зазевавшиеся солдаты пустились врассыпную. Вскоре с Малахова послышался первый ответный выстрел, и опять с обеих сторон загремела сильная канонада.

Николай Глебов давно уже оправился от полученных им штыковых ран. Сестра неотлучно ухаживала за ним, пока не слегла от тифа; ее увезли в Николаев, еще не оправившуюся от болезни. Глебов пролежал в госпитале не более месяца, но, чувствуя себя очень слабым, отпросился в отпуск и на время оставил Севастополь. Ко времени майской бомбардировки он был уже снова в городе и вторично был ранен - на этот раз осколком гранаты. Рана оказалась довольно серьезная, хотя и не потребовала операции. Теперь за Глебовым ухаживала молодая хорошенькая сестра милосердия; ему было так приятно, когда она подходила к нему и касалась его своими нежными пальчиками. Этот юноша, прожигавший жизнь в петербургских ресторанах, значительно преобразился, с тех пор как впервые приехал в Севастополь. Масса новых ощущений, постоянная близость смерти, вид сотен умирающих - все способствовало серьезному нравственному перевороту, начавшемуся с тех пор, когда он вообразил себя влюбленным в Лелю.

Теперь эта любовь казалась ему каким-то смутным прошлым. Подле него было другое, не менее прелестное, не менее чистое существо - эта хорошенькая блондинка в белом капюшоне, так ласково, так по-женски ловко и нежно исполнявшая все прихоти и капризы раненого, подававшая ему чай, вино, перевязывавшая его больную ногу, как не сумел бы перевязать сам знаменитый Пирогов. Иногда Глебов начнет нарочно нервничать и капризничать.

- Надежда Ивановна, у меня сегодня, кажется, сильный жар... Потрогайте мою голову.

Надежда Ивановна коснется нежной ручкой его лба и скажет:

- Нет, кажется, ничего, а впрочем, дайте пульс.

Она с важным видом потрогает его пульс и посмотрит на свои

маленькие золотые часики. Ей жаль этого молоденького офицерика, он кажется ей почти ребенком, он такой хороший, так много говорит о своей сестре. "Хотела бы я знать, какая это Глебова?" Надежда Ивановна приехала гораздо позднее Глебовой: она была 5-го отделения, которое прибыло в конце марта, а в это время больную Глебову уже увезли из Севастополя.

- Надежда Ивановна, попросите для меня сахару, мой весь вышел.

Надежда Ивановна спешит к сестре, заведующей хозяйством, да кстати заходит к сестре-аптекарше взять для Глебова хинных порошков.

Старший брат Глебова Алексей, хотя редко, все же навещал младшего и рассказывал ему подробности военных действий. Другие раненые, если им не слишком плохо, жадно прислушивались. Особенная радость была в госпитале, когда Глебов, придя 6 июня часа в три пополудни, рассказывал о славном отбитии неприятельского штурма. Многие солдаты и офицеры, слушая рассказ, набожно крестились; другие говорили: молодец Хрулев!

Да и во всем Севастополе было ликование. Поздравляли друг друга, пили шампанское, даже настоящее французское, хотя оно было баснословно дорого; а уже о русских винах и говорить нечего, они были в изобилии.

На бастионах, в частных квартирах, в госпиталях, в ресторанах - всюду только и было речи что о вчерашнем бое. Рассказывали, как Хрулев, увидя бегущих солдат и растрепанных, побросавших шапки матросов, лихо махнул своей громадной черкесской шапкой (иные отрицали эту подробность) и закричал: "Ребята! Стой - стена! Дивизия идет на помощь!" Солдаты будто бы остановились, думая, что в самом деле наткнутся на стену, а слова "на помощь" вдруг удесятерили их силы. Но иные передавали дело иначе. Говорили, что Хрулев действительно подскакал, но сначала сам растерялся, как вдруг один из матросов крикнул товарищам:

- Чего бежите, ребята, вишь, генерал едет. Стой, навались!

Хрулеву очень понравилось это выражение, и он в свою очередь гаркнул:

- Навались!

Тут уже все повернули назад и с криком: "Навались!" - открыли по французам стрельбу чуть ли не в упор.

Поговорив с братом, Алексей Глебов отправился на Корабельную. Там он хотел узнать об участи некоторых товарищей, а оттуда намеревался отправиться к Яеле и узнать, жива ли она еще, так как все дома на Корабельной подвергались

ежеминутной опасности.

Идя берегом мимо дома, где помещался перевязочный пункт, Глебов увидел в Южной бухте большой бот, наполненный французами. Уборки раненых еще не было; это были французы, подобранные во время сражения или же приползшие сами. Человек сорок линейных солдат и зуавов, два турка и несколько арабов наполняли этот бот, бывший под присмотром двух матросов. Большая часть раненых лежала навзничь на тюфяках. Иногда слышались крики: "Ое Геаи, с!е Геаи (воды, воды)!" Матросы и подоспевшая, сестра милосердия спешили исполнить эти просьбы, подавая воду в жестяных кружках.

Поминутно являлись носилки, бот наполнялся все больше и больше. Гранитные плиты набережной были залиты кровью.

Мимо Глебова проносили молодого французского солдата, и он заметил у того на руке что-то странное. Присмотревшись поближе, Глебов с изумлением увидел наколотый на руке и затертый порохом рисунок, изображавший два сердца, пронзенные стрелой, под которыми было подписано женское имя. Глебов никогда не считал француза способным на такую сентиментальность.

"А я-то сам, - подумал он, - не сентиментальничаю ли я? Вместо того чтобы зайти сюда, "а перевязку, и справиться о товарищах, спешу стремглав к девице, с которой едва знаком и которая, по-видимому, нимало не дорожит моим знакомством".

Надо прибавить, что Глебов со времени визита, сделанного им Леле вдвоем с братом, ни разу не решился посетить ее. И времени не было, и слишком уже он был сконфужен холодным и сухим приемом, который ему тогда оказала Леля.

Глебов сделал над собой усилие и вошел в госпиталь. В обширной зале усердно резали руки и ноги.

Краснощекий, плотный дежурный офицер по фамилии Воробейчик радушно приветствовал Глебова: они были знакомы еще с Москвы, где Воробейчик считался когда-то первым кларнетистом.

- Что, много раненых? - спросил Глебов.

- Пока семьсот, а до ночи будет втрое.

- А не слыхали ли, сколько потери у французов?

- Говорят, тысяч двенадцать.

- Ого! Не может быть!

- Ну не знаю, за что купил, за то и продаю. Другие говорят. Одно верно, что ранено у них множество офицеров, между прочим, племянник Пелисье, это уж я знаю потому, что сам отправлял его на Северную.

Порасспросив кое о ком, Глебов вышел из госпиталя и почти

у выхода столкнулся с знакомым офицером Калужского полка.

- Вы, конечно, были при отбитии штурма? - спросил Глебов. - Расскажите, как было дело, я от многих уж слышал, но все же интересно: вы были в самом жарком месте боя.

- Да, дело было славное, - сказал офицер. - Сегодня утром я встал злой как черт, потому что у меня всю ночь дьявольски болели зубы. Приходит горнист доложить, что рота готова, а я только в это время немного соснул. Ах ты, думаю, шут тебя дери! "Пошел вон, скотина! - говорю ему. - Пусть фельдфебель ведет роту не торопясь на Малахов, а я сейчас догоню". Наскоро умылся, оделся, выпил чаю - вдруг слышу: страшная пальба и общая тревога. Делать нечего. Схватил саблю и бегу догонять роту. Подбегаю к кургану развалины домов уже заняты французскими стрелками, и они осыпают меня пулями, а роты моей не видно. Остановился, передохнул, бегу дальше, догнал роту у самой башни. Полтавцы - кажется, это были они - уже вывалили на бруствер. Стали и мы на свои места по брустверам. Вдруг со стороны неприятеля наступает тишина, и у нас также... А, думаю, вот наконец наступает страшный суд - будет штурм. Тишина была смертная, казалось, слышишь, как муха пролетит. Как только они подошли на приличную дистанцию, мы так зачастили из ружей, что это был не ружейный огонь, а какая-то барабанная дробь, и даже рев загремевших орудий был плохо слышен. Дым такой, что стреляли наугад; когда прояснилось - смотрим: перед третьим бастионом поле все пестреет от французских синих плащей, многие еще шевелятся, ползают и катятся под гору. После штурма два егеря Казанского полка ходили с водою поить раненых французов да прихватили с собою снятые с убитых офицеров револьверы и сумки.

Алексей Глебов внимательно слушал, и разные мысли роились в уме его. "Странная вещь эта война! Сколько непонятного и противоречивого в человеческой натуре!" Таков был общий вывод из его размышлений.

Простившись с приятелем, он поспешил к знакомому домику, где жила акушерка. Домик, судя по внешнему виду, был все еще цел и невредим.

Глебов был так взволнован предстоящим свиданием с Лелей, что забыл даже постучать в дверь ее комнаты и сразу отворил ее.

Леля сидела у столика, спиною к двери. Ее густые волосы были завязаны узлом вокруг гребня. Она сидела, оперши голову на руки и задумавшись. Услыша скрип двери, она обернулась.

- Ах, это вы? - сказала она. - Ради Бога, скажите, сегодня больше не будет бомбардировки?

Она встала, не подавая руки Глебову, и тотчас села, почти

отвернувшись от него, но Глебов уже успел заметить неестественную для девушки полноту ее стана.

"Неужели она замужем?" - наивно подумал Глебов. Жизнь, полная тревог, лишила его всякой сообразительности в делах житейских.

У Глебова точно камень свалился с плеч; но в то же время внутренняя досада овладела им.

"Если бы я знал, что она замужем, я никогда бы не бежал сюда сломя голову", - мелькнуло у него в уме. "Что за пошлый эгоизм с моей стороны!" послышался ему, как бы в ответ на первую мысль, внутренний голос.

- Ручаться нельзя, Елена Викторовна. Отчего бы вам не переехать на Северную? Будь я на месте вашего мужа, я бы давно заставил вас переехать.

- Какого мужа? Откуда вы знаете, что я замужем? - сказала Леля и вдруг запнулась и вспыхнула. "Боже, что я наделала! Как он деликатен и как я глупа и бестактна!" - подумала она.

- Простите... Я сказал так, потому что мне сказали... - пробормотал Алексей Глебов, крайне смущенный этим ответом. - Но все равно, - прибавил он, - я сам как хороший ваш знакомый считаю себя вправе дать вам совет перестать рисковать вашей жизнью.

- Я не боюсь, - сказала Леля. - Вы слышали, - прибавила она, - что у меня недавно умер отец?

- Боже мой! Елена Викторовна! Я ничего не знал! Ради всегц святого, не примите мои слова за обыкновенную пошлую фразу, я от души говорю вам, что глубоко, глубоко сочувствую вашему горю!

- Благодарю вас, - сказала Леля, которую уже не в первый раз поразил искренний тон Глебова. - Я вижу, что вы действительно добрый человек, каким я вас считала.

Слезы блеснули на глазах ее.

- Елена Викторовна! - сказал Глебов, взволнованный ее скорбью. - Вы сочтете мои слова кощунством, и действительно с моей стороны кощунственно говорить с вами так, когда вы глубоко огорчены, но, поверьте, я говорю это от чистого сердца... Конечно, я не могу заменить вам ни отца, ни брата, но если вы хотите иметь друга, человека, способного ценить вас и сочувствовать вам, то вы найдете его во мне!

- Благодарю вас, - еще раз сказала Леля, протянув руку Глебову.

Он пожал эту исхудалую ручку своей сильной рукой, почерневшей от загара и от порохового дыма.

- А где брат ваш? - спросила Леля.

- Он вторично ранен и в госпитале.

- Ранен? Бедный мальчик. Неужели опасно? Я тоже не из одного любопытства спрашиваю, поверьте, Алексей Николаевич, мне очень жаль его.

- Рана серьезная, но опасности для жизни нет, и он поправляется. За ним ухаживает сестра милосердия, и мой братец уже успел в нее влюбиться, что немало способствует хорошему исходу его болезни.

Леля горько улыбнулась, вспомнив, как этот мальчик был влюблен в нее.

- Мой брат удивительно влюбчив, - сказал Глебов. - Я не понимаю таких натур: он влюбляется чуть не каждый год. По-моему, любить можно только раз в жизни.

- Да, вы правы, - сказала Леля. - Не знаю, любили ли вы когда-нибудь, но кто испытал это чувство, тот понимает справедливость ваших слов.

- Елена Викторовна! - умоляющим тоном сказал Глебов. - Вы были так великолепны, что приняли мою дружбу. Докажите же, что вы действительно мой друг. Я знаю отличную квартирку в Николаевских казармах у одного моего знакомого семейного офицера, он с удовольствием даст вам комнату, маленькую, но спокойную, даст вам бесплатно и за обед возьмет с вас очень дешево.

"За комнату я сам буду платить", - думал Глебов.

Леля сначала не соглашалась; ей было совестно пользоваться добротою Глебова и еще более совестно своего положения.

"Но ведь он не мог не заметить, - подумала Леля. - Теперь у меня такая ужасная талия, что слишком бросается в глаза... Иначе с какой стати он спросил бы меня о муже? Нет, он просто в высшей степени деликатный и благородный человек. Ведь он "его" товарищ по батарее, а в батарее, вероятно, все знают обо мне..."

Но самое главное, что побудило Лелю уступить просьбам Глебова, была мысль о ребенке.

- Я готова, но под одним условием: если Ирина Петровна, дама, у которой я живу, также переедет на Северную куда-нибудь поблизости. Я жду ее с минуты на минуту.

Леля не решилась сказать: "Мне скоро понадобится помощь акушерки, а на Северной, кажется, нет такой".

Сомнения разрешились приходом Ирины Петровны, которая, не зная о разговоре Лели с артиллерийским офицером, сама заявила, что переезжает сегодня на Северную у самой пристани, и предложила Леле ехать с нею.

Леля сообщила ей план, придуманный ее "старинным знакомым", как она назвала Глебова. Акушерка вполне одобрила

этот план.

- Я буду близко от вас. Что ж, переехать бухту не штука, - сказала она. - Буду приходить к вам.

Простившись с Лелей, Алексей Глебов отправился на Малахов, чтобы лично посмотреть, как дорого обошелся союзникам штурм.

Было уже около семи часов вечера. Площадь перед Малаховым и поле за рогаткой были усеяны ядрами и осколками; под ноги попадалась масса булыжников, вывороченных из земли ядрами. Кое-где валялись французские фуражки, синие, красные и желтые. В одном месте на траве пестрели, как маков цвет, трупы англичан в красных мундирах; в другом лежали французы в синих сюртуках и пальто и в алых брюках. Один из переговорных пунктов, куда попал Глебов, был за рогаткой, саженях во ста от валу, между цепью наших и французских солдат. Наши, оставив ружья сзади, стояли без всего, французы имели в руках небольшие палки. Кучки солдат иногда сближались и разговаривали. Серо выглядели наши солдатики в своих шинелях рядом с щеголеватыми пестрыми французами; но наши держались серьезно, сдержанно, а французы вертелись, как куклы в модных магазинах. Наши приходили с носилками, а их носильщики - только с палками. Двое французов без церемонии вырвали носилки у наших солдат и стали класть своих раненых; наши солдатики не спорили из сострадания к раненым и озадаченные нахальством. Это произошло подле Глебова и так взорвало его, что он ругнул солдат, хотя вообще не любил ругаться.

- Отберите сейчас носилки!

Солдаты мигом отобрали. Французы побежали жаловаться своему офицеру. Тот подошел к Глебову и весьма вежливо попросил носилок. Глебов даже сконфузился и ответил, что не сомневается в деликатности французской нации, но в данном случае в поступке французских солдат видел противоположное. Затем, поговорив с нашими офицерами, надзиравшими за уборкою раненых, Глебов сказал, что французы могут взять эти носилки себе на память.

Вообще на этот раз французы были мрачны и молчаливы. Офицеров с их стороны было видно очень мало: им было стыдно показаться, так как нечем было хвастать. Траншей-майор постоянно кричал тому или другому солдату:

- Ме 5ОП5 раз с!е 1а Н, засгге пот (не та линия)! - Увидев одного из своих в -блузе, французский офицер покраснел как рак и закричал на него, чтобы тот пошел переодеться. Сам офицер был в новом сияющем мундире и отличной фуражке, но в

потертых брюках и грязном галстуке.

С нашей стороны явилось много офицеров, и герой дня Хрулев проехал по линии в своей героической черкесской шапке; за ним следовал и его знаменитый ординарец боцман Цурик.

Убитых французов стали привозить в фурштатских телегах, запряженных тройкой, и складывать у Камчатки, по которой бродили французы. Зуавы принимали тела, клали на носилки и скрывались за изрытым ядрами холмом. Привезли седьмой полуфурок.

- Довольно, - сказал один из зуавов, махнув рукою.

Глебов возвращался домой, когда уже смеркалось, под звуки возобновившейся, хотя не очень сильной канонады. По дороге он встретил солдат, торговавших французскими ружьями, по полтиннику за штуку, и штуцерами - по десяти рублей. Штуцера продавали офицерам тайком, так как вышел приказ все взятые солдатами штуцера доставлять в штаб, где выдавали только по пяти рублей за штуку.

Сторговав штуцер, Глебов шел по Екатерининской улице, сильно пострадавшей от мартовской, майской и июньской бомбардировок. Большинство домов были уже покинуты жителями; боковые улицы также были пусты, изрыты взрывами бомб и покрыты ядрами, осколками и нелопнувшими бомбами. В некоторых более уцелевших домах помещались кашевары, и воздух был здесь отравлен запахом от отбросов провизии и от помоев. За простреленным насквозь, полуразрушенным театром вместо домов оставались лишь кучи щебня и мусора, которыми было покрыто все пространство сзади четвертого бастиона. По развалинам бродили матросы, выдирали гвозди и тащили уцелевшие двери и доски для блиндажей и землянок.

Миновав эти картины полного разрушения, Глебов приближался к лучшей части улицы. Уже давно опустела гостиница Томаса, пробитая ракетой, уже и в кондитерскую Иоганна влетела бомба - и кондитерская опустела; одна вывеска с золотыми буквами висела над крыльцом, но вместо двери глазела черная впадина.

Начиная от дома Нахимова, где было еще весьма опасное место, Екатерининская была полна солдатами, которые сидели и лежали на тротуарах, иные в шинелях, другие в одних рубашках, подле ружей, составленных в козлы. Солдаты ужинали после жаркого дневного дела. Офицеры ходили между ними. О фронте не было и помину: пример моряков и братская осадная жизнь в короткое время, казалось, изменили самый дух армии. Солдат ломал или не ломал шапку, смотря по желанию. Случалось, что на той же улице офицеры делали расчеты своим людям, и тогда

солдаты наряжались в шинели, выстраивались вдоль мостовой, слышались странные, давно забытые всеми звуки учебной команды. Одну часть рассчитывали, а другая в одних рубашках раздольно и свободно хлебала щи.

Алексей Глебов на минуту остановился, посмотрел на солдатиков и офицеров и призадумался. Мысли его ушли далеко. Вспомнилась родная деревня, строгие родители, бары прежнего времени, перед которыми трепетали крепостные люди. Вспомнились обстриженные косы в девичьей, сдача одного из лакеев в рекруты, вопли бабы и много других сцен крепостного самодурства. Вспомнилось его детское негодование против несправедливости. Затем мысли его вдруг перенеслись к Московскому университету; много отрадных картин, много светлых хороших чувств вдруг нахлынуло на него. Здесь он впервые стал относиться к жизни сознательно, с увлечением, свойственным молодости, с горячею верою в будущее. Вся жизнь его, все его мысли соответствовали в то время словам поэта:

В надежде славы и добра

Гляжу вперед я без боязни.

Затем эпоха суровой реакции, выход из университета, поступление на военную службу - единственное, что оставалось ему, чтобы не поссориться окончательно с стариком отцом. Знакомство с военными порядками после светлых университетских мечтаний; любовь к солдату, сначала теоретическая, но постепенно окрепшая в нем и ставшая серьезным и глубоким убеждением, - все это вспомнилось Глебову.

Мысли его были прерваны свистом снаряда, который упал саженях в двух от Глебова.

Солдат тотчас поднял снаряд и стал разглядывать.

- Смотри, не граната ли! - крикнул Глебов, зная беспечность русского человека.

- Как будто граната, ваше благородие. Не успел солдат выговорить, как гранату разорвало. Товарищи бросились к нему.

- Что, не убило ли кого? - сказал подошедший ротный командир таким спокойным голосом, как будто спрашивал: "Что, не потерял ли кто копейку?"

- Солдата, ваше благородие.

Глебов хотел взглянуть, но, пока протиснулся сквозь толпу, убитого положили на носилки и понесли.

- Жаль, хороший был солдат, - сказал ротный командир и перекрестился.

VI

Со времени майской бомбардировки Нахимов был в самом

мрачном настроении духа, которое периодами овладевало им. В такие дни добрейший Павел Степанович был неузнаваем.

Обыкновенный добродушный тон его заменялся таинственным пришептыванием или официальными выражениями, которые как-то странно было от него слышать; иногда же с ним бывали припадки гнева, и он начинал бушевать. Но его денщик, в отлично знавший натуру адмирала, спокойно ждал, когда пройдет буря. Успокоившись, Нахимов первый начинал заговаривать в примирительном тоне.

Особенно суров был Нахимов после того случая с ним, когда он едва спасся от плена. Павел Степанович был или, вернее, хотел прослыть фаталистом. Этот случай, однако, сильно потряс его: дня два он ни с кем не хотел говорить и даже на бастионах молча осматривал исправление повреждений. На третий день он не выдержал и, едва встав с постели (он спал в течение осады, никогда не раздеваясь), стал шутить с денщиками.

Выйдя в соседнюю комнату, где он приютил двух раненых офицеров, Нахимов поговорил с ними ласково, потом вышел из дому и, увидев на улице офицера в щегольском кивере, остановил его.

- Что это вы! Помилуйте-с! Нарядились, как китайский император! Небось двухмесячное содержание на кивер пошло-с!

И весь этот день он был в духе. Особенно развеселился Павел Степанович после отбития штурма шестого июня. Как только весть об этом разнеслась по городу, Нахимов поскакал на третий бастион.

Было три часа. Матросы, солдаты и офицеры, увидев или услышав, что идет Павел Степанович, высыпали навстречу. Он шел медленно с своим любимым адъютантом Фельдгаузеном.

- Спасибо, ребята, молодцы... Однако у вас жар-ко-с... Воображаю, как было во время штурма. Что, почесали бока англичанам? Молодцы-с.

День был жаркий, Нахимов отдувался, пыхтел, и пот струился по его лбу.

- Нет ли у кого водицы с вином-с?..

По несчастию, вина в этот день ни у кого не было.

Все засуетились, стали искать в землянках, но напрасно.

- Ну, на нет и суда нет-с, давайте чистенькой.

Возвратившись домой, Нахимов тотчас послал на бастион бочонок вина с запиской, что пить чистую воду в такую жару вредно.

Несколько дней спустя Нахимов был опять мрачен по случаю известия о ране, полученной Тотлебеном, которому штуцерная пуля попала в ногу.

- Меня не станет, вас не станет-с - это ничего-с, - говорил он адъютантам, - а вот как Тотлебена или Васильчикова израсходуют, тогда будет плохо-с!

Несколько дней спустя Нахимову вдруг пришла фантазия выселить из Южной части Севастополя всех женщин, кроме сестер милосердия и простых баб. Разумеется, многие храбрые дамы, желавшие разделять участь своих мужей, подняли крик, стали говорить, что Нахимов несносный деспот, что он старый бирюк и тому подобное. Да и офицеры были недовольны, особенно молодежь, так как первой жертвой остракизма были их Дуньки и Феньки.

Одна из таких девиц, в шляпке и мантилье, встретилась с Нахимовым на Графской на другой день после появления оригинального приказа. Ненавидя женщин, Нахимов был, однако, с ними вежлив и робок до смешного. И на этот раз, несмотря на явное нарушение его приказа, он только приподнял фуражку и сказал:

- Сударыня, может быть, вам не на чем переехать, так я прикажу подать вам гичку-с.

В последних числах июня припадки мрачного настроения особенно стали овладевать Нахимовым.

В один из таких дней он, по обыкновению, отправился осматривать четвертый бастион. Здесь Нахимов вспомнил, что для надзора за исправлением повреждений назначен какой-то новый инженерный полковник. Нахимов тотчас потребовал его к себе.

Новичок еще спал после утомительной ночной работы. Выбежав из блиндажа по траншеям, он увидел незнакомого ему адмирала в золотых, сильно почерневших эполетах; инженеру сказали, что требует адмирал, не сказав, кто именно. Портрета Нахимова он также не видел, потому что Нахимов никогда не позволял снять себя, и бывшие в Севастополе живописцы рисовали Павла Степановича лишь украдкой.

- Знаете вы дорогу на редут Шварца-с? - спросил Нахимов официальным тоном.

Инженер, много слышавший о добродушии и простоте Павла Степановича, никак не подозревал, с, кем имеет дело.

- Знаю, ваше превосходительство. Нахимов нахмурил брови.

- Ведите меня туда кратчайшим путем-с.

Инженер направился на правый фланг бастиона, а адмирал с двумя боцманами - за ним.

Кратчайший путь шел по наружной ограде, где пришлось бы идти под градом штуцерных пуль. Инженер призадумался. Стенка была не выше полутора аршин, а потому и за стенкой было

небезопасно. Он повернул за батареи, к траншее.

- Куда вы меня ведете-с? - грозно спросил Нахимов.

- Ваше превосходительство, кратчайший путь опасен.

- Вас извиняет, молодой человек, только то-с, что вы не знаете, кого ведете-с. Я Нахимов-с и по трущобам не хожу-с! Извольте идти по стенке-с!

Пошли по стенке. Пули жужжали, иная мяукала, как кошка, другая гудела, как шмель. Вдруг один из боцманов, шедших за адмиралом, грохнулся со стенки, пораженный в грудь навылет. Нахимов не останавливался. Пули провожали их до самого редута. На редуте Нахимов попросил у инженера зрительную трубу, долго рассматривал неприятельские работы и изредка спрашивал инженера его мнение. Удовлетворившись ответами, он подал инженеру руку, спросил его фамилию и ласково сказал:

- Теперь мы с вами знакомы-с, уж больше ссориться не будем-с.

Накануне своих именин, праздновавшихся в день Петра и Павла, Нахимов был довольно весел. Утром его посетила знаменитая Прасковья Ивановна, одна из немногих женщин, с которыми он мог говорить и даже шутить. Прасковью Ивановну знал весь Севастополь. Это была не то дама, не то баба, ходившая в коричневом платье, какие носили сестры милосердия, и в громадном чепце, вроде листьев лопуха. Происхождения она была купеческого. Это была здоровая, толстая баба лет сорока, прикидывавшаяся не то чудачкой, не то совсем юродивой. Приехала она с сестрами милосердия из Петербурга, но на второй же день разругалась с ними, называя их белоручками и барышнями. Ее поместили на Павловский мысок вместе с какой-то старухой. Прасковья Ивановна в тот же день выбросила вещи своей сожительницы за окно. Прасковье Ивановне, по жалобе старухе, велели убираться. Она отправилась к Хрулеву, которому раньше оказала кое-какие услуги.

- Хочешь на бастион? - спросил Хрулев.

- Чего не хотеть? Возьми.

Ее поселили на Малахов, но она гуляла по всему левому флангу. В день штурма шестого июня эта взбалмошная баба была на Пересыпи и под градом выстрелов собственными руками перевязала полтораста раненых - число невероятное, но подтвержденное очевидцами.

Ночевала она по большей части в блиндаже начальника Малахова кургана капитана Керна, или "Керина", как его называли матросы. На батареях она потешала офицеров: обливалась каждое утро холодной водой, с каковою целью при всех раздевалась донага и городила всякий вздор, по большей

части нецензурного содержания. Любимой поговоркой ее была: "Не тужи, брат!" - ив самом деле она никогда не тужила.

Неудивительно, что при ней Павел Степанович не мог сохранить свою мрачность. А в это утро, как нарочно, она рассказывала Нахимову препотешные вещи.

- Призвал меня, батенька, сам главнокомандующий. Я сейчас на коня, верхом по-казацки и еду в лагерь на Инкерман. Конь серый, взяла у жандарма, ноги в стремена, еду по-казацки. А князь видит, как курица: часто орлов за французов принимал. Это, говорит, кто приехал в штатском платье? Наконец разобрал. Так и так, говорит, узнал я о твоей службе, матушка, какой хочешь награды? "Да ты как меня наградишь? - говорю ему. - Я ведь церемониться ни с кем не люблю. Ты, может, думаешь дать мне Анну в петлицу? Я не возьму! Ты дай мне на шею". Князь хохочет, но медаль все ж обещал. Ну я от него по всем генералам. Со всеми перезнакомилась!

Поговорив с Павлом Степановичем и выклянчив у него бутылку марсалы, лихая баба удалилась, а Нахимов сел обедать (обедал он довольно рано), но в середине обеда на третьем бастионе поднялась сильная стрельба. В это время один из адъютантов нечаянно пролил на стол красное вино перед самым адмиралом. Адъютант сконфузился, но Нахимов добродушно заметил:

- А посмотрите, какая вышла фигура-с: бугор и крест!

Из адъютантов иные были суеверны, и на них эта примета подействовала нехорошо.

Кончив обед, Нахимов сказал:

- Что-то палят. Готовьтесь поскорее, поедем-с.

Адмирал выехал веселый, осмотрел третий бастион и поехал на Малахов. Начальник кургана Керн был у всенощной в блиндаже, заменявшем церковь. Его позвали к адмиралу, и Керн вышел навстречу. Нахимов влез на банкет, взял трубу, высунулся из-за вала и стал рассматривать неприятельских штуцерных. Пули посыпались градом. Густые эполеты Нахимова, резко отличавшие его от всех, были заметной мишенью для стрелков.

Керн молчал. Адмирал поднялся на банкет у следующего орудия и снова стал смотреть в трубу.

- Не угодно ли вам отслушать всенощную, - сказал Керн, стараясь не показать виду, что боится за адмирала.

- А вот сейчас я приду-с. Ступайте, я вас не держу!

Керн, разумеется, не пошел. Нахимов снова высунулся.

- Да не высовывайтесь, Павел Степанович! Что за охота так рисковать!

- А что? Не всякая пуля в лоб-с. Да ведь они плохо стреляют, -

сказал Нахимов, обернувшись к Керну.

- Однако! - заметил Керн.

В это время пуля ударила в земляной мешок подле самого Нахимова.

- Павел Степанович, лучше извольте отойтить, - сказал один из матросов. - Неравно заденет!

Нахимов продолжал смотреть, наконец отдал трубу вахтенному.

- Ради Бога, отойдите, ведь могут попасть, - снова сказал Керн.

- Это дело случая, - сказал Нахимов.

- А вы фаталист?

Нахимов промолчал. Он собирался уйти.

В это время с нашей батареи была пущена бомба по кучке англичан, несших фашинник. Вахтенный, следивший в трубу за полетом бомбы, закричал:

- Ловко, подлецы, стреляют! Трех англичан сразу подняло!

Нахимов повернулся, чтобы посмотреть, но вдруг упал на правый бок так быстро, что его не успели подхватить. Пуля попала ему в висок над левым глазом, пробила череп и вышла около уха. Керн бросился к нему первый. Адмирал произнес что-то невнятное и впал в беспамятство.

Кое-как адмиралу сделали перевязку и на солдатских носилках понесли в Аполлонову балку; кто-то приказал везти на Северную. Повезли на вольном ялике и лишь на пути пересели в катер и прибыли в бараки. С трудом нашли свободную комнату. Все бывшие налицо медики столпились сюда. Послали за льдом. Едва достали на Корабельной в трактире "Ростов-на-Дону"{143}. Из раны извлекли шестнадцать косточек.

Весть о ране, полученной Нахимовым, мгновенно разнеслась по всему Севастополю. Все видели, как провели лошадь Павла Степановича, как проскакали его адъютанты. Одни говорили - ранен, другие - убит.

Лейтенант Лихачев находился в это время по поручению начальства у Графской. Народ бежал по Екатерининской улице, ожидая, что адмирала повезут с Малахова домой. Лихачеву кто-то сказал, что раненого отвезли в Михайловскую батарею. Лейтенант бросился туда, прямо к старшему офицеру, которого нашел во дворе, в толпе офицеров и матросов.

- Слышали! - крикнул Лихачев и по лицам видел, что все знают.

Старший офицер был чудак, любивший поговорить и узнать все обстоятельно.

- Пойдемте, - таинственно сказал он Лихачеву. Пошли по

длинным лестницам и коридорам. Офицер ввел его в свою комнату, сел в кресло, набил чубук и начал:

- Да... это точно... у греков и у римлян...

- Да убирайтесь к черту с вашими греками и римлянами! Где адмирал?

- Ничего не знаю. Я вас хотел спросить.

- Что ж вы не сказали!

Лихачев стремглав выбежал и наткнулся на адъютанта Фельдгаузена, который скакал во весь опор.

- Куда вы? Где адмирал?

- В Северных казармах!

Лихачев поспешил туда. Стемнело один барак горел яркими огнями. Кругом толпился народ. Окно было растворено, и было видно, что комната полна докторами. Лихачев вошел. Адъютанты адмирала стояли, вытирая глаза. Нахимов лежал в одной рубашке, с закрытыми глазами, тяжело дышал и слегка шевелил пальцами. Два художника рисовали с него портреты. Лихачев не выдержал и заплакал.

На другой день были последние именины адмирала. Ему стало как будто лучше: он открывал глаза, но смотрел без всякой мысли и, по-видимому, никого не узнавал. Иногда он срывал повязку.

На следующий день, часов в 11 утра, Лихачев подошел к бараку и увидел, что веревка, которою было оцеплено здание, опущена и караульных, не подпускавших народ к окну, нет. Лихачев понял, что все кончено.

Во втором часу баркас, буксируемый двумя катерами, вез тело Нахимова с Северной стороны на Графскую пристань. Море было неспокойно и подбрасывало баркас. На корме стоял священник с крестом. Народ без шапок толпился у пристани. Тело отнесли в дом покойного. Отслужили панихиду. Покойного покрыли флагом с корабля "Императрица Мария" в память Синопского боя. Флаг был в нескольких местах пробит ядрами.

Один за другим стали входить в комнату матросы, солдаты, адмиралы, офицеры и множество дам, нарушивших этим запрещение покойного являться на Южную. Почти все женщины плакали. Была в числе женщин и Прасковья Ивановна, которая ревела, голосила, уверяла, что она-то первая прибежала к раненому. В этрт день адмирал лежал на столе как живой. Но на другой день его положили в гроб, и лицо пришлось закрыть покрывалом. В головах утвердили три флага. Картинки - портрет Лазарева и изображение корабля "Крейсер в бурю" оставили на стенах.

Неприятель не стрелял. Ходили слухи, что англичане, узнав о

смерти Нахимова, скрестили реи и спустили флаги на своих кораблях.

Вынесли гроб - несли Горчаков, Остен-Сакен и другие генералы. Батальон модлинцев и моряки были выстроены вдоль улицы. Держали обвитые крепом знамена. При появлении гроба загремел полный поход. Корабль "Великий князь Константин" стал салютовать. Послышались три ружейных залпа; Нахимова положили близ библиотеки, подле Лазарева, Корнилова и Истомина. Матросы, рыдая, бросали горсти земли.

Едва разошлись толпы, как в бухту снова стали падать неприятельские бомбы.

В двадцатых числах августа, после нового поражения нашей армии - при реке Черной, лейтенант Лихачев и Алексей Глебов ехали в офицерской бричке по дороге из Севастополя в Симферополь. Глебову было поручено распорядиться об ускорении присылки пороха, а Лихачев, получив довольно сильную контузию, отпросился на три дня в отпуск под предлогом поправки, а в сущности желая посетить семью Минденов.

Дорога была не веселая, жара страшная, пыль, всюду обозы с больными и ранеными солдатами и матросами. Навстречу попадались следовавшие в Севастополь ополченцы - бородатые мужики, резко отличавшиеся от тогдашних усачей солдат.

- Кажется, это наше Н-ское ополчение, - сказал Глебов и, спросив командира дружины, убедился, что не ошибся.

- Славный народ, - задумчиво сказал Глебов.

- Славный-то славный, но воображаю, как наши мужички сконфузятся, попав в первый раз на бастионы, - сказал Лихачев.

Денщик Глебова, правивший лошадьми, тряхнул вожжами, и они покатили дальше, поднимая густую пыль. Вот тащатся погонцы с ядрами; сотни верст сделают эти несчастные, заморят волов и лошадей, а потом все эти ядра будут свалены матросами в кучу, ничтожную по сравнению с тем, что выпускается каждый день из орудий одного какого-нибудь бастиона.

Вот наконец и Симферополь, и гостиница "Золотой якорь". Вошли в залу. По обыкновению, идет ожесточенная война на карточных столах. Игроки заняли большую часть залы. На особом столе с комфортом расставлена для них закуска. Руки и даже физиономии игроков запачканы мелом, стол покрыт кипами ассигнаций. Игра шла крупная. Главными героями здесь провиантские чиновники и погонские офицеры. Их грязные пальцы, унизанные алмазными перстнями, загибали угол иногда на несколько сот. Фуражиры, фурштаты и два-три доктора довольствовались более скромными ставками. На столе стояло,

шампанское; игроки пили и чокались, хвастаясь, сколько' раз каждый из них подъезжал к Севастополю и видел издали бомбардировку. Глебову стало противно, и он поспешил уйти. Лихачев же так был занят мыслями о семействе Минденов, что не замечал ничего окружающего. Он поспешил по известному ему адресу и вскоре нашел дом, где была квартира генеральши. Из дома доносились звуки фортепиано и слышались два приятных женских голоса. Лихачев узнал голос своей Саши. Он подъехал уже к калитке садика, через который был ход в дом, как вдруг услышал подле себя шуршание, которое показалось ему похожим на зловещее шипение бомбы. Лихачев невольно оглянулся; как же он был сконфужен, когда увидел, что причиною его тревоги было пышное шелковое платье дамы, шедшей мимо него по тротуару! Еще несколько минут - и Лихачев, почти не веря своему счастью, очутился в гостиной генеральши Минден и даже узнал часть обстановки, так как генеральша перевезла из Севастополя все, что было у ней лучшего.

Генеральши не было дома. Лиза и Саша радостно приветствовали Лихачева, усадили его как дорогого гостя и принялись расспрашивать обо всем, испугались, когда он, как бы между прочим, сказал, что контужен в руку, угощали его фруктами, вареньем. Лихачев чувствовал себя наверху блаженства и засиделся до позднего вечера.

Вечером он, однако, почувствовал, что руке его опять неладно, и отправился в госпиталь.

В симферопольском госпитале царил такой беспорядок, какого в Севастополе нельзя было видеть во время жесточайших бомбардировок. Для сильных мира сего находились здесь отдельные палаты, а тысячи больных оставались без призрения. Сказать правду, их и девать было некуда: госпиталь вмещал каких-нибудь шесть-семь тысяч, а больных было до семнадцати тысяч. Почти во всех частных квартирах были раненые. Сначала госпиталем заведовал главный врач Протопопов, но его сгубили рысаки и дрожки. Был послан куда следует донос, Протопопова сменили, и явился Р-ский - человек с довольно темным прошлым. О нем ходили таинственные слухи: утверждали, что он присвоил шкатулку с значительной суммой денег, вверенную ему на хранение умирающим офицером.

Были, конечно, и в Симферополе порядочные люди. В числе их был врач Алексеев, тот самый молодой доктор, который когда-то попался на экзамен князю Меншикову. Лихачев давно был знаком с этим доктором и крайне обрадовался, встретив его. Алексеев тотчас выхлопотал лейтенанту местечко в одной из палат.

- Полежите у нас немножко и будете молодцом. Хотя, скажу вам по чистой совести, долго оставаться у нас не советую.

- Да я и сам вижу, что у вас ужасный сумбур. Отчего это?

- Э, батюшка, долго рассказывать! Виновато и наше медицинское начальство (Алексеев робко оглянулся), но часть вины падает и на других... Поверите, руки опускаются! Вот тут, недалеко отсюда, в четырнадцатой палате, лежит один прекурьезный генерал, совсем не признающий медицины, а небось занял один целую палату... Сейчас надо идти к нему. Ну, я пока пришлю вам фельдшера и сестру милосердия; располагайтесь тут, в этой палате, публика хорошая, все больше ваши флотские, славный народ!

Алексеев поспешил к не признающему медицины превосходительству.

Генерал этот был один из самых сердитых генералов русской армии. Получив незначительную рану в последнем деле на Федюхиных высотах, он поспешил уехать в Симферополь, и здесь, лежа в палате, ругал и критиковал всех: и Горчакова, и погибшего в бою Реада, и Граббе, но зато хвалил самого себя. Более всего досталось от генерала госпиталю, хотя генерал явился сюда совершенно добровольно и без особой нужды.

Когда Алексеев вошел в палату грозного генерала, тот сидел на постели в халате. Подле генерала стоял его денщик, славившийся в полку как ловкий костоправ.

- Ну, господин медик, - сказал насмешливо генерал, - как поживают ваши больные? Многих отправили сегодня к праотцам? Да что вы не отвечаете? Это невежество! Вы знаете, что такое ваши госпитали: это преддверия к погосту! А по-моему, вот как надо лечить, по-русски: хреном да квасом и солью.

- Что ж, и это иногда помогает, ваше превосходительство, - пресерьезно сказал Алексеев.

- То-то! Суворов вашего брата на порог не пускал, а ведь бивал французов так, как теперь не бьют! Армия не армия, если не жить да сажать на лекарства. А у нас что? У солдата прыщ на носу - сейчас его в госпиталь. А ваш брат и рад прописать ему хинину м пополам с мукой, а половину денег себе в карман. Ловкачи вы все! Знаю я вас, не оправдывайтесь! Вот мой штаб-доктор, - прибавил генерал, указывая на костоправа-денщика. - Он лучше всех вас знает, кому что нужно. А вы все дрянь, особенно старшие! Не обижайтесь, молодой человек, я о вас не говорю, вы все же на ум намотайте!

Лихачев скоро познакомился с своими товарищами по палате. Рядом с ним лежал молоденький офицерик, раненный в ноги еще под Алмой и все еще лечивший их. Они разговорились.

- Знаете, завтра приедет сюда Пирогов, - сказал офицерик. - Мне фельдшер сказал. Чертовски тревожит меня этот Пирогов! Пожалуй, опять станет зондировать мою бедную ногу... Чего доброго, доведет дело до ампутации... А как мне не хочется... - добавил он со стоном.

- Ну что вы так тревожитесь, - сказал Лихачев, желая его утешить. - Вы так молоды, моложе меня наверное, а в наши годы натура берет верх над недугом...

На другое утро действительно приехал Пирогов. Он обошел палаты в сопровождении свиты лекарей и госпитального начальства, страшно лебезившего перед ним.

Пирогов подошел к офицерику и велел ему снять одеяло.

"Выздоровеет, но останется хромым", - подумал он и с любопытством ученого осмотрел ногу; самому же офицерику и даже Лихачеву взгляд знаменитого оператора показался острым и холодным, как хирургический нож.

"Для него чужая рука не более как анатомический препарат", - мелькнуло в уме Лихачева.

Офицерик крепился, но лицо его выражало внутреннюю 'борьбу.

- Мне лучше, гораздо лучше, гораздо лучше, - настойчиво повторял он. Смотрите, доктор, я уже могу приподнять ногу.

Он сделал усилие и поднял ногу, похожую на чурбан.

- Не надо, - сказал Пирогов и прошел дальше. Когда он вышел, Лихачев сказал офицерику:

- Однако молодец же вы!

- Я спас свою ногу! - ответил тот, радуясь, как школьник, обманувший учителя.

Рядом с этой палатой была другая, в которой помещались французские офицеры, и в числе их адъютант Канробера, итальянец Ландриани. Это был красавец мужчина, раненный в ногу еще под Балаклавой. В Севастополе ему хотели отрезать ногу, но Ландриани увидел князя Меншикова и слезно умолял заступиться за него, говоря, что у него есть невеста и как же ему быть без ноги. Меншиков велел употребить все усилия для выполнения этой просьбы, и нога не была отрезана. Теперь Ландриани выздоравливал. Французские офицеры скоро познакомились с русскими и часто играли с ними в пикет и в ералаш; Ландриани стал даже учиться говорить по-русски. Итальянцу ужасно понравились наши уменьшительные слова, как, например, ложечка, блюдечко. Он говорил, что по возвращении на родину будет такими словами называть свою невесту.

Между тем Лихачеву также хотелось поскорее опять увидеть "свою невесту", как он мысленно называл Сашу Минден, и,

чувствуя себя лучше, он скоро выписался.

"Надо приодеться, - подумал Лихачев, с ужасом поглядывая на свое белье. - В Севастополе было не до того".

С компанией офицеров он отправился по магазинам. Пришли в большой магазин. Хозяин быстро навалил на прилавок груду белья, но цены ломил непомерные.

- Стой, брат! Это что? - спросил один из офицеров. - Это вместо пломбы?

На рубахе было клеймо княгини Долгоруковой. Ясно, что рубаха была из числа пожертвований, обильно притекавших со всех концов России и попадавших большею частью в руки комиссариатских чиновников, а через них - к купцам. Караим смутился:

- Позвольте, позвольте, господин, пломба есть, вероятно оборвалась...

- Да ты скажи, откуда это клеймо?

- Боже мой, откуда же я знаю?.. Я никакой княгини не знаю... Это, верно, кто-нибудь пошутил надо мною... Я ничего не знаю...

Вероятно с целью оправдаться, он вдруг спустил цену наполовину. Переодевшись у товарища, Лихачев снова поспешил к Минденам. По дороге ему показа-, лось, как будто слышит звуки отдаленной канонады. Он не ошибся: в Севастополе с утра шла перестрелка с неприятелем, сильная канонада была ясно слышна жителям Симферополя.

Лихачев застал на этот раз генеральшу и свою Сашу.

- Что вас так долго не было видно? - спросила Саша. - Приехали на три дня и два дня у нас не были! Жаль, что поздно пришли. Сейчас у нас была интересная дама - ее здесь все зовут фрейлиной, - мадам Рудзевич. Что за прелестная личность!

Об этой Рудзевич Лихачев уже слышал в госпитале: мадам Рудзевич часто бывала там, привозила больным офицерам фрукты, вина, спешила к ним с депешами из Севастополя, которые постоянно получала от одного важного лица. О ней же говорили, что после алминского дела она спасла Симферополь: губернатор собирался удрать отсюда, как удрал уже из Евпатории, но Рудзевич поехала к нему и заявила, что лично напишет обо всем государю; эта угроза подействовала, и испуганные симферопольцы, боявшиеся, что их перережут татары, вскоре успокоились. Эту историю Саша рассказала Лихачеву.

Лихачев стал с жаром рассказывать в свою очередь о том, что видел и слышал в госпитале. Ему рассказывали, например, что комиссариатские, провиантские и другие чиновники брали взятки с крестьян и других неграмотных людей за право сделать пожертвование в пользу армии! Пожертвованная мука часто

гнила и выбрасывалась в реку, то же происходило с полушубками и бельем. Лихачев с жаром клеймил казнокрадство и хищничество.

Генеральша Минден нахмурилась, и даже Саша опустила глаза: ей показалось, что в речах Лихачева есть, хотя и неумышленный, намек на знаменитое дело о сельдях, погубившее ее отца" Ведь и ее отца враги его осмеливались называть казнокрадом. Кто знает, может быть, некоторые из тех, о ком говорит Лихачев, также невиновные и несчастные, как ее бедный папа... Люди так любят чернить других и так мало верят хорошему...

Лихачев не замечал произведенного им впечатления: от чиновников провиантского ведомства он перешел к докторам и стал говорить о страшных злоупотреблениях и вообще резко выражался о докторском сословии. Имя доктора Балинского, его главного соперника, мелькнуло в уме Лихачева и еще более поддало ему жару. Но вдруг генеральша перебила его.

- Господин Лихачев, вы не слишком распространяйтесь насчет докторов, сказала она. - В числе близких нам людей есть многие уважаемые нами доктора. Я отчасти виновата, я забыла предупредить вас...

- Постойте, мама, - с живостью перебила Саша, - это я виновата, я должна была сказать. Господин Лихачев, поздравьте меня, я - невеста доктора Балинского. Вы, кажется, с ним знакомы?

Лихачев вздрогнул, побледнел, изменился в лице: боль от контузии сделала его очень нервным. Он встал и едва устоял на ногах. Потом оправился, залпом выпил стакан воды и, сняв с фортепиано свою фуражку, не сказав ни слова, не простившись ни с матерью, ни с дочерью, быстро вышел.

- Господин Лихачев! Куда же вы? Что с вами?! - крикнула ему вслед Саша и даже собиралась побежать, чтобы вернуть его, но мать сделала ей строгий выговор за неприличное поведение, и Саша, сконфуженная, взволнованная, ушла в свою комнату, чувствуя себя в чем-то виноватою, не перед матерью, конечно, а перед Лихачевым.

А лейтенант спешил без оглядки в Севастополь. Он даже не заехал к Глебову. Все его мечты были разбиты, и теперь для него было все равно где оставаться. Уж лучше в Севастополе, там, по крайней мере, умрешь не от тифа, а в честном бою за отечество.

Возвратившись в Севастополь, Лихачев, не заходя на свою городскую квартиру, где он и вообще бывал весьма редко, прямо отправился на свой четвертый бастион. Подходя к бастиону, откуда слышалась неумолкаемая пальба, Лихачев прошел уже в

Язоновский редут, где пули и ядра неприятеля сыпались очень часто, хотя это было далеко не самое опасное место. Пройдя еще далее, Лихачев встретил кучку немного подгулявших матросов, один из них шел впереди, играл на балалайке и пел импровизированный мотив. Тема была весьма несложная:

На четвертый бастион,
На четвертый бастион...
и так далее до бесконечности.

Далее пули сыпались уже как горох, но Лихачев хладнокровно шел по стенке. Добравшись до своего блиндажа, он застал товарищей, пивших чай, от которых узнал, что с утра 24-го числа неприятель открыл страшную бомбардировку и что назавтра, 26-го, в годовщину Бородинского сражения, французы, как любители эффектных совпадений, вероятно, назначат общий штурм.

- Да, господа, после нашей атаки на Федюхины высоты они стали гораздо смелее прежнего... - сказал один из офицеров.

Это напоминание послужило предлогом к тому, что вспомнили разные подробности несчастного боя. Даже спели под звуки пальбы песню, сочиненную артиллеристами и составлявшую беспощадную сатиру на тогдашних военачальников. Слышались куплеты:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы обирать.
Горы обирать!
Выезжали князья-графы
И за ними топографы
На большой редут.
Князь сказал: "Ступай, Липранди".
А Липранди: "Нет-с, атанде,
Молвил, - не пойду!
Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю!
Глядь, Реад возьми да спросту
И повел нас прямо к мосту!
- Ну-ка на ура!

- А что, господа, кто же, собственно, сочинил эту песню? - спросил Лихачев.

- Главным сочинителем был довольно известный писатель штабс-капитан артиллерии Лев Толстой{144}... Вы знаете подполковника Балюзека? Он еще играет на фортепиано... Так вот у него недавно собралась молодежь. Первый, говорят, подал

мысль штабс-капитан Сержпутовский{145}, потом Толстой и другие дополнили... Ну, валяйте дальше, господа!

И снова раздалась песня:

Ждали, выйдет с гарнизона

Нам на выручку колонна.

Подали сигнал!

Далее следовал куплет, в печати совсем неудобный. Ночью Лихачеву не спалось. Когда пальба приутихла и можно было опять зайти отдохнуть в блиндаж, он сел писать письмо домой к сестре. Тоска овладела им.

"Ты не можешь себе представить, дорогая Маша, - писал Лихачев, - как опротивел мне Севастополь. Это какая-то бездонная пропасть, тут никаких сил человеческих не хватит! Ты не поверишь, как мне досадно, что и наше смоленское ополчение направили сюда. Уж лучше бы я один здесь страдал! Уже одиннадцать месяцев длится эта бойня и Бог знает чем кончится! Французы с своими работами уже подошли на сто шагов к Малахову. Не правда ли, неприятное соседство? Стреляют ежеминутно, даже ночью. Вот сейчас слышу из дверей, что где-то прожужжала пуля. Ну, Маша! Теперь уж верно, что я получил за майскую бомбардировку Анну 2 степени. Пойду завтра благодарить начальство, если не будет штурма!"

Весь день 26 августа шла яростная канонада, но штурма все еще не было, а потому часов в пять пополудни Лихачев с крестом на шее отправился к начальству. До Хрулева он еще дошел благополучно, но до князя Васильчикова не добрался, потому что по пути зашел к знакомым и везде его заставляли выпить, и к Васильчикову пришлось бы явиться слишком поздно и в неприличном виде.

VII

В жизни Лели Спицыной произошел полный переворот. То, чего она ожидала иногда со страхом, иногда с любовью, наконец свершилось. Сидя безвыходно в своей комнатке в казармах за Николаевской батареею, она проводила дни и ночи над крохотной колыбелькой, наскоро сколоченной добрым денщиком ее нового хозяина. Здесь находился теперь весь ее маленький мир, здесь были сосредоточены все ее радости и огорчения. Воспоминания о событиях последнего месяца представляли для нее не ряд сражений, а ряд забот о крошечном существе. Грозные звуки бомбардировки имели для нее лишь то значение, что она ежеминутно боялась, как бы не испугали ее малютку. Другую, еще более страшную мысль она отгоняла от себя, чтобы не сойти с ума от постоянной тревоги. Впрочем, здесь было сравнительно безопасно, тогда как по всей Екатерининской уже не было

проходу от снарядов.

Вспоминая, что было месяц назад, Леля живо припоминала тот день, когда "это" наконец свершилось. Была поздняя ночь. Мощные гранитные своды Николаевской батареи, битком набитой солдатами, матросами и поселившимися здесь жителями Севастополя, были в ту ночь спокойны. Из крохотного окна виднелся двор, где слышался порою говор солдат или вскрикивание спящего. Изредка раздавались отдаленные выстрелы.

Жена приютившего Лелю семейного офицера и акушерка - разумеется, Ирина Петровна, другой в то время, кажется, и не было в Севастополе, - хлопотали подле беспомощной молодой женщины, кричавшей от невыносимой боли. Крики были так сильны, что во дворе многие думали: вероятно, привезли опасно раненных. Да и то удивлялись, потому что в Севастополе сплошь и рядом можно было видеть человека с оторванной рукой или ногой, не издававшего ни малейшего стона. И вдруг что-то такое произошло, после чего эти невыносимые мучения прекратились точно волшебством. Ничего, никакой боли, только полное изнеможение, и при этом состояние близкое к блаженству. Леля слышит какое-то похлопывание, странный писк; потом к ней подносят маленькое красное существо с крохотными ножками и ручками и большой, почти лысой головкой и объявляют ей, что это мальчик. Странное, не поддающееся описанию чувство, смесь бесконечной любви и жалости с удивлением, при виде этого незнакомого, некрасивого существа, скорее похожего на какого-то зверька, чем на ребенка, овладевает всем существом Лели.

- Заверните его, он простудится! - говорит Она, хотя в комнате жарко, как в бане.

Потом новые странные чувства, испытанные Лелей, когда этого малютку в первый раз приложили к ее груди. Он не умел сосать, а она, такая глупая, не умела кормить; ей было больно и вместе с тем смешно. Наконец кое-как справилась, но в первые дни малютка умер бы с голоду, если бы не пришла добрая матроска, у которой был двухмесячный ребенок, а молока хватило бы на двух годовалых ребят.

Затем ряд бессонных ночей, постоянное вставанье к ребенку, который пищит, то требуя пищи, то от самого ничтожного давления какой-нибудь высунувшейся из матрасика соломинки, то неизвестно почему; эти последние случаи всегда страшно тревожили молодую мать. Ей тотчас казалось, что ребенок болен, и она беспомощно ломала руки, пока на выручку не являлась жена офицера или другая опытная женщина.

О графе Татищеве, да и всех других Леля перестала и думать.

Какое ей дело до всех графов на свете, до общественного мнения, клеймившего ее ребенка именем незаконного? Она - его законная, бесспорная мать, это ее плоть и кровь, она счастлива, у ней есть кого любить. И он будет любить ее, когда вырастет. "Но в моряки его ни за что не отдам, - думала Леля, хотя сама страстно любила море. - Нет, не отдам! Я не хочу расставаться с своим сыном! Пусть лучше идет в гимназию, в университет... Милый, дорогой малютка, ты мой маленький студентик!"

И она потихоньку целовала спящего ребенка в лобик и в щечки.

VIII

В последние дни августа 1855 года жизнь на севастопольских бастионах стала невыносимою. С двадцать четвертого числа шла ужасная бомбардировка, то целыми залпами ядер, то разрывными снарядами. Над нашими батареями постоянно стоял столб пыли от взрыва бомб: казалось, неприятель собирается расстрелять все свои снаряды.

Севастополь затянуло пылью и густым дымом. Масса бомб попадала даже в бухту: сгорело несколько транспортов, загорелся было фрегат "Мария", но его потушили. Ракеты попадали и на Северную сторону. На Малахов было брошено несколько бочонков с порохом, взрыв произвел обвалы и ямы. Исправлять было невозможно при таком огне. У самой Екатерининской пристани взорвало от бомбы баркас с порохом, и взрыв испортил пристань. Неприятель несколько раз показывался в своих траншеях, но опять отходил назад.

У нас с минуты на минуту ждали штурма, несмотря на то Малахов был почти без войск. В ямах, образовавшихся от взрывов, в сорока шагах от Малахова, уже залегли французские стрелки.

Еще в среду 25 августа капитан-лейтенант Карпов{146} писал главнокомандующему: "Курган пришел в самое крайнее положение и требует усиления в рабочих и в прислуге к орудиям. Если все оставят идти таким же порядком, то курган возьмут не позже пятницы".

Настала пятница - двадцать седьмое августа.

С утра началась адская канонада, но часам к одиннадцати стала ослабевать. В неприятельских траншеях было заметно движение войск, но на бастионах уже привыкли к этому и не обратили особенного внимания.

Орудийная прислуга расположилась отдохнуть и пообедать.

Николай Глебов, оправившийся от ран, находился на Малаховом кургане; старший брат его Алексей - на втором бастионе, а лейтенант Лихачев - на четвертом.

Несмотря на ужасы бомбардировки, Николай Глебов был в

самом веселом расположении духа. Он любил, и его любили. Он уже сделал предложение хорошенькой сестре милосердия, дал себе клятву раз навсегда отказаться от прежней безобразной жизни и по окончании военного времени стать хорошим мужем и семьянином. Это было тем более достижимо, что он получил ее полное согласие быть подругой его жизни. При таких видах на будущее никакая бомбардировка не страшна. Лишь бы она, бедненькая, не заболела от чрезмерной работы в госпиталях! Глебов решил даже с согласия своей невесты, что, когда бомбардировка наконец прекратится, они обвенчаются тут же, в Севастополе, по примеру точно такой же свадьбы одного офицера с сестрою милосердия, бывшей в июле.

Когда бомбардировка стихла, Глебов, держа между двумя пальцами папиросу, весело и бодро подошел к очередному начальнику так называемой штурмовой батареи. Это был молодой безусый прапорщик - в то время прапорщики часто заменяли высших офицеров.

- Вот бы хорошо в такое затишье пробраться восвояси, - сказал прапорщик.

- А что?

- Да жду на смену товарища, не приходит, не знаю почему.

- А какой дьявольский ветер, - заметил Глебов. - Хорошо, что дует не в лицо, а в спину. Неприятелю, должно быть, не очень вкусно от такой пыли. Даже холодно становится! Ведь как продувает! Боюсь простудиться.

- Чудак вы, как я вижу, - заметил прапорщик. - Тут каждую минуту может нас с вами хватить бомба, а вы боитесь простудиться!

- Ну, от бомбы Бог миловал, - сказал Глебов, а у самого даже заныла едва зажившая рана.

Разговор этот происходил на крайнем левом фланге Малахова, в сторону второго бастиона и рогатки, куда забрел Николай Глебов.

- Ну, мне пора к своим, - сказал Глебов. Не успел он выговорить этих слов, как на Малаховом кургане, а потом и на всем левом фланге загремели барабаны.

Поднялась общая тревога. Глебов стремглав побежал к своей роте.

Послышались оглушительные залпы, смутные крики, бой барабанов и резкие звуки неприятельских сигнальных рожков. Из бывшей Камчатки роями стремились французы на курган и лезли на вал, подсаживая товарищей.

На Кургане поднялась страшная суматоха. Близ одного блиндажа, занимаемого генералом Буссау, стояла команда солдат

Модлинского полка с поручиком Юни. Генерал собирался раздать им Георгиевские кресты, как вдруг раздались крики: "Штурм! Штурм!" - и поручик со своей командой бросился занять Малахову башню. На башне взвился синий флаг - сигнал тревоги.

Французы были уже на кургане, и генерал Буссау один из первых попал в плен. Он выронил шкатулку с орденами и успел только бросить в нападавших камнем.

Наши солдаты, бросая обед и вскакивая, стремились к валу, сталкиваясь между собою и с французами. Артиллеристы с фитилями в руках пробивались к орудиям и падали от французских штыков и пуль. Но вот один из них поспел вовремя и зажег трубку. Французы густой массой заслоняли амбразуру. Раздался выстрел... Живая масса подогнулась и была разбросана в стороны; перед амбразурой лежало двадцать обезображенных трупов, но на место их ворвались новые стрелки и зуавы.

Башня была занята нашими, и сидевшие там упорно защищались: на самом кургане четыреста модлинцев боролись врукопашную с шестью тысячами французов. Дрались банниками, кирками, лопатами, штыками, чем попало; хватали противника за горло и кусались в исступлении.

Два раза сбивали модлинцы водруженное французское знамя, но наконец оно взвилось над курганом. Наши отступали в глубь укрепления. Моряк Карпов, тот самый, который предсказал, что курган возьмут в пятницу, собрал горсть артиллеристов и ратников курского ополчения и бросился на левую батарею, занятую французами.

Ополченцы не походили на солдат. Это были простые курские мужики. В первые дни их появления на кургане солдаты смеялись над их бородами и над их неловкостью. Уверяли, что однажды бомба упала подле ополченцев и те сбились вокруг нее в кучу, а когда бомбу разорвало, переранив многих, стали плакать.

Быть может, и было нечто подобное, но на этот раз ополченцы с топорами бросились на французов и сражались не хуже солдат: неприятель подавил их только массой. Карпов попался в плен: шестеро французов схватили его и связали ему руки.

Через полчаса после начала штурма Малахов был уже в руках французов. Во рву сидели французские музыканты и играли марш. Воодушевленные этой музыкой, свежие французские войска лезли на курган, и вскоре здесь собралось до шести тысяч человек, которые открыли с кургана жестокий ружейный огонь.

В это время в городе, заметив, что бомбардировка стихла, стали взбираться на возвышенные места и смотреть, что бы это значило.

С библиотеки был виден Малахов, казавшийся пригорком, изрезанным траншеями и загроможденным валами батарей. Дальше тянулась равнина, покрытая камнями и кустами. Дух захватило у зрителей, когда из неприятельских траншей вышли французские колонны и, немного согнувшись вперед, шли с одушевлением. Ветер дул им в лицо, полы мундиров и курток развевались. С кургана полетело несколько бомб, с рогатки зашипела картечь; но шли и шли вперед пылкие французы.

На минуту дым орудий скрыл их из глаз. Но вот прояснилось: идут ряды синих мундиров; видны две линии ружейных огней; далее ничего нельзя было разобрать, кроме дыма и пыли.

Штурм был направлен против всего нашего левого фланга.

Николай Глебов не успел добежать к своей роте и, сам не зная как, очутился опять подле рогатки. Несколько минут французы здесь еще не показывались, но вот они разом высыпали из траншей длинною и густою цепью и бросились к укреплениям. Наши открыли ружейный и картечный огонь. Французы падали, оступались в волчьи ямы, но неудержимо подавались вперед, смыкаясь бегом в две густые массы, из которых одна устремилась на второй бастион. Какой-то прапорщик с гренадерской ротой бросился на другую массу, устремившуюся к рогатке.

Французские саперы мигом разнесли топорами рогатку, и французы ворвались в укрепление. Откуда-то явилась наша мушкетерская рота.

- Куда вы?! - крикнул стоявший у батареи! артиллерийский офицер поручику, командовавшему этой ротой.

- К вам!

- Оставьте меня, помогайте гренадерам.

Поручик ударил во фланг французов, а прапорщик - с фронта. Прапорщик был вскоре ранен. Николай Глебов, не долго думая, стал на его место и повел роту. Недолго продолжался бой: массы французов одолевали. Глебов почувствовал, что один держит его за ворот, два других крутят ему руки назад и вяжут их, а четвертый замахнулся над ним оружием вроде тесака. Глебов инстинктивно наклонил голову, но подоспевший французский офицер что-то крикнул солдатам и сказал Глебову, что он пленный.

"Прощай, Россия! Прощай, моя невеста! Прощай, Севастополь!" - мелькало в уме у Глебова, и слезы навернулись у него на глаза.

Бывшее при Глебове оружие тотчас отобрали. Офицер пригласил его идти за сапером и другим солдатом в траншеи и велел тотчас развязать ему руки, что и было исполнено.

Глебов оглянулся: вблизи никого из русских, везде синие

мундиры и алые штаны.

"Делать нечего, надо идти", - подумал Глебов, тяжело вздохнув.

Николай Глебов шел за сапером по траншеям, откуда все шли да шли на Севастополь новые колонны французов, казалось, им счету нет.

Подошли к сильно вооруженной батарее.

- Эта ваша бывшая Камчатка, - сказал сапер.

На валу, с зрительной трубкой в руке, окруженный свитой, стоял французский главнокомандующий Пелисье. Он был в мундире, со звездой Почетного легиона на груди, а поверх мундира имел пальто, надетое в рукава. Наружность у него была бодрая, в усах и эспаньолке значительная проседь. Узнав, что пленный говорит по-французски, Пелисье спросил чин и фамилию пленного.

- Поручик Глебов.

- Сколько орудий было на вашей батарее?

- Я не артиллерист, я попал случайно туда. Я служил в пехоте.

- Ожидали вы сегодня штурма?

- Ожидали недели две.

- А сегодня?

- И сегодня ожидали.

После этого казенного допроса Пелисье велел саперу отвести пленного в лагерь генерала Боске. Несмотря на все интриги против Боске, штурм Малахова кургана не решились поручить никому, кроме него.

Алексей Глебов, не подозревая, что брат его в плену, был на втором бастионе.

Генерал Сабашинский закусывал здесь с капитаном Генерального штаба Черняевым, как вдруг ударили тревогу. Французы уже хозяйничали здесь и быстро заклепали орудия. Алексей Глебов, выхватив штуцер у раненого солдата, вмешался в толпу наших стрелков и поспешил к оставшейся незаклепанною мортирке.

Комендор орудия был убит.

Глебов сам выстрелил из мортирки - куча французов легла перед нею. Генерал Сабашинский тотчас рассыпал стрелков, которые открыли огонь. Прапорщик дружины курского ополчения под самым сильным огнем пошел с своей командой за патронами. Затем все перемешались. Какой-то зуавский офицер, красивый юноша в блестящем мундире, держа в одной руке пистолет, а в другой камень, вскочил на бруствер, а за ним четыре зуава с ружьями и камнями. Офицер выстрелил почти в упор в генерала

Сабашинского, но не попал, бросил камнем - и промахнулся. Сабашинский замахнулся на него своим костылем, но тут наши солдаты подбежали и перестреляли всех пятерых французов. Несколько минут спустя французы были выбиты из бастиона; весь ров и ближайшая часть поля были устланы их трупами.

На четвертом бастионе, где был Лихачев, штурм французов был также отбит. Уже перекладывались в неприятельских траншеях мосты, показались штурмовые лестницы, и синие мундиры приближались к бастиону. Наши открыли убийственный огонь. Кто достиг оборонительного рва, тот, без преувеличения, повис на русских штыках. Увлеченные своим делом, защитники знаменитого четвертого бастиона сначала не замечали, что делается у соседей. Вскоре они увидели, что на пятом бастионе французы также отбиты, на третьем англичане все еще боролись с нашими, но заметно терпели урон. Странным показалось всем, что на Малаховом кургане вдруг затихло; потом загремели орудия, но уже с второй оборонительной линии.

Когда дым слегка рассеялся, Лихачев и его товарищи увидели на кургане трехцветное знамя, а на умолкнувших батареях первой линии и в оборонительном рву кишели, как муравьи, синие мундиры.

У всех сжалось сердце, лица вытянулись. Молча переглядывались все, как бы спрашивая друг друга: "Что же это значит? Не сон ли?"

- Да не может быть! - сказал наконец Лихачев.

- Господи, неужели правда!

У какого-то майора нашлась труба; она переходила из рук в руки. Злобное чувство кипело в каждом.

- Авось Хрулев выручит! - глубокомысленно сказал один из унтер-офицеров.

- Говорил я: как не останется на кургане по три матроса на орудие, тогда поминай как звали! - заметил стоявший тут же матрос.

. Настал вечер. Царила гробовая тишина. Тишь в блиндажах, тишь у орудий, но фитили дымятся в ожидании врага, да между солдатами идет сдержанный сердитый шепот.

Офицеры сидят в блиндажах или собираются вокруг начальников, ожидая, что те скажут. Все похожи на провинившихся школьников, хотя и чувствуют, что они исполнили свой долг. Начальники также хранят молчание. Наконец один из дежурных офицеров, торопливо возвращаясь от своего полкового командира, забежал в блиндаж, где собралась группа офицеров. Подойдя к старшему в чинах, он что-то шепнул ему на ухо.

Тот подскочил.

- Не может быть! Что вы говорите!

- Да, Осип Алексеевич, так!

Осип Алексеевич встал и молча вышел, а капитан, сообщивший таинственное известие, оглянулся и полушепотом сказал:

- Да будет вам известно, господа, что хотя штурм отбит везде, кроме Малахова, но по приказанию главнокомандующего должно последовать генеральное отступление войск на Северную. Чтобы это известие не повлияло на дух солдат, следует перед ними о том до поры до времени благоразумно умолчать. Солдатам нашего полка велено сказать, что их ведут на Северную для ночлега, с тем чтобы на заре двинуться на неприятеля.

Понурив головы разбрелись офицеры по траншеям и как-то нехотя сообщали солдатам ложное известие.

А солдаты поговаривали между собою, что будто начальство нарочно сдало неприятелю Малахов.

Уже совсем смеркалось. Сильный ветер с моря застилал небо облаками. Солдатам приказано было отступать поротно с бастиона и зажигать все встречавшееся на пути. Молча строились солдаты. Иные крестились на все четыре стороны и прощались с бастионом. Другие суетились в блиндажах, разыскивая вещи. Шествие напоминало погребальную процессию.

Со второго бастиона также отступали по тому же приказу главнокомандующего. Алексей Глебов шел одним из последних; французы с Малахова кургана осыпали отступавших с бастиона пулями до поздней ночи. С темнотою войска стали отступать, и бастион опустел. Изредка постреливали в ответ на выстрелы французов. Матросы с мешками пороху начали насыпать пороховые дорожки из погребов до бухты; попади хоть одна искра - и все бы погибли. Курить было строжайше запрещено. Французы, не успевшие отступить, попали в плен. Наши солдатики таскали раненых - своих и неприятелей - в каземат первого бастиона. Одного французского офицера била лихорадка. Алексей Глебов отдал ему свою шинель, а сам остался в одном мундире.

Была полночь. Генерал Шульц спешил по требованию главнокомандующего в Николаевские казармы. Князь Горчаков, окруженный генералами, ходил взад и вперед по комнате. Генерал Коцебу сидел у стола и писал.

Горчаков был бледен и расстроен. Некоторые генералы спали в креслах, издавая заметный храп.

- Ваше превосходительство, - спросил Горчаков, обращаясь к Шульцу, успели ли вы испортить орудия, взорваны ли пороховые

погреба и есть ли еще цепь на банкете{147}?

- Матросы заложили в блиндажи удобовоспламеняемые составы; пороховые погреба будут взорваны при помощи гальванизма, - отрапортовал Шульц.

- Есть ли цепь? - снова спросил Горчаков.

- Полковник Зеленый стоит со своим полком у баррикад.

- Хорошо, - сказал Горчаков и, подумав, спросил: - Ну а если неприятель заметил наше отступление и будет нас преследовать, а мы до рассвета не успеем перейти мост?

- Успеем, ваше сиятельство, - ответил Шульц и прибавил: - Отбитый неприятель не преследует!

Он подчеркнул слово "отбитый", но Горчаков не заметил или не хотел заметить иронии.

Войска были собраны на Николаевской площади в ротных колоннах. Теснота была страшная. Весть об оставлении Севастополя разнеслась всюду: вокруг толпились не только солдаты, но и жители. Вправо от большого моста, устроенного через бухту, сгрудились, на мыске и сзади, возы, телеги, полуфурки, дрожки, кареты; тут же стояла и артиллерия, обреченная на потопление. Бабы с узлами и с малыми ребятами, денщики с офицерскими пожитками и с головами сахару, с чемоданами, старики и дети, почти все население Севастополя собралось в пеструю, разнокалиберную толпу.

Глебов стоял задумавшись и обернувшись в сторону Малахова кургана. Было довольно свежо, дул сильный ветер, и он продрог без шинели. Вдруг он услышал голос своего денщика, едва нашедшего его в этой толпе.

- Ваше благородие, нашу батарею сейчас переправлять будут... Шинель потеряли? Возьмите мою. Теплее будет...

- Не надо, голубчик... Идем скорее.

Они пошли к своим. Денщик оглянулся и вскрикнул:

- Ваше благородие! Француз бочонки пустил!

- Какие бочонки?

- Стало быть, с порохом, жечь город!

- Это наши жгут, - сказал Глебов и сам стал вглядываться.

Матросы зажгли уже пороховые дорожки. Как огненные змейки ползли эти дороги к погребам бастионов и взошли в погреба. Громадные огненные снопы поднялись и разразились страшным треском. Бомбы и гранаты, сложенные в погребах, рвались в воздухе.

Глебов отвернулся.

- Брата Николая не встречал? - отрывисто спросил он денщика.

- Никак нет, ваше благородие. И денщика ихнего не видать.

"Ранен или убит?" - мелькнуло в уме у Глебова.

Войска двигались по мосту, наведенному через бухту. В городе, исполняя приказ начальства, безжалостно жгли и коверкали все, чтобы ничего не досталось "ему". Еще недавно Васильчиков едва мог добиться у Горчакова позволения снести некоторые полуразрушенные дома, чтобы воспользоваться досками для блиндажей. Даже уцелевшие дома велено было жечь, как будто мы собирались навсегда выпустить из своих рук Севастополь.

Солдаты усердствовали. Мебель, рояли, уцелевшие от бомб зеркала - все коверкалось, ломалось, выбрасывалось на улицу. На паркетных полах раскладывали костры и зажигали здание. Немногие уцелевшие еще лавки, подвалы и винные погреба - все было отперто, выброшено, разлито, предано сожжению. Ветер быстро разносил пожар, и громадное зарево освещало картину истребления. На Екатерининской улице жалобно выли собаки. Некоторых маленьких щенков солдаты из сострадания захватили с собой.

Толпа жителей ждала, когда переправят войска. Многие вопили, чтобы их взяли вместе с солдатами, но начальство было глухо к просьбам. Все пароходы и гребные суда работали.

- Дай дорогу! - кричит фурштат, погоняя тройку и врезываясь в толпу.

- Берегись!

- Батюшки, пропустите! - вопит какая-то старуха с узлом.

- Арина, а Арина! Куда те нелегкая занесла! - кричит бабий голос. - Али ребят на француза покинешь, угорелая!

- Ай, батюшки! Ребята-то дома остались.

- Ради Бога, пропустите, задавите, я с ребенком! - кричит нежный женский голос.

Глебов узнал этот голос и в мгновение очутился подле Лели, которая едва проталкивалась в толпе, прижимая к себе крохотного малютку, который спал, несмотря на весь этот шум и гам: он привык к реву пушек и теперь не просыпался. Глебов не спрашивал Лелю, как она сюда попала, он поспешил принять ее под свою охрану и, подойдя к одному генералу, попросил, чтобы эту молодую даму взяли на пароход. Генерал, изумившись, как она сюда попала вопреки приказу всем дамам оставить Севастополь, позволил. В это время вдруг послышался женский вопль: какую-то старушку нечаянно столкнули в воду. Глебов хотел броситься на помощь, но дюжий матрос уже швырнул старушку на берег, сказав нравоучительно:

- Эх ты, тетка! Лезешь куда не след!

- Носилкам дорогу! Пропустите, что ли!

Пронесли носилки с ранеными.

Затем солдаты попарно зашагали по мосту. Осторожно ступали люди по бревнам. Ветер волновал бухту, бревна скрипели, трещали и раскачивались. Со свистом пролетел какой-то темный снаряд; солдат на минуту остановили, затем шествие продолжалось. Посредине мост слегка подался в воду.

Переправив солдат, пустили по мосту жителей. Тогда-то началась страшная суматоха. Возы, лошади, толпы народа шли по мосту, давя друг друга. Весьма немногим удалось переправиться водой. Слышались мольбы, вопли, забористая брань.

Вот какая-то женщина, одетая по-мещански, бежит с воплем и плачем.

- Ты куда? - останавливают ее. - Еще успеешь, тетка.

- Я с Корабельной, родимые, с Корабельной! Старуха там осталась, калека, ноги параличом разбиты, лежит на печи. А солдаты не знали и зажгли соседний дом. Ох, Царица Небесная! Покарал меня Господь за то, что утром я сказала маменьке: "Уж хоть бы умерли вы, чем быть и себе и другим в тягость!"

- Нельзя ли спасти старуху? - сказал слышавший эти слова Лихачев, недавно пришедший к переправе. Ему в эту минуту вспомнилось, как его когда-то спас матрос.

- Спаси, батюшка, родимый... Да я же тебя знаю, голубчик ты мой! У нас акушерка жила, а у ней барыня, и ты раз к ней приходил... Как же, помню!

Лихачев с двумя матросами побежал к дому, где когда-то жила Леля, и с опасностью для жизни вытащил старуху из горевшего уже дома. Старуха не могла ходить, и ее пришлось принести на руках.

На Графской стоял князь Васильчиков с несколькими офицерами.

- Есть ли костер под библиотекою? - спросил князь стоявшего подле него капитана.

- Все готово, - сказал капитан. Вскоре библиотека и вся линия домов на Екатерининской и Морской были охвачены пламенем.

- Поторопились зажечь, - сказал капитан. - Теперь не остановишь!

Темные воды бухты осветились заревом пожара; пенящиеся волны приняли красный отблеск. Местами сверкали точно молнии и слышался гром от взрыва пороховых погребов.

Плавучий мост качался под тяжестью народа и обозов. От взрывов колебалась и стонала земля. Над горящим городом стояло густое облако дыма. Пламя освещало мост, покрытый торопливо движущимися толпами народа, артиллерию, метавшую орудия в бухту, последние суда Черноморского флота,

обреченные на потопление и уже погружавшиеся в воду, некоторые из них были вдобавок зажжены.

Один из генералов, подойдя к Васильчикову, сказал:

- Здесь невыносимо! Я уйду.

- Идите, - ответил Васильчиков. - Здесь делать нечего.

Невыносимо тягостные чувства овладели всеми, кто видел эту страшную картину. Столько трудов, столько крови употреблено на защиту Севастополя, и теперь он оставлен нами, оставлен добровольно, и нами же предан разрушению! Недоумение, смешанное с затаенной злобой, рисовалось на загорелых лицах солдат и матросов, офицеров, честно исполнявших свой долг, матросских жен, покидавших свои разоренные, разбитые бомбами домишки.

В числе прочих и Леля вглядывалась в мрак, стараясь разглядеть место, где был ее домик. Тяжелое чувство сжало ее сердце. В первый раз она поняла вполне, как все это ей дорого, как дорог ей Севастополь, где она жила, любила и страдала...

Ночной мрак по-прежнему освещался заревом множества пожаров. Зрелище было поразительное. С 'неприятельских батарей бросали только светящиеся ядра. Наши войска переправились на Северную и расходились по разным направлениям в совершенной тишине, как будто присутствовали при отпевании покойника. Только у Михайловской батареи слышался зычный голос какого-то неунывающего и чересчур аккуратного ротного командира, который, отыскав где-то фонарь, перекликал по списку свою роту! Другим не до того было.

Леля брела, сама не зная куда, когда вдруг услышала голос Алексея Глебова:

- Дайте руку, я помогу вам.

И сильная рука поддержала ее, когда Леля уже была готова от изнеможения упасть на землю.

"А ведь он меня любит!" - подумала Леля. Хорошо было ей опираться на эту сильную, честную руку. На мгновение Леля вспомнила о Татищеве, но постаралась отогнать эту мысль и крепче прижала к себе своего малютку. Глебов хотел взять его, но она не позволила.

Мост, покрытый вереницей людей, наши корабли, медленно опускающиеся в морскую пучину, далекие огоньки неприятельских кораблей против фарватера в море, громадные огненные снопы от взрыва - все это вместе представляло картину ужасную, но великолепную.

Физически и нравственно изнуренные солдаты, матросы, офицеры удалялись от Михайловской батареи на гору, где в изнеможении падали под кустами и спали как убитые. Утром

многие вскочили, ошеломленные необыкновенным громом от взрыва Павловской батареи. Камни сыпались, испещряя зеркальную утреннюю гладь бухты, по которой кое-где еще сновали лодки. Корабли все были уже затоплены, мост разведен, и лишь пароходы, порубленные топорами, боролись со смертью.

В последний раз оглядывались солдаты на Севастополь и брели выше, где собирались сильно поредевшие от вчерашнего штурма полки.

Примечания

{1} 9 января 1853 года нового стиля.

{2} Нессельроде Карл Вильгельмович (Васильевич) (1780-1862) - министр иностранных дел (канцлер) Российской империи в 1816-1856 годах.

{3} Менсдорф-Поульи (в романе Пульи) - австрийский дипломат.

{4} Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) - император Франции в 1852-1870 годах, племянник Наполеона I.

{5} Священный союз был заключен в 1815 году, после изгнания Наполеона I, между Австрией, Россией и Пруссией с целью противодействия революционному движению в Европе.

{6} Гарденберг Карл Август (1750-1822) - прусский государственный деятель. Меттерних Клеменс (1773-1859) - австрийский государственный деятель и дипломат, крайний реакционер. Веллингтон (правильнее Уэллингтон) Артур Уэсли (1769-1852) - английский военный и государственный деятель.

{7} Россель Уильям Гоуард - английский государственный деятель.

{8} Пароходо-фрегат - фрегат, имеющий вместе с нормальным парусным вооружением и паровой двигатель.

{9} Меншиков Александр Сергеевич (1787-1869) - генерал-адъютант, адмирал, русский военный и дипломатический деятель, главнокомандующий сухопутными и морскими силами во время Крымской войны 1853-1856 годов.

{10} Орлов Алексей Федорович - русский государственный деятель и дипломат.

{11} Буюкдере - дачное место на Босфоре.

{12} Корнилов Владимир Алексеевич (1806-1854) - вице-адмирал, выдающийся деятель русского флота; в 1850-1854 годах - начальник штаба Черноморского флота и портов; руководил обороной Севастополя, погиб 5(17) октября 1854 года.

{13} Ермолов Алексей Петрович (1772-1861) - генерал от инфантерии и артиллерии, герой Отечественной войны 1812 года, видный полководец и дипломат.

{14} Драгоман - переводчик.

{15} Данненберг Петр Андреевич - генерал от инфантерии. В 1854 году командир 4-го пехотного корпуса; командующий войсками в Инкерманском сражении, один из виновников поражения русских войск в этом бою.

{16} Стратфорд-Каннинг Чарльз, лорд Рэдклиф, - английский дипломат, посол в Константинополе.

{17} Клейнмихель Петр Андреевич - русский государственный деятель, главноуправляющий путями сообщений.

{18} Дибич-ЗабалканскийИван Иванович (1785-1831) - фельдмаршал, главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 1828-1829 годов.

{19} Лакурде (в романе де Ла-Кур) - французский дипломат.

{20} Гардемарин - звание воспитанников старших рот Морского корпуса (училища) в царской России и первый чин в русском флоте.

{21} Станюкович Михаил Николаевич-адмирал, в 1852-1855 годах вице-адмирал, командир Севастопольского порта и и. д. военного губернатора Севастополя.

{22} Автор предупреждает читателей, что пишет не историю, а роман, и потому не берет на себя ответственности за некоторые подробности, когда речь идет о личностях хотя и не вымышленных, но не имевших исторического значения. Само собою разумеется, что эпизод о двух вельможах исторически верен.

{23} Бареж - тонкая шерстяная или шелковая материя.

{24} Вобан Себастиан ле Претр (1663-1707) - французский военный инженер, строитель крепостей и руководитель ряда осад в царствование Людовика XIV.

{25} Лазарев Михаил Петрович (1788-1851) - адмирал, выдающийся деятель русского флота и флотоводец, видный мореплаватель и ученый, исследователь Антарктики, в 1833-1851 годах был главным командиром Черноморского флота и портов.

{26} Нахимов Павел Степанович (1802-1855) - вице-адмирал, выдающийся деятель русского флота, в 1852 году начальник 5-й флотской дивизии, в 1854-1855 годах помощник начальника Севастопольского гарнизона, командир Севастопольского порта и временный военный губернатор Севастополя, герой Севастопольской обороны, смертельно ранен в висок 28 июня, умер 30 июня 1855 года.

{27} Дек - палуба на парусных судах, чаще всего та, на которой устанавливалась артиллерия.

{28} Кутров Константин Синадинович - вице-адмирал, в 1853 году капитан 1 ранга, командир корабля "Три святителя", в 1855

году контр-адмирал, участник обороны Севастополя, командовал артиллерией 2-го отделения оборонительной линии.

{29} Новосильский Федор Михайлович - адмирал, в 1853 году контр-адмирал, участник Синопского сражения и обороны Севастополя, начальник 2-го отделения оборонительной линии, постоянно находился на 4-м бастионе.

{30} Железнов Григорий Иванович - лейтенант, адъютант В. А. Корнилова, убит в бою с турецким военным пароходом "Перваз-Бахри" в 1853 году.

{31} Единорог - род корабельного орудия. Из единорога стреляли бомбами и брандскугелями (зажигательными снарядами).

{32} В Синопе турки имели 16 кораблей: 7 фрегатов, 2 парохода, 3 корвета, 2 военных транспорта, 2 брига, - а не 12.

{33} Бараневский Петр Иванович - вице-адмирал, в 1853 году капитан 2 ранга, потом 1 ранга, командир корабля "Императрица Мария", участник обороны Севастополя, командир батареи на Северной стороне.

{34} Крюйт-камера - помещение на корабле для хранения взрывчатых веществ.

{35} Верн - вспомогательный якорь на корабле, заводится обычно на шлюпке.

{36} Варницкий Петр Николаевич - в 1853 году мичман, в 1854-1855 годах лейтенант, находился на 4-м бастионе, затем командир батареи № 21 на Северной стороне.

{37} Лодки, помещавшиеся на кожухах, то есть на надстройках над колесами парохода.

{38} Ют - кормовая часть верхней палубы.

{39} Фалреп - трос, заменяющий поручни у заборных трапов.

{40} Шканцы - место на верхней палубе в кормовой части, где обыкновенно находились вахтенные офицеры, устанавливались приборы и откуда производилось управление кораблем.

{41} Брандвахта - судно, поставленное на рейде в гавани для наблюдения за входящими и выходящими судами.

{42} Леонтьев Константин Адамович - генерал-майор, в 1853 году капитан 1 ранга, командир корабля "Святослав".

{43} Выход фрегатов "Кулевчи" и "Коварна" черноморцы считали медленным, а командир английского парохода донес, что фрегаты вышли "необыкновенно скоро". - Примеч. автора.

{44} Бейдевинд - курс парусного судна относительно ветра.

{45} Истомин Владимир Иванович (1809-1855) - контр-адмирал, герой Севастопольской обороны. В 1854-1855 годах руководил строительством укреплений 4-го отделения оборонительной линии и обороной Малахова кургана. Убит 7(19)

марта 1855 года на Камчатском люнете.

{46} Джон Буль - насмешливое прозвище англичан.

{47} Лайонс Эдмунд (1790-1858) - адмирал английского флота; в 1853-1854 годах контр-адмирал, командующий английской эскадрой, действовавшей в Черном море, в 1855 году главнокомандующий английским флотом в Черном море.

{48} Нельсон Горацио (1758-1805) - английский адмирал.

{49} Хрущов Александр Петрович - генерал-майор.

{50} Панаев Аркадий Александрович - полковник, адъютант и биограф А. С. Меншикова.

{51} Панфилов Александр Иванович (1808-1874) - адмирал, выдающийся деятель Севастопольской обороны. В 1853 году контр-адмирал, командир корабля "Двенадцать апостолов", командир 1-й бригады 4-й флотской дивизии, в 1854 году начальник 3-го отделения оборонительной линии, в 1855 году вице-адмирал, командир Севастопольского порта и помощник начальника Севастопольского гарнизона по морской части.

{52} Тотлебен Эдуард Иванович (1818-1884) - генерал; в 1854-1855 годах подполковник, полковник, начальник инженеров Севастопольского гарнизона, строитель многих укреплений Севастополя.

{53} Горчаков Михаил Дмитриевич (1793-1861) - генерал-адъютант, генерал от артиллерии, в 1855 году главнокомандующий Южной армией и сухопутными и морскими силами в Крыму.

{54} Шильдер Карл Андреевич адъютант, талантливый русский военный генерал-инженер.

{55} Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792-1870) - русский государственный и военный деятель, генерал, участник Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года.

{56} Щеголев А. - прапорщик, командир 6-й, или левой, батареи на Практическом моле.

{57} Лесли Евгений Иванович - капитан-лейтенант, командир 3-го бастиона, убит при защите Севастополя в 1854 году.

{58} Стеценко Василий Александрович (1822-1901) - адмирал; в 1854 году лейтенант, капитан-лейтенант, был адъютантом (не ординарец, как в романе) В. А. Корнилова, затем А. С. Меншикова, в 1855 году начальник артиллерии 1-го отделения оборонительной линии.

{59} В новейшее время часто пишут и говорят "Альма", но это неправильно. - Примеч. авт.

{60} Если не ошибаемся, эта особа была вице-губернатор. - Примеч. авт.

{61} Сент-Арно Арман Жак Леруа де (1801-1854) -

французский политический и военный деятель, маршал (с 1852 г.). Был одним из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 года, приведшего к власти Наполеона III. Во время Крымской войны - главнокомандующий восточной французской армией.

{62} Зуавы - особый вид французской легкой пехоты.

{63} Вунш В. - генерал-майор, и. д. начальника штаба А. С. Меншикова и интендант.

{64} Сколков Иван Григорьевич - генерал-лейтенант, в 1853 году полковник корпуса штурманов, участник Синопского и Альминского сражений.

{65} Ергомышев Лев Андреевич - в 1853 году капитан 2 ранга, командир корабля "Великий князь Константин", в 1854 году капитан 1 ранга, начальник артиллерии 3-го отделения оборонительной линии.

{66} Принц Наполеон - двоюродный брат императора Наполеона III (сын вестфальского короля Жерома Бонапарта).

{67} Лажанд (в романе Лагонди) - французский полковник генерального штаба.

{68} Эполемент - земляное закрытие, предназначавшееся для обеспечения орудий батарей с фланга.

{69} Фейерверкер - нижний чин в артиллерии.

{70} Так называют казаков в насмешку. - Примеч. авт.

{71} Английские солдаты, подобно нашим, называют неприятеля "он". Примеч. авт.

{72} Ерш - деревянный клин или железный гвоздь квадратного сечения с зазубринами.

{73} Всего в сражении на Алме союзники потеряли четыре тысячи триста человек.

{74} Бомбические, или бомбовые, орудия - гладкоствольные, заряжавшиеся с дула, предназначались для стрельбы разрывными и зажигательными снарядами (бомбами) большого веса на близкое расстояние, вызывали разрушения и пожары.

{75} Бутаков Григорий Иванович - адмирал; в 1853-1854 годах капитан-лейтенант, командир пароходо-фрегата "Владимир".

{76} Голландия - парк на Северном берегу Севастопольской бухты.

{77} Зорин (Зарин) Аполлинарий Александрович - вице-адмирал. В 1853-1855 годах капитан 1 ранга, командир корабля "Селафаил", начальник 1 -го отделения оборонительной линии Севастополя.

{78} Куликово поле - высоты между Карантинной и Сарандинакиной

балками.

{79} Так называют солдаты ячменную кашу. - Примеч. авт.

{80} Мортиры. - Примеч. авт.

{81} Особого рода шлюпка, более поворотливая, чем так называемые -двойки. - Примеч. авт.

{82} Жандр Александр Павлович - вице-адмирал. В 1854 году капитан-лейтенант, флаг-офицер и офицер по особым поручениям Корнилова. Автор книги "Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии В. А. Корнилова", которая содержит богатые материалы и о П. С. Нахимове.

{83} Правильнее - Залецкий.

{84} Ухтомский Э. А. - мичман, сигнальный офицер штаба В. А. Корнилова.

{85} Ретирада - отступление.

{86} Барятинский Виктор Иванович - капитан-лейтенант, офицер для поручений штаба В. А. Корнилова.

{87} Фельдгаузен Александр Васильевич - вице-адмирал. В 1853 году мичман, адъютант П. С. Нахимова, затем адъютант Ф. М. Новосильского и А. И. Панфилова.

{88} Моллер Федор Федорович - генерал-лейтенант. В 1854 году командир 14-й пехотной дивизии и начальник Севастопольского гарнизона.

{89} Вукотич Николай Михайлович - контр-адмирал, младший флагман Черноморского флота.

{90} Белкин Михаил Федорович - контр-адмирал. В 1854-1855 годах командир люнета на правом фланге 5-го бастиона ("люнет Белкина").

{91} Шварц Михаил Павлович - контр-адмирал. В 1854-1855 годах командир редута на левом фланге 1-го отделения оборонительной линии (редут № 1, или редут Шварца).

{92} История любит все эксцентричное. Она сохранила в "Девичьей" батарее воспоминания о работе нескольких десятков падших женщин, но нет названия батареи, которое служило бы напоминанием о работе сотен матросских жен и дочерей, помогавших сооружать батареи. - Примеч. авт.

{93} См. Записки Хрущева А. П. "История обороны Севастополя" (стр. 24): 4-го батальона волынцев, 2-го батальона Углицкого полка и прочее. - Примеч. авт.

{94} Обезьянинов Андрей Петрович - лейтенант. В 1854-1855 годах офицер для поручений при В. И. Истомине на Малаховом кургане.

{95} Ползиков Владимир Петрович - генерал-майор, талантливый русский инженер. В 1854-1855 годах полковник, командир 6-го саперного батальона; строитель укреплений на

Малаховом кургане и Северной стороне Севастополя; начальник штаба 4-го отделения оборонительной линии.

{96} Хомутов П. Ф. - генерал, командир корпуса, оборонявшего северную и восточную части Крыма.

{97} Пароход этот стоял у Килен-бухты. - Примеч. авт.

{98} Надо - Милино.

{99} Шестаков Петр Алексеевич (ум. в 1855 году) - капитан-лейтенант, адъютант В. А. Корнилова, командир укреплений за Килен-балкой.

{100} Ильинский Дмитрий Васильевич - в 1854 году капитан-лейтенант, командир 5-го бастиона, исполнял должность начальника 5-го отделения оборонительной линии.

{101} Крюднер Павел Павлович - в 1853 году лейтенант, флаг-офицер при В. А. Корнилове, в 1854-1855 годах капитан-лейтенант.

{102} Христофоров Николай Ксенофонтович (ум. в 1855 году) - командир Александровской батареи.

{103} Попов Андрей Александрович (1821-1898) - адмирал, выдающийся деятель русского флота и кораблестроитель. В 1854 году капитан-лейтенант, офицер для поручений при В. А. Корнилове, затем при П. С. Нахимове; устроил боковые заграждения Севастопольского рейда и организовал перевозочные средства для сообщения Северной и Южной сторон Севастополя.

{104} Ластовые - экипажи, в ведении которых находились мелкие портовые плавучие средства.

{105} Рачинский Шалеич Эдуард Викентьевич - в 1854 году капитан-лейтенант, командир морского батальона. Убит 10 ноября 1854 года.

{106} Волохов - отставной поручик, подрядчик Черноморского флота; на его средства была сооружена в 1854 году 8-орудий-ная батарея.

{107} Должно быть - Петр.

{108} Будищев Лев Иванович - в 1854 году капитан 2-го ранга, командир 5-го морского батальона, в 1855 году капитан 1-го ранга, командир трех батарей 3-го отделения оборонительной линии. Убит на батарее в 1855 году.

{109} Львов Алексей Петрович - лейтенант. В 1854-1855 годах командир батареи на Малаховом кургане. Убит при отражении штурма.

{110} Новосильцев Алексей Васильевич - гардемарин, брат жены В. А. Корнилова, состоял в команде штуцерных охотников морского батальона, потом был на 3-м и 5-м бастионах.

{111} Павловский Василий Иванович - в 1854 году старший врач 41-го флотского экипажа, оказывал медицинскую помощь

смертельно раненному В. А. Корнилову.

{112} У нас много говорили и писали о подвигах первых сестер милосердия; но при этом говорили больше о приезжих, забывая, что до устройства общины, да и после того, севастопольские женщины заменяли сестер. - Примеч. авт.

{113} Керн Федор Сергеевич - адмирал. В 1855 году начальник Корниловского бастиона (Малахов курган) и 4-го отделения оборонительной линии.

{114} Липранди Павел Петрович - русский генерал-лейтенант, начальник 12-й пехотной дивизии.

{115} Мюрат Иоахим (1771 -1815) в 1810-1815 годах маршал Франции,

неаполитанский король.

{116} Казарский Александр Иванович (1798-1833) - герой русско-турецкой войны 1828-1829 годов. В 1829 году капитан-лейтенант, командир брига "Меркурий", вышедшего победителем в бою с двумя турецкими кораблями; в Севастополе Казарскому сооружен памятник.

{117} Кошка Петр Маркович - в 1854-1855 годах матрос 1-й статьи, затем квартирмейстер 30-го флотского экипажа.

{118} Семякин Константин Романович (1802-1867) - генерал от инфантерии; в 1854 году генерал-майор, командир 1-й бригады 12-й пехотной .дивизии, затем начальник штаба главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму; в 1855 году начальник 1-го отделения оборонительной линии.

{119} Конгревовы ракеты - боевые ракеты изобретения Вильяма Конгрева (180+ г.).

{120} Мельников А. В. - талантливый русский инженер-минер.

{121} Контр-мина - минные галереи, проводимые против минных галерей противника для обороны ближайших подступов к укреплениям.

{122} Костомаров Николай Иванович - в 1854-1855 годах лейтенант, командир батареи впереди 4-го бастиона.

{123} Люнет - полевое трехстороннее укрепление, направленное в сторону противника и открытое с тыла.

{124} Надо быть храбрым, но так, чтобы при этом сохранять изящество.

{125} Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич - генерал от кавалерии; в 1854-1855 годах командир 4-го пехотного корпуса, начальник Севастопольского гарнизона, в феврале-марте 1855 года и. д. командующего сухопутными и морскими силами в Крыму.

{126} Временно перенесенный туда из дома Благородного

собрания. Примеч. авт.

{127} Бакунина Е.М. - сестра милосердия Крестовоздвиженской общины в 1854-1860 годах.

{128} Земан Федор Васильевич - штаб-лекарь, старший врач 5-й флотской дивизии.

{129} Пирогов. Николай Иванович (1810-1881) - великий русский ученый и общественный деятель, основатель полевой хирургии, академик, профессор, заведовал Крестовоздвиженской общиной сестер.

{130} Гюббенет Христиан Яковлевич - известный русский военно-медицинский деятель, профессор, заведующий госпиталями и главный хирург во время осады Севастополя.

{131} Хрулев Степан Александрович - в 1855 году генерал-лейтенант, начальник сухопутных войск различных частей оборонительной линии, герой Севастопольской обороны.

{132} Кизмер Иван Иванович - генерал от кавалерии, в 1855 году генерал-лейтенант, первый комендант Севастополя, впоследствии военный комендант Москвы.

{133} SO - юго-восток.

{134} Камовский А. Д. - чиновник Морского ведомства, управляющий канцелярией генерал-адмирала А. С. Меншикова и один из его приближенных.

{135} Герсеванов Николай Борисович - генерал-майор, реакционный публицист и писатель; в 1854-1855 годах полковник Генерального штаба, и. д. генерал-квартирмейстера войск в Крыму.

{136} Васильчиков Виктор Илларионович - генерал-лейтенант, в 1854 году полковник, в 1855 году генерал-майор, начальник штаба Севастопольского гарнизона.

{137} Коцебу Павел Евстафьевич - генерал от инфантерии, в 1855 году генерал-лейтенант, начальник штаба Южной армии и всех сухопутных и морских сил в Крыму.

{138} Фербант - повязка, перевязка. Здесь: перевязочный пункт.

{139} Картуз - мешочек цилиндрической формы, в котором помещается заряд пороха.

{140} Ложемент - небольшой орудийный или стрелковый окоп.

{141} Реймерс Василий Густавович - контр-адмирал. В 1854-1855 годах капитан-лейтенант, командир корабля "Ростислав", с февраля 1855 года командир 4-го бастиона.

{142} Пелисье Жан-Жак - маршал Франции. В 1855 году генерал, главнокомандующий французской армией в Крыму.

{143} Известие, будто бы лейтенант Шкот съездил в семь

часов времени в Симферополь и обратно и привез лед, поливая его на дороге эфиром, хотя годится для мелодрамы, но вполне легендарно, а мы приняли за правило, описывая исторические личности, держаться как можно ближе к истине; эта легенда интересна лишь как доказательство любви моряков к Нахимову. - Примеч авт.

Шкот Павел Яковлевич - вице-адмирал. В 1855 году лейтенант, капитан-лейтенант, адъютант П. С. Нахимова.

{144} Толстой Лев Николаевич - великий русский писатель, участник обороны Севастополя.

{145} Сержпутовский Адам Осипович - в 1855 году генерал-лейтенант, начальник артиллерии Южной армии и войск в Крыму.

{146} Карпов Петр Александрович - контр-адмирал. В 1854 году лейтенант, командир 5-го бастиона 1-го отделения оборонительной линии; в 1855 году капитан-лейтенант, командир Корниловского бастиона 4-го отделения оборонительной линии.

{147} Банкет - устройство для укладки тросов, представляющее собой решетчатую площадку на коротких ножках.